# Кролик успокоился

# Джон Апдайк

...И Кролик наслаждается, он вознесся над этим старым, сохранившимся лишь в воспоминаниях, миром — разбогатевший, успокоившийся.

Кролик разбогател

Что другому хлеб насущный, то погрязшему в праздности — смертельный яд.

Жизнь и эпоха Фредерика Дугласа

## Часть первая

## ФЛОРИДА

Стоя в толпе таких же, как он, загорелых, слегка возбужденных, построждественских встречающих в региональном аэропорту юго-западной Флориды, Кролик Энгстром вдруг замечает в себе невесть откуда взявшееся странное чувство, будто то, с чем ему предстоит вот-вот столкнуться лицом к лицу и ради чего он прибыл сюда, то невидимое, что висит между небом и землей и неотвратимо приближается, — не его сын Нельсон и невестка Пру и двое их детей, а нечто более грозное, касающееся только его и никого больше: его собственная смерть, очертаниями напоминающая самолет. От этого видения его пробирает такой жуткий холод, что куда там всем вместе взятым кондиционерам аэропорта. Впрочем, одна мысль о предстоящем свидании с Нельсоном способна испортить ему настроение — так продолжается вот уже тридцать лет.

Аэропорт сравнительно новый. Чтобы добраться до него, нужно свернуть с федеральной автострады 75 на съезд 21 и проехать еще три мили по многорядному шоссе, которое, хотя и окаймлено заботливо рядами худосочных пальм и полосами ухоженной, неестественно зеленой бермудской травы, кажется, ведет в никуда. Никаких рекламных щитов, никаких настырно предлагающих себя придорожных закусочных или типичных для здешних мест приземистых жилых домов, крытых жаростойкой белой плиткой, что тянутся вереницей вдоль флоридских дорог. Поневоле начинаешь сомневаться, уж не заехал ли по ошибке куда-то не туда. В зеркале заднего обзора маячит красный «камаро» с открытым верхом, жмет, наступает на пятки.

— Гарри, куда ты гонишь? Мы и так приедем с запасом.

Это Дженис, жена Кролика, подала реплику, когда они ехали в аэропорт. Его задели не столько слова, сколько преувеличенно невозмутимый, вкрадчивый тон, какой она с недавних пор усвоила, говоря с ним, будто он раньше времени впал в маразм. Он обернулся и поймал ее жест — она откинула непослушную, трепыхавшуюся на ветру прядь густо поседевших волос, которая упрямо норовила упасть на продубленное солнцем, маленькое, коричневое, как орех, лицо.

— У меня машина на хвосте висит, дорогуша, — объяснил он и убрался в правый ряд, а стрелка спидометра сдвинулась влево, ниже отметки шестьдесят пять. «Камаро» с откинутым верхом пронесся мимо — за рулем краля цвета какао в серой фетровой шапочке бортпроводницы, подбородок вперед, губы оттопырены, на него даже глаз не скосила. Это его тоже задело. Багажник и бампер у «камаро» сконструированы таким образом, что, когда едешь сзади, кажется, будто перед тобой маячит огромный рот, две пухлые металлические губы, раздвинутые в злобном шипении. Не исключено, что именно в этот момент в душе у Гарри и поселился холодок страха.

Когда дорога наконец приводит вас к аэропорту, вы видите длинное, низкое, белое строение, и если бы не внушительные габариты, его можно было бы принять за одну из бесчисленных лечебниц для нокаутированных солнцем пациентов, где им готовы прийти на помощь дантисты или массажисты, специалисты по артрозам и остеохондрозам, кардиологи, юристы широкого профиля и эксперты по вопросам, связанным с медицинским обслуживанием, — словом, одну из тех лечебниц, которыми обсажены бульвары штата Флорида, посвятившего себя заботам о престарелых. Вы припарковываете машину на стоянке всего в нескольких шагах от автоматически раздвигающихся дверей из тонированного коричневого стекла: все в этом штате устроено так, чтобы вы чувствовали на себе его неусыпную материнскую заботу. Наверху, где встречают прибывающие самолеты, внутреннее пространство разделено на длинные низкие отсеки и выдержано в благородном бархатисто-сером тоне, как форменная шапочка на голове у нахалки стюардессы; пространство заполнено музыкой особого сорта — ее дело создавать фон и замечать ее начинаешь, только когда, предположим, вдруг останавливается снующий туда-сюда лифт или дантист выключает свою бормашину. Негромкий перебор гитары, никакого вокала — музыка, смирившаяся с тем, что никто не обращает на нее внимания, мягкий, расстеленный в воздухе ковер, приглушающий тишину, которая может ненароком напомнить вам о смерти. Эти длинные, низкие, элегантные помещения, не загроможденные, как и сама дорога в аэропорт, рекламной мишурой, вызывают у Кролика какие-то смутные ассоциации. Вентиляционные шахты — первое, что приходит ему в голову, потом склепы. В фантастических фильмах любят показывать похожие квадратные в сечении туннели, которые, благодаря разным киношным фокусам, начинают вдруг стремительно убегать в бесконечность, и тогда зритель понимает, что его переносят из одной галактики в другую. *2001* [[1]](#footnote-1) — доживет ли он? Он дотрагивается до стоящей рядом с ним Дженис, кладет руку ей на талию, на влажную от пота хлопчатобумажную белую ткань ее теннисного платья, чтобы избавиться от внезапно пронзившего его чувства неизбежности судьбы. Талия у нее становится все толще, перепад между талией и бедрами все меньше, и тело ее постепенно приобретает бочкообразную форму, характерную для женщин на пороге старости; ноги худеют, руки безвольно повисают, как крылышки у переваренной курицы, из которой выскочили косточки. Поверх потного теннисного платья у нее на плечи наброшена незастегнутая ажурная желтая кофта, чтобы не простудиться в кондиционированной прохладе аэропорта. Он испытывает простодушную гордость оттого, что она, в этом своем беленьком платьице, с загаром и даже с бледными кругами от солнцезащитных очков вокруг глаз, выглядит точь-в-точь как все прочие американские бабульки, которым по карману жить здесь, в этом краю негасимого солнца и вечной юности.

— Выход А5, — говорит Дженис, воспринимая его прикосновение как простой вопрос. — Рейс из Кливленда с посадкой в Ньюарке, — говорит она тоном самостоятельной деловой женщины; деловитость проснулась в ней только в зрелые годы, особенно после смерти ее матери семь лет назад, когда по наследству к ней перешло семейное дело, магазин «Спрингер-моторс», со всеми его активами — одно из всего только двух агентств, представляющих фирму «Тойота» в Бруэре, штат Пенсильвания, и его окрестностях; впрочем, члены семьи по старинке называют его «пятачок» в память о тех днях, когда это действительно была скромная стоянка, пятачок, где сам хозяин, Фред Спрингер, торговал подержанными автомобилями, — покойный ныне Фред Спрингер, которому суждено было, если верить фантазиям его вдовы Бесси и дочери Дженис, вновь возродиться в Нельсоне: оба маленькие, вертлявенькие и вообще какие-то скользкие. Вот почему Гарри и Дженис теперь по полгода живут во Флориде — чтобы Нельсон мог чувствовать себя полновластным хозяином в магазине, без контроля и опеки с их стороны. Гарри, больше десятка с лишним лет протрубивший в должности главного торгового представителя и фактически управлявший, на пару с Чарли Ставросом, всеми делами, не был ни единым словом упомянут в завещании мамаши Спрингер — это после всех-то лет, которые он прожил с ней под одной крышей в ее унылом, большом, как сарай, доме на Джозеф-стрит, безропотно снося ее нескончаемые причитания о том, какой святой человек был ее Фред и какое наказание, что ноги у нее опять отекают. Все до цента отошло Дженис, а он — что он? — ничтожный эпизод в родословной династии Спрингеров, доброго слова не стоит. Старый дом на Джозеф-стрит, отданный в пользование Нельсону с семьей просто для того, чтобы оправдать расходы на его содержание плюс налоги, потянет тысяч на триста по нынешним временам — новое поколение преуспевающих бизнесменов решительно двинулось из северо-восточной части Бруэра на противоположный склон горы в Маунт-Джадж; прибавить сюда еще их дом в Поконах, там любой шалаш в лесу теперь столько стоит — закачаешься; да что говорить, за один только участок земли под магазином, четыре акра вдоль шоссе 111 на южном берегу реки, можно было бы выручить порядка миллиона, благо охотников за последние десять лет появилось в избытке — в Бруэр устремились компании, развивающие высокие технологии и прекрасно понимающие, какую выгоду сулят им заброшенные производственные мощности, квалифицированная, но не находящая спроса и потому дешевая рабочая сила и, наконец, традиционно недорогая провинциальная жизнь. Короче говоря, Дженис разбогатела. Кролику хотелось бы рассказать ей о странном внутреннем холоде, сковавшем его так внезапно, о небесном знамении, принявшем видимость самолета, но он чувствует, что с недавних пор она окружила себя надежным панцирем, и это его останавливает. Платье у него под рукой словно толстое, непроницаемое, сыроватое убежище, в котором она от него прячется. И он остается со своим предчувствием один на один.

Они стоят в толпе встречающих, в первый вторник после Рождества, в последний год правления Рейгана. Какой-то низкорослый еврейчик с горбато-сутулой спиной и суетливым проворством движений, какие нередко отличают его сородичей, снует перед ними туда-сюда, нетерпеливо оглядываясь на отставшую жену и покрикивая: «Шевели ногами, Грейс!» — так, словно между ним и его женой нет никаких Энгстромов.

Надо же — Грейс, отмечает про себя Гарри. Необычное имя для еврейки, хотя кто его знает. У них имена все больше библейские — Рахиль, Эсфирь... да нет, не всегда: Барбара, Бет[[2]](#footnote-2) тоже часто встречаются. Он еще не до конца привык, все присматривается к многочисленным здешним евреям, старается чему-то у них научиться, вобрать в себя их особую философию, которая позволяет им хватать и не выпускать из рук все, что только может предложить жизнь. Посмотреть хотя бы на этого сгорбленного старикана в ярко-розовой клетчатой рубашке и красных, как губная помада, штанах — вот ведь неугомонный, скачет взад-вперед, как заяц, можно подумать, не самолет во флоридский аэропорт прибывает, а последний поезд отходит от варшавского перрона. Когда Гарри и Дженис еще только собирались здесь осесть, их консультанты по Флориде (главным образом Чарли Ставрос и Уэбб Мэркетт) просветили их, что побережье со стороны залива считается христианским, в отличие от чисто еврейского берега Атлантики; однако по мере накопления собственного опыта Гарри все больше убеждался в том, что вся Флорида — еврейская, в той же мере, в какой, скажем, Нью-Йорк, Голливуд и Тель-Авив. У себя в кондо[[3]](#footnote-3) они с Дженис всеобщие любимцы — гои тут в диковинку и, глядя на них, все умиляются. Наблюдая за тем, как этот сморчок лет семидесяти, не меньше, шустро срывается с места, делает спринтерский рывок, потом зигзагами скачет между стульями, чтобы никого не пропустить вперед и первому оказаться у дверей выхода, Гарри с тоской думает о собственной тучности (двести тридцать фунтов на самых щадящих весах), в которую он в свои пятьдесят пять запеленут, словно во множество одеял: каждые десять лет — новое одеяло. Его здешний доктор, как попугай, твердит одно и то же: пора кончать с пивом по вечерам и перестать кусочничать, и с вечера он всякий раз, почистив перед сном зубы, дает себе зарок взяться за ум, но наутро снова светит солнце и его снова неудержимо тянет пожевать чего-нибудь солененького и хрустящего. Как любил говаривать к концу жизни Марти Тотеро, его бывший баскетбольный тренер, в старости человек все ест и ест и не может остановиться и все ему кажется, что еда не та. Иногда Кролик опасается, что дух его не выдержит такой перегрузки — таскать за собой столько плоти. В груди частенько что-то неприятно сжимается, покалывает, и боль доползает до левого плеча. У него случается одышка, и тогда ему кажется, что вся грудь чем-то забита, чем-то тяжелым, давящим. В детстве, когда, бывало, кольнет разок-другой — обычные функциональные нарушения в период роста, — он пугался, а взрослые отмахивались, отшучивались, и он, глядя на них, тоже не принимал этого всерьез; теперь он сам давно уже взрослый, тут сомневаться не приходится, и значит, нечего надеяться на других, надо самому от себя отмахиваться.

Строгую серую элегантность аэропорта нарушает пестрый восьмиугольник торгового павильона, где продают газеты и журналы, сладости, всевозможные сувениры из кораллов и дурацкие, пастельных тонов футболки, на все лады воспевающие райский уголок — юго-запад Флориды. Дженис вдруг замедляет шаг и говорит:

— Подожди меня секундочку, ладно? Я только узнаю, нет ли у них свежего номера «Эль». Вообще-то мне, наверно, лучше вернуться и забежать в туалет, пока есть такая возможность. Когда мы еще домой попадем! Дорога скорей всего будет забита — погода как по заказу.

— Спохватилась, самое время, — ворчит он. — Ну хорошо, тогда уж не стой — иди, раз тебе приспичило.

Маленькая челочка а-ля Мейми Эйзенхауэр, с которой она никак не может расстаться, сильно поредела под воздействием влажного климата и соленой воды — с этой челочкой вид у Дженис какой-то ребячливый, и одновременно своенравный, и чем-то умилительный, что есть, то есть.

— У нас еще минут десять, не меньше. Отчего этот чокнутый так спешил, ума не приложу.

— От избытка любви к жизни, — говорит ей Гарри и послушно остается ждать.

Пока ее нет, ему не удержаться от соблазна купить себе чего-нибудь похрумкать — например, ореховую плитку «Плантер» за сорок пять центов. Обертка уверяет, что это самая что ни на есть подлинная арахисовая плитка «Плантер». За время долгого пути к прилавку плитка разломилась пополам, и он решает съесть только половину, а половину оставить на потом и угостить ею двоих своих внуков, когда они все усядутся в машину и двинутся к дому. Пусть это будет его маленький сюрприз. Но первая половинка настолько вкусна, что он уминает и вторую и даже вытряхивает из обертки на ладонь сладкие крошки и подбирает их все до единой языком, в точности как муравьед. Потом он думает, что надо бы пойти и купить еще одну плитку для внуков и для себя — разломить на троих в машине («Смотрите-ка, что для вас дедушка припас!») — сразу, как только они въедут на шоссе 75. Но, сомневаясь в своей способности хоть что-то придержать на потом, он заставляет себя остаться на месте и глядит в окно. Аэропорт спроектирован таким образом, что из огромных окон открывается отличный вид на взлетную полосу, и если вдруг какой-то самолет рухнет, каждый сможет увидеть это редкое зрелище своими собственными глазами. Огненный шар, фюзеляж, роняя крылья, медленно поворачивается вокруг своей оси... Выковыривая языком липкие, острые кусочки карамели, застрявшие между зубами — зубы, слава Богу, пока все свои, а передние даже не закрыты коронками, — Кролик неподвижно смотрит перед собой на большой квадрат погожего солнечного дня. Убегающий вдаль треугольник взлетной полосы, плоская, как ладонь, флоридская равнина, вначале зеленая, а дальше, за границей искусственного орошения, бурая, словно тростниковая кровля. Зима, вернее ее слабая тень, которая ложится на здешнюю землю, еще не дала о себе знать. Температура воздуха каждый день за восемьдесят[[4]](#footnote-4). У него за плечами уже четыре флоридских зимы, и он знает, как ветер с залива пробирает тебя до костей, если партия в гольф начинается рано утром, и свитер сбрасываешь с себя только ближе к полудню, когда солнце подберется повыше, но нынешний декабрь, если не считать недолгого похолодания в середине месяца, больше походил на начало сентября в Пенсильвании — настоящая жара, и только пожелтевшие каштаны, да какой-то неживой, пересушенный воздух, да звон цикад говорили о том, что лето прошло.

Едва сладкий козинак благополучно оседает у него в желудке, сердце его вновь охватывает ощущение всевластия рока — маленькие острые коготки, вроде тех, что держат бриллиант в кольце. В последнее время газеты часто пишут о смерти. Макс Робинсон, первый и единственный в истории США телеобозреватель-негр на ведущем национальном канале, потом Рой Орбинсон — этот всегда выступал в черном костюме и черных очках и пел песню «Красотка» своим необыкновенным голосом, который мог подниматься так высоко, что его было не отличить от женского, а тут еще перед самым Рождеством авиакатастрофа — самолет компании «Пан-Ам», рейс 103, взял и треснул по швам, словно перезревший арбуз, на высоте пять миль, пролетая над Шотландией, и усеял телами и горящими обломками поле для гольфа и улицы какого-то заштатного городишки вроде Глокаморры[[5]](#footnote-5) — как бишь он назывался? — а, Локерби! Уму непостижимо: сидишь себе в кресле, уютно урчат моторы — неназойливо, как в «роллс-ройсе», стюардесса подкатывает тележку, позвякивая бутылками, а ты наслаждаешься блаженным ничегонеделаньем, наконец-то никуда не надо спешить, бежать, ты уже в самолете, расслабься и отдыхай... и вдруг посреди всего этого дикий грохот, оглушительный треск лопающейся обшивки, вопли, паника — и весь комфортабельный, уютный мир разваливается на куски, и под тобой ничего, кроме черной бездны, и жуткий холод сдавливает грудь и перехватывает дыхание, невероятный, неправдоподобный холод, о котором ты порой лишь смутно догадывался, когда распаковывал вещи и с ними остатки этого холода, проникшего в чемоданы в багажном отсеке, — не первой свежести белье и пляжные полотенца, впитавшие в себя безжалостное, леденящее дыхание смерти разреженного пространства за бортом. Не далее как вчера какой-то лайнер, совершавший рейс из Рочестера в Атланту, разгерметизировался на высоте тридцать одна тысяча футов над землей (причина, как сообщили газеты, — дыра в обшивке диаметром четырнадцать дюймов) и, по счастью, чудом сумел приземлиться в Западной Виргинии. Все разваливается на части — самолеты, мосты, вот к чему привели восемь лет рейгановского хозяйствования, когда никому ни до чего не было дела — знай себе качали из воздуха деньги, набирали долгов и уповали на Господа Бога.

За свою жизнь Гарри летал несколько раз на совещания автомобильных дилеров, а девять лет назад они и еще две пары вместе отправились в отпуск на Карибские острова; но до Флориды они с Дженис всегда добираются на машине, так что здесь они при автомобиле. Впрочем, Нельсон скорей всего будет недовольно фыркать, почему машина только одна, пусть даже это вместительная «камри» и вшестером там можно чувствовать себя вполне вольготно: Нельсон любит жить в своем режиме и вечно срывается по каким-то таинственным делам и пропадает по нескольку часов кряду. Нельсон. Вот уж поистине больная тема, язык у Гарри начинает щипать, и он перестает поддевать им колючий кусочек застывшей патоки, прилипший к задней стенке верхнего клыка.

Да, а вот еще сегодня утром в форт-майерской газете «Ньюс-пресс» он прочитал, что при попытке ограбления в Форт-Лодердейле убита выстрелом беременная женщина. Должно быть, негритянка, но в газете об этом прямо не сказано — нынче такие подробности считаются «некорректными». Женщина умерла, но ей успели сделать кесарево сечение, и ребенка спасли. И там же на первой полосе напечатано миленькое интервью с преступником, который был осужден за то, что подцепил где-то двенадцатилетнюю девчонку, заставил ее накуриться всякой дряни, изнасиловал и заживо сжег, а теперь жалуется, бедняжка, как его донимают тараканы да крысы в камере смертников, и уверяет репортера: «Я ж всю жизнь старался как мог, у каждого есть свои недостатки, и я тоже, конечно, не ангел. Но и не убийца». Это его откровение очень развеселило Гарри, ему почудилось тут что-то страшно знакомое. Как же, как же — не ангел, нет, но и не убийца! Не какой-нибудь там душегуб Банди[[6]](#footnote-6), лишивший жизни несколько десятков женщин в нескольких десятках разных штатов и вот уже десять лет пребывающий в добром здравии здесь, неподалеку, в тюрьме Таллахасси, изобретая все новые и новые способы оттянуть приведение приговора в исполнение. Или взять Хирохито — тоже не спешит отправиться на тот свет[[7]](#footnote-7). А Гарри прекрасно помнит, как клеймила его военная пропаганда, не меньше, чем Муссолини и Гитлера.

И ему вовек не забыть, как утонула его маленькая дочка, Ребекка Джун — в нынешнем июне будет ровно тридцать лет, — как он вернулся домой, один, и в ванне стояла еще не остывшая вода, которая погубила ее. Господь Бог не вынул затычку. А ведь это сущий пустяк для того, кто назначает звездам их места на небосводе. Сделать так, чтобы то, что случилось, не случилось. Или просто взять и вышвырнуть за пределы Вселенной то неведомое, что привело к взрыву самолета компании «Пан-Ам» над Шотландией. Как они посыпались вверх тормашками во тьму, эти тела, в которых сердце еще продолжало качать кровь... Что успели они осознать, пока падали, летя навстречу смерти сквозь воздух, липкий, как неостывшая вода, и такой же тепловато-серый, как здесь, в этом аэропорту: тут тоже люди пролетают насквозь, словно пыль в вентиляционной шахте, и попадают во власть авиакомпании, для которой все мы только номера в компьютере — одним больше, одним меньше, какая разница? Мигающая вспышка на экране, потом экран без вспышки. Тела, которые гроздьями сыплются вниз, будто мокрые арбузные семечки.

Вот в дневном небе появилась звезда, зажглась в синеве, под белесыми полосами высоких перистых облаков, и самолет, посверкивая, снижается, нацелившись прямо на них. В этом сверкании, проносится у него в голове, прибывает не кто-нибудь, а его родные и близкие: его сын Нельсон, его невестка-левша, которую все почему-то зовут Пру, хотя при крещении ее нарекли Терезой, его восьмилетняя внучка Джуди и его четырехлетний внук Рой, родившийся осенью того года, начиная с которого Гарри и Дженис стали по шесть месяцев в году проводить во Флориде. Вообще-то ребенка назвали в честь обоих дедов сразу Гарольд Рой, но все зовут его просто Рой, чему Гарри не слишком рад, и оно понятно, поскольку Рой Лубелл, бывший слесарь-паропроводчик из Акрона, пополнивший ряды безработных и озлившийся на весь белый свет, не соизволил даже явиться на свадьбу дочери и вообще всю жизнь чихать хотел на своих семерых вечно голодных отпрысков. Пру и по сей день производит впечатление вечно голодной, и это в глазах Гарри роднит ее с ним самим. Звезда увеличивается в размерах, потом принимает форму тарелки, на которой в самых разных местах то и дело вспыхивают огоньки, и наконец — крылатой алюминиевой машины, зависшей над неприветливо ощетинившейся кустарником плоскостью земли и горизонтом, исчерченным вертикальными ниточками пальм. Он мысленно представляет себе, как самолет, едва коснувшись земли, воспламененный одной из посверкивающих вспышек, взорвется, оставив на месте себя полыхающий огненный шар в черном ореоле — точь-в-точь как мы все не раз видели в телерепортажах, — и сам приходит в ужас оттого, что эта воображаемая картина не особенно задевает его чувства, скорее завораживает, как какого-нибудь бесстрастного очевидца, который с удивлением отмечает бешеную ярость пришедших во взаимодействие химических веществ и втихаря радуется, что его самого не было в том самолете, что он жив и невредим, стоит целехонек по эту сторону стекла и смутно ощущает когтистое прикосновение судьбы.

Дженис вновь оказывается рядом с ним. Она запыхалась и чем-то взволнована.

— Гарри, идем скорей! — торопит она его. — Они уже приземлились, на десять минут раньше — наверно, от Ньюарка дул попутный ветер. Я вышла из туалета, спустилась к выходу, думала, ты там, а тебя там и нет! Где ты был?

— Нигде. Стоял тут у окна все время. — Значит, самолет, который он мысленно взорвал, был вовсе не их самолет.

Сердце у него колотится, проклятая одышка опять дает о себе знать, но он размашисто шагает по широким серым коврам вслед за своей мелкорослой женой. Ее плиссированная теннисная юбочка задорно подскакивает на загорелых бедрах, а многослойные белые кроссовки «Найкс» выглядят нелепо громоздкими на тощих ногах — чистая Минни Маус в ее бахилах, — но, честно говоря, Дженис далеко не единственная в этой толпе встречающих, чей наряд может показаться нелепым: убеленные сединами господа благообразной наружности с характерными для банковских служащих аккуратными стрижками и вытянутыми, постными лицами щеголяют в пронзительно ярких желто-зеленых майках с надписями «Коралловый мыс» или «Остров Каптива» и в помидорно-красных велосипедных трусах в обтяжку или штанах-бермудах с рисунком, имитирующим яичницу-глазунью из многих яиц, а их раздавшиеся в талии женушки с перманентом на голове через одну одеты в идиотские тренировочные костюмы-комбинезоны, сильно смахивающие на нижнее белье из мягкой фланельки голубых и розовых тонов — младенческие цвета в сочетании с бесформенными, как у пупсов, фигурами; и все эти костюмы на разные лады рекламируют одно — вечную молодость, так счастливо здесь обретенную: сразу вспоминаешь нынешних спортсменов, будь то лыжники, теннисисты или гольфисты, которые появляются на телеэкранах разукрашенные логотипами разных фирм, точно ходячие рекламные щиты. Торопыга еврейчик с горбатой спиной уже встретил свою дорогую и близкую — высокую женщину с насмешливой улыбкой, Рахиль или Эсфирь, с пышными курчавыми волосами и рельефным бледным профилем, — на одной руке у нее висит ньюаркская куртка-парка, на другой повисла ее низкорослая толстуха мать по имени Грейс, папаша без умолку что-то говорит, сопровождая свою трескотню сердитыми, рублеными жестами, а те вполуха слушают его темпераментный рассказ о маленьком пустячке, из-за которого он так разволновался. Кролику кажется странным, что взрослая дочь, на голову переросшая своих родителей, прибыла одна, без мужа. Высокий негр франтоватого вида в сером костюме-тройке, впрочем, не пижон, держится естественно, деловито, без всякой рисовки, как и положено настоящему американцу БАСПу[[8]](#footnote-8), даром что сам он черный (его багаж представлен дорожной сумкой необъятных размеров, которые так полюбились многоопытным путешественникам, что теперь ими забиты все полки, расположенные вдоль борта самолета над сиденьями), этот негр движется подозрительно близко к ней, прямо дышит ей в затылок. Но на роль родственника он явно не годится, должно быть, просто хочет их обогнать, как та черная цыпочка в красном «камаро» на подъезде к аэропорту. Все наступают друг другу на пятки — так все мы нынче и двигаемся, так и живем.

Гарри и Дженис наконец пробиваются к выходу А5. Пассажиры вываливаются из самолетов порционными сгустками, и в каждом непременно обнаруживается хотя бы один настырный хам с тремя сумками или какая-нибудь старая карга с клюкой, которые лезут вперед по головам всех остальных, как будто у них есть особые права. Поневоле задумаешься, не перегибаем ли мы палку в нашей чрезмерной заботе об увечных.

— Вон, вон они! — наконец произносит Дженис и тут же добавляет негромко, с тревогой в голосе: — У Нельсона измученный вид.

Не столько измученный, думает Кролик, сколько издерганный. Его сын на левой руке держит своего собственного сына, и правый глаз его сильно косит — даже веко, кажется, подрагивает, будто он все время ожидает удара с этой, незащищенной, стороны. Должно быть, Рой уснул в самолете: он, словно к подушке, прижимается головой к отцовской шее, и хотя глаза его раскрыты и смотрят с прозрачной детской серьезностью, пухлый ротик, слюняво поблескивая, оторопело молчит. Как только Нельсон входит в зал ожидания, Гарри делает шаг вперед, чтобы взять у него малыша, но сын не торопится передать ему ребенка, словно опасаясь, что родной дедушка может оказаться похитителем; сам Рой тоже крепко держится за папашу. Досадливо передернув плечами, Гарри уступает, наклоняется и целует Роя в бархатную — нет, нежнее бархата — щечку, все еще горячечно-жаркую от сна, и пожимает маленькую, влажную руку сына. В последние годы Нельсон отпустил усы — какая-то клочковатая бурая поросль, едва выступающая за крылья носа, будто под носом у него клякса. Аккуратный маленький рот под усами, кажется, вообще не умеет улыбаться. Гарри тщетно силится отыскать в этом пугающем его кареглазом лице хоть какую-то черточку сходства со своим собственным, голубоглазым. Нельсон унаследовал от Дженис ее мелкие, нервные черты, ее замутненный то ли нерешительностью, то ли уклончивостью взгляд; выражение растерянности на лице, может, для женщины и ничего, но с мужчиной как-то не вяжется. Еще хуже то, что слишком высокий лоб и жидкие, тонкие волосы Дженис передались Нельсону в виде быстро прогрессирующего облысения. На висках уже явные залысины, а просвечивающий треугольник сохранившихся пока волос между ними скоро превратится в жалкий островок — когда он поворачивается поцеловать мать, у него на затылке мелькает проплешина. В дорогу он надел видавшую виды джинсовую куртку, из-под которой выглядывает новехонькая, пижонская рубашка в розовую полосочку, с белым воротничком и манжетами — вот ведь хлыщ недоделанный, рок-звезда с обручальным кольцом на пальце, гангстер на отдыхе! В одном ухе у него крохотная золотая сережка.

— Мммм-а! — Это Дженис целует всех по очереди; шумно целоваться она научилась уже здесь, переняв эту манеру у распираемых эмоциями еврейских кумушек.

Он бережно обнимает Джудит и Пру. Худенькая девочка, которой меньше чем через месяц исполнится девять, — словно эскиз к портрету будущей взрослой женщины, еще не в полный рост и не в полном объеме. Рыженькая — в мать. Чудесный цвет лица, щечки румянятся под веснушками, и все черты — ресницы, брови, уши, крылья носа, губы, то и дело вздрагивающие в улыбке, — пугают своим совершенством: все это кажется таким хрупким, что боишься ненароком что-нибудь поломать. Когда он наклоняется и целует ее, он видит, что щека возле уха у нее припорошена почти незаметным детским пушком. От Пру у нее ясные зеленые глаза и морковного цвета волосы, но ее тонкая, пряменькая фигурка и спокойный овал лица не таят в себе и следа того излома, которым жизнь когда-то отметила Пру, сделав ее красоту, даже в молодости, когда ей было всего двадцать четыре, чуточку неуклюжей, как бы с хромотцой; теперь, после девяти лет совместной жизни с Нельсоном это впечатление странной перекошенности и громоздкости только усилилось. Ей нравится Гарри, а она нравится ему, хотя им ни разу не удавалось улучить момент и высказать это вслух так, чтобы не делать это достоянием остальных членов семейства.

— Нет, вы только полюбуйтесь, какие красотки к нам пожаловали! — говорит он, приветствуя мать и дочь.

Девочка Джуди морщит носик и объявляет:

— Дедушка опять ел сладкое! И как ему только не стыдно! Я по запаху догадалась — что-то с арахисом, меня не проведешь! Вон у него даже кусочек застрял в зубах. Стыдно, ай как стыдно!

Что ему оставалось? Только посмеяться этому выговору — егоза попала прямо в яблочко, да еще так забавно прозвучало в ее детских устах это пенсильванское «ай как стыдно». Диалектные различия мало-помалу исчезают, но происходит это довольно медленно, ведь дети на лету перенимают все у взрослых. Скорее всего Джуди краем уха слыхала, как у них дома Нельсон и Пру, а может, и Дженис обсуждали в связи с его персоной проблему лишнего веса и неправильного питания. И если так, со здоровьем у него, видать, и впрямь неважно, хуже, чем он думает. Наверно, он стал скверно выглядеть.

— Вот черт! — говорит он, смутившись. — Ничего не утаишь. Ты сама-то как, Пру? Как жизнь?

Невестка удивляет его тем, что, не дав ему запечатлеть ритуальный поцелуй у нее на щеке, первая порывисто целует его в губы. Уголки ее рта опущены книзу — асимметрично, горестно, застенчиво, но губы у нее теплые, теплые и мягкие, и большие, как две продолговатые подушки. Такими они остаются в его воспоминаниях об этом поцелуе.

С тех пор как он впервые увидел Пру под крышей дома мамаши Спрингер тем далеким летом — худую, нескладную девицу, свалившуюся на них как снег на голову, беременную подружку Нельсона родом из Огайо, католичку-секретаршу в Кентском университете по имени Тереза Лубелл, будущую мать двоих его внуков, ту, кому суждено было переправить его гены в вечность, — она порядком раздалась вширь, но тучной не стала, не разжирела по образу и подобию коренных пенсильванцев. Словно невидимые распорки слегка раздвинули все ее кости и образовавшиеся пустоты тут же заполнились новым кальцием, а кожа послушно растянулась, приноравливаясь к увеличившемуся каркасу, в результате чего с фасада ее стало заметно больше. Лицо ее, прежде узкое, временами кажется теперь плоской маской. Росту она и всегда была высокого, а вот прическа у нее изменилась: закалившись с годами в роли жены и матери семейства, она остригла свои длинные прямые волосы и сделала с ними что-то такое, отчего они топорщатся, как перья на растопыренном крыле, — в общем и целом это отдаленно напоминает прическу сфинкса. В плечах и бедрах она тоже раздалась, и этого не скрывает строгий рисунок (коричневые, белые и черные квадратики и ромбики в такой комбинации, что кажутся объемными) ее костюма из легкой ткани, сильно помятого после трехчасового сидения в самолете, да еще с ребенком на руках. На одном плече у нее висит туго набитая синяя сумка, руками она прижимает к себе верблюжьего цвета пальто, две детские куртки, несколько детских книжек в скользких обложках, изданных по следам утренних телевизионных шоу, лоскутную куклу с пухлым бежевым лицом и надувного динозавра. Кисти рук у нее большие, с красными, в трещинках костяшками. У матери Гарри были такие руки — от бесконечной стирки и мытья посуды. Но как Пру умудрилась довести их до такого состояния? В наше-то время, когда дома у всех заставлены всевозможными агрегатами? Какую-то долю секунды он ошарашено смотрит на нее в послепоцелуйном дурмане. Чувство новизны, которое он ощущал когда-то, заимев жену, семью, довольно скоро поблекло, но его по-прежнему приятно будоражит сознание, что у него есть настоящая, во плоти, молодая невестка.

Она говорит — нарочито фамильярно, маскируя таким образом свою природную скованность:

— Выглядите как огурчик, Гарри. Юг и солнце вам на пользу.

Как все-таки понимать этот поцелуй? Такая порывистость, с чего бы? Не от радости, скорей от тоски. Она и Нельсон никогда не были идеальной парой.

— Ты одна так думаешь, — говорит он и хватается за сумку у нее на плече. — Давай-ка я тебя маленько разгружу, хотя бы сумку возьму.

Пру сдвигает в сторону пальто и игрушки, чтобы освободить руку и позволить ему снять с плеча лямку, и одновременно спрашивает:

— А вам можно?

Гарри возмущается:

— По какому праву все обращаются со мной как с каким-то растреклятым инвалидом? — Но вопрос его обращен в воздух: Пру и Дженис с фальшивой сердечностью энергично стискивают друг друга в объятиях, а Нельсон уже шлепает вперед по длинному серому коридору, оседая под тяжестью Роя, вновь прикорнувшего у него на плече. Гарри испытывает прилив раздражения, замечая, что, хотя Нельсон свежеподстрижен, волосок к волоску, парикмахер зачем-то оставил ему сзади идиотский хвостик наподобие крысиного, который свисает на воротничок рубашки и только подчеркивает расползающуюся лысину на затылке. Он что, забыл, сколько ему лет? Все ходит в юнцах? Джуди хочет нагнать отца, но он и не думает подождать ее и даже не оглядывается. А девочка как раз достигла того возраста, когда интуиция подсказывает ей, что она, красиво и практично одетая — именно так, как подобает одеваться в полет, — не должна, забыв всякое достоинство, бежать вприпрыжку, чтобы кого-то там догонять. На ней темно-синее зимнее пальто поверх розового летнего платья; из-под пальто выглядывает розовый подол, а еще ниже сверкают ее голые ноги, какие-то очень длинные — еще длиннее стали с начала ноября, когда он ее видел. Но сражен он другим — ее головкой, шелковистыми морковного цвета волосами, заплетенными в короткую косичку с большим белым бантом. Глядя на эту белую ленту, он почему-то вспоминает, что ее мать была воспитана в католической вере — в убранстве из белых лент фигуры Пречистой Девы или младенца Христа плывут над толпой во время религиозных процессий, парят в небесной лазури. Гладкая головка девочки — только косица сзади прыгает, ведь Джуди еле сдерживается, чтобы не перейти на бег, — так послушно, так естественно несет на себе повязанный матерью нарядный бант, что Гарри расплывается в улыбке. В несколько шагов он настигает ее, наклоняется и говорит: «Куда бежишь, красавица?» — и берет ее за руку, которую она по детской привычке, не задумываясь, протягивает. Ладошка у нее влажная, и он удивляется, как чуть раньше удивлялся, что губы ее матери такие теплые. Ее головка с ниточкой светлого пробора доходит ему уже до пояса, даже чуть выше. Она жалуется матери (так слыхал Гарри от Дженис), что в их четвертом классе она выше всех других девочек. Негодные мальчишки дразнят ее.

— Ну как школа? — спрашивает он.

— Школа — гадость! — сообщает ему Джуди. — Там все такие противные и задаются. Девчонки в особенности — воображалы!

— А ты сама никогда не задаешься?

Немного поразмыслив, она отвечает:

— Там есть несколько мальчишек, они все время ко мне пристают, так я их посылаю в жопу.

Он даже языком прищелкнул.

— Ничего себе выраженьица у вас в четвертом классе! Не слишком ли?

— Ничего не слишком, — спокойно поясняет она. — Даже учительница иногда говорит «к чертям», когда мы ее доводим.

— А как вы ее доводите?

Джуди улыбается, глядя на него снизу вверх, — улыбка у нее, как у матери: быстрая, во весь рот, но без этих печально опущенных уголков губ.

— Ну, например, начинаем все вместе гудеть, а рты у всех закрыты, на кого хочешь, на того и думай. А на позапрошлой неделе она заставила нас хором петь рождественские гимны, и один мальчишка, он из тех, которые ко мне пристают, заявил, что она не имеет права, у его родителей другая вера, а отец у него адвокат и он всех засудит.

— Вот поганец! Надавать бы ему по заднице! — говорит Кролик.

— Дедушка, не надо ругаться!

— Это не ругательство, я только назвал место, по которому его надо отшлепать. «Жопа» гораздо грубее, если хочешь знать. Постой-ка! Вот тут я покупал арахисовую плитку, которую ты так ловко унюхала. Хочешь, тебе тоже что-нибудь купим?

— Сначала лучше спроси маму.

Гарри разворачивается и ждет, когда обе мамаши, которые бредут, касаясь друг друга бедрами, голова к голове, и доверительно о чем-то беседуют, наконец поравняются с ними.

— Пру, — окликает он ее, — может, один батончик не испортит Джуди зубы?

Она поднимает голову и смотрит на него рассеянно, но улыбнуться не забывает.

— Ну, будем надеяться, она не умрет на месте, хотя мы с Нельсоном стараемся не приучать ее ко всякой ерунде.

— Если будешь что-то покупать, Гарри, — вставляет Дженис, — бери сразу в двойном количестве — и для Роя тоже.

— Да ведь Рой спит, к тому же он в два раза меньше ее.

— Тем не менее он сразу заметит, что ты ее выделяешь. Он только-только стал выбираться из ее тени.

Какой такой тени? Неужто малышка Джуди кого-то заслоняет? Может, и он сам заслонял свою сестренку Мим? Что ж, она успела отбежать на порядочное расстояние от округа Дайамонд, если этим что-то определяется. Сумела проявить прыть, пожила в Лас-Вегасе на полную катушку, так там и осталась.

— Только не пропадай навеки, — предупреждает его Дженис. — Или отдай мне ключи, чтобы мы могли сесть в машину. У них еще две сумки — заставили сдать в багаж в Ньюарке. Нельсон, наверно, пошел их получать.

— Уж не знаю, куда он помчался как нахлестанный. Что с ним? На кого он злится?

— Скорей всего на меня, — говорит Пру. — Но я уже давно перестала гадать отчего и почему.

Гарри роется сначала в одном кармане своих клетчатых брюк для гольфа, но извлекает оттуда только несколько подставочек и пластмассовый маркер с двумя синими буквами «ВВ» (Вальгалла-Вилидж), а затем лезет в другой, где наконец натыкается на рельефно-бороздчатую связку ключей. Со словами: «Внимание! Воздух!» — он бросает ключи Дженис. Она по-женски испуганно всплескивает руками, и вся связка, удачно миновав их, ударяется ей куда-то пониже груди. Даже это смехотворное усилие — нашарить и кинуть ключи — кажется ему непомерным: как будто чтобы поднять руку, ему пришлось тащить ее из вязкой трясины. Да, не получилось. Не дали ему просто так без лишних разговоров купить внучке гостинец, все удовольствие испортили. Вместо плитки «Плантер» с арахисом, на которую он нацелился, она выбирает «Небесный батончик» — пять разных, приторно-сладких наполнений в пяти горбатых квадратиках чистого шоколада, — и впрямь погибель для зубов, ворчливо думает Гарри. Он сует руку в задний карман заношенных брюк, клетки вылиняли на солнце, а края карманов потемнели от пота рук, вытаскивает бумажник и какое-то время неуверенно топчется возле полки со сладостями и никак не может решить, то ли покупать ему для себя еще одну ореховую плитку (хорошо бы на этот раз попалась целая, не расколотая), то ли нет, и наконец останавливается на последнем, потому что он и так ест слишком много, слишком много вредной ерунды, как выражаются Пру и его здешний врач, старичок доктор Моррис, а потом, в самый последний момент, когда продавщица-негритянка за прилавком в восьмиугольном павильоне уже отсчитывает ему сдачу с доллара за «Небесный батончик», вдруг передумывает и решает-таки купить хрустящий арахисовый соблазн. Главная прелесть ведь не в том, чтобы проглотить и переварить, а в ни с чем не сравнимом ощущении, когда берешь в рот первый бугристый по краям уголок, откусываешь первый квадратик и блаженно ждешь, пока связующая сладость медленно растворяется. К его удивлению и даже возмущению, теперь ему не только не положена сдача, но он же сам еще должен этой черной женщине — кстати, с довольно редким для американских негров цветом кожи, каким-то уж очень строгим, матовым, тусклым, как грифельная доска, наверно, гаитянка или доминиканка, во Флориде полно «лодочного народа» — пятицентовик сверху (налог штата). Ну и цены в аэропортах! Вообще там, где нет конкуренции, тебя вмиг прижмут к ногтю. Убери конкуренцию и получишь социализм: каждый норовит прожить на дармовщинку — та еще экономика, вроде как на Кубе или на Гаити. Он на минутку задержался кинуть взгляд на стеллаж с журналами. Верхний ряд — порнуха, каждый журнал запечатан в прозрачную пленку вместе с кусочками цветной бумаги, скрывающими кое-какие детали на обнаженных телах соблазнительных девиц с разинутыми ртами — словно бы в непроходящем изумлении перед собственными прелестями: «Хастлер», «Гэллери», «Клуб», «Пентхаус», «Уи», «Лайв», «Фокс». Он представляет, как, набравшись смелости, покупает один из этих журналов, хотя гаитянка за прилавком буравит его осуждающим взглядом — все выходцы с Карибов убежденные евангелисты-фундаменталисты, так и видишь их крытые жестью церкви, где они истошно вопят, чтобы конец света наступил поскорее, желательно прямо сейчас, — тайком проносит его в дом и, улучив момент, когда Дженис уснет, или уйдет на кухню готовить, или отправится заниматься в какую-то свою очередную секцию, досыта наглядится на роскошные развороты — розовые промежности, огромные торчащие груди и попки с раздвинутыми ягодицами, заснятые под таким углом, чтоб заодно видны были и выбритые передки с их печальной анатомической беззащитностью, точно какие-то моллюски без раковин; но он с грустью предвидит, что все это не способно по-настоящему его возбудить, над всеми остальными эмоциями возобладают скука и досада на себя за глупое расточительство. Четыре доллара двадцать пять центов стоит нынче это удовольствие, и чем же нас соблазняют? «Секс-сирены в сауне», «Кара Лотт не подведет», «Оральный секс: советы гурманам». Как же мы гнусны, если вдуматься, — мясные отбросы.

— Ну же, дедушка, пойдем! Чего ты застрял?

И они на рысях устремляются вдогонку за остальными членами семейства — тех уже и след простыл. Гладкая головка Джуди с лентой в волосах, выныривая то с одной стороны от него, то вдруг с другой, заставляет его нервничать, как те ключи от машины, которые ему не сразу удалось нашарить в кармане: вот и Дженис говорит, что он впадает в маразм, а сама даже поймать ничего не может, росомаха неуклюжая. Конечно, если их внучку похитят прямо у него из-под носа, не только она будет считать его маразматиком.

— Так, спокойно, — наставляет он Джуди у верхней ступеньки эскалатора, — выбери ступеньку, шагни на нее и стой. Старайся не ступить на щель. — И потом внизу: — Так, теперь сойдем, не надо спешить, без паники, у тебя все получится.

— У нас полно эскалаторов, в каждом торговом центре, я все время на них езжу, — говорит она, обиженно поджав ротик с размазанными крошками шоколада в углах.

— Куда, к дьяволу, они запропастились? — спрашивает он ее, потому что среди всей этой загорелой шумной толпы, заполняющей нижний этаж аэропорта юго-западной Флориды, где потолки повыше и сходство с туннелем или склепом не столь очевидно, хотя приглушенные стальные раскаты судьбы, от которых в животе что-то переворачивается, настигают его и здесь, он не видит ни одного знакомого лица, все чужие, будто он сошел в преисподнюю.

— Мы потерялись, да, дедушка?

— Нет, не может быть, — успокаивает он ее.

Перед лицом этого небольшого затруднения он вдруг с новой силой осознал ее драгоценную красоту, ювелирную линию ее глаз и ресниц, нежнейший пушок на щеках возле уха и блеск каждой ниточки ее бесподобных волос, гладко зачесанных назад и собранных на затылке в толстенькую косичку, которая украшена неправдоподобно нарядным белым бантом. Только теперь он замечает у нее в волосах еще и две симметричные белые заколки в виде бабочек. Джуди пытливо заглядывает ему в лицо и еле сдерживает слезы, видя его рассеянно-отсутствующее выражение.

— Мне жарко в этом пальто, — хнычет она.

— А ты сними, я понесу, — предлагает он.

Он перекидывает пальто через руку, словно взвешивая мягкую теплую ткань, а она, выпорхнув из него, в своем розовом платьице сама теперь как бабочка. В этой серой клокочущей преисподней аэропорта ее зеленые глаза стали еще больше, смотрят на него из-под рыжевато-каштановых бровей — на одной, ближе к основанию, возле плавного перехода к веснушчатому носику, заметен маленький вихор, несколько непослушных волосинок, не желающих загибаться, куда положено; у Нельсона на брови тоже такой вихор, он унаследовал его от Гарри, который не раз, стоя перед зеркалом в школьной уборной, слюнил средний палец и усердно приглаживал бровь. Поразительно, что такая ничтожная деталь может передаваться из поколения в поколение. Наверно, только на такое бессмертие мы и можем рассчитывать: какой-нибудь генетический завиток, который потом воспроизводится снова и снова, как однажды заложенный в компьютер номер неизменно появляется на ежемесячном извещении о состоянии нашего банковского счета. Бесплотные, как призраки, фигуры, все эти чужие, незнакомые люди теснят, обгоняют со всех сторон их двоих. Они словно остров, затерянный среди океана шуток, громкоголосого обмена новостями и объятий; люди с устоявшимся, бронзовым, отливающим в синеву загаром, какой бывает только у тех, кто по многу месяцев живет во Флориде, стискивают в объятиях вновь прибывших — цвета обойного клейстера. Гарри говорит, просто для того чтобы Джуди услышала его голос:

— Наверно, они там, где выдают багаж.

Он задирает голову, находит табличку с надписью «Выдача багажа» и, взяв ее маленькую влажную руку в свою, увлекает за собой к толпе, обступившей багажный транспортер, который уже пришел в движение. Но ни Пру, ни Дженис, ни Нельсона, ни Роя нигде не видно. Они вглядываются в лица, но ни одно из них не накладывается на знакомый образ. Глаза его, на которые он никогда не жаловался, в последнее время нередко его беспокоят, стоит ему попасть куда-то, где освещение искусственное. Синяя сумка с лямкой через плечо, которую Пру согласилась ему уступить, тяжелее, чем он думал, — кирпичами набита, не иначе. Он чувствует неприятное жжение в плече и глазах.

— Думаю, — решает он высказать предположение, хотя и маловероятное, — они уже пошли к машине.

Он привычно хлопает себя по карману, где всегда лежат ключи от машины, но не нащупывает связки и на мгновение пугается, но потом спохватывается, вспомнив, как кинул ключи Дженис. Ну конечно. Он уверенно направляется на выход к дверям из коричневого стекла, но перед ним неожиданно раздвигается дверь, над которой значится «Выхода нет», — ее электронный глаз на него среагировал. Тогда он понимает, что Джуди правильно тянула его к другой двери. Там через открытый проем их обдает знойным воздухом, и в следующую секунду они уже стоят, окруженные им со всех сторон. Солнце пробилось сквозь паволоку молочно-белых перистых облаков. Оно отскакивает от глянцевых, будто навощенных, листьев каких-то безымянных тропических цветов высотой ему до колена. Оно подмигивает, слепит, отражаясь в массе движущихся машин, которые нескончаемым свирепым потоком проносятся по подъездному рукаву возле самого поребрика. Он крепче сжимает руку Джуди, опасаясь, как бы ребенку не пришло в голову внезапно выскочить на проезжую часть, — во всех нас бродят какие-то непредсказуемые импульсы. Они вместе переходят дорогу к озерцу поблескивающих машин, туда, где он припарковался. Но где, где именно? Он напрочь забыл, где оставил машину.

«Камри-делюкс» с кузовом универсал, цвет жемчужно-серый «металлик», усиленный мотор: 24 клапана, 2,5 литра, 6 цилиндров. Когда он парковался, он был еще так зол на красный «камаро», заставивший его уступить дорогу, и на Дженис с ее дурацкими замечаниями, что ему и в голову не пришло запомнить место. Он отлично помнит «зебру» перехода, декоративную горку на центральной полосе, где какой-то изголодавшийся по солнцу студентик растянулся плашмя, сунув под голову рюкзак, чтобы урвать несколько лишних солнечных лучей, и еще суматошного старикана, который вообразил себя тут самым главным и жестами показывал каждому вновь прибывшему, где выход, а заодно и касса платить за стоянку, настырный такой старикашка, вроде того, в аэропорту, что как заведенный, не закрывая рта, покрикивал на свою жену Грейс, того, что встречал пышноволосую, длиннозубую, улыбчивую еврейскую принцессу, ростом на голову выше их обоих; а вот в каком ряду он оставил машину — не помнит. Он оставил ее где-то среди омертвелых клеток собственного мозга — субстанции, в которую неизбежно превратится весь целиком мозг каждого из нас, когда мы умрем, если только к этому времени человечество не изобретет чего-то сверхневероятного. Дженис иногда приносит домой номера журнала «Нэшнл инкуайерер», где постоянно публикуются статьи о том, что чувствовали и испытывали разные люди, побывавшие на пороге смерти, но для Гарри все эти россказни примерно того же порядка, что сообщения о зеленых человечках из летающих тарелок. Даже если это правда, она малоутешительна. Ручка Джуди выскользнула из его руки, а он все стоит в недоумении и растерянности на узком газоне с бермудской травой на краю парковочной площадки — бермудская трава растет тут повсюду, усердно поливаемая из разбрызгивателей, но ему кажется, что она какая-то ненастоящая, не как обычная трава, чересчур лохматая и широкая, и под ногами так странно похрустывает. У него заныло в груди. Непонятная, расползающаяся боль охватывает его будто лентой, накрепко пришитой изнутри к его коже.

Голос Джуди тянется к нему снизу вверх, как тонкий спасательный леер.

— Какого цвета твоя машина, дедушка?

— Да обычного, — говорит он, стараясь составлять предложения покороче, чтобы не всколыхнуть боль. — Светло-серого. «Металлик». Таких машин через одну. Не бойся. Я еще вспомню, где оставил ее.

Бедный ребенок изо всех сил старается не заплакать, но, кажется, силы эти на исходе.

— Папа же уедет! — кричит она.

— Как так? Оставит тебя и меня здесь? Ну! Зачем ему так поступать? Он этого не сделает, Джуди.

— Он иногда ужасно злится, просто так, ни с чего.

— Может, не просто так, может, не все тебе говорит? А ты сама? Разве не бывает, что ты тоже злишься?

— Бывает, но не так, как папа. Мама говорит, ему надо обратиться к врачу.

— Думаю, нам всем время от времени не мешает показаться врачу. — Предчувствие судьбы тоненькой струйкой студеной воды затекает Кролику в желудок. Врачи. Его здешний доктор начинает потихоньку привлекать к практике своего сына, так что, если он сам вдруг рухнет замертво, сынок уже будет на подхвате, ни один полис «Медикэр»[[9]](#footnote-9) не проскочит мимо. Жизнь что парковка: какое-то время занимаешь там место, а время истекло — отъезжай, освободи место следующему, и это справедливо. Он пробегает взглядом по длинным рядам поблескивающего металла, надеясь, что где-нибудь мелькнет серая полоска и он ее сразу узнает, и вдруг начинает сомневаться, а не перепутал ли он цвет: у него за жизнь было столько разных машин, а уж сколько он их продал — вообще не счесть. Он бодро заявляет:

— По-моему, я поставил машину где-то там, слева. Примерно в третьем ряду. Понимаешь, какая штука получилась, Джуди, вон тот старичок, он тут вроде распорядителя, так размахивал руками, так старался, чтобы все шли, куда он указывает, что я разозлился на него, паршивца, и малость отвлекся. Ты ведь тоже поди не любишь, когда другие строят из себя начальников, будто они одни во всем разбираются, правда?

Рыженькая головка девочки кивает сбоку от него — она слишком расстроена, чтобы вымолвить «да».

Кролик продолжает без паузы, торопясь разогнать сгустившиеся тучи:

— Так уж я устроен, что, если мне приказывают делать то-то и то-то, мне сразу хочется сделать все наоборот. Из-за этого я часто попадал в разные переплеты, зато не было скучно! Если старикан начальник махал рукой в одну сторону, будь уверена, я поехал в другую и сам нашел себе место.

И вдруг, на секунду, словно просвет открылся на ленте, стиснувшей ему грудь, он и впрямь *видит* это место: сразу за кремовым фургоном («форд бивуак») с водянисто-голубыми номерами Миннесоты — он еще был припаркован кое-как, нахально заполз за белую линию, все будто сговорились ему досадить. Пришлось вписываться, рассчитывая все до миллиметра, чтобы Дженис могла потом открыть дверцу справа и чтобы не чиркнуть крылом темно-вишневый «гэлакси» слева. И теперь вдалеке, в дрожащем флоридском зное, он видит бежевую полоску, приподнятую над другими металлическими крышами. Третий ряд, стоит, голубушка, втиснута, как клин. Он победно восклицает: «Есть, Джуди, вижу! Пошли!» — и снова берет ее за руку, оберегая ее хрупкое совершенство от бездушных автолюбителей, описывающих круги в поисках места. Этими огромными белыми «кадиллаками» и «олдсами»[[10]](#footnote-10) вечно правит какой-нибудь сморщенный старый шофер, и дороги-то перед собой небось не видит — один капот, держится, бедолага, за руль, весь усохший, скрюченный остеопорозом... эта напасть ему, Кролику, самому пока не грозит, в нем вроде все еще его законные шесть футов три дюйма росту, во всяком случае, пол брюками не подметает, но его жену эта проблема серьезно беспокоит, и по телевизору ее без конца мусолят, есть такой рекламный ролик про двух женщин в поезде, вообще женщин это больше касается, кости-то у них помельче, чем у мужчин, Дженис даже принимает таблетки кальция, среди всяких прочих витаминов, каждое утро, за завтраком: стакан апельсинового сока и горсть витаминов. Господи, вот у кого здоровья хоть отбавляй. Она будет жить вечно — назло ему.

Наконец по таящему миллион опасностей раскаленному асфальту он и девочка Джуди подходят к жемчужно-серой «камри» — это его машина, теперь он точно знает: на заднем сиденье теннисная ракетка и рама-зажим валяются отдельно друг от друга. Вот ведь дура набитая, что толку в раме, если ты все равно не держишь в ней ракетку?.. Но в машине никого нет, она заперта, а ключи Гарри самолично вынул из кармана и метнул в воздух. Девочка начинает всхлипывать. Хорошо еще, у него есть при себе носовой платок, в заднем кармане его выцветших клетчатых брюк для гольфа. Он опускает на асфальт тяжелую синюю сумку, а детское пальтишко, которое нес в руках, кладет на крышу машины, как если бы хотел застолбить место, потом опускается на корточки и стирает следы «Небесного батончика» с губ Джуди и слезы с ее щек. Ему самому сейчас так худо, что хоть плачь — посиди-ка вот эдак на корточках возле раскаленного автомобильного крыла, да притом еще колени ноют, как назло, и горячее от страха дыхание перепуганного ребенка подбавляет жару знойному воздуху. У нее от горя под веснушчатым носом стало мокро, а рот сжался, посуровел, верхняя губа обиженно подобралась, совсем как у Нельсона, когда он испуган или злится.

— Можем остаться здесь и подождать, пока они сами нас найдут, — терпеливо объясняет Гарри своей внучке положение дел, — или другой вариант: можем вернуться обратно и поискать их. Сдается мне, мы уже порядком устали и нажарились и лучше бы нам не трогаться с места, а? Хочешь поиграем в такую игру: кто больше насчитает по номерным знакам разных штатов?

Услышав это предложение, она, шмыгнув носом, смеется сквозь слезы:

— Тогда мы опять потеряемся.

Ее набрякшие веки покраснели, в зеленых радужных оболочках сверкают крошечные искорки света, вроде тех микроскопических частичек в краске «металлик», благодаря которым выкрашенная поверхность кажется усеянной блестками.

— Давай-ка поглядим, — тормошит он ее. — Вот здесь у нас Миннесота — видишь сосенки? «Десять тысяч озер». Счет один — ноль в пользу дедушки.

На этот раз Джуди только улыбается, не снисходя больше до смеха: она понимает, что он пытается заслужить прощение за свою ошибку — ведь это по его вине они потерялись.

— Мы-то как раз не потерялись, мы-то знаем, где мы находимся, — заверяет он ее. — Потерялись они!

Он поднимается с корточек — сколько можно тут сидеть перед ней, маленькая привереда! — и выпрямляется во весь рост, чтобы наконец разогнуть колени и хоть немного уменьшить неприятное стеснение в груди.

И тут он замечает их. Они идут к ним, уже перешли по «зебре» на их сторону и идут, волоча за собой дорожные сумки и чемоданы. Сперва он видит Нельсона с Роем на плечах — ни дать ни взять чудище о двух головах, потом рыжеволосую голову Пру с прической, как у сфинкса, и белое теннисное платье Дженис. Гарри, по грудь утопая в море автомобильных крыш, размахивает рукой из стороны в сторону, будто судьба забросила его на необитаемый остров. Дженис машет ему в ответ, точнее сказать, наспех отмахивается, как если бы он не к месту влез в разговор, не имеющий к нему никакого отношения.

Но когда семейство наконец воссоединяется, Нельсон впадает в бешенство. Лицо у него белеет, верхняя губа поджата и злобно подрагивает.

— Боже правый, папа, где вас носит? Нам пришлось снова подняться наверх к этому идиотскому киоску с конфетами, договорились же встретиться у выдачи багажа, в чем дело?

— Да мы туда и пришли, правда, Джуди? — говорит Гарри и смотрит на сына, вновь поражаясь его плешивости, которая как-то особенно заметна здесь, под беспощадным флоридским солнцем, легко пронизывающим поредевшие пряди, и его усикам, нелепому мышиного цвета клочочку — будто свалявшийся катышек пыли вымели из-под мебели и прилепили ему под носом. Он и раньше замечал перемены в его внешности и все-таки до сих пор каждый раз удивляется заново, как удивляется сейчас вееру морщинок в углах глаз и недовольным складкам на щеках — тем следам, которые время оставило на лице его сына и которые в ярком солнечном свете видны до мельчайших подробностей. — Мы задержались возле сладостей всего на минутку, не больше, а потом сразу спустились на эскалаторе вниз и пошли к багажным лентам, — говорит Кролик, очень довольный тем, что может абсолютно точно восстановить в памяти всю последовательность действий, абсолютно точно воспроизвести все зрительные образы: два батончика, недостающий пятицентовик, из-за которого ему пришлось снова рыться в кармане, пока продавщица-гаитянка ждала, протянув к нему ладонь цвета серебристого лака, эротические журналы с разинутыми ртами девиц, ребристые ступени эскалатора, внушавшие ему опасение, как бы Джуди на них не оступилась. — Наверно, мы просто не заметили друг друга в этой толчее, — добавляет он, пытаясь списать все на недоразумение и больше не выяснять, кто виноват. Он побаивается своего сына.

Дженис открывает их «камри». Из открытой дверцы, как джинн из бутылки, вырывается обжигающее дыхание и, коснувшись их лиц, рассасывается в воздухе. Они укладывают чемоданы в багажник. Пру снимает осовелого малыша у Нельсона с плеча и устраивает его в темной глубине заднего сиденья; во рту у Роя большой палец, его темные глаза с секунду смотрят не видя прямо перед собой. Нельсон, чьи руки теперь освободились, хлопает ладонью по крыше «камри» и вопит, заходясь от бешеного раздражения:

— Проклятье! Мы чуть с ума не сошли! И все из-за тебя, папа, понимаешь ты?! Мы думали, ты потерял ее! — У Нельсона, когда он охвачен страхом или гневом, бывает такой вид, что Гарри всякий раз невольно вспоминает выражение «белый как смерть»: от нервного напряжения вся краска сходит у него с лица и глаза глубоко западают в провалы глазниц. Это у мальчика от матери, а у самой Дженис — от ее матери, толстой старой Бесси, та была с норовом, как все Кернеры, в чем и сама охотно признавалась.

— Мы все время были вместе, — спокойно отвечает ему Кролик. — И не надо стучать по машине, не твоя. Мало ты машин разбил на своем веку?

— Ara, я-то машины бил, а ты людям жизнь калечил. Нет, полюбуйтесь, теперь он у меня дочку похитил, черт ее дери!

— Что ты несешь... — начал было Гарри. Холодная стрела боли проходит насквозь через подмышку вниз, в левую руку. Он на миг закрывает глаза. — Это же моя внучка... — собрав последние силы, говорит он. На большее его не хватает.

Дженис, глядя ему в лицо, спрашивает:

— Да что с тобой, Гарри?

— Ничего, — огрызается он. — Со мной ничего. Но этот психопат, сынок наш, меня доведет! Не знаю, с чего его так подкидывает, я-то тут при чем? — Какое-то странное газообразное облако, заполнившее его грудь и голову, вдруг устремилось вниз, вслед за стрелой. Он расслабленно падает на водительское место, чувствуя, что не совсем ясно понимает, что к чему, но полный решимости вести машину. Когда переходишь в разряд пенсионеров, у тебя мало-помалу вырабатывается свой собственный режим жизни, и всякое вторжение других людей, в том числе и так называемых родных и близких, выбивает из колеи. Эти другие, то бишь остальные члены их с Дженис семейства, загружаются в машину позади него. Пру, качнув красиво очерченным широким задом, втиснутым в костюм с объемно-геометрическим рисунком, опускается на заднее сиденье рядом с посапывающим Роем, а Нельсон влезает с другой стороны и усаживается прямо позади Гарри, так что тот чувствует на шее под волосами его дыхание. Гарри поворачивает голову на максимально возможный градус и говорит Нельсону, скосив зрачок к самому уголку глаза: — Я против выражения «похитил».

— Против так против, ничем не могу помочь. Впечатление было очень похожее. Только что были, и вдруг раз — нигде нет, как сквозь землю провалились.

Как «Пан-Ам» — 103 на экране радара.

— Но мы-то знали, где мы, правда, Джуди? — Повысив голос, Гарри обращается назад. Девочка переползла через родителей и брата в багажный отсек и устроилась там среди вещей. В зеркале заднего обзора Гарри видит ее профиль с косичкой и нарядным бантом.

— Я сама не очень-то знала, но я знала, что ты знаешь, — отвечает она, как верный друг, протягивая ему тоненькую ниточку своего голоса.

Нельсон делает попытку извиниться.

— Я, конечно, напрасно так распсиховался, — говорит он, — но тебе не понять, какая это головная боль — иметь двоих детей, и потом, учти, мы добирались сюда целый день, и в довершение всего — на тебе, собственный отец крадет одного из твоих детей...

— Да не крал я ее, Господи помилуй! — перебивает Гарри. — Я покупал ей «Небесный батончик». — Он чувствует, как его сердце пускается вскачь, прыгает в бешеном галопе, и какой-то шальной удар снова и снова не в такт отдается в ноге. Он заводит «камри» и включает переднюю передачу, машина дергается с места, он жмет на тормоз и, перейдя на заднюю, начинает потихонечку выезжать, стараясь не приложиться к «бивуаку» из Миннесоты — не стукнуть ненароком выступающее сбоку зеркало и сам бок, украшенный гоночной полосой из трех оттенков коричневого цвета.

— Гарри, хочешь, я поведу? — спрашивает Дженис.

— Нет, не хочу, — говорит он. — С чего ты взяла, что я хочу?

Она в нерешительности молчит. Даже не глядя на нее, он ясно видит это выражение нерешительности: остренький кончик языка высовывается наружу и замирает у верхней губы, что у нее означает умственное усилие — уж он-то знает ее как облупленную. Он до такой степени знает ее, что поддерживать с ней разговор для него все равно как бороться врукопашную с самим собой.

— Просто минуту назад у тебя было такое лицо, — осторожно начинает она, — такое, что у меня...

— Белое как смерть?

— Вроде того.

Старикашка, который мнит себя главным распорядителем, указывает им, куда надо ехать — вдоль стрелок на асфальте к кассовой будке. Машины выстраиваются в очередь, прямо перед ними бежевая «хонда-аккорд» с номерами Нью-Джерси — «Штат садов»; затылки тех, кто в ней сидит, почему-то кажутся знакомыми — ну, конечно, это тот шустрый коротышка-попрыгунчик, который, огибая стулья, зигзагами проскакал через весь зал ожидания, и рядом с ним наша старая знакомая Грейс, а над задним сиденьем возвышается кучерявая шевелюра дочери и еще одна голова, даже выше и кучерявее, вся в тугих завитках, — голова молодого негра в стильном деловом костюме, про которого Гарри подумал, что он прибыл сам по себе и ничего общего с этим семейством не имеет. Старик папаша мелет языком не закрывая рта и отчаянно жестикулирует, а негр только кивает, точь-в-точь как кивал Гарри в ответ на поучения Фреда Спрингера. Да, нелегкая это работа — выслушивать тестя, даже когда вы с ним одного цвета. Гарри так увлечен, что едва не въезжает «хонде» в зад.

— Тормози, милый, тормози же! — не выдерживает Дженис, и откуда-то из белого расплывающегося пятна ее теннисного платья, каким оно распознается его боковым зрением, она протягивает ему пятьдесят центов для уплаты за стоянку. Узкоглазый парнишка, глухой ко всему вокруг в своих стереонаушниках, берет две монетки по двадцать пять центов рукой, дергающейся в такт ритму, который слышен ему одному, и полосатый шлагбаум поднимается перед ними — они свободны, могут катиться домой.

— Это ж надо, — говорит Гарри, выезжая на злосчастное аэропортное шоссе, — дожили, нечего сказать, собственный сын обвиняет отца в похищении детей. Подумайте, беда какая — у него не один, у него целых два ребенка! Да какая разница, хоть два, хоть один — все равно ты связан по рукам и ногам.

Умышленно или нет, Нельсон задел больное место, ведь у Гарри с Дженис когда-то было двое детей. Их умерший ребенок и по сей день живет с ними, безмолвно, намертво склеивая их сознанием вины и стыда, отравляя неистребимой горечью всю подноготную их жизни. И еще Кролик подозревает, что у него есть внебрачная дочь, на три года младше Нельсона, от женщины по имени Рут, хоть та и отрицала его отцовство при их последнем свидании.

А Нельсон уже закусил удила — неймется свести старые счеты.

— Конечно, чего от тебя ждать, ведь Джуди у тебя в любимчиках, а до остальных тебе и дела нет, вон Ройчику даже «агу» не сказал.

— Чего? «Агу»? Да я своим «агу» разбудил бы его, он же спит, как снотворным напичканный. Кстати, вы долго еще будете позволять ему сосать палец? Не пора ли уже ему отучаться?

— Тебе-то что за дело, сосет он палец или не сосет? Тебя это как-то задевает, жить спокойно не дает?

— У него зубы будут криво расти.

— Это все бабушкины сказки, папа! Пру консультировалась у педиатра, и он сказал, что палец сосут не зубами.

Пру негромко вставляет:

— Да, но он и вправду сказал, что ему пора бы отвыкать.

— Ну почему ты вечно ко всему придираешься, папа? — хнычет Нельсон, видать, выдыхается, не знает, к чему бы еще прицепиться. Однако нутро у сыночка зудит, и он не может не почесать его, ну хоть собственным голосом. — Раньше, помнится, тебе все было трын-трава, а теперь на тебя не угодишь, обязательно что-нибудь не так.

Кролик не прочь раскрутить сынка на полную катушку, пусть жена и невестка увидят его во всей красе.

— Терпимости во мне поубавилось, это точно, — соглашается он с улыбкой. — Чем ты старше, тем крепче в тебе сидят какие-то свои привычки и представления. У нас в Вальгалла-Вилидж никто не сосет палец. Может, это запрещено правилами — как плавать в бассейне без резиновой шапочки. Или с серьгой в ухе. Слушай, ответь мне на один вопрос. Как прикажешь понимать это твое украшение, ведь ты женатый мужчина, отец двоих детей?

Нельсон в ответ молчит, будто не его спрашивают, своим молчанием призывая жену и мать полюбоваться на его папашу-изверга.

Они резво едут вперед, между поросших бермудской травой обочин, и пальмы мелькают одна за другой, как телеграфные столбы.

С заднего сиденья раздается голос Пру, отважившейся сменить тему:

— Никак не могу привыкнуть к тому, что Флорида такая плоская.

— Не вся, — уточняет Гарри, — если отъехать от берега вглубь, там кое-где встречаются пригорки. Край пастбищ и апельсиновых рощ. Население — сельские труженики, мексиканцев полным-полно. Можем как-нибудь устроить семейную вылазку в те места. Посмотрим настоящую Флориду.

— Джуди и Рой ждут не дождутся, когда их свезут в Диснейуорлд. — Нельсон честно пытается вести себя благоразумно и переключается на обсуждение планов.

— Больно далеко, — роняет в ответ его отец, — все равно что проехаться из Питтсбурга в Бруэр. Флорида — большой штат. Нужно ехать с ночевкой, заранее бронировать номер в гостинице, в это время года свободных мест не бывает. Нет, не получится.

После этого категорического заявления все молчат, словно воды в рот набрали. Сквозь настойчивый гул кондиционера и мерное шуршание колес Гарри различает доносящийся сзади слабый звук и понимает, что уже второй раз за первые полчаса с их приземления его внучка плачет по его вине. Пру оборачивается к ней и что-то негромко говорит. Гарри бодро кричит, так чтобы сзади было слышно:

— Мы придумаем что-нибудь поинтереснее. Можем опять съездить в Сарасоту в Музей цирка.

— Музей цирка — гадость! — слышит он тоненький голосок Джуди.

— Мы с вами до сих пор не удосужились побывать в Доме-музее Эдисона в Форт-Майерсе, — вещает он тоном патриарха, а все остальные, присмирев, внимают ему.

— А пляж, море, детка? — ласково добавляет Пру. — Ты ведь любишь пляж, вспомни Побережье. — И уже иным голосом, для взрослых, она поясняет Гарри и Дженис: — Она у нас теперь заядлая пловчиха!

— Эти поездки на Побережье в Нью-Джерси — такая скучища, хуже не придумаешь, даже в детстве мне так казалось, — говорит Нельсон родителям, пытаясь вырваться из своей черной тучи и настроиться на семейную волну: его потянуло на воспоминания, захотелось вновь вернуть детство.

— Скучны не поездки, а езда как таковая, — рассуждает Кролик, — при том что это наше основное занятие. Американцы вообще живут на колесах — едешь и едешь куда-то, а потом ровно столько же едешь обратно и никак не можешь понять, кой черт тебя вообще туда понесло.

— Гарри, — говорит Дженис, — опять ты гонишь. Ты на 75-ю свернешь или поедешь прямо до 41-ого?

Из всех дорог, какие Гарри довелось повидать на своем веку, шоссе 41, старая индейская тропа, производит на него самое гнетущее впечатление, неизменное на всей протяженности. Оно шире, чем аналогичные скоростные дороги, открытые для всех типов машин, у них на севере, и почему-то обычная придорожная забегаловка в лучах вечно яркого солнца выглядит стократ уродливее, так и кажется, будто она, как полиэтиленовые мешки с мусором, не может до конца истлеть. УИНН-ДИКСИ. ПАБЛИКС. «Экерд: аптечные товары». «Кей-март». «Уол-март». ТАКО БЕЛЛ. АРК-ПЛАЗА. «Кофе. Бутерброды». «Старвин Марвин: Продукты Вино Пиво по низким ценам». Между этими островками торговли, где продается все — и бензин, и продукты, и спиртное, и лекарства, все вперемешку, как у них тут водится, вопреки всем правилам, — то и дело мелькают бледные низкие здания: у этих заведений свои клиенты: болезни и старость. Артритический реабилитационный центр. Сиделки, нянечки, сестры: бюро услуг. Кардиологический реабилитационный центр. Мануальная терапия. Юридическая помощь: консультации по вопросам медицинского страхования по старости и претензии к медицинскому обслуживанию. Слуховые аппараты и контактные линзы. Центр по лечению заболеваний коленного сустава западного побережья Флориды. Универсальное протезирование. Национальное кремационное общество. На телеграфных проводах вместо привычных воробьишек и стрижей, которых в Пенсильвании встречаешь на каждом шагу, угрюмо сидят пернатые хищники. А над проводами вздымаются ввысь банки, элегантные строения сплошь из дымчатого стекла. «Первый федеральный». «Юго-западный». «Барнет-банк» с его знаменитым электронным «суперкассиром». «Си-энд-эс», хвастливо предлагающий «весь спектр услуг», услужливо ворочающий миллионами и миллиардами, которые складываются из тех денег, что люди сами приносят ему, приволакивают вместе со своими дряхлыми телами, и все это праведное и неправедное богатство, нажитое за жизнь многими гражданами, затопляет здешнюю песчаную низменность, позволяя огромным суперлайнерам из дымчатого стекла безмятежно бороздить ее просторы.

Вдоль 41-ого, между банками и магазинами, между фирмочками, у которых можно приобрести корм для четвероногого друга или заказать поливную установку для сада, на многие мили протянулись вереницы низких жилых домов, крытых толстыми белыми теплозащитными плитками. На расстоянии одного-двух кварталов вглубь от шоссе сквозь завесу выхлопных газов проступают высокие розовые кондоминиумы, очертаниями напоминающие то средневековые испанские замки, то китайские пагоды, а планировкой — разросшийся баньян. Эти деревья, одна из местных диковин, не перестают изумлять Гарри — удивительнее всего в них то, как они разрастаются, выбрасывая вниз плетевидные стебли, которые затем укореняются и дают новые побеги: у него почему-то всякий раз возникает сравнение с гигантской жевательной резинкой, прилипшей к подошве башмака. «Тысяча мелочей». НОВЫЙ ВЗГЛЯД. «Здоровье и жизнь по-американски». Мотель «Звездопад». ИИСУС ХРИСТОС — НАШ ГОСПОДЬ. Его пассажиры, все его семейство, мало-помалу утихают и начинают клевать носом, а он едет вперед, миля за милей, только иногда останавливаясь под светофором на перекрестке — там, где шоссе пересекает какая-нибудь второстепенная дорога, убегающая на запад, к береговой полосе и мангровым болотам, вернее, тому, что от них еще осталось, и на восток — к лохматой прерии, с которой квадрат за квадратом снимают скальп в целях более полного освоения целинных земель. Освоения! Доосваивались, дальше ехать некуда! Каждая отвилка от шоссе 41 — чей-то путь к дому, к собственному гнездышку, затерянному в лабиринте жилищ, к месту для парковки и месту под солнцем, которое досталось хозяевам недешево. Солнце сейчас довольно низко висит над заливом, окрашивая все вокруг в багрянец, так что красный огонь светофора почти неразличим. Вот наконец и поворот к жилищу Энгстромов — отсюда еще две мили по улицам, прямым и извилистым, разным, через кварталы коттеджей на одну семью с приунывшими палисадничками, оживляемыми только пышными плюмажами пампасной травы да цветущими кустами, которые сейчас как раз отдыхают от цветения: самый конец года — засушливая пора. Сперва Дженис и Гарри тоже подумывали купить такой светлый одноэтажный домик, проглядывающий сквозь ветви тропических кустов и апельсиновых деревьев, эдакий чертог прохлады и полумрака, с непременным, скрытым от посторонних глаз бассейном позади, за гаражом с автоматической дверью, но каждый такой дом будил в них болезненные воспоминания об их доме в Пенн-Вилласе, который вдоволь навидался супружеских разладов и отчуждения, пока сам не сгорел — правда, не весь, наполовину — и в конце концов они остановились на квартире с двумя спальнями в кондоминиуме, высоко над землей, на пятом этаже, где с узенького балкона, затененного верхушками норфолкских сосен, открывался вид на поле для гольфа. Из всех адресов, по которым Гарри довелось проживать (Джексон-роуд, 303; Техас, Форт-Худ, 66-й батальон полевой артиллерии, батарея А; Уилбер-стрит, 447, кв. 5; потом еще уж не вспомнить какой номер дома по Летней улице, где он обосновался на пару с Рут Ленард той давнишней весной; Виста-креснт, 26; Джозеф-стрит, 89 — без малого пятнадцать лет, спасибо мамаше Спрингер; Франклин-драйв, 14/2), нынешний далеко позади оставил все остальные по количеству цифр: Пиндо-Палм-бульвар, 59 600, корпус Б, кв. 413. Его не слишком обрадовало число «13» в номере квартиры, он почему-то был уверен, что при нумерации строители это число всегда пропускают, но кто его знает, может, теперь народ не такой суеверный, как прежде. Когда он рос, люди боялись дурных примет, не так чтобы очень, но все же: черная кошка дорогу перебежит — быть беде, или если кто соль просыплет, или зонт в доме раскроет, или ведро перевернет, или под лестницей пройдет. Казалось, у воздуха есть глаза и уши и надо все время кого-то невидимого задабривать.

«Вальгалла-Вилидж»: большой щит на врытом в землю столбе, два слова начертаны вокруг золотого кольца из чистой меди, вмонтированного в щит и сверху для верности залитого эпоксидкой, чтобы ворам и хулиганам неповадно было. Вы сворачиваете к охраняемому въезду на территорию — тут охранник удостоверяется, что вы это вы, — ставите машину на стоянку, на одно из двух мест с номером вашей квартиры, который краской написан прямо на асфальте, открываете своим ключом наружную дверь в корпус Б, набираете номер кода, чтобы войти во внутреннюю дверь, поднимаетесь на лифте и идете по коридору налево. Коридор застлан ковровым покрытием персикового цвета, пахнет освежителем воздуха, заглушающим запах плесени, который здесь, во Флориде, поселяется в любом замкнутом пространстве. Три раза в неделю в коридорах убирают пылесосом и раз в месяц моют с мылом ковры и протирают стены, а возле каждой двери с номером — букетик искусственных цветов, вставленный в маленькую держалку наподобие баскетбольного кольца, а напротив лифта — зеркало, а под ним большая ваза с зеленовато-золотистыми разливами на столике с мраморной столешницей, напоминающей полумесяц, но, несмотря на все это, вас почему-то не тянет лишнюю минуту побыть в коридоре.

Чемоданы то и дело стукаются о серебристо-персиковые стены, Дженис и Пру с похвальным упорством продолжают оживленную трескотню, маленький Рой, которого заставили идти ножками, раз уж он в кои-то веки не спит, каждый свой шаг сопровождает возмущенными рыданиями, и Гарри не оставляет чувство, что они кощунственно нарушают могильный покой, хотя почти все, кто живет за этими дверями, днем редко бывают дома — кто на гольфе, кто на теннисе, кто на сеансе в косметическом салоне или на автобусной экскурсии в национальный парк «Эверглейдс». Здесь живешь так, будто твоя квартира — всего лишь база, холл с кондиционером, откуда попадаешь во дворец, сложенный из солнца, света и простора. Будешь сидеть в четырех стенах — сам начнешь покрываться плесенью. Примерно в полшестого все тут погружается в жуткую тишину сна многих людей сразу, но сейчас еще рано, только четыре.

На двери в 413-ю двойной замок, отпирается он двумя ключами, из которых один открывает и наружную дверь внизу. Чувствуя, как сзади на него всей тяжестью наваливается его изнывающее от нетерпения семейство в полном составе и с багажом в придачу, Гарри не сразу справляется с замком — рука дрожит, как всегда, когда у него в груди эта тяжесть и стеснение, ключ со множеством насечек и выступов царапает, не попадая в извилистую узкую щель, но потом наконец входит, поворачивается, щелкает, и дверь открывается, и вот он дома. Квартира эта могла бы принадлежать кому угодно из числа многих миллионов «частично» живущих во Флориде, но принадлежит ему, ему и Дженис. Вы входите в небольшую прихожую, слева дверь встроенного шкафа, справа открытый стеллаж мореного дерева, все полки которого Дженис уставила ракушечными птичками и цветами ее собственного изготовления — результат ее занятий в кружке в их первый флоридский год, когда она еще не остыла к ракушкам. Энтузиазм, вызванный ракушками, быстро испаряется, как и горячее желание выучить испанский, чтобы разговаривать с обслугой. Это стадия, через которую проходят все новички, все необстрелянные воробьи, слетающиеся сюда на зимовку. Маленькие гребешки идут на оперение и лепестки, витые ракушки — на птичьи клювы, ракушки-туфельки очень подходят для изготовления лодочек. Стеллаж, где, кроме ракушек, красуются кое-какие безделушки, принадлежавшие мамаше Спрингер, в том числе большое зеленое стеклянное яйцо с воздушным пузырьком внутри, отделяет прихожую от кухни, к которой с другой стороны примыкает столовая; прямо же против входной двери располагается гостиная с телевизором, удобными плетеными креслами и низким круглым стеклянным столиком — они частенько тут ужинают, если по телевизору показывают что-то интересное. В левой части стоит светлый раскладывающийся диван с квадратными боковинами и там же дверной проем — вход в их с Дженис спальню, при которой имеется ванная и кладовка, где Дженис держит гладильную доску, хотя сама никогда ею не пользуется, и велотренажер — им она пользуется, когда ей кажется, что пора сгонять лишний вес, под старые записи «Би-Джиз», оставшиеся от Нельсона: для него самого это давно уже вчерашний день. В гостевую спальню вход отдельный, справа от гостиной, — там тоже своя ванная, задней стеной примыкающая к кухне, так что водопровод у них общий. В прошлые годы Нельсон и Пру всегда занимали эту комнату, туда же ставили кроватку для малыша, а Джуди спала на раскладном диване в гостиной, но Гарри кажется, что, может быть, теперь такое распределение мест не самое удачное. Дети как-никак подросли: наверно, Рой довольно много всего подмечает и вообще великоват, чтобы спать в одной комнате с родителями, да и девочка, без пяти минут невеста, имеет право на свой угол, не вечно же ей спать на проходе.

Он излагает свой план:

— Думаю, в этом году мы сделаем так: Джуди устроим в кладовке на раскладушке, она может пользоваться нашей ванной и, если захочет, уйти и закрыть за собой дверь, чтобы ей никто не мешал, а Роя положим на диване в гостиной.

Мальчуган, задрав голову, смотрит на деда, и большой палец сам собой оказывается у него во рту. Рот у него пухлый, капризный — от Лубеллов, считает Кролик; ни у Энгстромов, ни у Спрингеров отродясь не было таких пухлых губок бантиком, точно несколько сочных, мясистых ягодин, нанизанных на нитку, а вот у Терезиного родителя, как заметил Гарри в тот единственный раз, когда проездом в Кливленд на совещание дилеров заглянул в Акрон — были, насколько вообще удавалось что-то разглядеть за двухдневной щетиной и вечной сигаретой, которую этот тип не вынимал из своего толстого рта. Можно подумать, родитель Пру замаскировался под ребенка и теперь исподтишка шпионит за ними. Малыш знай себе смотрит да слушает, а от самого слова не дождешься. Гарри говорит ему сердито, глядя сверху вниз:

— Ну, что не так? Чем тебе не угодили?

Палец глубже погружается в рот, а глаза ребенка, темные, темнее даже, чем у Нельсона и Дженис, излучают недоверие. Джуди снисходительно объясняет:

— Он просто боится спать один в пустой комнате, дитенька!

Пру делает попытку прийти на выручку:

— Ну же, родненький, мама с папой будут рядом, в соседней комнате, вон там. Помнишь, и ты там спал, пока не стал большим мальчиком.

Тут вступает Нельсон:

— Тебе не кажется, папа, что прежде чем все менять, можно было бы и с нами это обсудить?

— Обсудить! Да разве у меня есть какая-то возможность что-то с тобой обсудить? Как ни позвоню в магазин, тебя или нет на месте, или телефон занят. Раньше я мог по крайней мере поговорить с Джейком или Руди, а теперь всегда отвечает твой дружок с елейным голосом, он же новый сотрудник.

— Знаю, знаю, Лайл рассказывал мне, как ты выуживаешь у него сведения про всех и про все.

— Ничего я у него не выуживаю, я проявляю вежливую заинтересованность, и только. Да, у меня все еще есть интерес к тому, что там творится, даже если ты возомнил себя единоличным хозяином на те полгода, пока нас нет.

— Полгода?! А круглый год не хочешь? Мама мне совсем другое говорила!

Дженис вклинивается в их перепалку:

— Мама говорит, что у нее после сегодняшних разъездов ноги отваливаются, и если все пять дней мы будем препираться друг с другом, ни до коктейля, ни до ужина дело не дойдет никогда. Нельсон, отец хотел только устроить всех так, чтобы никого не стеснить и чтоб всем было удобно. Мы с ним вместе над этим думали. Джуди, тебе где больше нравится, на диване или в кладовке?

— Мне и раньше было нормально, — отвечает та.

Маленький Рой старается ничего не упустить из разговора старших и, немного выдвинув изо рта палец, шлепает губами и издает какие-то звуки, смысла которых Кролик не понимает. Ясно только, что от собственных слов глаза Роя наполняются слезами. «Е-ээк» — вот все, что Гарри разобрал.

Пру переводит:

— Он говорит, она будет смотреть телик.

— Ах ты, ябеда, шмакодявка вредная! — взвивается Джуди и стремительно, как стрекоза над водой, перелетает через ковер и со всего маху отвешивает брату подзатыльник — ладонью по круглой головенке. Пру стрижет его так, что прическа по форме напоминает перевернутый горшок. Как водопроводный кран, когда его открывают, в первую секунду сопит вхолостую, так от возмущения малыш на миг впадает в безмолвное оцепенение, хотя рот его уже изготовился для воя. Зато когда вой вырывается, он включен уже на полную мощность; на фоне этого звучного сопровождения Джуди, и не думая оправдываться, с достоинством поясняет:

— Я только пару раз смотрела шоу Джонни Карсона[[11]](#footnote-11), когда все уже спали, ну и, может, разик «В субботу вечером»[[12]](#footnote-12). Подумаешь, важность!

Гарри спрашивает ее напрямик:

— Значит, ты предпочитаешь спать здесь и ради этого паршивого ящика отказываешься от собственной уютной комнатки?

— Там ведь даже окна нет, — робко напоминает она, поскольку ей не хочется его обижать.

— Ну и прекрасно! — подводит итог Гарри. — Что мне за дело, кто где будет спать, в конце концов? Можно подумать, мне больше всех надо! — И, демонстрируя полное безразличие, он идет к себе в спальню, огибает купленную уже здесь огромную двуспальную кровать с мягким изголовьем, обтянутым «лоскутным» атласом, и с нефритово-зеленым покрывалом в тон, точно как в гостинице, складывать которое намучаешься, и заходит в кладовку, где хватает раскладушку с комплектом белья и младенчески-голубым одеялом и волочет все это тем же путем назад, с грохотом задевая косяк и хорошенько поддав плетеное кресло в гостиной, и дальше — в гостевую спальню. Он посрамлен: он переоценил темпы Джудиного взросления, он-то хотел устроить ее в своем доме как принцессу, он совсем ничего не знает про девочек, одна его дочка умерла, а другая вроде как и не его дочь.

Дженис говорит:

— Гарри, тебе нельзя перенапрягаться, доктор тебе запретил.

— Доктор запретил, — передразнивает он. — Да у этого твоего доктора всем пациентам под восемьдесят, а он что им говорит, то и мне повторяет.

Но он пыхтит как паровоз, и Пру бежит вдогонку за ним, чтобы самой разложить раскладушку, вернуть на место подогнутую ножку, П-образную металлическую трубку, которая соскакивает и подворачивается вниз, расправить как следует простыни и одеяло. Вернувшись в гостиную, Гарри спрашивает Нельсона, снова подхватившего малыша Роя на руки:

— Ну что, теперь наши мальчики довольны?

Вместо ответа Нельсон поворачивается к матери:

— Ей-богу, мама, я за себя не ручаюсь. Еще пять дней в такой обстановке!

Но потом, когда все как-то устраивается — вещи из чемоданов раскладываются по полкам и ящикам, Джуди и Рой получают молоко с печеньем, переодеваются в купальные костюмы и вместе с матерью и Дженис идут в местный бассейн с подогревом, куда их пришлось на эти дни записать, — Гарри и Нельсон усаживаются выпить пива за круглый стеклянный столик, и оба стараются поговорить по-дружески, по-хорошему.

— Ну-с, — начинает Гарри, — как машины, как бизнес?

— Ты сам знаешь не хуже меня, — отвечает Нельсон. — Ты же получаешь ежемесячные сводки. — У него появилась неприятная нервозная привычка как-то странно гримасничать и одновременно втягивать голову в плечи, будто позади него кто-то стоит и в любую минуту может тюкнуть его по голове. Курит он так, словно через трубочку с жадностью втягивает в себя питательный раствор, и при этом непрерывно подправляет форму пепла на конце сигареты, постукивая ею о край белой раковины, позаимствованной из коллекции Дженис.

— Как тебе 89-е? — спрашивает Гарри, не намеренный более откладывать разговор, благо они с сыном остались наедине. — Самих-то машин я пока не видел, только брошюры. Брошюры красивые, слов нет. Интересно, сколько миллионов делают на таких брошюрах рекламные агентства? Я тут глядел-глядел на картинку с «короллой», всю голову себе сломал — неужто они действительно втащили этот несчастный седан и минивэн в придачу на вершину горы или это просто фокус? Потом до меня наконец дошло, ну, артисты, обхохочешься! Машины-то стоят на снегу, а след от протектора где? Нету! Будет время, взгляни для развлечения.

Похоже, Нельсону не до смеха. Он старательно придает пеплу форму идеального конуса, а потом вдруг яростно тушит сигарету, давит, мнет окурок в раковине. Руки у него ходят ходуном — рановато для его возраста. Он прихлебывает пиво, пенная бахрома пузырится на его клочковатых усиках, и, в упор глядя на отца, говорит:

— Ты спросил, что я думаю о 89-х? То же, что я думал о 88-х. Скукотища, папа. Ящики на колесах. Они по старинке везут сюда машины, на которые как посмотришь, так сразу и подумаешь: тут главное достоинство — низкий расход топлива. А бензина вот уже десять лет как никто не жалеет! Американцам сейчас опять подавай откидной верх и чтоб вид был, как у лимузина, а япошки знай пихают нам свои ящички. И не так уж дешево, заметь. Вот ведь что обидно. Как в прежние времена: «вшивый доллар против иены». С какой стати люди будут платить семнадцать штук за «Тойоту ГТС», когда почти за те же деньги можно купить «мустанг» или «Беретту ГТ» или «Мазду МХ-6»?

— «Селика» не стоит семнадцать тысяч, — возражает Гарри. — Та, что осталась у меня дома, продавалась меньше чем за пятнадцать.

— Начини ее тем-сем — и разницы как не бывало.

— Никогда не навязывай людям всякие модные причиндалы. О тебе и так слава идет на весь округ из-за того, что ты пытаешься всучить клиентам чего они не просят. Если человек пришел к тебе с намерением купить базовую модель как она есть, будь любезен продать ее так, чтобы он при этом не чувствовал себя последним жмотом.

— Скажи это тем, в Калифорнии, — парирует Нельсон. — Что они поставляют по первому требованию? Навороченные модели. Автоматическая коробка передач, турбоподдув и все такое. Просить базовые СТ или ГТ — месяцами будешь ждать, пока выполнят твой заказ. Роскошь дает прибыль, причем на всех уровнях, по цепочке, вплоть до Токио. Попробовал бы сам продавать то, что они нам присылают, — а единственную их машину, которая действительно неплохо идет, «камри», чуть не на коленях надо выпрашивать у этих гадов. Они нас за людей не считают, папа. Мы для них слабаки. Бесхребетные, ленивые американцы, битая карта. Еще десяток лет — и они приберут к рукам всю страну. Я вот тут одну передачу смотрел по телевизору: у них, между прочим, уже все Гавайи и половина Лос-Анджелеса и Невады. Они тысячами акров скупают пустыню в Неваде! Спрашивается зачем? Испытывать японские атомные бомбы?

— Ну-ну, полегче насчет японцев, Нельсон. До сих пор мы на японцах неплохо выезжали.

— Выезжали — это твоя точка зрения. А по мне, тряслись всю дорогу, как на заднем сиденье «терсела». Ты говоришь о них с таким благоговением, будто они супермены. Да ничего подобного! Взять хотя бы дизайн — только забудь уже про маленький, надежный, выносливый, дешевенький семейный автомобильчик! — в большинстве случаев это просто кошмар. «Лэндкрузер» — полный швах, ему до «Чероки» как до луны, да и «4-Раннер» недалеко ушел: он поначалу был такой маломощный, что пришлось ставить на него 6-цилиндровый мотор: жрет бензин как ненормальный — галлон на четырнадцать миль, сам читал в выпуске «К сведению потребителей». А этот их фургон! Смех, да и только. Это ж надо додуматься взгромоздить мотор между передними сиденьями: если хочешь пересесть вперед с заднего сиденья, вылезай наружу и залезай снова. Зимой в Пенсильвании таких охотников подышать свежим воздухом днем с огнем не сыщешь. Столько жалоб от клиентов, что я тут на днях не выдержал, сел, поехал, решил сам убедиться, и хоть гигантом меня не назовешь, — мамочка родная, сидел, как в тиски зажатый, ни вздохнуть ни охнуть! И скорость набирает в час по чайной ложке — на скоростное шоссе на нем въедешь позади всех. На 422-м, думал, меня ветром снесет вместе с этой дурой высоченной — как в нее залезать-то? Лично я ногу на подножку еле задрал.

*Что верно то верно*, думает про себя Гарри, *гигантом тебя не назовешь*. Ему кажется, что Нельсон чересчур резок, нетерпим, возбужден, как часы хорошей сборки, только со сломанным зубцом в шестеренке, или как упругий сгусток в смазке. Сын без конца шмыгает носом и вот уже зажигает вторую сигарету, а ведь только что, не докурив, затушил первую. Да и курил-то без удовольствия. Рука его все время тянется к носу, можно подумать, ему усы мешают.

— Да, конечно, — говорит Гарри добродушно, надеясь своим тоном успокоить расходившиеся нервы сына, — фургоны никогда не делали погоды в нашем бизнесе, и в «Тойоте» прекрасно знают, что тут они дали маху. К девяносто первому они собираются основательно перетряхнуть всю программу выпуска. Скажи лучше, как тебе новая «крессида»?

— Бр-рр! Мерзость! И чего в ней нового? Ах, ну да — она же больше старой, правда, всего чуток, и мотор не два и восемь, а три, и клапанов аж двадцать четыре вместо двенадцати, так что тянет, тянет, спору нет, но от базовой модели по цене двадцать одна тыща за штуку мы, кажется, вправе этого ожидать — еще бы она не тянула, Бог ты мой! Приборная панель — полный атас! Щиток терморегулятора выдвигается как ящик комода и не убирается на место, пока не включишь зажигание, — курам на смех; это раз, а два — они взяли из прошлогодней модели эту бредовую идею устанавливать два ряда кнопок настройки стереосистемы, а там всяких кнопок и без того не меньше, чем у пилота в кабине самолета. Она дорого стоит, папа, — зато и ехать в ней любо-дорого, скажешь ты, но вид-то у нее какой! Ни то ни се: внутри дешевка, снаружи псевдо-«ауди». Давай будем называть вещи своими именами: у «Тойоты» столько же воображения по части стиля, как у морской свинки. Их машины ничего не говорят ни уму ни сердцу. Настоящие, классические автомобили — «паккарды» тридцатых, небольшие «ягуары» с длинным капотом и спицами на колесах, малолитражки пятидесятых с «плавничками», даже «фольксваген-жук» — все они делали заявку на свой собственный стиль, воплощали в себе некий символ. «Тойота» ничего не воплощает, отсиживается в кустах и подворовывает чужие идеи. Посмотри, что стало с их пикапом. Да, было время, пикап шел на ура, но теперь пришлось потесниться: на рынок опять вернулись «форд» и «дженерал моторс». А «МР-2»? Да она теперь даром никому не нужна.

Гарри не сдается:

— С двухместными сейчас у всех трудности из-за страховки, больно много дерут. «Тойота» производит хорошие, качественные, надежные автомобили. Они послушны и долговечны, и покупатели это знают и относятся к марке с уважением.

Нельсон не дает ему продолжать:

— И мне осточертело, что они без конца диктуют нам, что почем продавать, какой товар выставлять в витрине, во что одевать продавцов и сколько квадратных футов у тебя должно быть в наличии, чтобы ты удостоился чести плясать под их дудку и жрать что прикажут. Когда я принял дела, я, по правде сказать, даже удивился, сколько всякой дряни вы с Чарли успели проглотить за это время. Им нужны бессловесные исполнители, *роботы* !

Теперь Кролик разобиделся не на шутку.

— А-а, наш малыш наконец столкнулся с реальной жизнью? Поздравляю. А в ней уж так заведено, что ты всегда будешь частью какой-то структуры, таков закон. Мы от «Тойоты», кроме добра, ничего не видели, и тебе негоже об этом забывать. Я-то помню, как радовался Фред Спрингер, когда получил свою первую лицензию от «Тойоты», — будто ребенок, у которого что ни день сочельник, и так круглый год. Это, между прочим, его собственные слова! — Все женщины в их семействе на разные лады повторяют, что Нельсон — точная копия деда, и, воскрешая в разговоре с сыном дух покойного Фреда, Гарри рассчитывает пробудить в нем чувство гордости за семейное дело. Его удручает, что тот выливает на «Тойоту» ушат помоев.

Но Нельсон не унимается.

— Дед был настоящий *делец*, папа. Ему просто нравилось проворачивать делишки. Он же сам рассказывал: брал по дешевке у одних и потом без зазрения совести наживался на других, и в этом состоял весь смак! Тут был хотя бы элемент *игры*, какой-то простор для собственной фантазии. А теперь от всей свободы творчества в нашем бизнесе только и осталось, что сбывать старые машины, которые нам подгоняют в счет уплаты за новые, так ведь и того не дают! Эта американская рухлядь, оказывается, портит им весь вид, так что подержанные машины продавать приходится чуть ли не тайком. Зато если старушка выглядит правдоподобно, глядишь, тыщонку заработаешь; а новые продавать — все равно что наняться кассиром. Если это называется «продавать», значит, я чего-то не понимаю, значит, все, что от тебя требуется, это пробивать чеки.

— Непыльная работенка за сорок-то пять тысяч плюс премиальные. — Таков нынешний годовой доход Нельсона. Гарри с Дженис по этому поводу частенько цапаются: он говорит, больно жирно, а она в ответ свое — у него семья. — Я в твоем возрасте, — говорит он сыну, вероятно, уже не в первый раз, — горбатился за тринадцать с половиной простым работягой-линотипистом, и домой приползал грязный как черт. У меня от этой работы башка разламывалась и глаза я, кстати, тоже там испортил. У меня до этого было прекрасное зрение.

— То *тогда*, папа, а то *сейчас*. Ты застал еще индустриальную эпоху. Ты был синим воротничком, а проще сказать рабом. Прошли те времена, когда деньги зарабатывали долго и упорно; теперь главное попасть на нужное место, и тогда деньги сами придут. У меня есть знакомые юристы, знакомые риелторы, не старше меня, заметь, и ничуть не умнее, которые на одной операции делают двести — триста тысяч. Да оглянись вокруг — вон тут сколько деньжищ на пенсии. Разбогатеть легко — разве не этому учит нас Америка?

— Вот твои-то хваленые знакомые небось и распродают Неваду японцам, о чем ты так горько сокрушаешься. И вообще, откуда такая жадность к деньгам? Мать разрешает тебе даром жить в доме, по закладной платить не надо — да ты, поди, скопил не одну кубышку. А что касается подержанных машин...

— Папа, мне очень жаль, но я вынужден тебя разочаровать: сорок тысяч по нынешним временам далеко не предел мечтаний, если ты хочешь жить на мало-мальски приличном уровне.

— Господи, да какой же такой уровень нужен вам с Пру? Дом у тебя бесплатный, только и расходов что отопление и налоги...

— Налог за этот сарай мало-помалу перевалил уже за четыре тысячи. Недвижимость в Маунт-Джадже после демографического взрыва подскочила до небес, даже какой-нибудь дом стенка к стенке с другими в занюханном конце Джексон-роуд, где ты раньше жил, теперь продается за шестизначную сумму. А федеральная налоговая реформа для меня и мне подобных не делает никаких послаблений — чтобы пользоваться привилегиями, надо быть богатым. Лайл тут как-то показал мне в компьютере...

— Кстати, я как раз хотел спросить тебя. Кто удумал заменить Милдред Крауст этим парнем?

— Папа, она просидела в «Спрингер-моторс» целую вечность.

— Вот именно, и я о том же. Она любую работу могла сделать с закрытыми глазами.

— Если честно, ты заблуждаешься на ее счет, а вот что она спала на ходу, это факт. Она так и не смогла освоить компьютер. Нет, она, конечно, очень старалась, но стоило ей увидеть любой пустяковый сбой или простейшую ошибку, как она во всем обвиняла несчастную технику и принималась названивать в фирму к поставщикам, чтобы те немедленно прислали мастера — а они берут больше ста двадцати долларов в час, — тогда как все неприятности случались потому, что она не в силах была разобраться в инструкции и вечно тыкала не в ту клавишу. Она попросту вышла в тираж. Тебе надо было отправить ее на покой, как только она достигла пенсионного возраста.

Наружная дверь, тихонько щелкнув, открывается.

— Я одна, — доносится голос Дженис. — Пру с детишками захотели еще побыть в бассейне, а я подумала, мне лучше вернуться и сообразить, чем мы можем поужинать. Наверно, сегодня обойдемся тем, что есть, сейчас погляжу, не остался ли суп — тогда можно его разогреть. Вы беседуйте, мальчики, не обращайте на меня внимания. — Она не хочет им мешать, даже не заглядывает в комнату; слышно, как ее шаги удаляются по направлению к кухне. Не иначе, воображает, что они наконец беседуют по душам — отец с сыном.

На самом же деле Гарри сейчас смотрит на сына так, как если бы перед ним был компьютер. Что-то в нем не так, где-то есть сбой, а вот какой — загадка. Слишком много он говорит, слишком быстро. Раньше Нелли был молчун и бука, а тут молотит языком без остановки, ты ему слово, он тебе десять в ответ. Что-то у него внутри раскручивается со страшной скоростью, нехорошо это.

Гарри снова возвращается к Милдред Крауст.

— Она ведь была не так уж стара, если я не ошибаюсь. Сколько ей? Шестьдесят восемь? Девять?

— Папа, ей было за семьдесят, а она продолжала вести всю бухгалтерию. Лайл делает все то же самое, что раньше делала она, хотя приходит всего два-три раза в неделю.

— То да не то, я же не слепой, в отчетах кое-что просматривается. Об этом я и хотел поговорить с тобой — о цифрах по подержанным машинам в ноябрьской сводке.

Непонятно почему, сын становится белее мела. Он сует сигарету в дырку в крышке пивной банки и сминает ее одной рукой — не бог весть какой фокус, банки-то нынче делают из алюминия толщиной с бумагу. Он встает с кресла и, похоже, собирается присоединиться к матери, которая шумно хлопочет на кухне.

— *Дженис!*  — зовет ее Гарри, с трудом поворачивая голову, — шея заплыла жиром и потеряла всякую гибкость.

Она стоит в кухонном проеме — в черном купальнике и фиолетовой юбочке из обмотанного вокруг бедер полотенца, все-таки неудобно ехать в лифте почти нагишом. Она, видимо, малость не в форме: прежде чем отвести всех желающих в бассейн, она открыла бутылочку кампари и обратно скорей всего заспешила, чтобы без помех пропустить еще рюмку-другую. Жидкие волосенки намокли и распрямились, ниточками повиснув вдоль головы.

— Что? — виновато отзывается она на требовательные нотки в голосе Гарри.

— Куда подевались последние отчеты из магазина? Они же все время лежали сверху на письменном столе.

Этот письменный стол они купили уже здесь по дешевке, наспех, торопясь поскорее обставить квартиру, и выполнен он в том же стиле, что и приставные столики по обе стороны светлого раскладного дивана и комода в их спальне — белое крашеное дерево, на ножках через равные интервалы нарисованы золотые кольца, чтобы было похоже на бамбук. В столе всего три неглубоких ящичка, которые из-за влажности плохо выдвигаются, и над ними еще какие-то закутки и углубления, где безвозвратно исчезают счета и карточки с приглашениями. Столешница из какого-то до блеска отполированного материала, похожего на мрамор, а еще больше на окаменевшее ванильно-медовое мороженое, обильно завалена сугробами неотвеченных писем, банковскими извещениями о состоянии счетов, отчетами биржевых маклеров, сообщениями из фонда управления финансами, карточками для подсчета очков в гольфе и ксерокопиями объявлений местного комитета по проведению массовых мероприятий. Кроме того, у Дженис есть привычка вырывать разные полезные заметки из журналов, посвященных проблемам здоровья, — «Нэшнл инкуайерер» и местной «Ньюс-пресс», — а потом напрочь забывать, кому же она хотела их послать. Вид у нее испуганный.

— Сверху, говоришь? — растерянно переспрашивает она. — Может, я их выбросила. Ты всегда так, Гарри, завалишь нужную бумагу чем попало, а потом через год спохватишься — почему нет на месте?

— Я говорю о бумагах, которые пришли всего на прошлой неделе. Финансовые сводки за ноябрь.

Тут губы ее поджимаются и лицо закрывается — щелк! Значит, в ней созрело решение, и она будет стоять насмерть, хоть головой бейся о стену — женщины в этом большие мастера.

— Понятия не имею, куда они делись. И меня просто бесит, что ты повсюду раскидываешь свои старые карточки для гольфа. Зачем вообще ты их хранишь?

— Я делаю на них пометки для себя — разные наблюдения во время игры. Не виляй, Дженис. Мне нужны эти треклятые отчеты!

Нельсон стоит бок о бок с матерью у входа в кухню, его рука сжимает смятую пивную жестянку. Без джинсовой куртки его рубашка выглядит еще пижонистей: тоненькие розовые полосочки, белые отложные манжеты и воротничок — фу-ты ну-ты! Мальчишка и Дженис почти одного роста, у обоих напряженные, замкнутые лица. И вороватый взгляд.

— Да ладно тебе, папа! — говорит Нельсон таким голосом, будто у него пересохло во рту. — Через неделю-другую получишь уже декабрьские сводки. — Когда он поворачивается к холодильнику, чтобы достать себе еще пива, он подставляет Кролику на обозрение свой затылок, от вида которого у того холодеет сердце: аккуратный крысиный хвостик, дужка серьги, внушительная проплешина.

И когда Пру возвращается с детьми из бассейна — все трое в резиновых шлепанцах, с полотенцами на плечах, в которые они как могут кутаются, с мокрыми, облепившими голову волосами, — и дети довольные, хотя у них зуб на зуб не попадает, губы синие и пальчики побелели и сморщились от воды, Гарри вдруг видит Пру в неожиданно новом свете: как самое слабое звено в коварном заговоре против него. Ох уж этот ее поцелуй в аэропорту, ее большие мягкие губы! Ох уж эти ее бедра в сильно вырезанном снизу, но во всем остальном вполне целомудренном белом купальнике, которые кажутся такими широкими, словно в них из года в год потихоньку вставляли распорочки!..

Это их пятая зима здесь, да, пятая, а Гарри, просыпаясь по утрам, всякий раз заново удивляется, что он во Флориде, на берегу Мексиканского залива. Ну, не на самом берегу, залив отсюда больше не виден, после того как ряд новых кондоминиумов с декоративными башенками и кровлями из испанской черепицы заслонил от них последний далекий проблеск водной глади на горизонте. Когда они с Дженис в 1984-м купили себе здесь квартиру, с их балкона еще можно было любоваться фрагментами залива: гладкий, ровный край света, если смотреть поверх крыш, и прерывистый, если смотреть в просветы между только что отстроенными башнями, — как точки и тире азбуки Морзе; и до того они были взбудоражены этим видом, что даже купили в магазине у причала, в миле от их дома по бульвару Пиндо-Палм, подзорную трубу и треногу. И в подрагивающий кружочек той первой зимой попадались то парусная лодка с раздувающимся спинакером, то роскошная яхта с высокими белыми бортами, бесшумно рассекающая волны, то взятый напрокат рыболовный катер с крылышками нависающих над водой площадок — специально, чтобы удобнее было бить рыбу острогой, а то, совсем вдалеке, огромное, целый мир в себе, ржаво-серое нефтеналивное чудище, неподвижно ползущее в Мобил или Новый Орлеан или же обратно — в Панаму или Венесуэлу. Но за последние несколько лет водная гладь постепенно исчезла у них из виду: вдоль берега понастроили отелей-небоскребов — один цвета овсянки, другие как малиновый мусс, а третьи сплошь из стекла, холодные и чистые вертикали, сине-зеленые, как вода в заливе.

Там, где ныне вздымаются ввысь небоскребы, когда-то не было ничего, кроме песка да топких мангровых лесов; извилистые приливные бухточки змейками вползали между деревьями, обнажая переплетения корней, а рябь на воде означала, что там неслышно скользнул аллигатор или водяная змея; потом откуда ни возьмись стали появляться выкрашенные в белый цвет дома и некрашеные лачуги — жалкое подражание Югу, рассчитанное на несведущих северян, стали худо-бедно выращивать хлопок и пасти скот на здешних песчаных почвах и даже посылали на Север понуро плетущиеся стада живой говядины в помощь голодающей армии восставших во времена Гражданской войны; а потом домов становилось все больше, а расстояния между ними все меньше, иные были уже из кирпича, известняка или гранита, доставляемого баржами из алабамских карьеров. Позже, с наступлением нового века, на этот отросток Юга пришли железные дороги и с ними толстосумы и недужные и просто жалкие недотепы — здесь неожиданно для всех оказалась новая пограничная территория. Бумы сменялись банкротствами; свежие порции оптимизма вливались одна за другой. Ну а теперь, в эпоху авиалайнеров и государственной программы социальной защиты и солнцепоклонничества в национальном масштабе, тут развернули такое строительство — дома растут как грибы. Их городок называется Делеон в честь некоего испанца-первооткрывателя[[13]](#footnote-13), который в 1521 году пал от отравленной семинольской стрелы (и не спасла его блестящая черная кираса) где-то тут неподалеку или, может, в другом похожем месте. Когда Гарри просыпается, прошлое мерцает, словно сон, в глубинах его сознания; в своем нынешнем полупенсионном состоянии он пристрастился к чтению исторических книг. Он и раньше всегда испытывал некоторый интерес к страшноватой смеси фактов, из которой вырастают наши отдельно взятые жизни и в которую они затем сами обращаются, — тонкие бурые слои перегноя, сложенные из предшествующих смертей, слои, образующие, если они достаточно глубоки и спрессованы, залежи угля, как, например, в Пенсильвании. Тихими вечерами, когда Дженис сидит на диване, потягивая какое-то пойло и бессмысленно пялясь в телевизор, где идет очередное тупоумное шоу, он устраивается на кровати, опершись спиной на мягкое атласное изголовье, и оттуда, с головокружительной высоты своего нефритово-зеленого убежища, словно с верхушки дерева, устремляет взгляд вниз, в минувшее.

Звук, который врывается в его утренние сны и в конце концов их рассеивает, — это визгливое жужжание косилок, подстригающих траву на гринах[[14]](#footnote-14) гольф-поля, а вслед за тем еще один, такой же или, может, чуть менее механический, звук — рыдающие крики чаек, слетающихся на свежеполитые фарвеи[[15]](#footnote-15), где на поверхность, попить, вылезают земляные черви. Рядом с изголовьем их кровати — большая стеклянная раздвижная дверь, нарочно не до конца задвинутая, чтобы внутрь проникала прохлада зимнего утра: сейчас один из немногих месяцев в году, когда можно жить без кондиционера; вот почему прохладное соленое дыхание воздуха, подслащенное запахом мокрых фарвеев, касаясь его лица, помогает вспомнить, где он находится, — ах да, в хваленом ширпотребном раю, куда он попал благодаря денежкам Дженис. Ее нет рядом, хотя ее тепло еще здесь и приятно ласкает колено, когда он блаженно раскидывается на кровати, захватывая и ее половину. Из уважения к его шести футам трем дюймам роста они после некоторых колебаний наконец купили кровать максимальных размеров, и у него впервые в жизни ноги не свисают над краем, вынуждая его переворачиваться на живот и спать в позе всплывшего на поверхность утопленника. Он долго не мог привыкнуть к перемене, к тому, что ступни не цепляются крюком за матрас, а должны подворачиваться либо носками внутрь, либо наружу. Пальцы на ногах сводит судорога. Он пробует спать на боку, согнув ноги в коленях: так и рту легче дышать, и животу вольготно, и его слабое сердце не так испуганно бьется, как когда он зависает лицом вниз над толщей матраса. Зато руки совершенно не знают, куда им деваться. В руке, сунутой под голову, нарушается кровообращение, и он просыпается оттого, что у него затекла кисть и ее покалывает и пощипывает, как от разряда электрического тока. Если он спит на спине, Дженис жалуется, что он храпит. Она, дуреха, сама теперь храпит будь здоров — теперь, когда они оба ближе к старости; но он старается быть снисходительным: ведь она сама не ведает, что творит во сне — то вдруг захрапит, а то испортит воздух, да как, он уж и нос в подушку уткнет и знай твердит себе, что она, как и он, всего лишь несовершенное создание природы. Вообще женщин можно пожалеть — больно хитроумно устроено у них тело, столько всяких дыр и дырочек. Сейчас он слышит ее, голос доносится из кухни, какой-то странно писклявый, фальшивый, голос, каким говорят с детьми.

Кролик ждет, что в разговор вот-вот вступит другой голос — пониже и помоложе, — голос матери его внуков, но вместо этого вдруг слышит где-то совсем рядом, на уровне его головы, скрипучий крик какой-то птицы, притаившейся в кроне норфолкской сосны, чьи ветви почти касаются их балкона, рукой можно достать. Ему никак не удается приучить себя к норфолкским соснам — точь-в-точь искусственные новогодние елки, ветви растут так, будто расстояния между ними вымеряли по линейке, и каждая абсолютно правильной формы, как птичье крыло, перышко к перышку, а вся крона в целом — идеальный конус. Крик птицы напоминает звук, который получается, если взять два бруска сырой древесины и ритмично тереть их один о другой. Флорида, как правило, производит впечатление чего-то сделанного. Ковровые покрытия внутри, зеленые покрытия на цементных дорожках снаружи, газоны с бермудской травой между дорожками, а под всем этим грязно-серый песок — стоит поддеть клюшкой кусок дерна, или, точнее, дивота, сразу припорошит туфли.

Сегодня среда, он играет в гольф, как всегда в составе их обычной четверки, на поле надо быть в девять сорок: это веская причина, чтобы встать с кровати, а не разлеживаться до бесконечности, тужась припомнить, что же ему сегодня снилось. Во сне он хотел дотянуться до чего-то, что его спящие глаза не позволили ему разглядеть сквозь веки; это было что-то округлое и темное и очень печальное, до краев наполненное тягостным предчувствием судьбы, которое он в течение дня все время от себя гонит.

Раз-два, встали! Кролик пристально вглядывается в «поддельные» ветви норфолкской сосны в надежде обнаружить крикуна. Судя по звуку, это какой-то самодовольный нахал, какаду или по меньшей мере тукан, словом, типичный тропический горлодер с роскошным хвостовым оперением, свисающим вниз на целый фут, но сколько он ни шарит глазами, он видит только скромную буроватую птичку вроде золотого дятла, каких в Пенсильвании пруд пруди. А может, это и в самом деле гость из Пенсильвании прилетел перезимовать, как и он сам.

Он идет в свою ванную, чистит зубы, облегчается. Странно, раньше струя раскатистым водопадом била в унитаз, а теперь цедится какой-то робкий ручеек, да и то словно нехотя; ему приходится раз, а то и два вставать ночью, и он по-бабьи садится на стульчак, крайняя плоть вся в сонных складках, не знаешь, в какую сторону потечет, ну точно как у баб — те тоже не умеют целиться. Он бреется, встает на весы. Еще фунт прибавил. Ох уж эти ореховые плитки! Он идет к двери с намерением выйти из спальни, но на пороге спохватывается, что выйти не может. Здесь, во Флориде, он спит в одних трусах; пижама закручивается вокруг тела, и часам к двум ночи в ней становится так жарко, что он просыпается — правда, не только из-за этого, еще из-за тяжести в мочевом пузыре. Сейчас, когда здесь Пру с детьми, он же не может появиться в кухне в одних трусах. Он слышит, как они все там топчутся, натыкаясь на все подряд. Значит, надо либо надеть штаны для гольфа и рубашку-поло, либо найти халат. Он останавливает свой выбор на мягком темно-бордовом халате как на одежде, более подобающей — какое это слово все время мелькает, когда читаешь про Средние века? — сюзерену. Хозяину дома. Достопочтенному дедушке. В этом есть некий символ, выражаясь языком Нельсона.

Когда Кролик наконец открывает дверь, в кухне уже полным ходом идет первая из баталий предстоящего дня. Бесценное сокровище, маленькая Джуди чем-то расстроена: от соленых слез края век покраснели, хотя она изо всех сил старается не плакать, срывающимся голосом говоря:

— Половина ребят из нашей школы там были! А некоторые даже по два раза, а у них даже нет ни бабушки, ни дедушки во Флориде! — Она хочет в Диснейуорлд, а ее не везут.

Дженис пускается в объяснения:

— Деточка, ну, поверь мне, это отдельное большое путешествие. Если ты хочешь туда попасть, надо лететь до Орландо. А ехать отсюда...

— ...все равно что тащиться в машине до Питтсбурга, — заканчивает за нее Гарри.

— Папа нам обещал! — возмущается обманутый ребенок, да с такой страстью, что ее четырехлетний братишка, на секунду замерев с зажатой в кулаке ложкой, которой он больше развозит по тарелке, чем ест поставленные перед ним хлопья с молоком, из солидарности всхлипывает. Две капли молока стекают с его оттопыренной нижней губы.

— Мало того что далеко, дорога — тоска зеленая, — невозмутимо продолжает Гарри. — Все шоссе 27 утыкано светофорами. Мы знаем, ездим там иногда.

Пру вносит необходимые пояснения:

— Папа не имел в виду, что мы поедем в этот раз, он подразумевал когда-нибудь потом, когда у нас будет больше дней в запасе.

— Нет, он сказал в этот раз! — настаивает бедный ребенок. — Он всегда так: сначала наобещает, а потом не делает.

— Папа трудится не покладая рук, чтобы у вас было все, чего вы пожелаете, — строго одергивает ее Пру, и в тоне ее сквозит раздражение, которое иногда слышишь в разговоре двух женщин, когда одна из них начинает терять терпение. Она, как и он, в халате — короткий лоскутный халатик с рисунком из соцветий пурпурного вьюнка и его извилистых стеблей. Ее веснушчатые ляжки, широкие, гладкие, обтекаемые, — как крыло автомобиля. Ступни — длинные, с проступающими под кожей косточками, в суставах пальцев красноватые, а сверху белые, как бумага, — продеты в красные, цвета губной помады, сабо на пробковой подошве. Лак на ногтях облупился, и это, по мнению Кролика, придает еще больше сексуальности ее облику.

— Ну, коне-еечно! — отвечает ей дочь со злым сарказмом, причины которого Гарри пока не улавливает. Семейная жизнь, дети — для него это уже в далеком прошлом, которое он без сожалений оставил позади; там, в прошлом, это было вроде куста в самом глухом, заброшенном и заросшем углу сада, куста сирени или бирючины, в который снизу пролезли какие-то вьющиеся сорняки с точно такими же листьями и обвили и оплели куст так, что садовник свернет мозги набекрень, если начнет отделять добрые побеги от вредных. Да и вообще у него, по большому счету, был всего-навсего один ребенок, Нельсон, всего один паршивый ребятенок, хотя совсем недавно он где-то вычитал, будто человеческий самец вырабатывает за жизнь столько спермы, что его потомством можно было бы населить не только весь земной шар, но еще и Марс и Венеру в придачу, если бы на них были подходящие условия для жизни. Да, эти мысли планетарного масштаба — как и то недосягаемое, округлое, что мучает его во сне, — наводят жуткое уныние: выходит, весь смысл его пребывания в сем бренном мире сводился к тому, чтобы произвести на свет малютку Нелли Энгстрома, чтобы тот, в свою очередь, произвел на свет Джуди и Роя и так далее, покуда восходит солнце, покуда вертится Земля.

А вот и Нельсон, легок на помине, — семейный переполох и его сорвал с места и всосал, будто пылесосом, в кухню. Наверно, услыхав краем уха, что о нем говорят, он выползает из гостевой спальни и возникает на пороге — с голой грудью, небритый, в помятых сизо-голубых пижамных штанах, очень и очень не из дешевых, по крайней мере на вид. Это наблюдение относительно широких замашек Нельсона вызывает у Гарри странно неприятное ощущение в области живота, в голове мелькают какие-то цифры, он напрягается, но никак не может вспомнить, нужная мысль в последний момент ускользает, Дженис сказала, что у парня измученный вид, он и правда худоват, тень полосками пробегает меж ребрами. Обнаженная грудь придает ему несколько воинственный облик, будто он намерен заявить права на свою законную территорию (куцый халатик Пру весьма способствует этому впечатлению). Сцена с пижамой. Дорис Дэй и кто же, дай Бог памяти, с ней был еще — Джон Рейт?..[[16]](#footnote-16) Но как бы ни выглядела пижама Нельсона, сам он весь какой-то тощий, взъерошенный и жалкий, с небритыми баками, клочковатыми усиками, точь-в-точь как у покойного Фреда Спрингера, и редеющими волосами, которые влажно торчат во все стороны, будто голова его утыкана шипами. Кролик вспоминает, как крепко спал Нельсон в детстве, как под рукой его головенка всегда казалась взмокшей, разгоряченной.

— Ну-ка, что я тут кому обещал? — недовольно спрашивает Нельсон, вперившись взглядом в пространство, разделяющее Джуди и Пру. — И речи не было, что мы в этот раз поедем в Орландо, хватит сочинять!

— Ну, папочка, здесь же совсем-совсем нечего делать, здесь какая-то скучная Флорида! Я не хочу снова в Музей цирка, он противный, мы уже были там в прошлом году, и еще на обратном пути было столько машин и мы все ехали и ехали — Роя даже вытошнило на стоянке, около кафе, где продают жареных цыплят по-кентуккски.

— Да, шоссе 41 не для слабонервных, — соглашается Гарри.

— Здесь *миллион* разных занятий, — заявляет Нельсон. — Хочешь, плавай в бассейне. Хочешь, играй в шафлборд[[17]](#footnote-17). — Он иссякает, едва успев начать, и в смятении переводит взгляд на свою мать.

Дженис, обращаясь к Джуди, говорит:

— У нас тут теннисные корты, можем пойти с тобой постучать по мячику.

— Рой тогда тоже увяжется, а он всегда всю игру испортит! — не унимается девочка, и глаза ее опять наполняются слезами.

— ...и еще есть пляж... — продолжает увещевать ее Дженис.

У Джуди снова готов ответ, правда, на этот раз просто из духа противоречия:

— А учительница говорит, что от солнца портится кожа и что чем раньше начнешь подставлять себя солнцу, тем больше рака потом схлопочешь.

— Хватит умничать, лекции она нам будет еще читать! — обрывает ее Нельсон. — Бабушка для тебя же старается, так не будь неблагодарной свиньей!

После этой отповеди слезы одна за другой безудержно катятся из детских глаз сквозь загнутые ресницы, оставляя на щеках мокрые неровные дрожащие дорожки, совсем как след от дождя на оконном стекле.

— Нет, я не... — пытается выговорить она.

*Такая девочка, да в ее-то годы, должна бы быть жизнерадостнее*, думает Гарри.

— Ну а если даже в тебе и нет благодарности, — говорит он ей, — ничего удивительного. Что за радость ехать куда-то с родителями, когда все друзья остаются дома. Мы все через это прошли — только вспомнить, как мы тащили твоего папочку на Побережье в Джерси, а потом волокли его в горы в Поконах и там от проклятых сосен у него начиналась сенная лихорадка. Врагу такого не пожелаешь! Как только люди не издеваются друг над другом во имя так называемого хорошего времяпрепровождения. Ладно. В общем, так. Я тут кое-что придумал. Кому-нибудь интересно, что я придумал?

Девчушка кивает головой. А все остальные, и даже Рой, который в продолжение всей сцены сосредоточено лепил из разбухших хлопьев пирамиду, смотрят на него раскрыв рот, будто он собирается показать фокус. Оказывается, совсем не трудно снова окунуться в гущу семейной жизни. Нужно только постараться хотя бы до какой-то степени подняться над собой. Точно так же, как когда-то на баскетбольной площадке, в первые две-три минуты матча, среди пинков, толчков и криков, разгоряченных тел и гудящих трибун, ты вдруг совершенно отчетливо понимал, что тебе придется*действовать самому*, что если не ты, значит, никто.

— Сегодня я играю в гольф, — начинает он.

— Грандиозно, — отзывается Нельсон. — Вот придумал так придумал. Я не разрешу Джуди таскать твою сумку с клюшками, и не надейся. Я не хочу, чтобы у нее по твоей милости искривился позвоночник.

— Нелли, ты параноик, — говорит ему Гарри. С тех пор как двадцать лет назад случилась беда с Джилл, мальчишка считает своим долгом оберегать всех особ женского пола от своего отца. Единственный человек на свете, кому он кажется опасным, это его собственный сын. Гарри чувствует первый сегодня толчок боли в груди, не слишком сильный пока, шаловливое жжение, будто ребенок балуется с зажженной спичкой.

— Нет, я придумал совсем не это, но вообще-то, что тут страшного? Она могла бы взять легкую сумку, я положил бы туда два вуда и ведж[[18]](#footnote-18), и мы, как-нибудь ближе к вечеру, прошли бы с ней пару лунок. Я показал бы ей, как правильно делать замах. Но коли ты об этом заговорил, знай: в моей обычной игре пара на пару мы не ходим, а ездим. Я-то сам с удовольствием ходил бы пешком, просто чтобы ноги размять, да вот мои партнеры, олухи эдакие, ни в какую не соглашаются. Нет, если серьезно, они все отличные мужики, у всех внуки, Джуди им бы понравилась. Я бы уступил ей свое место. — Его воображение уже нарисовало эту картинку: вот она, его маленькая, изящная принцесса, а рядом, за рулем электрической тележки-карта — Берни Дрексель с сигарой во рту.

Фокус не удался, зрители разочарованы: все эти мысли вслух никому не интересны. Рой роняет ложку на пол, и Пру приседает, чтобы поднять ее, — полы короткого халата, метнувшись, приоткрывают верхнюю часть бедра. Мелькает кружевной край маленьких черных трусиков. Где-то совсем высоко чуть более блестящий, чем кожа вокруг, овал от прививки. Нельсон шумно вздыхает:

— Давай закругляйся, папа. Я еще не был в ванной.

Он сморкается в бумажное полотенце. Почему у него вечно течет из носа? Гарри читал где-то, может, в «Пипл», в подборке на смерть Рока Хадсона[[19]](#footnote-19), что это один из первых симптомов СПИДа.

Гарри произносит:

— Музей цирка отменяется. Кстати, он сейчас закрыт. На реконструкцию. — Примерно с неделю назад ему на глаза попалась заметка в сарасотской газете, озаглавленная «Цирк вернулся». — А придумал я вот что. Сегодня днем, как я уже сказал, у меня гольф, но вечером у нас внизу, в столовой, играют в бинго[[20]](#footnote-20) и, по-моему, детям, Джуди в первую очередь, должно понравиться, ну и мы все поедим по-человечески для разнообразия, а завтра можем поехать в Музей игрушечных железных дорог и морских ракушек — Джо Голд утверждает, что это просто чудо, — или махнем в другую сторону, на юг, посмотрим Дом Эдисона. Меня самого давно подмывает туда наведаться, но, может, у детей до этого еще нос не дорос, не знаю. Нынешних деток с пеленок окружают компьютерные игры и еще бог знает какая техника, так что изобретение телефона или фонографа вряд ли способно поразить их воображение.

— Папа, — говорит Нельсон голосом, в котором звучит вечный укор, и несколько раз шмыгает носом, — это не поразит даже *моего* воображения. Нельзя просто отвезти их куда-нибудь, где они могут поиграть в видеоигры? Или в мини-гольф? Или хоть на пляж, в бассейн, Господи! Я-то грешным делом считал, что мы приехали отдыхать, но нет, тебе нужно превратить отдых в пытку с образовательным уклоном. Расслабься! Оставь всех в покое!

Кролик оскорблен в лучших чувствах.

— Что значит — оставь в покое? Я просто хотел употребить время с толком, — говорит он.

Пру вступается за него:

— Нельсон, детям нельзя с утра до вечера торчать в бассейне, избыток ультрафиолетовых лучей тоже вреден.

Дженис подает реплику:

— В это время года жара подолгу не держится, скоро будет прохладнее. Такой сезон — погода скачет туда-сюда.

— А парниковый эффект? — напоминает Нельсон и поворачивается, чтобы проследовать в ванную, демонстрируя при этом свой мерзкий крысиный хвостик и блеснувшую серьгу. Интересно, мальчишка голубой или не очень?

— Ненасытное общество потребителей нанесло непоправимый ущерб озоновому слою, и к 2000 году мы все изжаримся, — объявляет Нельсон. — Вот полюбуйтесь! — Он тычет пальцем в форт-майерскую «Ньюс-пресс», которую кто-то оставил на кухонном столе. Заголовок на первой полосе гласит: «1988 — сухие факты», и тут же рисунок, на котором ошалелое желтое солнце изо всех сил выкручивает облака и тучи, пытаясь выжать из них хоть каплю влаги. Газету, по-видимому, принесла Дженис; взяла в коридоре, хотя ее саму интересует исключительно раздел светской хроники. Кто с кем спит и кто с кем разводится. Как правило, она нежится в постели, предоставляя мужу самому прогуляться в коридор за газетой. Спешить некуда — светская хроника за час-другой не устареет.

Пру возвращает Рою его ложку и забирает у него тарелку с гнусной мешаниной, которая застыла и подернулась пленкой, как собачий корм, простоявший в миске всю ночь.

— Ананку будешь? — спрашивает она воркующим, просительным и сексуальным голосом. — Вкусная ананка, мамочка почистит, на кусочки разрежет, да?

Дженис вынуждена признаться:

— Тереза, я, честно говоря, не уверена, что у нас найдутся бананы. Вернее, я уверена, что их нет. Гарри вообще фрукты в рот не берет, хотя ему-то как раз их нужно бы есть побольше, а я вчера собиралась сделать закупки к вашему приезду, но у меня был теннис и, как назло, пришлось играть третью партию, а когда мы закончили, уже пора было ехать в аэропорт. — Ее лицо озаряется какой-то свежей идеей; голос мгновенно обретает силу и звучность; она тоже хочет попробовать себя в роли фокусника. — Ура! Я знаю, чем мы займемся, пока дедушка будет играть в гольф. Мы все пойдем в «Уинн-Дикси» и накупим там всего-всего!

— Меня увольте! — орет Нельсон из ванной. — Я лучше возьму машину и съезжу кой-куда.

Зачем это ему машина понадобилась, для каких таких важных дел?

Слезы у Джуди высохли, и она уже прошмыгнула в гостиную, где подходит к концу выпуск программы «Сегодня» — за кратким перечнем основных событий на этот час следует прогноз погоды: Уиллард Скотт ведет репортаж из Нома на Аляске, Джейн и Брайант покатываются со смеху[[21]](#footnote-21).

Пру заглядывает во все кухонные шкафы и уговаривает Роя:

— Может, воздушной кукурузы сладенькой покушаем, сыночек? У бабушки с дедушкой много-много сладкой кукурузы. А сколько банок с жареными орешками — тут и арахис, и кешью. Гарри, вы хоть знаете, что орехи — это сплошной холестерин?

— М-мм, слыхал. Но, между прочим, в одной статье я прочел, что холестерин необходим организму и что все страхи и ужасы по этому поводу нарочно раздуваются «куриным лобби».

Между тем Дженис в розовой блузке «под крокодилову кожу» и ярко-красных брючках — в таком виде женщины здесь ходят за покупками — уселась за кухонный стол со своей газетой, расслоенным напополам бубликом и пластмассовым лоточком с плавленым сыром. Ее флоридский период ознаменовался пристрастием к еврейским бубликам, бейглам. А заодно и к копченой лососине. Она вытащила из газеты раздел светской хроники, и Гарри, до сих пор не утративший навыка бывшего печатника читать набор под любым углом зрения, видит заголовок (редакция явно предпочитает обходиться без прописных букв и широко пользуется цветографическими приемами общенациональной «США сегодня»):

наблюдателиназываютмужчин с самымиа выше, прописными: ГИГАНТСКИЕ ПОТЕРИ и ОЧЕРЕДНОЙ БРАК «ДЕЛОВОЙ». Он вытягивает шею, чтобы взглянуть на страницу как положено, и понимает, что речь идет об актрисе, сыгравшей главную роль в фильме «Деловая женщина», Мелани Гриффит, и о тех, кто пережил трагедию в Армении. Странно, почему-то когда жена читает газету, каждая статья кажется невероятно интригующей, а откроешь сам — скука смертная. Кофеварка фирмы «Браун» с грязноватым чуть теплым кофе в стеклянной колбе примостилась в самом конце кухонного буфета, возле которого в раздумье стоит Пру, ища глазами, чем бы еще накормить Роя. Чтобы дать пройти Гарри с его толстым пузом, она приподнимается на носки и, чуть покряхтывая от усилия, вжимается бедрами в край буфета. Вот уж поистине тесный семейный круг — почти как в африканской хижине, где все спят и совокупляются на виду друг у друга. Хотя, с другой стороны, рассуждает Гарри, чего уж такого особенного достиг западный человек, который так носится со своим правом закрыть за собой дверь и никого к себе не пускать? Судя по историческим книгам, не бог весть чего — разве что изобрел огнестрельное оружие да психоанализ.

Здесь, во Флориде, хлеб и печенье приходится держать в выдвижном ящике, в большой прямоугольной жестяной банке — только так можно уберечь еду от муравьев, даже у них на пятом этаже. Порядочная канитель — выдвигать ящик, снимать крышку, но он все это проделывает для того лишь, чтобы обнаружить внутри два пустых пакета из-под печенья, от шоколадного «Ореос» с двойной прослойкой и от фруктового «Ньютоне» — и в том и в другом после набега внучат остались одни крошки, да еще полтора засохших пончика, на которые даже они не польстились. С этими пончиками и кружкой грязноватого кофе Кролик вновь проталкивается мимо Пру, прислушиваясь к ощущениям, возникающим у него пониже живота, как раз там, где об него трется край ее короткого халатика, и, повинуясь внезапному импульсу, зловредно толкает задом кухонный стол, так что чашка Дженис, до краев наполненная кофе, вздрагивает и кофе выплескивается на стол.

— *Гарри!*  — гневно восклицает она, подхватывая со стола газету. — Ч-черт!

В кухню заползает звук включенного душа.

— Что это Нельсон весь какой-то взвинченный? — вслух недоумевает он.

Пру, хотя кому как не ей быть в курсе дела, в ответ молчит, а Дженис, промакивая лужу на столе бумажным полотенцем, которое ей подала Пру, поясняет:

— У него обыкновенный стресс. Автомобильный бизнес сейчас не тот, что десять лет назад, — такая конкуренция! А Нельсон ведь один в ответе за все, у него нет Чарли, который всегда мог тебя прикрыть в случае чего.

— Кто ему не велел оставить Чарли? Сам не захотел. Чарли с радостью работал бы неполный день, — говорит он, но ему никто не отвечает, только Рой, взглянув на него, роняет вдруг:

— Дедушка такой забавный!

— Ого! А у него неплохой запас слов, — одобрительно отзывается Гарри, глядя на Пру.

— Да он сам не понимает, что говорит, услышит по телевизору какую-нибудь фразу, вот и повторяет, — отвечает она, отбрасывая со лба волосы характерным для нее, каким-то трогательным жестом — обеими руками сразу.

Кухня оформлена в сине-зеленых тонах — цвет морской волны, холодный и насыщенный, хотя когда они выбирали его по таблице колеров четыре года назад, заказывая косметический ремонт, он казался другим, более светлым. Тогда у него, помнится, были сомнения, не слишком ли этот цвет маркий, но Дженис решила: и пусть, зато нестандартно и даже чуточку рискованно, как и вся их флоридская затея. Даже холодильник и рабочие поверхности из пластика и те цвета морской волны, и, глядя на все это, особенно когда в глаза лезут ракушечные птички и цветочки, которыми Дженис уставила открытый стеллаж, отделяющий кухню от прихожей, он чувствует, как внутри нарастает панический страх, и он хватает ртом воздух. Среди его ночных кошмаров один из самых устойчивых — ощущение, что он оказался под водой. Насколько меньше угнетало бы психику что-нибудь простое, незатейливое, да вот хоть цвет топленого молока, как у Голдов за стенкой. Он берет с собой свою кружку, пончики и оставшуюся от Дженис часть «Ньюс-пресс» и уходит в гостиную, где устраивается на диване, за круглым стеклянным столиком, поскольку плетеное кресло уже занято Джуди, которая глядит в телевизор. Иллюстрации на первой полосе: Дональд Трамп[[22]](#footnote-22) *(Мужчина года)*, солнце с искаженным от натуги лицом, выжимающее тучи *(Годовые осадки на 33 % ниже нормы; самый засушливый год после 1927-го)* и мэр Форт-Майерса Уилбер Смит, по виду длинноволосый пацан моложе Нельсона, который, комментируя недавний арест футбольной звезды Дейона Сандерса за хулиганские действия в отношении офицера полиции, высказался в том духе, что вина за этот инцидент должна быть частично возложена на толпу улюлюкающих зевак, собравшихся поглазеть на происходящее. Есть тут и материал о годовом правительственном отчете (объемом с хорошую книгу), освещающем положение на рынке автомобилей и заодно претензии потребителей; в серой плашке под заголовком *Лучшими признаны* перечислены победители по четырем категориям — субкомпакт, компакт, среднегабаритные, мини-фургоны, — и среди них ни одной «тойоты». Он чувствует, как в животе что-то болезненно екает.

— Гарри, ты должен нормально позавтракать, — кричит из кухни Дженис, — ты же со своим гольфом обед пропустишь. Что тебе говорил доктор Моррис: кофе на пустой желудок — верный путь к гипертонии.

— Не знаю, как для кого, — кричит он в ответ, — но для меня самый верный путь к гипертонии — когда женщины с утра до вечера диктуют мне, что можно есть и чего нельзя. — Он впивается зубами в зачерствелый пончик, и сахарная пудра сыплется на газету и оседает на малиновых отворотах его «господского» халата:

Дженис переключается на Пру:

— Ты хоть как-то следишь за питанием Нельсона? Впечатление такое, что он вообще ничего не ест, кожа да кости.

— Он и раньше был малоежка, — говорит Пру. — Рой тоже вечно ковыряет в тарелке, должно быть, в него пошел.

Джуди, пощелкав по всем каналам, основным и кабельным, остановилась на старом сериале про Лэсси; Гарри сдвигается к краю дивана, откуда боковым зрением может видеть экран. Колли тычется мордой в спящего мальчугана, который заблудился и устроился ночевать в стоге сена, будит его наконец и ведет домой по грязной проселочной дороге навстречу багровому шотландскому закату. Музыка разбухает, как ангина в горле. Гарри сквозь слезы глупо улыбается Джуди. Ее глаза, уже наплакавшиеся сегодня, сейчас совершенно сухие. Лэсси ведь не часть ее далекого, безвозвратно канувшего в прошлое детства.

Когда ком в горле мало-помалу рассасывается, он говорит ей:

— Мне пора идти играть в гольф, Джуди. Ты как, справишься тут без меня с этим жутким народом?

Она серьезно, испытующе смотрит на него, не вполне уверенная, шутит он или нет.

— Справлюсь, наверно.

— На самом деле они хорошие, — заверяет он ее, не слишком в это веря. — А как бы ты отнеслась к предложению сплавать разок на «Солнцелове»?

— Что такое «Солнцелов»?

— Это небольшая лодка с парусом. Их дают на гостиничных пляжах в Делеоне. Вообще-то ими пользуются только постояльцы, но я знаком с парнем, который ведает прокатом. Я с его отцом в гольф играю.

Ее глаза по-прежнему прикованы к его лицу.

— А ты раньше когда-нибудь плавал на нем, дедушка? На «Солнцелове»?

— Спрашиваешь! Не раз. — На самом деле именно раз, но зато какие воспоминания! Он и Синди Мэркетт в черном бикини, с выбившимися из-под плавок волосками. Ее грудь — два колышущихся полушария, перехваченные узенькой полоской лифчика. Упругий ветер, вода, шлепками бьющаяся о борт, солнце, лупящее по коже своим бесшумным белым молотком, и они — вдвоем, совсем одни, полуголые.

— Наверно, здорово, — наконец осторожно соглашается Джуди. — В лагере у нас было плавание, и я заняла первое место — дольше всех просидела под водой. — Она снова обращает взор к телевизору, щелкая пультиком и галопом проносясь по всем каналам.

Гарри старается представить себе мир, если смотреть на него ее прозрачно-зелеными глазами: в нем все такое яркое, контрастное, новое — каждая мелочь до предела наполнена собой, как обшитые атласом пухлые сердечки, которые дарят на День святого Валентина. Его же зрение всегда замутнено, какие очки ни нацепи — хоть для чтения, хоть для дали. Очками для дали он пользуется только в кино или когда ведет машину по ночной дороге, на бифокальные он ни в какую не соглашается: стоит ему побыть в очках больше часа, как у него от дужек начинают болеть уши. И стекла вечно мутные, и на что ни посмотришь — хоть и смотреть-то не больно охота, — все это он уже видел-перевидел. Какая-то странная засуха сошла на мир, подернула его белесым налетом, и он стал похож на старые репродукции, которые, даже если их хранишь в закрытом ящике, все равно со временем обесцвечиваются.

Удивительным образом этот закон не распространяется на первый фарвей гольф-поля, когда он примеривается, готовясь выполнить первый удар. Каждый раз он видит эту картину словно в ее первозданной свежести. Стоя здесь, на земляной площадке ти[[23]](#footnote-23), в своих огромного размера белых туфлях для гольфа с шипами на подошве фирмы «Фут-джой», в синих хлопчатобумажных носках, вытаскивая из сумки за длинную, стальную, сужающуюся книзу ручку драйвер[[24]](#footnote-24) «Рысь», он снова ощущает себя необыкновенно высоким — таким, каким ощущал себя когда-то давно, на деревянном настиле баскетбольной площадки, когда после первых нескольких минут игры, по мере того как он набирал скорость, а его рывки и прыжки становились все мощнее, сама площадка ужималась до игрушечных размеров, до размеров теннисного корта, потом стола для пинг-понга, и вот его ноги уже машинально покрывают знакомые расстояния, вперед-назад, вперед-назад, и кольцо с нарядной юбочкой сетки ждет не дождется, когда он положит в него мяч. Так и в гольфе — любые расстояния, а здесь это сотни ярдов, исчезают, как по волшебству, стоит сделать всего несколько элегантных ударов, если, конечно, тебе удалось поймать за хвост эту внутреннюю магию игры. Тем и привлекает его гольф, что дарит ему надежду достичь совершенства, снова и снова ощутить абсолютную невесомость и свободу движений, и время от времени это и правда случается, случается в реальном трехмерном пространстве, от удара к удару; но затем он вновь становится заурядным человеком, тужится, из кожи вон лезет, чтобы случилось чудо, чтобы одолеть заветные десять ярдов, хочет оседлать удачу, и волшебство уходит — уходит непринужденность, что ли, чувство тайного сговора с неведомой силой, ощущение, что ты сильнее, чем ты есть на самом деле. Но когда стоишь на ти, это ощущение само возникает в тебе, откуда-то берется, хотя в остальное время ты и не подозреваешь о его подспудном существовании, и ты чувствуешь, что тебе все по плечу, все возможно — можно пройти весь круг без помарок, и не запороть двухфутовый удар, и не увести правый локоть, и не загрести вудом, и не перестараться с айроном[[25]](#footnote-25); вот он перед тобой — первый фарвей, слева пальмы, справа вода, как на плоской цветной фотографии. Все, что от тебя требуется, — сделать простой, без выкрутасов, замах и проткнуть эту картинку точно посередине мячом, который в секунду ужимается до размеров булавочной головки, по тончайшему туннелю устремляясь в бесконечность. Если получится — игра твоя.

Но когда он делает пробный замах, в груди что-то екает, и по странной ассоциации он вспоминает о Нельсоне. Парень, как заноза, засел у него в мыслях. Он готовится ударить по мячу, и грудь сдавливает страшная тяжесть, но у него нет терпения ждать, когда отпустит, и он бьет вкривь, слишком много силы вкладывая в правую руку. Уходит мяч как будто прилично, но постепенно все больше забирает вправо и наконец пропадает из виду где-то возле вытянутого грязного пруда.

— Боюсь, наш мяч в гостях у крокодила, — огорченно говорит Берни. Берни его партнер в этом круге.

— Переиграем? — предлагает Гарри.

Возникает небольшая заминка. Эд Зильберштейн спрашивает Джо Голда:

— Что скажешь?

Джо говорит Гарри:

— Почему-то *мы* никогда не просим переиграть — несправедливо получается.

И Гарри ему отвечает:

— Так то вы — инвалидная команда! Надо иметь силенки по мячу стукнуть как следует. Вот у нас на первом драйве[[26]](#footnote-26) всегда переигровка. Такая у нас традиция.

Эд ворчит:

— Энгстром, как ты сможешь когда-нибудь показать, на что способен, если мы будем с тобой нянчиться и разрешать тебе переигрывать?

Тут вступает Джо:

— Ты думаешь, с таким пузом он еще на что-то способен? А я так думаю, весь его недюжинный потенциал ушел в прямую кишку.

Под их шуточки Кролик достает из кармана другой мяч, устанавливает его на ти и, сделав жестковатый укороченный замах, посылает его — без риска, но и без шика — по левой стороне фарвея. Хотя не совсем без риска — кажется, мяч ударился о что-то твердое и, подпрыгивая, откатился к пальме.

— Прости, Берни, — говорит он. — Я еще не разыгрался.

— А я волнуюсь? — роняет Берни и долей секунды раньше, чем Гарри, успевает опуститься на сиденье рядом с ним, нажимает ногой на электрическую педаль. — С твоей-то силой да с моим умом мы сделаем этих недотеп, как малых детей.

Берни Дрексель, Эд Зильберштейн и Джо Голд все старше Гарри — и ниже ростом, и в их компании он, как правило, чувствует себя комфортно. В их глазах он огромный швед — они и зовут-то его всегда по фамилии, Энгстром, — забавный ручной гой, розовокожий, необрезанный шматок американской мечты. Он, в свою очередь, ценит в них умение трезво смотреть на вещи; их отношение к жизни какое-то более мужское, в них больше печальной мудрости, меньше сомнений и неуверенности. Их многовековая история, засунув все мыслимые и немыслимые страдания поглубже в карман, знай себе шагает вперед. Пока карт везет их по упругой блестящей траве к мячам, Гарри спрашивает Берни:

— Что скажешь о шумихе вокруг Дейона Сандерса? Видел сегодняшнюю газету? Сам мэр Форт-Майерса за него расшаркивается.

Берни на дюйм передвигает сигару во рту и говорит:

— Не по-человечески все это, так я считаю. Они же сами выдергивают этих черных ребят неизвестно откуда, создают им сумасшедшую рекламу, делают из них миллионеров. А потом еще удивляются, почему у них мозги набекрень.

— В газете пишут, толпа не давала полицейским увести его. Он набросился на какую-то продавщицу — та будто бы сказала, что он стянул серьги. Он даже успел ей разок двинуть.

— Насчет Сандерса я не знаю, — говорит Берни, — но вообще во многом виноваты наркотики. Кокаин, к примеру. Эта зараза теперь на каждом углу.

— И что люди в них находят? — недоумевает Кролик.

— Известно что, — говорит Берни, останавливая карт и пристраивая сигару на краю пластмассовой полочки, куда ставят стаканчики или жестянки с пивом, — мгновения счастья. — Он готовится к удару, скрючившись над мячом в своей ужасной стойке — ступни ног составлены слишком близко, лысая голова чуть не у колен, то есть все распределение веса идет с точностью наоборот, поза самая нелепая — и стукает по мячу четвертым айроном — только руки мелькают. Правда, мяч летит ровно и приземляется на пологом скате грина на расстоянии простенького чипа[[27]](#footnote-27). — Есть два пути к счастью, — продолжает он свою мысль, снова усевшись за руль. — Можно добывать его потом и кровью, вкалывая день за днем, как вкалывали мы с тобой, а можно с помощью химии — рвануть напрямик. А мир сегодня устроен так, что ребятки, о которых мы говорим, выбирают короткую дорогу. Долгий путь кажется им слишком долгим.

— М-да, что тут скажешь, он и правда ох какой долгий! А главное, вот ты, допустим, осилил его, прошел до конца, и где ж оно, счастье?

— Где-то там, позади, — соглашается напарник.

— Меня ведь почему еще так задевают истории со всякими сандерсами, — говорит Кролик, пока Берни на полной скорости гонит по солнечному фарвею, лавируя между попадавшими на землю сухими ветками и кокосовыми орехами, — потому что я в свое время успел вкусить этого самого счастья. Я о спорте. Все орут, болеют за тебя, все тебя обожают. Так бы и разорвали на кусочки.

— Видно, что вкусил, невооруженным глазом видно. Даже в том, как ты машешь клюшкой. Правда, боюсь, на этот раз ты угодил прямо под пальму. Тебе придется нелегко, дружище.

Берни останавливает карт — чуть ближе к мячу, чем хотелось бы Гарри.

— Мне кажется, я смогу выбить его хуком[[28]](#footnote-28).

— Не надо рисковать. Выбей чипом. Не зря ведь Томми Армор[[29]](#footnote-29) советует в такой ситуации: не бойся сделать лишний удар, зато следующий с гарантией приведет тебя на грин. Не слишком рассчитывай на чудо.

— Да брось. У тебя по очкам уже порядок. Дай попробую вытащить его, а? — Ствол у пальмы точно гигантская косица. Она слабо шелестит, будто дышит на него, и он улавливает едва различимый запах — милый запах чердака, где свалены высушенные временем школьные тетради и любовные письма. Во Флориде, если присмотреться повнимательнее, всюду видишь следы смерти. Взять те же пальмы — они растут за счет того, что нижние ветви отмирают и отваливаются. Раскаленное солнце невероятно ускоряет все жизненные циклы. Гарри встает в стойку, бедром почти касаясь шершавого зубчатого ствола, взмахивает пятым айроном и мысленно представляет красивую дугу — результат его чудо-удара и ликующий, от радости за его удачу, вопль Берни.

В действительности, из-за того, что мешает дерево, а может, и Берни с картом, задуманный хук у него не получается, мяч летит влево по прямой и, стукнувшись о верхушку следующей пальмы на краю фарвея, камнем падает вниз, в раф[[30]](#footnote-30). Впрочем, флоридский раф — это вам не раф на севере; просто линялая мягонькая трава, всего на полдюйма выше, чем на фарвее. Здешнее поле специально приспособлено для дряхлеющих стариканов. Тут тебя на каждом шагу поддерживают под локотки.

Берни вздыхает.

— Упрямец, — ворчит он, пока Гарри усаживается на свое место. — Вы, ковбои, почему-то думаете, что стоит вам только пальцами щелкнуть, и все ваши желания исполнятся. — Гарри понимает, что «ковбои» — это те же «гои», просто приятель не хочет его обидеть.

От мысли, что он, Гарри, может, и правда заблуждается и препятствия не исчезнут сами собой, стоит ему щелкнуть пальцами, — к нему снова возвращается внутренняя боль и предчувствие судьбы, как там, в аэропорту. Когда он готовится к третьему удару, рассудив, что восьмой айрон подойдет в самый раз, неодобрение Берни наливает его руки свинцовой тяжестью, и из-за этого в его ударе нет нужной хлесткости и мяч не долетает десять ярдов.

— Прошу прощения, Берни. Бей свой чип и получай свой пар[[31]](#footnote-31). — Но Берни не справляется с чипом — опять он машет руками и непонятно куда торопится, и они оба получают по шести, тем самым проигрывая лунку Эду Зильберштейну, который, как водится, набирает буги[[32]](#footnote-32). Эд Зильберштейн — сухопарый бухгалтер-пенсионер из Толидо, с темным ежиком волос и узким, выдвинутым вперед подбородком, отчего все время кажется, что на лице его блуждает улыбка; выше десяти футов у него и мяч-то от земли вроде никогда не поднимается, но что ни удар, то ближе к лунке.

— Ну, ребята, вы даете, с Дукакиса[[33]](#footnote-33) пример взяли? — подначивает он их. — Надо ж так глупо продуть!

— Не трогай нашего Дука, — говорит Джо. — При нем у нас была честная власть — совсем не плохо для разнообразия. Бостонские политиканы не могут ему этого простить. — У Джо Голда два винных магазина в каком-то заштатном массачусетском городишке под названием Фрамингем. Он коренастый, белобрысый, словно присыпанный морским песочком, и носит очки с такими толстыми стеклами, что кажется, будто глаза его мечутся из стороны в сторону в двух маленьких аквариумах и того гляди выскочат наружу. Джо и его жена Бью (Бьюла, если полностью) — их соседи по кондо, на удивление тихие; даже непонятно, чем они там у себя занимаются, чтобы за все время не донеслось ни единого звука.

Эд говорит:

— В решающий момент он взял и скис. А ему надо было не дрейфить, прямо так и заявить: «Да, я либерал и, если хотите знать, горжусь этим».

— Ну да, только как бы это сошло ему с рук на Юге и Среднем Западе? — парирует Джо. — И Калифорния с Флоридой немногим лучше — кишмя кишат старыми маразматиками, а им только одно требуется: «Все налоги отменяются». Остальное их не волнует.

— Да, те еще избиратели, — соглашается Эд. — Но он ведь не на них делал ставку. Взбудоражить бедняков — вот на что он рассчитывал. Ладно, Энгстром, оставь в покое свой трехфутовик. Я и так уже записал тебе шестерку.

— Ничего, мне полезно попрактиковаться, — отвечает Гарри и бьет по мячу и смотрит, как тот замирает у левого края лунки. Сегодня явно не его день. Да будет ли теперь когда-нибудь его день? Уже пятьдесят шесть — сдает он, еще как сдает! Собственный сын, и тот больше не может находиться с ним в одной комнате. Помнится, Рут однажды назвала его ходячей смертью.

— Он поставил на так называемых демократически настроенных рейганистов, — продолжает свою мысль Джо. — Но штука в том, что никаких демократов-рейганистов в природе не существует, а есть просто твердолобые тупицы, которые руками и ногами держатся за свои предрассудки. Только здесь, на Юге, я начинаю понимать, где зарыта собака. Все дело в черных. Через сто тридцать лет после Эйба Линкольна республиканцам удалось прищучить негров — это победа такого масштаба, что не оставляет ни одному из демократических кандидатов в президенты ни малейшего шанса, разве только им поможет очередной массовый спад производства или совсем уж грубый прокол типа Уотергейта. Но Олли Норт[[34]](#footnote-34) не спешит сделать им такой подарок. Даже Рейган, уж на что без царя в голове, и тот не оплошал. Взгляните правде в лицо: подавляющее большинство американцев до смерти боится негров. Это самое главное, нутряное, это корень всего.

После двадцатилетней давности эпизода с Ушлым Кролик испытывает к неграм смешанные чувства, поэтому всякий раз, когда в разговоре затрагивается эта тема, он предпочитает держать язык за зубами.

— А ты как думаешь, Берни? — спрашивает Гарри напарника, пока они с ним наблюдают, как двое других из их четверки подают со второй ти на 136-ярдовой лунке с паром три (тут же, неподалеку от подернутого пеной пруда). Берни ему кажется самым здравомыслящим из этой троицы — он самый флегматичный и немногословный. Несколько лет назад он перенес какую-то операцию на открытом сердце, после которой так до конца и не оправился. В движениях он неловок, у него эмфизема и горбато-сутулая спина, вообще он весь какой-то обвисший — такими обычно становятся толстячки после того, как, вняв рекомендациям врача, сбросят вес. Цвет лица у него довольно-таки паршивый, нижняя губа в профиль расслабленно оттопыривается.

— Я думаю так, — говорит Берни, — что Дукакис пытался говорить с американским народом как с интеллигентными людьми, но мы же к этому не готовы. Буш говорил с нами как с недоумками, и это мы скушали за милую душу. Мыслимое ли это дело — присяга на верность, да-да, вы не ослышались — мыслимое ли это дело, в наше-то время? И кто же до такой глупости додумался?.. Эйлс и иже с ним, те, кто возглавлял президентскую кампанию, засунули его в рекламу пива: вперед, вперед, к сияющим вершинам![[35]](#footnote-35) — Последние слова Берни пропел чуть дрожащим голосом, но умилительно верно. Кролик очень ценит в евреях эту их способность дать волю мимолетному порыву. Они и во время своей еврейской пасхи поют — он знает, потому что Берни и Ферн как-то в апреле брали их с собой на седер[[36]](#footnote-36), как раз перед самым их отъездом назад в Пенсильванию. Пасха, песах: ангел смерти пролетел мимо. Гарри никогда раньше не понимал значения этого слова — пасха. Да минует меня чаша сия — Берни заканчивает свою мысль: — А насчет Буша возможны два варианта — либо он верил в то, что говорил, либо нет. Честно сказать, не знаю, что хуже. Мы таких, как он, называем *пишер*, засранец.

— Дукакис все время ходил с таким видом, будто его жуть как обидели, — осторожно вставляет Кролик. Это предельная откровенность, на которую у него хватает духу, косвенное признание, что он единственный из их четверки голосовал за Буша.

Не исключено, что Берни об этом догадывается. Он говорит:

— По моему разумению, после восьми лет с Рейганом гораздо больше людей должны были бы чувствовать себя обиженными, чем их на поверку оказалось. Если бы нашелся способ притащить всех американских бедняков к избирательным урнам, социализм был бы нам всем гарантирован. Но людям нравится мечтать о богатстве. Это и есть гениальное изобретение капиталистической системы: ты либо уже богат, либо жаждешь разбогатеть, либо считаешь, что ты этого, несомненно, заслуживаешь.

А Кролику нравился Рейган. Нравился его глухой голос, улыбка, широкие плечи, привычка во время долгих пауз слегка покачивать головой, нравилось, как он безмятежно воспарял над фактами, сознавая, что в науке управлять есть вещи поважнее голых фактов, и то, как ловко умел он изменить курс, неустанно повторяя, что ни на йоту не отклоняется от генеральной линии, — взял и вывел войска из Бейрута, захотел — закорешился с Горби, захотел — раздул до небес национальный долг. Забавное совпадение, но при нем мир стал чуточку лучше — лучше для всех, кроме самых безнадежных, отчаявшихся неудачников. Коммунисты разбежались в разные стороны, только Никарагуа еще упирается, но и там он их приструнил как следует. Было в нем какое-то волшебство. Человек из мечты. Осмелев, Гарри произносит:

— При Рейгане все жили как под наркозом, понимаешь?

— А тебе самому операцию делали? Настоящую, без дураков?

— Вообще-то нет. Гланды в детстве. Аппендицит, когда служил в армии — вырезали на случай если меня пошлют в Корею. А меня взяли и не послали.

— Мне три года назад делали шунтирование — четыре шунта сразу.

— Да, Берн, я помню. Ты мне рассказывал. Зато теперь ты в отличной форме.

— Когда выходишь из наркоза, боль такая — врагу не пожелаешь. Невозможно поверить, что с такой болью можно жить. Чтобы добраться до сердца, нужно раздвинуть грудную клетку. Тебя вскрывают, как кокосовый орех, представляешь? Кроме того, у тебя из ноги, повыше, вырезают вены, самые прочные, какие есть. Поэтому когда ты очухиваешься от наркоза, у тебя в паху болит не меньше, чем в груди.

— Ух ты! — совсем не к месту рассмеявшись, восклицает Гарри: пока Берни, сидя с ним рядом в карте, ведет свой рассказ, Эд, как всегда очень важно и обстоятельно, готовится к удару — сначала устанавливает кисти на клюшке, методично, палец за пальцем, точно цветы в вазу, потом несколько раз, прежде чем замахнуться, вытягивает шею по направлению к лунке, будто хочет стряхнуть с лица паутину или что-то попало ему за шиворот, — и вот после всего этого, выполняя наконец замах, он зачем-то смотрит вверх и в результате смазывает удар и мяч, получив подзатыльник, летит прямиком в воду: прежде чем пойти на дно, он трижды подпрыгивает, оставляя после себя три постепенно расходящихся, набегающих друг на друга круга. И все, крокодил проглотил!

— Шесть часов я лежал на столе, — ни на что не обращая внимания, твердит ему в ухо Берни. — Я очнулся и не мог шевельнуться. Даже веки не мог поднять. Тебя ведь *замораживают*, так что кровотока почти нет. Меня будто засунули в черный гроб. Нет, не так. Я *сам* был как гроб. И вдруг из этой кромешной тьмы до меня доносится чей-то странный голос, с сильным индийским акцентом. Анестезиолог, пакистанец.

Джо Голд, после того как его напарник утопил мяч в пруду, сам слишком торопится ударить, подстегиваемый желанием поскорее ввести мяч в игру: рывками, как бы в два приема (он всегда так делает), отводит клюшку назад и, взмахнув ею, плоским шлепком, который вообще характерен для коротышек-здоровячков, посылает мяч в воздух. Удар получается смазанный, мяч уходит вправо и приземляется в круглом бункере[[37]](#footnote-37).

Берни подражает тягучему голосу пакистанца:

— «Бер-ни, Бер-ни», — слышу я, да так ясно, будто это глас Господень, — «опе-рация про-шла у-спешно!»

Гарри, хоть уже и слышал этот рассказ, все равно смеется. Правдивый, жутковатый рассказ о том, как человек побывал на волосок от смерти.

— «Бер-ни, Бер-ни», — повторяет Берни, — ну в точности как глас, раздавшийся из облака над головой Авраама и повелевший ему перерезать глотку Исааку.

Гарри спрашивает:

— Ну что, очередность прежняя? — Он понимает, что показал себя не с лучшей стороны.

— Давай ты первый, Энгстром. Я так думаю, для твоего самолюбия это слишком большой удар — пропускать кого-то вперед. Давай дерзай! Задай им перцу, пусть знают, как надо играть!

Кролик только того и ждет. Он берет седьмой айрон и старается сосредоточиться на пяти главных моментах: голова опущена вниз, замах не слишком долгий, бедро пошло вниз, пока клюшка еще в верхней точке, плавный качок клюшкой вниз, головка строго перпендикулярна оси мяча, так чтобы точка касания пришлась на то место, где сходятся стрелки на часах, когда они показывают 3:15. По тому, как в мгновение ока мяч с присвистом покидает пятачок земли у него под ногами, он понимает, что удар получился на славу; они все провожают глазами темную точку — она взмывает ввысь, зависает на какой-то неуловимо краткий миг, тот самый дополнительный миг, за счет которого обеспечивается длина полета, а затем отвесно падает вниз на грин, чуть левее, чем нужно, но, благодаря уклону чашевидного грина, мяч, подпрыгнув, смешается вправо. Мир вокруг него тает, как воск на солнце.

— Класс! — вынужден похвалить Эд.

— Перебить не желаешь? — подначивает Джо. — А то давай, мы не против.

Берни, вытаскивая себя из карта, спрашивает:

— Ты каким айроном бил?

— Семеркой.

— Решил лупить по мячу, старик, брал бы сразу восьмой.

— Думаешь, засадил дальше лунки?

— Тут и думать нечего. Ты на задней линии.

Напарничек, нечего сказать! Вечно чем-нибудь недоволен. Совсем как Марти Тотеро — почти сорок лет назад. Принесешь двадцать пять очков за игру, а Марти, оказывается, рассчитывал на тридцать пять и ну попрекать каким-то мячом, который ты мог бы, но не сумел положить в корзину. Сидящий внутри Гарри солдат, христианин-мазохист, инстинктивно тянется к таким людям. Всепоглощающая, всепрощающая любовь, такая, как у женщин, — вот что размягчает мужиков, вот что их губит!

— Ну, мне-то и шестерка будет в самый раз, так я думаю, — говорит Берни.

Однако, стараясь не переусердствовать с ударом, он явно не дотягивает, правда, в воду мяч не попадает, остается на берегу, но бить оттуда неудобно.

— Трудновато тебе там будет, — говорит Гарри, не удержавшись, чтобы не кольнуть слегка напарника. Он еще держит зуб на Берни за то, что тот припер его картом и загубил ему хитроумно задуманный хук.

Берни реагирует на его укол добродушно.

— Особенно если учесть, какой чип я запорол в прошлый раз, а? — отвечает он, втискивая в карт свое кургузое, обвисшее, сутулое тело. Гарри сдвинулся на водительское место. Такое правило: кто первый оказался на грине, тому и сидеть за рулем. Гарри чувствует — вот оно, пошло. Ну, теперь они покажут этим олухам, как надо играть. Он катится над водой по арочному деревянному мостику с красными резиновыми ленточками поверх дощатого настила.

— Там, откуда ты будешь бить, — предупреждает его Берни, когда они вылезают, — грин имеет уклон. Смотри, не перестарайся с паттом[[38]](#footnote-38), а то разгонишь под горку, так он у тебя за горизонт укатится.

У Эда мяч в воде, так что он вне игры. Берни вынужден бить из такого неудобного положения на круто уходящем вверх берегу, что первый раз он просто мажет, потом попадает по мячу, но не головкой, а ножкой клюшки, и в результате поднимает мяч, отказываясь от дальнейшей борьбы за лунку. Зато песчано-белобрысый Джо Голд в своей стихии — он для устойчивости ввинчивает стопы в песок и удачным хлестким ударом выбивает мяч из бункера. Гарри, в голове у которого, вопреки собственной интуиции, все время крутятся наставления Берни, слишком уж осторожничает со своим длинным паттом, и в итоге мяч недотягивает целых четыре фута. Он ставит маркер Вальгалла-Вилидж, а Джо тем временем в два патта набирает свои законные четыре очка. Джо не спешит, и Гарри все это время изучает свой предстоящий четырехфутовый. Долго, слишком долго изучает. То ему кажется, что в траектории будет излом, то нет. В конце концов, опасаясь, что мяч снова, как на предыдущей лунке, откатится влево, он исключительно чисто и аккуратно запарывает свой патт и теряет верный пар, выкатывая мяч ровно на дюйм правее лунки.

— Ах ты, гад такой, сучье отродье! — ругается он, досада волной приливает к глазам, и он боится чего доброго расплакаться. — С подачи попасть на грин, и чтобы потом в два патта не вписаться!

— Бывает, — философски роняет Эд, записывая ему 4 с привычной бухгалтерской педантичностью. — На этой лунке ничья.

— Прости, Берн, — кается Гарри, залезая в карт на место пассажира.

— Я сам виноват, — говорит ему напарник. — Черт дернул меня каркать про этот уклон на грине. — Он распечатывает очередную сигару и, вдавив педаль, откидывается на спинку и катит вперед, навстречу долгому дню.

Плохой сегодня день для Гарри. Флоридское солнце вместо того, чтобы занимать отведенное ему одно-единственное место на небосклоне, похоже, превратилось в набор искусственных «солнц», софитов, от которых негде укрыться — повсюду тебя настигает одинаково ровный белый свет. Даже если идти прямо под пальмами или держаться вплотную к двенадцатифутовой изгороди из сосен, отделяющей Вальгалла-Вилидж от внешнего мира, все равно и тут тебе не спрятаться от вездесущего солнца, и вот опять кончик носа у Кролика полыхает, опять обгорели предплечья и тыльная сторона руки, той, что без перчатки, а она и так уже вся в кератозных пятнышках. У него в сумке для гольфа всегда имеется тюбик солнцезащитного крема, пятнадцатый номер, и он без конца им мажется, и все равно ультрафиолет добирается сквозь крем до клеток эпителия и будет жечь и печь, пока он не схлопочет рак кожи. Трое его партнеров по игре не пользуются никакими защитными средствами, преспокойно подставляя себя солнцу и покрываясь ровным загаром снизу доверху, включая даже лысую макушку Берни, гладкую, как страусиное яйцо, на ней всего несколько крохотных пятнышек, да и те можно разглядеть, только когда он, готовясь к удару, опускает голову и из раза в раз воспроизводит ужасающую в своей нелепости стойку: вся постановка тела, ног — все неправильно. Упорная, доведенная до автоматизма неумелость Берни — куцые удары, неуклюжие чипы — сегодня особенно удручает Гарри, поскольку у него самого игра не клеится, а тянуть за двоих — куда уж там: и почему и как это получается, что человек, у которого прямо-таки на лице написано долготерпение и умудренность, ни бельмеса не смыслит в гольфе и, видимо, даже не пытается чему-то научиться. Вероятно, для него, подозревает Гарри, это всего только игра, один из способов скоротать время на свежем воздухе, на солнышке, раз уж у него сейчас подходящий для этого этап в жизни. Сначала Берни был пацаном, потом взрослым мужчиной — делал деньги и плодил детей (торговля коврами в Квинсе, Нью-Йорк; две дочери, обе замужем за приличными, симпатичными молодыми людьми, и сын, который отучился в Принстоне и затем в Уортонской школе бизнеса в Филадельфии и подвизается на Уолл-стрит в качестве специалиста по защите контрольных пакетов от посягательств конкурентов), — и вот теперь он на другом конце радуги жизни, а дальше известное дело: пенсионный отдых во Флориде, который Берни переносит точно так же, как он переносил всю свою предыдущую жизнь — сглатывая едкий вкус размокшей сигары. Он не видит в игре того, что видит в ней Гарри, — возможности бесконечно приближаться к совершенству. Сегодня Кролик и сам этого не видит. На одиннадцатой лунке (пар пять) — загогулине, называемой еще «собачья лапа», которую он с треском проигрывает: производя второй удар четвертым вудом, посылает мяч по дуге вправо, так что тот приземляется на территории ближайшего кондо и проваливается куда-то между пластмассовыми баками для мусора и какой-то бетонной штуковиной с вмурованными в нее проржавевшими железными шестами, соединенными проволокой для сушки белья (немецкая овчарка на цепи, укрепленной на проволоке, яростно облаивает его, рвется, проволока звенит, и Голд с Зильберштейном, развалясь в своем карте, весело зубоскалят, а Берни с каждой минутой все больше мрачнеет и насупливается), потом ценой штрафного очка вводит этот залетевший за границу поля мяч в игру, причем собака продолжает исступленно гавкать, и с такой силой лупит третьим айроном, что оставляет шестидюймовую борозду и засыпает себе туфли песком, песок набивается даже в носки, потом берет следующий айрон и посылает мяч влево, прямо в клумбу с высохшими, осыпающимися азалиями неподалеку от двенадцатой ти, потом вынимает мяч из клумбы и смазанным чипом отправляет его катиться аккурат через весь грин (теперь уже все трое его партнеров оцепенело молчат, расстроенные, переживающие за него — или, может, втайне ликующие?), потом пытается выбить мяч из песка — засаживает его в борт ловушки так, что он, отскочив, снова ударяется о клюшку, и тогда наконец, зачерпнув по пути песочку, с гадливостью подбирает мяч; мало ему всего этого, так он еще умудряется сам себя треснуть по колену, когда, разровняв песок, неловко отшвыривает грабли в сторону, — на одиннадцатой лунке, вернее, после нее, и эта игра, и этот день начинают доставать его до печенок, гарантируя ему устойчивую депрессию. Трава какая-то жирная, ненатуральная, пальмы через одну чахнут от засухи и сбрасывают омертвелые побуревшие ветви, вдоль каждого фарвея выстроились кондоминиумы, будто высоченные оштукатуренные сараи, и даже небо, в котором взор обычно находит отдохновение, нынче изгажено хвостатыми шлейфами, оставленными сверхзвуковыми самолетами, — они медленно расползаются вширь, растаскиваются воздушными потоками, пока не станут неотличимыми от истинных, Богом сотворенных облаков.

Часы наползают один на другой, приходит и уходит полдень, накал софитов понемногу ослабевает, но жара набирает силу. Они заканчивают игру без пятнадцати три, Гарри и Берни в минусе на двадцать долларов.

— В следующий раз отыграемся, — обещает Гарри напарнику, хотя у него самого уверенности в этом нет.

— Сегодня ты что-то сам на себя не похож, дружище, — огорченно замечает Берни. — Нелады на любовном фронте или еще что?

У этих евреев одно на уме: ему как-то попала в руки книжка об истории Голливуда, так там такого про их шашни понаписано! Гарри Кон, Граучо Маркс, братья Уорнеры — они все с ума посходили от солнца, бассейнов и девиц — к ним толпами сбегались все шиксы[[39]](#footnote-39) Среднего Запада, готовые вытворять что угодно, лишь бы заделаться кинозвездами, — и в оргиях участвовали, и так, в рабочем порядке, обслуживали, пока магнат говорил, допустим, по телефону; при всем том его партнеры по гольфу мужчины женатые, как женились 40—50 лет тому назад, так и живут со своими женами, женщинами с рыжими крашеными волосами, массивными браслетами на запястьях и толстыми, особенно вверху, загорелыми руками, которые вечно трещат без умолку, по крайней мере за ужином, где они появляются разряженные в пух и прах, пока Берни, Эд и Джо, сидя подле них, только тихо улыбаются, будто весь этот галдеж в исполнении их женушек вполне заменяет им секс, и, наверно, так и есть — острота ощущений, жизнь! Как им это удается? Носить свою жизнь, как костюм, сшитый точно по мерке.

— Да я вроде говорил тебе, — отвечает Гарри, — сын с семьей приехал погостить.

— А, так в этом все дело, Энгстром: тебя просто совесть замучила, пока ты тут с нами дурака валял вместо того, чтобы развлекать родственников.

— Вот именно, развлекать. Только вчера прилетели, и уже не знают, куда себя деть от скуки. Они, видишь ли, недовольны, что мы живем так далеко от Диснейуорлда.

— Свози их в Джунгли-парк. Это в Сарасоте — от Музея Ринглингов по сорок первому. Мы с Ферн ездим туда по два, а то и по три раза за зиму, и нам все равно интересно. Спящие фламинго — я могу часами смотреть на них — нет, правда, как это им удается? Балансируют на одной ноге, а нога длинная-предлинная и такая тонкая, у меня палец толще, ей-ей. — Он поднимает вверх указательный палец, и палец совсем не кажется тонким. — Еще тоньше, представляешь? — не может он успокоиться.

— Даже не знаю, Берни. При мне сын ведет себя так, будто хочет оградить от меня моих собственных внуков. Ну, пацаненок — ему только четыре — еще бы ладно, я его и не знаю почти, а вот с девочкой мы бы отлично поладили. Ей скоро девять стукнет. Я даже подумывал взять ее сюда — прокатить на карте, дать разок стукнуть по мячу. А может, стоит устроить морскую прогулку на «Солнцелове», а, Эд? Может, твой сын окажет любезность и проведет меня как постояльца «Бэйвью»?

Все четверо освежаются пивком с бесплатными орешками в гольф-клубе «Девятнадцать»[[40]](#footnote-40) по соседству с магазином для гольфистов, на нижнем этаже корпуса А в Вальгалла-Вилидж. Полумрак внутри — виной тому темные дубовые панели и балки в стиле английских пабов — воспринимается как кромешная тьма после субтропической яркости за дверью, где стоят круглые белые столики под зонтиками с надписью «Курс»[[41]](#footnote-41). Доносятся всплески воды со стороны бассейна, расположенного между корпусами А и Б, и из-за стены — ритмичное урчание генератора, который отделен от зала комнатами отдыха с мишенями для дротиков и видеоиграми. Иногда по ночам Гарри чудится, что шум генератора настигает его, проникая сквозь все квартиры, ковры, кондиционеры, разговоры, матрасы и персиковые обои в коридоре. Каким-то непостижимым образом шум огибает углы и, цепляясь за стены, вползает в огромное, во всю стену, раздвижное окно, в щель, оставленную для дуновений ветерка с залива.

— Пожалуйста, о чем речь, — говорит Эд, подсчитывая очки, — подойдешь к стойке регистрации и спросишь Грега Сильверса. Так он себя величает, только не спрашивай меня почему. Тебе скажут пройти через вестибюль и спуститься в раздевалки. По вестибюлю лучше в пляжных костюмах не расхаживать — администрация этого не одобряет. Ты можешь назвать день, чтоб я предупредил его?

У Гарри складывается впечатление, что он, видимо, попросил о весьма значительной услуге, чего он вовсе не имел в виду, и что игра, пожалуй, не стоит свеч.

— В пятницу, если мы вообще соберемся, — осторожно говорит он. — А Грегу обязательно знать точно? Завтра я вроде планировал двинуться в сторону Сарасоты.

— В Джунгли-парк, — требует Берни.

— Там есть еще Музей игрушечных железных дорог, — вносит свою лепту Джо Голд. — А прямо напротив Музея Ринглингов есть Музей Белма: «Автомобили и музыка прошлых лет» — так, кажется, он называется. Больше тысячи разных музыкальных аппаратов, представляешь? Старинные автомобили, начиная с 1897 года, — я и не думал, что тогда уже были машины. Ты же сам занимаешься машинами, так, Энгстром? И ты, и сын твой. Вы с ним там просто обалдеете.

— Не знаю, не знаю, — неуверенно мямлит Гарри, не находя слов, чтобы передать им ощущение хмурой тучи, которое неотступно сопровождает Нельсона и омрачает радость от любой вылазки.

— Гарри, слушай сюда, это тебе интересно, — встревает Эд. — При том, что ты получаешь семь очков — два сверх пара с учетом гандикапа[[42]](#footnote-42) — на одиннадцатой, где ты поднял мяч, и, так и быть, шесть на шестнадцатой, где ты запузырил в воду два мяча, ты набрал ровно девяносто. Не так уж ты плохо сыграл, как могло показаться! Чуток поаккуратней с драйвами и долгими айронами[[43]](#footnote-43), и ты будешь стабильно выходить из девяноста.

— Никак мне было не врубиться, не пошло и все, хоть ты тресни, — сетует Гарри. — Не пошло. — Его мучает невысказанный вопрос, который его так и подмывает задать своим все понимающим друзьям-евреям: что они думают о смерти? Вместо этого он спрашивает их: — Ладно, а что вы думаете о катастрофе, ну, того лайнера, «Пан-Ам»?

Ему отвечают не сразу.

— Бомба, не иначе, — говорит Эд. — Раз кожаные сумки и чемоданы насквозь прошиты стальными осколками, а обломки раскидало по Шотландии на пятьдесят миль, ничего кроме бомбы тут быть не может.

— Всё эти арабы, — вступает Джо Голд. Его скачущие за стеклами очков глаза загораются патриотическим огнем. — Эх, если только мы получим доказательства, наши Ф-111-е тут же возьмут курс на Ливию. А по-настоящему нам надо было бы жарить прямо в Их-ран и всыпать старой гадине Хомейни по первое число.

И все-таки в их репликах нет обычного для них задора; Гарри невольно смутил их своим «политическим» вопросом, хотя сам-то он о политике думал меньше всего. Но так устроены евреи: о чем бы ни сообщили в газетах, они все переводят на свой Израиль.

— Я не об этом, — уточняет он. — Как, по-вашему, что при этом чувствуешь? Ты себе сидишь, летишь, и вдруг самолет взрывается.

— Ну, что ты встрепенешься, я тебе гарантирую, — замечает Эд.

— Ничего они не почувствовали, — говорит Берни тактично, уловив в голосе Гарри нотки личного беспокойства. — Ничего, ноль. Миг — и все кончено.

Джо продолжает гнуть свое:

— Знаешь, как говорят в Израиле, знаешь, Энгстром? «Если нам суждено иметь врагов, Господи, пусть это будут арабы».

Гарри уже слышал эту шутку, но делает вид, что ему смешно. Берни замечает:

— По-моему, Энгстрому пора сменить напарника. Я действую на него угнетающе.

— Ты тут ни при чем, Берни. Я с самого утра в угнетенном состоянии.

Клуб «Девятнадцать» славится великолепным ассортиментом разных солененьких угощений «под пиво», которые подают здесь на фарфоровых блюдах с монограммой Вальгалла-Вилидж — вензель из двух «В» цвета морской волны. Жареный арахис, миндаль, фундук — это как везде, но тут еще попадаются малюсенькие соленые палочки, крендельки, тыквенные семечки и хрустящие завитушки наподобие кукурузных чипсов, только тоньше и острее на вкус в тот блаженный миг, когда язык перекатывает их во рту подальше к коренным зубам, чтобы там с хрустом их все разом размолотить. Его спутники, то один, то другой, лишь изредка берут щепотку соленого ассорти, но вскоре оказывается, что блюдо опустело, — Кролик уминает за троих.

— Учти, это голый натрий, — остерегает его Берни.

— Угу, зато для души какая услада, — отвечает Гарри, и для него в этом замечании содержится та предельная степень религиозности, на какую он только способен вслух отважиться. — Кто созрел еще по кружечке? — спрашивает он. — Проигравшие угощают.

У него появляется желание кутнуть: мрачное настроение мало-помалу растворяется, как капля дегтя в мягком спиртовом растворителе. Он жестом подзывает официанта и заказывает еще четыре пива и блюдо «солененького». Официант, молодой, похожий на фавна, латиноамериканец с серьгой побольше, чем у Нельсона, и с золотыми цепочками на запястьях сдержанно кивает: должно быть, Гарри кажется ему громадной бело-розовой тушей, насквозь пропитанной водой, которую соль удерживает в организме. Вообще вся их четверка, по-видимому, производит впечатление компании шумной и, может статься, плохо управляемой: безобразные старые гринго. Очередная капля дегтя. На Гарри опять наваливается тоска. Даже лучшие часы и минуты во Флориде не идут в сравнение с тем, как славно проводили они время, когда под вечер собирались на дружескую попойку в добром старом клубе «Летящий орел» в округе Дайамонд — тогда Бадди Инглфингер не женился еще на долговязой чокнутой девице-хиппи по имени Валери и не переехал в Ройерсфорд, а Тельма Гаррисон была еще не настолько больна волчанкой, чтобы избегать общества, а Синди Мэркетт еще не растолстела и Уэбб не развелся с ней, потому что после всего этого собираться уже было не с кем. Тут во Флориде все так осторожничают, будто с двух кружек пива можно грохнуться наземь и сломать бедро. Не штат, а хрустальная ваза.

— Твой сын играет в гольф, да? — спрашивает его Джо.

— Не сказал бы. Характера не хватает. Или времени, как он говорит. — И, кроме того, мог бы добавить Кролик, он сам по-настоящему никогда и не звал его с собой.

— А что он делает, как любит проводить время? — допытывается Эд. Они же все, понимает вдруг Гарри, расспрашивают его исключительно из вежливости. Заказав еще по одной, он вышел за пределы обычной приятельской непринужденности, преступил негласные правила этой, девятнадцатой, лунки. Их ведь, поди, заждались уже дома темпераментные престарелые женушки. Пора узнать последние сплетни. Почитать письма от сознающих свой сыновний и дочерний долг преуспевающих чад. Поколдовать над счетами. Поштудировать Тору.

— Любит меня за пояс заткнуть. Доказать, какой он удалец, — отвечает Гарри. — Пропадает где-то со всяким бруэрским сбродом, гуляет, как сопляк неженатый. Не вижу я, чтоб ему что-то доставляло особую радость. Он и спортом-то никогда не занимался.

— Тебя послушать, — замечает Берни, — так можно подумать, что из вас двоих он отец, а ты сын.

Кролик охотно соглашается; вторая кружка подействовала на него ободряюще — его будто посетило озарение.

— Вот-вот, к тому же проштрафившийся. Так он меня и воспринимает: старый несовершеннолетний правонарушитель. Жена его с ним мается, судя по всему. — Как это у него вырвалось? Да и правда ли это? *Помогите же мне, мужики! Растолкуйте мне, как ухитрились вы подчинить себе и секс и смерть и больше себя этим не мучить?* Но его уже несет: — Вся эта семейка, включая ребятишек, сплошные нервы. Никак не пойму, что у них там происходит.

— А твоя жена, она-то знает, что происходит?

Это его-то дуреха знает! Он оставляет вопрос без внимания.

— Не далее как вчера вечером я пытался поговорить с ним, поговорить спокойно, и что же? У него один разговор — знай себе поносит «Тойоту». Поносит компанию, которая нас кормит, без которой и он сам, и его отец, и проходимец дедуля так и остались бы навек босяками, но ему до этого дела нет, весь изнылся: ах, зачем «тойоты» не «ламборгини»! Господи, что ж так пиво-то быстро кончается? Ну и погодка, как в Сахаре!

— Гарри, тебе не надо больше пить пиво.

— Тебе надо идти домой и рассказать родным про Музей Белма. Б-е-л-м. Я знаю, как надо произносить, только мне не выговорить. Все какие угодно старые автомобили. Еще без рулевого колеса. И даже без передач.

— Скажу вам честно, ребята, я вообще-то не такой уж заядлый автомобилист. Да, я езжу на машинах, торгую ими, но я в них не смыслю ни уха ни рыла. По мне что одна, что другая — все одинаковые. Если едет, значит, хорошая, не едет — барахло.

Кроме него, все начинают подниматься со своих мест.

— Приходи завтра на поле с внучкой. Дашь ей первый урок. Так, деточка, опусти головку вниз, теперь медленно отводим клюшку...

Это Берни; а вот и Эд Зильберштейн вступает со своими наставлениями:

— Укорачивай замах, Гарри, тебе надо над этим поработать. Зачем задирать клюшку выше плеч? Весь удар вот где, на уровне срамного места. Не зря мне гольфист-профессионал советовал: представь, что этим местом и бьешь. Очень дельный совет, я тебе точно говорю.

Они услышали его безмолвный крик о помощи, его мольбу об утешении и поддержке и ради него, Гарри, захлопотали, вопреки обыкновению, на чисто еврейский манер — так по крайней мере ему кажется, пока он сидит и слушает их.

Берни, оторвавшись от стула, склоняется над Гарри — землистого цвета кожа, обвисшая шея вся в глубоких, заполненных тенью, складках.

— У нас есть одно выражение, — говорит он, глядя вниз. — *Цорес* [[44]](#footnote-44). Так я думаю, дружище, это ты сейчас и имеешь. Пока еще не по полной программе, но все-таки *цорес*.

Приятно отупев от алкоголя — в груди, будто где-то очень далеко, легонько жалит, обгоревший кончик носа чуть пощипывает, — Гарри вовсе не намерен двигаться, хотя весь мир вокруг пребывает в неустанном движении. Два бойких, себе на уме, студентика, которые весь день поджимали их на поле, теперь наяривают в видеоигры по соседству с комнатами отдыха — трели, свист пуль, писк, блеяние. На экране появляются и исчезают разноцветные движущиеся роботы. Он вдруг видит свои белые пальцы с большими полукружьями у основания ногтей, которые рассеянно шарят по дну блюда, словно пытаясь подцепить вензель «ВВ». Пусто, все съедено. Он не может вспомнить, приносил ли официант новую порцию орешков. Абсолютной уверенности у него в этом нет.

Джо Голд — грива песочного цвета волос, увеличенные стеклами глаза мечутся туда-сюда в почти квадратных рамках очков — чуть подается вперед, будто собирается ввинтить ноги в песок бункера, и говорит:

— Специально для тебя — еврейский анекдот. Абрам встречает Исака после того, как они друг друга давно не видели, и спрашивает: «Сколько же у тебя детей?» А Исак ему отвечает: «Ни одного». Тогда Абрам говорит: «Ни одного?! Так где же ты берешь поводы для расстройства?»

Они смеются каким-то ускоренным смехом — сразу вспоминаешь рекламу пива, снятую ускоренной съемкой. Их балагурство, да еще в таком дружном, слаженном исполнении, звучит для Гарри грозным напоминанием, что он бездарно провел этот день и что теперь ему надо торопиться, торопиться наверстать, как тогда, когда он, опаздывая, бежал сломя голову в школу, а в животе у него холодело и мелко подрагивало. Те трое, возвращаясь наконец к своему незыблемому семейному распорядку, на прощание хлопают его по плечу, спине и даже слегка треплют за загривок, словно желая растормошить его, вывести из ступора.

В этой Флориде, думает он, даже в дружбе есть какая-то зыбкость, недолговечность, потому что любой знакомый каждую минуту может ни с того ни с сего передумать и купить себе квартиру в другом кондоминиуме или еще того чище — взять да и помереть.

Клюшки и туфли остаются в клубе до следующего раза. Кролик шагает в своих видавших виды мокасинах, до того растоптанных, что ступни болтаются в них, как будто даже не соприкасаясь с кожей, шагает напрямик, пересекая парковку, и исчерченный полосами подъездной путь, и зеленое покрытие островка общественного транспорта на территории Вальгаллы, к корпусу Б. Он открывает наружную дверь своим ключом, набирает на панели код, стоя в узком междверном проеме, где за ним наблюдают две встроенные телекамеры, открывает на себя дверь — при этом звучит не примитивный зуммер, а «динь-динь-динь», точно пожарная машина возвращается с вызова, — и поднимается в лифте на пятый этаж. Он входит в 413-ю, его дом вдали от дома, и застает честную компанию — Дженис, Пру и ребятишек; все четверо играют в карты, вернее, играют трое, а Рой сжимает в ручонке карты и ждет, когда мать скажет ему, что делать дальше. Лицо у него осовелое, наверное, весь день состоял из одних обманутых надежд и разочарований. Они так радостно приветствуют Гарри, словно он явился избавить их от скуки, но он сам чувствует себя так, будто его били палками, и единственное его желание — поскорей лечь и чтобы тело его растворилось в блаженной прострации. Он спрашивает:

— А где Нельсон?

Зря спрашивает, особенно при детях. Дженис и Пру обмениваются взглядами, после чего Пру берет инициативу в свои руки:

— Он взял машину и поехал по делам.

Здесь у них только одна машина — «камри», «селика» осталась в Пенн-Парке. Это себя оправдывает, поскольку практически все необходимое — лекарства, журналы, парикмахерскую, купальные принадлежности, мячики для тенниса — можно найти, не выезжая за пределы Вальгаллы. Продуктовая лавка есть в корпусе В, но там дерут, как в аэропорту, поэтому Дженис обычно ездит запастись провиантом раз в неделю в «Уинн-Дикси», что на бульваре Пиндо-Палм, в полумиле от дома. Также раз в неделю они заезжают в свой банк в центре Делеона на торговой площади в двух кварталах от моря, где постоянно мурлычет фоновая музыка, причем не только внутри, но и снаружи; должно быть, в кронах деревьев спрятаны динамики. Ну, и раз-два в месяц они совершают вылазки в кинотеатр в огромном торговом центре на бульваре Палметто-Палм, то есть удаляются от дома мили на две. Но вообще машина целыми днями стоит невостребованная на своем парковочном месте, потихоньку покрываясь ржавчиной и белыми шлепками птичьего помета.

— И что ж это у него тут за дела, хотел бы я знать?

— Перестань, Гарри! — вступает Дженис. — Мало ли какие у людей могут быть надобности. Ты пьешь одно пиво — он другое. Потом ему нравится какая-то особая нить чистить зубы, не обычная, круглая, а плоская, в виде ленточки. И вообще он любит прокатиться; ну невмоготу ему сидеть в четырех стенах, что ж тут поделаешь?

— Это всем невмоготу, — назидательно говорит он. — Однако это не повод угонять чужие машины — люди находят другой способ с собой справиться.

— Что-то вид у тебя сегодня измученный. Проиграл?

— И как ты догадалась?

— Да ты всегда проигрываешь. Эта троица евреев, с которыми он играет, — объясняет Дженис невестке, — они каждый раз выставляют его на двадцать долларов.

— В тебе говорят предрассудки, ты рассуждаешь точь-в-точь как твоя мамаша. Да будет тебе известно, я выигрываю не реже, чем проигрываю.

— Что-то не припомню. Они нарочно заговаривают тебе зубы, мол, какой ты распрекрасный игрок, а сами прибирают к рукам твои денежки.

— Вот ведь дурья башка! Один-то из них играл со мной в паре — и тоже потерял двадцатку.

На что она невозмутимо — ну копия ее мамаша! — и словно бы в пространство говорит:

— Не исключено, что он получит ее обратно. У них одна шайка-лейка.

Тут до него доходит, что она нарочно говорит гадости и несет околесицу, лишь бы увести разговор подальше от Нельсона с его беспардонным, таинственным исчезновением.

Джуди зовет его:

— Дедушка, поиграй с нами вместо Роя. Он даже карты держать не умеет, только всем мешает!

Рой не преминул тут же представить доказательство, с размаху шмякнув карты на круглый стеклянный столик, в точности так же, как утром он швырнул ложку.

— Не хочу играть, — сказал он с отчетливостью говорящей куклы — были раньше такие куклы: потянешь сзади за веревочку, и она тебе выдает какую-нибудь короткую фразу.

В ту же секунду Джуди свободной от карт рукой задает ему трепку. Она кулаком дубасит его по плечам, по шее и в ответ на его протестующий ор втолковывает ему:

— Ты все нам испортил. Теперь никто играть не может. А я как раз должна была выиграть, у меня уже почти все черви были на руках и пиковая дама!

Пру аккуратно кладет веер своих карт на стол лицом вниз, а другой рукой, длинной, покрытой пушком любящей рукой, притягивает к себе орущего малыша и прижимает его к груди; тогда Джуди закипает от ревности, глаза у нее краснеют, как у всех женщин за миг до того, как они решают пустить слезу, и она опрометью выбегает в спальню Гарри и Дженис.

Пру силится улыбнуться, но и у нее вид порядком измученный.

— Все устали, все расстроены, — говорит она немного нараспев поверх макушки Роя, чтобы Джуди ее тоже услышала.

Дженис встает, чуть пошатнувшись. Она задевает ногой стеклянный столик, и высокий стаканчик рядом с оставленными ею картами, до середины наполненный кампари, вздрагивает — багряный круг, качнувшись, возвращается на место, — и он почему-то вспоминает давешний пруд, куда скакнул мяч Эда. На ней снова ее теннисное платье. Высохшие потеки пота на боках и под мышками проступают контурно, как материки на сильно вылинявшей географической карте.

— Наверно, мы переоценили их силы, — объясняет она Гарри. — Сначала мы отправились за покупками, целую гору всего накупили, потом перекусили в «Бургер-кинге», вернулись домой, и Пру на два часа увела их плавать и играть в шафлборд, а потом еще мы с Джуди пошли на корт и постучали мячиком.

— Получается у нее? — интересуется он.

Дженис смеется, словно ей странно слышать такой вопрос.

— Представь себе, да, и здорово получается. Будущая спортсменка, по твоим стопам пойдет.

Кролик входит к себе в спальню. Если бы они с Дженис были одни, он бы сейчас лег, поводил бы глазами по одной-другой странице исторической книги, которую жена подарила ему на Рождество, потом закрыл бы глаза, отгородился веками от трескотни пичуги, облюбовавшей норфолкскую сосну за окном, и покорно уступил бы великой тяжести бытия. Но Джуди его опередила, первая захватила его собственную двуспальную кровать с нефритово-зеленым покрывалом. Она лежит свернувшись калачиком и пряча лицо. Он пристраивается с краешку, и она подвигается, утыкаясь в него коленками. Он любуется ее волосами, непостижимым протеиновым их совершенством, длинными светлыми прядями, которые на солнце приобретают интенсивный апельсиновый оттенок и блеск.

— Давай-ка отдохнем немного, а то сегодня вечером еще бинго, — говорит он.

— Если Роя возьмут, я не пойду, — заявляет она.

— Не цепляйся так к Рою, — увещевает он ее, — парнишка-то он, в общем, неплохой.

— Нет, плохой. Не дал мне выиграть. У меня была уже пиковая дама, и туз червовый, и валет, и еще несколько червей, а он взял и все испортил, а мамочка думает: ох, как мило! Все ему, все для него — как только он родился, а все потому, что он мальчишка!

— Нелегко тебе, — соглашается он. — Я знаю, сам через это прошел, только у нас было наоборот — у меня была сестра, а не брат.

— И ты злился на нее, да? — Она отрывает от лица сложенные руки и смотрит на него натертыми зелеными глазами.

— Нет, — отвечает он. — Если честно, мне кажется, я ее любил. Я любил свою сестренку Мим. — Правдивость этого признания его самого ошеломляет: он понимает, как мало было в его жизни тех, кого он любил бы так же просто, без примеси раздражения, как свою маленькую егозу Мим. Они были похожи, только у нее лицо было поуже, потверже, чем у него, но с таким же прямым маленьким носом и короткой верхней губой, правда, она, в отличие от него, была темноволосая, ну и, конечно, девчонка. Он сам — хотя и в совершенно другой тональности, но мелодия вполне узнаваема. Его рука хранит ощущение стиснувших ее липких пальчиков, когда мама с папой выводили их на воскресную прогулку — вверх по горе до гостиницы «Бельведер» и потом назад, вниз, по краю карьера; Мим ни на секунду не выпускала его руки, и он чувствовал себя ее покровителем, возможно, она этого и добивалась — чтобы утереть нос всем прочим особам женского пола. Мим, его собственная родная сестренка, без всяких усилий обрела над ним ту власть, какой впоследствии не удалось добиться ни одной женщине.

— А она была старше тебя или младше?

— Младше. Она была еще младше меня, чем Рой — тебя. Но то ведь девочка, а девочки вообще не такие норовистые, как мальчишки. Хотя в ней это тоже было, на свой манер. Когда ей стукнуло шестнадцать, родители с ней намаялись.

— Дедушка, а «норовистый» — это какой?

— Ну, не знаю. Вспыльчивый. Упрямый. Своенравный.

— Как папа?

— Нет, не думаю. Я бы не назвал твоего папу норовистым, скорее — какое бы слово подобрать? — раздражительным. Люди действуют ему на нервы, у других это тоже случается, но у него постоянно. — Даже от этого небольшого умственного усилия, которое потребовалось, чтобы сформулировать свои мысли, язык его наливается тяжестью, сознание заволакивает туманом. — Джуди, давай кто первый? Ты лежи тут, а я тут, и посмотрим, кто первый уснет.

— А судить кто будет?

— Твоя мама, — говорит он, сдергивая с ног мокасины и роняя их на пол через край кровати. Он закрывает глаза, оставляя снаружи плакатной яркости флоридский солнечный свет, и в красном, только ему принадлежащем, мареве его мозга перед ним предстает головокружительная поездка на велосипеде вниз по Джексон-роуд и потом по Поттер-авеню вместе с Мим, восседающей на раме его дребезжащего старенького синего «Элджина», ей лет шесть, ему двенадцать, и если колесо попадет на камень или в выемку, она вместе с ним полетит вверх тормашками, и сверху ее накроет велосипедом, протащит по асфальту, изуродует ее симпатичную мордашку, изуродует навеки, для женщины лицо — ее достояние, но она от бесконечной веры в него поет, какую песню, он вспомнить не может, помнит только ощущение — обрывки слов, отлетающие назад, ему в уши, как длинные черные пряди ее волос — ему в глаза, в рот, отчего весь этот сумасшедший спуск на велосипеде становится еще опаснее. Он подвергал Мим опасности, но он же всегда и выводил ее невредимой. «Вы от плюшки, мушки, кыш!» — так начиналась одна из ее любимых песенок, она распевала ее на весь дом, день за днем, пока не сводила их всех с ума. «Вы от плюшки, мушки, кыш! Плюшки скушает малыш. Сладко будет в ротике и тепло в животике». Тут она так уморительно вращала глазами, что вся семья покатывалась со смеху.

Он чувствует, что Джуди перестала приваливаться к нему сбоку, и слышит, как она с неумелой, скрипучей детской осторожностью огибает кровать и выходит из комнаты. Стукает дверь, перешептываются женские голоса. Шепот вплетается в сон — ему снится гигантское вместилище, ковш, амфитеатр, где сидят зрители, которых он не видит, но перед которыми должен выступать, при том что, кроме него, как будто нет больше ни единой живой души, только само чувство присутствия, гулкого, строгого, величавого, наводящего ужас присутствия. Он в страхе просыпается, дорожка слюны стекает в углу рта. Ему кажется, он только что слышал удар барабана. Теперь он догадывается, что пригрезившееся ему вместилище — это его грудная клетка, а сам он — свое собственное сердце: вот он стоит, пыхтит, вдох-выдох, вдох-выдох, в центре площадки, чтобы по судейскому свистку прыгнуть с места как можно выше, дотянуться, достать... В какой-то момент у него во сне заныло в груди, засвербило застарелой горестной болью, которую он мысленно связывает с сегодняшней своей до обидного бездарной игрой в гольф, когда он не мог сосредоточиться, не мог отрешиться от всего постороннего. Надо бы выяснить, долго ли он спал. Рекламный плакат — яркий солнечный свет, верхушки пальм и в отдалении пунцовые с красной кровлей дома, — прилепленный снаружи к раздвижному окну спальни, чуточку потускнел, словно отодвинулся в тень, и звуки, долетающие с гольф-поля, — расчетливые хлопки ударов, напряженные паузы в промежутках и непроизвольные вскрики торжества или разочарования — уже стихли. И в воздухе за окном, точно разноцветные флажки, трепыхающиеся на ветру над загоном для подержанных машин, птицы всех мастей и калибров рассыпают свои трели, совершая обряд завершения дня. Это время суток, час-два до ужина, когда, бывало, игра (последний раунд в «минус пять» у баскетбольного щита в тупике возле гаража) набирала полную силу, это время превратилось у него теперь в «тихий час» — теперь, когда он постепенно все больше прирастает к земле, вместе со своими дряхлеющими без нагрузки мышцами и постоянно прибывающим слоем жира. Надо худеть.

В гостиной одна только Джуди. Она сидит молча и пультом переключает телевизор с одного канала на другой, нигде не задерживаясь. Лица — черные в «Джефферсонах», белые в «Семейных узах»[[45]](#footnote-45) — с тщетной надеждой остаться впрыгивают в экран и тут же исчезают в калейдоскопе других кадров: жестянки пива, несомые замедленной струей водопада, Джордж Буш, продирающийся с ружьем наперевес через техасские прерии, флоридский фермер на фоне своего сгоревшего поля, следователь из Скотленд-Ярда, дающий какие-то пояснения с помощью схемы багажного отсека самолета.

— Что он сказал?.. — спрашивает Гарри, но еще не успевает закончить, как картинка уже исчезла и на ее месте другая — морская корова, которой имплантируют электронный датчик слежения; работу эту выполняет некто якобы мужского пола с волосами, собранными на затылке в хвост, — специалист по сохранению поголовья морских коров. Ребенок, одержимый зудом нетерпения, ненасытной жадностью к новым и новым образам, отправляет несчастную корову вслед за всеми остальными, долой с экрана. — Вернись назад на два канала, — умоляет Гарри. — Туда, где про самолет «Пан-Ам».

— Какой ты глупый, и так понятно, что там была бомба, — говорит Джуди. — А то чего бы он разбился?

Дети — они верят, что заголовки газет всегда про других.

— Ради Бога, угомонись немного с этим пультом. Погоди, я только возьму себе пива и покажу тебе одну потрясную карточную игру. А куда все подевались?

— Бабушка ушла на свои курсы, мама уложила Роя поспать.

— А твой папа?.. — На полуфразе он соображает, что спрашивать об этом не стоило, но слово уже слетело с языка.

Джуди пожимает плечами и заканчивает вместо него:

— ...еще не вернулся.

Оказывается, она и без него уже умеет играть в «рамми». И даже обставила его, а у него на руках было полно «троек», которые он готовился сбросить, дождавшись, когда соберется «джин». Попался. На их смех из спальни выходит Пру в узких белых шортах, натянутых на ее раздавшиеся бедра и собравшихся в горизонтальные складки. Лицо у нее тоже в складках — от подушки, немного подпухшее, в пятнах от сна, от сна или слез. Предательская у женщин плоть! Ступни у нее длинные, босые, все с тем же облупленным лаком на ногтях. Он спрашивает невестку:

— Какие планы?

Она, как и ее дочь, пожимает плечами:

— Наверно, дождемся Дженис и пойдем ужинать. Пока что дам Рою яблочного сока.

Они с Джуди снова сдают, а Пру чем-то там постукивает, позвякивает в кухне и потом воркует над Роем. Вечера здесь наступают без долгих церемоний: глядь, а за балконом уже все серое, будто подернулось туманом, запах моря вползает через раздвижную дверь, и не доносятся ни птичьи голоса, ни звуки с гольф-поля. Покой. Меньше всего ему сейчас хочется слушать Дженис, которая, как всегда, возвращается после своих женских сходок заряженная непримиримым боевым духом.

— Ну, Гарри, не думала я, что вы, мужчины, такие гады! Мало того, что с нами обращались как с собственностью, так еще, оказывается, все патриархальные религии пытались внушить нам чувство вины — из-за менструаций. Мы, видите ли, для них нечистые!

— Прости, пожалуйста, — говорит он. — Действительно, перебор.

— Это в наказание за Евин первородный грех, так нам сказала лекторша, — развивает тему Дженис, отчасти уже для Пру. — Что-то насчет яблок цвета крови, честно говоря, я не очень уловила ее мысль.

У Гарри лопается терпение.

— Послушайте, Евы, как насчет поесть? Лично я умираю с голоду.

— Кстати, мы купили для вас множество всякой полезной всячины, — вспоминает Пру. — Сушеные абрикосы — без серы, банановые чипсы — без соли.

— А, так вот это что в таких маленьких целлофановых пакетиках? Я думал, это что-то для приготовления китайских блюд и мне к ним лучше не притрагиваться.

— Ладно, — решается Дженис, — пойдем ужинать в наш ресторан. Нельсону оставим записку. Так, Пру, надевай платье, все равно какое. Вечером в шортах не пускают, мужчин без пиджаков тоже.

«Мид-холл», расположенный в корпусе А прямо над клубом «Девятнадцать», сочетает в себе функции ресторана и зала для различных мероприятий. С одной стороны, ты видишь тут меню с ассортиментом блюд и ценами, официанток в коротких золотых платьицах, перекликающихся с темой золотых колец на эмблеме Вальгаллы (отголоски которой там и сям, когда дизайнер вдруг вспоминал об этом, встречаются в убранстве холла), и даже стюарда по напиткам в летнем смокинге и с какой-то штуковиной вроде велосипедного замка вокруг шеи; с другой стороны, сразу при входе висит доска объявлений, утыканная всякими афишками, листовками и разноцветными листочками с сообщениями о том или ином цикле занятий или о лекции, концерте, уроке американской кадрили, сеансе познавательного кинопутешествия, которые ты можешь посетить, а по средам и субботам, в вечернее время, пока все ужинают, в другом конце зала проводится игра в бинго, номера выкрикивают со сцены, оборудованной микрофоном и частично скрытой от глаз огромной колонной, подпирающей выпуклый звездный свод: часть потолка над залом — стеклянная. Вот оно, наяву, это странное ковшеобразное вместилище из его сна: может, и правда ему просто-напросто приснился этот зал, подсказанный сознанию пустым желудком? При виде меню Кролик чувствует себя точь-в-точь как Марти Тотеро, в тысячный раз теряясь перед необходимостью сделать выбор между бифштексом и телятиной, жареной свининой и ветчиной, креветками и гребешками, рыбой-меч по-каджунски[[46]](#footnote-46) и филе камбалы, начиненным мидиями, грибами и артишоками.

На двух широких боках колонны красуются огромные грязно-бурые керамические панно на тему викингов: мечи, рогатые шлемы и ладьи с драконьими головами на носу рельефно выступают из эмалевой, в цветных размывах, массы, самих же викингов, что сражаются и бороздят волны, невозможно разглядеть за частоколом рук и ног и молний в этом бредовом переплетении во славу истории.

— Семьдесят один, — внушительно и строго произносит из-за колонны мужской голос. И повторяет: — Семь. Один.

Не больно-то просто вести непринужденную беседу, когда грохочут динамики и в уши тебе лезут какие-то цифры. Пру квохчет над Роем и всякими уговорами-приговорами запихивает в него маленькую печеную картофелину и одну-единственную быстрожареную креветку. Дженис уговаривает Джуди взять омара, после чего вынуждена сама показывать ей, как расколоть панцирь, как вытолкнуть поднятым вверх пальцем большую загогулину белого мяса через зад несчастного вареного чудища, как обсасывать сегменты хвоста — совсем как листья артишока. Кролик, заказавший себе бифштекс, с трудом выносит это зрелище; чтобы он съел омара — все эти членистые ножки в каких-то перьях, глаза на каких-то стебельках, усики, красные, как и все остальное, — такое ему и в кошмарном сне не приснится, для него это равносильно возврату к судорожному дерганью и копошению где-то у истоков жизни. Крабы тоже не лучше, и устрицы, и моллюски; во Флориде куда ни глянь, всюду видишь стариков, за обе щеки уплетающих эту мерзкую, липкую, тошнотворную дрянь и при этом горячо уверяющих тебя, как это полезно, во сто крат полезнее бифштексов и гамбургеров, которые он-то, как правило, и заказывает, хотя не гнушается и свиной отбивной в панировке, или шматком телятины, или добрым ломтем ветчины с кружочком ананаса или дольками печеного яблока, и чтоб отдельно к нему — лоснящаяся от масла жареная картошечка, словно груда скользких покерных фишек. Так, и только так подают ветчину в Пенсильвании. А здесь даже колбасы нормальной не поешь, во всяком случае, такой, к какой он с детства привык, — острой, ароматной свиной колбасы; где тут достанешь скрэпл[[47]](#footnote-47), щедро сдобренный кленовым сиропом, а яблочный пирог, куда не пожалели положить корицы, да и вообще порядочный пирог? Несколько зим назад Дженис повадилась ходить на курсы здорового питания — дома только и разговоров было, как он закупоривает свои артерии мучным да жирным. Какое-то время она пичкала его бесконечными салатами, низкокалорийной лапшой, рыбой и птицей, и они в основном питались у себя; зато уж в «Мид-холле» он может вволю отвести душу. С бифштексом есть одна хитрость: если не попросишь прожарить как следует, тебе принесут что-то резиновое, полусырое, фиолетовое внутри. Бр-р! Все, что призвано удовлетворять аппетит и радовать глаз, вызывает лишь содрогание, когда соблазн тебя не соблазняет. Мясные отбросы.

Прелестные маленькие пальчики Джуди все измазаны омаром. Она что-то спрашивает у матери, и он видит, что та отвечает ей, но богоподобный глас, торжественно вещающий: «Двадцать семь. Два. Семь», не дает расслышать ни слова.

— Что ты сказала, милая? — переспрашивает он, немного стушевавшись. Слух стал сдавать — или люди нынче говорят не так, как прежде, быстрее и тише. В некоторых телевизионных шоу с участием английских актеров случаются целые куски, особенно когда имитируют речь кокни, где он, хоть тресни, не может разобрать ни слова. То же и в фильмах, особенно в интимных сценах, когда создатели желают потрафить «молодому зрителю».

— Она беспокоится, что папочка останется голодный, — объясняет Пру и делает гримаску своим кривоватым на одну сторону ртом. Что это, тайный знак ему, скрытая жалоба, приглашение вступить с ней в сговор против Нельсона?

Джуди поднимает на деда свои лучистые зеленые глаза, словно ждет, что он скажет что-нибудь неодобрительное. Но он успокаивает ее:

— Не волнуйся, Джуди. Здесь обслуживают до девяти, а потом, вплоть до полуночи, можно подкрепиться бутербродом в клубе «Девятнадцать», это тут же, под нами. Да и кроме того, ты же видела шоссе 41: во Флориде найти где поесть не проблема, не пропадет твой бедный изголодавшийся папочка.

Нижняя губа у девчушки начинает дрожать, и она не выдерживает:

— А может, у него денег нету!

— Как это нету? Ну не совсем же?

— У него часто совсем нет денег, — объясняет она. — И счета приходят, и разные люди, а маме нечем заплатить. — Она ловит глазами лицо матери, спохватившись, что сказала лишнее.

Пру ни на кого не смотрит, сосредоточенно вытирая сыну рот, где в уголке прилип кусочек картошки.

— Да, в последнее время нам трудновато, — говорит она не слишком внятно.

Но Гарри не хочет этим удовлетвориться.

— В самом деле? Но этого просто быть не может. Он заколачивает пятьдесят тысяч в год, со всеми процентами и премиями. Мой отец содержал всю нашу семью на двадцать две.

— Гарри, — перебивает его Дженис голосом, каким ее мамаша говорила незадолго до своей кончины, когда почтенная вдовица усвоила манеру устанавливать для всех свои правила, — у людей теперь иные потребности, нежели были когда-то у твоего отца. Тогда вообще жили проще. Я прекрасно это помню, сама так жила. Вспомни, какие у нас были развлечения, когда я бегала к тебе на свидание. Ну, сходим в кино — семьдесят пять центов за билет или сыграем в мини-гольф на шоссе 422 — и того меньше. Ну, выпьем «под занавес» по стаканчику содовой в кафешке, и ведь по тогдашним меркам это называлось «славно провести время».

Очень даже славно, как он припоминает, особенно если после долгой возни с поцелуями и тисканьем ее груди под блузкой ему удавалось наконец как следует подогреть Дженис и она милостиво допускала его до себя, до своего теплого, влажного, чуточку шероховатого и шелковистого, как домашняя туфля, естества. Если же у нее были месячные или на нее накатывал порыв добродетельности, она могла из сочувствия протянуть ему руку помощи, а остальное он делал сам — ерзал, дергался и наконец извергал из себя белую, как мякоть омара, кашицу. Такую белую, что даже неловко, право слово, и вытирать потом — намучаешься. В машине ему больше всего нравилось, когда Дженис усаживалась на него сверху и он держал ее за попку, а в лицо ему тыкались ее соски. И они все делали вместе, и после все было чисто, никакого безобразия.

Ее мысли между тем текут по совершенно иному руслу, и она продолжает развивать начатую тему:

— Нельсон должен прилично одеваться, чтобы производить на клиентов хорошее впечатление, да и дети нынче не то, что раньше — кубики, мячики, им теперь подавай видеоигры...

— Господи! Пятьдесят тысяч на видеоигры! Да ему впору самому открывать магазин, ежели все его доходы уходят именно на это.

— Шутки шутками, но каждый поход в детский магазин стоит целое состояние, ведь так, Пру?

Выуженная из вежливо-улыбчивой дремоты, Пру с усмешечкой подтверждает:

— Да, доллары летят как дым в трубу, что верно, то верно.

Они от него что-то скрывают, это ясно. Невидимый глашатай многозначительно возвещает: «Пятьдесят шесть. Пять. Шесть», и дрожащий старческий голос, захлебываясь от возбуждения, сдавленно каркает: «Бинго!» *Эфф один одиннадцать*, сказал Джо Голд, имея в виду самолеты Ф-111.

— Ни черта не понимаю, что происходит, — стоит на своем Гарри.

Никто его больше не разубеждает.

Рой незаметно уснул, к отвисшей нижней губе прилип кусочек креветочной скорлупы. Гарри вдруг нестерпимо захотелось орехового пирога. Он начинает подначивать Джуди, чтобы соблазнить ее взять десерт с ним за компанию.

— А какой тут лимонный пирог — пальчики оближешь! — мурлычет он мечтательно. — Такого нигде больше нет, только во Флориде! Так что пользуйся случаем, другого может не быть.

— А чего в нем такого особенного?

Этого он и сам толком не знает. Приходится сочинять на ходу:

— Понимаешь, начинку делают из маленьких нежных лимончиков, лаймов, — этот сорт растет только на островах Флорида-Кис, около южного побережья Флориды. Никакой другой климат им не подходит — слишком холодно и вообще не то.

Она, так и быть, уступает, но, отщипнув кусочек-другой хрустящей корочки, теряет к пирогу всякий интерес, так что ему, раз уж он сам нахваливал, самому и приходится отдуваться, хотя он уже отведал орехового пирога с доброй порцией орехового пломбира. Чем ближе завершение ужина, тем заметнее ощущается отсутствие Нельсона. Дженис и Пру берут по чашечке кофе без кофеина. Поглощенные своими мыслями, изнывающие от нетерпения поскорей остаться наедине и поговорить друг с другом, они молча смотрят, как Гарри расправляется с Джудиным десертом. В каком-то смысле обжорство — тоже спорт, упражнение на растягивание. *...И тепло в животике.* Официантка в золотой плиссировке наконец приносит чек, и когда он подписывает его, указав свой корпус и номер квартиры, он чувствует себя точно всемогущий бог, по собственной прихоти раздающий направо-налево громы и молнии; сумма появится в ежемесячном банковском уведомлении уже в следующем году, когда мир, надо полагать, далеко уйдет вперед. Каким раздувшимся от сытости чувствует он себя, делая шаг навстречу вечернему воздуху! Он плывет, как башенка из мороженого по поверхности кофе глясе, в сопровождении выводка домочадцев. Гарри несет Роя, который уснул еще за столом, Дженис и Пру с двух сторон держат Джуди за руки и в награду за ее примерное поведение во время долгого и скучного ужина разрешают ей повиснуть между ними, как на качелях, и терпеливо пыхтят от напряжения, пока она весело хихикает.

Между корпусами А и Б несколько фонарей — на высоких, блестящих, гладких алюминиевых столбах, — как ни странно, разбиты: видать, и тут хулиганье не дремлет, только и ждут, когда охранники ослабят бдительность, начнут клевать носом — и тогда айда на штурм оплота пенсионеров. Через эту брешь в освещении с черного теплого неба на них обрушиваются звезды. По ночам к Флориде возвращается что-то от ее давнего субтропического прошлого, когда человек не подчинил еще себе все несметные богатства этого плоского полуострова. Здесь испытываешь невольное волнение, как на палубе корабля; в воздухе растворены запахи соленого океана, прелых пальмовых листьев, болотистых топей. Звезды здесь не такие, как везде: мокрые, жирные. И бермудская трава какая-то странная, будто спутанное рыхлое мочало, и каждая травинка отливает темным металлическим блеском; закругленные головки разбрызгивателей прячутся в газоне — не отыщешь. Искусственный покров, натянутый человеком на голое тело природы, настолько тонок, что в нем без конца образуются прорехи — через них-то и вывинчиваются наружу броненосцы — нелепые, диковинные создания, которые на рассвете появляются откуда ни возьмись прямо посреди бульвара Пиндо-Палм, да там и остаются, распластанные колесами первого утреннего потока машин, несмотря на все их ухищрения и защитные механизмы: в момент опасности бедняги свертываются в шар. Гарри — шеей он чувствует влажное дыхание Роя, голова мальчика словно камень у него на плече — смотрит вверх, в усыпанное драгоценностями небо и думает: *Нигде нет жалости и сострадания.* Неистовые жирные звезды готовы сорваться вниз с опрокинутого небосклона, и бездонные глубины галактической бездны на какой-то миг заставляют поверить, будто тебя подвесили вверх ногами. Вход в корпус Б заманчиво сияет в темноте желтоватым светом междверной клетушки. Все пятеро Энгстромов один за другим протискиваются внутрь, и каждого из них гнетет одна мысль — Нельсона нет с ними. Теснясь и толкаясь, они проходят в дверь с охранным устройством, поднимаются в лифте, идут по серебристо-персиковому коридору — все это, пряча смущение в улыбках и избегая смотреть друг другу в глаза.

Пока мать укладывает братишку, Джуди, не теряя времени, занимает плацдарм перед телевизором и берется за дело — с «Чудесных лет» она перескакивает на «Вечерние заседания суда», а оттуда на какой-то фильм с дубиной Депардье, без которого не обходится теперь ни одна французская картина, на этот раз речь идет о неком человеке, который объявляется в некой деревне и присваивает себе имя и биографию другого человека, а заодно и его жену[[48]](#footnote-48). Поддавшись минутному порыву, молодая вдова, одинокая и всеми отринутая, решает признать в нем своего мужа, и такой поворот событий будоражит Гарри; и почему нет закона, чтобы мы все раз эдак в десять лет меняли свою биографию, а с ней и семью? Но Джуди уже неймется, она переключается на другой канал, потом на третий, и в конце концов Пру кричит на нее и велит ей укладываться спать на диване — взрослые, чтобы ей не мешать, уйдут из гостиной, хотя почему нужно было упрямиться, когда бабушка с дедушкой по доброте душевной предлагали ей устроиться в собственной комнатке, это выше ее, Пру, понимания. Девочка ударяется в слезы, и всем как-то становится легче, словно невысказанное, но разделяемое всеми ощущение, что ими пренебрегают, наконец нашло выход.

— Ложись-ка и ты, милый, — говорит Дженис. — На тебе лица нет. Мне после кофе будет не уснуть, так что мы с Пру немного поболтаем в кухне.

— Кофе-то вроде был без кофеина? — Он уже предвкушал, как они улягутся и он ощутит подле себя ее маленькое, крепенькое, загорелое тело; теперь, когда в доме полно народу, они ни на секунду не могут остаться наедине. Воспоминания разбередили его. Для ее пятидесяти двух попка у нее еще что надо. Вот Тельма, та по этой линии стала в последнее время сильно сдавать.

— Заказываешь одно, а что тебе приносят, никогда не знаешь, — находится Дженис. — Я сильно подозреваю, что теперь наливают что попало, а потом говорят, мол, да-да, без кофеина, лишь бы от них отстали.

— Не засиживайтесь допоздна. — И, повинуясь какому-то наитию, чтобы немного ее ободрить, он добавляет: — Не волнуйся, ничего с ним не стряслось, закатился куда-нибудь и ловит кайф.

Пру вскидывает на него удивленный взгляд, как если бы он сказал что-то такое, о чем по идее не может знать.

Он торопится пояснить:

— Уж не знаю почему, на меня и на «тойоту» он реагирует одинаково — как бык на красную тряпку.

И снова никто не пытается ему возразить.

*Фантазии и домыслы, связанные с Америкой, породили две прямо противоположные точки зрения, которые в конце концов сошлись в одном, привнеся в радужные мечты изрядную толику настороженности* — читает он, лежа в кровати. Книга историческая — подарок Дженис на Рождество, и кстати, автор тоже женщина — о роли голландцев в Войне за независимость: кто бы мог подумать, что у них была какая-то особая роль. *Согласно одной точке зрения Америка была чересчур велика, чересчур разобщена, чтобы со временем стать единой страной; слишком большие расстояния не позволяли обеспечить надежную связь между всеми ее частями.* Стоило ему прочесть это предложение, как он самого себя почувствовал необъятным, растянутым в пространстве и времени и напрочь утратившим связь со всеми частями своего тела. Чем хороша история — чуть возьмешь в руки книгу, немедленно клонит в сон, лучше всякого снотворного. Он возвращается на несколько строчек выше, на той же странице, — там вчера вечером он вычитал одно забавное рассуждение. *Климат в Новом Свете, как утверждает популярнейший в то время французский трактат, переведенный в 1755 году на голландский, таков, что склоняет людей к праздному безделью; они могут обрести там счастье, но твердость духа — никогда. Америка, заверяет нас сей ученый муж, «была создана для счастливой жизни, но не для имперского величия».* Другой ученый европеец информирует читателей, что у *коренных жителей, индейцев, «органы деторождения весьма невелики», а «сексуальная потенция незначительна»*.

Может, будь Нельсон повыше ростом, он был бы счастливее. Но ведь рост сам по себе тоже ничего не гарантирует. Вон Гарри вымахал будь здоров, а что толку? Иногда размеры собственного отражения в примерочной магазина или в большом, во всю стену, оконном стекле его самого ошеломляют. Вернее, пугают: это ж надо столько места в мире занимать собою. Он заставляет себя одолеть еще несколько страниц: *Надежды на прибыльную торговлю... Битва на море... запутанный вопрос... усиление напряженности... нейтральные торговые суда... французы яростно... Разногласия в провинциях... Конвоирование без каких-либо ограничений — как casus belli[[49]](#footnote-49) — стало бы еще одним испытанием национального эго.* Он дважды перечитывает это последнее предложение, прежде чем до него доходит, что он не имеет даже отдаленного понятия, о чем, собственно, речь. Мысль бегает по кругу, замыкается и снова возвращается на круг, как во сне. Он выключает свет. И в ту же секунду, как по волшебству, под дверью загорается узкая щелочка света, будто фосфоресцирующая шкала радиопередатчика, из которого доносятся негромкие звуки. Он слышит приглушенные голоса Дженис и Пру, звякает стакан, шаги, а спустя еще какое-то время треск зуммера, и снова шаги — быстрые, торопливые, женский голос с теми нервозными нотками, какие невольно проскальзывают, когда говоришь в домофон, подспудно не доверяя технике, и наконец последнее, что он захватывает краем своего беспокойного, растянутого в пространстве и времени сознания, прежде чем оно окончательно выключается, — звук открываемой двери, голос Нельсона, басовитый на фоне женских голосов, и, совсем уже из сна, — смех, их общий смех.

###### \* \* \*

Надрывные завывания — это большие уродливые косилки с барабаном впереди, управляемые молодыми парнишками, взялись за работу на гринах. Беспокойные, навзрыд, крики чаек. Норфолкская сосна — промежутки между ветвями идеально выверены, как между тонкими железными прутьями, подпирающими перила его балкончика. Поразительно. Он все еще во Флориде, все еще жив. По-утреннему прохладный, солоноватый воздух с залива проникает через оставленную на ночь двухдюймовую щель в раздвижной застекленной двери. Дженис спит рядом. От ее тела исходит тепло, маленько с душком; ночная испарина прилепила сзади к шее несколько темных завитков. Там, у шеи, седых волос меньше всего — сокровенное гнездышко ее прежнего, шелковисто-брюнетистого образа. Спит она на животе, повернув голову в сторону от него, и если ночь выдается холодная, стягивает с него одеяло и подворачивает под себя, а если жаркая, откидывает и наваливает на него — якобы во сне, не нарочно. Кролик вылезает из их огромной двуспальной кровати, идет в ванную комнату с розовой ванной и душем и справляет малую нужду в розовый же унитаз. Он садится на стульчак — так получается тише, струйка стекает по передней стенке. Он чистит зубы, но с бритьем решает погодить — его распирает любопытство, а пока он будет бриться, Дженис может улизнуть, смешаться с остальными, как это ей уже не раз удавалось. Он снова юркает в постель, стараясь не беспокоить ее, но втайне рассчитывая, что от шелеста простыней и мягких колыханий матраса — без этого никак — она, может, и сама проснется. Убедившись, что ей все нипочем, он тихонько тормошит ее за плечо.

— Дженис? — шепчет он. — Золотко?

— Ну что? Не трогай меня, отстань, — доносится откуда-то из подушки.

— Ты во сколько вчера легла?

— Не знаю, не смотрела. В час.

— Где все-таки болтался Нельсон? Как он вам объяснил?

Она не отвечает. Хочет, чтобы он подумал, будто она снова провалилась в сон. Он не спешит, выжидает. Нежно поглаживает ее по плечу. Та французская картина по телевизору вчера вечером, кусочек из которой он успел ухватить, очень его взбудоражила — сама идея жены-незнакомки: раз-два и вот ты уже влез в ее жизнь, пристроился рядышком с ее маленьким, теплым, загорелым телом. Жена, которую знаешь не больше, чем первую встречную шлюшку, — не в этом ли главная прелесть отношений между мужчиной и женщиной? Все так же не поворачивая головы, она говорит:

— Гарри, еще раз меня тронешь — убью.

Он призадумывается и затем решает пойти в контрнаступление.

— Где его черти носили? — требовательно вопрошает он.

Она перекатывается на спину, поняв, что сопротивление бесполезно. Ее дыхание отдает вчерашним табаком. Вообще-то считается, что курить она бросила, но стоит поблизости оказаться Нельсону с его «Кэмелом» или Пру с ее «Пэл-Мэлом», как она снова хватается за сигареты.

— Он и сам толком не знает. Так, гонял туда-сюда. Говорит, ему нужно было проветриться, душно, говорит, в этой вашей Флориде, как в карцере.

А парень-то прав: здешняя жизнь вся сводится к нескольким узеньким тропочкам, которые ты сам же и протоптал. Одна к «Уинн-Дикси», другая к кинокомплексу и магазинам в торговом центре на Палметто-Палм, еще две к доктору и к гольф-клубу — и обратно. Как-то так получается, что между этими тропками вроде бы ничего и нету, пальмы да пальмы, все одинаковые, да кактусы, да жаждущие напиться газоны, да голый солнцепек; гостиницы, где ты не живешь, и пляжи, куда тебе вход закрыт; есть еще так называемая внутренняя Флорида, сердце полуострова, до которого никак не сподобишься добраться, потому что в сущности незачем. В Пенсильвании, по крайней мере в округе Дайамонд, все пути-дороги надежно вымощены памятью, все хожено-перехожено и нет таких мест и закоулков, где бы раньше ты уже не бывал.

Облизнув губы и поморщившись так, будто у нее саднит в горле, Дженис продолжает:

— Он ехал по 41-му до — как его, Нейплса[[50]](#footnote-50)? — там он зашел перекусить, потому что ужасно проголодался, и позвонил нам, но телефон не отвечал, не зря я тогда хотела подождать, не уходить сразу из дома, но ты же заявил, что умираешь с голоду...

— Ну, правильно. Давай вини во всем меня.

— Да я ни в чем тебя не виню, милый. Мы ведь не только из-за тебя сорвались с места. Детей надо было чем-то занять, они уже все извелись, ну, я и подумала: что бы ни было, жизнь продолжается, сходим поужинаем, отвлечемся; но сам посуди, каково мне было слышать, что он таки звонил — звонил, наверно, в ту самую минуту, когда мы только вышли за дверь, и в результате он со скуки накачался пивом — там, в этой дыре, и делать-то больше нечего — и на обратном пути немножко сбился с пути, пришлось ему поплутать, бедняге, ты же знаешь, как это бывает, если проскочишь поворот на Пиндо-Палм: едешь потом и едешь, все вроде одинаковое, никаких ориентиров.

— У меня просто нет слов, — говорит Гарри. Он чувствует, как гнев закипает у него в груди, и от возмущения даже садится. — Никому ничего не сказать, вот так взять и исчезнуть неизвестно куда — на сколько? восемь часов? Совсем с ума спятил. Он всегда был с приветом, но это чистой воды помешательство. Лечиться ему надо, вот что.

— Он приехал абсолютно трезвый, — миролюбиво говорит Дженис, — привез нам в подарок крокодильчиков, знаешь, такие маленькие, сувенирные? Мы с Пру от неожиданности расхохотались. По одному детям и даже один персонально для тебя — представляешь, стоит стоймя, а в лапках клюшка для гольфа? — Она откидывает одеяло у него с колен и кладет руку на ширинку его пижамы, на то, что там под ней дремлет. — Привет, как поживаем? Что-то давненько вы к нам не наведывались.

Но теперь он не в настроении. Он нешутейно шлепает ее по руке, натягивает на себя одеяло и бурчит:

— Мы к вам наведывались, забыли? Перед Рождеством.

— *Задолго* перед Рождеством, — говорит Дженис, глядя прямо перед собой, и на мгновение его охватывает шальная надежда, что она сейчас снова приспустит одеяло и без лишних разговоров нырнет головой туда, откуда была только что изгнана ее рука, — в точности как Тельма, с которой он тайком встречался последние десять лет и которая чуть не с порога приветствовала его именно таким образом; но у Дженис это не в чести. Иногда, правда, случалось, но сперва ей надо было хорошо надраться, а он ее такой терпеть не мог: что-то мутное и неуправляемое подымается в ней тогда, что-то опасное, разрушительное — не только для него, для жизни вообще. — Ну, как знаешь, было бы предложено, — говорит она, имея в виду, что попомнит ему этот отказ, если потом ему вдруг самому приспичит, и выбирается из постели со своей стороны кровати. Ночная рубашка у нее задралась к поясу, и, прежде чем она успевает ее одернуть, он наслаждается видом упругих белых ягодиц над загорелыми ляжками. Понимая, что провинился, он слушает, как она спускает воду в туалете и как с яростным шумным напором вырывается струя из включенного душа. Он представляет себе совершенно отчетливо, как она выглядит, вылезая из-под душа: голова в прозрачной шапочке, попка порозовела, а спереди все в белом бисере, будто подернуто росой, — и ему становится жаль, что они оба, он и его маленькая смуглявенькая жена, его упрямая пугливая дуреха, Спрингерова дочка, вынуждены жить в мире, где простые и понятные природные сигналы по большей части не принимаются в расчет. Здесь во Флориде им неизбежно приходится проводить вместе больше времени, чем раньше, и как же они с этим справляются? Очень просто — повернулись друг к другу спиной и обзавелись слоновьей кожей. Он три-четыре раза в неделю играет в гольф, а у нее есть ее теннис, ее курсы, ее какие-то личные дела. Когда она выходит из ванной в махровом халате, он все еще в постели — читает про козни британцев против голландских купеческих кораблей и про настоятельную потребность для Франции заново отстроить свой обветшалый флот, для чего надобен был балтийский лес, доставляемый голландскими судами, — на случай если вдруг Дженис захочется еще раз попробовать его растормошить, но к этому времени на другом конце квартиры уже проснулись дети и Пру знай успевает по-матерински озабоченно их одергивать.

— Давай попробуем сегодня посвятить день Джуди и Рою, — предлагает Гарри. — А то они у нас тут совсем приуныли, тебе не кажется?

Она не отвечает, подозревая какой-то подвох. В его словах ей слышится укор Нельсону за то, что он пренебрегает своим родительским долгом. Возможно, правильно слышится. Какой из Нельсона отец? Всю жизнь цеплялся за мамочку с папочкой, до сих пор отучиться не может! А если в процессе формирования личности своевременно с биологической точки зрения не удается сломать сложившийся стереотип, то (это Кролик не сам придумал, вычитал где-то) так с ним всю жизнь и проживешь до самой смерти. Он спрашивает:

— О чем это вы с Пру все время секретничаете?

— Так, ничего, женский вздор, — говорит она, деловито поджав губы. Почему-то когда Дженис одевается, у нее на лице всегда такое потешно сосредоточенное, строгое выражение. Даже если весь наряд — брюки да блузка, чтобы прошвырнуться в «Уинн-Дикси», она напоследок одаривает зеркало взглядом, в котором читается суровый приговор и мужественная готовность не дрогнув встретить худшее.

— Ну ладно, коли так, — уступает он, давая понять, что разговор окончен, и зная прекрасно, что именно поэтому Дженис захочет его продолжить.

И точно, она тут же выпаливает:

— Пру очень беспокоится за Нельсона. — Тут она слегка запинается, нужные слова на ум не идут — от усиленной мозговой деятельности у нее аж кончик языка высунулся наружу и уперся в верхнюю губу.

— Надо думать! — угрюмо роняет Кролик, после чего поворачивается к ней спиной, собираясь надеть трусы. Он по сю пору ходит в эластичных коротких трусах. Рут над ними ужасно смеялась той ночью, целую вечность тому назад, и каждый раз, надевая их, он об этом вспоминает. Сегодня он желает быть образцовым дедушкой и подбирает для этой роли подобающий костюм. Длинные светло-бежевые льняные брюки с отворотами — не какие-нибудь старые, затасканные, расклешенные, клетчатые штаны для гольфа, а вместо трикотажной тенниски настоящая рубашка, стопроцентный хлопок, в тонюсенькую голубую полоску, с короткими рукавами. Он смотрит на себя в зеркало, которое только что было занято отражением Дженис, смотрит и внутренне содрогается от представшего ему зрелища: рожа толстая, что полная луна, и на ней маленький облупившийся на солнце нос, глазки-стекляшки и ротик гузкой, а ниже, понятно, подбородок, челюсти, только совсем без костей — всюду понапиханы жировые подушечки, даже возле ушей, в том месте, где у Джуди он приметил такой трогательный атласный отлив. Кстати, возвращаясь к Нельсону, — у Гарри и самого волосы, потускневшие и неопрятные от седины, даром что он блондин, стали заметно редеть на висках. И конечно, несмотря на весь его выдающийся рост, как ни приосанивайся, как ни притворяйся, что рубашку на животе вспучивают мышцы, а не примитивное толстое брюхо, от правды не спрячешься, а пузо он наел себе будь здоров — оно одно, отдельно взятое, весом небось с голодающего эфиопского ребенка. Срочно надо худеть. Он же чувствует, каждым своим движением чувствует, как его непомерный вес давит ему на сердце — отсюда это странное жжение, будто в груди у него какой-то маленький шалопай балуется со спичками.

На кухонном столе лежит сегодняшняя «Ньюс-пресс» с цветной фотографией крохотной, болезненного вида годовалой девочки, которая прошлой ночью умерла из-за того, что ей не могли сделать пересадку печени — не было пересадочного материала. Ее звали Эмбер. На той же полосе заголовок, свидетельствующий, что, по данным расследования Скотленд-Ярда, в самолет «Пан-Ам», рейс 103, была подложена бомба, в точности как предрекали Эд Зильберштейн и Джуди. Металлические осколки. Багажный отсек. Пластиковая взрывчатка, которой легко придается любая форма, не исключено, что чешского производства — высококачественный материал под названием «семтекс»: Гарри с трудом выносит эти подробности, его свербит мысль о телах, живых телах, в которых не угасло сознание, и вдруг — пустота, ледяная бездна, *Бер-ни, Бер-ни,* и Локерби звездчатой россыпью внизу, весь мир вверх ногами и нет в нем ни смысла, ни жалости. Тут же мэр Форт-Майерса — он теперь считает, что в эпизоде с задержанием Дейона Сандерса вверенные ему силы полиции продемонстрировали высокие профессиональные качества. Тут же *Опасное загрязнение грозит гибелью озеру Окичоби*. Тут же — *Переменная облачность, атмосферное давление падает*.

— Сегодня великий день! — объявляет он во всеуслышанье. — Сегодня дедушка повезет вас по удивительным местам.

Джуди и Рой реагируют настороженно, но в целом благосклонно.

— Гарри, съешь еще слойку с вишневым джемом, пока они не зачерствели, — говорит Дженис. — Купили, думали, детям понравится, а они, видишь, оба терпеть не могут, когда красное и течет.

— Угробить меня хочешь углеводами? — ворчит он для порядка, но слойку уплетает охотно, даже крошки подбирает, сладкие, липкие.

Пру с высоты своего роста — Гарри сидит, и его глаза находятся вровень с ее бедрами — нерешительно спрашивает:

— Как вы смотрите на предложение взять внуков и поехать с ними вдвоем, без нас? Нельсон всю ночь не спал и мне не давал. Я даже помыслить не могу, что придется весь день провести в машине. — Вид у нее правда бледноватый, осунувшийся — это ж надо, всю ночь человеку спать не давать своим нытьем, а может, и еще чем. Вон у нее даже веснушки побледнели, а губы, такие мягкие и теплые там, в аэропорту, теперь сомкнулись в жесткую складку, с одного конца обреченно оттянутую книзу.

— Ну, разумеется, милая, — успокаивает ее Дженис. — Ложись поспи, а там, может, вы с Нелли сходите куда-нибудь развеяться, так чтоб и для здоровья польза была. Если вдруг пойдете в наш местный бассейн, напомни ему, что здесь полагается принимать душ и до и после, и пусть не вздумает нырять.

— Папа когда ныряет, всегда животом об воду — шлеп! — засмеявшись, влезает в разговор Джуди.

— Не ври! Сама ты шлеп! — тут же присоединяется Рой.

— Эй-эй, ради Бога, — утихомиривает их Гарри, — не рановато ли начали ссориться? Мы еще даже не в машине.

В машину они усаживаются примерно в половине десятого, предусмотрительно запасясь тройной упаковкой шоколадного печенья «Ореос» и шестибаночной упаковкой «Кока-колы классик», и так они начинают этот долгий день, который войдет в семейное предание и будет еще многие годы с удовольствием вспоминаться как «День, когда дедушка наелся корма для попугаев», хотя на самом-то деле корм был не совсем для попугаев, да и съел он не так уж много. Первый отрезок пути — по 41-ому («ПАТИОЛЭНД. Садовая мебель», «Домашние обеды», «Тысяча мелочей», «СОННОЕ ЦАРСТВО. Кровати, матрасы») до Форт-Майерса, с заездом в Зимний дом Эдисона, где они доходят почти до полного изнеможения.

Они оставляют «камри», а сами идут по дорожке под сенью гигантского баньяна: дерево (как любезно информирует их специальная табличка) было подарено Эдисону в виде небольшого росточка кем-то из финансовых воротил той эпохи, возможно, Харви Файерстоуном или Генри Фордом, и теперь это самый большой баньян за пределами Индии, где не редкость, когда в тени одного такого гигантского дерева раскидывается целый восточный базар. Баньяны растут, выпуская длинные висячие воздушные корни, которые, укоренившись в почве, со временем превращаются в толстые столбы-подпорки для все новых и новых, тянущихся во все стороны рук-ветвей — такое дерево, если его не остановить, расползется на многие мили. А как же, думает Гарри, *как они умирают?*Оказывается, ты не можешь просто походить по дому, погулять вокруг — только с экскурсионной группой за пять долларов с носа. Джуди и Рой, когда взрослые разъясняют им здешние правила, моментально сникают. Со всех сторон их обступают старики, автобус за автобусом, все сплошь пенсионеры в бейсбольных кепочках и в двойных очках — снизу обычные, сверху на петельках, чтоб можно было поднимать и опускать, солнцезащитные, — а в руках чудо-палочки, которые раскладываются и превращаются в стульчики на ножке. Подкатывают какие-то древние развалюхи в инвалидных креслах-каталках и вместе со всеми терпеливо ждут, когда соберется достаточно народу и начнется экскурсия. Джуди, не по возрасту длинноногая в своих коротеньких ярко-розовых шортах, с какими-то подозрительно красными — неужто от румян? — мазками на скулах, сердито говорит: «Не хочу я никакого осмотра территории! Пусть лучше покажут машину, из которой вылетают молнии», а Рой — этот уже успел перемазать шоколадным печеньем весь свой крохотный капризный ротик — таращит глазированные карие глазки и, кажется, сам вот-вот растечется, как шоколад на солнце.

— Боюсь, такой машины тут нет, зато есть самая первая в мире электрическая лампочка, — пытается урезонить девочку Гарри, а Рою он обещает: — Если уж совсем устанешь, возьму тебя на руки.

По какому-то таинственному сигналу, который лично ему заметить не удалось, из-за чего они оказываются зажатыми где-то в хвосте, все, включая обладателей инвалидных каталок, выдвигаются из-под навеса наружу, где их встречает пыльно-серая земля, удушливость джунглей и узкие, как лезвие ножа, полоски тени от листьев. Экскурсовод — старушенция с повадками классной дамы, синими волосами и в козырьке без верха — заученно декламирует все, что ей удалось запомнить. Для начала она обращает их внимание на кигелию перистую, африканское колбасное дерево.

— Плод дерева по форме напоминает колбасу, отсюда и его название — «колбасное». Плоды несъедобны, но африканцы используют их для приготовления целебных снадобий и, будучи по природе суеверными, даже поклоняются колбасному дереву как источнику целительных сил. На противоположной стороне сада растет «глазуньевое дерево», онкоба колючая. Его цветки по виду точь-в-точь яичница-глазунья. Дерево высажено здесь специально для тех, кто любит яичницу с колбасой.

Экскурсанты вежливо смеются. Кое-кто смеется не просто из вежливости — так заливаются, можно подумать, они за свою долгую жизнь ничего смешнее не слыхивали. Интересно, когда клетки серого вещества начинают выходить из строя уже в серьезных количествах? Когда это случится с ним самим, спрашивает себя Гарри? А может, уже случилось? Экскурсоводша, убедившись, что имеет дело с благодарной аудиторией, продолжает знакомить слушателей с прочими занятными деревьями: вот гура бряцающая — ее плоды, созревая, громко «бряцают»; а вот очень редкий представитель южноамериканской флоры — цекропия, это единственное взрослое дерево цекропии пальмовой на территории Соединенных Штатов, а интересна она тем, что листья ее на ощупь как замша и главное они не гниют — никогда! *Зачем понадобилось Создателю*, изумляется Гарри, *идти на такие ухищрения, и где — в никому не ведомых джунглях Амазонки?*— С одной стороны листья окрашены в шоколадный цвет, с другой белые, неудивительно, что их очень любят флористы — те, кто создает декоративные композиции из засушенных растений, — за их необычную форму и долговечность. Вы можете приобрести листья цекропии в нашем сувенирном магазине.

Ara, вот, значит, в чем оно, провидение Господне, — чтобы людям было что приобрести в сувенирном магазине.

Следующий номер программы — энтеролобиум круглоплодный, дождевое дерево, иначе называемое «ушастым».

— Стручки дерева, — поясняет дама в козырьке, — напоминают человеческое ухо.

Толпа, настроенная теперь встречать радостным смехом едва ли не любую шутку Господа Бога, дружно прыскает, и экскурсоводша наконец разрешает себе улыбку, мысленно поздравляя себя с очередным успехом; да, она наизусть знает и деревья, и слова, и послушных ей маразматиков-туристов тоже знает вдоль и поперек.

Чья-то маленькая ручка — вот где мягчайшая из замш — тянет Гарри за руку. Он наклоняется прямо к Джудиному прелестному, размалеванному, зеленоглазому личику. Теперь он видит, что Пру разрешила ей даже подмазать губы помадой. Чтобы как-то подсластить для нее все это мероприятие, внушить ей, что сегодняшний день — большое событие. Путешествие с бабушкой и дедушкой. Память на всю жизнь. Их самих уже не будет, а память останется.

— Тут меня Рой спрашивает, — Джуди старается говорить как можно тише, но голосок ее звенит от нетерпения, — скоро конец?

— Экскурсия ведь только началась, — отвечает Гарри. В их перешептывание включается Дженис. Ее способность концентрировать внимание ничуть не лучше, чем у детей.

— Нельзя нам устроить маленький перерывчик, пока их водят по другой стороне улицы?

— Экскурсия все время движется в одном направлении, отстанем — потом будет не нагнать, — вразумляет ее Гарри. — Пошли, ну-ка, дружно. Не отставать!

Он подхватывает на руки малыша Роя, который от скуки сразу вдвое потяжелел, и они все вместе переходят улицу, бывшую в незапамятные времена не чем иным, как коровьей тропой, покуда «мистеру Эдисону» — только так поминает его дама-гид и при этом ухмыляется многозначительно, будто он из ее постели не вылезает, — не вздумалось обсадить дорогу королевскими пальмами.

— Надо вам сказать, что в шестидесяти милях отсюда, на подступах к Эверглейдсу[[51]](#footnote-51), дикорастущие королевские пальмы встречаются в изобилии. Тем не менее тогда, в 1900 году, было намного проще транспортировать их из Кубы морем на больших парусниках, чем тащить на волах через наши, по сути дела, непроходимые флоридские болота.

Они нестройным табуном плетутся по извилистым дорожкам, увертываясь от инвалидных каталок, стараясь не наступать на клумбы с цветами и кактусами по бокам, напрягая слух, чтобы уследить за то и дело угасающими модуляциями скрипучего голоса экскурсоводши, изо всех сил пытаясь пробудить в себе интерес к раскидистым зеленым диковинам, которые Эдисон понавез из своих дальних странствий, пока он мотался по миру на денежки тех, кто снарядил его на поиски каучуконосов. Чего тут только нет: хлопчатое дерево и какой-то сизигиум кминный, «пушечное» дерево из Тринидада и манговое из Индии, «влюбленная» орхидея (между прочим, *не* паразит, вопреки распространенному мнению) и личи, плоды которой считаются у китайцев изысканным лакомством. У Гарри гудят ноги, отваливается спина, но самое неприятное — опять где-то слева, в груди, так кольнуло, будь оно неладно, а он не может спустить Роя на землю, потому что мальчонка уснул: другого такого четырехлетнего соню, наверно, в целом свете не сыскать. Дженис и Джуди, две заговорщицы, незаметно отделились от группы и уже расхаживают вокруг Эдисонова дома — дом этот в 1886 году перевезли в разобранном виде на четырех парусных шхунах из штата Мэн, так что, образно говоря, это был первый в истории сборный дом; в доме нет кухни — Эдисон терпеть не мог запаха приготовляемой пищи; со всех четырех сторон дом обрамляет веранда, имеется бассейн — самый первый бассейн во Флориде, отвечающий современным требованиям: синяя цементная чаша, хотя и не с металлическим, а с бамбуковым каркасом, но посмотрите — по сей день ни единой трещины. Чудеса, да и только! Сколько энергии, самобытности, изобретательности и отваги спрессовано в истории — Гарри уже еле стоит под гнетом всех этих достижений, у него прогибаются кости, плавится мозг, в голову впиваются буравы и зверски чешется под лопаткой, там, где его рубашка в тонкую голубую полосочку, стопроцентный хлопок, успела намокнуть от пота и снова высохнуть. Он подходит к Дженис, сердце нудно, на одной ноте, ноет, и умоляет ее: «Почеши» — вполголоса, чтобы не разбудить мальца.

— Где? — Она перекладывает сигарету («Пэл-Мэл», значит, у Пру одолжила) в другую руку и скребет ему спину, выше, ниже, правее, левее, как он велит, пока наконец проклятый бес не изгнан. Эти джунгли, которые развел тут старик Эдисон, и точно бесовское место. Ему нечем дышать; он с трудом сдерживается, чтобы не хватать ртом воздух. Как ни осторожничают взрослые, Рой все-таки просыпается и заплетающимся со сна голосом объявляет:

— Я хочу пи-пи.

— Еще бы не хотеть, — отзывается Гарри и предупреждает его: — Только тут ни за какие кустики заходить нельзя, они все уникальные.

— Перед вами домбея Валлиха, индийское розовое дерево, — чеканя такт, сообщает дама-лектор тем, кто не отлынивает от урока. — Оно обладает исключительно сильным запахом. Миссис Эдисон была большой любительницей птиц и всегда держала канареек и разных попугаев. Птицы круглый год живут вне дома и вообще чувствуют себя здесь прекрасно.

— Почем она знает, как они себя здесь чувствуют? — спрашивает Джуди у бабушки с дедушкой, пожалуй, чуть громче, чем следовало бы, и несколько почтенных голов оборачиваются посмотреть, что за шум. — Она же не попугай.

— Как сказать, — шепчет Гарри.

— Я хочу пи-пи, — повторяет Рой.

— Ясно, ясно, только на твоем пи-пи свет клином не сошелся, понял? — говорит ребенку Гарри. Он вконец утратил отцовские навыки, да, признаться, и всегда-то был не слишком силен по этой части.

На выручку ему приходит Дженис.

— Я отведу его назад, там в здании возле входа я видела туалеты.

Джуди не в силах спокойно смотреть, как эти двое счастливчиков улепетывают на свободу.

— И я с вами! — кричит она им вслед, да так звонко, что экскурсоводша на секунду спотыкается в своем речитативе. — А вдруг мне тоже надо пи-пи!

Гарри хватает ее за руку мертвой хваткой и еще по-садистски стискивает, чтоб не рыпалась.

— А вдруг не надо? — шипит он. — Ну же, давай продержимся до конца. И не плетись ты так. Бога ради! Не то пропустим самую допотопную лампочку в мире, черт ее дери!

Какая-то старая грымза в каталке, не настолько, впрочем, увечная, чтобы не пожелать выкрасить свои патлы в оранжевый цвет и сделать перманент — завитушек-то, завитушек, как у мартышки на заднице, — оборачивается и выразительно на них смотрит. *Кабы уметь вовремя уйти*, думает Гарри. *Никто не умеет уходить вовремя.* Меж тем их вожатая, возвысив голос, продолжает:

— А вот это саподилла, ее родина — тропические леса Центральной и Южной Америки. Из млечного сока этого дерева получают гуттаперчу, чикле, которая идет на изготовление жевательной резинки.

— Слыхала? — спрашивает Гарри свою внучку, задыхаясь от благонравной респектабельности этой нескончаемой экскурсии и кляня себя за то, что так больно стиснул девочке руку. — Вот откуда берутся чиклеты.

— Какие еще чиклеты? — спрашивает Джуди, глядя на него снизу вверх с какой-то новой, почти неуловимой, примесью уязвленного недоверия, появившейся в ее чистых зеленых глазах. Она немного обижена, она теперь его слегка побаивается. Он уязвил ее невинную доверчивость. Неужели она никогда даже не слышала про жевательные подушечки, про чиклеты? А грошовые карамельки, твердые прозрачные шарики жевательных конфет, кисленькие круглые сосульки — все эти вожделенные приметы его военного, карточного детства, неужели все кануло без следа? Как странно, а Гарри все помнит, будто это было вчера.

— Это дерево — подарок мистера Эдисона всем детям, — развивает тему дама-гид. — Он очень любил своих детей и внуков, проводил с ними много времени, правда, из-за глухоты он не столько слушал их, сколько говорил сам. — По толпе пробегают сдержанные перекаты смеха, и она пережидает, вытянув шею и укоризненно поджав губы, будто такая реакция для нее полнейшая неожиданность, хотя сомнительно — она столько раз проигрывала на публике одно и то же, что любой отклик аудитории, вплоть до единичного прысканья, должно быть, записан у нее в мозгу, как на магнитофонной ленте. Выдержав паузу, она ведет послушное ей стадо величаво шаркающих и по-козлиному подпрыгивающих престарелых соотечественников в красочных курортных одеяниях к проволочной сетке, которая знаменует завершение одного этапа их пятидолларового странствия и переход к следующему. Им предстоит вновь пересечь дорогу, обсаженную по бокам неправдоподобно прямыми, бетонно-серыми пальмовыми стволами, которые Эдисон, этот поразительный человек, этот великий американец, доставил по морю с Кубы в те дни, когда наш век еще почивал в младенческой колыбели. Но она была бы не она, если бы позволила им двинуться с места, прежде чем вобьет в них еще какое-нибудь затейливое растеньице.

— Видите куст с длинными красными кистями? Его вывезли с островов Бисмарка, а называется он «скорпионница». Посмотрите на кисти. Нетрудно догадаться, откуда взялось такое название.

— Фу, гадость! *Скорпионий* куст, — щебечет девочка Джуди, заглядывая Гарри в лицо, и он угадывает в ней чисто женское стремление поскорей перекинуть мостик через пролегшую между ними трещину размолвки, и от этого ему вдвойне совестно за причиненную ей боль. Он спрашивает себя, почему он не сдержался, почему он вообще бывает так несдержан и груб, чаще всего с женщинами, будто это их вина, что мир такой, какой он есть — весь поросший «скорпионьими» кустами, мир без жалости и сострадания. Он чувствует себя до того беспомощным, что ему от самого себя тошно. А негодный мальчишка, притаившийся у него в груди, все не хочет оставить свои злые игры со спичками.

— Ну, а теперь, — объявляет экскурсоводша, — мы с вами перейдем на другую сторону улицы и осмотрим лабораторию, в которой мистер Эдисон проводил свои последние эксперименты.

Они наконец пересекают улицу в обратном направлении и в Эдисоновых остывших старых лабораториях, в окружении мензурок, сифонов, перегонных кубов и громоздких почерневших от времени механизмов с ременным приводом, воссоединяются с Дженис и Роем. Здесь им показывают топчанчик, на котором Эдисон разрешал себе время от времени соснуть минут десять, прерывая свои многочасовые бдения и давая отдых своей непомерно большой глухой голове, показывают и ластик из золотарника[[52]](#footnote-52) на его письменном столе (золотарник был обнаружен тут же, неподалеку, в Форт-Майерсе), до сих пор не утративший своей эластичности. После чего наступает долгожданная минута — они вольны теперь еще немного самостоятельно побродить и поудивляться или же сразу отправляться на все четыре стороны. Уже в машине, держа путь дальше на север, Гарри спрашивает у троих своих пассажиров:

— Ну, так что же понравилось вам больше всего?

— Как я ходил делать пи-пи, — не раздумывая докладывает Рой.

— Вот дурак! — обзывает его Джуди и, в доказательство, что она-то не чета ему, отвечает Гарри: — Мне понравился фонограф. Он ведь был глухой, поэтому он ставил зубы на деревянный ящик в том месте, где слушают, и там даже остались следы от его зубов. Вот. Это интересно.

— А *мне*, — говорит Гарри, — было интересно узнать, сколько раз он терпел неудачу, пока изобрел аккумулятор. Кто бы мог подумать, что это далось так непросто. Как она сказала — девять *тысяч* опытов?

Шоссе 41, мерно гудя, проплывает за окнами. Банки. Заправочные и закусочные. Больницы для артритиков. Дженис над чем-то сосредоточенно раздумывает.

— Наверно, все же старые кинопроекторы. И еще тостер и вафельница. Я и не предполагала, что это тоже его изобретения; как-то не приходит в голову, что такие обычные вещи тоже нужно было сперва изобрести. Подумать только, если бы он не родился на свет, мир был бы сейчас совсем другим. Один-единственный человек!

На это Гарри авторитетным тоном (он и Дженис сидят впереди, только головы торчат над спинкой, — ни дать ни взять кукла-бабушка и кукла-дедушка, разыгрывающие спектакль для двоих маленьких зрителей на заднем сиденье) возражает:

— Ну, это вряд ли. Его открытия были предопределены всем ходом технического прогресса и только ждали своего часа. Не мы, так какие-нибудь швейцарцы или кто другой изобрели бы все это. Я где-то читал, что единственное изобретение нашего времени, которого могло бы и не быть, это застежка-«молния».

— «Молния»?! — изумленно вскрикивает Джуди, смирившись, вероятно, с тем, что конца этому путешествию с бабушкой и дедушкой пока не предвидится, и посему решив развлекать себя доступными в этой ситуации способами.

— Угу, и в самом деле хитро придумано, — продолжает Гарри, — представь-ка себе эти зубчики и выемки, как ловко они все подогнаны друг к другу. Тут использован принцип клина, наклонная плоскость, как при строительстве пирамид. — Почуяв, что забрел, пожалуй, далековато, вступил в наводящий ужас космический вакуум времени, когда сооружались пирамиды, он заявляет: — Кстати, не надо забывать, какая у Эдисона была поддержка. Посмотрите, с кем он водил дружбу. Форд. Файерстоун. Это ж гиганты, воротилы! У него были идеи и было кому их продавать. Так что все эти разговоры про его заботу о благе человечества — одна болтовня.

— Ой, чуть не забыла, — спохватывается Дженис. — Мне же еще понравился старый автомобиль, у которого тормозные колодки из нарцисса.

— Из золотарника, — поправляет ее Гарри, — нарцисс тут ни при чем.

— Ну, да, я и хотела сказать — золотарник.

— А мне больше нравится чтоб из нарцисса, — доносится с заднего сиденья голос Джуди. — Дедушка, а помнишь тетеньку экскурсовода, как она противно говорит и рот так смешно делает, будто леденец кругленький сосет, да?

— Мне она показалась очень даже аппетитной, — откликается Гарри.

— Аппетитной?! — вскрикивает девочка Джуди.

— Я хочу есть, — говорит Рой.

— Правильно, я тоже, — поддерживает его Дженис. — Умничка, что сказал.

Они заворачивают в «Макдоналдс», где по причинам сомнительного юридического толка — чтоб не было лишних жалоб и претензий, как выражается, не снисходя до извинений, кассирша, когда они пытаются выяснить у нее, в чем дело, — вход на детскую площадку закрыт, а там есть горка со спиральным желобом-спуском и специально поставленный завлекать ребятню пластмассовый человечек с головой в виде гамбургера, такой огромной, даже больше, чем у Эдисона. Стоя перед запертой дверью, Рой закатывает истерику и потом в продолжение всего обеда громко хлюпает носом, втягивая обратно горестные мокрые пузыри обиды. Ему нравится вытряхивать соль из солонки, пока на тарелке не образуется порядочных размеров холмик, и потом один за другим обваливать в соли кусочки жаренного в масле картофеля. Жареная картошка и с полфунта соли — вот весь его обед; почти не тронутый биг-мак приходится доедать Гарри, хотя он не в восторге от подозрительно ярких красок макдоналдсовой продукции — небось, голая химия. Куда, скажите на милость, подевался старый добрый гамбургер без всяких там затей? Наверно, туда же, куда и чиклеты. В углу кафе идет скромная игра в бинго; чтобы помыть руки, нужно пройти прямо через играющих — какие-то старики и старухи, оккупировав кабинки вдоль стены, склоняются над карточками лото, а чернокожая девица в коричневой униформе «Макдоналдса» ужасно серьезно выкрикивает номера своим гнусавым голосом: «Дваццать семм... Сорок а-адин...»

Вновь заняв свое место в раскаленной машине, Гарри незаметно бросает взгляд на часы у себя на руке. Всего только полдень. Он не верит своим глазам, ему кажется, уже часа четыре вечера. У него внутри все болит, все кости ломит.

— Значит, так, — объявляет он, — выбор у нас следующий. — Он вынимает из «бардачка» и раскладывает перед собой карту. *Сперва реши, куда хочешь ехать, а потом езжай* — так его учили в молодости. — Можем ехать дальше, на Сарасоту, там у нас Музей Ринглингов, но сейчас он закрыт, еще какой-то Музей старинных автомобилей, но мы вроде у Эдисона уже насмотрелись на старые машины, и, наконец, Джунгли-парк, который мой напарник по гольфу взахлеб расхваливал.

Джуди испускает страдальческий стон, и, глядя на нее, малыш Рой тоже куксится: нижняя губа у него, как водится, начинает обиженно подрагивать.

— Дедушка, я тебя умоляю, — говорит она совсем как взрослая, почти как мать с сыном, — что угодно, только не скорпионьи деревья!

— Да там же не только растения, не только и не столько, там леопарды и разные диковинные птицы. Настоящие дикие леопарды — слышишь, Рой? — дай им волю, могут и глаз выцарапать, и фламинго — эти спят, стоя на одной ноге: Берни, приятель, о котором я говорил, мне все уши прожужжал — и как это они могут спать, стоя на одной тонюсенькой ноге! — Для пущей выразительности он поднимает вверх палец. Как странно и уродливо выглядит палец, если специально его разглядывать: морщинки вокруг костяшек, кольцевой рисунок мельчайших линий на подушечке и бесполезное украшение в виде ногтя. Мальчик и девочка на заднем сиденье оба с каким-то воспаленным румянцем, как Нельсон в детстве, когда его настигала простуда, — и то же несчастное выражение в глазах.

— Ara, вот еще кое-что, — говорит Кролик, изучая карту. — Развалины замка Брейден. Ну, орлы, как насчет развалин? — Он и сам знает как, но для верности добавляет: — А то можем попросту вернуться к себе в кондо и поваляться вверх ногами часок-другой. — Не зря он столько лет торговал машинами, кое-какие приемы усвоил: предложи клиенту то, что ему совсем не нравится, и тогда то, что ему нравится хотя бы с оговорками, тут же обретет в его глазах дополнительную привлекательность. Он выразительно скашивает глаза на Дженис, не очень довольный ее полнейшей безучастностью. Почему она решила, что он один должен отдуваться? Она ведь тоже не чужая — бабушка!

Встрепенувшись, она вставляет свое слово:

— Нет, назад ехать рано — они, наверно, еще отдыхают.

— Или чем другим занимаются, — бурчит он. Может, скандалят. А может, в постели кувыркаются. Есть что-то такое в Нельсоне и Пру, какая-то губительная оголтелость, отчего всем остальным членам семьи делается не по себе. Этот горячечный жар вообще свойствен молодым парам; они еще в самой гуще жизни — производят на свет потомство. А пожилые пары, вроде них с Дженис, источают удушливый запах отцветших цветов с загнившими в воде стеблями.

— Давайте сходим в кино, — предлагает Джуди.

— Давай кино! — вторит ей Рой, сам того не ведая довольно точно воспроизводя двумя этими коротенькими словами взрослую интонацию, можно подумать к ним на заднее сиденье плюхнулся какой-то разбитной попутчик.

— Договоримся так, — суммирует Гарри, — проедем еще немного вперед и заглянем в Джунгли-парк, и если нас погонят на экскурсию или вам там просто будет скучно, мы тут же повернем обратно, и черт с ним со всем. А если там окажется терпимо, мы быстренько его обойдем, посмотрим на фламинго, заодно купим там какую-нибудь сарасотскую газету и выясним, что идет в кино. Рой, ты у нас большой мальчик? Сможешь высидеть целый сеанс? — Сам он уже включает двигатель и трогается с места.

Джуди докладывает деду:

— Он на «Дамбо»[[53]](#footnote-53) так плакал, что маме пришлось вывести его из зала.

— Его мама-слониха... — пускается в объяснения Рой, но слезы мешают ему закончить.

— Понятно, дружок, — говорит Гарри, снова выруливая на 41-ое и стараясь, чтоб голос его был слышен сзади. — Тут есть от чего загоревать: бедный слоненок, один, в вагоне с решетками. А как они с мамой цеплялись друг за друга хоботами, помнишь? Но кончается-то все хорошо, Рой, зря ты не досмотрел до конца. Если уходить, не дожидаясь конца, так и будешь вечно грустить.

— Он потом становится *знаменитым*, — злобно зыркнув на братца, втолковывает ему Джуди. — Он пуляет орешками в плохих клоунов. А ты все пропустил!

— Дисней такой, — философски замечает Гарри, адресуя свою реплику Дженис, но не забывая и о маленьких зрителях, — умел врезать по чувствам. И чтобы все это переварить, нужно иметь хорошую закалку — какая была у нашего поколения, у тех, кто рос в годы депрессии[[54]](#footnote-54). Даже Нельсон, ваш отец, не воспринял «Белоснежку» — ее тогда как раз пустили в повторный прокат.

— Папе вообще ничего не нравится, — доверительно сообщает Джуди. — Он только любит своих дурацких друзей.

— И кто же эти друзья? — спрашивает ее Кролик.

— Ох, не знаю я, как их зовут. Ну, там, Тощий — и другие имена такие же. Мама их всех терпеть не может, она больше с папой никуда не ходит.

— Да? Интересно.

— Она говорит, что боится.

— Боится? Чего боится?

— Гарри, — тихо говорит сидящая рядом Дженис, — перестань допрашивать детей.

— Папа боится Тощего! — выпаливает долгонько молчавший Рой — наверно, вспомнил, что тоже умеет говорить.

Джуди тут же отвешивает ему тумака.

— Не ври! Папа не Тощего боится, придурок ты маленький, он других дядек боится.

— Каких других дядек?

— *Гарри*, — одергивает его Дженис.

— Считай, что я этого вопроса не задавал, — кричит он назад, но слова его тонут в истошном вопле: Рой вцепляется Джуди в волосы, да так, что той его не отодрать. Когда Дженис тянется назад, чтобы их разнять, у нее лопается шов на блузке; он слышит треск разрывающихся ниток, несмотря на то что в этот момент мимо проносится восемнадцатиколесная махина, на подрагивающем белом боку которой выведено: «МЭЙФЛАУЭР. Перевозка мебели», и создает аэродинамическую трубу, куда его засасывает с такой силой, что он еле справляется с рулем своей «камри». Жестяная посудина в штормовом океане. Да, японские машины отвечают не всем специфическим американским требованиям. Вот и Нельсон тоже жаловался на фургон, который он испытывал на 422-й при боковом ветре. Но что поделать, такая жизнь — надо же чем-то торговать! А сидеть сложа руки и выискивать недостатки — эдак далеко не уедешь. Не всем же продавать «ламборгини»!

Джунгли-парк превосходит их самые смелые ожидания. Из сувенирной лавки, забитой всевозможными ракушками и намозолившими глаза поделками вроде тех, какими Дженис уставила весь стеллаж у них в кондо, попадаешь в уютный открытый дворик. Отсюда есть два пути: один ведет к рептилиям и Христову саду, другой — к птицам. Они все не сговариваясь поворачивают к птицам и для начала с интересом наблюдают, как всклокоченные, очень на вид недовольные попугаи катаются на велосипедах и прыгают в обруч. От попугаев путь лежит по извилистой бетонной дорожке — охотничьей тропе: идешь себе нога за ногу мимо замшелых корней и камней, почти невидимых из-за буйной растительности, и за каждым поворотом натыкаешься на новое маленькое чудо — тут компания из трех паукообразных обезьян с длинными волосатыми руками и маленькими озабоченными мордочками, там целый вольер пичужек из отряда воробьиных, перепархивающих вверх-вниз, с жердочки на жердочку, и своими неугомонными движениями наводящих на мысль о каком-то сложном часовом механизме; а еще дальше дерево бодхи[[55]](#footnote-55), точно такое, как то, под которым на Будду снизошло божественное просветление. Кролик вспоминает о далай-ламе — как, интересно, тот ощущает себя после стольких лет изгнания? Можно ли сохранить веру в Бога, если все уверяют, что Бог — это ты?..

Но вот четверка Энгстромов подходит к Зеркальному озеру, по которому скользят бесшумные лебеди, и Фламинговой лагуне, где, как и обещал Берни Дрексель, стайки фламинго, какого-то невероятного оранжево-розового цвета, спят стоя, словно большие, в перьях, леденцы на палочке (туловище как шарик, а подогнутая нога, шея, голова так компактно вокруг него уложены, что нисколько не нарушают этого впечатления), спят, опираясь на одну тонкую ногу-карандаш и широкую, кожистую уродливую лапу. А те, что бодрствуют, являют собой зрелище не менее удивительное — как они двигаются, как деликатно переступают...

— Посмотрите, как странно они пьют, — говорит Гарри внукам, невольно приглушая голос, будто у них на глазах совершается какое-то священнодействие, — как бы наоборот. Клюв у них как черпак, только выпуклым дном кверху, поэтому в воде им приходится его поворачивать. — И они стоят завороженные, четыре представителя рода человеческого, словно вдруг исчезли космические расстояния, разделяющие раскиданные по Вселенной планеты, — до того таинственны, не похожи на них самих эти живые существа. Земля наша — это великое множество разных планет, пути которых пересекаются лишь иногда, на краткий миг. Что говорить, если даже они четверо не созданы по одному образу и подобию, а ведь они говорят на одном языке, и перьев ни у кого из них нет, и пьют все не наоборот, а как положено.

От фламинго тропа приводит их к открытому павильону-закусочной, экспозиции морских ракушек и бабочек, пруду с золотыми рыбками и клетке с обещанными Рою черными леопардами. Черноглазый малыш глядит на хищников, бесшумно меряющих шагами клетку, — неотрывно, как в омут, грозящий утянуть его на дно. На столбе, поддерживающем крышу павильона, небольшой автомат, вроде тех, что во времена его, Гарри, молодости выплевывали порции арахиса или фисташек и встречались чуть не при каждой бензоколонке и продуктовом магазине, — как раз напротив площадки, по которой расхаживают павлины, подметая пыль своими роскошными хвостами. Именно здесь и допускает он свой исторический промах. Немного отстав от остальных, он находит в кармане монетку, бросает ее в автомат, получает пригоршню сухих коричневатых кругляшек и начинает их есть. К сожалению, это не арахис, и вообще непонятно что, может, местное флоридское лакомство, уж до того залежалое и черствое, даже горчит — кто знает, сколько оно там валялось в автомате? Однако когда он угощает Джуди, она сперва придирчиво смотрит, потом нюхает, а потом поднимает на него полный изумления взгляд.

— Дедушка! — вскрикивает она. — Это же кормить птиц! Бабушка! Он ест птичий корм! Такие коричневые, маленькие штучки, как кроличьи какашки!

Дженис и Рой приходят на крик — им тоже интересно посмотреть, и Гарри раскрывает ладонь, демонстрируя всем позорную улику.

— Я же не знал, — бормочет он потерянно. — Там ни надписи никакой, ничего. — Его вдруг пронизывает странное, небывалое ощущение: внутри будто легкий ступор и дурнота, а дальше, за пределами живого, теплого пространства, ограниченного его собственной кожей, вихри какой-то вселенской девальвации; будто мгновенная вспышка вдруг озаряет всю его жизнь, и он видит, как она никчемна и глупа и какое облегчение будет наконец с нею расстаться.

От души смеется одна только Джуди, смеется так долго, что смех кажется натужным, смеется всем своим точеным личиком с безупречными зубками; Дженис и Рой встречают его конфуз с погрустневшим и чуточку обескураженным видом.

Вволю насмеявшись, Джуди говорит:

— Ну, дедушка, ты даешь! Спорим, кроме тебя, до такого никто не додумался!

Он улыбается и кивает, раздутый, как воздушный шар, где-то высоко-высоко над ней; он чувствует, что ему не хватает воздуха и что боль тугими пульсирующими лентами охватывает грудь. Во рту усиливается противный едкий привкус от корма. Он поворачивает кисть — пухлую, кератозную, с длинными пальцами, во всяком случае, достаточно длинными, чтобы сверху удерживать баскетбольный мяч, — ладонью вниз и высыпает корм туда, где им смогут поживиться павлины. Вот один белый, замызганный, с ободранным хвостом замечает коричневые гранулы, подходит, смотрит, но клевать их почему-то не желает. Может, это все же не птичья еда, а человечья? Но как бы там ни было, день для него испорчен, и когда они снова идут по дорожке, только Джуди радуется как ни в чем не бывало; ее щебетание перекрывает даже внезапный отчаянный крик, по звуку павлиний, позади них.

Пресытившись Джунгли-парком, они переходят на другую дорожку, и по ней минуют еще один участок многоцелевого озера, клетку с дремлющим в одиночестве оцелотом, кактусовый сад, какой-то черный пруд с объявлением, что здесь посетителей ждет «морской сигнальщик»[[56]](#footnote-56), но никакого «сигнальщика» они не видят, может, потому что не знают, как он выглядит, и еще клетки с попугаями какаду и ара, у которых от тяжести ярких хохлов и внушительных клювов голова, кажется, все время пригибается книзу. Вот ведь жизнь у животных, не позавидуешь! Ты будто сам себе западня, ты в плену у врожденных инстинктов, а это тюрьма почище любой клетки. В самой последней клетке высокий косматый эму на пару с нанду покусывают железную проволоку ограждения, производя своими клювами печальный, словно приглушенный, стук. Их громадные глаза глядят сквозь ромбы проволочной сетки. *Клик, клак, клик*, настойчиво повторяют клювы, а зачем — бог весть. Может, они ловят насекомых, не видимых для глаза человека? Может, они и сами не понимают, что делают, как пьянчужки со стажем?

Гарри снова чувствует во рту отвратный вкус гранул и желто-красной гадости, которой в «Макдоналдсе» сдабривают гамбургеры (вместе с кусочком раскисшего соленого огурца), и всеми силами души желает себе умерить аппетит. Дженис подходит к нему, становится рядом и касается его безвольно повисшей кисти тыльной стороной своей руки.

— Это была вполне естественная ошибка, — говорит она.

— А у меня других и не бывает, — отзывается он. — Только естественные.

— Ну что ты как в воду опущенный?

— Разве?

— Ты же все время думаешь о Нельсоне, — говорит она ему. Значит, вот что не дает ей покоя. Ей, а не ему.

— Вообще-то я думал об эму, — говорит он и не кривит душой.

— Ладно, пойдем заглянем в сувенирную лавку, может, дети присмотрят себе что-нибудь на память, и потом купим газету. Умираю хочу туда, где есть кондиционеры.

В сувенирной лавке они покупают красивую отполированную до блеска ужовку для Джуди, а для Роя необычную черно-белую багрянку[[57]](#footnote-57) с острыми шипами, которой он немедленно находит применение — царапать любую доступную гладкую поверхность: выкрашенные краской перила вдоль дорожки к парковочному пятачку и соблазнительный бок «камри» — хорошо Гарри изловчился вовремя нагнуться и схватить маленького прохвоста за жалкую, бескостную ручку повыше кисти. Сам Гарри на раковины без отвращения смотреть не может. Один их вид невольно заставляет его вспомнить об их бесформенных, прожорливых, осклизлых обитателях, у которых ведь есть и сердце, и рот, и анальное отверстие, и усики, и какие-никакие глаза и которые всю жизнь сидят под водой, на дне морском, во тьме и в холоде, где-то на полпути к смерти. Мысль о подводном мире совершенно для него невыносима — как они все, населяющие его, друг друга пожирают, буравят раковины и панцири, высасывают друг у дружки ниточки внутренностей...

Пока их не было, машина внутри накалилась так, что в ней впору живьем изжариться. Флоридское солнце дотла спалило жиденькие утренние облачка, напоминавшие расползшийся след самолета, оставив одну безупречную чистую синь, которая простерлась от края до края над пальмами и кровлями из испанской черепицы. Жара и тяжкий труд — исполнять семейный долг — довели детей до отупелого состояния; у них уже даже нет сил клянчить любимые лакомства, когда он останавливается возле вывески «Кофе. Бутерброды. Бензин» и покупает сарасотскую газету «Сентинел». Они все единодушно выбирают фильм «Деловая женщина» — начало сеанса в два сорок пять, где-то в «парке», который, как выяснилось, находится у черта на куличках, не одну милю надо одолеть, много слепящих глаза плоских флоридских миль, забитых большими белыми американскими драндулетами, которыми управляют сплошь стариканы (благо рулевой механизм с гидроусилителем), до того усохшие, что за капотом, поди, и дороги не видят. Каждый раз, когда здесь, во Флориде, добираешься из одного пункта в другой без маленьких неприятностей вроде лобового столкновения, то понимаешь, что это целиком и полностью заслуга высокоразвитой американской гериатрии[[58]](#footnote-58), стимулирующих таблеток, витаминных инъекций и противосвертывающих препаратов.

Хоть Джуди и уверяет их, что Рой уже не раз бывал в кино, он, похоже, совершенно не понимает, что тут нельзя в любой момент, когда тебе стукнет в голову, начать разговаривать в полный голос, как у себя дома. Каждую минуту у него возникает новое жалобное «почему»: «*Почему* она раздевается?», «*Почему* она дядю ругает?» Гарри в этой картине нравится, что Мелани Гриффит, оставшись в одном вызывающем, как у шлюхи в борделе, нижнем белье, оказывается нормальной, упитанной бабешкой, не в пример подавляющему большинству недокормленных голливудских див, и еще одна сцена, где она застает своего дружка с голой девицей (та, как и главная героиня, по сценарию итальянка, только без амбиций и в большой бизнес не лезет), которая оседлала ее парня и вовсю наяривает; Гарри с удовольствием смотрит на ее гладенькое бедро, блестящее, как полированная раковина-ужовка, и на ее груди с темными сосками, которые секунд пять, не меньше, торчат на экране. Но что касается сюжета и фарсовой ситуации, когда герой и героиня всеми правдами и неправдами пытаются попасть на «великосветскую» свадьбу, то тут его не покидает чувство, что нечто в этом роде он видел тому назад лет сорок, с Кэри Грантом или Гэри Купером и с Айрин Данн или Джин Артур в главных ролях. И когда Рой во весь голос спрашивает: «А *почему* мы не уходим?» — он с готовностью вызывается выйти с ним вместе и обождать в вестибюле, пока Дженис и Джуди спокойно досмотрят ленту до конца.

Они с Роем берут на двоих упаковку поп-корна и пытаются сыграть в видеоигру под названием «До полного уничтожения». Хотя Гарри всегда считал, что с координацией у него все в порядке и реакция тоже приличная, ему не удается поразить буквально ни одного космического монстра, детища компьютерной графики, — подергавшись и повихлявшись перед ним, они остаются невредимыми. Рой — он еще настолько мал, что приходится его приподнимать, иначе ему не дотянуться до панели управления, и Гарри держит его, пока от тяжести извивающегося у него в руках мальчишки ему уже невмоготу терпеть боль в плечах, — Рой, увы, справляется с игрой ничуть не лучше.

— Да, Рой, — переведя дух, подводит итог Гарри, — на таких, как мы с тобой, понадеешься — глядь, а на Земле уже хозяйничают космические монстры.

Малец, уже попривыкнув к деду, не отходит теперь от него ни на шаг, и его дыхание отдает маслянистым духом поп-корна, отчего Гарри даже начинает немного мутить: это легчайшее, для самого ребенка совершенно незаметное дуновение вдруг навевает воспоминание о струйке воздуха из вентилятора в самолете где-то у тебя над головой.

Когда толпа зрителей вываливается из зала номер три, Дженис подходит к ним и делает заявление:

— Я считаю, что мне нужно подыскать себе работу. Разве ты бы не лучше ко мне относился, Гарри, если бы я стала деловой женщиной?

— В каком, интересно, штате ты стала бы искать работу?

— В Пенсильвании, само собой. Во Флориде люди отдыхают.

Ох, не нравится ему эта идея. Сердцем чует — что-то тут нечисто, как с теми ноябрьскими отчетами из «Спрингер-моторс».

— Ну и чем, к примеру, ты бы занялась?

— Пока не знаю. Наш магазин исключается. Нельсон не хочет, чтобы мы путались у него под ногами. Буду что-нибудь продавать, скорей всего. В конце концов, отец мой всю жизнь этим занимался, сын тоже торгует, а я чем хуже? Возьму и тоже буду торговать.

Кролик не знает, что и сказать. После стольких лет, когда он нехотя, через силу, но все-таки оставался при ней, у него просто язык не поворачивается теперь самому умолять ее с ним остаться. Хотя таково его первое инстинктивное желание. Он переключает внимание на другого члена семейства:

— Джуди! Ну так чем же закончился фильм?

— Все хорошо. Тот человек со свадьбы поверил, что она говорит чистую правду, и она получила свой личный кабинет, даже с окном, а противная начальница сломала ногу и этот, в которого они обе влюбились, ее бросил.

— Бедняжка Сигурни[[59]](#footnote-59), — качает головой Гарри. — Оставалась бы лучше с гориллами. — Он, как пастух, возвышается над своим крошечным стадом в вестибюле кинотеатра, где беспрестанно снуют взад-вперед деловитые служители с зелеными мешками для мусора и красными бархатными канатами в руках, готовя помещение к пятичасовому сеансу. — Ну, ребята, что скажете? Чего бы нам такого-эдакого придумать? Может, в мини-гольф сразимся? А то махнем в Сент-Питерсберг, прокатимся с ветерком по знаменитому длинному мосту?

Нижняя губа у Роя начинает дрожать, и он так отчаянно спотыкается на каждом слове, что Джуди это надоедает и она переводит:

— Он говорит, что хочет домой.

— Конечно, кто ж не хочет? — подбадривает его Дженис. — Дедушка просто нас подразнить решил. Ты разве еще не понял, Рой? Дедушка ужасно любит всех дразнить.

Неужели? Он за собой этого не замечал. Ну, скажет иногда что-нибудь так просто, на пробу, в порядке умственного финта, чтобы чуточку расчистить место для маневра.

Джуди понимающе улыбается.

— Он притворяется, будто он злой.

— Рр-ррр, — рычит дедушка.

Через сорок минут езды по юго-западной Флориде в самый час пик они сворачивают к Делеону, выезжают на Пиндо-Палм-бульвар, и вот они уже у въезда в поселок Вальгалла-Вилидж, который, и это всегда отмечаешь с удовлетворением, надежно охраняется. Наверху, в квартире 413, их встречают Нельсон и Пру, оба какие-то свежевымытые, отдохнувшие, держатся как ни в чем не бывало. Они слушают рассказы путешественников, среди которых главное место отведено невероятной истории о том, как дедушка наелся вонючего птичьего корма, и потом Пру, заботливо предложив Дженис дать отдых ногам, идет готовить ужин, а Нельсон устраивается на диване перед телевизором посмотреть местные новости, и дети залезают к нему на колени, и Гарри чувствует укол ревности и думает, как все несправедливо. Его всем и всеми недовольный сынуля день напролет резвился тут на пару со своей рыжегривой кобылкой и он же еще получается герой — только полюбуйтесь на этих двух неблагодарных свиненышей, ради которых дед сегодня чуть не наизнанку вывернулся.

Кролик садится в кресло напротив дивана, по другую сторону стеклянного столика, и начинает потихоньку вязаться к сыну.

— Ну, отоспался наконец, хватило времени-то? — интересуется он.

Нельсон, тотчас раскусив, куда клонит папаша, смотрит на него, сидящего по ту сторону стола, своими темными, беспокойными глазами не слишком ласково, как кошка, которая сильно не в духе.

— Я вчера вечером заехал в одно место перехватить чего-нибудь поесть, а потом застрял там в баре допоздна, — рассказывает он отцу.

— Ну, и часто ты так?

Выкатив глаза, Нельсон показывает ими на детские головы у себя под подбородком — дети смотрят в телевизор, но, кто их знает, могут ведь и прислушиваться. Как говорится, у детей всегда ушки на макушке.

— Не-а, — выжимает он из себя. — Просто когда я в напряжении, мне бывает нужно куда-нибудь сорваться — помогает. Пру относится к этому с пониманием. Ничего ужасного тут нет.

Кролик великодушно поднимает кверху руку.

— Не мое собачье дело, и не будем больше об этом. Ты давно уже совершеннолетний. Просто можно было позвонить, то есть, я хочу сказать, если человек немножко думает о других, он на твоем месте нашел бы такую возможность. А так у нас и ужин пошел насмарку, всякие ведь мысли лезут в голову, думаешь, вдруг что случилось. Какой уж тут ужин!

— Да я *пытался*, пытался звонить, папа! Но ваш здешний телефон я наизусть не помню, а телефонной книги там, где я застрял, как назло, не было — увел какой-то подонок и с концами.

— Это у нас что, вечерняя версия? Сегодня с утра твоя мать уверяла меня, что ты звонил сюда, только нас не застал — мы как раз пошли ужинать.

— Ну да, правильно. Сначала я позвонил с дороги из автомата, а потом хотел, но не смог, потому что не было телефонной книги.

— А где ты был, не припомнишь? Может, я эту забегаловку случайно знаю?

— Не имею ни малейшего понятия, где это, — говорит Нельсон, улыбаясь мерцающему экрану телевизора. — Я же там заблудился — едешь по магистрали, как по торговой улице: рекламы, рекламы сплошняком, без единого просвета. Одно хорошо во Флориде — это что после нее Пенсильвания сущая девственница.

Телекомментатор, делающий обзор местных новостей, докладывает слушателям о ситуации с морскими коровами:

— Стада морских коров по-прежнему промышляют как в районе традиционных зимних прибежищ, так и на территории своих летних угодий, поскольку до сих пор удерживается прекрасная погода и столбик термометра не опускается ниже восьмидесятиградусной отметки. Предупреждаем всех владельцев судоходных средств: необходимо вполовину уменьшить обычную скорость движения. В течение предстоящего уик-энда сохраняется вероятность столкновений с морскими коровами во всем ареале их распространения у берегов юго-западной Флориды.

— Предупреждают, предупреждают, — ворчит Кролик, — а лично я ни одной коровы в глаза не видел.

— Так это потому, что ты сидишь на берегу как привязанный, — говорит Нельсон. — Столько времени торчать здесь и не иметь собственного катера! Глупо.

— На что мне сдался катер? Я вообще не люблю воду.

— Ничего, со временем полюбил бы. Мог бы в заливе рыбу ловить. Ты же тут маешься от безделья, папа.

— Нашел развлечение — рыбу ловить! Кто мы — варвары или цивилизованные люди? Большая радость — трясти куском мертвечины перед носом несчастной безмозглой твари, а потом рвать ей крючком губу и тащить наружу. По-моему, рыбалка — самое кровожадное занятие.

Между тем блондинистый обозреватель, не пожалевший, видно, пенки для укладки волос, так что теперь они у него неживые, как парик, сообщает:

— В среду в полдень взрослую корову с детенышем видели в канале Бимини на Коралловом мысе примерно в полумиле от водохранилища — животные двигались в глубь суши. Подобные случаи указывают на то, что хотя основное стадо, обитающее в бассейне Калусахатчи, оттянулось в русло реки и прибрежные бухты, отдельные животные все еще могут повстречаться и в искусственных водных протоках. Сообщения о мертвых и раненых животных принимаются по телефону 1—800—342—1821. — Номер проплывает по экрану снизу вверх на фоне кадров, запечатлевших семью морских коров: лениво переваливаясь в морских волнах, семейство проплывает мимо. — И наконец, — говорит ведущий с характерным звучным нажимом теледикторов — знак, что на подходе рекламная вставка, — любые другие сведения о морских коровах принимаются по специальной «горячей линии». Звоните 332—3092.

Желая напомнить Джуди, что они с ней друзья, Кролик окликает ее:

— Представляешь, если бы у тебя во рту тоже торчал посередине такой широченный зуб, как у морской коровы?

Но, похоже, девочка его не слышит; ее миленькое личико лучится удовольствием, она самозабвенно смотрит рекламный ролик — калифорнийский «изюмчик сладкий» поет и танцует, как негритянская группа. В схожей манере выступали, помнится, «Мышкетеры». Где-то они теперь? У самих уже небось взрослые дети. Великий Мышкетер Джимми, тот вообще давно умер — где-то об этом писали, вспоминает он. Умер молодым. Бывает и так. Рой сосет палец и потихоньку клюет носом, уронив голову Нельсону на грудь. На Нельсоне все та же рубашка в розовую полосочку с белым воротником, в которой он прилетел во Флориду: можно подумать, что обычные рубашки с короткими рукавами — такая вопиющая глупость, что и держать-то их у себя зазорно.

— Завтра, — громогласно обещает Кролик кому-то, он и сам не знает кому, — я выхожу в море. Мы с Джуди отправляемся в плавание на «Солнцелове». Все уже договорено с сыном Эда Зильберштейна — он подвизается при гостинице «Бэйвью».

— Не знаю, — с сомнением говорит Нельсон. — Что это за посудина? Ты уверен, что справишься?

Кролик оскорблен до глубины души.

— Да Боже мой, это ж детские игрушки! Если эта штука и перевернется, нужно просто встать на киль и все дела — лодка опять в нормальном положении. Пацаны лет десяти-одиннадцати гоняют на них по заливу и хоть бы хны.

— Понятно, но Джуди-то еще девяти нет — будет через месяц. И потом, папа, только без обид, ты ведь у нас давно не юноша, давно уже отсчитываешь двузначные числа. И на морехода тоже не тянешь, как ты сам только что заметил.

— О'кей, ты *сам* займешься завтра своими детьми. *Сам* будешь придумывать для них развлечения. Я посвятил сегодня им восемь часов кряду, и стоило мне это удовольствие порядка восьмидесяти долларов.

— Так ведь подразумевается, что тебе самому это *приятно*, — говорит ему Нельсон. — Может, напомнить тебе, что ты их родной *дедушка* ! — И, немного смягчившись, добавляет: — Конечно, покататься на лодке очень даже неплохо. Только проследи, пожалуйста, чтобы она надела спасательный жилет.

— Почему вы не хотите пойти с нами, все вместе? Ты, Пру, вон эта Спящая Красавица. Пляж там шикарный. Все чисто, ухожено.

— Может, и пойдем, если я смогу. Я жду звонка.

— Из магазина? Три дня прошло, а без тебя уже не управиться?

Нельсон куда-то ускользает от него, прячется, будто бы отвлекшись на экран телевизора. Там крутят один из новых рекламных роликов «Тойоты» — с чернокожей девицей в роли торгового представителя. Под конец она и ее клиент подпрыгивают в воздух — от радости, наверно, — да там и застывают.

— Не в этом дело, — говорит Нельсон так тихо, что Кролик едва его слышит. — Я тут нащупал кое-какие контакты.

— Контакты? Какие еще контакты? Ты о чем?

Нельсон прижимает к губам палец, остерегая его, чтобы они своим разговором не разбудили Роя.

Кролику не терпится вставить сыну шпильку.

— Ты тут поминал кое-какие числа, так вот кстати о числах. Я все пытаюсь понять, что же меня царапнуло в ноябрьской сводке? Может, количество подержанных — небывало низкие продажи для этого времени года. Как правило, наблюдается подскок — что для новых моделей, что для старых.

— Общий отток денег — Рейган-то выбывает из игры, — отвечает Нельсон еле слышно. — И потом, Лайл установил новую бухгалтерскую систему, и, вполне возможно, часть выплат перекинута по отсрочке на декабрь — всплывут, никуда не денутся. Ты, папа, главное, не волнуйся. Вы с мамой для чего подались во Флориду? Радоваться жизни. Вот и радуйтесь! Ты всю жизнь вкалывал. Теперь не грех и отдохнуть.

И сын, словно для того, чтобы не дать отцу заподозрить даже намек на издевку, целует девочку Джуди в самую макушку ее блестящей, гладенькой, морковного цвета головки. Синеватый отсвет экрана заползает в треугольники залысин на уже западающих висках Нельсона. Заложник, которого он сдал на милость судьбы: видеть, как дети проигрывают схватку с временем, даже горше, чем сознавать свое собственное поражение.

— Мальчики, девочки — ужинать! — зовет их Пру из аквамариновой кухни Дженис.

Еда в ее исполнении показывает, что за дело взялась хозяйка половчее Дженис: для начала итальянский суп минестроне с «ракушками» из теста и овощами, и еще салат — каждому на отдельной тарелке, — и еще свежая белая рыба, зажаренная на гриле, которым оборудована их плита, но которым Дженис никогда не дает себе труда воспользоваться. Дженис мастерица разогревать в микроволновке всякие остатки, да закупать в «Уинн-Дикси» замороженные мясные буханки, фаршированные перцы и всевозможные дары моря в виде готовых блюд в маленьких алюминиевых корытцах, которые не моя можно отправить в «мусорогрыз». Она всегда придерживалась того мнения, что домашнее хозяйство должно отнимать у нее минимум усилий, и вот дождалась — наконец-то прогресс зашагал с ней в ногу. Гарри кажется, что овощной салат — дикий рис[[60]](#footnote-60), мелкий нежный зеленый горошек, крохотные луковички — такой изысканно-пикантный на вкус, Пру задумывала специально для него, вроде как персональный знак внимания, который все другие, ни о чем не догадываясь, примитивно слопают.

— Объедение, — говорит он Пру. — А что это за рыба? Вкуснятина!

— Мне сказали — снук, — отвечает она. — Я говорю: Что?! А они опять — снук. Я даже рассмеялась, до того странно слышать такое от продавца[[61]](#footnote-61). Но свежевыловленного больше ничего не было. Мне там растолковали, что это какая-то разновидность не то щуки, не то окуня — уже забыла!

Дженис объясняет Гарри:

— Пру знаешь куда ходила? В эту невзрачную лавчонку за аптекой Экерда — в жизни бы не додумалась туда сунуться! Наше поколение, — просвещает она Пру, — не больно-то увлекалось рыбой. Разве что отец принесет, бывало, кварту[[62]](#footnote-62) чесапикских[[63]](#footnote-63) чищеных устриц — любил иногда себя побаловать.

Пру говорит с Гарри своим окрашенным персональным вниманием к нему шероховатым голосом, в котором слышна уроженка Огайо.

— Жир глубоководных рыб, особенно пеламиды, богат кислотой, которая замечательно разжижает кровь и понижает уровень триглицеридов.

*Вот она бы обо мне заботилась как надо*, проносится в голове у Гарри. Ужасно довольный, он притворно ворчит:

— И чего всем так дался мой холестерин? Наверно, я так выгляжу, что краше в гроб кладут.

— Вы мужчина крупный, — говорит Пру, и эта характеристика отчего-то пронзает его, как стрела амура, — а с возрастом количество жира относительно общей массы тела у всех увеличивается, причем за счет липопротеинов низкой плотности, самых вредных, в то время как липопротеины высокой плотности сохраняются на прежнем уровне, таким образом неблагоприятное соотношение постоянно смещается в худшую сторону и риск закупоривания артерий жировыми бляшками увеличивается. Положение усугубляется еще и тем, что физической нагрузки у вас явно недостаточно — не как у наших дедов, которые до глубокой старости трудились на своих фермах, — и потому лишний жир не сгорает.

— Какая же ты у нас *умная*, Тереза! — восклицает Дженис, недовольная тем, что ее оттерли на задний план, — неспроста она назвала Пру ее настоящим именем: захотелось немного осадить молодуху, поставить на место.

Та опускает глаза, и голос ее сразу теряет уверенность и силу.

— Вы же знаете, я прослушала курс лекций на эту тему в бруэрском филиале Пенсильванского университета. Мне казалось, когда Рой пойдет в школу, неплохо было бы чем-то заняться, и я подумала, может, стану специалистом по здоровому питанию или диетологом...

— Вот-вот, я тоже хочу пойти на работу, — встревает Дженис, и Гарри жутко злится, что она помешала Пру продолжить ее обстоятельную лекцию о его, единственном и неповторимом, заплывшем жиром организме. — Тут еще это кино, что мы видели сегодня, — про женщин, которые работают в Нью-Йорке — офисы, небоскребы, — ах, мне стало так *завидно!*  — В былые времена Дженис сидела смирно и ничего из себя не строила. А с тех пор как ее мамаша померла и они купили себе квартиру в кондо, ее самоуверенность, безумно его нервируя, стала расти как на дрожжах, будто она вдруг возомнила, что мир — это ее сценические подмостки и с ролью своей она справляется весьма успешно. Здесь, на территории Вальгалла-Вилидж, она числится чуть не в самых молоденьких, состоит сразу в нескольких домовых комитетах. Тут ведь как — если не в маразме, значит, еще хоть куда. У Дрекселей на седере она оказалась моложе всех присутствующих и потому ей выпало задать четыре сокровенных вопроса[[64]](#footnote-64).

Гарри с завистью спрашивает Пру:

— Выходит, Нельсон питается по последнему слову науки? Польза-то заметна?

— Да ему что по науке, что без науки — он же ест как птичка, и потом у него все уходит в нервную энергию. Ему бы даже *надо* было потреблять больше липидов. Но приходится думать о детях — говорят, сейчас у большинства американских детей старше двух лет повышенный холестерин. Когда делали вскрытие убитых в Корее молодых ребят, то у трех четвертей в коронарных артериях был обнаружен избыточный процент жира.

В груди у Гарри все начинает сжиматься, болеть. Его нутро представляется ему морской бездной, где мокро и темно и слишком много такого, о чем он не желает думать.

Нельсон в их разговоре не участвует, только периодически шмыгает носом. Такое впечатление, что из носа у него непрерывно течет, вон даже раздражение выступило на коже повыше щеточки усов. Теперь же он, оставив на тарелке недоеденную рыбу, откидывается на спинку стула и с видом сытого удовлетворения изрекает:

— Моя точка зрения, что конец все равно один. Не то тебя доконает, так это. — Хотя ладони его опираются на край стола, пальцы заметно дрожат — шалят нервишки-то.

— Людей волнует не *что* их доконает, а *когда*, — говорит ему отец.

В глазах у Дженис, суматошно перебегающих с одного лица на другое, появляется беспокойство.

— Что за мрачные разговоры, давайте о чем-нибудь повеселее!

На десерт Пру подает замороженный йогурт — это гораздо полезнее мороженого, никакого холестерина. Когда все встают из-за стола, Гарри еще какое-то время отирается в кухне и, улучив момент, залезает в ящик с печеньем и быстро-быстро сует в рот три ванильных печенинки «Камео» и надломанный кренделек. С крендельками здесь похуже, чем дома в Бруэре, выбор не тот, но есть и приличные — толстенькие такие, фирмы «Саншайн». Он по привычке порывается помочь Дженис справиться с грязной посудой, но тут же давит в себе этот порыв: велика ли работа покидать тарелки в посудомоечный агрегат и разве не была она избавлена от всех хлопот и забот с ужином? Ноги у него и сейчас гудят, до того они сегодня находились; и вообще немало походил он уже на своем веку — два пальца деформировались от обуви, и теперь ногти, если вовремя их не срежешь под корень, впиваются в соседние пальцы. Пру, Рой и Нельсон уходят к себе, а он устраивается посидеть перед телевизором — Джуди с пультом в руке мечется между «Шоу Косби»[[65]](#footnote-65), балетом на льду и леденящим душу репортажем о том, как иностранцы прибирают к рукам американский бизнес, а потом между «Ваше здоровье!»[[66]](#footnote-66) и какой-то драмой о четырнадцатилетней девочке, которая, по примеру своей беспутной матери, чуть было тоже не пошла на панель. Сколько всяких невероятных коллизий и происшествий, сколько консервированного смеха и актерских слез, сколько нечеловеческих усилий, чтобы быть счастливым, достойным, любимым, — сколько напрасных усилий! Телевизионная неуемная энергия действует ему на нервы. Он испускает тяжкий вздох и с кряхтеньем встает. Грузное тело повисает на сердце, как шатер на шесте. Он говорит Джуди:

— Выключала бы ты эту шарманку, милая. Завтра нам тоже предстоит насыщенный день — море, солнце, вода и в придачу парусная лодка! — Но в голосе его звучит только усталость: самая грустная из всех потерь, что несет с собой время, это утрата способности чему-то искренне радоваться. Четверо гостей ему в тягость, он уже ждет не дождется, когда они отправятся восвояси, когда наступит суббота, последний день 1988 года.

Джуди продолжает пялиться в экран и давить на кнопки пульта.

— Только первую серию «Закона Лос-Анджелеса», — обещает она, но сама тут же перескакивает на специальный информационный выпуск «Эй-би-си», посвященный теме «Как неправильное питание сказывается на здоровье американских детей».

В спальне Дженис читает журнал «Эль», разглядывает цветные снимки суперстройных фотомоделей, у которых такой вид, будто они все под кайфом.

— Дженис, — говорит он, — мне нужно тебя о чем-то спросить.

— О чем? Только не заставляй меня волноваться, я нарочно раскрыла журнал, чтобы скорее уснуть.

— Скажи, — начинает он, — вот сегодня, там, возле дома Эдисона, я как — нормально смотрелся, вписывался в эту толпу?

Она не сразу переключается и какое-то время молчит; потом наконец до нее доходит, чего он от нее ждет.

— Нет, конечно же, нет, Гарри. Ты выглядел гораздо моложе всех остальных. Скорее как чей-нибудь сын, который заехал повидать родителей.

Он решает удовлетвориться этим, просить о большем он не осмеливается.

— По крайней мере, — говорит он в тон ей, — передвигался на своих двоих, а не в каталке.

Он читает на сон грядущий несколько страниц из истории — о морском бое между сорокапушечным фрегатом «Добряк Ришар» под американским флагом и английским фрегатом «Серапис», о том, как, не выдержав взрывов и рек крови, командир канониров на «Ришаре» вскричал: «Пощадите, пощадите, ради Бога!» И тогда капитан Джон Джонс *навел на паникера пистолет и одним выстрелом свалил его. Однако крик достиг ушей капитана «Сераписа» Пирсона, и тот крикнул: «Вы просите пощады? Сдаетесь?» Сквозь грохот битвы, пушечную канонаду и треск пожара до него донесся легендарный ответ: «Да я не начинал еще боя!»*Американцы выиграли бой, но от жестоких повреждений славный корабль на следующий день затонул, и тогда капитан Джонс на плененном и потерявшем мачту фрегате «Серапис» пошел в Голландию и тем *изрядно подлил масла в огонь британского недовольства*. Столько ярости и отваги, а Кролику кажется, что все это впустую. Род человеческий сейчас представляется ему в виде гигантской аляповато-пестрой процессии, где все теснятся, толкаются, огрызаются, а сам он с трудом ковыляет в хвосте и чувствует, что безнадежно отстает. Он откладывает книгу на ночной столик и выключает лампу. Полоска света под дверью доносит отдаленные выстрелы и выкрики, производимые какой-то телепередачей, любой вообще телепередачей. Он проваливается в сон с небывалой быстротой и легкостью, едва успев опустить лицо в подушку. И руки, которым он вечно не находит места, вдруг сами уютно подвертываются, будто складки одеяла. Среди прочих ему снится сон, что он подходит к какой-то двери с закругленным верхом и толкает ее. Точно такая стеклянная дверь, как в «Макдоналдсе» (только не та, через которую видна голова-гамбургер). Во сне он знает, что там за дверью кто-то есть, кто-то, кого он до жути боится, кто-то голодный, притаившийся, — и все же он толкает дверь, давит на нее, и ужас нарастает, и он просыпается в страхе, с переполненным мочевым пузырем. Он теперь каждую ночь встает. Его простата, его мочевой пузырь постепенно теряют эластичность, как ластик из золотарника. Напрасно он выпил стакан пива, пока сидел с Джуди перед телевизором. Не пошел у него этот «Шлиц»! Снова заснуть не так-то просто — только он начинает забываться и в мозг лезет всякая сонная дребедень, как Дженис от самозабвенного сопения переходит к заливистому храпу. Светлая полоска под дверью исчезла, но рассеянный лавандовый сумрак, в котором находят добычу совы и другие ночные хищники, выхватывает из тьмы большие плоскости и крупные предметы обстановки в спальне. Квадратный комод с глянцевым прямоугольником фотографии Нельсона — выпускника средней школы; пухлое светлое кресло с перекинутыми через спинку льняными брюками Гарри — складки легли так, что в темноте оно похоже на череп с пустыми глазницами, да еще растянутый, как жевательная резинка. Сквознячок с балкона, пробравшись под складками задернутой занавески, холодит ему лицо. Если хочешь побыстрей снова заснуть, можно попробовать лечь на спину и попытаться вспомнить прерванный сон. Но на спине почему-то не лежится — словно огромная чешуйчатая лапа гигантского попугая хватает его и снова разворачивает лицом вниз. Ему кажется, что буквально в следующую секунду он слышит завывания косилок на поле для гольфа и галдеж потревоженных чаек.

Вестибюль «Омни Бэйвью», куда попадаешь, пройдя под широкими бордовыми маркизами и миновав раздвижные двери из дымчатого, как окна в лимузине, стекла, производит ошеломляющее впечатление грандиозным объемом пространства и света, свисающей с потолка роскошной призматической люстрой, плеском фонтана и высоченной задней стеной сплошь из стекла, через которую — это выглядит как картина в раме — открывается вид на Делеонскую бухту: полоса пляжа на переднем плане, а дальше море, словно искрящийся сине-зеленый занавес, свисающий с линии горизонта и растянутый между двумя колышками суши — двумя островами, которые принадлежат каким-то богатеям.

— Вот это да! — восхищенно ахает Джуди под боком у Гарри.

Пру и Рой, вошедшие за ними следом, хранят молчание, но шарканье их пляжных сандалий замедляется и звучит глуше. Им всем кажется, будто они не имеют ни малейшего права здесь находиться. У женщины за черной мраморной стойкой регистрации какой-то экзотический цвет кожи — смесь негритянских, индейских или, может быть, восточных оттенков, безупречно обтянутые нос и скулы, веки подкрашены зелеными с металлическим отливом тенями, мочки ушей прикрыты ребристыми золотыми ракушками.

Гарри до того придавлен всем этим великолепием, что по ошибке называет не тот пароль.

— Зильберштейн, — говорит он.

Поморгав недоуменно металлическими веками, женщина снисходительно поправляет его:

— Вы, должно быть, имеете в виду мистера Сильверса. Это администратор пляжа, сегодня утром его смена. — И с милостивой небрежностью, не выпуская из пальцев изящного золотого пера, она взмахом унизанной кольцами руки — жест балийской танцовщицы — направляет их куда-то в другой конец вестибюля. Пересекая черный мраморный пол, отделанный полосками латуни, которые сияют, словно солнечные лучи, отражая блеск напоминающих орган алюминиевых трубок фонтана, Гарри ведет свой небольшой выводок в просторное кондиционированное помещение с высоченным потолком, откуда свисают прямоугольные, с золотым отливом, металлические пластинки — вроде как блестящие кусочки фольги, какие фермеры развешивают, чтобы отпугивать птиц. Над уводящими вниз ступенями висит указатель: В БАССЕЙН И НА ПЛЯЖ — шрифт четкий, строгий, как на фасаде почтамта. Немного заплутав в молочно-зеленых коридорах нижнего этажа, где полы набраны из кусочков мрамора, уложенных в цемент, и оказавшись перед дверью с табличкой СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД, Гарри и его спутники наконец обнаруживают сына Эда Зильберштейна, Грега, в помещении с циновками на полу и стеклянными стенами со всех сторон, откуда постояльцы попадают в гостиничный бассейн — точнее, бассейны: Гарри видит, что их тут три и подогнаны они друг к другу, как в успешно выполненном тесте для смекалистых, — один «лягушатник» для начинающих, другой глубокий — можно нырять, третий, с дорожками, самый длинный. Грег кучерявый, черный, как араб, он ведь целыми днями торчит на пляже. Он стоит перед ними в узких, черных, по европейской моде, плавках из эластика и в тренировочной фуфайке с капюшоном и с пятигранной эмблемой «Омни» на груди, и сразу заметно, что ростом он ниже отца и фамильный острый бухгалтерский подбородок у него смягчен за счет материнской крови и специфики работы по обслуживанию отдыхающих. Он улыбается, обнажая зубы, такие же белые, как у Эда, только скругленные: у Эда зубы ровные, квадратные, точно вставные, хотя это вряд ли, Гарри ни разу не видел, чтоб они съехали с места. Голос Грега звучит неожиданно молодо для его лет, а между тем в кучерявой голове мелькают седые кольца и от улыбки на загорелом, обветренном лице набегают морщины. Несолидно в его годы скакать козлом по пляжу.

— Отец предупредил меня, что вы придете. А вы, значит, миссис Энгстром? — Он имеет в виду Пру, которая пошла вместо Дженис, поскольку та до того уходилась накануне, что предпочла остаться дома — разобраться кое с какими делами, сходить на аэробику и на занятия по бриджу и немного побыть с Нельсоном, ведь он уже скоро уедет домой. Поначалу Гарри не может очухаться, как сын Эда мог сморозить такую нелепицу, но, поразмыслив, понимает, что тому, наверно, что ни день приходится иметь дело с пожилыми господами, выступающими в паре с молоденькими женщинами. Да и Пру-то сама уже не первой молодости. Тоже рослая, белокожая, как и он, и правда — чем не пара?

— Ты мне льстишь, Грег, — говорит Гарри достаточно невозмутимо, если учесть его смятение, — это моя невестка, Тереза. — Даже в том, что у нее два имени, — Тереза и Пру — одно, так сказать, для внутреннего употребления, другое для внешнего, они с Гарри похожи. — А это мои внуки, Джуди и Рой.

— А, так вот кто у нас морячка! — говорит Грег девочке.

Здесь, рядом с бассейнами, ее поднятые на Грега глаза до краев залиты отраженной в воде небесной синевой, которая вытеснила их природный зеленый цвет, а зрачки превратила в крошечные точечки, вроде карандашного острия.

— Ага.

Продолжая в таком же духе неспешно, раскованно двигаться и говорить, сын Эда ведет их назад по зеленоватым мраморным коридорам и у какой-то стойки берет на всех ключи от шкафчиков в раздевалке — ключи выдает молодой негр с прической пирожком, как они теперь любят, отвратительная манера, все бока выбриты, сверху нашлепка, — а потом провожает их до дверей раздевалки и объясняет, как оттуда попасть прямо на пляж, где он их встретит и поможет взять напрокат «Солнцеловы».

— Сколько я вам должен за все на круг? — спрашивает Гарри, в душе надеясь, что скорее всего нисколько, — ему кажется, Эд устроил это для него в качестве своеобразной компенсации за ту двадцатку, что он проиграл ему в среду в гольф.

Но Грег становится на какую-то неуловимую толику официальнее и четко отвечает:

— Лодки выдаются только проживающим в гостинице, и плата потом включается в общий счет, но, думаю, что-то около ста двадцати долларов за четверых будет в самый раз — раздевалка, пляж и два «Солнцелова» по часу каждый.

— Не надо два, не надо! — включается в разговор Пру. — Я боюсь.

Смерив ее взглядом, он говорит уже чуточку иначе, чем раньше, с легким фамильярным нажимом и внушительностью в голосе, которые отличают ребят, по роду работы привыкших иметь дело с женщинами.

— Бояться тут совершенно нечего, Тереза. Эти лодки не тонут в принципе, и без спасательных жилетов вас никто не выпустит. В самом крайнем случае, если вы не справились и потеряли управление, просто спустите парус и мы в два счета приедем выручить вас на моторке.

— Спасибо большое, но меня увольте, — говорит она, на взгляд Гарри, немного задиристо, но, в конце концов, они ведь с парнем примерно одного возраста. Поколение бума рождаемости[[67]](#footnote-67). Рок-н-ролл, марихуана, телесериал про десятилетнего мальчишку Бивера, спорт и культ здорового тела. То ли еще будет, когда выяснится, что оба они из Огайо!

Грег Сильверс поворачивается к нему и уточняет:

— Ну, раз так, сойдемся на девяноста.

Сумма такая, что вроде бы надо округлить до ста и оставить десятку чаевых, но Гарри боится обидеть парня, все-таки он здесь на правах друга семьи, поэтому он выжидает, пока Грег возьмет сдачу у своего молодого коллеги с пирожком на голове. Оставшись один на один с Роем в раздевалке, он говорит внуку:

— Ну и ну, Рой, вытряхнули твоего дедулю вчистую, можно сказать, без гроша в кармане оставили!

Рой, задрав голову, таращит на него свои испуганные чернильные глазенки.

— Нас посадят в тюрьму? — спрашивает он, и голосок у него звенит так тонко, звонко, отчетливо, будто ветер качнул «эоловы колокольчики», которые многие любят вешать у себя дома, на крыльце.

— Откуда такие мысли? — смеется Гарри.

— Папа не любит тюрьму.

— Понятное дело, кто ее любит! — говорит Гарри, недоумевая, все ли у малыша ладно с головкой.

Рою еще невдомек, что пока не ослабишь шнурок на плавках, натянуть их на себя не получится: он пыхтит, тужится, тянет их вверх изо всех силенок, оттопыривая пипку, крохотную, как только что народившийся грибочек. Крайняя плоть у него обрезана. Кролик думает, как бы сложилась его собственная жизнь, если бы ему сделали в детстве обрезание. Тема эта время от времени муссируется в газетах. Некоторые считают, что крайняя плоть все равно что глазное веко: без нее ничем не прикрытая головка постепенно утрачивает чувствительность, грубеет от постоянного соприкосновения с бельем. Однажды в каком-то порножурнале он прочел опубликованное там письмо одного бедолаги, сделавшего обрезание уже в зрелом возрасте, так тот утверждал, что удовольствие от секса и вообще все реакции притупились у него до такой степени, что он уж прямо не знает, зачем вообще нужна ему такая обрезанная жизнь. Вот если бы у него, Гарри, реакции были бы притупленнее, может, он стал бы тогда более надежным и ответственным, не таращил бы с упорством маньяка этот свой нижний глаз. Когда наступает эрекция и ты чувствуешь, как твоя крайняя плоть плавно оттягивается назад, в голову лезет сравнение с замерзающими сливками, выпихивающими бумажную крышечку на допотопных молочных бутылках. Ну а Рой, судя по безразличному виду его пипки, вырастет добропорядочным членом общества. Дед протягивает внучку руку, чтобы вести его на пляж.

После года-другого, проведенного во Флориде, когда, охваченные пылом новизны, они на радостях, что оказались здесь, купили подзорную трубу для балкона и три-четыре раза в неделю ездили за пару миль от дома на общественный делеонский пляж если не купаться, так хоть подышать морским воздухом, размять ноги и устроить пикник вместо ужина, они мало-помалу совсем перестали бывать на заливе. Вот почему сейчас так по-новому свежо, неожиданно воспринимается им эта ширь, необъятность воздуха и воды, подвижной живой поверхности, испещренной миллионами искрящихся выемочек. На мгновение это природное великолепие вытесняет у него из груди надоевшие застарелые боли и тревоги, освобождает разом от всего — до забвения самого себя. Какой здесь умопомрачительный свет, какой простор! Такое величие и не снилось пенсильванскому пейзажу, зажатому со всех сторон лесами, холмами, домами. Земля, истасканная веками немилосердной эксплуатации, где даже редкие клочки, не охваченные современной цивилизацией — старые карьеры, заново поросшие лесом, пустоши, заброшенные фабрики и шахты, — все побывало когда-то в пользовании человека и только после этого пришло в запустение. Здесь же все дышит первозданностью, хотя в действительности история не обошла стороной и этот край — были тут и индейцы, и конкистадоры, и босоногие почтальоны, доставлявшие известия в донимаемые москитами прибрежные поселки. Справа и слева горизонт ограничивают острова, куда в былые времена приезжали в личных поездах миллионеры на апрельскую рыбалку — ловить тарпона. А еще раньше на этих островах находили убежище испанские и французские корсары. В тамошнем песочке по сю пору зарыто золото. Острова плоские, и с пляжного парапета, откуда на них смотрят Гарри и Рой, кажутся страшно далекими. До чего же все яркое, распахнутое, мир будто заново создан — из синтетических компонентов. Яхты, виндсерфинговые паруса, водные мотоциклы, с ревом мчащиеся по поверхности, пластиковые одновесельные лодочки, надувные плоты расцвечивают прибрежную полосу воды, как витрину в супермаркете. Дальше на пляже, перед следующим отелем, кто-то запускает воздушного змея — пара связанных между собой бумажных коробочек кивает, ныряет и снова взмывает вверх, таща за собой хвост из сверкающих оранжевых лент. Миля вправо, миля влево — всюду подвижный пестрый узор из загорелых тел и ярких лоскутков: песчинки живых тел поверх пляжного песка.

Когда они спускаются по бетонным ступеням, их нагоняют выпорхнувшие из гостиницы Пру и Джуди. Время — начало одиннадцатого, и пятнадцатиэтажный отель у них за спиной, выстроенный в форме буквы S с ярусами балкончиков вдоль каждого этажа, отчего издали кажется, что это две сцепленные красные гребенки с частыми зубьями, пока еще прячет лицо в тень, хотя и ужавшуюся, уползшую на дно гостиничных бассейнов. Песочек с утра весь чистый, выровненный граблями; ни следов, ни разбросанных пластиковых стаканчиков, ни пустых флаконов из-под лосьонов — все убрано, и деревянные пляжные шезлонги сложены аккуратными стопками. Потихоньку сползаются отдыхающие, выбирают место, устраиваются, раскладывают пляжную экипировку, полотенца, детективные романы (Рут, помнится, увлекалась детективами, и какой прок она видела в этом чтиве — тайна за семью печатями, сама по себе достойная стать темой детективного романа) и всевозможные — под разными номерами — солнцезащитные кремы и эмульсии. Те, кто пришел парами, по очереди умащают друг друга. Душки-старички, и без загара уже цвета продубленной кожи, поливают лосьоном свои лысые головы, демонстрируя волосатую седую грудь. Запахи кремов и лосьонов растворяются в воздухе, пахнущем соленым морем, мертвыми крабами, водорослями. Когда Гарри ведет всех за собой по песку, он чувствует, что головы одна за другой поднимаются и глаза, скрытые темными очками, исподволь на них косятся; его распирает приятное, неведомое ему чувство оттого, что все видят его с женщиной, которая годится ему в дочери, и с двумя маленькими детьми. Его вторая жена, вторая семья. Или, может, третья, а то и четвертая. От одной семьи к другой — так жизнь и проходит.

Шлепает, шипит, пенится прибой, и в этой пене короткими перебежками охотятся кулики: пробежит, остановится, клюнет что-то, снова пробежит. Лапки и голова двигаются быстро-быстро, как заводные. Рой думает, что они игрушечные, и хочет их поймать, да куда там! Когда Гарри развязывает шнурки и снимает кроссовки, шершавый песок под голой ступней оказывается неожиданно прохладным — под верхним, пригретым солнцем слоем еще держится холод ночного прилива. Сверху на стопах у него червячками расползаются синие вены, у голени ноги белее мела и все в трещинках — как будто он по колено забрел в старость. Дрожь страха пробегает у него по ногам. Это море, это солнце, слишком они огромны — космические жернова, размолотят его и не заметят. Он ведь играет с огнем.

Грег поджидает их в будке из плексигласа на удаленной от воды границе пляжа, возле каких-то пальм с выступающими из земли корнями. Он уже вынес из будки руль, шверт и два спасательных жилета из черного пенопласта. Кролику не по душе ни цвет, ни фактура; куда подевались старые яркие жилеты, набитые капком[[68]](#footnote-68) из плодов хлопчатого дерева, ну, хотя бы того, что растет в саду Томаса Эдисона.

— Вы раньше ходили под парусом? — спрашивает его Грег.

— Само собой!

Но что-то в его тоне заставляет Грега дать ему кое-какие наставления:

— Всегда поворачивайте румпель в сторону *от* паруса. Следите за гребнем волны, чтобы знать направление ветра. Если ветер с кормы, немного потравите парус.

— Ладно, ладно, — говорит Гарри, выслушав его вполуха, потому что в голову ему лезут малоприятные воспоминания о том, как в среду Эд Зильберштейн набрал буги на первой лунке и как он сам смазал начало игры и в результате позорно продул.

Повернувшись к Пру, Грег спрашивает:

— Девчушка-то ваша плавать умеет?

— Само собой! — говорит она, машинально повторяя небрежный ответ Гарри. — Она чемпионка летнего лагеря по плаванию.

— *Ма!*  — жалобно возмущается девочка. — Я же была *вторая!*Грег опускает голову и смотрит вниз, на Джуди, — солнце у него за спиной сияет так ярко, что даже тень на его лице излучает голубоватое сияние.

— Не будем мелочиться, вторая — почти что первая. — Но он еще не все обсудил с ее матерью, и, вновь обращаясь к Пру, Грег говорит: — Я бы не советовал вам отпускать малыша. Сегодня ветер с берега, здесь-то, за гостиницей, он совсем не чувствуется, но в море он даст о себе знать, скорость будет приличная. Укрыться на лодке негде, каюты нет, а соскользнуть в воду на скорости ничего не стоит.

Она смотрит на Грега Сильверса с невеселой кривоватой улыбкой и смущенно переступает с ноги на ногу, словно, стоя рядом с ним, мужчиной ее возраста, она вдруг застеснялась своей полунаготы. На ней коричневая, в разводах, рубаха-дашики, а под ней цельнокроеный белый купальник с такими вырезами на боках, что нога открыта чуть не до тазовой кости. Этот нынешний покрой заставляет женщин основательно подбриваться. Через какие мытарства они только не проходят, бедняжки! Существует даже специальная процедура — с помощью какого-то особого воска можно удалить волосы насовсем. Но ведь мода на купальники может снова измениться! Лично ему, Кролику, больше всего по вкусу дорейгановские раздельные купальники-бикини, где нижняя половина представляла собой весьма условную полосочку, которая болталась где-то под животом, — вспомнить хотя бы Синди Мэркетт, вот у нее был купальник что надо. С другой стороны, в новом стиле тоже есть свои достоинства: купальник Пру выгодно подчеркивает ее длинные ноги и заодно подбирает ее раздавшиеся бедра и талию.

— Он останется со мной на пляже, тут и думать нечего, — говорит она Грегу Сильверсу и, словно ставя на этом решительную точку, наклоняет голову, так что рыжие волосы падают на лицо, и стягивает с себя дашики, выставляя напоказ тонюсенькие лямочки купальника и широкие, белые, в бледных веснушчатых пятнышках плечи.

— Сколько времени в моем распоряжении? — напоминает о себе Гарри сыну Эда Зильберштейна. Эти его европейские плавки в обтяжку обрисовывают все так, что и не хочешь видеть, да увидишь.

— Ровно час, сэр. — «Сэр» выскочило у него случайно, по рассеянности, и, спеша исправить оплошность, он говорит прежним непринужденно-дружелюбным тоном: — Ну, вы понимаете — плюс-минус, если и запоздаете, большой беды не будет. Сегодня лодки не нарасхват, многие побаиваются выходить при таком ветре. Берите девятнадцатый номер, там, в конце.

Уже уходя, Гарри слышит, как Грег спрашивает Пру:

— Сами-то вы откуда, где живете?

— В Пенсильвании. Вообще я родом из Акрона, штат Огайо.

— Вот так так! А я где вырос, знаете? В Толидо!

Парусные лодки вытащены на берег и лежат рядком на сухом песке вместе с другими большими игрушками — водными велосипедами и плоскодонными весельными лодочками. Гарри тянет за привязанный к носу конец — посудина на поверку оказывается много тяжелее, чем он думал: протащив ее по песку сорок футов, он уже, как рыба, хватает ртом воздух, а главное, слева у ребер опять тревожно замерцала знакомая опоясывающая боль. Последним рывком он подтаскивает лодку поближе и опускается на песок рядом с Пру — она в эту минуту как раз устраивается на шезлонге, который приволок для нее Грег. Сам Грег уже идет на зов какого-то другого отдыхающего.

— Тебе больше нравится... так? — едва переведя дух, спрашивает Кролик. — Разве не лучше чувствовать песок под — ну, ты понимаешь, вроде как в гнездышке?

— Песок забивается в купальник, Гарри, — сообщает она ему. — Забивается *повсюду*.

Это совершенно ненужное уточнение, когда картина в целом и так предельно ясна, будоражит его, прямо здесь, посреди бела дня и всей сногсшибательной его яркости. Он смутно припоминает старый анекдот, ходивший еще в школе, что-то насчет жемчужин и того места, куда забивается песок. Все Фред, похабник, с его шуточками. Он просит Джуди:

— Дай минутку отдышусь, ладно, детка? Сбегай пока окунись, пообвыкни в воде, а то потом ее кругом будет много-много. Я мигом, раз-два и мы поплывем.

Надо бы вызвать Пру на разговор о Нельсоне. Что-то с ним неладно. Рой уже копает белый, сахарный песок пластмассовым совочком, который Дженис надумала купить ему в «Уинн-Дикси». Темноглазый малыш с величайшей серьезностью насыпает песок в ведерко — по форме перевернутый вверх ногами кот Гарфилд[[69]](#footnote-69). Поскольку Гарри пока, видимо, говорить не в силах, Пру заговаривает сама:

— Я так благодарна вам, что вы все это устроили. Какую цену заломил — я просто в шоке!

— Да что там, — великодушно говорит он, мало-помалу приходя в себя и чувствуя, как от прогретого верхнего слоя песка по голым ногам разливается приятное тепло, — дедом ведь бываешь только раз в жизни. Ну, два — если брать мой случай. Вы с Нельсоном больше никого не планируете?

— О Господи, нет, конечно! — отвечает она как-то уж слишком поспешно, в провале затишья, пока одна длинная волна, откатив, не сменяется другой, и та, в свою очередь, набегает и пенится, разбиваясь о берег, рассыпаясь искристыми брызгами и перебежками заводных куликов. — Мы к этому не готовы.

— Не готовы, значит? Ну-ну, — говорит он, не очень понимая, о какой, собственно, готовности она толкует.

Она сама приходит ему на выручку, голос ее звучит где-то возле его уха — он неотрывно смотрит прямо перед собой, на залив. У него не хватает смелости повернуть голову и увидеть ее голые ступни с розовыми костяшками пальцев и облупленным лаком на ногтях, ее длинные, вытянутые на шезлонге ноги и контраст между белым и белым — нейлоновым мыском и мягкими пышными телесами. Эти новомодные купальники не то чтобы уж очень старательно прикрывали дамочкам зад. Она доверительно говорит Гарри:

— Боюсь, с таким отцом, как Нельсон, даже те двое, что у нас уже есть, и то обделены.

— С таким отцом?.. Я и то смотрю, он весь как на шарнирах, а голова вообще неизвестно чем занята.

— Вот *именно*, — соглашается Пру с чрезмерной горячностью. Но тут же и умолкает. Очередная волна с возмущенным шипением набегает на берег, жадно пожирая песок. Она снова ушла в себя. Ждет, чтобы он сам догадался о том, что осталось невысказанным.

— Его воротит от «тойот», — кидает он пробный шар.

— А, ерунда, он и «ягуарами» был бы недоволен точно так же, — роняет Пру. — Ему в его нынешнем состоянии ничем не угодишь.

В его нынешнем состоянии. Вероятно, разгадка кроется в этой фразе. Неужели несчастный парень болен чем-то? Откуда у него этот страх, эта мертвенная бледность, неужели он умирает, может, у него лейкемия, как у девушки из «Истории любви»[[70]](#footnote-70)? Может, угораздило подцепить СПИД — как именно угораздило, об этом Гарри даже думать не хочет, — пока он отирался в компании ублюдка Тощего; оттуда же, кстати говоря, и новый бухгалтер Лайл появился. Но все это кажется сейчас таким далеким, как те острова, где пираты прятали золото, а толстосумы ловили тарпона, — незначительные утолщения на линии горизонта, если смотреть сидя на песке, как сидит он, с высоты трех футов над уровнем моря. У него нет сил сосредоточиться на этом сейчас, когда солнце шпарит прямо в голову. Надо было ему купить шляпу, поберечь свою чувствительную шведскую кожу. Но ему всегда казалось, что в шляпе у него дурацкий вид, и так голова большая. Наполнив ведерко, Рой с похвальной для четырехлетки аккуратностью переворачивает его вверх дном и поднимает, ожидая, конечно, увидеть песочного Гарфилда, но форма сделана без ума, чересчур замысловата, и с одной стороны фигурка осыпается. Что значит ложный принцип — замысловатая форма. Не надо мудрить, дай ребенку основу — банальный зáмок без затей, а дальше пусть он включает свое воображение. Наконец Гарри нарушает молчание, адресуя слова пространству и не отваживаясь полностью повернуть к ней голову и натолкнуться взглядом на злосчастный треугольник и безымянные участки тела, открытые для обозрения за счет того, что ноги ее приподняты над землей.

— О нем и в детстве нельзя было сказать: смотрите, какой жизнерадостный, счастливый малыш. Наверно, это наша вина, моя и Дженис.

— А он и винит вас, можете не сомневаться, — заверяет его Пру своим вывезенным из Огайо плоским, лишенным эмоций голосом. — Но мне не кажется, что вам следует благородно брать вину на себя и тем самым укреплять его в этом убеждении. — Ее нынешняя манера изъясняться — взять хотя бы вчерашнюю лекцию о холестерине — неприятно царапает ему слух холодноватой педантичностью: такое же чувство возникает, когда протягиваешь руку, чтобы погладить симпатичную, мягонькую на вид зверушку, и вдруг, к своему удивлению, ощущаешь, что шерстка у нее гораздо грубее и жестче, чем можно было предположить. — Я бы никогда не позволила, — решительно говорит она, — моему *собственному* ребенку внушить мне чувство вины.

— Не так все просто, — качает головой Гарри. — В конце шестидесятых он у нас насмотрелся на такие спектакли! Честно сказать, мерзости было с избытком.

— В конце шестидесятых невесть чего насмотрелись все, тем эти годы и знамениты, — вскользь замечает Пру и вновь возвращается к полупрофессиональному медицинскому языку. — Если вы и впредь будете культивировать в себе чувство вины, что, конечно же, ему на руку, поскольку всегда удобнее винить во всем кого-то, значит, вы по-прежнему будете культивировать и его затянувшуюся инфантильность. Но когда тебе перевалило за тридцать, разве не пора самому быть в ответе за свою жизнь?

— М-да, вопрос, — говорит он, — я вот до сих пор не знаю, кто в ответе за мою. — И с этими словами он рывком вынимает себя из уютного, нагретого его собственным телом углубления в песке, но прежде все-таки успевает стрельнуть глазами назад, на туго натянутый эластик, обрамленный мягкими выпуклостями, до которых всегда с трудом добирается солнце, и потому веснушкам там не бывать. Девочка Джуди, накупавшись, подбегает к ним — с облепивших голову мокрых рыжих волос стекает вода, синий купальник липнет к телу, обрисовывая булавочные шишечки сосков.

— Ты говорил *минутку!*  — напоминает она ему, и вода стекает у нее по лицу и бусинками-слезками застревает в ресницах.

— Говорил, не спорю, — принимает он упрек. — Все на борт! — Он выпрямляется во весь рост, и флоридский вольный бриз проникает в каждую пору его кожи, подхватывает его, точно он — тот воздушный змей, что реет в отдалении над пляжем. Под высоким синим небом он и сам будто становится выше; кругом сплошь природные стихии — вода и песок и воздух и солнечный огонь отмерены здесь полной мерой, и все ж они не в силах заполнить этот беспредельный простор, — и оттого в нем пробуждается какая-то древняя, звериная отвага. Кожей, сердцем он впитывает в себя эти ощущения, пьет и не может напиться. — Быстро надевай спасательный жилет, — командует он внучке.

— Когда я в жилете, мне кажется, что я толстая, — упирается она. — Я и без него обойдусь. Я знаешь сколько могу проплыть? Честно! Я в лагере переплывала озеро туда и обратно. А если устанешь, нужно просто перевернуться на спину и полежать на воде. А соленая вода сама держит, вот!

— Не спорь, деточка, давай надевай, — говорит он уже серьезно, в душе страшно довольный тем, что она, его плоть от плоти, так по-свойски общается со стихией, всю жизнь наводившей на него безотчетный ужас.

Он и сам тоже надевает жилет и чувствует себя закованным в доспехи, нелепо женоподобным и, как точно подметила девочка, толстым. Его руки и ноги остались сравнительно худыми, весь жир пошел в лицо и брюхо, как ни странно; бреясь по утрам, он вынужден счищать пену с площади чуть не в акр, а когда ему случается ненароком ухватить свое отражение в одной из стеклянных витрин торгового центра в Делеоне, его оторопь берет от вида высоченного, бледного, будто капком набитого незнакомца.

— А ты поглядывай, как мы там, ладно? — говорит он Пру, которая даже встала с шезлонга, чтобы подчеркнуть торжественность минуты и проводить в поход бесстрашных мореплавателей. Она, как есть, полуголая, помогает доволочь лодку до беспокойно хлюпающей воды. Она придерживает бьющийся на ветру парус, который норовит развернуть гик, а Гарри тем временем разбирает концы — как-то теперь все сложнее, чем тогда, в тот достопамятный выход в море под парусом вместе с Синди Мэркетт и ее бикини, — и устанавливает руль. Он приподнимает Джуди и ставит ее на палубу. Карапуз Рой, смекнув, что сестру сейчас куда-то повезут, а его нет, протестующе орет во весь голос и бредет навстречу волне, которая тут же сшибает его с ног. Пру подхватывает его и крепко прижимает к бедру. Свет до того яркий, а воздух прозрачный, что все вокруг кажется аппликацией, и еще этот сиреневатый ореол, как в кино, когда снимают не на натуре, а в павильоне. Гарри забредает по пояс в воду, чтобы оттолкнуть лодку подальше от берега, потом подтягивается, затаскивает себя на борт, по ходу дела саданувшись лодыжкой об утку, и хватается за веревку, прикрепленную к алюминиевому гику. Как же Синди называла эту нейлоновую веревку? Шкот? Синди, Синди, эх, какая она была когда-то — конфетка! Он берется за руль и добирает парус. Лодка подминает под себя волну за волной, утренний береговой бриз гонит ее, в дремотной тишине, которая вдруг наступает, когда летишь в потоке ветра, внутри ветра, — все дальше и дальше от земной тверди, пляжа и Пру в ее целомудренном купальнике, с вопящим Роем на бедре.

Джуди стоит, как ей велено, у мачты с его стороны, наизготове, чтобы по его команде опустить шверт, толкнув его в узкую щель; Гарри сидит, неудобно скрючившись, на мокром плексигласе — ноги согнуты, одна рука, заведенная за спину, на румпеле, другая сжимает шкот. В голове у него разнонаправленные векторы начинают потихоньку складываться в общую картину направления движения: бодрый ветер надувает тугое полосатое полотнище паруса по всей его длине. Пучок упругих тугих лучей, заданный его руками, веером расходится вперед и вверх — разбегается за горизонт и к зениту. *Ножницы*, называла это Синди, и его охватывает ощущение, будто из той точки, где он сидит, как из сопла, раструбом вырывается невидимая мощь.

— Опустить шверт! — командует он. Вот и дослужился до капитана, а годков-то всего ничего, каких-нибудь пятьдесят пять. Саднит ободранная лодыжка, ягодицам в тонких мокрых плавках сильно не нравится, что их так вдавили в голый, как плешина, жесткий плексиглас. Он настолько тяжелее Джуди, что нос пустотелой лодки задрался кверху. Волны тут капризнее, и ветер рвет парус бесцеремоннее, а зеленая вода грязнее, чем в его оживших воспоминаниях о карибском приключении почти десятилетней давности.

Пусть, зато вон спутница его нынешняя как довольна, сияющее личико все в бусинках брызг. Худенькие ручки ее, покрытые гусиной кожей, торчат, как спичечки, из матово-черного жилета, она дрожит всем телом от захватывающей дух радости движения, от новизны, от того, что они во власти незнакомой стихии. Кролик оборачивается и смотрит на землю: Пру, освещенная солнцем сзади, маячит расщепленным силуэтом на фоне слепящего глаза пляжа. Еще минута и она затеряется среди прочих нераспознаваемых фигурок, которые смешаются, сольются в одну линию на песчаной полосе, — как строчка текста, поверх которой по ошибке набрали другой текст. Даже громада-отель низведен расстоянием до заурядной вертикальной формы, одной среди множества — насколько хватает глаз, этот отрезок флоридского берега сплошь застроен гостиницами и кондоминиумами. Эта сокрытая сейчас в его руках власть, позволяющая менять перспективу и пропорции, тяжким бременем ложится ему на грудь и живот. Сколько раз, проезжая с Дженис по береговому шоссе или наведываясь в банк в центре Делеона, видел он треугольнички парусов в море, но вот теперь он здесь, а не там, и понимает, что застигнут врасплох безмерностью открывшихся ему возможностей властвовать над перспективой — так же точно стоя внизу, спокойно смотришь как кто-то ходит по крыше или по лесам, но стоит самому оказаться на этой головокружительной высоте, и от ужаса, что нужно ступить на шаткие мостки, подгибаются колени.

— Джуди, теперь слушай, — говорит он, стараясь чтобы голос его звучал естественно, не деревенел от страха, но все-таки громко, потому что эта сверкающая ширь может выхолостить всякий смысл из его слов. — Мы не можем бесконечно идти вперед, так недолго и до Мексики доплыть. Сейчас я проделаю одну штуку — называется сменить галс. Значит, я скажу — сам знаю, что смешно звучит, — «Приготовиться к повороту оверштаг». Ты должна быстро пригнуть голову и не вылететь за борт, пока мы поворачиваем. Готова?

Он недостаточно решительно перекладывает руль, слишком много секунд у него на это уходит. Джуди по-гимнастически сгруппировалась в мячик и так сидит, хотя гик уже прошел у нее над головой. Они кое-как поворачивают под ветер, замедляясь почти до полной неподвижности — слышатся ленивые шлепки воды, и он печенкой чует, что их вот-вот начнет разворачивать назад. Но все ж инерция не вся растрачена впустую из-за его робости, и нос лодки медленно уходит за линию ветра и нетерпеливо полощущий парус с шелковистым посвистом вспучивается в сторону горизонта, наполняется упругим ветром, и с Джудиного личика сбегает тревога, и она смеется, ощутив, что лодка снова скользит вперед по быстрым волнам. Он выбирает шкот, парус встает по ветру, и они идут вдоль разноцветно-пятнистого берега. В тот момент, когда движение прекратилось, необъятный простор окрест них словно пригвоздил их невидимыми стрелами, выпущенными изо всех пустынных сверкающих уголков неба и моря, но вот движение возобновилось и, значит, они спасены, и пространство больше не угрожает, они сумели заставить его служить себе; залив, яхта, ветер и солнце, припекающее верхнюю кромку уха и мгновенно испаряющее бисеринки брызг с торчком торчащих волосков на пупырчатых, в гусиной коже руках, — все это вместе создает свой, совершенно особый микромир, так сказать, конкретно-ситуативное прибежище, в котором Гарри мало-помалу осваивается. Он начинает понимать, даже не поглядывая с прищуром наверх, на верхушку мачты, где трепыхается линялый вымпел, откуда дует ветер, и интуитивно угадывать, в каких плоскостях распределяется сила, направляемая его руками: так в свои прежние, баскетбольные дни, когда он, перехватив у соперника мяч или выиграв подбор, убегал в быстрый прорыв, в голове у него сама собой выстраивалась вся комбинация пасов и последний, завершающий бросок, после которого мяч, скользнув по щиту, ложится в корзину. Обретая уверенность, он снова поворачивает и направляет лодку к далекому зеленому острову с розовым домиком — вполне возможно, что это роскошный особняк, но с такого расстояния он кажется приземистой хибаркой, спокойно добирает парус и уже без трепета ждет, когда лодка, накренившись, ляжет на новый галс.

Как и полагается заботливому деду, он каждое свое действие объясняет Джуди — немножко теории, потом наглядная демонстрация, — и скоро они оба заражаются уверенностью, что эту игрушку, удерживающую их на плаву, можно заставить лавировать, ходить зигзагами, дразня ветер и воду и крадя у них толику их величия и великолепия.

— Я хочу порулить, — заявляет Джуди.

— Понимаешь, какое дело, милая, *рулить* тут не получится. Это не такой руль, как, скажем, на велосипеде — куда хочешь ехать, туда и поворачиваешь. Тут нужно все время помнить о ветре, подмечать, откуда он дует. Ну да ладно, о'кей, отползай ко мне задом на попке и берись за румпель. Веди лодку носом на тот островок, видишь? С розовым домиком. Так, хорошо. Отлично. Чуточку отклоняешься. Потяни немного на себя, чтобы взять левее. Это называется лево на борт. Влево — лево на борт, вправо — право на борт. Так, теперь я маленько потравлю парус, и как только я скажу: «Поворачивай!» — толкай румпель на меня что есть силы и так держи. Не пугайся, если лодка тебя не слушается — просто до нее не сразу доходит, дай ей секунду на раздумье. Готова? Точно готова, Джуди? Поворачивай! Поворот оверштаг.

Он помогает ей дотянуть румпель, ее маленькой ручки не хватает, чтобы довести дугу до конца. Парус обмякает и беспомощно хлюпает. Гик нервически мотается туда-сюда. Алюминиевая мачта жалобно скрипит в своем плексигласовом степсе. Далеко-далеко, на самом горизонте примостилась неопределенно-серая лепешка танкера, как десятицентовик на высокой стойке бара. Гнутокрылая крачка неподвижно висит в воздушном потоке против ветра и, склонив голову набок, разглядывает их, будто спрашивая, что это они тут делают вдали от родной стихии. Но вот парус начинает работать, и Гарри выбирает шкот; его рука лежит поверх Джудиной ручки и вместе они перекладывают румпель на нужный галс. Оттого что оба они сейчас на корме, нос задрался, и лодка легкими скачками перекатывается через волны. Мерное пошлепывание волн о корпус создает в ушах странный эффект глухоты. Еще немного позабавившись с румпелем и окончательно убедившись, что ничего интересного из этой игры уже не выжмешь, девочка начинает скучать. Она по-детски сладко зевает, и рот ее словно цветок: восхитительные зубки (теперь ведь во всякой зубной пасте есть специальные химические добавки, и нынешним деткам не понять, каким адом были для него зубоврачебные кресла) и плюшевый, дугой выгнутый язычок. Когда-нибудь какой-нибудь мужчина воспользуется этим язычком.

— Здесь как-то теряешь счет времени, — говорит ей Гарри, — но, судя по солнцу, сейчас уже, наверно, почти полдень. Пора нам двигать назад. Надо еще положить время на обратный путь — идти придется против ветра. Не будем понапрасну волновать твою маму.

— Дяденька сказал, он вышлет за нами катер.

Гарри смеется, чтобы ослабить бремя щемящей нежности, которую пробуждает в нем это совершенное дитя, все из меди и света, из ничем пока не тронутой чистоты.

— Ну, речь шла только об экстренных случаях — если с нами случится какая-то серьезная неприятность. Единственная наша неприятность — это что у нас с тобой носы обгорели. Мы же в состоянии вернуться самостоятельно. Это называется «идти в бейдевинде». Главное держаться по возможности круче к ветру. Так, внимание, сейчас я доберу парус и постараюсь взять курс на отель. Вон тот, видишь? Нет, не тот, не крайний справа, а рядом, в виде пирамидки.

Склеенные в общую массу тела отдыхающих на пляже обесцветились, будто и не было разноцветного мелькания ярких купальников — миля за милей тянется вдоль залива длинная сероватая подергивающаяся нить. Вода здесь имеет вид довольно гнусный — совсем не то, что чудится с берега, — какая-то размытая зелень, а под ней другая, глубинная, цвета желчи.

— Дедушка, тебе что ли холодно?

— Есть немного, — признается он, — я бы, может, и не заметил, если б ты не спросила. А ведь и правда свежо тут, в открытом море?

— Еще как!

— Что, и жилет не греет?

— Да ну его! Какой-то он липкий, противный. Я его лучше сниму, а?

— Нет.

Неумолимо скользит время, лениво плещут о борт волны, любопытная крачка продолжает свое наблюдение, но линия берега не придвигается к ним, и клочок пляжа, где их дожидаются Рой и Пру, все еще где-то далеко-далеко.

— Давай-ка поворачивать, — говорит он, но на сей раз — то ли на него действует настроение заскучавшего ребенка, то ли его собственное желание поскорей причалить к берегу и завершить эту морскую эпопею, — он слишком круто уходит в поворот. Неожиданно налетает шальной шквал ветра со стороны низких пиратских островов, хотя вообще ветер дует прямо с берега, и «Солнцелов», вместо того, чтобы с нормальным креном лечь на новый курс, под острым углом к прежнему, продолжает уваливаться под ветер, кренится все сильнее и сильнее, пока совсем не теряет опору — и в воде и в воздушной синеве. И мачта, едва она проходит какую-то условную точку под солнцем, неудержимо, будто пригибаемая невидимой рукой злодея-великана, опрокидывается в залив. Кролик только успевает понять, что его грузное тело вместе с Джудиным гибким и легким вылетает за борт, вперед ногами в бездонную водную пропасть, в кулаке он судорожно сжимает шкот, а лодыжка снова обдирается о плексигласовый край. Убийственно холодная, дремучая стихия толкает его с головой в непродыхаемую, черную зелень, как кляпом забивающую ему рот и глаза, а потом вокруг все бледнеет и его отпускают назад, к воздуху, солнцу и недоброй тишине прерванного движения.

Его мозг пытается совладать с тем, что случилось. Он вспоминает, как Синди в аналогичной ситуации влезла ногами на шверт, и лодка вернулась в нормальное положение, а выпростанная из воды мачта взметнула в небо фонтан брызг. Следовательно, трагедии, в сущности, никакой. И все-таки что-то не так, не зря же этот страх, это замирание в сердце. Джуди! Где Джуди?

— Джуди! — зовет он, и его голос звучит как чужой здесь, вдали от земли, между далекими горизонтами, где под ним все зыбко и тягуче, и волны бьют ему в лицо, и корпус «Солнцелова» лежит на боку, высоко торча из воды и отбрасывая узкую тень, и полосатый парус, точно разноцветная пена, плашмя полощется у самой поверхности. — *Джуди!*  — На этот раз его голос — словно глас бездонного воздушного купола, глас звенящих высот ужаса; он так кричит, что хватает ртом воду, захлебывается — погруженное в воду тело не дает ему опоры для крика; вместо воздуха в горло вливается горький жидкий свинец, и бешеные сокращения сердечного насоса накладываются на ухабы и пригорки колышущегося моря. Он кашляет и кашляет, до слез. Девочки нет. Кругом лишь буро-зеленые волны, пинающая тебя вода — нефритовая, где сквозь нее проникает солнце, поверх темной желчи. Да еще косые перистые облака на западе, предвещающие перемену погоды. И рядом — пустой корпус безмолвного «Солнцелова», выпирающий из воды. Его мочевой пузырь переполнен, ему нестерпимо хочется облегчиться, но он тут же забывает об этом, а может, и облегчается.

С другой стороны. Наверно, она с другой стороны. Он и лодка сосуществуют на каких-то нескольких квадратных ярдах, и все же ему кажется, что ему нужно преодолеть гигантское расстояние. Надо поднырнуть под лодку, скорей, каждая секунда грозит погубить в пучине все, все. Спасательный жилет помогает ему держаться на плаву, но и мешает. Подводные течения не хотят пускать его вперед. Вообще он никогда не был прирожденным пловцом. Воздух, свет, вода, тишина — все сталкивается у него в голове с оглушительным грохотом, и он воочию видит, что в мире нет жалости. Даже в этот миг беспощадного озарения в нем остается место для данного ему вместе с жизнью животного страха перед необходимостью нырнуть под воду и для трусливой надежды, что, может, если помедлить секунду-другую, все как-нибудь образуется само собой, и смеющееся детское личико с искристыми капельками соленой воды на ресницах возьмет и покажется в волнах рядом с ним. Но полуденное солнце велит: сейчас или никогда, и что-то святое, неизбывное в нем отчаянно вопит о том, что все можно исправить, вернуть, надо только очень захотеть, и он разевает рот и делает прерывистый, панический вдох, шумно всасывая воздух сквозь сито боли в груди, и пытается ввинтиться в упругую, сопротивляющуюся муть, где он лишен возможности видеть и дышать. Его выталкивает наверх, и он упирается головой во что-то твердое, а руки его, как в замедленной съемке, двигаются во все стороны в попытке нашарить застрявшее тело, но не нащупывают даже выступа, за который тут можно было бы зацепиться. Он пробует подняться на поверхность. Сначала он натыкается спиной на плексиглас — словно приложился к акульей коже, — потом, вынырнув наружу, напарывается лицом на повернувшийся книзу, роняющий капли воды румпель.

— Джуди! — Сейчас, когда он зовет ее в третий раз, он еще не успел перевести дух, и в глотке что-то клокочет и булькает; он поднимает голову прямо навстречу солнцу, и от стекающей со лба воды в глазах стоят радужные круги. В эти несколько секунд лодку слегка разворачивает, и ее положение относительно солнца и контур на воде тоже немного меняются.

Парус! Ее, наверно, накрыло парусом. В воде он кажется таким большим — длинное нейлоновое полотнище с диагональными швами, с пристроченными цифрами номера и силуэтом рыбки-«солнцелова». Он должен, должен. Внутри у него все горит от разъедающей острой вины, что скопилась со дня творенья; он снова заставляет себя погрузиться в подобие грязно-зеленого клейстера, где драгоценной россыпью сверкают пузырьки выдыхаемого им воздуха. Отбиваясь от липнущего к спине полотнища, он пытается пробуравить в воде лаз, туннель, и двинуться по нему вперед. Там, в этом туннеле, он натыкается на змею, на безвольную увертливую руку, которая, вздрогнув от его прикосновения, в ужасе начинает душить, топить его. Она хватает его за ухо, голова его дергается кверху и утыкается в парус — сквозь тонкий экран в глаза ему бьет яркий свет, и он улавливает специфический запах мокрого нейлона; единственное, чего по-прежнему нет, это глотка воздуха. Тело его судорожно рвется вон из этой могилы, зажмурив глаза, он отчаянно барахтается и наконец край паруса сползает с его лица — и это значит он вытянул Джуди на свет божий!

Ее медно-рыжие мокрые волосы лоснятся в дюйме от его глаз; ее лица он толком не видит — какие-то сплошные размывы и сгустки, но она жива, и даже очень! По инерции она еще продолжает биться, пытаясь вскарабкаться по нему вверх, обхватывая его голову обеими руками. Тело ее под скользкой пленкой купальника на удивление горячо. Темная вода шлепками залепляет ему глаза и рот, будто об его лицо разбивается, разлетаясь на куски, какой-то гнусный паук, что без конца встревает между ним и солнцем. Выпростав свою длинную белую руку, он дотягивается до алюминиевой мачты, хватается за нее; от этой дополнительной тяжести она круче уходит в воду, но все-таки парус и полый корпус лодки не дают ей потонуть окончательно. Гарри делает вдох-выдох и двумя резкими рывками подтягивает их обоих повыше, туда, где мачта нависает над водой. Безмерная радость, что Джуди жива, переполняет его сердце — и стискивает его ритмично, до боли, как рука, сжимающая мячик, когда упражняешься, чтобы укрепить кисть. Пространство внутри его спрессовалось до предела — каждый вдох, словно тонкий клинышек, который ему, бессильно повисшему на мачте, приходится пропихивать в себя, пробивая плотный, болезненно сопротивляющийся затор. Джуди все еще цепляется за его шею и кашляет, выкашливает воду и страх. Бойкое дрыганье ее маленького тела отдается сверлящей болью в его перетруженной груди, где все время мучительно бьется что-то живое. Здесь, посреди бескрайнего моря, его грудь сама словно колба с морской водой, в которую запустили обезумевшего от страха моллюска.

С момента их падения в воду прошла, наверно, минута. Еще через минуту дыхание у нее настолько выравнивается, что она даже пробует улыбнуться. Белки глаз у нее красны от слез, вызванных натужным кашлем. Ее маленькое вытянутое личико все искрится, будто присыпанное блестками; потом лодку начинает медленно разворачивать и головы их попадают в узкую полосу холодной тени от корпуса. Бледная, полузадохшаяся, перепуганная до смерти, она сейчас больше напоминает ему Нельсона, чем Пру: та же тонкая кость, та же мертвенная бледность, синяки под глазами, как после бессонной ночи.

Хотя где-то под водой его цепко держит боль, говорить он все-таки может.

— Эй, — приветствует он ее. — Уф! Что... что случилось?

— Сама не знаю, дедушка, — вежливенько отвечает Джуди. Этих нескольких слов оказывается достаточно, чтобы подкатил очередной приступ кашля. — Я всплыла, а там над головой эта штука, и я хотела отплыть, а мне никак, застряла и не выбраться.

Он понимает, что у ее страха есть свои пределы; даже сейчас, посреди волн, ей мнится, будто все сводится только к временным неприятным ощущениям. В ней еще сидит присущая детям вера в бессмертие, и он, Гарри, должен эту веру всячески оберегать и поддерживать.

— Ладно, главное — все обошлось. Мы с тобой целы и невредимы. — Вдобавок к боли, которая все не отступает и ползет вверх по руке, вцепившейся в мачту, он не может как следует вдохнуть, словно какая-то преграда не пускает воздух дальше определенной черты, а ниже поднимает голову тошнотворная муть, что-то наподобие морской болезни, и все это обложено ужасной слабостью: хочется только одного — немедленно лечь и отдохнуть. — Ветер нас подвел, — объясняет он Джуди, — взял и переменился. Да и лодки эти хороши, чуть что сразу кувыркаются.

Мало-помалу до нее начинает доходить вся неестественность их положения, ведь до берега сотни ярдов, а до дна сотни футов. Ее глаза в обрамлении игольчатых ресничек расширяются и аккуратно очерченные тонкие губы начинают кривиться и расплываться. В голосе появляется предательская дрожь.

— Как же нам перевернуть ее обратно?

— Очень просто, — уверяет он ее. — Сейчас покажу тебе один фокус. — Кабы знать, что память его не подводит. Синди в свое время справилась с ситуацией молниеносно, поднырнув под лодку в кристальных карибских водах. Ага, конец, она, наверно, тянула за конец. — Будь тут рядом, только не цепляйся больше за меня, детка, ладно? Жилет будет тебя держать.

— В прошлый-то раз не удержал!

— Жилет не виноват. Просто тебя накрыло парусом.

Здесь на просторах залива голоса их звучат как бы с уменьшенной громкостью и не зависают в воздухе — совсем иначе чем когда говоришь в комнате. Все его дыхание уходит на то, чтобы удерживать в воде вертикальное положение. Главное не отключиться. Нельзя дать яркому солнечному дню сомкнуть раскрытые у него над головой ставни. И еще он думает, что если ему суждено выбраться живым, он ляжет на твердую, сухую, травой поросшую землю: зеленые стебли, между ними плешинки светлой, истоптанной земли, как на старой спортивной площадке в Маунт-Джадже — он видит это сейчас как наяву, — ляжет и будет лежать не двигаясь целую вечность. Тихо-тихо он соскальзывает с мачты и осторожно, стараясь не тревожить того, кто не хочет успокоиться у него в груди, перемещается к двум бесхозным колышущимся на воде концам и с усилием, от которого, по закону противодействия, голова его уходит под воду, перебрасывает их на другую сторону лодки. Волнение на море довольно ощутимое, и Джуди снова вцепляется ему в плечо, хоть он и просил ее не виснуть на нем. Он терпеливо разъясняет ей дальнейшие действия:

— Так. Теперь мы с тобой тихо-тихо по-собачьи тоже переплывем на ту сторону.

— А может, этот дяденька, которому мама понравилась, приедет за нами на катере?

— Может. Но мы же с тобой не хотим позориться перед Роем — он же увидит, как нас спасают.

Но встревоженной Джуди не до смеха и даже не до того, чтобы как-нибудь откликнуться. Они кое-как огибают корму, плывут мимо румпеля — гнусной деревяшки, которая саданула ему по лицу. Крачка покинула небо, но клочья водорослей, разметанные по поверхности, точно бумажное мочало или космы клоунского парика, говорят, по всей видимости, о том, что они тут не единственные живые существа. Опрокинутый на бок, беспомощно качающийся на воде белый корпус в осклизлых подтеках тины кажется ему трупом, в который он не в силах вдохнуть новую жизнь.

— Отплыви чуть назад, чтоб тебя не задело, — говорит он липнущей к нему девочке. — А то не знаю, как еще получится.

Пока он в воде, он по крайней мере не чувствует своего веса; но стоит ему, ухватившись за ванты и захватив пропущенный через верхушку мачты грота-фал, попытаться водрузить себя на шверт — сперва в ход идут только руки, потом ноги, — и у него возникает ощущение, будто он раздавлен грузом собственных дряблых мускулов, жира, брюха. Боль в груди собирается в такой нестерпимо красный, изнутри полыхающий пожар, что он крепко зажмуривается, как от вспышки света, и тут он вслепую, с судорожным вздохом облегчения ощущает, как парус поднимается из воды, а шверт под ним в нее уходит, погружается, стремясь к вертикали. Его отбрасывает назад, и лодка возвращается в нормальное положение, мокрый парус мотает гиком из стороны в сторону, насколько позволяет зажатый в его руке рассекающий воздух, словно хлыст, линь. У него начисто перехватило дыхание, и ему сейчас смертельно хочется наконец отдать себя воде, которая не любит его и тем не менее жаждет заполучить.

Но рядом девочка, она ликует.

— Ура! Деда, ты как, все хорошо?

— Лучше не бывает. Попробуешь влезть первой, солнышко? Я придержу лодку.

После нескольких неудачных попыток подтянуться Джуди наконец шлепается животом на край палубы и, сверкнув двумя полукружьями сине-черного задка, переваливается дальше к мачте, где садится, обхватив руками колени.

— Внимание! — объявляет он. — К вам спешит рыба-кит! — И усилием воли заставив себя не прислушиваться к послойно пульсирующим стискиваниям внутри грудной клетки, он вытаскивает себя из воды ровно настолько, чтобы зацепиться животом за накренившийся край корпуса. Он хватается рукой за утку. Скулой он чувствует искусственную пупырчатость плексигласа, вжимающегося ему в щеку. Ненасытная вода все причмокивает, обсасывает его икры и ступни, но он отпихивает ее и, шатаясь, вновь занимает место у румпеля. — Уф, полдела сделано, красавица, — говорит он Джуди.

— Дедушка, у тебя все нормально? Как-то странно ты говоришь.

— Дышать трудно. Почему-то. Может, стошнит. Обожди минутку, дай дух переведу. И надо подумать. Мы же не хотим снова опрокинуть эту гадину. — Боль теперь уже опустилась в обе руки и поднялась до челюсти. Однажды давно Кролик сказал кому-то — священнику одному настырному: *есть в мире нечто такое, что именно мне предстоит отыскать*. Но чем бы ни было это «нечто», похоже, *оно* само отыскало его и как следует за него взялось.

— У тебя что-то болит?

— Спрашиваешь! Ухо — ты мне его чуть не оторвала. Еще нога — сам поцарапался. — Он хочет заставить ее улыбнуться, но пристальный взгляд двух глаз-звездочек неуступчиво серьезен. Чудные они, думает Кролик, чьи мысли гротескно озарены мучительной борьбой с болью, эти дети: вроде все как у нас, и торс, и ноги, и уши, только в другом, уменьшенном масштабе — эдакий крохотулечный народец, придуманный, чтоб населить другую планету, получше, но и поменьше нашей. Джуди смотрит на него, пытаясь понять, насколько серьезно ей следует принимать его, — вот так же она глядела на него вчера, когда он лопал мнимые орешки. — Сиди где сидишь и не двигайся, — командует он. — Не крени лодку. Как говорится.

Румпель в его руках кажется непомерно большим, нейлоновая веревка нереально шершавой и толстой. Он должен справиться. Отданная на волю ветра, лодка дрейфует. Как это Синди говорила? Встать в левентик. Вот он и стоит в этом самом левентике. Он перекладывает румпель — резко в одну сторону и потом мягко, плавно в другую, чтобы встать под углом к ветру, — и боязливо набивает парус, опасаясь, что каждую минуту опрокинувшая их рука великана снова может продемонстрировать свою силу. Как ни странно, в заливе, оказывается, есть, кроме них, и другие яхты и еще двое парней на водных мотоциклах — эти скачут как ошалелые по волнам на таком расстоянии, что их ухарское гиканье и удары плоского днища о воду, хоть и с отставанием, достигают его ушей. Солнце миновало полуденную отметку и жарит прямо в лицо устремленным ввысь береговым гостиницам. Окна блестят, гребенка балконов четко очерчена на фоне неба, толпа на пляже переливается всеми цветами радуги, к первому воздушному змею присоединился еще один. Водное полотно между ними и берегом изрыто яркими рытвинками, из которых снопами рассыпаются искры. Всей поверхностью своей обсыхающей кожи Кролик чувствует мерзкий озноб. Он чувствует, что весь забит какой-то серой дрянью, которая готова излиться ядом прямо через поры. Он вытягивает ноги и более или менее ложится, подпирая себя одним локтем — не слишком удобно, но все же. Провалиться бы сейчас в сон — отличная мысль, если бы он не был там, где он есть, и не отвечал бы за девочку, которую нужно в целости и невредимости доставить к родителям. Торопливо и очень отчетливо, чтобы не повторять, он говорит, выбирая паузы между накатами боли:

— Джуди! Задача у нас следующая: как можно спокойнее повернуть раз и два и пристать к берегу. Если это будет не совсем тот пляж, где тебя ждет мама, не беда, нам надо быстрей сойти на землю. Я очень устал, мне как-то не по себе, и если я вдруг усну, ты меня разбуди.

— Уснешь?

— Да ты не бойся. Это такое приключение-развлечение. А для тебя есть интересное задание.

— Какое задание? — Ее голосок звучит тревожно; теперь она уже не сомневается, что это совсем не похоже на историю с птичьим кормом.

— Спой мне. — Когда он, добирая парус, натягивает шкот, у него возникает полное ощущение, будто он натягивает что-то у себя внутри — боль по внутренней стороне напряженной руки отстреливает к локтю.

— Спеть? Да я и песен-то никаких не знаю, дедушка.

— Все знают какие-нибудь песни. Может, «Лодку, лодку, лодочку» для начала?

Время от времени он закрывает глаза, повинуясь животному инстинкту уползать со своей болью в нору, а ее тонкий голосок, накладываясь на шлепки волн о борт и протестующее поскрипывание мачты, выводит слова припева, которые он сам пел когда-то, во втором классе, в эпоху коротких вельветовых штанишек, косичек Маргарет Шелкопф и высоких ботинок на кнопках. Он подпевает, только мысленно — чтобы включить голосовой аппарат, нужно сделать усилие, а на это он уже не способен: *...плывет по речке вниз, и на душе так весело...*— «Ах, так бы плыть всю жизнь», — заканчивает Джуди.

— Умница, — хвалит он. — Ну, давай теперь «У Мэри был барашек». Учат еще этому в школе? *Чему*, черт возьми, вообще учат теперь в ваших школах? — Сейчас, когда он повержен и беспомощен, у него сам собой развязывается язык, давая выход исконной, глубоко сидящей потребности сквернословить и застарелому недовольству правительством и политикой. Он нарочно себя распаляет, полагая, что так ему удастся немного успокоить перепуганную внучку — вот, дескать, какой дед бодрый, даже шутит! — Я же знаю, что с точными науками мы сидим в заднице, газетки нас информируют, спасибо им. Слава Богу, желтых понаехало до черта. Без всяких там китайцев да вьетнамцев американцы уже превратились бы в нацию кретинов.

Выясняется, что Джуди все-таки знает про Мэри и барашка и про трех глупых мышек тоже и еще стишок про фермера из долины до того места, где «фермера жена корову завела», а дальше ни он, ни она не помнят.

— Ну-ка, еще раз про мышек, давай вместе, — приказывает он. — «Три мышки глупые бегут за фермершей стремглав...»

Она молчит, куксится, и он тоже умолкает. Галс, которым они идут, далековато смещает их к северу — в направлении Сарасоты, Тампы и пиратских, а ныне миллионерских островов, но людишки на пляже уже не сливаются в серую ниточку, пестрые купальники мелькают чуточку ближе, и он даже может разглядеть, как резко, словно от нестерпимой боли, подскакивает в воздух волейбольный мяч. Грудь ему все сильнее сдавливает посередине, а к тошноте — мало ему! — прибавилась еще настойчивая потребность освободить кишечник. Пытаясь вызвать перед глазами картину своей реальной жизни с ее нехитрыми удобствами и скромными устремлениями — все то, что он оставил, когда нога его ступила с песка на борт лодки, — он сейчас с вожделением видит лишь одно: розовый фарфоровый унитаз у них в кондо с гармоничным по цвету мягким стульчаком и стопочку номеров «К сведению потребителей» и «Таймс», предусмотрительно сложенных на нижней полке белого бамбукового столика, на котором сверху Дженис держит свою косметику и который стоит впритык к бледно-розовой раковине. Вот где, оказывается, был рай земной!

— Деда, я не могу больше никаких песен вспомнить! — Зеленые, зеленее, чем у Пру, глаза девочки влажнеют от страха и растерянности.

— Так не пойдёт, — ворчит он, с трудом удерживая внутри то, что просится наружу. — Твои песни толкают лодку.

— Ничего они не толкают. — Она вымучивает из себя бледное подобие улыбки. — Это ветер ее толкает.

— Только не туда, куда надо, подлюга, — добавляет он.

— Не туда? — спрашивает она испуганно.

— Да туда, туда, это я шучу. — Шутка вроде вчерашней, когда он по-садистски стиснул ей руку. Надо кончать с такими замашками. Что значит отвечать за подрастающее поколение — всегда стараешься быть на высоте. — У нас все идет как надо, — заверяет он ее. — Сейчас сменим галс. Готова? Пригни-ка голову, малышка. — И хватит уже корчить из себя морского волка, пора переходить на человеческий язык. Он резко поворачивает румпель, лодка качается, парус полощет, солнце сверкает, яростно выбивая из воды искры. Но вот нос медленно пересекает некую условную линию, и тогда парус, сначала словно бы нехотя, а потом решительно, наполняется, и они начинают двигаться в другом направлении, к югу, в сторону самого удаленного из виднеющихся отелей, в сторону Нейплса и очередной группы принадлежащих толстосумам островов. Ничтожное усилие плюс невольное волнение, связанное с маневром, отдаются в груди такой отчаянной болью, что теперь уже у него самого на глаза наворачиваются слезы. И все же в глубине души он доволен. Есть какое-то удовлетворение в том, что его небесный противник наконец сам до него добрался. Сгущавшееся над ним все последние дни тягостное ощущение близости неотвратимой судьбы как бы сконденсировалось в нечто реальное — так влага дождевых туч, конденсируясь, проливается долгожданным ливнем. Есть в этом какое-то светлое облегчение, какая-то просветленная легкость, несмотря на всю унизительную беспомощность: от мира, в котором живешь, разом отсекаются здоровенные ломти, которые вдруг оказываются совершенно ничего не значащими. А сам ты превращаешься просто-напросто в багажное место из плоти и крови, и все твое дело — спокойно дожидаться, когда тебя доставят по назначению и передадут в чьи-то руки. Лежа ничком на плексигласовой палубе, он словно пришпилен к днищу мироздания. Ощущение жуткой давящей тяжести и невыносимой переполненности внутри него теперь еще обрело и свой ритм, непостижимый, бешеный напор — будто в нем шурует маховик, соскочивший с поршня. С болью еще как-то можно совладать, можно, пусть ненадолго, приподнять над ней голову; гораздо больше его беспокоит дыхание — ему кажется, что доступ воздуха почти прекратился, и осталась одна крохотная щелочка, которую моментально закупорит любой случайный комочек слизи; но еще хуже (дыхание, если о нем не думать, вроде бы выравнивается) — то, что в этот проклятый заговор включился его кишечник, и он весь забит какой-то пакостью и его так крутит-вертит, что вот-вот вывернет наизнанку и одновременно пронесет, но надо держаться и оттого весь он покрывается липким потом, который на ветерке да на солнышке ускоренно обсыхает, и его колотит озноб.

«Хорошо купаться в ванне, — поет Джуди слабеньким голоском, мелодия, точно перышки, летит по ветру, — плюх, плюх, субботним вечерком...» — От детских стишков она незаметно перешла к телерекламе — из каждой по несколько первых строчек, которые застряли в памяти: «Весело и вкусно — «Макдоналдс»...», «Ах, зачем я не сосиска «Оскар Майер»! Вот бы мне сосисочкою быть. Если стану я сосиской «Оскар Майер», вы не сможете меня не полюбить!» Потом песенка, которую исполняет рулон туалетной бумаги, за ней «Будь со мной» в интерпретации калифорнийского изюмчика сладкого и еще одна на мотив «Мэкки-нож» в исполнении Рэя Чарльза — под нее крутят клип с человеком-месяцем в черных очках и заверением под конец, что «Тойота» исполнит любое ваше желание: «Той-о-та...» Полное впечатление, что кто-то без конца переключает телевизор с одного канала на другой; ее голосок, подхваченный ветром, летит назад, прямо ему в лицо, глаза его то закрываются — и тогда сознание ныряет украдкой в черноту грызущего, галопом скачущего, сдвинутого на одну сторону разлада у него в груди, то снова открываются — убедиться, что курс верный и парус стоит на ветру, и синее небо на месте, и его безумная вера, будто Джудин голос гонит лодку к берегу, по-прежнему при нем.

«Кока-кола, — поет Джуди, — вкусней напитка не сыскать, кока-кола — поможет снова сильным стать, кока-кола — попробуй сам и будешь знать!»

Ему приходится еще дважды менять галс, и к этому времени его внучка обнаружила в себе целый кладезь песенок из кино— и мультфильмов, которые она по многу раз смотрела на видео, — детская классика, все, что сам Кролик видел, когда эти фильмы только-только выходили на экран и их показывали в старомодных кинотеатрах с роскошными интерьерами в восточном стиле, с плюшевым раздвижным занавесом и огромными зеркалами в фойе, — тут и песни, которые герои поют, отправляясь в дальний путь: «Идем, идем, нас ждет волшебник, волшебник страны Оз» и «Хей-хо, хей-хо, пора, пора в поход!»[[71]](#footnote-71), и грустные песни о чем-то там в небе, чтобы люди немного отвлекались мыслью от депрессии: «Где-то выше радуги...» и «Если вдруг захочешь к звездам» — крохотный говорящий сверчок из «Пиноккио» в цилиндре и с зонтиком на залитом лунным светом оконном карнизе. *Дисней он такой — бил по чувствам наповал.*— Молодец, Джуди, — бормочет Кролик. — Ты отлично справилась.

— Мне понравилось твое задание — интересно.

Гарри выпускает из рук румпель и грота-шкот. Лодка качается на разбивающихся в пену волнах мелководья, и Джуди втаскивает наверх шверт, спрыгивает в воду, доходящую ей до пупка, и подтягивает лодку, точно баржу, пока нос не начинает скрести песок.

— Мы перевернулись, и дедушке стало плохо! — кричит она.

Не только Пру с Роем, но и Грег Сильверс уже поджидают их здесь, на расстоянии доброго удара шестеркой айроном от того места на берегу, где они расположились. Загорелое сверх всякой меры лицо Грега все передергивается, когда он видит фигуру Гарри, неподвижно распростертую возле бесполезного румпеля и, наверно, еще что-то, чего сам Гарри видеть не может, — какого цвета у него лицо, например. Как бы узнать, насколько плохи его дела? Он смотрит на свои ладони: они все в желто-синих пятнышках. Грег берет у Джуди фалинь и спрашивает Гарри:

— Может, вам лучше пока не двигаться?

Гарри пережидает очередной пинок боли и говорит:

— Нет уж, подохну, а не останусь на этой гадской посудине.

Но от усилий, которые требуются, чтобы подняться, слезть с накренившейся лодки и добрести, увязая в воде, несколько футов до берега, с его нутром, где все соскальзывает с места и куда-то проваливается, происходит что-то совсем неладное. Ему кажется, он увязает не только в воде, но и в самом воздухе, когда, ступая уже по утрамбованному песку, все равно приходится преодолевать сильнейшее сопротивление. Он ложится на песок у ног Пру — возле ее длинных босых ступней с облупившимся на ногтях ярким лаком, с покрасневшими суставами пальцев, совсем как на руках у его матери от бесконечного мытья посуды. Он лежит и смотрит вверх на белый эластиковый треугольник ее купальника. Крошка Рой, решив, что простертая фигура Гарри означает приглашение к игре, шлепает прямиком к нему и, встав сзади у него над головой, посыпает дедушку песочком — песок попадает Кролику в уши, в складку сцепленных губ, в открытые глаза; глаза плотно зажмуриваются.

Небо — равномерно залитая красным пустота, откуда до него доносится рассудительный огайский голос Пру, на сей раз отмеченный интонацией беспокойства:

— Мы видели, что вы перевернулись, но Грег говорит, это, в общем, обычное дело. Потом вас все не было и не было, и Грег уже чуть было не вышел на катере.

Краснота пульсирует, вспыхивает болью через ровные, как между ребрами, промежутки — полоса боли, потом благодатная пауза, и снова полоса. Где-то высоко-высоко, медленно, пролетает самолет, волоча за собой след шума.

— Джуди накрыло парусом, — слышит он собственный голос. — Я испугался.

Он лежит на песке, как выброшенная волной медуза, вспученная, дрожащая от страха и желания скорей вернуться в родную стихию. Что-то теплое, с пальцами, притрагивается к его запястью, нащупывает пульс. Оказание первой помощи, по-видимому, входит в обязанности Грега. Чтобы помочь ему прояснить диагноз, Гарри выдавливает из себя:

— Простите — возни вам теперь со мной. Понимаете, мне смертельно хотелось лечь.

— Лежите здесь и не двигайтесь, мистер Энгстром, — говорит Грег неожиданно громко, отрывисто и как-то чересчур начальственно, в точности как его папаша, когда подсчитывает очки в конце партии в гольф. — Сейчас мы все организуем. Вас доставят в больницу.

В его незрячем багряно-красном мире эти слова звучат такой благой вестью, что он даже открывает глаза. Он видит огромную, нависающую над ним Джуди с солнечным нимбом вокруг головы, в ее подсыхающие путаные волосы вплетены обрывки радуг. Кролик силится изобразить ободряющую улыбку и говорит ей:

— Птичьего корма твой дед переел, не иначе.

В одиннадцать Нельсон еще спал, но Дженис совсем не спешила поскорей объясниться с сыном. Проводив Гарри, Пру и детей, которые еще дважды возвращались то за одним, то за другим и в результате все равно забыли ласты и защитный лосьон от солнца, она устроилась на балконе и обнаружила, что там есть одно место — если сместиться на шаг влево от заслоняющей вид норфолкской сосны, — откуда в просвет между стилизованной башенкой какого-то кондо и кровлей из испанской черепицы виден маленький искрящийся лоскуток сине-зеленой воды, кусочек залива. Но разумеется, парус их ей отсюда нечего и думать разглядеть; чтобы увидеть яхту с такого расстояния, она должна быть размером с ту, что стартовала из Сан-Диего нынешним сентябрем, когда американцы на катамаране обставили новозеландцев на огромном красавце-паруснике, обреченном, увы, потерпеть поражение. Глядя с балкона, она всякий раз немного пригорюнивается, в душе поднимается что-то глубоко-глубоко там погребенное: ей вспоминается тот вид, который открывался из окон в квартире на Уилбер-стрит, вид на весь город, на убегающие под гору улочки Маунт-Джаджа, по-деловому оживленные, но и какие-то невинные. В те давние дни Гарри вот так же уходил, а она оставалась одна с Нельсоном.

Когда же Нельсон в своей шикарной дымчато-голубой пижаме наконец появляется из спальни, он неприятно удивлен и раздосадован ее присутствием, хотя всячески пытается это скрыть.

— Я думал, ты тоже с ними пошла. Такой гвалт подняли, пока убрались отсюда, мертвый проснулся бы!

— Я отказалась, — говорит она сыну. — Солнца мне и тут хватает, и потом хотелось побыть с тобой, а то ведь умчишься назад, а я тебя считай и не видела.

— Что ж, очень мило. — И он возвращается в свою комнату и минуту спустя выходит уже в халате — не иначе, отмечает она про себя, матери родной стесняется. Вот так, меняешь им пеленки без счета, купаешь их в ванночке голышом, а потом на тебе — уже и чужая. Халат у него легкий, летний, фиолетовый с орнаментом из «огурцов» — похожие халаты она девочкой видела в кино, там их только богачи носили. Халаты, смокинги, цилиндры и фраки, пышные белые платья, как у Джинджер Роджерс[[72]](#footnote-72), подбородок утопает в страусовых перьях — или в песцах? — теперь уже не вспомнить. У нынешней молодежи нет перед глазами подобных образцов, им незачем из кожи вон лезть, чтобы походить на своих кумиров: рок-звезды вылезают на сцену в грязных джинсах, и даже бейсболисты, как она заметила, поглядывая в телевизор из-за плеча Гарри, не дают себе труда хотя бы побриться — все заросшие, как арабские террористы. Когда она росла, денег ни у кого не было, зато у каждого была мечта.

Она предлагает Нельсону приготовить для него «французские» гренки — когда-то это был его любимый завтрак: взбиваешь яйцо, обмакиваешь в него кусочек хлеба и на сковородку. В те прежние годы на Виста-креснт, пока они все не попали в хороший переплет, она всегда старалась устроить в воскресенье маленький праздник — и утро начиналось с «французских» гренок, а потом Нельсон шел в воскресную школу. Он ведь правда был тогда такой хороший, доверчивый мальчик, совсем не капризный, а этот трогательный завиток в одной брови, а его темные глазки, беспокойно мечущиеся между ней и Гарри...

— Нет, мам, спасибо, не надо, — говорит он. — Я хочу просто выпить кофе, и не пытайся заталкивать в меня еду. Жареный хлеб с утра пораньше, да еще с сиропом, меня от этого с души воротит.

— У тебя вообще аппетит что-то стал неважный.

— Слушай, чего ты хочешь, чтоб я превратился в жирного борова, как папаша? У него пятьдесят фунтов весу лишних — так ведь и загнуться недолго.

— Его все время тянет похрумкать чего-нибудь солененького, от этого и толстеет. Соль задерживает воду.

В кофеварке на дне еще осталось немного дегтярно-черного кофе — чашечка, глядишь, и нацедилась бы. Дженис прекрасно помнит, как они покупали эту электрокофеварку в «Кей-Марте» на 41-м шоссе, когда они еще только-только здесь обосновались; она-то сама больше склонялась к агрегату от «Крупса» на десять чашек, но Гарри, привыкший по старинке доверять рекламе в журнале «К сведению потребителей», утверждал, что «Браун» на двенадцать чашек лучше и качественнее. Нельсон делает гримасу — в детстве он точно так же кривился, завидев рыбий жир, — и выливает одиннадцатую с половиной чашку оставшегося кофе в раковину. Он долго шмыгает носом и фыркает и хватает со стола «Ньюс-пресс». Вслух он зачитывает: «Городские власти снимают обвинение с футбольной звезды. Исцеление озера Окичоби может оказаться нам не по зубам», но им обоим ясно, что серьезного разговора не избежать.

— Посиди в гостиной, — говорит Дженис, — почитай там минуточку, а я сварю свежий кофе. Может, съешь одну слойку, последняя осталась, а? Нет так нет, отец потом доест.

— Да нет же, ма, я уже сказал. Не ем я всякую дребедень.

Вода закипает, кофеварка начинает урчать, и из гостиной доносится его смех.

— Послушай, что пишут, — кричит он и громко зачитывает: — «Всеми уважаемый шеф отдела по борьбе с наркотиками полиции Кораллового мыса в ближайшее время расстанется с должностью, поскольку специальным расследованием установлено, что предоставленный ему полицейским управлением кокаин на сумму почти в тысячу долларов был использован не по назначению. Кокаин, по утверждению полиции, бесследно исчез, точнее, был подменен пищевой содой». — От себя Нельсон еще добавляет, по-видимому, сомневаясь в ее способности уловить суть дела, за дуру ее держит: — Тут, во Флориде, каждый готов нюхнуть или стырить, что плохо лежит, даже шеф наркополиции не исключение.

— Скажи лучше, ты сам-то как — готов?

Он, думая, что она спрашивает про кофе, отвечает:

— Ну, конечно, — и, не отрывая глаз от газеты, протягивает свою чашку. — Смотри-ка, вчера на юго-западе Флориды наблюдалась самая высокая в стране температура.

Дженис приносит из кухни кофейник и ставит его на стеклянный столик, на сложенную в несколько раз газету. Она не может отделаться от суеверного страха, что от горячего стекло лопнет, хотя Гарри поднимает ее на смех и уверяет, будто стеклу не только чайник, паяльная лампа не страшна. Мужчины вечно смеются над женщинами по разным таким поводам, и еще когда речь заходит об электричестве, но сами тоже далеко не все понимают. Сколько случается всяких несчастий и неприятностей, никуда от этого не денешься, а мужчины знай себе делают вид, будто ничего особенного не произошло, или сваливают всю вину на других. Она решительно усаживается на диван, поближе к плетеному креслу Нельсона, и широко расставляет ноги, натягивая юбку между колен, — ее мать всегда так садилась, когда считала, что пора проявить твердость, — и говорит ему:

— Я не про кофе, я про кокаин. Что это за история, сынок? Я хочу знать правду.

И когда он поднимает на нее взгляд, у него на лице она видит до боли знакомое ей затравленно-скрытное выражение: так он смотрел в то злосчастное лето, когда ему было всего двенадцать-тринадцать — нет, 1969-й, значит двенадцать, тринадцать ему исполнилось только в сентябре. Есть вещи, которые она никогда не сможет себе простить, и одна из них — то, как ее мальчик приезжал на велосипеде на Эйзенхауэр-авеню и часами стоял под окнами дома, где жил Чарли, в надежде хоть мельком увидеть ее, свою мать, бросившую его ради любовника. Он спрашивает:

— Какая история? Кто тебе напел?

— Твоя жена, Нельсон, она мне рассказала. Она говорит, ты завис — у тебя уже зависимость и ты профуфукиваешь колоссальные суммы, больше, чем у тебя есть.

— Вот ведь сука бешеная! Врет она все! Ты что, не знаешь ее? Она чего хочешь наплетет — ей только бы выпендриться! Когда она успела накормить тебя всем этим дерьмищем?

— Пожалуйста, давай без грубостей. Что у вас не все ладно, и так понятно. Сначала Тереза только намекнула — это было позавчера, когда ты явился за полночь, а вчера мы могли уже поговорить подробнее, поскольку детей взял на себя твой отец.

— Вот-вот, с чего это он так прогибается? Что за балаган он тут устраивает перед моими детьми? Подумайте, какой большой-распрекрасный-добрый-любящий дедуля объявился! Почему-то со *мной* он таким не был!

— Не пытайся уклониться от темы. А отец, возможно, как раз и хочет хотя бы теперь исправить какие-то ошибки, которые он допускал, когда ты рос. Но речь сейчас не о нем, не он беспокоит меня в первую очередь. Когда мы с ним были моложе, он пережил довольно трудное время — ему тяжело было расставаться с какими-то мечтами, с личной свободой, но мне кажется, теперь он поуспокоился. Чего не скажешь о тебе. Ты дерганый, грубый и все время где-то витаешь — такое впечатление, что тебя не интересует ни где ты, ни что с тобой, ни твоя семья. Тогда о чем же ты думаешь непрерывно? И мне приходит в голову только одно объяснение — я ведь тоже читаю газеты и смотрю телевизор: наркотики. Пру говорит, в твоем случае это кокаин и не исключено, что в последнее время еще какой-то крэк[[73]](#footnote-73); героин, как она считает, ты покамест не употребляешь, впрочем, от одного до другого один шаг — взять хотя бы этот, как его, спидбол[[74]](#footnote-74), что ли?

— Спидбол вкалывают, ма, вводят посредством инъекций, а я от иглы, как от чумы, шарахаюсь. Вот уж чему не бывать, можешь мне поверить. С иглой и СПИД недолго подцепить, не приведи Господи!

— Ох, да, СПИД! Мы все теперь живем под страхом СПИДа. — Она закрывает глаза и молча думает о том, сколько в мире бед и горя из-за секса, и все во имя чего? Ради вожделенного ничтожного мига наслаждения. У Нельсона, конечно, свои слабости, но интуиция подсказывает ей, что он, в отличие от его отца, не помешан на сексе, — его поколение вкусило всего достаточно рано, чтобы чары развеялись. Взять для сравнения ее Гарри — бедняга только недавно начал сбавлять темп, а раньше ведь что ни ночь, прыгал в постель сам не свой от нетерпения, будто его там невесть какие чудеса ожидают. Да она и сама, было дело, попалась на эту удочку. Раз в жизни, но все же. Ей тогда казалось, что она чуть не с того света возвращает Чарли к жизни. Спасает любовью. А женщина ведь только этим и сильна, другой власти ей не дано. Во всяком случае, до недавних пор это было так.

Нельсон решает воспользоваться ее молчанием, чтобы самому перейти в наступление.

— Ладно, предположим, я позволяю себе расслабиться иногда, по уик-эндам, и что с того? Чем это хуже, скажи на милость, чем прикладываться к стакану? Да я сколько себя помню, без рюмашки тебя не видел — на кухне, где угодно. Не мне тебе говорить, мам, алкоголь в конце концов убивает человека. Ученые проводили исследования, так вот выяснилось, что кокс не так вреден для организма, как спиртное.

— Возможно, — говорит она, разглаживая на коленях короткую цвета хаки юбочку, — возможно, он не так вреден, но стоит он, если не ошибаюсь, во много раз больше.

— Только потому что он запрещен — законы у нас идиотские!

— Ну да, все правильно — ты можешь сколько угодно поносить алкоголь, но его употребление по крайней мере законно. Во времена молодости твоего дедушки Спрингера алкоголь был под запретом и потому он не пристрастился к выпивке, иначе, кто знает, он мог бы никогда не достичь того, чего он достиг, и мы все жили бы сейчас совсем по-другому. — Она видит, что он уже приоткрыл рот, и она повышает голос, не давая ему перебить себя: — И ты во многом очень на него похож, Нельсон. У тебя колоссальный заряд нервной энергии, тебе все время, постоянно, требуется что-то придумывать, прикидывать, действовать, и мне невыносимо видеть, как вся твоя энергия расходуется на то, чтобы так по-глупому себя разрушать. — Она опять замечает, что он хочет прервать ее, и спешит закончить: — А теперь просвети меня, Нельсон, расскажи мне про кокаин. Помоги старушке разобраться. Что же в нем такого замечательного, что на него любых денег не жалко? Пру говорит, у тебя горы неоплаченных счетов — по-видимому, он того стоит? Объясни мне.

Нельсон в бессильном раздражении со всего маху откидывается назад, прутья кресла жалобно скрипят; если она не ослышалась, там что-то лопнуло.

— *Мам!* Я не желаю обсуждать мою личную жизнь. Ради Бога, мне уже тридцать два.

— Да хоть восемьдесят два, ты для меня всегда ребенок, ты мой сын.

— Ты воображаешь, что можешь поступать и рассуждать, как твоя мать, — говорит он ей, — но мы-то с тобой прекрасно знаем, что у тебя и в помине нет ни ее ума, ни ее характера. — Но едва эти слова слетают с его губ, ему делается так стыдно, что он отворачивается и устремляет взгляд куда-то за балкон, навстречу солнечному, с ветерком, флоридскому дню, с его пронзительным птичьим криком и приглушенным аккомпанементом гольфа — время близится к полудню, температура воздуха за восемьдесят, самая высокая на всей территории страны. Мать не отрывает глаз от его лица. В потоке яркого света кожа его кажется прозрачной, истонченной нездоровьем, всякой вредоносной гадостью, которой он пичкает свой организм. В смущении он тянет руку к серьге, потом разглаживает указательным пальцем поочередно обе половинки своих тускло-бурых усиков. — Ну, это помогает мне снять напряжение, — признается он ей наконец.

Дженис этим не удовлетворена и пытается подтолкнуть его к более обстоятельному разговору.

— Но по тебе не скажешь, что ты не напряжен. — Подумав, она добавляет: — Ты и в детстве всегда был натянут как струна, Нельсон. Ты очень серьезно все воспринимаешь.

— А как, как еще можно все это воспринимать? — говорит он запальчиво. — Как одну большую шутку, вслед за папой? Для него-то весь наш дерьмовый мир — любовная записочка: люблю, целую, и все дела.

— Давай не будем без конца приплетать твоего отца, мы ведь не о нем сейчас говорим, а о тебе. Как ты только что сам справедливо заметил, я женщина простая. Ни ума, ни характера. Во многих вещах я совершенно ничего не смыслю. Начнем по порядку, с азов — сколько нужно на прием и сколько это стоит? Я ведь даже не знаю, каким способом ты это употребляешь — нюхаешь, куришь? — и если куришь, нужно ли это с чем-нибудь смешивать, всякое такое. Все мои сведения о кокаине почерпнуты из сериала «Полиция Майами» и разных телевизионных ток-шоу, а там, как правило, тоже мало что объясняют. Да я особенно и не прислушивалась, зачем? Разве знаешь, как жизнь повернется!

Он окончательно смешался, как она понимает: такой точно вид бывал у него шестилетнего, когда он болел и она допытывалась, как у него сработал кишечник. Или вот еще раз, когда ему было уже четырнадцать и она между прочим обмолвилась про пятна у него на постельном белье. Но в то же время, и она это ясно видит, его подмывает поделиться с ней подробностями, щегольнуть опытом, благоприобретенным за время самостоятельной мужской жизни. Он испускает тяжкий вздох, словно говоря «сдаюсь», прикрывает глаза и начинает:

— Ощущение — его не так просто описать. Знаешь, выпивохи иногда говорят, что они приняли «обезболивающее»? Так и я после дозы — мне не больно. Наверно, это значит, что в остальное время мне больно. Из черно-белого все становится цветным. Вообще все ярче, острее, нет такой безнадежности. Словом, мир видится таким, каким он и был задуман. — Последнее признание настолько для него сокровенно, что от неожиданности он сам хлопает глазами — а ресницы у него длинные, девичьи, — и заливается румянцем.

Дженис чувствует, что ей немного дурно, что она вплотную придвинулась к чему-то очень важному, неопределенному и нерешенному в сексуальной природе ее сына — к чему-то в испуге отвергнутому, — и она поднимает ноги на диван и поджимает их под себя, и ее коротенькая юбочка задирается выше колен. Ноги у нее, в ее пятьдесят два, все еще крепкие, ладные — ее главное достояние, хоть в юности, хоть в зрелые годы: волосы у нее всегда были неважнецкие, грудь маленькая, лицо самое заурядное. Особенно ей нравятся ее ноги здесь, во Флориде, — во-первых, они покрыты ровным коричневым загаром, и во-вторых, очень выигрывают в сравнении с другими женскими ногами, чьи обладательницы давно утратили форму, а впрочем, может, у них этой формы и не было никогда. У здешних низкозадых евреек в возрасте не ноги, а ножки от рояля. Чтобы сын полнее насладился ее невежеством, Дженис спрашивает:

— И сколько же понюшек тебе требуется, чтобы все заиграло яркими красками?

Он снисходительно смеется:

— Это называется «дорожки», мам. Сперва высыпаешь порошок — обычно, на зеркало, — потом лезвием бритвы разравниваешь его и выкладываешь дорожками с осьмушку дюйма шириной и длиной в дюйм-два. Дорожки затем вдыхают в нос через соломинку или специальную стеклянную трубочку, которую при желании можно купить в том же Бруэре у моста. Кое-кто пользуется свернутой в трубочку купюрой; если банкнот, скажем, стодолларовый, это считается своего рода шиком. — Он улыбается при воспоминании об отлаженном, приятно щекочущем нервы ритуале приготовления в кругу друзей, у кого-нибудь на квартире в высокой северной части Бруэра, подпирающей гору Джадж.

— Пру тоже принимает в этом участие вместе с тобой? — спрашивает его мать.

Пасмурное облако набегает на его лицо.

— Раньше да, потом завязала — когда забеременела Роем — и с тех пор ни-ни. Такая стала правильная! Все каркает, что это, дескать, разрушает личность.

— Может, она права?

— Кого-то, наверно, разрушает. Хотя вряд ли. Просто есть такие люди, кому на роду написано попасть в зависимость не от одного, так от другого. Я уже говорил и еще раз говорю: алкоголь для здоровья опаснее. А тут можно даже на работе зайти в туалет, сделать себе дорожку, и никто ничего не заметит, зато ты сам сразу почувствуешь себя суперменом. И торговля сразу пойдет, как у супермена, будь уверена. Когда сам чувствуешь себя неотразимым, кто же устоит? — Он опять смеется, показывая мелкие сероватые зубы, ее зубы. И лицо у него тоже маленькое, как у нее, как будто им обоим не хочется слишком обнажать фасад, по которому жизнь бьет больнее всего. Гарри другое дело, он с возрастом распух, лицо как круглая луна. И здешний народец, все эти ушлые евреи, держат его за простака и при каждом удобном случае не прочь надуть, взять хотя бы троицу его партнеров по гольфу.

Она трогает языком верхнюю губу, раздумывая, о чем бы таком еще его спросить. Для нее совершенно очевидно, что ей не скоро удастся вызвать его на такой же откровенный разговор. Завтра днем он уже улетит, чтобы Новый год встретить дома.

— А крэк ты тоже употребляешь? — спрашивает она.

Он настораживается. Закуривает «Кэмел» и, запрокинув голову назад, допивает остатки своего кофе. На виске у него, под серой прозрачной кожей, заметно пульсирует жилка.

— Крэк — это тот же кокс, только специально приготовленный; на вид вроде мелких гранул, «камни» на жаргоне. Их курят в такой особой трубке, как правило. — Он жестом показывает, как дым петлями обвивает его лицо. — Приятный, быстрый кайф, оттягивает быстрее, чем когда нюхаешь. Но быстрее и кончается. Чтобы догнать, требуется новая доза. Так все время и догоняешь.

— Значит, этим ты тоже занимаешься. Значит, все-таки куришь крэк.

— Ну, случалось. Да не все ли равно? Это хоть всегда под рукой, последние года два по всей улице торгуют, и цена бросовая — из-за конкуренции между бандами. Пятнадцать, а то и десять долларов за дозу «марафета», как они выражаются. Мам, не стоит делать из этого *проблему*, ей-богу. У вас, у вашего поколения то есть, какое-то дикое предубеждение против наркотиков, но это же просто способ расслабиться, снять напряжение, короче, оттянуться! Недаром у людей чуть не с пещерных времен была эта потребность. Опиум, пиво, морфий, гашиш — все это людям давно и хорошо знакомо. Кокаин же — самое благородное из известных средств, и те, кто его употребляет, в подавляющем большинстве люди преуспевающие. Преуспевающие не просто несмотря на, но и *благодаря* кокаину, вот ведь в чем фокус. Благодаря тому, что они все время активизируют свой потенциал.

Пока она его слушала, ее рука передвинулась к ее же собственной босой стопе, что лежит поверх диванной подушки. Она сжимает в ладони пальцы ног, потом растопыривает их, как бы проветривая.

— Значит, я совсем дурочка, — замечает она. — Я-то думала, что наркотики — это дно, трущобы, преступность. Как почитаешь...

— Газеты сильно преувеличивают! Они вообще все всегда преувеличивают. Такой уж народ эти журналисты — им лишь бы свою газету сбыть с рук. Да и правительство не лучше, тоже любит делать из мухи слона в порядке отвлекающего маневра, не то мы ведь можем задуматься, почему нами правят такие придурки.

Она невесело кивает головой. Покойник-папочка терпеть не мог, когда все беды сваливали на правительство. Она распрямляет сперва одну ногу, водрузив ее на круглый стеклянный столик, потом параллельно ей кладет и другую, так что голые икры соприкасаются; она дугой выгибает коричневые, жилистые ступни — полюбуйтесь, мол, какой у меня подъем. Ноги у нее до сих пор молодые, лицо же молодым никогда не было. Она резко скидывает ноги вниз и ставит их ровно на коврик, снова сама деловитость.

— Пойду подогрею кофе. Может, все-таки съешь со мной пополам эту несчастную, завалявшуюся слойку? Чтоб отцу не оставлять, а?

— Съешь ее сама, целиком, — упрямится он. — Пру не разрешает мне набивать живот разной мурой. — Дженис считает, что говорить ей такое — чистейшее хамство. Она ж ему мать в конце концов, она, а не Пру. Пока она в кухне ждет кофе, Нельсон кричит ей примирительным тоном, благо нашлась другая тема: — Тут вон пишут, что один молодец, помощник начальника пожарной охраны, сбил мотоциклиста: освободившись после дежурства, он воспользовался служебным транспортом, причем мигалки и сирена были включены; по всей вероятности, он был мертвецки пьян. Смотри-ка, на Новый год вам обещают дождь.

— Дождь ох как нужен, — говорит Дженис, возвращаясь с кофейником и разрезанной пополам слойкой на тарелке. — Вообще я люблю тепло, но нынешний декабрь это нечто!

— Ты не обратила внимания там в кухне — который час?

— Да что-нибудь около двенадцати, а что?

— Так, ничего, просто подумал, какая тоска, что здесь только одна машина. Но если никто не против, я — когда они вернутся, понятно, — прокачусь кое-куда по своим делам.

— И что это за дела, можно узнать?

— Обычные дела. В аптеку надо заехать. У меня снотворное кончилось. У Роя раздражение на коже — набултыхался в хлорке и не переодел мокрые плавки — не знаешь, есть какая-нибудь подходящая мазь или крем?

— Надеюсь, ты не собираешься снова встречаться с типчиками из рыбного ресторана, где ты торчал позапрошлой ночью? Они ведь из тех, у кого ты покупаешь свои дорожки, камушки, не знаю что еще.

— Брось, мам, не корчи из себя сыщика. Не надо устраивать мне допросов, я уже взрослый. Я и так жалею, что рассказал тебе больше, чем следовало.

— Того, что меня действительно интересует, ты так и не рассказал: во сколько обходится тебе эта милая привычка?

— Ничего запредельного, честно. Да будет тебе известно, что компьютер и кокаин — единственное, на что при нынешней экономике регулярно снижаются цены. Когда-то он действительно стоил баснословных денег и доступен был разве только звездам поп-музыки, а теперь целый грамм можно купить за семьдесят пять долларов, это сущий пустяк! Конечно, никогда не знаешь, чего там еще поднамешано, но со временем, с опытом, каждый находит нормального продавца, которому можно верить.

— Ты принимал что-нибудь сегодня утром? До того, как вышел из комнаты?

— Эй, ты, я смотрю, не на шутку за меня взялась. Я стараюсь с тобой быть откровенным, но это уже перебор!

— По-моему, принимал, — настаивает она.

К ее большому разочарованию он и этого не отрицает. Дети, дети — почему они нас боятся?

— Ну может, разок нюхнул чего там оставалось в конвертике, — так, для разгона. Мне очень не нравится папина затея идти в море с Джуди на какой-то плюгавой лодчонке с парусом — он в парусах разбирается как свинья в апельсинах, да и вообще он все эти дни какой-то пришибленный. Будто его что-то гнетет, ты не заметила?

— Я не могу замечать все сразу. Пока что я замечаю, что ты, Нельсон, на себя не похож. Ты впал, как говаривала моя мама, в невменяемое состояние. Этот твой торговец, заслуживающий всяческого доверия, ты ему задолжал? Сколько?

— Мам, а твое ли это дело, а?

Ему ведь все это доставляет удовольствие, с горечью сознает она вдруг; ему нравится, что из него вытягивают его тайну, нравится, что у него появилась возможность переложить это постыдное бремя на ее плечи. Он явно испытывает облегчение, это слышно по его голосу, из которого ушло звенящее напряжение, видно по его обмякшим плечам под покровом вычурного восточного халата.

— Все твои деньги берутся от прибыли магазина, — отвечает она ему, — а магазин тебе покамест не принадлежит, он принадлежит мне, мне и твоему отцу.

— Да, да, сейчас! Ни шиша ему там не принадлежит!

— Сколько, Нельсон?

— Вообще-то я взял кредит, ну и там уже поднабралось, конечно.

— А почему ты не платишь по счетам? Ты ведь в год получаешь сорок пять тысяч плюс бесплатное жилье.

— Знаю, по твоим представлениям, у меня денег куры не клюют. Ты все меряешь на доинфляционные доллары.

— Ты сказал, этот твой кокс стоит семьдесят пять долларов за грамм или ты платишь десять долларов за дозу крэка. Сколько тебе в день требуется граммов или сколько ты покупаешь доз крэка? Скажи мне правду, родной, я хочу тебе помочь.

— Да? Это как же?

— Я не могу дать ответ, пока не разберусь в ситуации.

Поколебавшись немного, он выдает:

— У меня долгу тыщ двенадцать.

— Боже! — Дженис чувствует, как у нее под ногами разверзается пропасть; она настраивала себя на этот разговор, предвидела признание, раскаяние и, под занавес, готовилась протянуть ему руку помощи и предложить принять от нее щедрый дар в размере тысячи — ну, в крайнем случае двух — долларов. Та легкость, с какой он назвал куда более значительную сумму, означает, что речь идет о совершенно новой для нее системе измерений. — Как же так, Нельсон, как же ты мог? — спрашивает она потерянно, запинаясь на каждом слове — куда только с перепугу подевалась позаимствованная у Бесси Спрингер непоколебимая уверенность в собственной правоте.

На маленьком бледном лице Нельсона, который сразу почуял, какое это для нее потрясение, отражается внутреннее смятение, и он заливается краской.

— Что, что тут такого особенного? Двенадцать штук — это даже меньше, чем стоит самая простенькая базовая «камри». А сколько, по-твоему, набегает у вас за год на спиртное?

— И близко ничего такого нет. Отец, тот вообще никогда спиртным не увлекался — правда, когда он дружил с Мэркеттами, помаленьку прикладывался, но это когда было.

— Дружил с Мэркеттами! А ты будто не понимаешь, чего он к ним лип. Сказать? Под юбку к Синди Мэркетт ему охота была залезть, вот и вся его дружба.

Дженис обалдело на него смотрит и чуть не прыскает со смеху. Какой же он еще молоденький, и как давно это было, и как было далеко от того, что навоображал себе Нельсон. Она чувствует, как внутри у нее все заполняется ужасной пустотой. Сейчас очень кстати был бы глоточек чего-нибудь для утешения — сейчас бы ей стаканчик с кроваво-красным кампари, не разбавленным содовой; здесь все женщины так его пьют между делом — перед едой или возле бассейна. Мало того, что половинка вишневой слойки лежит в желудке, как камень, так она еще в нервной рассеянности отколупывает кусочек за кусочком глазурь с несъеденной половинки Нельсона. Его презрение к еде — он, видите ли, выше низменных, в меру вредных соблазнов, на которые так падки они с Гарри, — вот что раздражает в нем больше всего. Довольно натянуто она говорит ему:

— Сколько бы у нас ни набегало, мы по своим счетам всегда сами платим. Мы тратим, но тратим по средствам. — Она протягивает к нему руку и, как бы поманив его двумя пальцами, говорит: — Можно стрельнуть у тебя сигаретку?

— Ты же не куришь, — напоминает он ей.

— Не курю, когда поблизости нет тебя или твоей жены.

Он пожимает плечами, берет со стола пачку и перебрасывает ей: делиться, так делиться до конца.

Ощущение приятной легкости — от самой сигареты, от сухого пощекатывания в ноздрях, когда она, затянувшись, выпускает дым, — помогает вернуть все к приемлемой мере вещей, с которой она худо-бедно в состоянии совладать. Она задает следующий вопрос:

— Как поступают эти типы, торговцы, если ты не платишь? — Страшась его ответа, она нервничает, но она уже полностью на его стороне, на той территории, где он невинная жертва.

— Да ну их, — небрежно бросает он, упиваясь ролью храбреца, которому сам черт не брат, и обтачивает край дымящейся сигареты о бортик очень миленькой морской раковины, которую он использует вместо пепельницы, — больше языком работают, на пушку берут. Обещают руки-ноги пообломать. Пугают, что выкрадут детей. Может, оттого я так и психую из-за Джуди и Роя. Если угрозы становятся настойчивыми, надо понимать, что от слов они в конце концов могут перейти к делу. Но с другой стороны, они же себе не враги, хорошего клиента никому упускать не хочется.

— Нельсон, — говорит Дженис. — Если я дам тебе двенадцать тысяч, ты поклянешься больше не притрагиваться к наркотикам — никогда? — Она силится заглянуть ему в глаза.

Она-то ждет, что он сию минуту кинется давать любые клятвенные обещания, лишь бы она не передумала, но у мальчишки хватает дерзости — да чего там, бесстыдства — сидеть перед ней развалясь и цедить, глядя мимо нее:

— Попробовать, конечно, можно, но обещать тебе что-то наверняка было бы нечестно. Я ведь уже пытался — чтобы угодить Пру. Люблю я это дело, мам, понимаешь? У меня с коксом взаимная, так сказать, любовь. Не знаю, как лучше объяснить тебе это. Он для меня то, что надо. С ним я чувствую себя, *как надо* — ничто на свете не дает мне больше этого ощущения.

Она и не заметила, что плачет, тихо, без всхлипов, только в горле першит да на щеках мокро — будто жена, которой муж спокойно и выдержанно признается в любви к другой женщине. Кое-как обретя голос и способность говорить, она достаточно внятно произносит:

— Ну, тогда я буду последней дурой, если своими руками помогу тебе и дальше гробить себя.

Он поворачивает голову и глядит ей прямо в лицо:

— Я брошу, брошу, не сомневайся. Это так, мысли вслух.

— Сынок, а ты *сможешь!* ..

— Что за вопрос! Сколько раз у меня бывало, что за день — ни одной дозы. Главное, тут можно не бояться болезненных симптомов отвыкания — в этом, кстати, одно из великих достоинств — ни тебе рвоты, ни белой горячки, ничегошеньки. Важно только самому решиться, самому созреть.

— Ну, и ты — созрел? Мне что-то так не кажется.

— Созрел, а как же. Ты все правильно говоришь — мне это не по средствам. Вы с папой владельцы, а я у вас холуй на жалованье.

— Ну, это как посмотреть. Можно так, а можно и иначе: мы, например, не знали, как извернуться, чтоб у тебя была солидная, ответственная работа, где бы ты сам, без нашего вмешательства, всем распоряжался. Знаешь, отец ведь здесь мается от скуки. Мне и то скучновато.

Нельсон вдруг круто меняет курс.

— От Пру никакой поддержки не дождешься, — возвещает он.

— Да что ты?

— Считает меня тряпкой. И всю жизнь считала. Я ей был нужен единственно для того, чтобы удрать из Акрона, — теперь цель достигнута. Ничего, что мужчина должен получать от жены, я от нее не получаю.

— А что, к примеру? — Дженис искренне заинтригована: ни от одного мужчины ей не довелось услышать этот заветный перечень.

Он делает сердитое лицо, будто не хочет отвечать.

— Ты все сама прекрасно знаешь — не прикидывайся наивной дурочкой. Жена должна внушать мужу веру в себя. Показывать, что она его любит. Убеждать, что он у нее самый замечательный, даже если это далеко не так.

— Может, я и вправду наивна, Нельсон, но разве кто-то может сделать за нас то, что мы должны сделать для себя сами? Женщинам нужно думать о поддержании своего собственного эго — оно у них, между прочим, тоже есть, как есть и свои собственные проблемы. — Не зря же она раз в неделю ходила на занятия в женский дискуссионный клуб. Она чувствует себя достаточно раскрепощенной, чтобы встать и решительным шагом пройти в кухню, а там раскрыть дверцы подвесного шкафчика и вынуть бутылку кампари и стаканчик. Эмалевый цвета морской волны циферблат вделанных в электроплиту часов показывает 12:25. Телефон на стене, прямо рядом с ней, звенит так неожиданно, что она подскакивает на месте и бутылка в ее руке тоже подскакивает, расплескивая кампари — на пластике вино кажется водянисто-красным, как разжиженная кровь.

— Да... да... О Господи...

Нельсон, уютно устроившийся в плетеном кресле и погруженный в обдумывание следующего своего хода и прикидывание, не продешевил ли он, запросив всего двенадцать тысяч — поскольку долги его, само собой, этим не ограничиваются, — слышит ее голос, словно пережатый нехваткой дыхания на каждом коротком ответе, и видит по ее лицу, когда она вешает трубку и спешит назад к нему, что мера вещей и точно изменилась: в их жизни настал поворотный момент. Мамин флоридский загар вмиг улетучился, оголив зеленовато-серое лицо.

— Нельсон, — говорит она внятно, собранно, как ведущий последних известий, — звонила Пру. У отца сердечный приступ. Его забрали в больницу. Твои сейчас же выезжают домой, чтобы я могла воспользоваться машиной. Тебе со мной ехать незачем, к нему никого не пустят, кроме меня, а меня будут пускать на пять минут каждый час. Он в реанимации.

###### \* \* \*

Делеонская городская больница широкого профиля представляет собой группу приземистых белых зданий, нанизанных на исходный стержень — бисквитного цвета постройку тридцатых годов с кровлей из испанской черепицы и декоративными гнутыми решетками на окнах. Больничный комплекс целиком занимает два квартала вдоль южной стороны Тамаринд-авеню, что тянется параллельно бульвару Пиндо-Палм, примерно с милю к северу от него. Дженис провела здесь весь остаток вчерашнего дня, и теперь уже знает, с какой стороны въезжать в многоэтажный парковочный гараж и каким стрелкам на полу следовать, чтобы из него выйти, — проходишь по забранному в стеклянный футляр пешеходному мостику на втором этаже, над кассовыми кабинками и рабочим асфальтовым пространством, и попадаешь во внутренний двор, вымощенный восьмигранными плитками, с олеандровой изгородью и выздоравливающими в сверкающих стальных креслах-каталках, потом спускаешься по ступенькам и входишь в вестибюль, где видишь ту же уличную толпу, пестрящую расовым многообразием (правда, у здешних белых лица и кисти рук выкрашены в густо-коричневый цвет), — все сидят в дремотном оцепенении, обложенные аккуратно увязанными тюками и большими пластиковыми мешками для мусора, в которые упакованы все их больничные пожитки. В вестибюле пахнет олеандром, мочой и освежителем воздуха.

Дженис в мягком, цвета лососины спортивном костюме с нежно-голубыми рукавами и такими же полосками на брюках возглавляет шествие, а Нельсон, Рой, Пру и Джуди, одетые уже по-дорожному для обратного перелета, поспевают за ней следом. Всего одного дня оказалось достаточно, чтобы Дженис обрела расторопность и прыть одинокой женщины, подле которой нет мужчины, чтобы задавать ей надлежащий темп. А кроме того, неизжитый остаток прежней любви — прежнего животного влечения, пробужденного к жизни многолюдьем и казенной обстановкой, чем-то напоминающей атмосферу школьных коридоров, где она впервые открыла для себя, что есть на свете такой Кролик Энгстром, старшеклассник и знаменитость, блондин ростом под потолок, и вообще не чета ей, ничем не приметной чернявенькой девятикласснице, — благодаря его вдруг ставшей очевидной природной недолговечности с новой силой и остротой фиксирует ее внимание на его теле. И не только его — ее собственном тоже. После его срыва она с горделивым удовлетворением постоянно отмечает упругое здоровье своего тела, его дерзкую, не по возрасту, прямоту, упрямое чудо его бесперебойной работы.

Дети напуганы. Рой и Джуди не знают, что им предстоит увидеть, когда они войдут к дедушке. Может, он превратился в какое-нибудь чудо-юдо, как в сказках про козни злых волшебников — там все время кто-то превращается то в жабу, то вообще в мокрую лужицу, только парок от нее подымается. А вдруг он всегда был злым и ужасным, вдруг нарочно притворялся добреньким и говорил с ними ласковым голосом, как серый волк в бабушкином платье, который задумал съесть Красную Шапочку? Приторные запахи антисептиков, всюду какие-то лифты, закрытые двери, стрелочки-указатели, люди в белых халатах с пластиковыми карточками на груди, в белых чулках и туфлях, и гулкий звук их собственных быстрых шагов куда-то все дальше и дальше по линолеумным полам, надраенным и натертым до такого невозможного блеска, что кажется, будто это водная гладь, чуть тронутая рябью, — от всего этого в детских животах разрастается предчувствие беды, страх, что это лабиринт, откуда им в жизни не выбраться, начищенная до блеска дорогая ловушка, где двери и клапаны открываются только в одну сторону. Словом, тот мир, который сооружают для себя взрослые, до того странный и непонятный, что нельзя исключить и злой умысел. Стоит очутиться в больнице, и тебе уже кажется, что никакого другого мира не существует. А всякие там пальмы, белый самолетный след в небе, провисшие электропровода и само синее небо, которые ты видишь сквозь оконное стекло, воспринимаются только как часть окна, часть западни.

Сводчатый вестибюль украшен двумя настенными панно: в одном его конце счастливые люди разного цвета кожи дружно работают в апельсиновой роще, над которой сияет еще одним круглым апельсином солнце, а в другом конце бородатые испанцы в латах обмениваются какими-то не совсем понятными дарами с полуголыми индейцами, а один индеец присел за колючим тропическим кустом и целится из лука. Намерения у него, знать, недобрые. Еще миг — и отважный первооткрыватель встретит свою смерть.

Очень худая неулыбчивая женщина за стойкой регистрации сверяется с компьютерной распечаткой, сообщает номер этажа и направляет их к нужному лифту. Вся семейка, все пять душ, засовываются в лифт и кое-как размещаются там, потеснив мужчину с букетом, который никак не может прочистить горло, хоть и не прекращает попыток, молоденького латиноамериканца с позвякивающими на лотке пробирками и даму средних лет с длинным подбородком и всклокоченной копной волос при инвалидном кресле-каталке, в котором сидит ее сильно состарившаяся копия, только у той, второй, волос поменьше и краска на них тоном поспокойнее. При каждой остановке лифта она выталкивает каталку наружу, чтобы дать желающим войти или выйти, а потом снова впихивает свой драндулет обратно. Джуди закатывает свои ясные зеленые глаза туда, где по идее должно быть небо, от возмущения, до чего же противные и неповоротливые эти взрослые.

Их этаж пятый, последний. Дженис поражена тем, насколько сестринский пост оборудован здесь примитивнее, чем в кардиореанимационном отделении. Там женщины в больничной униформе сидят забаррикадированные штабелями мониторов, и на каждом, конвульсивно дергаясь в такт сбивчивому биению больного сердца, ползет оранжевая линия — все пациенты как на ладони, хотя все они лежат в отдельных боксах с застекленной передней стеной, которые с трех сторон окружают сестринский пост; двери в некоторых боксах открыты, и, проходя, видишь одурманенного обитателя, который лежит в кровати под грудой тянущихся к нему трубочек; в других двери закрыты, но занавеси полностью не задернуты, позволяя ухватить в просвете две темные дырки ноздрей и треугольник запавшего рта в уже отключившейся голове; в третьих же занавески задернуты зловеще, наглухо, скрывая от досужих глаз какие-то отчаянные медицинские манипуляции. Она родила двоих детей и проводила в могилу двоих родителей, так что с больницами она волей-неволей знакома. Здесь, на пятом этаже, сестринский пост — это просто высокая стойка, да несколько рабочих столов, да маленький холл для посетителей, где можно подождать, пока разрешат зайти в палату, с жесткой ореховой скамьей и низеньким столиком, на котором разложены журналы с названиями вроде «Здоровье сегодня», «День женщины», «Сторожевая башня» и ежемесячник «Спасемся». Толстая негритянка с глянцевыми, туго заплетенными косичками, петлями выглядывающими из-под белой шапочки, с улыбкой притормаживает взволнованный табун Энгстромов.

— Пожалуйста, учтите, что в палате не должно находиться больше двух посетителей одновременно. Мистера Энгстрома только сегодня утром перевели из реанимации, так что бурные развлечения пока не для него.

Непонятно, что усмотрел Рой в ее широком лоснящемся лице и в затейливой прическе из множества косичек, только ее вид повергает его в оторопь; столько тут всего странного и непонятного, что ребенок не в состоянии выдержать этой последней капли и ударяется в рев. Его чернильно-черные глазенки сначала широко раскрываются, потом с силой зажмуриваются; гуттаперчевые губы оттянуты книзу, будто в рот ему попала хина. На первый его вопль в коридоре оборачивается сразу несколько голов — в этот предобеденный час у докторов и больничной обслуги полно всяких рутинных дел.

Пру забирает мальчика у Нельсона и утыкает его личиком себе в шею. Мужу она говорит:

— Может, все-таки *ты* пойдешь с Джуди в палату?

Лицо у Нельсона испуганно вытягивается.

— Я первым не пойду, не хочу. Вдруг у него бред или еще там чего. Мам, зайди лучше ты сначала.

— Не сходи с ума, ради Бога, — одергивает она его таким тоном, будто ей на плечи легла вся тяжесть вечного Гарриного недовольства их единственным сыном. — Я же с ним говорила по телефону всего два часа назад, и он был в *полном порядке*. — Тем не менее она берет девочку за руку, и они идут сверкающим, подернутым рябью коридором, высматривая нужный номер — 326. Это сочетание цифр кажется Дженис смутно знакомым. Когда? Где? В какой жизни?

Пру садится на жесткую скамью — подушки, наверно, нарочно сняли, чтоб не рассиживались тут без дела, — и пытается с помощью уговоров и покачиваний утихомирить Роя. Минут через пять, громко всхлипнув-икнув напоследок, он засыпает у нее на руках. Тяжелый и плотный клетчатый костюм, который она надела в дорогу, имея в виду, что летят они навстречу северо-восточной зиме, под ребенком мнется и жарит так, что хочется из него выскочить. Кондиционеры здесь, похоже, просто выключены, а температура воздуха на улице между тем опять перевалила за восемьдесят, — на десять градусов выше нормы для этого времени года. В качестве гостинца они захватили для Гарри свежий утренний номер «Ньюс-пресс», и пока они сидят и дожидаются, Нельсон раскрывает газету и начинает читать. *Рейгану и Бушу вручают судебные повестки. В 1988 году количество убийств в штате снизилось. Владелец местной команды берет на себя оплату похорон крошки Эмбер.* В отличие от бруэрского «Стэндарда» здесь на первой полосе обязательно есть цветная вставка — сегодня это зеленая карта Великобритании, на которой кружочком отмечен Локерби, и еще два снимка: на одном чемодан, на другом взрыв какого-то самолета. *По данным отчета, использовано сложное взрывное устройство.*— Нельсон, — говорит Пру вполголоса, чтобы не разбудить Роя и чтобы не услышали сестры. — Знаешь, мне не дает покоя одна мысль.

— Да?.. Не тебе одной.

— Я вовсе не имею в виду наши с тобой отношения. Кое-что другое для разнообразия. Как ты считаешь, могло ли так случиться, что... Нет, язык не поворачивается сказать.

— Сказать что?

— Т-сс. Не так громко.

— Черт возьми! Дашь ты мне газету почитать? Вроде теперь уже точно установили, от какой бомбы взорвался самолет «Пан-Ам».

— Это было первое, что пришло мне в голову сразу же, но я все гнала от себя эти мысли, а вчера ты уснул как убитый и мы так и не поговорили.

— Да, меня вечером как подкосило. За последние недели это была первая ночь, когда я нормально спал.

— Ты же знаешь почему. Вчера у тебя был единственный день без кокаина, первый за все эти недели.

— Вот глупости! При чем тут это? Мой организм и кокс прекрасно ладят друг с другом. Я сломался, потому что у меня отец чуть не помер, это, знаешь ли, действует на психику. В том смысле, я хочу сказать, что сегодня он, а следующий кто? Мне еще не столько лет, чтобы терять отца.

— Ты сломался, потому что твой организм остался без препарата, в кои-то веки. Ты ведь все время живешь под жутким нервным стрессом, и виноват в этом твой наркотик.

— Виновата в этом вся моя поганая психованная жизнь — вся жизнь пошла наперекосяк с тех пор, как мы вместе; виновата в этом моя святоша-жена, у которой к сексу позывов, как у замороженного йогурта; дети у нее уже есть, а больше ей ничего не надо.

Рот у Пру, когда она злится, так напрягается, что над верхней губой появляется ряд вертикальных морщинок, точно полоска усов. Приглядевшись, замечаешь, что едва приметные, как паутинка, усики у нее и правда есть. Лицо ее, когда она уязвлена и сердита, словно щит, выставленный ему навстречу, крепдешиновая кожа под глазами мертвенно-белая, как и ниточка пробора в волосах, ее гневный шепот отработан до последней модуляции — колея, слава Богу, наезженная. Все это он уже не раз слышал.

— С какой это стати я должна рисковать жизнью, спать с тобой, торчок ты несчастный, думаешь, я прямо мечтаю заразиться СПИДом из-за твоих грязных игл или какой-нибудь шлюхи накоксованной, почем я знаю, с кем ты там путаешься до двух часов ночи!

Рой жалобно пищит, уткнувшись ей в шею, а две молоденькие сестрички за стойкой поста демонстративно шелестят бумагами, чтобы не подумали, будто они подслушивают.

— Сучка безмозглая, вот ты кто, — говорит Нельсон ровным тихим голосом и при этом чуть улыбается, как если бы сказал что-то приятное, — я никакими иглами не колюсь и никаких накоксованных шлюх не заваливаю. Я, честно говоря, даже не знаю, что такое «накоксованная шлюха». Сама-то ты знаешь?

— Называй их как тебе угодно, только избавь меня от их заразы.

По-прежнему не повышая голоса, почти ласково, он говорит:

— С чего это мы стали такие важные и неприступные, интересно знать? Откуда вдруг такое чистоплюйство прорезалось? Небось когда тебя это устраивало, ты свои принципы куда подальше засовывала и сама торчала за милую душу. А отправить Мелани со мной в Бруэр, чтоб она там вертела передо мной задом, лишь бы я никуда не сбежал? Очень благородно! Это ж до какого цинизма надо дойти — лучшую подругу под своего мужика подкладывать.

Он находит даже определенное, привычкой объясняемое удовольствие, когда видит женино белокожее, растянутое временем вширь лицо-щит с этими сердитыми усиками морщинок, с гневно собранным в треугольник челом, лицо, которое придвинулось к нему в упор, заслоняя от него большую часть видимого пространства. Оно словно отсекает все, что таит угрозу, что находится за краем. Она говорит без всякого запала, как будто догадывается, что ее попросту провоцируют для собственного развлечения:

— Все это говорено-переговорено миллион раз, Нельсон Энгстром, мне и в голову не могло прийти, что ты залезешь в кровать к Мелани, я думала сдуру, что ты влюблен в *меня* и поехал утрясать отношения с *родителями*. — Обмен взаимными претензиями — занятие довольно мерзкое и однообразное, от него уже у обоих оскомина, но в то же время это что-то знакомое, привычное — тут он всегда может укрыться, как в гнездышке. Так и по ночам, когда они оба крепко спят и она тянется к нему длинной, пушистой рукой, обхватывая его взмокшую от пота грудь, он придвигается к ней теснее, сворачивается в клубок, вжимается задом в мохнатенькую складку.

— Я и утрясал, — говорит он, теперь уже откровенно ее поддразнивая. — Так что ты там начала такое говорить?

— О чем?

— О чем-то, что ты хотела мне сказать, но не смогла, поскольку я уснул, потому что, как ты считаешь, я вопреки обыкновению не был накачан. — Он откидывает голову назад, упирает ее в спинку скамьи и вздыхает, как давно не вздыхал, с усталой скукой — что значит чистая кровь, без привычных добавок. Стоит иногда сойти вниз, чтобы лучше оценить, в каких высотах ты обычно обретаешься. — Господи, — говорит он, — скорей бы уж вернуться к нормальной жизни. Насчет вчерашнего дня ты в общем и целом угадала: мне было никуда не рыпнуться, мама ведь схватила машину, как только вы приехали. А в пределах Вальгалла-Вилидж, кроме геритола[[75]](#footnote-75), разжиться нечем.

Ее голос по-семейному сочувственно смягчается.

— Вот таким я тебя люблю, — признается она. — Таким, как ты есть. Без добавок. — Его опрятный напряженный профиль со следами усталых раздумий, залысины на висках, уравновешенные торчащими над губой усиками, кажутся ей сейчас почти красивыми. А мелькающие в его крысином хвостике седые волосы вызывают щемящее чувство, будто это ее вина, что они появились.

По прощающим интонациям Пру он все с той же вялой истомой отмечает, что она еще не готова поставить крест на их браке. Ее запаса терпения хватит еще надолго. Так что руки у него покамест развязаны.

— Я всегда одинаковый, — возражает он. — И вообще, я могу принимать, могу не принимать, как решу. Вчера, да, может, ты и права, просто из уважения к предку или еще не знаю почему. Словом, решил воздержаться. Никто не хочет понять простую вещь — бросить можно в любой момент.

— Надо же, — говорит Пру, мягкости в ее голосе заметно поубавилось. — Мой муж, оказывается, то самое исключение, которое подтверждает правило.

— Нам что, больше поговорить не о чем?

— Да, так я про тот странный случай, — начинает она, решившись, — про то, как Джуди накрыло парусом. Парус-то ведь совсем небольшой, маленький, разве нет? Ты сам знаешь, плавает она прекрасно. Как думаешь, не может ли быть...

— Не может ли быть чего?

— Что она просто разыгрывала деда, нарочно от него спряталась, а силы-то не рассчитала, а?

— И он по ее милости чуть не помер? Что за мысли! Бедный папа. — Профиль Нельсона улыбается; усы почти касаются основания его прямого маленького воспаленного носа. — Не думаю, — произносит он. — У нее бы пороху не хватило. Представь на минуту, как ей, наверно, было страшно — берега почти не видно, кругом акулы, фантазия-то детская. Нет, не стала бы она в игры играть.

— Но мы же толком не знаем, как там все происходило — быстро, долго, сколько секунд прошло. У детей ведь сознание устроено иначе, чем у нас, а твой отец все время над ней подтрунивает. Вспомни, как он с ней говорит. Она могла сделать это не со зла, а чисто по-детски воспользоваться случаем, чтобы в отместку подразнить его, отплатить ему той же монетой.

Улыбка теперь обнажает его мелкие, с наклоном назад зубы, которые всегда имеют сероватый оттенок, как бы яростно он ни драил их щеткой, ни чистил специальной нитью, ни обрабатывал особыми, укрепленными на ручке зубной щетки, конусовидными резиновыми насадками, прежде чем улечься в постель.

— Я знал, что ничего путного из его затеи не выйдет, — за каким дьяволом тащить ребенка в море, если сам ни бельмеса в лодках не понимаешь? — ворчит он. — Так ты говоришь, он тешит себя тем, что спас ей жизнь?

— Когда он лежал на берегу, пока не пришли санитары — нам показалось, их не было целую вечность, хотя они уверяли, что прошло всего семь минут, — вид у него был довольный, как будто у него легко на душе, несмотря на страшную боль и одышку. Он все пытался шутить, рассмешить нас хотел. Сказал мне, что ногти на ногах пора покрасить заново.

Мечтательно прикрытые глаза Нельсона вдруг открываются, и он неподвижно смотрит прямо перед собой, но не на противоположную стену, где висит портрет какого-то богатея, на чьи деньги была выстроена больница, а куда-то мимо, в прошлое.

— У меня была сестренка, совсем кроха, понимаешь? — говорит он. — Она утонула.

— Да, верно. Как мы могли об этом забыть?

Он еще какое-то время смотрит в пространство невидящим взором и потом говорит:

— То-то он был доволен — хоть эту спас.

И действительно, для Гарри, который лежит на спине, напичканный лекарствами, опутанный проводами и трубками, в безгоризонтном, сплошь белом пространстве, видеть девчушку живой и неповрежденной в ее совершенстве, сквозящем в каждом рыжем волоске, в каждой веснушке, в длинных ресничках, разделенных будто бы строкоотливной типографской машиной на интервалы в один пункт, — величайшая радость. Она попала в капкан семейного проклятия и — уцелела! Она сегодня покидает Флориду живая.

В том коллапсе, что случился с ним двадцать шесть часов тому назад, была и своя благодать: начиная с первой минуты, когда он лежал, беспомощный, на песке, точно медуза, под красным небом, его не покидало ощущение, что он целиком и полностью передан в чьи-то руки, что он, незрячий, терзаемый болью, — тот, вокруг кого вертится весь мир душевного беспокойства и профессионального внимания, и это ощущение в каких-то его потаенных глубинах было как возвращение домой после целой жизни неизвестно кем присоветованных ему ненужных скитаний. Проваливаясь в бездну, он воспринимал мир вокруг себя как нечто газообразное и возносящееся ввысь — серьезные, участливые лица санитаров, докторов и медсестер, выпущенные для оказания ему экстренной помощи, как облако праздничных воздушных шариков. Все его тяготы отлетели от него в этой светом пропитанной больнице, в этом вполне деловом заведении, где чудеса совершаются в рабочем порядке, даже если и не за просто так. Его уже избавили от катетера, и теперь единственная его проблема в том, что без конца возникает потребность помочиться (всё эти растворы, которые вливают в него через капельницы!), чуть накренившись, в подставленное судно, да так, чтобы при этом не выдернуть шланг от капельницы, провода от кардиомонитора и кислородные трубочки, всунутые ему в ноздри.

Есть, правда, еще одна маленькая проблема — туман: футбольный[[76]](#footnote-76) матч, который он мечтал посмотреть, повторная встреча между «Филадельфийскими орлами» и «Чикагскими медведями» на Солдатском поле в Чикаго, идет сейчас на экране телевизора, укрепленного на бежеватой металлической консоли в каких-нибудь двух футах от его лица, но игра, начавшись в двенадцать тридцать, по ходу дела все тускнеет и тускнеет, постепенно поглощаемая «беспрецедентным» туманом, наползающим на поле со стороны озера Мичиган. Телерепортаж мало-помалу свелся к комментарию того, что попадает в поле зрения боковых камер; зрители на трибунах и комментаторы в своей кабине видят даже меньше, чем одурманенный Кролик из больничной койки. «Ах, как артистично забирает кто-то мяч», — сообщает зрителям бывший футболист Терри Брэдшоу, если точно, тот самый Брэдшоу, у которого в матче на Суперкубок в начале восьмидесятых прямо из-под носа, как в цирке, увел мяч везунчик Сталворт. Где-то высоко, в тумане, толпа ревет и стонет невпопад с тем, что происходит на телеэкране, пытаясь следить за игрой по электронному табло. Ведущие репортаж — один черный, с лягушачьими глазами навыкате (не этот ли женился на телевизионной жене Билла Косби?), другой белый с отечным лицом — похоже, до глубины души возмущены поведением Господа Бога: как так, мешать работе «Си-би-эс», испортить такое телешоу, за каждую минуту которого спонсоры платят миллионы долларов и которого с надеждой ждали миллионы болельщиков. Они поочередно задают вслух один и тот же вопрос: почему официальные лица не отменят матч и не перенесут его на другой день? Сам-то Гарри считает туман проявлением высшей милости, поскольку когда он начал вползать на поле, «Орлы» выглядели бледновато: два великолепно отданных Каннингэмом паса пропали впустую из-за тупейшей игры Энтони Тони, а потом еще этот птенец необстрелянный, Джексон, сумел упустить передачу, а ведь был в такой позиции! Игра, все это мельтешение в тумане, — ребята в наплечниках выдвигаются откуда-то из ничего и туда же возвращаются — не лишена своеобразной красоты, неуловимо связанной с новым положением Кролика в качестве неподвижного центра некоего нового мира, причем связь эта самая непосредственная, личная. Ведущие знай талдычат свое: не видали они, дескать, ничего подобного, в жизни своей не видали.

До него не сразу доходит, что он должен сам что-то изображать в угоду своим посетителям, — недостаточно просто лежать и воспринимать их появление как очередную телепрограмму. Пока идет реклама — здоровенный черный детина демонстрирует исключительную пригодность для спортсменов пива «Миллер», запросто поднимая бильярдный стол и закатывая, как догадывается зритель, все шары в лузу, — он переводит взгляд вниз, на оживленное личико Джуди, такое чистое, лучистое, без единого изъяна, как новенький часовой механизм, и говорит ей заговорщицки:

— Зато теперь мы с тобой знаем, как надо, правда, Джуди? Знаем, как надо менять галс.

— Да — ножницы! — подтверждает девочка, делая руками движение крест-накрест. — Румпель к парусу.

— Все верно, — говорит он. — Только разве не *от* паруса?

Мысли у него затуманены. Голос звучит как чужой, чей-то незнакомый гнусавый, сиплый голос; глотку дерет от манипуляций, которые с ним производили, когда его доставили в больницу, — что-то связанное с кислородом, он тогда понимал все очень смутно, а потом, благодаря какой-то гадости, которую ему впопыхах впрыснули, и вовсе вырубился.

— Гарри, а что говорят врачи? — спрашивает Дженис. — Что дальше-то? — Она сидит в кресле подле его постели, точнее, в кресле-каталке новой конструкции, с виниловой обивкой, которое чем-то смахивает на любимое кресло Фреда Спрингера, только то было неподвижное, а это еще и ездит. Лоб у нее имеет выражение обалдело-встревоженное, рот — тупоумная щель, темный, в полдюйма, проем. В своем двуцветном спортивном костюме и громоздких «адидасах» на ногах она похожа на чемпиона по игре в шар среди старшей возрастной категории; лицо у нее от избытка солнца задубело, возле скул намечаются два валика. Нежная кожа под бровями начинает собираться в складки. В старости мы все больше покрываемся ухабами и рытвинами.

— Один лекарь заявил мне, что у меня сердце атлета, — отвечает ей Гарри. — Чересчур большое. То есть это с наружной стороны оно чересчур большое, а с внутренней, наоборот, маленькое. Слишком толстая мышца. Сердце-то не атласная подушечка к Дню святого Валентина, чтоб ты знала, а сплошная мышца. Оно качает кровь с таким вроде как разворотом. — Используя в качестве наглядного пособия свой кулак, он демонстрирует малочисленной аудитории, как это происходит: удар, пауза, удар, пауза. Джуди зачарованно смотрит на экран монитора, который самому ему не виден; однако он предполагает, что усилия, прилагаемые им ради этой маленькой демонстрации, тотчас фиксируются на кардиограмме. Дженис тоже уставилась на экран, и четыре их глаза, поблескивая, отражают электронное мельтешение, а оба одинаково полураскрытых рта темнеют двумя неотличимыми друг от друга проемами. Прежде он не замечал в их внешнем облике ни единой черточки фамильного сходства. Покуда они смотрят, он продолжает давать пояснения: — Мне в сердце собираются загнать контрастное вещество — для этого в какую-то артерию в паху введут длинную трубку и тогда уже скажут наверняка, в чем причина всех моих неприятностей, а пока, по первому впечатлению, врачи считают, что по крайней мере одна из коронарных артерий у меня закупорена. Свиных отбивных переел, а до этого, в юности, перестарался на спортивной площадке. Ну, да не беда, дело поправимое. Такие времена настали, что шунтировать научились абсолютно всё, — им шунт поставить, что водопроводчику трубу заменить. За последний десяток лет медицина, говорят, научилась творить чудеса.

— Тебе будут делать операцию на открытом сердце? — встревожилась Дженис.

Изображавший работу сердца кулак кажется страшно тяжелым; он осторожно опускает его рядом с собой на простыню и на миг закрывает глаза, чтобы избавить себя от лицезрения обеспокоенной женушки.

— Пока нет. Потом, возможно. Это один вариант. Другой — катетер с баллончиком. Когда катетер проникает в закупоренную артерию, баллончик раздувают, и бляшке капут. Бляшка — так это у них называется, от бляхи, что ли? Я-то думал, бляха это вроде почетного знака за особые заслуги. — Кролика все время подмывает рассмеяться — Дженис не понять, какой безмятежный покой воцарился у него в грудной клетке благодаря закачанным в него лекарствам, какое это чудное ощущение — оказаться наконец в центре неподвижности. Обезболивающее, антикоагулянт, транквилизатор, сосудорасширяющее и мочегонное — все это капает, капает сверху в его организм, раскрашивая больничную реальность в розовые тона благодушно-приподнятого настроения. Ему нравится непрерывность действа — то у него берут кровь, то измеряют давление, то проверяют аппаратуру, капельницы, — и нравится череда сменяющих друг друга крепеньких, ничем не пахнущих молодых особ в накрахмаленных хлопчатобумажных одеждах с кожей цвета населения всех существующих на свете континентов, которые хлопочут над его беспомощной плотью, волнующе сочетая в своей манере держаться подчеркнутую почтительность и грубую бесцеремонность, и на всех хорошеньких мордашках такое сугубо *профессиональное* выражение, ну точно как у актрис на сцене или у гейш в чайном доме. В его нынешнем очумелом состоянии небольшая белостенная палата кажется ему театральной декорацией со множеством входов-выходов, притом в самых неожиданных местах. Палата полуотдельная — за занавесом скрывается его сосед; с утра он все что-то бормотал, стонал, его чистило, но потом затих, видно, успокоился, а может, умер, кто знает? Однако для Гарри спектакль продолжается, и на сцену выходит очередной актер. — О, доктор пришел! — сообщает он Дженис. — Можешь сама его расспросить обо всем, что тебя интересует. Я пока посмотрю матч, а Джуди подежурит у монитора. Как увидишь ровную линию, сразу мне скажи, ладно, Джуди?

— Деда, не шути так, — пеняет ему славная девчушка.

Врач-кардиолог — монументальный краснорожий иммигрант из Австралии, которого зовут доктор Олмен. У него крупный нос крючком, ослепительно белые зубы и прямые выгоревшие волосы. За годы благополучной флоридской жизни его родной рубленый акцент уступил место южной манере растягивать слова. Доктор берет узкую коричневую ручку Дженис в свою толстую красную лапищу, и оба они в глазах Кролика становятся, так сказать, его кардиородителями — встревоженная маленькая орехово-коричневая мать и внешне невозмутимый, рассудительный отец.

— Здоровье-то ваш молодец подзапустил, — говорит ей доктор Олмен, — придется научить его, как нужно правильно о себе заботиться.

— Но что, что именно не в порядке у него с сердцем? — желает знать Дженис.

— Обычное дело, мэм. Утомленное, одеревеневшее, забитое всякой дрянью сердце. Словом, типичное, с учетом возраста, материального положения и прочего, американское сердце.

По телику показывают знакомую, неуместно напористую и чем-то немного смущающую его рекламу калифорнийского вина галло: суть ее в том, что некий типчик идет знакомиться с девушкой по объявлению и вдруг узнает в ней продавщицу из винной лавки, с которой он советовался, какое вино ему лучше всего купить для первого свидания.

— Насколько мы можем судить без данных катетеризации сердца, — излагает доктор Олмен, — основное нарушение достаточно стандартное — сужение левой передней нисходящей артерии, этой, образно говоря, рабочей лошадки всей сердечно-сосудистой системы. По счастью, у него, по-видимому, неплохо развиты коллатерали, проще говоря, обводные пути кровообращения, на них-то он и продержался. Понимаете, мэм, когда сердце начинает испытывать кислородное голодание, оно усиленно пытается разработать вспомогательные русла, которые могли бы снабжать кровью сердечную мышцу. Кроме того, прослушивается слабый шум — он может означать небольшой стеноз клапана аорты. Картина в целом не ах, но видали мы и похуже!

Дженис смотрит на мужа чуть не с гордостью.

— Ой, Гарри! Ты же и правда сколько раз говорил — то у тебя колет, то дышать трудно, а мне и в невдомек было, что это все так *серьезно!* Ты никогда по-настоящему не жаловался.

— *Какое блаженство!*  — мечтательно вздыхает девица из телерекламы под конец свидания, глаза ее словно две лучистые звездочки, само лицо в мягком романтическом фокусе; дураку ясно, что постели им не избежать, если не в первое свидание, так во второе наверняка, как ясно и то, что потом они поженятся и будут жить долго и счастливо — все благодаря бутылке галло.

Доктор Олмен, зачислив Дженис в разряд поддающихся обучению, переходит к следующей ступени — повышенной сложности.

— Итак, если ему и дальше будет везти — если поврежденный участок не окажется в месте бифуркации, разветвления, сосудов и если кальциноз пока не слишком велик, — в этом случае большинство врачей дали бы вам совет не спешить и начать скромно с ангиопластики, а там переждать и поглядеть, как будет дальше. Однако мое личное мнение таково, что при всех очевидных преимуществах этого подхода, который, возможно, щадит ваши нервы и деньги — об этом тоже нельзя забывать, разумеется, особенно теперь, когда «Медикэр» поднимает лапки кверху, а наш новоявленный президент клянется, что новых налогов не будет, — так вот, при всех этих психологических плюсах нельзя забывать о половинчатости такого решения, поскольку вероятность повторного стеноза очень велика и, значит, все придется начинать сначала, шансов в общем-то пятьдесят на пятьдесят, но, честно говоря, скорее пятьдесят против, чем пятьдесят за. Поэтому если вы спросите меня, я не стану ходить вокруг да около и скажу вам прямо и честно: хотите решить проблему кардинально — шунтирование. Как у вас в Штатах говорят: не связывайся с сопливым мальчишкой, если можешь иметь дело с мужчиной. Ну-с, мэм, какие еще сердечные дела вас интересуют?

— Все, все, — говорит Дженис, и глаза ее, как звездочки, горят от радости, что вот нашелся мужчина, который по доброй воле хочет ей что-то объяснить и растолковать; у нее даже кончик языка высунулся наружу, до того она преисполнена желанием сконцентрироваться и не пропустить ни слова.

— Вот это я понимаю! — игриво говорит доктор Олмен и, сжав одну руку в здоровенный кулак, пальцами другой начинает показывать ей, как располагаются венечные артерии на поверхности сердца и как их ветви проникают в неустанно работающую мышцу-трудягу. Гарри, которому все это уже было показано и рассказано, знаком подзывает Джуди подойти поближе. На девочке то же, что и в день приезда, нарядное розовое платьице, а на затылке, у основания косички, белый бант. Во время вчерашней морской прогулки у нее немного подгорели крылья носа и нежная кожица под ясными зелеными глазами, где веснушки у нее совсем крохотные и редкие. Она все смотрит на монитор как приклеенная.

— Что там видать? — сипло спрашивает он ее.

— Такой маленький червячок ползет и дергается, ползет и дергается все время.

— Это жизнь, — говорит он ей. — Жив, значит, твой дед.

Повинуясь безотчетному порыву, Джуди прижимается к койке и, пытаясь обнять его, сдвигает с места прикрепленные к его торсу трубочки и проволочки.

— Ой, дедушка! — говорит она, обуреваемая раскаянием. — Это все из-за меня.

Ее дыхание горячит ему шею. Он — как может — рукой, свободной от капельницы, прижимает ее к себе.

— Не глупи. Ты-то в чем виновата?

— Там, вчера. Я тебя напугала.

— Нет, милая, не ты. Мексиканский залив меня напугал. А ты сама разве не испугалась?

Онемев от слез, она трясет головой — мол, нет.

Вот те раз, еще один сюрприз для него.

— Нет? Как так?

Ее чистое личико принимает вороватое выражение — как бы становится на цыпочки, — которое у взрослой женщины говорит о намерении соврать. Семеня словами, как шажочками, она отвечает:

— Ты же был рядом, дедушка. И вокруг в море было много всяких лодок.

Он снова стискивает ее в своих тенетами опутанных объятиях — ее изящное детское тело такое податливое, словно из него что-то вынули, какой-то стержень; у него свербит в горле, наверно, соленой воды вчера наглотался. Глаза подергиваются горячими благодатными слезами. В телевизоре широкоплечие, узкобедрые мужчины, подобно олимпийским богам, прорываются сквозь облака тумана. Невозможно разглядеть даже, кто белый, кто черный. Но комментаторы, хоть сами ничегошеньки не видят, продолжают без умолку что-то орать своими надсадными от вечного перевозбуждения голосами. Потом влезает реклама: неутомимый «субару», переваливаясь, карабкается вверх по кургану из автомобильных остовов.

— Хочешь переключить на что-нибудь другое? — спрашивает он у Джуди и перекладывает ее ручку со своего перебинтованного запястья, где она делает ему больно, на пульт дистанционного управления телевизором, протянутым навстречу ему бежевой металлической рукой. Он снова откидывается на подушку, и ему кажется, что белые стены палаты раздвигаются вокруг него до бесконечности, как вчерашний океан, и его больничная койка — утлый плот. Джуди щелкает по разным каналам: соревнования по борьбе, праздничное открытие на стадионе новогоднего матча между университетскими футбольными командами, рекламный ролик с Карлом Молденом[[77]](#footnote-77), угрюмо предупреждающим нас, что от ограбления никто не застрахован, «кроме тех, кто пользуется кредитными карточками «Америкэн экспресс трэвеллерс чекс», какая-то пара фигуристов в черном посреди сверкания льда, пародия-ужастик о том, легко ли быть молодым оборотнем в Лондоне, и другой фильм — «Кулаки Брюса Ли» (название возникло на экране во время секундной паузы-напоминания). В жестоких поединках кунг-фу достаточно притягательности, чтобы на несколько минут задержать внимание Джуди. Обрывки фраз, которые доктор Олмен доверительно и в то же время по-австралийски бодренько, так что его прекрасно слышат и все остальные, говорит Дженис, вплетаются в экранное действие — череда смертоносных ударов, плавно замедленных по воле режиссера, мягкие размывы утонченного восточного колорита, «...предварительное обследование... застойные явления в легких — обычное следствие инфаркта миокарда... обратный ток крови... проникновение в легочную ткань... гидралазин... перикардит... дилантин... кожная сыпь... диарея... облысение... рука не поднимается имплантировать кардиостимулятор совсем еще не старому человеку...»

Брюс Ли отбивается ногами — раз, другой, третий, — и три подонка в живописном облачении замедленно разлетаются в разные углы комнаты, мебель крошится, как хрустящее китайское печенье с билетиками на счастье внутри, но тут Джуди снова неожиданно переключает программу и попадает на его любимую рекламу какого-то увлажняющего крема — Гарри никак не может запомнить его название, но зато блуждающее на лице девушки-фотомодели выражение он запомнил, кажется, на всю жизнь: ах, как она улыбается поверх обнаженного плеча, мимоходом обернувшись, прежде чем стыдливо скрыться за дверью ванной комнаты, и потом, когда она снова выходит оттуда, какой истомой, каким блудливым удовлетворением дышит весь ее облик — мокрые волосы замотаны тюрбаном из мохнатого мягкого полотенца, грудь с ложбинкой посередине открыта тютелька в тютельку до сосков, а дальше стоп, конец экрана, так и хочется оттянуть его книзу, замедлить действие, как в фильме про кунг-фу, хоть на тридцатую долю секунды, тогда, может, и сосок удалось бы подглядеть, — как расслабленно, размягченно она опускается на голубой бархатный диван, будто она на вершине блаженства и ей больше нечего желать, чудесные глаза прикрыты лоснящимися от крема веками, бровки чуть широковаты, как у Синди Мэркетт; остается последняя часть ролика, где она уже в вечернем платье готовится к выходу, но зрители понимают, что и под золотой парчой ее кожа остается здоровой и увлажненной... «Погоди, детка, погоди» — он чует, что Джуди уже приспичило щелкать по каналам дальше, и пытается перехватить ее руку, но опаздывает, они снова вернулись к оборотням (мальчишка корчится в телефонной будке, лицо его зарастает косматой шерстью), потом к фигуристам (партнерша, оттопырив задок, скользит прямо на экран, коротенькая юбочка задралась кверху); потом Гарри чувствует укол боли в запястье — видимо, дернув рукой, он слишком сильно натянул трубку капельницы, — и шаловливый призрак вчерашней боли будто в шутку шевельнулся у него в груди. Наверно, действие демерола заканчивается. У него на столике, рядом с кроватью, вместе с телефоном и стаканом несвежей воды, стоит коричневый пузырек с нитроглицерином, и он трясущейся рукой вытряхивает таблетку и сует ее под язык, как его здесь научили. Под языком жжет, но самое смешное, что через минуту-другую у него начинает щекотно пощипывать в заднем проходе.

— Он у вас остреньким-солененьким сильно увлекается? — интересуется доктор Олмен.

— Ой, и не спрашивайте, — с пылом подхватывается Дженис, — он насчет этого чистый маньяк.

Жена, вдруг отчетливо понимает Гарри, это как телеканал, который тебе не дано переключить. Все тот же высоковатый лоб, все тот же туповатый, упрямый проем рта, изо дня в день, в одно и то же время, на одной и той же программе. Задрав голову, она глядит снизу вверх на большую, красную, блондинистую физиономию врача, как на прекрасную и поучительную в своей красоте картину заката. Спелись, голубчики, прямо дуэт, ишь как ловко делят его пополам. Один захапал то, что у него внутри, другая — то, что снаружи.

Вишнево-красный «субару» теперь мчится по серпантину на фоне гористо-скалистого пейзажа американского Запада, который так возлюбили изготовители автомобильной рекламы. Потрясающая, сверкающая девица, худая, как вешалка, с ямочками на щеках и квадратным подбородком, как прибавившая в росте Одри Хепберн времен «Завтрака у Тиффани», выступает из машины с загадочной улыбкой; на голове у нее гоночный яйцеобразный шлем, а ее сногсшибательный наряд сшит как будто бы из множества искрящихся веревок. Может, прав Нельсон и «Тойоте» действительно не хватает фантазии? Взять их рекламу — люди прыгают до небес на радостях, что им удалось сэкономить несчастный грош. Телевизор возвращается к праздничному шествию на стадионе: молодежь, цветы, гигантский надувной кот Гарфилд, важно покачиваясь, плывет над головами. Установившийся внутри у Гарри под воздействием лекарств свой, особый микроклимат, как ему кажется, реагирует на бушующую где-то вдали грозовую бурю — далекую, как пятна на солнце или ураганы на Юпитере. Помимо истории, не менее суеверную тягу Гарри испытывает и к астрономии. Отче наш, иже еси на небеси...

— ...залежи жира в его организме, — клокочет доктор Олмен, — реки и моря; при таком раскладе часть его *неизбежно* откладывается. Жирное мясо, свиная колбаса, ливерная колбаса, копченая колбаса, сосиски в тесте, арахисовое масло, соленые орешки...

— Он сам не свой до всего этого, дай ему волю, так бы и жевал все подряд без остановки, — подпевает доктору Дженис, заискивая, любезничая, предавая собственного мужа. — А орешки особенно — это его слабость.

— Скверно, очень скверно. Для него хуже не придумаешь, — говорит доктор Олмен, голос его набирает скорость, разгоняется, он уж и слова растягивать перестал. — Это же *сплошной* жир, не говоря о соли, а кешью, макадамия[[78]](#footnote-78) просто кошмар, макадамия то есть, но и другие тоже вредные, очень, очень вредные. — Войдя в раж, он постепенно наклоняется над ней, все ниже и ниже, будто собирается пробить трудный патт. — Маргарин, кокосовое масло, пальмовое масло, сливочное масло, животный жир, яичный желток, цельное молоко, мороженое, плавленый сыр, творог, любое мясо и субпродукты, все эти готовые замороженные обеды, готовая выпечка, практически все, что вы покупаете в упаковке, в вощеных бумажных пакетах, все это, мэм, сплошная отрава, яд, чистейший яд. Я потом дам вам список, дома изучите.

— Дать-то вы мне его, конечно, можете, но вообще моя невестка без пяти минут диетолог. У нее этих списков видимо-невидимо. — Ну, вот и Пру дождалась своего выхода: она появляется на сцене, точнее, в дверном проеме, словно бы нерешительно, почти целиком закрыв его своей по-женски широкой фигурой, облаченной в дорожный костюм с рисунком из объемных шашечек. Дженис, ничего вокруг не замечая, продолжает поливать елеем доктора Олмена: — Все, что вы сейчас говорите, моя невестка твердит Гарри годами, да разве он слушает? Думает, к нему это все не относится, думает, ему всю жизнь будет восемнадцать.

Доктор возмущенно фыркает.

— Даже безусые юнцы, с их бурным обменом веществ, не сжигают всех жиров и углеводов, которыми пичкает их здешняя пищевая промышленность. Сердечные приступы у подростков встречаются сплошь и рядом, — тут его голос опять мягчеет, как у чистокровного южанина, — по всей нашей благословенной стране.

Пру выступает вперед вместе со своей трехмерной объемностью.

— Дженис, вы уж меня простите, — говорит она, все еще испытывая неловкость, оттого что называет свекровь просто по имени, — я знаю, много посетителей сразу ему вредно, но Нельсон там уже беснуется, боится, что еще немного и мы опоздаем на самолет.

Дженис вскакивает так резко, что кресло-каталка, качнувшись, как маятник, поддает ей сзади. Она хватается руками за воздух, но равновесие кое-как удерживает.

— Я ухожу. Ты попрощайся и выходи вместе с Джуди. Гарри, я провожу их на самолет и на обратном пути к тебе заскочу. Только учти, сегодня вечером в Вальгалле устраивают выставку оригами[[79]](#footnote-79), и я очень хочу туда успеть. — Она выходит, и Джуди, выключив телевизор прямо посреди ужасно забавной, буффонадной рекламы автомобильных глушителей «Мидас», выходит с нею вместе.

Доктор Олмен яростно трясет руку Пру и, демонстрируя белые акульи зубы, внушает ей:

— На вас вся надежда, мэм. Научите наконец этого упрямого барана нормально *питаться*. — Он поворачивается к Гарри и легонько, расслабленным кулаком, тычет его в плечо. — Без малого полвека, старина, — говорит он, — вы забивали нутро всякой дрянью, может, хватит? — После чего он тоже выходит из палаты.

Гарри и Пру, неожиданно оставшись наедине, вдруг оба смущаются.

— Ну и субчик, — говорит Гарри, — ему был бы только повод Америку поругать. Еда ему, видите ли, наша не нравится. Ну и возвращался бы туда, откуда приехал, лопал бы там своих кенгуру, чем тут мучиться.

Его рослая невестка нервно теребит длинные красные кисти рук, вертит на пальце обручальное кольцо, но все же подходит к кровати и встает у него в ногах.

— Гарри, — произносит она. — Послушайте. Мы просто *убиты* тем, что с вами случилось.

— Ты — а кто еще? — интересуется он, твердо вознамерившись держаться роли мужественного героя-весельчака: Хамфри Богарт в аэропорту Касабланки, Эррол Флинн в сражении на реке Литл-Биг-Хорн, Джордж Сандерс в рушащемся храме богу Дагону, Виктор Мэтью, голыми руками раздвигающий могучие колонны[[80]](#footnote-80).

— Нельсон, естественно. Мне кажется, он прошлой ночью глаз не сомкнул, так был расстроен. Он не умеет сам сказать, но он вас любит.

Гарри смеется, тихо так, ласково — боится, как бы не лопнула по швам атласная подушечка в форме сердца у него в груди.

— Мы с сыном, несомненно, испытываем друг к другу определенные чувства. Не уверен только, любовь ли это. — И поскольку она молчит, глядя на него неподвижными, зеленоватыми в темных крапинках глазами, из которых путем дистилляции получились Джудины, более светлые и чистые, он продолжает: — То есть я-то, конечно, люблю его, вопрос только, кого «его»? Возможно, того, кого давно уже нет — маленького худенького мальчонку, который смотрит на тебя с надеждой снизу вверх, смотрит и видит, как ты снова и снова обманываешь его надежды. Такое из памяти не выкинешь.

— Да, это крепко засело, здесь-то и причина всего, — заверяет его Пру, не уточняя, чего «всего».

Ее сфинксообразная прическа сегодня несколько всклокочена, замечает Гарри, наблюдая ее в ярком больничном свете, — вокруг всей головы топорщатся непослушные бесцветные волоски-проволочки. Он чувствует, что ей о многом хотелось бы ему рассказать, да она не осмеливается. Он вспоминает, как она возникла, повиснув где-то высоко, прямо над ним, бездыханным, там, на пляже, вся из тревоги и женской плоти, лицо в тени, не разглядеть, а рядом, словно грозовая туча, лицо Зильберштейнова сынка, его жесткие от соли чернявые завитки, его масляно-ореховая кожа, нахальный бугор, оттопыривающий спереди его тесные плавки, и тут же пятигранная эмблема «Омни» — ишь, дамский угодник, вот кто пока еще на коне и на скаку. Хей-хо, Сильверс, счастливо оставаться!

— Расскажи мне лучше о себе, Пру, — просит Кролик. Слова эти так легко выскальзывают из его осипшего горла, как будто его нынешнее положение лежачего больного и успокаивающее действие лекарств подвинули их на новый, более интимный, уровень доверительности. — Ты-то *сама* как живешь с ним? С Нельсоном. Тяжко приходится?

Странно, но факт: люди довольно часто отвечают на вопрос, поставленный прямо в лоб, — можно подумать, мы все только и ждем, зарывшись каждый в свою нору, когда нас оттуда вытянут. Без всякого промедления она отвечает:

— Он прекрасный отец. Это я говорю совершенно искренне. Заботливый, любящий, интересы детей у него всегда на первом месте. Когда он может сфокусироваться.

— А что ему мешает сфокусироваться?

Теперь она медлит, машинально вертит на пальце кольцо.

Такое впечатление, что Флорида вся составлена из взаимозаменяемых компонентов: прямо напротив его больничного окна растет норфолкская сосна и в кроне ее живет невидимая птица, которая кричит скрипучим голосом. Он слышал ее крик утром и сейчас слышит снова. В груди у него эхом отзывается боль. На всякий случай он берет еще одну таблетку нитроглицерина.

— Я думаю, магазин, — наконец выдает Пру. — Он очень нервничает. Торговля в последние годы идет вяло — покупательная способность доллара падает и что-то там еще не так, и модели, как он утверждает, «скучные», и вообще, по-моему, он боится, как бы «Тойота» не прикрыла у нас свое представительство.

— Да их под дулом пистолета к этому не принудишь, разве что бомбой кто пригрозит. «Тойоте» грех на нас жаловаться, уж сколько лет с ними работаем, да так, что комар носа не подточит. Когда Фред Спрингер приобрел лицензию, японскую продукцию еще никто всерьез не принимал.

— Так ведь с тех пор сколько воды утекло. Недаром говорят — все меняется, — замечает Пру. — Нельсону не хватает терпения и, сказать по совести, я думаю, ему страшновато одному — из старой-то гвардии совсем никого не осталось: сначала Чарли, потом Мэнни, а теперь вот еще и Милдред, хоть он и сам ее уволил, вас тоже нет рядом полгода, Джейк переметнулся к «Вольво — Олдс» — знаете, там, возле нового торгового центра в Ориоле, — а Руди открыл собственный магазин «Тойота — Мазда» на 422-й. Ему, правда, очень одиноко, общаться практически не с кем, волей-неволей приходится водить компанию со всякими сомнительными типами из Северного Бруэра.

При мысли о «сомнительных типах» все новые и новые волоски у нее на голове от негодования встают дыбом, поблескивая, как нити накаливания в сиянии флуоресцирующего флоридского света. Она пытается ему сказать что-то важное, но это что-то от него все время ускользает, и надо бы догнать, добить, докопаться, но разве по силам это тому, кто сам чуть живой валяется в постели? У Кролика сейчас одна забота — беречь сердце. Это вопрос жизни и смерти. Похоже, действие лекарств на исходе. Смертельный ужас от осознания того, что с ним происходит, подкатывает к самому горлу, нарастает, печет, как едко-кислая изжога. В заду свербит — все четко, как по расписанию. В нем поселилась какая-то зловредная слабость, которая в любую минуту может отдать его в цепкие лапы той ледяной кромешной тьмы, которая не дает ему покоя после жутких рассказов Берни.

Пру пожимает плечами, запоздало отвечая на его вопрос, как ей живется:

— А какой должна быть жизнь, кто-нибудь знает? Она ведь у нас одна, другой никто не предложит, чтобы было с чем сравнивать. Меня устраивает, что я живу в Пенсильвании, что у меня свой большой дом. В Акроне мы только и делали, что переезжали с квартиры на квартиру, вечно не было денег расплатиться в срок, вечно в туалете что-то текло.

Кролик честно старается поднять себя на ее уровень, вырваться из хватки сугубо личного, эгоистического страха кромешной тьмы, избавиться от его кислого, изжогового привкуса.

— Ты права, — говорит он. — Быть благодарным — золотое правило. Однако непросто это, быть благодарным. Складывается впечатление, что над тобой с самого начала кто-то решил поиздеваться и сунул тебя в этот мир испуганного и голодного, а единственный доступный тебе выход тоже не радует. Эй, послушай! Послушай-ка, что я тебе скажу. Ты ведь еще молода. Ты красивая женщина. Ну, улыбнись. Улыбнись мне, Тереза.

Пру улыбается и, обойдя кровать, наклоняется поцеловать его, не в губы, как тогда, в аэропорту, а в щеку, стараясь не задеть торчащие у него из носа кислородные трубки. Она так близко от него и ее так много, будто навалилось что-то огромное, клетчатое, матерчатое, будто его накрыло облаком, как вчера в заливе, когда его накрыло тенью от корпуса опрокинутой набок лодки, и ему было одновременно холодно и жарко, все сразу. Ему делается дурно. Голая объективная правда его нынешнего состояния лезет все выше и выше, рвется наружу, жжет ему горло, еще немного и он захлебнется ею.

— Вы славный человек, Гарри.

— А то. Увидимся весной, на вашей территории.

— Как-то нехорошо получается, что мы вот так вас бросаем, но Нельсону непременно хочется быть завтра на новогоднем вечере в Бруэре, да и в любом случае билеты поменять невозможно, сейчас все рейсы забиты, даже до Ньюарка.

— Да чем вы мне поможете? — успокаивает он ее. — Все будет в порядке. Может, это такой замаскированный подарок судьбы. Надо же как-то образумить мою дурную старую башку. Заставить наконец сбросить вес. Ходить пешком, не есть что попало. Вон доктор хочет, чтоб я вышел отсюда другим человеком.

— Ладно, а я обязуюсь покрасить ногти на ногах, — снова распрямляясь во весь свой рост, говорит Пру низковатым ровным голосом, до сих пор ему, пожалуй, не знакомым, но без сомнения рассчитанным на мужчину. — Не меняйтесь *слишком* сильно, Гарри. — И напоследок она добавляет: — Я пришлю Нельсона.

— Если ему невтерпеж ехать, пусть уж едет, не беда. Увидимся с ним в Пенсильвании.

Уголок ее рта, дрогнув, оттягивается книзу, лицо чуточку цепенеет: она покороблена неуместностью его предложения.

— Он *обязан* повидаться с отцом, — отрезает она.

Пру выходит. Стерильно-белый мир вокруг Гарри раздвигает границы. Когда все наконец отбудут, он позволит себе роскошь позвонить в звонок и вызвать сестру, чтобы дала ему еще демерола. И посмотреть, как там «Орлы» барахтаются в тумане. И хоть на минутку закрыть глаза. Блаженство.

Нельсон входит с карапузом Роем на руках, хотя детей до шести лет по правилам к больным пускать не должны.

Сын держит ребенка, словно щит: пока на руках у него его собственный сын, разве повернется язык сказать что-то против него? Рой смотрит на Гарри возмущенно, очевидно, подозревая, что деда неспроста уложили в кровать и подсоединили к разным непонятным машинкам, — не иначе тут готовится какая-то каверза. В ответ на попытку Гарри лучезарно улыбнуться ему и подмигнуть по-дружески Рой, мотнув головой, как от увесистой затрещины, прячет лицо на отцовской шее. Судя по всему, Нельсон тоже в шоке; его взгляд то и дело скачет вверх — к монитору, по которому все бежит и бежит, подергиваясь, отцова жизнь, и снова, опасливо, вниз — на отцово лицо. Не выпуская из рук обалдело выпучившего глазенки дитятю, Нельсон делает несколько шагов к кровати и кладет на стоящую тут же тумбочку с хромированным ободом по краям сложенную в несколько раз «Ньюс-пресс» — рядом с телефоном, стаканом и пузырьком нитроглицерина.

— Вот газета, если захочешь почитать. Там довольно много про авиакатастрофу «пан-амовского» самолета, ты ведь интересуешься? Вроде теперь уже точно знают, какая там была бомба — с барометрическим устройством, которое приводит в действие часовой механизм, как только самолет набирает определенную высоту.

Все выше, и выше, и выше; воздух разряжается, барометр фиксирует давление, часовой механизм начинает тихонько тикать — самолет безошибочно прокладывает курс сквозь кромешную тьму, пилот переговаривается по рации, на пульте горят и подмигивают огоньки, пассажиры клюют носом над которым уже стаканом, каждый в своем гнездышке из пластика пастельных тонов. Это видение, подобно сухому зерну, которое, оказавшись во влажной почве, разрывает наконец свою оболочку, раскрывает Гарри глаза на неопровержимую истину: даже сейчас, когда он лежит, погруженный в стерильную белую пелену, опутанный проводами и трубками и узами крови и брака, он ничем, по сути, не отличается от несчастных пассажиров, вызывающих в нем такое острое сострадание, от всех тех, кто выпадает из разверзнутого чрева самолета, — он ведь и сам падает, беспомощный, летит, сорвавшись вниз, навстречу смерти. Судьба, подкарауливающая его по ту сторону призрачной кисеи больничной опеки, точно так же неотвратима, как судьба, принявшая в свои объятия тела, шмякнувшиеся с высоты на болотистую шотландскую землю, точно заполненные водой мусорные мешки. *Шмяк, шлеп!* Клочья тел, разлетающиеся по полю для гольфа и вересковым тропинкам Локерби. Их участь не страшнее того, что предстоит ему самому. Реальность настигла злополучных пассажиров, когда они поедали дежурный самолетный обед, какую-нибудь курицу, ковыряя ее распечатанными ножами и вилками, или же дремали, пока в уши к ним по проволочкам вливался голос Барри Манилова[[81]](#footnote-81), — и эта же ледяная, чернущая реальность настигла теперь и его; смерть вовсе не ручная зверушка, которую себе на потеху завела хозяйка-жизнь, а зверюга, пожравшая крошку Эмбер, и его малютку Бекки, и сиракьюсских студентов, и возвращавшихся домой солдат[[82]](#footnote-82), и ныне разинувшая пасть на него, — вот же она, здесь, рядом, прямо под ним, огромная, как планета в ночи, необъятная и в то же время только его, его и ничья больше. Его смерть. Жжение в его натруженном горле становится нестерпимым, он вот-вот задохнется от ужаса.

— Спасибо, — сдавленно хрипит он в ответ на слова сына. — Прочту, когда ты уйдешь. Чертовы арабы. Я беспокоюсь, что ты опоздаешь на свой самолет.

— Не о чем беспокоиться. У нас еще куча времени. Тут ведь даже мама при всем желании не сможет заблудиться, как считаешь?

— Отсюда двигайтесь на восток до 75-й, а там на юг до съезда. Дорога немного странная, вроде как не ведет никуда, но проедете три мили и увидите аэропорт. — Гарри вспоминает, как он сам ехал по этому загадочному шоссе — непривычное отсутствие рекламных щитов, тощие пальмы словно мазки краски, цыпочка цвета какао в красном «камаро» и форменной шапочке бортпроводницы, которая повисла у него на хвосте и после даже не удостоила взглядом, ее вздернутый нос и оттопыренные губы, — все это кажется теперь нереальным, покрытым, словно лаком, искусственным солнечным светом, вроде того желтого света от софитов, который в телешоу имитирует свет солнца. Выходит, в том оставшемся позади мире у него не было ни тревог, ни забот. Он пребывал в раю, сам об этом не догадываясь. Он чувствует, как его тело от страха покрывается испариной, чует запах собственного пота, липкого, как слизь на дне колодца, и видит Нельсона, который стоит перед ним в лучах искусственного света, озаряющего мир, не ставший покуда добычей смерти, — Нельсона, опрятного, подтянутого, в бежевато-сером костюме, сменившем джинсовую куртку, бывшую на нем, когда он прилетел, однако воротничок рубашки расстегнут, как и тогда, так что вид у него словно у игрока, просидевшего ночь напролет за покерным столом и по ходу дела избавившегося от галстука; надо же, почти неделю пробыть здесь и умудриться носа на солнце не высунуть. Грязная клякса его усиков действует Гарри на нервы, а сын, как назло, постоянно привлекает к ней внимание, бесконечно шмыгая носом и теребя его пальцами, будто его обоняние страдает от запаха липкого отцова пота.

— Да, папа, еще я заметил там, на спортивных полосах, снова мусолят дело Дейона Сандерса, а в разделе «Б», не помню точно где, есть забавная статья насчет того, как избавляться от жира и дряблости, — обхохочешься.

— Избавляться, м-да. У меня не только снаружи, внутри все дряблое.

Эта реплика — сигнал для сына, который должен среагировать на нее озабоченным выражением лица и вопросом:

— Да, кстати, как ты сейчас? — Лицо отпрыска немного бледнеет от страха, что отец возьмет да и скажет все как есть. Причесочка у него под стать усам, кого хочешь из себя выведет: сверху коротко, сзади длинно — жиденький такой крысиный хвостик, ну надо же! И еще сережка в ухе.

— Ничего, бывает, говорят, хуже.

— Ну и отлично. Пока мы сидели в коридоре, к нам подошел врач, здоровенный такой мужик с чудным акцентом, поговорил с нами немного — сказал, между прочим, что многие не выдерживают и погибают именно при первом инфаркте, а ты легко отделался и для тебя главное сейчас, по крайней мере в ближайшем будущем, немного подкорректировать образ жизни.

— У этого малого просто пунктик насчет картофельных чипсов и сосисок в тесте. Если Господь не желал, чтобы мы потребляли соль и жир, зачем Он тогда наделил соленое и жирное таким соблазнительным вкусом?

Глаза Нельсона темнеют, в каждом будто черный пчелиный рой, — так всегда, стоит его отцу помянуть Господа. Разговор не клеится, увязает на каждом слове, нет в нем живого естественного течения. Гарри не может отделаться от мысли, что он падает, падает вниз, и сын точно гиря у него на груди. *Ну же, давай*, подхлестывает он себя, *попытайся. Жизнь одна, будет ли еще случай?*— Пру говорит, ты всю ночь не спал, беспокоился.

— Ну, это сильно сказано, но, в общем, вроде того. Сам не знаю, отчего мне тут не спится. Какое-то тут все ненатуральное — это одно, а другое — такая куча дел и заморочек осталась в Бруэре, что не больно разотдыхаешься.

— Это ты про магазин? Ну, неделя между праздниками обычно довольно вялая. После Рождества все ползают как сонные мухи.

— Ну да, магазин, дела, но не только. Такое впечатление, что все сговорились по поводу и без повода тебя дергать.

— Так это и есть жизнь, Нельсон. Дерготня.

— Наверно.

— Я вот все думаю о нашем разговоре — о том, что «тойоты» такие невозможно скучные. Но справедливости ради ты должен признать, что они стараются внести в свои модели какие-то интересные новшества. Осенью, как ты знаешь, на рынке появится седан в люксовом исполнении — «лексус». Аж восемь цилиндров.

— Угу, только нам, обычным дилерам, его продавать не доверят. Под эту модель специально создается совершенно новая сеть реализации. И на здоровье, все равно провалятся с треском. Японцы это тебе не итальянцы. Люксовые машины не про них.

— Действительно, я совсем забыл об особой схеме для «лексуса». Говорю же тебе, Нельсон, мне трудно сосредоточиться. Все как в тумане.

— Поздравляю. Не у тебя одного, — отвечает Нельсон.

— И — ах, да, сводки о продажах. Не выходят у меня из головы. У тебя что, туго идут подержанные? Не жадничай. Больше чем на десять процентов навара рассчитывать глупо, лучше немножко пожертвовать прибылью, чтоб не снижать оборот.

— Ладно, пап. Как скажешь. Разберусь.

Разговор опять пробуксовывает. Рой начинает елозить, высвобождаясь из папашиных объятий. Гарри все падает, падает; свет — всего лишь оболочка тьмы, тоньше, чем обшивка самолета, тоньше, чем алюминиевая банка из-под пива. Скорей хватайся за что-нибудь, все равно за что.

— Какая она оказалась прекрасная женщина, твоя Пру, — говорит он на пробу первое, что приходит на ум.

Сын, похоже, несколько ошарашен.

— Да вроде ничего. — И сам решает позволить себе толику откровенности: — Ей со мной, конечно, не сладко приходится. Надо с этим что-то делать.

— Что, например?

— Что! Вести себя как положено. Повзрослеть наконец.

— Мне ты и так почему-то всегда казался взрослым. Даже не по возрасту. Может, это потому что я сам не был образцом взрослости и солидности.

— Ну, так тем более. То есть тем больше оснований для меня.

Интересно, это только мерещится Гарри или действительно он слышит какие-то невнятные звуки, вроде сухого покашливания, доносящиеся из-за занавеса, из невидимой ему больничной кровати? Его призрачный сосед, выходит, жив! Сыну он говорит:

— Я уже серьезно беспокоюсь, что вы не успеете на самолет.

— Да, кстати, ты уж извини, что мы вот так бросаем тебя. Я себя из-за этого паршиво чувствую. Мы с Пру вчера весь вечер крутили так и этак, думали, может, задержаться на несколько дней, но ведь все так сложно, шут его знает почему: вечно строишь какие-то планы, а потом сам же в них увязаешь по уши.

— Кому ты объясняешь? Ну, остались бы вы, а что толку? Даже и не думай. Папахен твой в полном порядке. Мне просто надо научиться жить с не очень здоровым сердцем. Ну, дал сбой мотор, с кем не бывает. Чарли вон двадцать лет с таким мотором тянет, а я чем хуже? — Но после такого прекрасного начала Кролик, не удержавшись, прибавляет, рискуя опуститься до слезливой, прилипчивой, унылой сентиментальности: — Хотя, конечно, глупо сравнивать: маленький жилистый грек это тебе не большой тучный швед.

Нельсон уже весь как на иголках. Весь дрожит, до того ему хочется поскорей убраться отсюда.

— Ну, ладно, па. Ты, наверно, прав, надо нам потихоньку трогаться. Поцелуй дедушку и пойдем, — говорит он Рою.

Он быстрым движением наклоняет к нему внука, будто стряхивая на Гарри живой футбольный мячик, чтобы тот чмокнул на прощание деда в щеку. Но вместо поцелуя Рой хватает в кулак сдвоенную голубенькую кислородную трубку, вставленную Гарри в нос, и рвет ее на себя.

— О черт! — говорит в сердцах Нельсон, демонстрируя наконец какие-то эмоции. — Ты как? В порядке? Больно? — Смачно шлепнув сынка по заду, он ставит его на пол.

Больно не больно, скорей обидно — грубая выходка, что и говорить, главное неожиданная, и в носу теперь щиплет, но Гарри ничего другого не остается, кроме как рассмеяться.

— Не беда, — бодрится он. — Эту штуку просто цепляют на нос, вроде как очки, только вверх ногами. Кислород мне вообще-то без надобности, дали уж для порядка, в качестве бесплатного приложения.

Рой, пройдя несколько шагов на упруго-резиновых от злобы ножках, бухается на сверкающий пол рядом с кроватью. Там он корчится и издает какие-то квохчущие, как от удушья, звуки, а Нельсон нагибается и снова как следует поддает ему.

— Да оставь ты его, — говорит ему Гарри ровно, без всякого нажима. — Он думал, что делает благое дело. — Свободной рукой он кое-как прилаживает на место две бледно-голубые трубочки от кислородного дозиметра — одну за одно ухо, другую за другое, снова насаживает зажим на носовую перегородку и в ту же минуту слышит ласковое обогащающе-насыщающее шипение. — Наверно, считал, что помогает дедульке прочистить нос — просморкаться, короче.

— Поганец ты эдакий, ты чуть собственного деда на тот свет не отправил, — поясняет Нельсон суть происшедшего бойко извивающемуся пострелу, которого ему приходится рывками и пинками извлекать из-под кровати.

— Скажешь тоже, — ворчит Гарри, — так легко от меня не отделаешься, — и сам начинает в это верить. Рой, у которого от лица будто вся кровь отлила, вновь обретает голос и издает истошный вопль, яростно вырываясь из хватки Нельсона. Резиновые каблучки сестер уже спешат к ним по коридору. Невидимый сосед по палате внезапно громко стонет за своим белым занавесом каким-то жутким клокочущим стоном тяжелого легочного больного. Рой бьется, как выброшенная на берег рыбешка, и, по-видимому, пинает Нельсона в живот. Гарри невольно хмыкает, во дает пацан! А трубку как выдернул — хвать и готово! Ну, ловкач. Может, своей четырехлетней головенкой он рассудил, что трубки — это змеи, впившиеся дедушке в лицо; а может, они ему просто не понравились.

Нельсон, хоть руки у него заняты, ухитряется пригнуться к кровати и, не задев хитросплетения жизнеобеспечивающих соединений, чмокнуть-таки Гарри в щеку и тем исполнить обязанность, понапрасну возложенную на Роя. Теплое усатое прикосновение. Укол морского ежа. Оживший водяной за занавесом снова изрыгает из неведомых глубин клокочущий, крушащий все на своем пути стон. В палату заходят встревоженные сестры; щеки у всех пылают. А вот и старшая сестра собственной персоной со своими вощеными, сложнопереплетенными косицами: полюбуйтесь-ка, дети, сколько черных спагетти.

— Эй, чуть не забыл! — спохватывается Гарри, когда Нельсон уже пыхтя волочит своего орущего, извивающегося отпрыска по коридору, навстречу Пенсильвании. — С новым восемьдесят девятым!

## Часть вторая

## ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Солнце — луна, восход — закат: вертятся, вертятся натруженные колеса старушки-природы; во Флориде, где береговая полоса встречается с морем, колеса эти сталкиваются, но в Пенсильвании их ход приглушен, сглажен, припорошен, окутан в покровы чего-то давно и наизусть затверженного. В Пенн-Парке, на четверти акра, которые Дженис и Гарри приобрели десяток лет тому назад, ближе к соседнему дому, облицованному клинкером, растет плакучая вишня, и он любит возвращаться так, чтобы застать ее в цвету, числа десятого апреля. К этому времени и бейсбол как раз сдвигается к северу (в нынешнем году Шмидт в двух первых играх пробил два хоум-рана[[83]](#footnote-83), положив конец досужим разговорам, будто его песенка спета), и лужайки выстреливают пучочками дикого чеснока. Уже вовсю цветет магнолия, цветет и айва и вдогонку им спешит форсайтия, радостной, настырной желтизной окликающая путника из каждого двора, будто нежданно-негаданно прорвавшаяся на поверхность живительная сила, которой согрето бренное существование всех и каждого. Красноватое марево набухших почек заполняет контуры крон высаженных вдоль тротуаров кленов и проглядывается в орнаменте чудом уцелевших тут и там, но все убывающих лесочков у границ старых и новых городских районов.

В первые дни по возвращении Кролик любит основательно поездить вокруг, повспоминать, побередить себе душу разрозненными кусками себя самого, прежнего, которые намертво прилеплены чуть не к каждому уголку Бруэра. Знакомые улицы, по которым он бегал еще мальчишкой, все те же, только теперь с них бесследно исчезли трамваи. Знакомые чугунные мосты и железнодорожные депо ржавеют помаленьку в кольце обводных путей — шунтов, если угодно, — что ныне оплели весь город. На номерных знаках здешних автомобилей по-прежнему красуется посредине оранжевый замковый камень[[84]](#footnote-84), но теперь к нему прибавилась еще и надпись: *У тебя есть друг в Пенсильвании*, что всегда казалось ему полной глупостью, но верх идиотизма — тупое обыгрывание этого дурацкого текста с помощью дополнительных номерных пластин, которые крепятся на переднем бампере и возвещают: *У тебя есть друг во Христе*. Обложки телефонных книг кичатся *Пенсильванией вне Содружества* [[85]](#footnote-85). Стоит ему оказаться за рулем автомобиля, его как магнитом тянет в Маунт-Джадж, примыкающий к Бруэру с противоположной от Пенн-Парка стороны, в места, где он родился и вырос. Вот в этой тяжеловесной, из песчаника сложенной евангелистской лютеранской церкви Маунт-Джаджа его крестили, сюда же привели его к первому причастию — рубашка натирала шею так, будто ее передержали в крахмале, а вот здесь, еще немного вперед по Центральной, стоя перед витриной кондитерской лавки (нынче там фотокопировальное ателье), он понял, что влюбился, влюбился первый раз в жизни, в Маргарет Шелкопф — девчонку со смешными косичками, в высоких ботиночках. То был миг, когда сердце его странно замерло, а потом раздулось и взмыло ввысь над плитками тротуара, как зависший в небе его детства цеппелин, — цементные плитки точно кубики жилых кварталов с высоты его воспарившего мальчишеского сердца. Каждый второй дом в этом захудалом предместье населен призраками тех, кого он знал и кого теперь уже нет. Пустые, как раковины на полках у коллекционера, эти убогие жилища с кирпичными колоннами на крыльце и с полутемными гостиными с годами почти не меняются; даже самые бедняцкие, прилепленные друг к другу стенка в стенку, сплошным рядом тянущиеся дома (в таком точно доме на Уилбер-стрит они с Дженис жили, поженившись) в общем и целом сохраняют свой первозданный облик, хотя прежние гудроновые стены, наводящие тоску синюшно-навозной гаммой, уступили место более жизнерадостным материалам, имитирующим грубо обработанный камень или деревянную обшивку, причем толщина стен варьируется от фасада к фасаду, и когда смотришь вдоль края всего ряда, видишь лесенку из разнокалиберных ступенек. Находясь в равномерно плоской Флориде, Гарри всякий раз успевает отвыкнуть от этой пестрой оживленности, гротескной архитектурной толкотни, от голубой холмистости в отдалении, что теснит передний план и вынуждает островерхие дома карабкаться вверх, цепляясь за крутые бока улиц, от еще уцелевших, утыканных шипами каменных оград и резко уходящих в гору склонов с барбарисовой изгородью или клумбой с тюльпанами, склонов, на которых все реже и реже видишь традиционную лужайку и все чаще — сплошной ковер из плюща или можжевельника, который не нужно подстригать каждую неделю допотопной косилкой. Некоторые хитрецы привязывали к ручке косилки веревку и пускали ее саму грохотать вниз по склону, а затем вытягивали обратно наверх. Кролик в машине улыбается, вспоминая старые с деревянной ручкой косилки и давным-давно почившего соседа-методиста на Джексон-роуд, которому его матушка объявила непримиримую войну из-за полоски травы шириной в два фута, разделявшей цементные дорожки, по которым проходила граница участков. Методисты, пожилая чета, приобрели дом у Зимов, когда те собрались переехать в Кливленд. Маленькая дочка Зимов Кэролин была чудо как хороша — ну просто Ширли Темпл[[86]](#footnote-86), только без ямочек на щеках, или нет, скорее Дина Дурбин[[87]](#footnote-87), если к ее голове приделать детскую фигурку, — и родители что ни день из-за нее ссорились, потому как, уверяла его матушка, страхолюдина миссис Зим исходила от зависти к собственной дочери. Тихим вечером, притаившись у раскрытого окна, он ждал, чтобы подсмотреть украдкой, как Кэролин будет раздеваться, — их разделяло всего несколько футов неподвижного воздуха. Да, его комната: он даже рисунок на выцветших, пожелтелых обоях помнит и желтое пятно над радиатором, лакированную полочку, где восседали плюшевые мишки, бельевую корзину, где жили-поживали его сборные деревянные игрушки с их стерженьками и втулками, резиновые солдатики, оловянные самолетики. В комнате всегда стоял свой особый запах — не то клеенки, не то краски от раскаленного карниза, порой с примесью ванили и мускатного ореха, когда мама пекла кекс, — он и сейчас почти явственно ощущает этот запах, почти, но не совсем: он ускользает куда-то в тень, в щель за посеребренным радиатором с боковинами, украшенными невнятным рельефным орнаментом из штампованных картушей.

Бруэр, этот погруженный в спячку улей, тоже говорит с ним о нем, о его прошлом, что проросло корнями в пугающую глубину: подумать только, многие события, которые он знает не понаслышке, а как живой очевидец происходящего — День победы в Европе 8 мая 1945 года или то воскресенье в июне 1950-го, когда Трумэн объявил войну Северной Корее, — давно уже стали историей и большинство ныне живущих на планете людей знают о них в лучшем случае из книг. Бруэр был город его детства, единственный известный ему в то время город. Он по сей день испытывает волнение, оказываясь среди мешанины из невзрачных, горшечно-красного цвета кварталов, кирпичных фабрик, сплошных рядов жилой застройки и суровых, внушительных церквей, — все здесь тяжеловесное, монументальное, на всем печать давно угасшей страсти привносить в архитектуру элемент декоративности. Почти полностью пришедший в упадок центр города с широкой Уайзер-стрит, которая в его памяти вся в огнях, многолюдная, как рождественская ярмарка, превратился в сплошные груды камня вперемежку с автостоянками, и на этом фоне — несколько новеньких, одетых в стекло зданий (смелая заявка на обновление), занятых в основном банками и разными ведомствами; вся торговля сконцентрировалась теперь в гигантских комплексах на окраинах города и возвращаться в центр никто не хочет. Старенький «Багдад», когда-то входивший в число полудюжины избранных, премьерных кинотеатров, теперь прозябает в окружении не обретших покупателей участков под застройку: изразцы в арабском стиле исчезли с фасада, а большая афиша над входом, которой суждено было стать последней и которая приглашала зрителей посмотреть сдвоенный сеанс, два фильма «для взрослых», так и висит там наполовину облупившаяся, порыжевшая, и крупные буквы ГИТЕ и строчкой ниже СИТЕ НЯ — словно обрывки отчаянного призыва порадеть за возрождение исторической достопримечательности. Киночертоги его детства, начиненные соблазнительными ароматами и темным бархатом, шепотком и смешочками и сцепленными руками, ушли в историю. ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ МЕНЯ. В фойе, помнится, бил «мавританский» фонтан, игривые струи переливались всеми цветами радуги в лучах разноцветной подсветки. Магазин грампластинок, через несколько домов от «Багдада», где двадцать лет назад управляющим был Олли Фоснахт и где позднее стали торговать музыкальной аппаратурой, и по сей день остался магазином — нынче там продают кроссовки, два окна ими заставлены. Не иначе повышенным спросом пользуются у так называемых «меньшинств». Хватай и делай ноги!

Насколько Кролик может судить, опираясь на свой ограниченный опыт, чем больше в кроссовках усовершенствований — прокладочек и подкладочек, клинышков для прочности, каких-то особых, по всей науке сконструированных шестислойных подметок и прочего в том же роде, — тем они становятся жестче и неудобнее: такая же дрянь, как уличные туфли. Или тренировочные, с позволения сказать, костюмы в обтяжку, какие по душе теперешним молодухам — они в них будто сейчас выпрыгнули из космического корабля, — пронзительно-малиновые или электрически-зеленые и уж такие облегающие, что каждый мускул вырисовывается, даже желобок, разделяющий ягодицы. А идея-то в чем? Себя показать. Молодым зверям свойственно выставляться. Жена Олли Фоснахта, с которой тот давно расстался, Пегги, умерла лет восемь назад — рак груди, метастазы. Кролику приходит в голову, что она первая из его былых подружек отправилась на тот свет. Но, поразмыслив как следует, он понимает, что это не так. Была еще Джилл. Он ведь спал с Джилл в то сумасшедшее лето, хотя отдавал себе отчет в том, что ей от этого радости мало. Нос еще не дорос у нее для такого рода удовольствий. А техасская шлюха, в удивительно радушных южных объятиях которой он оставил свою невинность, тоже вполне могла отдать Богу душу. У проституток короткий век: сдельная работа на износ, пьянки, побои. А наркотики, а СПИД! Хотя, с другой стороны, вечно-то ведь никому жить не дано. Всем достается от жизни, каждому по-своему. Так они, поди, и рассуждают, мол, у всех один конец, у кого раньше, у кого позже. Они ничуть не хуже нас с вами, только у них все проще, без затей. Вон заключенные в тюрьмах кусают охранников, чтобы через слюну передать им вирус СПИДа. Мы превратимся скоро в бешеных псов: человеческий род — это один большой чан с вирусами.

Но стоит снова выехать за пределы выхолощенного центра Бруэра в районы, где по обе стороны улицы сплошняком тянутся кирпичные строения, сложенные без малого век назад, когда большие фабрики, ныне просто заброшенные или превращенные в магазины фирменной торговли, еще вовсю дымили и гудели, производя сталь и текстиль, — и убеждаешься, что здесь жизнь как и прежде бьет ключом, хотя общая тональность уже не такая мажорная. Он с наслаждением кружит по здешним улицам. По крайней мере весной, в апреле, они до краев наполнены безобидной кипучей энергией. Четверо голенастых чернокожих юнцов сгрудились вокруг сломанного велосипеда и совместными усилиями стараются его починить. Девчонка-пуэрториканочка в косых лучах заходящего солнца выходит на крыльцо из своего узкого, будто экономный ломтик сыра, дома в шелковых туфлях на шпильках и в нарядном сиреневом платье с повязанным через плечо легким фиолетовым шарфом, сколотым на талии роскошной искусственной розой: она сама как цветок в этот момент, и тут же откуда ни возьмись слетается целый рой мальчишек — все разом что-то кричат, пихаются, на всех одинаковые серо-стальные ветровки и зеленые армейские штаны, наверное, униформа местной банды, догадывается Гарри. В Бруэре люди еще не разучились пользоваться улицей, не утратили привычку выходить посидеть перед домом на ступеньках или на крылечке, будто карауля что-то, — такого выжидательного выражения на лицах в Делеоне вовек не увидишь. А стоящие плечом к плечу пенсильванские простенькие домики смахивают на игрушечные, изготовленные из картонных коробок из-под крупы, — какой первоклашка не мастерил их по заданию учителя, старательно вырезая дверные проемы и очерчивая карандашом окошки; Гарри радостно видеть все это снова после зимы во Флориде с ее кондоминиумами вперемежку с гольф-полями, с ее крытыми черепицей башенками, где каждая квартира находится в поочередном пользовании нескольких квартиросъемщиков[[88]](#footnote-88), после «деревень», которые что угодно только не деревни[[89]](#footnote-89), после «безграничных возможностей в выборе недвижимости» и прихорашивающейся немощи.

В двухдверной асфальтово-серой «селике», которую они с Дженис осенью запирают в гараж, выкатывая одновременно для поездки на юг «камри-вэгон», он чувствует себя вполне уютно и безопасно, без напряжения скользя по улицам взад и вперед, и мало чей взгляд на нем тут задерживается, правда, проезжая по неспокойному кварталу неподалеку от железной дороги, на угловой ступеньке у входа в какую-то заколоченную харчевню он видит, как смуглокожая пигалица в бумажном свитере, под которым проступают ее скругленные формы, сидя на коленях у своего дружка, щеголяющего голым торсом, хотя весенний воздух еще довольно свеж, то целует его томным, настойчивым, полуоткрытым ртом, то окидывает бессовестно-вызывающим взглядом проезжающие машины. Ее полуголый кавалер накачался, видать, до того, что уже и глаз поднять не может, а девица одаривает Гарри таким взглядом через боковое стекло «селики», что ясно: дай ей волю, испепелила бы его на месте. А, да пошла она!.. Пошел он сам, красноречиво говорят ее глаза. Такое впечатление, что она инстинктивно знает, чем он тут занимается, раскатывая туда-сюда, силясь урвать для себя кусочек из уличной жизни Южного Бруэра, вбирая в себя жизнь молодую, устремленную ввысь, как древесный сок к кроне, тогда как его жизнь уже угасает, все больше оседает книзу.

По всему видно, что жизнь на этих усталых улицах ни на день не прекращала своего естественного биения. Старенькие, вытянувшиеся в ряд типовые дома заботливо перекрашивают, меняют на них обшивку, осовременивают их с помощью фасонистых алюминиевых козырьков и узорных чугунных решеток, которые незаметно тоже успели обветшать. Удивительно, но дома эти — как ряды заполненных ячеек, ни одного свободного места; у каждого свой номер, присвоенный еще при постройке и выставленный в полукруглом окошечке над дверью. Строили тут на совесть, основательно, так что номеров вовек менять не придется. Было время, и он тут жил, в доме номер 326, вместе с Рут, бегал купить того-сего вон в ту лавку на углу, что называется теперь «У Розы», и подолгу глядел из своего окна на розовеющее окно церкви, сложенной из известкового камня, ныне разместившей местный Центр латиноамериканского землячества *(Centro Comunidad)*. Наяву город оказывается живее, чем ему помнилось, быстрей тасуются картинки, стремительно мелькают кварталы, и здания, которые в его мальчишеском восприятии отстояли друг от друга на приличное расстояние, теперь придвинулись чуть не вплотную. Фабрика, где делают леденцы от кашля, высотное здание суда, спорткомплекс, бассейн Ассоциации молодых христиан, куда он начал было ходить, чтобы научиться плавать, но вместо спортивных навыков заработал воспаление легких, выбегая зимой на улицу с мокрыми волосами, — все это, в сущности, рядом, отовсюду рукой подать до почты, с ее странно длинным пустым вестибюлем, где вся деятельность сосредоточена только в одном освещенном конце возле одного, в лучшем случае двух окошек, и до «Бена Франклина», солидной, с обилием позолоты, центральной гостиницы (ныне гостиницы для туристов-автомобилистов, принадлежащей концерну «Рамада»), Здесь их класс — маунт-джаджская школа, выпуск 1951-го, — устраивал выпускной бал: он тогда нарядился в светлый смокинг, а Мэри-Энн была в нежно-фиолетовом атласном бальном платье без лямочек — ну и намучились они потом в машине со всеми ее нижними юбками и кринолинами, самим смешно стало; ее круглые белые бедра совсем затерялись в шуршащих подолах и складках, пасхальные яички в бумажном гнездышке, трусики сыренькие от пота — уплясалась, бедняжка, — будто мокрая насквозь полотняная подушечка, набитая пружинистым мхом, и крепкий, мускусный дух: Мэри-Энн стала первой женщиной, чей запах он присвоил, присвоил ее всю, каждую складочку, каждый извив настроения; так было, пока он не ушел на два года в армию, и тогда она, ни слова ему не сказав, выскочила замуж за другого. Возможно, она что-то угадала в нем: угадала прирожденного неудачника. Хотя в свои восемнадцать он выглядел еще каким победителем. Где бы ни появлялся он на пару с Мэри-Энн, втайне зная, что в теплой машине он соберет с ее угодий свой урожай, он не только выглядел, но и ощущал себя победителем — раскованным, уверенным: жизнь его находилась в той точке, откуда был только один неизбежный путь — навстречу прекрасному будущему.

В двух кварталах от «Бена Франклина», на подступах к горе, под Эйзенхауэр-авеню, в том месте, где она вздымается горбом с деревянными перилами по краям, строители былых времен вручную прорыли здоровенную траншею, по днищу которой в город были протянуты рельсы, те самые, что нынче полностью перестали использоваться, а искусственное ущелье с известковыми стенами превратилось в отхожую яму, куда все кому не лень швыряют банки из-под пива и лимонадные бутылки, а то и набитые мусором мешки и старые матрасы. Бруэр и раньше был городом сомнительных нравов — одно слово, железнодорожный, и в прилегающих к железке кварталах было полным-полно подозрительных личностей, жалких бродяжек, предлагающих за четвертак тут же, на месте, доставить господину удовольствие, присыпанных слоем сажи гостиниц, где карточная игра могла идти несколько суток кряду, баров, где все стекла в окнах по фасаду были в трещинах из-за вибрации, создаваемой проходящими поездами — с милю длиной товарняками с углем, которые идут прямиком через Уайзер-стрит, перекрывая все движение по улице, как в тот раз, когда он и Рут ждали у переезда и неоновые огни давно канувшего в небытие китайского ресторанчика играли в ее разноцветных волосах.

Эти выкрашенные красной краской кирпичи, эти серые облицовочные плиты «под натуральный камень», сами того не сознавая, не раз становились свидетелями многих душераздирающих сцен. В квартале-другом в сторону горы от улицы, где жила Рут, — называлась улица Летняя, хотя жили они там весной, к лету у них уже все закончилось, — Кролик неожиданно въезжает в белый туннель: деревья по обеим сторонам улицы усыпаны белыми цветами, сами деревца молоденькие, с овальными кронами; они, будто облака, сливаются, образуя одну сплошную гряду, а высокая небесная лазурь чуть подсинивает верхние цветки, точь-в-точь как подсинивает она полдневную луну. И там, на самой верхушке, куда больше всего попадает света, уже начинают развертываться первые листики, глянцевые, малюсенькие сердечки — это ему известно доподлинно, поскольку, растроганный изумительным зрелищем, он останавливает «селику» у тротуара, заглушает мотор, выходит из машины и срывает один листочек для подробного изучения, как если бы то был волшебный ключик, с помощью которого можно проникнуть в тайну этого великолепия. По тротуару, вдоль сказочной дубравы, люди-тени катят детские коляски, стоят, болтая с соседями возле крыльца, будто им невдомек, какая над ними, вокруг них неземная красота, уже роняющая наземь конфетти лепестков: счастливцы, они ведь в раю. Он хочет спросить у кого-нибудь, как называются эти деревья и кто ж это посадил их здесь, в кирпичных дебрях Бруэра, — ведь по изысканности они сравнимы разве только с фикусами, обрамляющими бульвары Нейплса во Флориде, но под устремленными на него со всех сторон взглядами он тушуется — он и сам не более чем тень в этом пронизанном лучами света цветущем туннеле, чужак, непрошеный гость из прошлого — и убеждает себя не спрашивать: все равно никто тут ничего не знает, а если и знают, подумают, что он с приветом, раз лезет с такими вопросами.

Оказывается, ответ знает Дженис. Когда он описывает ей свое небольшое приключение, она говорит:

— Так это же брэдфордские груши, их теперь по всему городу сажают взамен умирающих старых вязов и платанов. Эта груша цветет, но не плодоносит и очень вынослива в городских условиях. Ей совершенно нипочем углекислый газ и все такое прочее.

— А почему раньше я их не видел?

— Видел, Гарри, видел. Их по меньшей мере лет десять у нас высаживают. В газете сколько раз писали. Муж одной моей знакомой из клуба работает в городской комиссии по благоустройству.

— В жизни ничего похожего не видел! Прямо за душу берет.

Она вся в хлопотах, готовя к очередному летнему сезону их дом в Пенн-Парке, — моет, протирает, избавляется от зимней паутины, чистит фамильное Кёрнерово серебро, доставшееся ей от мамаши, — и нетерпеливо от него отмахивается:

— Я тебе говорю — видел, просто теперь тебе все видится иначе.

Теперь — то есть после инфаркта. После того, как он чуть не помер. Когда они с Дженис вдвоем, его преследует смутное чувство, будто он воскрес из мертвых: в старину ведь рассказывали про мертвецов, которые возвращаются в свой дом и тайно охраняют оставшихся в живых домочадцев, просто поселяются рядом с ними невидимками, точно мыши в полу. Часто она вроде бы не слышит того, что он говорит, пропускает мимо ушей или же не придает значения. Она ездит через весь Бруэр повидаться с Нельсоном и Пру и детьми в Маунт-Джадж, возобновить знакомство с подружками по загородному клубу «Летящий орел», где вовсю укатывают, готовя к сезону, теннисные корты, а поле для гольфа уже покрылось зеленой травой и принимает первых игроков. И еще она подыскивает себе работу. Он-то думал, она сболтнула так, шутки ради, под впечатлением их похода в кино на «Деловую женщину», ан нет, оказывается, нынче такое время, что женщины ее возраста почти все поголовно пристраивают себя к какому-то делу: одна из ее товарок по теннису физиотерапевт и массажистка — ручищи и плечищи у нее сплошные мускулы, любой мужик позавидует, а другая, Дорис Эберхардт, в прошлом Дорис Кауфман, заделалась экспертом по алмазам и практически каждую неделю катается на автобусе в Нью-Йорк и обратно, имея при себе камней на сотни тысяч долларов, а третья приятельница подвизается на поприще жутко модного ныне увлечения деасбестизацией жилых домов и общественных зданий вроде фабрик и школ. Асбеста кругом понапихано столько, что разве ленивый его не отыщет. Сама-то Дженис подумывает заняться недвижимостью. Подруга ее подруги работает почти исключительно по субботам и воскресеньям и в год имеет на комиссионных больше пятидесяти тысяч.

— Почему бы тогда уж тебе не помочь Нельсону с магазином? — спрашивает ее Гарри. — Там что-то все дела идут вкривь и вкось.

— Ну вот, очень мне интересно — самой к себе на работу наниматься. И ты же прекрасно знаешь, как болезненно Нельсон реагирует на малейший намек о нашем вмешательстве в его дела.

— Угу, с чего бы это?

Теперь, когда Дженис вновь вернулась в стаю всезнающих кумушек из «Летящего орла», у нее на любой вопрос есть готовый ответ:

— Потому что он рос в тени отца-диктатора.

— Да я сроду не был диктатором. Мной всю жизнь кто хотел, тот и вертел.

— Для него был. В психологическом плане. Ты вон на сколько его выше. К тому же в свое время был прекрасным спортсменом.

— Вот именно — был. Теперь этот прекрасный спортсмен, если верить врачам, должен передвигаться по гольф-полю не иначе как в карте, а вообще самая большая нагрузка, какую он может себе позволить, это ходьба в быстром темпе.

— Кстати, Гарри, ты *никакой* нагрузки себе не даешь. Я не видела, чтоб ты ходил пешком дальше, чем до машины и обратно.

— Я же работаю в саду.

— Если это можно назвать работой.

Он любит выйти в садик за домом, вечером, перед закатом, — обломать отмершие стебли прошлогодних цветов, вырвать сухие, костяного цвета старые лаконосы и потом сжечь весь этот мусор на костерке, запалив его с помощью последнего номера бруэрского «Стэндарда». Лужайка, когда они приехали, страшно заросла, а клумбы с луковичными следовало бы открыть еще в марте. Подснежники и крокусы отцвели, пока они были во Флориде; у гиацинтов как раз самый пик, тюльпаны набрали рост, но цветочные головки пока еще торчат острыми зелеными шишечками. У Кролика в душе воцаряется покой в этот час — в час, когда дневной свет притухает и в полумраке светится плакучая вишня, каждый цветок словно розовый лютик, а весь ее женственный, всепрощающий, с поникшими ветвями силуэт, кажется, все больше вбирает в себя бледно-неоновый отсвет по мере того, как тени теряют контрастность и удлиняются; революционное преобразование земли что ни день все заметнее, и лоскутки солнечного света все дольше остаются лежать под апрельским небом, исчерченным белыми полосами от реактивных самолетов, которые затем медленно расползаются обледеневшими конскими хвостами, — несколько золотых лоскутков зацепились за косматую форсайтию, там, ближе к соседскому дому из тонкого желтого кирпича, за упрямую тсугу и за самый высокий из рододендронов возле ограды, видный даже из кухонного окна. В одну из минувших осеней Дженис устроила на тсуге кормушку для птиц (несмотря на причитания Дорис Кауфман или другой какой-то хлопотуньи, что бесчеловечно дразнить птичек кормушкой, если вас самих тут зимой не бывает) — пластмассовый шар, слегка наклоненный, как Сатурн, и он, когда вдруг вспомнит, насыпает в нее подсолнуховых семечек. Птичьи кормушки — это у ее матери был пунктик, самой-то Дженис такое и в голову не могло прийти, когда они были моложе и старушка Бесси еще здравствовала. Гены, видать, проявляются постепенно: сколько ни живи, они дают о себе знать. Вот и у Гарри во рту какая-то кислятина — такой же кислятиной несло изо рта у отца, и он сам тогда воротил нос. Папка, папка. Какое желтое лицо у него сделалось перед концом, будто сушеный абрикос. Бесси увешивала птичьими кормушками все провода и жердины в садике позади дома на Джозеф-стрит — чтобы белки не смогли до них добраться. Бук, который рос против их спальни, был объявлен главным виновником их появления: орешки всю ночь со стуком сыплются с него наземь, вот белки на звук и скачут, утверждала старуха, степенно разглаживая юбку и кладя руки на колени с таким выражением на лице, будто Господь Бог для того и выдумал несносных тварей, чтобы только ей досадить. Гарри с симпатией относился к Бесси, а она вон как лягнула его своим завещанием. Не простила ему той истории в пятьдесят девятом. Она умерла от диабета (и вызванных им осложнений в кровообращении) на следующий день после того, как принцесса Диана произвела на свет дитя, принца Уильяма; последнее, что при жизни занимало Бесси, — родится ли будущий король Англии и еще процесс над Хинкли[[90]](#footnote-90): она полагала, что мерзавца следовало вздернуть на ступенях Капитолия, да, да, прямо среди бела дня, а дать ему уйти от наказания, поскольку он якобы душевнобольной, это форменное безобразие. Больше всего бедняга боялась, что ей, как когда-то ее матери, под конец ампутируют ноги. Подумать только, Гарри помнит, как звали Бессину мамашу. Ханна. Ханна Кёрнер. Трудно поверить, что и он сам когда-нибудь будет, как Ханна Кёрнер, — мертвец со стажем.

Перед наступлением апрельского вечера птицы, большие и малые, заглянув в кормушку, собираются в живое облако — перепархивающее, подскакивающее — попить или помочить перышки в цементном, с голубым дном прудике, который соорудил кто-то из прежних хозяев этого уютного маленького дома из известняка, случайно затерянного среди более импозантных домов Пенн-Парка. Выложенный цементом прудик весь растрескался, но воду пока держит. Точь-в-точь как он сам, думает Кролик, направляя шаги к своему дому, где в окнах горит яркий свет и кажется, что они далеко-далеко и в то же время, как ни странно, совсем рядом; мальчишкой он точно таким же видел родительский дом, когда, наигравшись в «двадцать одно» или «минус пять» с Мим и другими соседскими ребятами у баскетбольного щита, прибитого к стене гаража в тупичке позади их длинного узкого участка на Джексон-роуд, возвращался назад. Тогда, как и теперь, пробуждаясь внезапно от собственных, окрашенных в предвечерний свет мыслей, он вдруг неожиданно оказывался гораздо ближе к источнику яркого огня, настолько близко, что прямо к его ногам через двор протягивалась золотистая полоса; тогда огонь этот был его будущим, теперь прошлым.

Пока он вместе с Рут проводил весенние месяцы на Летней улице, он все думал, что хорошо бы взять и пробежать по улице до самого конца, все прямо и прямо, докуда хватает глаз. За тридцать последующих лет он частенько ездил в этом направлении, к северо-западной окраине Бруэра и еще дальше, туда, где шоссе, унизанное мотелями («Привал бережливых», «Корона», «Тихая гавань»), вливается в сельский пейзаж и спустя какое-то время на нем начинают появляться указатели дорог на Гаррисберг и Питтсбург. Одна за другой фермы со всеми их каменными строениями — ангарами и коровниками, будто нанизанными на одну нить, и собственно фермерскими домами с толстенными стенами — переходят в руки агентов по недвижимости для дальнейшего коммерческого использования. Через две мили после отвилки на Мэйден-Спрингс, где когда-то, до развода, жили Мэркетты, вдоль дороги вырос сравнительно новый поселок, Эрроудейл, названный так в память о старой ферме Эрроухед, проданной племянниками и племянницами хозяйки — одинокой старой девы, которая жила тут с незапамятных времен и мечтала завещать все какому-то телевизионному проповеднику для устройства в ее вотчине парка спасения душ, пристанища для очередного словоблуда во Христе, но адвокаты старушки не успокоились, пока ее от этого не отговорили. На протяжении нескольких последних лет Кролик имел возможность наблюдать, как развороченная бульдозерами земля довольно быстро заросла кустами и деревьями, так что теперь уже кажется, будто нынешние дома стояли тут испокон веку. Улицы извилистые, как и в поселке у Мэркеттов, но дома здесь попроще — одноэтажные, вытянутые в длину или так называемые разноуровневые, с алюминиевой обшивкой на торцах и кирпичными фасадами; разнообразие достигается благодаря выложенным плиткой крылечкам и никак функционально не оправданным вкраплениям облицовочного камня. Цементные дорожки ведут от калитки к дому, пересекая палисадники с только начавшими раскрываться азалиями под широченными окнами на фасаде. Почва под растениями присыпана мульчей из мелко нарубленной древесной коры, на крыльце — комплект садовой мебели, и над всем довлеет неумолимая, деспотическая аккуратность, которой не страдали старые, более пролетарские предместья вроде Маунт-Джаджа и Западного Бруэра.

В одном из этих скромных домов и поселились Ронни и Тельма Гаррисон, когда трое их сыновей встали на ноги и разъехались кто куда. Алекс, старший из детей, работает инженером-электронщиком где-то к югу от Сан-Франциско; средний, Джорджи, который в школе испытывал трудности с чтением, пробует себя в качестве музыканта и танцора в Нью-Йорке; а третий, Рон-младший, остался в здешних краях и подрабатывает на стройке простым работягой, даром что до этого два года просидел в колледже в Лихае. Тельма не жалуется — ни на дом, ни на детей, хотя на Гарри все это производит впечатление удручающей заурядности, до обидного несправедливой, когда речь идет о такой женщине, как Тельма, с ее умом и — тут Гарри полагается на собственный опыт — темпераментом.

Болезнь Тельмы, системная красная волчанка, стоила им целое состояние, несмотря на то что страховая компания Ронни предоставляла своим сотрудникам и членам их семей право на льготное медицинское обслуживание. И та же болезнь не позволила ей вернуться к преподаванию в начальной школе, когда ее собственные дети выросли. Состояние ее здоровья вынуждало ее почти безвылазно находиться дома, где Гарри обычно без труда ее и заставал. Вот и сегодня днем, когда он звонил ей из автомата в Бруэре, он рассчитывал ее застать и не ошибся. Он спросил, можно ли к ней заехать, и она сказала можно. Судя по голосу, его звонок после долгой разлуки не вызвал у нее бурной радости, но и не омрачил настроения — она просто приняла его как данность, безропотно. Он оставляет «селику» прямо против дома у поребрика дугой закругляющегося тротуара, хотя в прежние годы у нее было заведено открывать ему дверь гаража и потом закрывать ее с помощью электронного пульта прямо из кухни — чтобы поскорее скрыть улику. Теперь же, когда он сам болен не меньше, а может, больше, чем она, он толком не понимает, надо ли им еще что-то скрывать или уже все равно. В середине дня тут вокруг затишье — пока ребятню не доставят домой на школьных автобусах. Где-то здесь, в Эрроудейле, натужно воет один-единственный, недоступный глазу мотор, да воздух дрожит от гула невидимого потока транспорта на скоростной трассе к Мэйден-Спрингсу. Где-то гомонят невидимые птицы, одержимые лихорадкой гнездостроительства, хотя деревьев в самом поселке почти не видно. По лужайке рядом с Тельминой цементной дорожкой скачет дрозд, но стоит Гарри приблизиться, и птица срывается вверх. Ничего себе дрозд! По его воспоминаниям, это довольно безобидные птички, а тут с ворону... Он поднимает себя по двум ступенькам из плиточек и в три шага пересекает крыльцо; позвонить он не успевает — дверь открывается, и на пороге его встречает Тельма.

Ее самой стало как-то меньше, а седины в волосах больше. Не особенно выразительное, по-учительски строгое лицо и всегда-то было нездорового, желтоватого оттенка, но теперь желтушность проступает даже сквозь макияж, который она накладывает, чтобы приглушить характерную для ее болезни сыпь-«бабочку»: воспаленное покраснение на спинке носа и на щеках под глазами. И пусть, все равно ему радостно, что она снова рядом, что он знает ее как свои пять пальцев. Они легонько целуются, когда она закрывает за ним дверь, — стекло, вмонтированное в центральную панель, закрыто длинной, зеленой, не пропускающей свет шторкой. Губы у нее прохладные, со слабым привкусом помады. Она немного медлит в его объятиях, словно чего-то ожидая, ее тело совсем просто, доверчиво к нему прижимается в безмолвном признании.

— Совсем худой стал, — говорит она, наконец от него отстраняясь.

— Вернее, не такой жирный, — уточняет он. — Мне еще ого-го сколько надо стараться, чтобы мною были довольны и доктора, и Дженис. — Казалось бы упомянуть имя Дженис только естественно, так нет, язык будто свинцом налился. И ведь Тельма прекрасно знает истинный расклад, у нее на этот счет с самого начала не было никаких заблуждений. Их роман завязался исключительно по ее инициативе, хотя со временем он и сам втянулся настолько, что эти отношения стали частью его жизни. Она первая проходит в гостиную, и он видит, что ступает она с трудом, немного вразвалку, по-утиному: полиартрит — неизбежное следствие системной волчанки.

— И Дженис, — повторяет она за ним. — Как она, кстати, твоя Чудо-Женщина[[91]](#footnote-91)? — Стоило ему всего только раз в порыве откровенности обмолвиться, что он придумал для Дженис это прозвище, — и Тельма до сих пор помнит. Женщины вечно все помнят, и особенно хорошо те вещи, которые ты бы хотел из их памяти вычеркнуть.

— Да как, все так же. Во Флориде бегает по разным курсам, в кондо все носятся с ней, как с любимым дитятей, она там у нас первая шикса на деревне. До того расшустрилась, ты не поверишь. В теннис играет так, что знающие люди диву даются, я своими ушами слышал. — Он понимает, что не к месту разливается соловьем, пора сворачивать тему. — Но мы рады были убраться оттуда. Началась жуткая холодина, представь себе. Март был отвратный. Здесь-то холод по крайней мере в порядке вещей, да и одежда теплая под рукой.

— Ты даже не сообщил нам, что у тебя были нелады с сердцем. — «Нам» она сказала нарочно, в отместку за Дженис. Все мы тащим за собой своих благоверных, неотвязных, словно тень, — с ними и в постель ложимся; так и кажется, что они затесались между простынями.

— Это вроде не повод, чтобы хвастаться.

— Мы бы так и оставались в неведении, если бы наш Рон не знал одного парня, который знаком с Нельсоном. Молодежь — у них свои каналы информации. Представь на минутку, что я чувствовала, когда слух дошел до меня таким вот образом. Мой любовник чуть на тот свет не отправился и даже не считает нужным мне об этом сообщить.

— Как именно мы, то есть я, да кто угодно, должны были тебе сообщить? Специальных открыток на этот случай не предусмотрено.

В последние годы они с Дженис все реже и реже встречались с Гаррисонами. Да, Кролик и Рон знали друг друга еще пацанами в Маунт-Джадже, вместе играли за школьную команду, которая под руководством их тренера, Марта Тотеро, два года из трех, проведенных ими в старших классах, выигрывала титул чемпиона лиги. Но Кролик всегда недолюбливал Ронни — уж больно тот был горластый и нахрапистый, в раздевалке вечно черт-те чем занимался, лупил полотенцами направо-налево, малышне прохода не давал. Почему-то у женщин подобное жеребячество не вызывает такой гадливости, какую всегда испытывал Гарри. Отчасти этим его и притягивала Тельма — тем, что могла терпеть возле себя такого субъекта, мириться с его сексуальными вывертами и прущим изо всех пор мужланством и при этом внешне сохранять вид невзрачной благочинной учителки. Впрочем, при ближайшем рассмотрении, не такой уж невзрачной: без одежды ее тело выглядит значительно лучше, чем можно предположить, глядя на нее в полном облачении. В их первую совместную ночь он сразу подумал, что грудь у нее как у фотомодели из «Плейбоя», сосочки — загляденье, торчат, словно кнопки на дверном звонке.

— Чем тебя угостить? — спрашивает Тельма и сама же отвечает: — Кофе. Может, лучше пива?

— И то и другое для меня нынче табу. Я теперь не тот, что прежде. Нет ли чего-нибудь более щадящего, диетической кока-колы или пепси, например? — Он вспоминает дрожащий голосок Джуди, который испуганно выводил: *Кока-кола, вкусней напитка не сыскать*, пока они бесконечно долго, зигзагами приближались к берегу.

— Есть, конечно. Мы и сами теперь алкоголь почти не употребляем, как-то само собой отошло, когда мы выбыли из «Летящего орла».

— Вернуться не надумаете?

— Да нет, вряд ли. Говорят, взносы снова подняли, ты-то, может, и не заметил, ты ж у нас богатенький, плюс поборы на восстановление злосчастных двух гринов у дороги — вечно там хулиганье орудует. Еще три года назад Ронни подсчитал, что каждый круг обходится ему больше, чем в восемьдесят долларов; даже и тогда это было слишком дорогое удовольствие, а теперь и подавно. В «Орле» сейчас тон задает совсем другая компания, из молодых. Общий климат уже не тот. Замашки-то у нынешних, преуспевающих, сам знаешь какие, куда уж нам!

— Вот это жалко. Я так мечтал еще сразиться с моим старым корешем Ронни.

— С чего бы это? Ты ведь его терпеть не можешь, Гарри.

— А мне нравилось его обыгрывать.

Тельма кивает понимающе, словно признавая и свою роль в Гарриных победах над Ронни. Что же делать, если она любит его, любит его всего — с его тихой бледной задумчивостью и холодноватым сердцем, с его необрезанным мужским достоинством, с его небрежной бесцеремонностью — и, сознавая, что обречена на медленную смерть, не в силах отказать себе в удовольствии выказывать ему свою любовь, пусть только в тех пределах, в каких Гарри способен это выносить? Ее самые сильные, подлинные чувства всегда оставались под спудом, и оттого их роман придал новую окраску ее отношениям с Богом, поселив в ней сознание собственной греховности, о которой она могла поведать только Ему. В свете ее супружеской неверности даже сразивший ее жестокий недуг получает, кажется, свое объяснение. Легче примириться с Богом и не роптать, если знаешь, что кара заслужена.

Она уходит в кухню за напитками. Кролик тем временем тихонько бродит по гостиной, оглядывает ее. Готовясь к свиданию с ним, она опустила не только узкую шторку на входной двери, но и широкие жалюзи на большом окне в гостиной. Обстановка вызывает в нем какое-то щемящее чувство, особенно этот мрак — как будто даже слабый свет из окна способен проникнуть в ее больную кожу и ускорить губительный процесс в клетках, приглушенно-суетливый, как толчея на похоронах. Несмотря на все свои необузданные порывы, даже какую-то отчаянную безоглядность, словно ей любые проклятия нипочем, Тельма неотступно придерживается обывательских условностей во всем, что касается убранства жилища. Мягкие кресла с обивкой в цветочек и с широкими деревянными подлокотниками, шоколадно-коричневый плюшевый диван с вышитыми подушечками и пожелтелыми салфетками на спинке, лакированные этажерки и столики для всяких безделушек, скамеечка для ног с изображением старинной водяной мельницы, парные лампы на фарфоровых основаниях, где в позолоченных медальонах красуются английские охотничьи собаки, густо покрытые рисунком серо-бурые обои в колониальном стиле, и в довершение всего каждый дюйм плоской поверхности занят дорожками с бахромой, сомнительной ценности стеклянными и фарфоровыми гномиками и попугайчиками, фотографиями в рамках (сыновья-малютки и сыновья-выпускники), миниатюрными подносиками и чайничками из меди и олова с чеканкой — вещицами, которые пылятся тут годами, но никогда не покидают своих мест. Эта гостиная, без всяких изменений, за исключением только телевизора с его ореховым ящиком и серо-зеленым дымчатым экраном в паричке из каких-то салфеточек и других затейливых штучек, кажется, перенеслась сюда из Гарриной юности, когда он, робея, захаживал в гости к знакомым девочкам, а мамаши, вытирая руки о передник, выходили из кухни поздороваться с ним, — знакомство происходило всегда в таких же точно неподвижных, заставленных, душных гостиных. Их с Дженис жилища, сколько их ни перебывало, хоть и отличались заметным отсутствием порядка и уюта, по крайней мере давали ему возможность дышать. В этой же комнате все до того расставлено и разложено по местам, что остается только самому лечь и умереть — такое у него ощущение. Просто носом чуешь запах страховых полисов, которые Рон всю жизнь продавал, чтобы взамен покупать собранные здесь бесчисленные предметы обстановки.

— Ну, рассказывай, что с тобой стряслось, — говорит Тельма, возвращаясь с круглым расписным подносом в руках — помимо двух высоких стаканов с пузырчатым темным безалкогольным напитком, там стоят еще две одинаковые чашечки с орешками. Она опускает поднос на низенький стеклянный столик, словно помещая его в пустую продолговатую раму от картины.

— Во-первых, — говорит он, — от такой закуски мне надо держаться подальше — я про соленые орешки. Э, да тут к тому же еще и макадамия! Для меня это смертельный яд. У тебя совесть есть, а?

Он расстроил ее, смутил, почти вогнал желтушную кожу в краску. Ее от природы худое лицо сегодня какое-то распухшее, наверно, от кортизона, который она принимает.

— Это Ронни покупает, не я. Попались под руку, я и насыпала. Не ешь, если тебе нельзя, Гарри, не надо. Я ведь не знала. Я вообще теперь уже не знаю, как мне себя вести с тобой, мы столько времени не виделись.

— Да ничего, уж не помру от двух-то штучек, — утешает он ее и берет из вежливости щепотку орешков. Ишь какие — точно маленькие, легкие самородки, поросшие шерсткой из соли. Он особенно любит момент, когда, подержав секунду-другую во рту и чуть сдавив коренными в коронках, разламываешь их на две половинки и проводишь языком по месту разлома — поверхность гладкая-гладкая, как стекло, как кожа младенца. — Тут и кешью встречаются, — замечает он. — Вторая по злостности отрава для меня. Да еще жареные!

— Насколько я помню, раньше ты как раз любил жареные.

— Тебе, я думаю, вообще есть что вспомнить, — говорит он, отпивая глоток безвкусной диетической кока-колы. Сначала из этого пойла выкачали весь кокаин, потом кофеин, а теперь еще и сахар. Он откидывается назад, прихватив горсточку кешью; когда они хорошо прожарены, у них появляется такой остренький, чуть кисловатый привкус, эдакий ядовитый укольчик, который ему особенно нравится. Он сидит в кресле-качалке черного цвета с красным трафаретным орнаментом и красно-желтой подушечкой, привязанной к сиденью для мягкости, она — на коричневом плюшевом диване, не утопая в нем, а примостившись на краешке, колени плотно сдвинуты и касаются бортика журнального стола. Этот диван служил им верой и правдой, вытянуться в полный рост на нем не получается, но если немного согнуть ноги в коленях, устроиться можно совсем неплохо. В каком-то смысле он даже предпочитал это ложе, поскольку здесь ее не так преследовало мешающее раскрепоститься чувство вины, как в одной из семейных кроватей, где ее скованность невольно передавалась и ему тоже. Он мог бы сейчас, отодвинув столик, стать на колени возле дивана — она так сидит, что у него была бы прекрасная позиция. Выше и выше, забираясь вглубь, в сокровенную темень, пока ее бедра не охватит ответная дрожь, вот так, результат гарантирован. Ему нравилось, когда она судорожно зажимала его лицо между влажных ляжек, как орех в орехоколке, и бурно кончала. Небось кому-нибудь таким вот образом свернули шею.

По лицу Тельмы скользнула хмурая тень, ее слегка передернуло, как будто он отослал ее к воспоминаниям, ничего не оставив ей, кроме наглухо запечатанного, не подлежащего повтору прошлого, вроде тех фотографий на безмолвном телевизоре. А он-то вкладывал в свои слова куда более безобидный смысл, покачиваясь в качалке и глядя в лицо той, которая единственная из всех на протяжении последних десяти лет дарила ему без всяких нагрузок и довесков только то, что ему требовалось. Секс. Пищу для души.

— Тебе ведь тоже, — говорит она, уставив взгляд на поднос с угощением, к которому сама даже не притронулась, — есть что вспомнить, надеюсь.

— Конечно, не далее как минуту назад я сидел и вспоминал. Ты что-то сегодня невеселая, — говорит он с упреком, а как же: его присутствие должно ее радовать, независимо ни от чего.

— Ты пока тоже какой-то не такой, как всегда. Слишком осторожничаешь, что ли.

— Господи, а ты поставь себя на мое место! Будешь тут осторожничать. Так и быть, поклюю еще макадамок — только чтобы доставить тебе удовольствие. — Один за одним он отправляет орешки в рот и в перерывах между пережевыванием и смакованием мохнатеньких ядрышек, распадающихся на две гладкие изнутри половинки, рассказывает ей о своем сердечном приступе — лодка, залив, внучка Джуди, пляжный песок, на котором он лежал, словно выброшенная на берег медуза, больница, доктора, их предписания и рекомендации и его попытки им следовать. — Их всех хлебом не корми, только дай в меня залезть и зашунтировать все, что можно. Но в принципе не обязательно сразу идти на самые радикальные меры — для начала надо сходить на прием к лекарю в клинику Святого Иосифа и договориться, чтобы мне не откладывая сделали кое-что прямо сейчас, весной. Называется эта штука «ангиопластика». Берут баллончик, насаживают его на катетер длиной в ярд, если не больше, и через артерию в паху запускают внутрь и заводят прямо в сердце. Во Флориде мне делали что-то похожее, только без баллончика, просто загоняли контрастное вещество, чтобы во всех деталях разглядеть мой бедный изношенный мотор. Ощущение, скажу я тебе, престранное: не то чтобы больно, но как-то очень чудно, чувствуешь себя абсолютно деморализованным, не знаю, как выразить иначе, — это когда делают, и потом несколько дней состояние жуткое. Когда вводят контрастное вещество, в груди такое жжение начинается, будто тебя живьем сунули в печь. Жжет глубоко-глубоко внутри. Будто вот-вот родишь, только, как выясняется, не ребенка, а кучу компьютерных сведений, одно другого хуже, о состоянии твоих коронарных артерий. И все же это пустяки по сравнению с операцией на открытом сердце — там тебе для начала распиливают грудину, — тут он дотрагивается до середины груди, а думает о Тельминых грудях, о дивных сосках, которые так и просятся в рот, притаившихся у нее под блузкой в ожидании, когда он первый сделает шаг навстречу, — и потом несколько часов искусственно гоняют твою кровь через машину. То есть, я хочу сказать, понимаешь, машина — это *ты сам*, пока все это делается. Остановка в машине — ты мертвец. Одному моему приятелю, с которым я там, на юге, играю в гольф, делали шунтирование — у него четыре шунта стоят — и еще замену клапана и еще пейсмейкер, это такой водитель ритма сердца, имплантировали заодно уж, так вот он говорит, что после всего этого так и не оправился, будто другой человек, будто по нему грузовик проехал, а потом дал задний ход и еще раз проехал для верности. У него и удар-то по мячу куцый, смотреть не хочется: все ушло, не вернешь. Ну, довольно, пожалуй. Расскажи лучше о себе. Как *твое* здоровье?

— Посмотри, как я выгляжу, и суди сам. — Она прихлебывает колу, но орешки не трогает, уступает все ему. Узор на чашечках напоминает образец домашней вышивки — скорее квадратные, чем круглые цветочки, голубые да розовые.

— По мне совсем неплохо, — фальшивит он. — Лицо немного бледное и отечное, ну да мы все так выглядим к концу зимы.

— Мне скоро конец, Гарри, — говорит ему Тельма, отрывая взор от стола и глядя на него до тех пор, пока не встречается с ним глазами. Не такие размытые, как у Пру, но тоже светло-карие с зеленцой глаза, которые видели его всего, снизу доверху, которые знают его так, как только могут знать женские глаза. Жена тянется к тебе в потемках; с любовницей ты встречаешься при свете дня и прямо в гостиной валишь ее на диван. Она частенько в шутку справлялась о «дружочке в шапочке», намекая на его необрезанную крайнюю плоть. — Почки отказывают, а доза стероидов и так уже на пределе. Анемия — еле-еле ползаю по дому и делаю ведь только самое необходимое, к середине дня уже валюсь с ног, ложусь... ты как раз явился в мой «тихий час», к слову сказать. — Он инстинктивно подается вперед, сжав руками подлокотники, и порывается встать с кресла, но тут в ее голосе звенят гневные нотки: — Нет, сиди! Ты никуда не пойдешь. И не думай. Побойся Бога! Почти полгода от тебя ни слуху ни духу, и даже когда ты здесь, я должна ждать целую неделю, пока ты мне позвонишь.

— Да пойми же ты, Тельма, *она* все время где-то рядом. Не могу же я просто взять и отправиться неизвестно куда. И потом, мне нужно было акклиматизироваться. Я вынужден теперь бережнее относиться к себе.

— Не любишь ты меня, Гарри, и никогда не любил. Ты любил во мне только мою любовь к тебе. Я не жалуюсь. Все правильно, другого я и не заслуживаю. Каждый сам себе определяет наказание в этой жизни, я в это свято верю. Взгляни на мои руки. У меня ведь были красивые руки. Мне так казалось, во всяком случае. А теперь чуть не все пальцы — на, смотри! Все искорежены. Мне даже не снять обручальное кольцо, нечего и пытаться.

Он смотрит, как она велит, нагнувшись вперед вместе с качалкой, на ее протянутые к нему руки. Суставы распухли так, что лоснятся, и ногтевые фаланги на некоторых пальцах чуть искривлены, но если бы она не привлекла его внимание, он ровным счетом ничего бы не заметил.

— Тебе совершенно незачем снимать обручальное кольцо, — урезонивает он ее. — Вы ведь с Ронни вот как склеены, и *каким* клеем! Ты вроде даже ешь этот клей, ты мне сама говорила, если память мне не изменяет.

Из-за рук в Тельме вскипело раздражение, и вот теперь он уже сам огрызается, как будто она лично его обвинила в том, что руки у нее изуродованы.

— Тебе всегда не давало покоя, что мы с Ронни живем как нормальные муж и жена, тебе мало было, что я кидалась к тебе по первому требованию. Но тебе ли упрекать меня за это, когда ты сам всю жизнь цеплялся за Дженис с ее деньгами? Я никогда не пыталась увести тебя от нее, хотя в определенные моменты могла бы, и без особого труда.

— Ты так думаешь? — Он делает качок назад. — Не знаю, не знаю, что-то в моей пустоголовой пигалице меня до сих пор трогает. Может, то, что она упорно не хочет сдаваться. У нее никогда не было ясного представления, как все устроено в мире, но ей пока еще не надоело в этом разбираться. Сейчас она записалась на курсы при Пенсильванском университете — знаешь корпус на Сосновой? — которые дают право получить лицензию на торговлю недвижимостью. По-моему, в школе у нее выше «удов» никогда и оценок-то не было, даже по домоводству. Хотя пример неудачный — спорю на что угодно, домоводство она попросту завалила, за всю историю школы это был, наверно, единственный случай.

Тельма против воли улыбается, болезненно-бледное лицо озаряется светом в полутемной гостиной.

— Правильно делает, — говорит она. — Было бы у меня здоровье, я бы тоже дома сидеть не стала. Женушка-хозяюшка — уж мы-то знаем, какое это счастье! Забивали нам голову всякой ерундой, вот и все домоводство.

— Да, кстати, как дела у Ронни?

— Все по-прежнему. — Теперь в ее голосе слышится мотив вековечной жалобы, под который здешние женщины привычно слагают сагу о своей нелегкой доле. — Прыти, правда, поубавилось, за новыми клиентами почти уже не гоняется, выезжает на старых. Детей тянуть больше не надо, выучились, так что вся его обуза — я сама да счета от моих врачей. То есть он, конечно, с радостью заплатил бы за учебу Рона-младшего, если бы тот изъявил желание закончить курс в Лихае; что скрывать, нам больно видеть, как он скатывается — хиппи не хиппи, что-то вроде, не об этом мы мечтали. Самое смешное, что в школе он из всех троих был самый способный. Слишком легко ему все давалось, так я думаю.

Гарри все это слышал уже не раз. В голосе Тельмы звучит родительская забота и взвешенное спокойствие в полном соответствии с правилами хорошего тона и предметом разговора, тогда как оба они прекрасно знают, что говорить ей хочется совершенно не об этом, а только об одном, всегда об одном и том же — минуту назад эта тема вспыхнула было, прорвалась: любит он ее или нет, и почему, почему она нужна ему не так, как он нужен ей. Но их отношения с самого начала строились на понимании, что это она домогается его, и сколько бы лет ни минуло с той поры, сколько бы ни было за это время тайных свиданий, благоразумных решений поставить точку и безумных малодушных откатываний назад в пучину секса, изначальная схема всегда оставалась неизменной: она дает, он берет, она страшится разрыва гораздо больше, чем он, и цепляется за него, и сама себя за это ненавидит, и хочет отыграться на нем за эту ненависть, а он только пожимает плечами и как ни в чем не бывало купается в лучах ее любви, которая, подобно солнцу, восходит каждый божий день, независимо от того, есть он рядом или его нет. В глубине души он не может поверить в это до конца, так чтобы никаких сомнений не оставалось, и потому нет-нет да и устроит проверочку.

— Ох уж эти дети, — говорит он наигранным тоном, будто бы и впрямь позабыв, что они не на светском рауте, а один на один друг с другом после долгой разлуки, за предусмотрительно опущенными жалюзи, и времени у них в обрез, — одно расстройство с ними. Ты бы посмотрела на Нельсона, когда он заявился во Флориду и ему пришлось всего каких-то несколько дней провести со мной под одной крышей. Что это было! Бедняга до того раздергался, что чуть из собственной шкуры не выпрыгнул.

Тельма досадливо взмахивает руками.

— Гарри, ты хоть и привык считать, что ты пуп земли, но в действительности это не так. Неужели ты всерьез думаешь, будто Нельсон дергался исключительно из-за тебя?

— А из-за чего же еще?

Ей что-то известно. Она колеблется, но не может, по-видимому, отказать себе в удовольствии легонько пырнуть его в отместку за его барственно-небрежное отношение — за то, наконец, что он уже неделю в Пенсильвании и только сегодня удосужился ей позвонить.

— Не может быть, что ты не знаешь. Мои ребята говорят, он наркоман, принимает кокаин. То есть в каких-то количествах они все его принимают, кто раньше, кто позже, такое уж поколение, но Нельсон, по слухам, увяз по-настоящему. Они говорят, важно, кто хозяин положения: человек или наркотик — в его случае наркотик.

Качнув кресло назад, насколько возможно, чтобы не отрывать ног от пола, Гарри застывает в этом положении так долго, что Тельма начинает беспокоиться — как-никак человек он теперь не вполне здоровый, вдруг сердце расшалилось, кто знает, но наконец он возвращается в исходную позицию и, вперив в нее задумчивый взгляд, говорит:

— В таком случае многое становится понятным. — Он нащупывает в боковом кармане серого твидового спортивного пиджака маленький коричневый пузырек, ловким движением вытряхивает на ладонь малюсенькую таблеточку и отправляет ее в рот, под язык. В этом уже отработанном жесте есть даже своеобразный шик. — Кокс ведь стоит денег, и немалых, верно? — спрашивает он Тельму. — Тут счет идет на сотни и тысячи.

Она уже жалеет, что сказала ему — ради минутного удовлетворения, ради того, чтобы встряхнуть его как следует, заставить вспомнить о ее существовании. Слишком прочно в ней засела учительская жилка: для нее отрада, когда урок идет строго по ее сценарию.

— Не могу поверить, что Дженис до сих пор пребывает в неведении и ни разу с тобой об этом не говорила. А жена Нельсона? Она-то уж наверно поделилась с вами?

— Пру не из болтливых, — говорит он. — Я-то сам вижусь с ними нечасто, даже когда мы здесь, живем ведь в разных концах города. Дженис туда наведывается исправно — это ж ее родовое гнездо, дом ее матери, — а мне там делать нечего. Она там хозяйка, а я никто.

— Гарри, да не смотри ты так ошарашено. Во-первых, это только слухи, и, по большому счету, это его личное дело, его и его семьи. Мы все совершаем поступки, которые не по вкусу нашим родителям, и те это прекрасно знают, хотя упорно не желают знать. Понимаешь, о чем я? Ну же, Гарри, будь оно все проклято! Теперь, выходит, я тебя расстроила, а я только и мечтаю, чтобы ты был счастлив со мной. Почему ты не хочешь позволить мне сделать тебя счастливым? Почему ты всегда, всегда сопротивляешься?

— Я не сопротивляюсь. И не сопротивлялся, Тел. Были и у нас хорошие времена. Просто мы, видно, не созданы для какого-то необыкновенного счастья, а теперь еще...

— Что, милый?

— Теперь я понимаю, каково тебе было все эти годы.

Она ждет, что он пояснит свою мысль, но он не может, в нем вдруг неожиданно проснулась деликатность.

Она подсказывает:

— Знать, что я должна умереть?

— Ну да, что-то в этом роде. Такое ощущение, будто все вокруг истончается, все предметы, и ты смотришь как бы сквозь них.

— Все, включая меня?

— Да нет же, нет, я совсем не о тебе. Прекрати, хватит уже бегать по кругу. Осточертело! Зачем тогда, по-твоему, я вообще сюда пришел?

— Переспать со мной, удовлетворить свою ненасытную похоть. Тогда что ты сидишь? То есть что ты сидишь там, а не здесь, рядом со мной? Ну давай действуй. Чего ты ждешь? Я же открыла тебе дверь! — Она наклонилась к нему вперед через стол, вжавшиеся в край колени побелели, на лице застыло шальное, млеющее выражение, какое появляется у женщин в момент решения пуститься во все тяжкие, переспать, а там хоть трава не расти, и он пугается, потому что теперь ему чудится в этом призыв по доброй воле скатиться с обрыва прямо в лапы смерти.

— Погоди, Тел, послушай. Давай как следует все обдумаем. — Тут действие нитроглицерина доползло донизу и в заду, как всегда, засвербило. Он садится поглубже, в надежде унять зуд. — Мне не велено перевозбуждаться.

Тогда она спрашивает, до некоторой степени даже развеселившись от необходимости всерьез обсуждать сей предмет:

— А с Дженис ты что же, так ни разу и не спал?

— Ну, может, разок-другой, толком не помню. Это ж как зубы перед сном почистить, сразу вылетает из памяти — то ли чистил, то ли забыл.

Она покуда оставляет это без комментариев и решает немного подразнить его:

— А я уже застелила бывшую кровать Алекса.

— Раньше ты не любила пользоваться семейными постелями.

— А я теперь стала очень просто смотреть на вещи, — говорит она с улыбочкой, извлекая максимум удовольствия из его попыток уклониться.

Он борется с искушением, мысленно рисуя обнаженную Тельму в постели — ее упитанное, согретое желанием тело, грудь, взлелеявшую троих младенцев-сыновей и по меньшей мере двоих взрослых мужчин, но сохранившую девичью упругость и нежно-розовый цвет сосков, как на подушечках детских пальчиков, совсем не такую, как у Дженис — маленькую, с жеваными темными сосочками, ее шелковистые — в отличие от шершавых Дженисовых — ягодицы, ее рыжеватую, в меру разреженную растительность на лобке, позволяющую разглядеть заветную прорезь, которую сквозь густые заросли у Дженис увидеть невозможно, ее не ведающий стыда, бесцеремонный рот — Тельмин, разумеется, — ее откровенную, смешливую ненасытность, всю ее, словно саму над собой подтрунивающую, что вот опять, в который раз, попалась все в ту же ловушку плотской страсти, и не держащую на него за это зла на протяжении стольких лет сближений — отдалений, погружений — выныриваний. Но вслед за этим он вспоминает о Ронни — поди знай, где перебывал паскудник этого паскудника: Кролик не может заставить себя поверить, вслед за Тельмой, что муж ей не изменяет, это после того-то, как он развратничал в школьной раздевалке, как он еще раньше Гарри путался с Рут, как заграбастал себе Синди там, на Карибах, — вспоминает о нем и о СПИДе. Этот вирус, такой микроскопический, что никакого воображения не хватит представить его, свободно передвигается в любой жидкой среде, одной капельки слюны или влагалищной смазки уже достаточно, и пробивает наши антитела, выводя из равновесия весь организм, и тут уж за нас берутся пневмония и общее истощение. Любовь и смерть — их отныне никакими силами не удастся отодрать друг от друга. Но не может же он сказать об этом Тельме открытым текстом. Не может плюнуть ей в лицо, с такой доверчивостью распахнутое ему навстречу. Она и сама теперь видит, что он «не расположен», и спрашивает:

— Принести еще кока-колы?

Он замечает, что, оказывается, осушил весь стакан и опустошил незаметно для себя обе чашечки с губительно калорийными, насквозь пропитанными солью орешками.

— Нет. Мне надо бежать. Но если позволишь, я еще немножко посижу, ладно? Мне с тобой так хорошо, как-то даже на сердце легче.

— Да? С чего бы это? Непонятно. Я ничем не лучше других — мне, как и всем, тоже что-то от тебя надо.

Слабенькая молния боли проскакивает у него в груди, моментально суживая амплитуду дыхания. Да, всем чего-то от него надо, со всех сторон обложили, не рыпнуться. Теперь еще прибавилась неудовлетворенная любовница, новое ярмо на шею. Но он врет во благо:

— Нет, ты совсем другое дело, Тел. С тобой мне всегда доставался только мед, без капли дегтя. Представляю, чего тебе это стоило, но ты молодец, нет, честно, спасибо.

— Гарри, *прошу тебя!* Ну что ты так разнюнился? Ты еще достаточно молод. Сколько тебе? Пятьдесят пять? Пустяки, не превышает даже лимита скорости.

— Пятьдесят шесть, уже два месяца как. Для кого-то это правда не возраст — чего бояться такому коротышке-здоровяку, как Ронни? Он будет жить вечно. Зато с моим ростом и с моей грузностью, а я ведь не вчера растолстел, никакое сердце не выдержит — ну-ка потаскай эдакую махину! — У него, понимает он вдруг, сложился устойчивый образ собственного сердца — несчастного пленника, насильно заточенного в грудную клетку, галерного раба или вот еще — понурой клячи в шорах, которая вращает мельничный жернов. Он чувствует, что Тельма смотрит на него как-то по-новому — отрезвленно; прежнего млеющего шального выражения как не бывало, во взгляде ничего, кроме отстраненности и оценки. Он догадывался, что отказ переспать с ней будет иметь свои последствия — он потерял в ее глазах свой статус, и она, еще сама того не сознавая, отодвигает его прочь от себя. Что ж, это только справедливо. Он сам давным-давно отодвинул ее в сторонку из-за ее неизлечимой болезни. Что, если не Тельмина волчанка, помешало ему уйти к ней от Дженис? Времени у него для этого было предостаточно — без малого десять лет. А он довольствовался тем, что предпочитал иметь ее, когда и сколько ему было угодно, а после вприскочку бежал обратно и, усевшись в свою соответствующую году модель «тойоты», послушно возвращался к Дженис — вот у кого здоровья хоть отбавляй, непробиваемого, идиотического здоровья. Нет, в самом деле, *почему* он так прилип к этой Дженис? По-видимому, в их союзе есть что-то мистическое, как в религии, потому что во всем остальном их узы — чистая бессмыслица.

Двое старинных друзей, каждый со своим недугом, он и Тельма, еще с полчасика мирно беседуют, обсуждая симптомы и потомство, вороша судьбы общих знакомых: Пегги Фоснахт умерла, Олли, по слухам, в Новом Орлеане, Синди Мэркетт, толстая и несчастная, работает в бутике в новом торговом центре в Ориоле, Уэбб в четвертый раз женился на двадцатилетней и, прихватив все свои деревянные поделки, переехал из суперсовременного дома в Бруэр-Хайтсе куда-то ближе к Гэлили в южной части округа и обосновался в старинном каменном фермерском доме, который он полностью переоборудовал.

— Ну, Уэбб дает! Что ни затеет, все у него получается. Вот человек, умеет жить!

— Так уж и умеет! Лично я никогда не была от него в восторге, в отличие от вас с Дженис. Он мне на нервы действовал своим занудством — все-то он знает лучше других, тоже мне профессор выискался!

— А тебе кажется, Дженис была от него в восторге?

Тельма слегка тушуется и отводит глаза в сторону.

— Ну, про одну-то ночь мы все знаем. Наутро она вроде бы не жаловалась. — Они вспоминают ту знаменитую ночь во время совместного отдыха на острове в Карибском море, когда три их пары поменялись партнерами: Уэббу досталась Дженис, Ронни — Синди, а ему, к его большому разочарованию, Тельма. В ту ночь она призналась, что уже много лет его любит.

— Что ж, мне тоже грех было жаловаться, — галантно говорит он, хотя главное, что ему запомнилось, — это какой он был наутро разбитый, еле ноги волочил, какой докукой было в тот день играть в гольф, какие неправдоподобные джунгли и коралловые пещеры обступали поле для гольфа.

В ответ на комплимент она саркастически кивает и возвращается к теме, затронутой в разговоре чуть раньше:

— Насчет ощущения, что рано или поздно придется умереть: думаю на разных людей это действует по-разному; скажем, у меня никогда не было чувства, что мир «истончается», как ты выразился. Пока я живу, я жива, не важно, насколько тяжело я больна, — это мое абсолютное неотъемлемое право до самой последней минуты. Или ты жив, и значит, жив абсолютно, или нет, и тогда ты сразу становишься чем-то совсем иным. Вы с Дженис хоть иногда ходите в церковь?

Нельзя сказать, что ее вопрос застал его врасплох, поскольку Тельма на свой манер всегда была религиозна; в ее случае религиозность — явление того же порядка, что и дух обывательства, которым пронизана вся обстановка у нее дома, и ее тщательно скрываемая от посторонних глаз сексуальность.

— По правде сказать, нечасто, — отвечает он. — Во Флориде церкви все какие-то несерьезные, для простого люда, да еще с южным колоритом. К тому же все наши тамошние приятели почти сплошь евреи.

— Мы с Ронни ходим теперь каждое воскресенье. Примкнули к одной из новых конфессий, из тех, что проповедуют возвращение к первоосновам. Слыхал, наверно: мы потеряны для спасения — и мы спасены.

— Вот как? — Все эти новоявленные секты и секточки нагоняют на Гарри убийственную тоску. У старых, пропахших нафталином конфессий есть по крайней мере какая-то традиция.

— Я верю в то, что они проповедуют — в общем и целом, — продолжает она. — Так легче не удариться в панику, когда начинаешь перебирать в голове все то, что раньше казалось хоть и не очень вероятным, но все же возможным, и что теперь тебе уже сделать не успеть. Побывать в Португалии, например, или получить магистерскую степень.

— Ты не так уж мало успела. Ты старалась для Ронни, и для меня — для меня даже сверх всякой меры, и ты еще вырастила троих сыновей. И в Португалию свою ты еще вполне можешь съездить. Говорят, это совсем недорого, относительно, конечно. А вот я, если бы куда и поехал за границу, так это в Тибет. Не хочу даже думать, что я там уже не побываю. И никогда уже не стану летчиком-испытателем, как я мечтал, когда мне было десять лет. Правильно ты говоришь: я до сих пор считаю, что я пуп земли.

— Я не вкладывала в свои слова обидного смысла, Гарри. В сущности, в этом секрет твоего обаяния.

— Может быть, но только не для Нельсона.

— Нет, и для него тоже. Он бы не хотел, чтобы ты был другим.

— Есть вопрос, Тел, как раз для тебя. Ты ведь умница. Куда, скажи на милость, подевался далай-лама?

Пребывая в своем новом, трезво-оценочном настроении, она уже ничему не должна бы удивляться, и тем не менее от неожиданности Тельма заливается смехом.

— Ну, во всяком случае, он покуда жив, верно? В последнее время он, кажется, снова попал в поле зрения репортеров, вероятно, в связи с очередными волнениями в Тибете. А в чем дело, Гарри? Уж не стал ли ты его последователем? Может, поэтому ты и не ходишь в церковь?

Он решительно встает, не желая сносить насмешки по поводу сего предмета.

— Мне всегда казалось, что между нами, как бы это выразить, есть какая-то связь: ему и лет почти столько же, и вообще я люблю знать, где он и что с ним. Шестое чувство говорит мне, что нынешний год будет для него особенным. — Кресло-качалка, мотнувшись назад и потом снова вперед, легонько бьет его под колени, а от принятого лекарства голова у него и без того кружится. — Спасибо за угощение, — говорит он. — За один раз обо всем не переговоришь.

Она тоже встает, неловко преодолевая плюшевую хватку дивана, потом, по-артритному переваливаясь, как утка, делает несколько шагов вокруг столика и прижимается к нему всем телом, уткнувшись лицом в лацкан его пиджака. Она смотрит на него снизу вверх с многозначительной серьезностью, будто знает лучше его самого, — так смотрят только женщины, которые делили с тобой постель, — и взывает:

— Ты верь, дорогой, верь. Вера в Бога очень помогает.

Он внутренне весь передергивается.

— Я не *не* верю.

— Боюсь, этого недостаточно, Гарри, дорогой. — Ей явно доставляет удовольствие произносить слово «дорогой». — Прежде чем ты уйдешь, позволь мне хотя бы взглянуть на него.

— На кого на него?

— На него. На тебя. На дружочка в шапочке.

Тельма встает на колени, прямо посреди гостиной со всеми ее финтифлюшками и оборочками и застойным, спертым воздухом, и расстегивает молнию у него на брюках. Он чувствует бесстрастное прохладное прикосновение ее пальцев и видит седые волосы у нее на макушке, лучами расходящиеся от пробора; сердце пускается вскачь в предвкушении теплой неги ее рта, которое подогревается памятью о прошлых днях.

Но она произносит только «красавчик ты мой» и запихивает его, довольно-таки бесцеремонно, обратно в эластиковые трусы, после чего застегивает молнию и тяжело подымается на ноги. Она переводит дух, как будто только что орудовала шваброй. Он обнимает ее, и на сей раз сам не может от нее оторваться.

— Знаешь, почему я не ушел от Дженис и теперь уже не уйду? — откровенничает он, отчего-то вдруг чуть не плача, вконец разнюнившись, если воспользоваться ее выражением. — Потому что без нее я полное дерьмо. Без работы. Старый. Я теперь ни на что больше не гожусь, кроме как быть ее мужем.

Он ждет сочувствия, но, вероятно, ему не стоило вновь приплетать Дженис — кажется, это уже перебор. Тельма как-то странно цепенеет в его руках.

— Не знаю, не знаю.

— Насчет чего?

— Насчет того, стоит ли тебе сюда приходить.

— Ну пожалуйста, прошу тебя, — канючит он, под влиянием какой-то обратной логики вдруг почувствовав, что его внутренний настрой звучит наконец в унисон с тональностью их свидания. Более того, он даже приходит в возбуждение. — Без тебя мне нет жизни.

— Возможно, сама природа учит нас уму-разуму. Стары мы уже глупостями заниматься.

— Нет, Тельма, нет. Кто угодно, только не ты и я.

— Да ты ведь сам меня не хочешь.

— Хочу, хочу, просто боюсь подцепить какую-нибудь заразу от Ронни.

Упершись ему в грудь, она пытается высвободиться.

— Никакой заразы у Ронни сроду не было. Что он, что я — по этой части мы абсолютно здоровы, тут опасаться нечего.

— Ну да, само собой, особенно если учесть ваши теплые отношения. Этого-то я как раз и боюсь. Говорю тебе, Тельма, ты не знаешь его. Он же чокнутый. Просто ты, как верная подруга, не способна смотреть правде в лицо.

— Гарри, мне кажется, мы с тобой дошли до точки и лучше остановиться сейчас, иначе не знаю, до чего мы договоримся. Ты прав, секс нынче совсем не то, что было когда-то. Мы все должны быть предельно осмотрительны. Главное, будь *сам* осторожен. У тебя своя зубная щетка, у меня своя.

Не раньше чем он оказался на улице, на извилистой садовой дорожке, и дверь с опущенной шторкой закрылась за ним, до него дошел намек насчет зубной щетки. Пырнула-таки напоследок его и его Дженис. Нет, с женщинами невозможно говорить откровенно, у них не голова, а ФБР. Гляди-ка, дрозд все еще тут, на газоне. Может, у него болезнь какая-то, живность ведь тоже чем-то болеет, тоже подвержена каким-то своим эпидемиям. Птица поглядывает на Кролика бусиничным глазом и на всякий случай отскакивает немного в сторону по Тельмовой юной, восковой, апрельской травке, но улетать не улетает. Птичка, скачи! Вызывающе-желтый окрас одуванчиков на этой неделе добавился к желтизне нарциссов и форсайтии. Цвет-призыв. Цветы завлекают пчел, как люди завлекают друг друга. Сигналы. Запахи. Ты верь, дорогой, верь! Был бы он сейчас там, в доме, разделал бы ехидну так, что чертям жарко стало бы, и плевать на всю опасность. Вместо этого он погружается в безопасное нутро своей асфальтово-серой «селики»; пока он, бесшумно скользя, выезжает из Эрроудейла, застывшую тишину поселка нарушают желтые школьные автобусы, которые, притормаживая на каждом углу извилистых улочек, выбрасывают из себя пригоршни звонкоголосой орущей детворы.

«ТОЙОТА» — ЭТО ЧТО-ТО! — начертано на большом синем транспаранте в витрине «Спрингер-моторс», что на шоссе 111. *36 месяцев — 36 000 миль. Гарантия на все новые модели* — возвещает плакат поменьше, и тут же еще один: *Новинка — «крессида». Новый мощный двигатель. 3 литра. 190 лошадиных сил. 4-скоростная автоматическая ускоряющая трансмиссия. Новое противоугонное блокирующее устройство на коробке передач.* Нельсона нет на месте, о чем Гарри узнает с немалым облегчением. Вторник, день для торговли так себе, в зале два продавца, молодые люди — ни он их не знает, ни они его. С прошлого ноября кое-что изменилось. Нельсон перекрасил административный отсек в более веселенькие тона — ярко-розовый в сочетании с зеленым, ни дать ни взять китайская чайная — и поснимал старые увеличенные газетные фотографии, запечатлевшие Гарри в дни его баскетбольной славы, с заголовками, где он именуется не иначе как «Кролик».

— Мистер Энгстром приблизительно в час ушел обедать и предупредил, что сегодня он уже, возможно, на работе не появится, — сообщает ему толстячок продавец. В былые времена Джейк и Руди сидели за столами, установленными тут же в зале, только вдоль стены, с той стороны, где когда-то была дискотека, которая потом прогорела, и на исходе семидесятых ее место занял пункт проката бытовой техники. Воплощая в жизнь одну из искрометных идей Нельсона, столы с прежнего места убрали, зато пространство вдоль противоположной стены теперь разделено на секции, наподобие ресторанных кабинок. Вполне возможно, это создает более доверительную атмосферу между продавцом и клиентом, особенно в самый щекотливый момент совершения сделки, но в целом такая планировка непривычно изолирует рабочие места от основной площади, где, собственно, и происходит вся работа, и, кроме того, шум из ремонтных мастерских стал гораздо слышнее. Там, за той стеной, снаружи, вытянувшись в сторону реки и Бруэра, находится принадлежащий магазину незаасфальтированный участок земли — Гарри мысленно окрестил его Парагваем, по имени страны, которая, к слову сказать, только что освободилась из-под власти диктатора, какого-то старика с немецкой фамилией[[92]](#footnote-92), о чем Гарри узнал намедни из газет.

— Ну да, понятно, — говорит он толстячку, — я-то сам тоже мистер Энгстром. Есть тут у вас кто-нибудь компетентный, с кем можно поговорить о деле? — Не то чтобы он специально хотел кого-то обидеть, просто Тельмино сообщение, раскрыв ему глаза, сильно его расстроило: сердце у него колотится, желудок, надрываясь, пытается переварить две плошки орехов.

Из кабинки со стороны Парагвая выходит второй продавец, тот, что потоньше, и когда он приближается к ним, Гарри видит, что это не он, а она; ее волосы, на висках гладко зачесанные назад, и коричневое пальто-шинель, которое она набросила, чтобы выйти на улицу к клиентам, ввели его в заблуждение. Оказывается, это женщина. Автомобилями тут у них торгует баба. Прямо как в рекламном ролике «Тойоты», только белая. Он силится придать лицу подобающее выражение, чтобы скрыть свою истинную и, чего уж там, полную предрассудков реакцию.

— Мистер Энгстром, меня зовут Эльвира Олленбах, — представляется она и протягивает ему узкую твердую руку, которая после вялого, холодного, как сырое тесто, прикосновения Тельмы полчаса назад кажется горячей. — Я бы сразу догадалась, что вы отец Нельсона, даже если бы не видела ваших фотографий у него в кабинете. Вы с ним очень похожи, особенно вот тут, возле рта.

Шутить, что ли, вздумала с ним эта краля? Перед ним стоит сухопарая, подобранная молодая женщина, спортивная сверх всякой меры, как теперь у них это модно, с глубокими глазницами, низким, без модуляций, голосом, тонкими губами под слоем бледно-розовой светящейся помады, словно на губы наклеена глянцевая лента, и шеей до того стройной и тонкой, что по сравнению с ней подбородок кажется широковатым; линия челюстей заканчивается под мочками слегка оттопыренных ушей. В ушах у нее золотые серьги в форме раковины улитки.

— Если я правильно понимаю, — говорит он, — когда я был здесь в последний раз перед отъездом, вы еще не работали?

— Я здесь только с января, — поясняет она. — Но до этого я три года проработала в представительстве «Дацуна» на шоссе 819.

— И что же, нравится вам торговать машинами?

— Очень, — отвечает Эльвира Олленбах лаконично. Она не слишком улыбчива, во взгляде чувствуется какая-то настойчивость.

Он решает рискнуть и говорит ей напрямик:

— Принято считать, что это неженское дело.

Она чуточку оживляется.

— Да, знаю, и это очень странно, правда? Казалось бы, что может быть естественней? Когда в автомагазин заходят женщины, они уже не чувствуют себя так робко и неуверенно, а мужчины гораздо меньше боятся ударить в грязь лицом и показать, что они чего-то не знают, чем когда их обслуживает их же брат мужчина. Мне работа нравится. Отец всегда любил машины, наверно, и я в него пошла.

— Что ж, тут есть рациональное зерно, — соглашается он. — Даже не знаю, почему раньше никто до этого не додумался. Я имею в виду — привлекать женщин к торговле машинами. А как вообще дела?

— Весна как будто складывается неплохо, пока, во всяком случае. Многим нравится «камри», и «королла», конечно, по-прежнему в чести у клиентов, но, что удивительно, у нас очень хорошо идут люксовые модели, у других дилеров ничего похожего не наблюдается, насколько нам известно. Экономика Бруэра явно пошла в гору — наконец-то после стольких лет. Старые производства теперь реорганизованы, да и новые, узкоспециализированные и высокотехнологичные, растут как грибы. Ну и, конечно, появилась сеть фирменной торговли, там все товары идут на ура. Это залог успешного возрождения.

— Блеск! А что с подержанными? Туговато?

Ее глубоко посаженные глаза — затуманенные, как у Нельсона, но не угрюмо-затравленные, — изумленно вскидываются на него.

— Нет, почему же, вовсе нет. Отчасти потому Нельсону и понадобился еще один продавец, что сам он хотел уделить больше внимания подержанным машинам, постараться не так много отдавать оптовикам. Раньше этим тут занимался специальный человек с греческой фамилией.

— Ставрос. Чарли Ставрос.

— Точно. Нельсон считает, что с тех пор, как он ушел на пенсию, подержанные машины у нас пущены на самотек. Нельсон рассуждает так: если сегодня ты не предложишь малообеспеченному покупателю из молодых или из нацменьшинств товар, который ему по карману, то назавтра ты лишишься потенциального клиента, который через пять — десять лет уже был бы готов приобрести новую модель, рассчитанную на более состоятельную клиентуру.

— Звучит вполне убедительно. — Только что не молится на Нельсона, девчонка-то. Девчонке, впрочем, лет тридцать, если не больше, насколько он может судить: все, кто моложе сорока, для него молодняк.

Пухлявый продавец, тот, что мужского полу, — приятный и привычный глазу итальянский типаж, каких Бруэр пока еще в некотором количестве продолжает воспроизводить, с хрипотцой в голосе, волосатыми запястьями и старомодной стрижкой с гладкими височками, — считает нужным вставить в разговор свои два цента.

— Благодаря Нельсону подержанные резко пошли в гору. Постоянная реклама в «Стэндарде», цены — мы пишем их кремом для бритья на ветровом стекле — снижаются каждые два-три дня, а если платишь наличными — скидка. Некоторые каждый день заезжают, караулят, чтоб схватить по дешевке. — У него беспокойная манера придвигаться к собеседнику слишком близко и частить словами; щекам его не помешала бы хорошая бритва, а дыханию — ментоловая пастилка, лучше две. Чесночные души, без чеснока им еда не еда.

— Скидки, говоришь, когда наличными платят? Тэк-с, — кивает Гарри. — А где все-таки Нельсон, если честно?

— Он нам сказал, что ему нужно снять напряжение, — говорит Эльвира. — Его тут донимают звонками.

— Звонками?

— Ему без конца звонит какой-то человек, — поясняет она. И, понизив голос, добавляет: — Судя по выговору, иностранец. — У Гарри закрадывается подозрение, что она не так уж толкова, как показалась на первый взгляд. От ее настойчивых глаз не ускользнула тень его мысли. В порядке самозащиты она произносит: — Мне, наверно, вообще не следовало затрагивать эту тему, но поскольку вы его отец...

— Скорей всего, какой-нибудь недовольный покупатель. — Кролик сам предлагает объяснение, чтобы помочь ей выйти из положения.

— Среди клиентов «Тойоты» таких наперечет, — бурно влезает в разговор ее коллега-продавец. — Еще бы, год за годом с конвейеров компании сходят надежные машины, пробег без ремонта просто потрясающий!

— Не агитируйте меня, я и так за, — остужает его Гарри.

— Ничего не могу с собой поделать, завожусь и все тут. Кстати, меня зовут Бенни Леоне, мистер Энгстром. Бенни, то есть Бенедикт. Рады приветствовать вас здесь у нас. Нельсон говорит, вы оставили наш бизнес, умыли, так сказать, руки и вполне этим довольны.

— Я отошел от дел только наполовину. — Интересно, думает он, известно им, что по закону все это принадлежит Дженис? Он полагает, что они осведомлены достаточно. Жизнь учит, что люди, как правило, в курсе таких вещей. Знают, да помалкивают.

— В нашем деле каких только звонков не бывает, такого иногда наслушаешься! — тараторит Бенни. — Нельсон не должен впадать из-за этого в расстройство, нервы нужно беречь.

— Нельсон чересчур серьезно ко всему относится, — подхватывает Эльвира. — Я сколько раз ему говорила: не принимай все близко к сердцу, но так уж он устроен. Он вечно натянут как струна — того и гляди лопнет.

— Он сызмальства такой — неравнодушный, — заверяет их Гарри. — А кроме вас двоих, кто-нибудь еще есть на месте? Или разговоры про самотек...

— Есть, Джереми, — докладывает Бенни, — он обычно работает со среды по субботу включительно.

— Да, и еще Лайл, — уточняет Эльвира, краем глаза поглядывая на парочку в линялых джинсах, дрейфующую посреди искристого моря разнообразных «тойот».

— Я думал, Лайл серьезно болен, — удивляется Гарри.

— У него сейчас период ремиссии, так он объясняет, — комментирует Бенни, старательно контролируя выражение своего лица, примерно с тем же успехом, с каким чуть раньше Гарри пытался за маской непроницаемости скрыть от Эльвиры свои закоренелые предрассудки. Она тем временем, неожиданно двинувшись от них прочь и мелькнув своей легкой весенней шинелькой на фоне яркого дверного проема, выходит навстречу потенциальным покупателям.

— Отрадно слышать, — говорит Гарри. Один на один с Бенни он чувствует себя проще и раскованней. — Вот не знал, что при такой болезни может быть какая-то ремиссия.

— На время да, но только на время. — Хрипотцы в голосе его собеседника как-то сразу прибавилось — эдакий полугангстерский окрас, — видно, женское присутствие даже его до определенной степени сковывало.

Гарри, мотнув головой в сторону наружной двери, любопытствует:

— Как она справляется? Только без дураков.

Бенни, стоя к нему так близко, что ближе уже некуда, придвигается еще на дюйм и доверительно сообщает:

— У нее как: вроде уже доведет клиента до нужной кондиции, а потом вдруг бац! — как заклинит ее, не хочет уступить ни цента, и в результате сделка уплывает. Такое впечатление, она боится, как бы кто не сказал, что у нее кишка тонка.

Гарри понимающе кивает.

— По этой же причине женщины и с чаевыми скаредничают. Деньги на них действуют как удав на кролика. Но при всем том, — бодро заключает он, всем своим тоном приветствуя свежий ветер перемен и нововведения своего прогрессивно мыслящего сына, — идея, по-моему, неплохая. Теперь женщин даже министрами назначают. Видно, не зря — есть у них подход к людям.

— Ну да, — разрешает себе осторожно согласиться брыластый коротышка. — Все-таки что-то оригинальное. Не как у всех.

— Так где, вы сказали, мне найти Лайла?

Ему остается только гадать, как много утаивают от него эти двое, стараясь выгородить Нельсона. От него не укрылись многозначительные взгляды, которыми они обменивались, пока шел разговор. Хитросплетение тайн и умолчаний, и где? — в фирме, которую он же сам, собственноручно, лепил, начиная с 1975-го, когда старик Спрингер в один прекрасный летний день взял да и спекся, словно перегревшийся термометр. Кто сам пробовал, тот понимает, какого колоссального напряжения нервов требует автомобильный бизнес. Тут все непредсказуемо, а между тем ты по рукам и ногам связан жесткими обязательствами, и будь любезен их выполнять.

— Десять минут назад он был в кабинете Нельсона.

— Почему не у Милдред? — И Гарри поясняет: — Милдред Крауст просидела тут бухгалтером столько лет, что ты, наверно, еще пешком под стол ходил, а она уже тут работала. — Его самого можно считать живым свидетелем истории, если под историей разуметь историю «Спрингер-моторс». Он помнит еще те времена, когда чуть дальше по дороге, там, где сейчас пункт проката бытовой техники, светилась большущая реклама с одним словом — ДИСКО, переделанная из прежней, с франтоватым мистером Земляным Орехом в цилиндре, который без устали жонглировал неоновой тросточкой.

Но Бенни, похоже, знает все, что, по его мнению, стоит знать.

— Теперь в ее кабинете что-то вроде комнаты для совещаний, — сообщает он. — Там есть кушетка, на случай если кому-нибудь срочно понадобится прилечь. Лайл, бывало, этим пользовался, но сейчас он в основном работает дома, по-другому ему болезнь не позволяет.

— И давно он болеет?

У Бенни на лице опять возникает деланно нейтральное выражение, и он отвечает:

— С год, не меньше. Можно жить с вирусом пять, десять лет и только после начать ощущать на себе последствия. — Он совсем осип и придвинулся к Гарри просто вплотную. — У нас два механика уволились, когда Нельсон взял его бухгалтером, уже больного, но надо отдать Нельсону должное, он не стал их упрашивать. Он открытым текстом объяснил всем, что при обычном общении никакой опасности заражения нет, а дальше пусть каждый сам решает, оставаться или уходить.

— А Мэнни, как, интересно, реагировал?

— Мэнни? А, понятно, мистер Мэннинг, начальник отдела ремонта. Если не ошибаюсь, из-за этой истории он и ушел в конце концов. Я слыхал, он берет заказы в других фирмах, но ему не позавидуешь — в его-то возрасте такие перемены.

— Ты сам это сказал, я тебя за язык не тянул, — отзывается Гарри. — Смотри-ка, никак еще клиент пожаловал. Пора тебе двигать на помощь Эльвире.

— Мой девиз: дай людям осмотреться. Кто настроен серьезно, тот к тебе сам придет. Эльвира чересчур с ними носится.

Кролик идет через зал мимо стенда с техническими характеристиками, витрины с запчастями и укрепленной (на случай непредвиденных ударов) двери в гараж прямо к зеленому дверному проему, облицованному, как и прежде, панелями рифленого мезонита, которые теперь выкрашены в приглушенно-розовый цвет, — идет в свой бывший кабинет. Эльвира не соврала: переснятые с увеличением газетные заголовки с его именем и вырезки с фотографиями не выброшены за ненадобностью, а развешаны по стенам в кабинете Нельсона, где сын волей-неволей вынужден любоваться ими каждый день. Кроме того, на стенах висят фирменные эмблемы клубов «Киванис» и «Ротари», выписка из постановления Бруэрской торговой палаты, диплом, подписанный президентом компании, которым «Тойота» наградила их несколько лет назад («за верность духу фирмы»), и календарь, выпущенный «Плейбоем», — текущий месяц, апрель, представлен голозадой девицей, которая прикидывается пасхальным зайчиком, и хотя Гарри не вполне уверен, что такая изопродукция добавляет солидности фирме, это худо-бедно знак того, что не все еще в этом заведении сменили сексуальную ориентацию.

Лайл поднимается из-за стола Нельсона раньше, чем Гарри успевает войти. Он невероятно худ. Под серым костюмом на нем надет толстый красный свитер. Он протягивает костлявую, синюшную руку и неожиданно улыбается, обнажая огромные на его усохшем лице зубы.

— Здравствуйте, мистер Энгстром. Вы меня, конечно, не помните.

А ведь его лицо и вправду кажется смутно знакомым, как лицо из команды соперников, с которыми ты играл лет сорок назад. Череп у него необычайно узкий, а коротко остриженные волосы такого ровного светлого цвета, что кажутся крашеными; довершают портрет маленькие, половинные бухгалтерские очки в тонкой золотой оправе. По лицу его разлита такая бледность, словно кожа насквозь просвечивает. Прищурившись, Гарри коротко пожимает протянутую руку и старается не думать о микроскопических носителях вируса, устроенных хитроумно, как космический корабль в миниатюре, которые в это самое мгновение незаметно соскальзывают ему на ладонь, поднимаются вверх по руке под мышку и там через потные железы заныривают прямиком в кровоток. Он обтирает ладонь о полу пиджака, очень надеясь, что со стороны кажется, будто он машинально похлопывает себя по карману.

— Я когда-то работал в «Финансовых альтернативах» на Уайзер-стрит, а вы с женой туда наведывались — покупали-продавали золото и серебро, — напоминает ему Лайл.

Гарри смеется, припоминая эту историю.

— Было дело, мы один раз чуть хребет себе не сломали, пока доволокли до банка какую-то сумасшедшую груду серебряных долларов. Ну и тяжесть!

— Вы тогда это ловко провернули, — говорит Лайл. — Главное, успели вовремя все скинуть. Я даже не ожидал.

Последнее замечание кажется Гарри немного нахальным, но он не теряет благодушия.

— Удача дураков любит. А что, магазин до сих пор существует? Чем они теперь занимаются?

— Занимаются тем же, но *очень* скромно, — отвечает Лайл, непомерно, на слух Гарри, акцентируя слово «очень». Почему-то у гомиков так заведено — они будто зарок дали все преувеличивать, хотя для них это всего лишь нормальная интонация. — Этот бум вокруг драгметаллов — просто какое-то помешательство, право слово. Теперь дела у них *очень* неважные.

— Стильное было местечко. А какая красотка занималась там собственно куплей-продажей. Удивительно, как она с такими ногтями ухитрялась работать на компьютере.

— Ах, Марсия? Она покончила с собой.

Кролик ошеломлен. Такой с виду ангелочек была эта девица, и на тебе!

— Неужели? Почему?

— О, ничего особенного. Чисто личные проблемы, — говорит Лайл, отметая их, проблемы, движением своей прозрачной руки. Кролик почти явственно видит вокруг контуров Лайла размытый подвижный ореол из крохотных светящихся частичек, как будто над ним вьются маленькие «инопланетяне», прямо из фильма[[93]](#footnote-93). — Падение спроса на металлы не имело к этому ни малейшего отношения. Марсия была просто вывеской, финансирование шло из Филадельфии.

Слушая безмятежный голос Лайла, Гарри слышит и то, как он на вдохе с шумом втягивает воздух, слегка задыхается, недаром у него на висках эти синие тени, и вообще все время такое чувство, будто он явился откуда-то из космоса и вот-вот обратно туда же и отбудет. *Дела-то у парня похуже, чем у меня*, думает Кролик и от этой мысли сразу проникается к нему дружеским расположением. Пока, правда, характерных следов — каких-нибудь там пятен Капоши[[94]](#footnote-94) — не видно, просто общая аура, свечение тела, упорно отказывающегося принимать жизнь, отвергающего все, что ее подпитывает, не желающего продолжать сосуществование с собственным организмом. Ноздри улавливают сладковатый гнилостный душок — похожим запахом тянет из дверцы долго простоявшего закрытым холодильника в каком-нибудь снятом на отпуск домишке, а впрочем, вполне возможно, что у Кролика просто фантазия разыгралась. Неожиданно Лайл садится, вернее, бессильно опускается в кресло, как будто ему невмочь больше стоять.

Гарри устраивается в кресле напротив, по другую сторону стола, где обычно сменяют друг друга клиенты, выклянчивающие для себя льготные условия расчета.

— Лайл, — начинает Гарри, — я хотел бы проверить бухгалтерские книги. Банковские уведомления, платежи, ссуды, инвентарные ведомости, наличие, короче, все, что полагается.

— Но почему же, Бог мой, почему? — Кажется, на истаявшем, блеклом лице Лайла остались одни глаза, как это бывает только у тяжелобольных. Он сидит очень прямо, положив для упора одну бесплотную руку в сером рукаве параллельно краю стола. Для того ли, чтобы экономить силы, а вернее, чтобы скрыть правду, он избирает тактику минимальных ответов.

— Так, обычное человеческое любопытство. Ну, ладно, если честно, меня кое-что настораживает в тех сводках, которые поступали ко мне во Флориду. — Тут Гарри немного запинается, не уверенный, стоит ли раскрывать свои карты, но в конце концов решает: была не была, большого вреда не будет, а может, и тревога-то ложная. У него еще теплится надежда, что скоро все запросто объяснится, и он, успокоившись, снова надолго забудет о магазине. — Непонятно, почему так упали продажи подержанных машин, я имею в виду их долю в общей пропорции.

— Непонятно?

— Вы можете возразить, что, во-первых, этот показатель все время плавает, и во-вторых, что благодаря успехам рейгановской экономики люди могут позволить себе не размениваться на старье, а покупать новую машину; но в мою бытность здесь, в магазине, определенная пропорция всегда сохранялась — месяц так, месяц эдак, но среднее арифметическое было постоянным, а теперь, судя по сводкам, этого не происходит, не происходит начиная с ноября. Мало того, чем дальше, тем все хуже и хуже, это-то и странно.

— Странно.

— Сомнительно. Подозрительно. Называйте, как хотите. Когда я смогу ознакомиться с отчетностью? Сам я в бухгалтерии не больно разбираюсь, поэтому хочу призвать на помощь Милдред Крауст.

Лайл с видимым усилием убирает руку со стола, так что теперь обе его кисти оказываются где-то внизу, вне поля зрения. Его движения вызывают у Гарри жуткие ассоциации с потусторонней замедленностью безвольных мертвых тел, выволакиваемых из огромных общих могил в Бухенвальде, — кадры, к которым снова и снова возвращались послевоенные кинохроники. Абсолютно голые, с нелепо болтающимися, будто из них вынули все суставы, конечностями, с выставленными на всеобщее обозрение гениталиями... Чего стоят после этого любые разговоры о непристойности, здесь непристойность обрела такие масштабы, что иного способа заставить людей поверить в это, кроме как увидеть собственными глазами, просто не было.

— Отчетность хранится по большей части у меня дома, в компьютере, — говорит Лайл.

— Здесь у нас тоже имеется компьютерная система. Самая современная — «Ай-би-эм». Я прекрасно помню, как мы ее тут устанавливали.

— У меня стоит совместимый — компактный «Эпл Макинтош», который делает все, что пожелаешь.

— Охотно верю. И знаете, раз уж мы об этом заговорили, ваша болезнь и сидение дома еще не повод для того, чтобы финансовая документация «Спрингер-моторс» была разбросана по всему округу Дайамонд. Она нужна мне здесь. И не позднее, чем завтра.

Вот и вышло наружу то, о чем они оба упоминать пока избегали, — что Лайл болен, что Лайл обречен. Молодой человек слегка надувает губы. И тут же расплывается в беззлобной улыбке скелета.

— Я могу предоставить информацию только тому, кто наделен соответствующими полномочиями, — заявляет он.

— У меня есть полномочия. Я лично управлял здесь всеми делами. Вон вся стена увешана моими портретами. Какие еще нужны полномочия?

Веки Лайла с темными — темнее волос на голове — ресницами опускаются на его неестественно выпученные глаза. Он несколько раз смаргивает и со всей возможной тактичностью, стараясь оставаться в рамках вежливости, уточняет:

— Насколько я могу судить со слов Нельсона, компания принадлежит его матери.

— Верно, но я ее муж. Все, что принадлежит ей, наполовину принадлежит и мне.

— При определенных обстоятельствах, возможно, и в определенных штатах. Однако не в Пенсильвании, я полагаю. Если вам *угодно*, можете обратиться за разъяснением к адвокату. — Одышка мешает ему говорить, и, прерывая его, Гарри, можно сказать, приходит ему на выручку.

— Мне незачем обращаться ни к каким адвокатам. Все, что мне нужно, это попросить жену позвонить вам и велеть ознакомить меня с бухгалтерией. Меня и Милдред Крауст. Я намерен привлечь ее.

— Мисс Крауст, если не ошибаюсь, проживает сейчас в богадельне. Денглеровский дом престарелых в Пенн-Парке.

— Прекрасно. От нас в пяти минутах. Завтра по дороге сюда я за ней заеду. Давайте условимся о времени.

Веки Лайла вновь опускаются, и локоть угловатым движением снова возвращается на стол.

— Когда и *если* я получу распоряжение от вашей жены и плюс к тому добро от Нельсона...

— Ну, этого вы не дождетесь. В Нельсоне вся проблема и есть, уж никак не ее решение.

— Я сказал, даже *если* мне велят это сделать, мне понадобится несколько дней, чтобы подбить все цифры.

— Это почему же, интересно знать? Отчетность должна быть в порядке всегда, каждый день. Чем это вы тут, ребятки, занимаетесь, а?

Как ни странно, Лайл ничего не отвечает. Возможно, у него просто перехватило дыхание и трудно говорить. Все это ужасно тягостно и неприятно. Сердце у Гарри колотится, грудь разболелась уже не на шутку, но он пока противится искушению заглотить очередную таблетку нитростата — так и привыкнуть недолго, а потом, как наркоман, без таблетки шагу не слупишь. Он глубже оседает в кресле, разваливается, будто давая понять, что деловые переговоры на сегодня себя исчерпали. Он решает на пробу сменить тему разговора:

— Между нами, Лайл, скажите, каково вам сознавать это?

— Что — это?

— Что вы так близко, ну, вы же понимаете, о чем я. Я только потому спрашиваю, что меня во Флориде здорово прихватило с сердцем и мне до сих пор не свыкнуться с мыслью, как близко я подошел к краю. То есть большую часть времени все это кажется нереальным — я это *я*, и кругом, куда ни глянь, все как всегда, все то же, все нормально, и вдруг потом среди ночи, когда проснешься сходить в туалет, или, скажем, смотришь по телевизору какую-нибудь полнейшую белиберду, меня ни с того ни с сего как окатит, бр-р! Кажется, земля уходит из-под ног, и хочешь влезть обратно в родительскую утробу, да только вот родителей-то больше нет.

Оттопыренные губы Лайла слабо подрагивают — впрочем, это, может, обман зрения, — пока он в недоумении теряется в догадках, как отнестись к новому повороту в разговоре.

— Постепенно с этой мыслью смиряешься, — говорит он. — Все когда-то умирают.

— Да, только одни почему-то раньше других, как с этим-то быть, а?

Лайла корежит от возмущения.

— Работа над новыми препаратами идет полным ходом. Что ни день появляется новое средство. Кто только не бьется над вакциной — французы, китайцы. Трихозантин. Азидотимидин. Разные другие. В конце концов наше славное управление по контролю за лекарствами будет вынуждено одобрить их к применению, даже если делами там заправляет кучка фашиствующих рейганистов-мракобесов, которым только того и надо, чтобы мы все передохли. Сейчас главное — подольше продержаться. Надежды я не теряю.

— Молодец, коли так. Желаю побольше сил. Но возможности медицины ограничены в принципе. Я эту истину постигаю на собственной шкуре, и дается мне она ох как нелегко. Видите ли, не то чтобы я никогда раньше не задумывался или не видел, как умирают близкие мне люди, но я до сих пор, как бы это поточнее выразить, не ощущал вкуса смерти у себя на зубах. Я к тому, что это не шуточки. И торг тут бесполезен. — Ему теперь уже нестерпимо хочется сунуть в рот таблетку. Интересно, не найдется ли у Нельсона в столе сосательных конфеток, он-то сам всегда держал в ящике такие леденцы — маленькие спасательные круги «Лайфсейверс». Очень помогает, когда разнервничаешься. Гарри уже не в первый раз замечает, что стоит ему подумать о смерти, как его тянет чего-нибудь пожевать, — только поэтому он не похудел еще больше.

Бесцеремонные попытки постороннего человека влезть к нему в душу приводят к тому, что Лайл сидит за столом еще прямее, а во взгляде его прибавилось враждебности. Он смотрит на Гарри глазами навыкате из глубоких провалов глазниц, из-под светлых, с металлическим отливом, бровей, такого же цвета, как и его короткие волосы.

— У человека в моем положении есть одно несомненное преимущество, — рассуждает он в свой черед. — Его довольно трудно запугать. Во всяком случае, чем-то таким, что не имеет для него первостепенного значения. К примеру, угрозами вроде ваших сегодняшних.

— У меня и в мыслях нет угрожать вам, Лайл. Я хочу понять, что тут за бардак творится, только и всего. У меня устойчивое ощущение, что кто-то обдирает компанию без всякого зазрения совести. Но если я ошибаюсь и дела, напротив, идут в гору, тогда и беспокоиться вам абсолютно нечего.

Бедный парень. Попробуй смириться с приговором в таком возрасте — он ведь больше чем вполовину моложе Гарри. Сам-то он, Гарри, чем в его годы занимался? Набирал допотопным образом типографский шрифт и грезил о заднице. М-да, задницы. Все зло от них, мембранка тонковата, а где тонко, там и рвется: раз — и маленькие вредоносные носители иммунодефицита уже проникли в тебя. Как ощущал он это с Тельмой? Пустой черный ящик. Странная у нее была ненасытность при стабильном рационе. Да, у голубых, видать, жизнь тоже не сахар.

Лайл снова осторожно, не задевая за стол, убирает руки, словно они у него хрустальные и от малейшего удара могут разбиться вдребезги. От тела у него ничего уже не осталось — одни палки.

— Советую вам воздержаться от голословных обвинений, мистер Энгстром, или вам придется отвечать за них в суде.

— Давайте сперва уточним, что это — голословные обвинения или факт. Я имею в виду ваш отказ ознакомить меня и независимого бухгалтера с финансовыми документами.

— Милдред — сторона заинтересованная. У нее на меня большой зуб за то, что ей пришлось уступить мне свое место. За то, что я с моим компьютером в считанные часы справляюсь с тем, с чем она сидела неделю.

— Милдред — человек кристальной честности.

— Милдред — старая маразматичка.

— Милдред вообще тут ни при чем. Не о ней сейчас речь. А о том, что вы ставите мне палки в колеса, тогда как я стремлюсь защитить интересы моего сына.

— Никаких палок в колеса я вам не ставлю, мистер Энгстром...

— Можете называть меня Гарри.

— Я не ставлю вам палки в колеса, сэр. Я только настаиваю на том, что я не вправе принимать от вас распоряжения. Приказ должен исходить либо от Нельсона, либо от миссис Энгстром.

— Ну так вы его получите, сэр. — Едва заметная блуждающая улыбочка на лице Лайла нервирует его и побуждает спросить: — Вы, кажется, в этом сомневаетесь?

— Поживем — увидим, — уклончиво отвечает Лайл.

— Послушайте. Я вполне допускаю, что во многих вещах вы разбираетесь гораздо лучше меня, но не в супружеских отношениях — тут вы ни черта не смыслите. Моя жена сделает, как я скажу. Попрошу. В деловых вопросах у нас полное единомыслие.

— Посмотрим, — говорит Лайл. — Мои родители, к вашему сведению, тоже были женаты. Я родился и рос в нормальной семье. Мне достаточно *много* известно о супружеских отношениях.

— Не заметно, чтоб эти знания пошли вам на пользу.

— Отчего же, по крайней мере я сумел понять, к чему стремиться не надо. — И Лайл снова улыбается во весь рот открытой добродушной улыбкой, какой он встретил Гарри, когда тот вошел в кабинет, и на мгновение кажется, что вновь вернулись прежние дни — «Финансовые альтернативы», столбики золотых и серебряных монет, элегантная невозмутимая Марсия с длинными ярко-красными ногтями. Такая красотка, и поди ж ты, наложила на себя руки. Как Мэрилин Монро. Кролик не может не признаться себе, что голубая братия обладает несомненным, только им присущим обаянием — есть в них какая-то мальчишеская легкость, завидная свобода от баб со всеми их потрохами, в которых зачинается жизнь.

— Как поживает Тощий? — спрашивает Гарри, вставая с кресла. — Нельсон в свое время частенько его упоминал.

— Тощий, — отвечает Лайл, не находя в себе то ли сил, то ли желания привстать, — умер. Перед Рождеством.

— Мне очень жаль, — лицемерит Гарри. Он протягивает через стол руку для пожатия, и молодой человек немного мешкает, словно сам опасается заразы. Не рука, а россыпь горячечных костяшек — Гарри стискивает их в ладони и говорит: — Скажите при случае Нельсону, что мне нравится, как он тут все оформил. Немного смахивает на модный бутик. Очень мило. И новый продавец, Эльвира, вписывается сюда замечательно. Держитесь, Лайл. Будем уповать на то, что китайцы скоро прорвутся и помощи осталось ждать недолго. Мы еще увидимся.

По радио, пока он едет домой, передают, что Майк Шмидт, который ровно два года тому назад, день в день, 18 апреля 1987-го, записал в свой актив пятисотый хоум-ран, играя против «Питтсбургских пиратов» на стадионе Трех рек, уже наступает на пятки Ричи Эшберну с его абсолютным рекордом 2217, и таким образом вот-вот станет самым результативным бэттером «Филадельфийцев», «Филлисов», за всю их историю. Кролик отлично помнит Эшберна. Он играл в составе «Филлисов», когда они, молодая команда «вундеркиндов», разбили «Бруклинских ловкачей» и стали чемпионами лиги, — той осенью Кролик пошел в выпускной класс. Игроки внешнего поля — Курт Симмонс, Дел Эннис и Дик Сислер (в центре), а Стэн Лопата — принимающий в «доме», вместо Эдди Уэйткуса, которого подстрелила какая-то дамочка. Выиграли, все здорово, последняя игра в сезоне, а потом взяли и продули вчистую, четыре — ноль, «Нью-йоркским янки». В 1950 году Кролику было семнадцать, и он лидировал у себя в округе в лиге «Б» по забитым мячам — 817 очков, набранных в предыдущем сезоне. Спортивная статистика благотворно действует на его расходившиеся нервы и общее настроение после разговоров с Тельмой и Лайлом — настроение растревоженного и неудовлетворенного желания; и где-то на периферии, в отдалении тихо плещется безысходная мысль, что все это тлен и суета и что жить нам всем осталось совсем ничего.

Идея Дженис о том, что ему надо соблюдать диету и ограничивать потребление натрия, то бишь соли, на практике воплощается в закупке готовых замороженных обедов, упакованных в полиэтиленовые мешки с пометкой «низкокалорийный продукт». Вся эта заранее приготовленная курятина и говядина к тому же напичкана химикалиями, продлевающими срок хранения. Чтоб протолкнуть в себя эту жратву, одного стакана пива уже недостаточно, и он частенько выпивает два. Дженис ничего не замечает, пребывая в постоянном перевозбуждении из-за своих курсов по недвижимости при Пенсильванском университете.

— Мне кажется, я пока не очень понимаю, что к чему, хотя дама из администрации на Сосновой — а правда, как жутко деградировал этот район, совсем не то, что раньше, когда ты и твой отец работали в «Верити», — очень любезно со мной беседовала и отвечала на вопросы. Каждый предмет проходят по три часа в неделю в течение десяти недель, а всего надо пройти два обязательных предмета и четыре по выбору, чтобы получить диплом, но, по-моему, экзамен на лицензию можно сдать и без диплома, если хочешь просто торговать, как раз мой случай, и он проводится ежемесячно, а для агентов с правом вести любые операции — может, когда-нибудь и я до этого дозрею — раз в три месяца. Но самое завлекательное в том, что я уже сейчас, в апреле, могу начать изучать первые два предмета и потом с июля по сентябрь еще два, таким образом, если все сложится удачно, в сентябре я получу лицензию и начну торговать, поначалу строго на основе комиссионных, для фирмы, где партнером состоит новый родственник, деверь, Дорис Эберхардт. Она вроде бы ему обо мне сказала, и он проявил интерес. В этом деле возраст только на руку — клиенты сразу решат, что у тебя за плечами большой опыт.

— Лапушка, для чего тебе эта морока? У тебя же есть магазин.

— Никакого магазина у меня нет, магазин у Нельсона.

— Вот как? Я, кстати, заезжал туда сегодня, его самого не застал, зато поглядел на сотрудников. Все молодняк. Из вновь нанятых — педераст, мафиози и баба.

— Гарри, фи! И ты после этого будешь говорить о чьих-то предрассудках!

Больше он эту тему пока не развивает, приберегая ее до того момента, когда они оба смогут уделить ей должное внимание. После ужина Дженис захочет посмотреть телевикторину для эрудитов, хотя она в жизни еще не угадала ни одного правильного ответа, а потом по одиннадцатому каналу играют «Филлисы». Небольшой каменный дом на Франклин-драйв с его дробным номером притягивает к ним, и только к ним, вечерний полумрак по мере того, как на город опускаются медлительные северные сумерки (во Флориде солнце отключается в один миг, враз отдавая все полномочия луне), просачиваясь между голых еще ветвей деревьев, приглушая птичий гомон, и бледная, лимонная полоска на западе, позади скалистых выступов труб большого, облицованного клинкером особняка, густеет до огненно-рыжего, до багрянца догорающих в камине углей. Еще неделька-другая, деревья оденутся в листву, и тогда уж ему не любоваться закатом через разделенные ромбовидным переплетом окошки своего кабинета, нет-нет да отрывая глаза от экрана телевизора.

В третьем иннинге[[95]](#footnote-95), несмотря на усилия двух игроков обороны, Шмидт убегает в хоум-ран, четвертый на его счету в новом сезоне и пятьсот сорок шестой в его карьере. «Филлисы» сразу выходят вперед пять — ноль, и Кролик начинает переключать каналы, но баскетбола, как назло, нигде нет, одни старые сериалы, «Мэтлок» да «Чудесные годы». Как ни раздражает его Дженис, когда она тут же, рядом, ему становится невмоготу, если он не слышит, как она возится в кухне или наверху, у него над головой. Он выключает телевизор и отправляется на поиски жены, физически ощущая груз дурных вестей, как некогда приятную тяжесть золотых кругеррандов.

Она уже наверху, в ночной рубашке и доводящих его до бешенства флоридских пляжных сандалиях, которые на каждом шагу стучат ему по башке, когда по утрам он пытается еще немного поспать: *хлоп-хлоп!* Он и так утратил способность спать долго и сладко, как в молодости, да и десять — пятнадцать лет назад спалось неплохо. Теперь же он просыпается часов в шесть, будто его подкидывает, с ощущением неприятной ноющей боли под грудиной, в желудке, природы которой он не может распознать, пока до него постепенно не доходит, что это страх — ужас от сознания, что он в западне и ему не выбраться из узилища своего собственного обреченного на смерть тела, как если бы его заперли в камере с психопатом, который в своем безумии в любой момент может лишить его жизни. Она шлепает взад и вперед, *хлоп-хлоп*, держа перед собой стопки белья, которые она принесла снизу по черной лестнице; одна стопочка — сложенные носовые платки, другая, менее аккуратная, — его трусы с подрастянутыми уже резинками на поясе, третья — ее нижнее белье, до сих пор не потерявшее для него волнующей прелести, не столько, когда оно на ней, сколько как сейчас, само по себе, только что после стирки. Он не знает, как ему начать. Всем своим грузным телом он по диагонали плашмя падает на кровать и проводит щекой по вытканным шишечкам покрывала. После непрерывного телевизионного мелькания красноватое ничто, встающее за его закрытыми веками, воспринимается как истинное блаженство.

— Гарри, что с тобой? Что-то не так?

Он перекатывается на спину и невольно улыбается — в своей мешковатой ночной рубашке она такая смешная, кургузенькая. Сразу стала похожа на Джуди, у той в ночной рубашке точно такой же вид, да и росточком почти такая же. Сквозь редкую челку просвечивает ее высокий лоб с уже выцветающим флоридским загаром, усталые глаза сфокусированы на чем-то постороннем.

— В магазине творится что-то неладное, — наконец начинает он. — Когда я был там сегодня, я попросил дать мне взглянуть на финансовые бумаги, так этот голубок, что загибается от СПИДа, тот, которого Нельсон пригрел и посадил бухгалтером вместо Милдред, отказался допустить меня к документации, пока не получит на это твое согласие. Босс у нас ты, так он считает.

Кончик ее языка задумчиво выползает наружу и утыкается в верхнюю губу.

— Очень глупо с его стороны, — произносит она.

— Я тоже так считаю, но в бутылку лезть не стал. Беднягу даже жалко, он ведь просто выгораживает Нельсона.

— Зачем ему нужно выгораживать Нельсона?

— Хм, — и Гарри тяжко вздыхает и устраивается на боку в позе одалиски, — ты правда хочешь, чтоб я рассказал тебе все как есть?

— Конечно. — Однако при этом она продолжает перетаскивать с места на место стопки белья.

— У меня теперь новая теория. Я считаю, что Нельсон принимает кокаин, из-за этого он такой дерганый и взвинченный и ведет себя, как параноик.

Дженис осторожно приближается к комоду — *хлоп*, пауза, *хлоп*, — держа в руках, замечает Гарри, свой лососевого цвета спортивный костюм с голубыми рукавами и полосками сбоку на брюках, в котором она не рискует появляться на улице, здесь, в Пенсильвании, где люди преклонного возраста весьма обеспокоены тем, чтобы не выглядеть посмешищем в глазах окружающих.

— Кто тебе это наговорил?

Он ерзает на кровати, стремясь подтянуть ноги и скинуть туфли, чтобы не пачкать белое покрывало.

— Никто мне ничего не наговорил, — отпирается он. — Я просто сопоставил факты. Кокаин нынче на каждом углу, и главные потребители — как раз денежная молодежь одного с Нельсоном послевоенного поколения, всеми нами любимые яппи[[96]](#footnote-96). Это дорогое удовольствие. Даже очень дорогое, если речь идет о настоящей зависимости. Теперь вспомни, разве Пру не жалуется постоянно на груды неоплаченных счетов?

Дженис вплотную приближается к кровати и так стоит; он видит сквозь тоненькую бумажную ткань рубашки темные соски и треугольничек волос внизу. Он глядит на нее под таким углом, что она кажется до странности огромной, и у него, лежащего по диагонали на кровати, вдруг начинает кружиться голова, как будто он слишком резко вскочил с кресла; на какой-то миг все смешивается и уже неясно, кто стоит, а кто лежит. Ее тело удивительно сохранило компактность и упругость, почти не изменилось с тех пор, когда они оба, совсем юными, работали в универмаге у Кролла, но под подбородком появились некрасивые складки, которые, ветвясь и множась, спускаются вниз к шее. Она твердо постановила для себя, что не уподобится своей толстухе-матушке, но возраст не перехитришь, он все равно тебя на чем-нибудь подловит. Дженис говорит уклончиво:

— Молодые пары почти все испытывают трудности с оплатой счетов.

Он садится, чтобы голова пришла в норму, и поскольку ее тело оказывается рядом, смыкает руки у нее за спиной. Потом у него возникает следующая мысль, и он залезает к ней под рубашку и берет в ладони ее крепенькие, немного шершавые ягодицы. Глядя снизу вверх, мимо грудей, ей в лицо, он говорит:

— Хуже всего, детка, то, что он, как я думаю, разоряет компанию. Мне кажется, он подворовывает, а Лайл прячет концы в воду, потому-то им и понадобилось избавиться от Милдред.

Ягодицы у него под ладонями мгновенно напрягаются; он чувствует, как они плотно сжимаются, становятся более округлыми, упругими, совсем как чуть-чуть недокачанный баскетбольный мяч. У него пониже пояса пробегает рябь возбуждения. Ее затуманенные глаза смотрят на него сейчас сверху с угрюмой сосредоточенностью, кожа на склоненном лице отвисла вниз. Он носом тычется ей в грудь и закрывает глаза, вдыхая запах ткани с едва уловимой примесью пота и укрываясь от буравящего его сверху взгляда. Он слышит, как ее голос спрашивает:

— Какие у тебя доказательства?

Вопрос выводит его из себя. До чего ж все-таки она тупа!

— Так ведь об этом я тебе и толковал только что. Я просил сегодня показать мне накладные и банковские счета, но мне их не дали и не дадут без твоего соизволения. От тебя требуется позвонить этому поганцу Лайлу, больше ничего.

Он слышит, как странно стихло у нее в груди, все тело ее протестующе подобралось. Рубашонка-то у нее, может, и прозрачная, зато сама она непроницаема, как стена.

— Ну, а если бы ты даже увидел цифры, — интересуется она, — ты сумел бы сам в них разобраться?

Он через ткань теребит губами ее сосок. Бенгальский огонь внизу живота разросся в жаркое зарево, разливающееся по нему мощной волной.

— До конца, возможно, и не сумел бы, — отвечает он. — Но даже ежемесячные отчеты, которые поступали к нам во Флориду, заронили во мне сомнение. Я бы взял себе в помощники Милдред, а уж если она совсем плоха — он говорит, она в маразме и не выходит из Денглеровской богадельни, — значит, надо кого-то нанять, найти какого-нибудь опытного бухгалтера в Бруэре. Ты могла бы, к примеру, спросить у нашего адвоката, вдруг у него есть человек на примете. Тут может такое открыться, что придется в конце концов полицию привлекать.

Снаружи хлынул веселый апрельский дождь, озаряемый пламенем неторопливого заката.

— Гарри! Это же твой сын!

— Ну — и? — раздраженно откликается он. — А ты его мать. Воровать у собственной матери, это как?

— Мы же ничего еще точно не знаем, — уговаривает его Дженис. — Ты же сам сказал, это только твоя теория.

— Чего же тогда Лайл так упирался сегодня, если ему нечего скрывать? Теперь их спугнули, так что надо действовать быстро, иначе они все следы заметут не хуже Олли Норта[[97]](#footnote-97).

Дженис всерьез разнервничалась — высвободившись из его рук, она отступает назад, на середину ковра, потирая одной ладонью тыльную сторону другой. Яснее ясного, что теперь уже она его к себе не подпустит, а его ведь за столько времени первый раз так проняло. Черт бы побрал этого Нельсона.

— Думаю, для начала мне следует поговорить с Нельсоном, — объявляет она.

— *Тебе?* А. почему не *нам?*— Лайл ведь тебе объяснил, что только мое слово имеет значение.

Вот так так!

— Ты слишком носишься с Нельсоном. Он из тебя веревки вьет.

— Ох, Гарри, как вспомню весь этот ужас, когда я убежала к Чарли! Нельсону только двенадцать тогда было, и он через весь город на велосипеде приезжал на Эйзенхауэр-авеню и битый час стоял на улице и смотрел на наше окно, и ведь раз или два я видела его и я *спряталась*, спряталась за занавеской, а он все стоял и стоял, пока не устал и только тогда поехал домой. — Устремленные поверх Гарриной головы ее темные глаза видят под окнами на тротуаре маленького мальчика, сына, который так терпеливо, с таким недоумением и надеждой караулил ее тогда, — и от этой картины наполняются слезами.

— Ладно тебе, вот черт, — пытается сказать что-то Кролик. — Никто не просил его таскаться туда и устраивать слежку. Он не был брошен, *я* о нем заботился.

— Ну да, ты заботился, заодно с той несчастной сумасшедшей девчонкой и совершенно непотребным негром. Хороша забота! Это просто чудо, что дом сгорел, а Нельсон уцелел. Тоже ведь запросто мог погибнуть.

— Я бы его вытащил. Если бы я тогда там был, никто бы не погиб.

— Ты не можешь *знать*, — говорит она. — Ты просто не можешь знать, что бы ты сумел сделать, а что нет. Так и сейчас ты понятия не имеешь, что там происходит на самом деле, все это только твои домыслы и подозрения. Кто-то науськивает тебя на Нельсона, и я даже догадываюсь кто — Тельма, ее рук дело!

— Тельма? Да мы же ее сто лет не видели, надо бы как-нибудь позвать Гаррисонов в гости.

— *Пфа-а!*  — Она фыркает с таким неподдельным возмущением, что он испытывает эстетическое удовольствие, наблюдая за столь бурным проявлением гнева — у нее аж волосы дыбом встали, как шерсть на загривке у ощерившегося зверя. — Только через мой труп.

— Не хочешь — не надо, я же так просто сказал. — Надо поскорее съезжать с этой темы. Он возвращается на исходные рубежи: — Значит, я не имею понятия, что происходит на самом деле, зато ты, как видно, имеешь, а? Нельсон говорил с тобой? Что он тебе сказал?

Она упрямо поджимает рот, так что он кажется совсем беззубым, в точности как у мамаши Спрингер, когда что-то было не по ней.

— Ничего особенного, — темнит она.

— Ничего *особенного*. Вот как. Отлично. Тебе известно больше, чем мне. И на здоровье. В добрый час. В конце концов, он же тебя обирает, не меня. Твоего, а не моего папаши компанию спускает в унитаз с помощью своих дружков-извращенцев.

— Нельсон не стал бы красть из фирмы!

— Лапушка, знаешь, какую власть имеют над человеком наркотики? Почитай, что пишут в газетах. Открой «Пипл» — Ричард Прайер[[98]](#footnote-98) нам все как на духу поведал. Не далее как на днях за это самое арестовали сынка Йоги Берра[[99]](#footnote-99). Кто завис на кокаине, тот за дозу родную бабушку на тот свет спровадит. Раньше считалось, что героин это все, предел, но по сравнению с крэком героин пустячок, детская забава.

— Нельсон не употребляет крэк. Почти.

— Ну да? А ты откуда знаешь?

Она уже открывает рот, чтобы ответить ему, но вдруг пугается.

— Ниоткуда. Я просто знаю своего сына. Еще иногда Пру нет-нет что-то скажет.

— А, значит, и Пру говорит! Что именно?

— Жалуется, как ей плохо. И детям тоже. Малыш Рой ведет себя очень странно, ну, ты и сам, наверно, заметил. У Джуди по ночам кошмары. Раз Пру даже призналась мне, что если бы не дети, она бы уже давно бросила Нельсона.

Гарри чувствует, что ему заговаривают зубы.

— Давай-ка ближе к теме. У Пру свои проблемы, у тебя свои. И чем скорей ты уберешь из «Спрингер-моторс» своего великовозрастного сосунка, тем будет лучше.

— Я сама с ним потолкую, Гарри. Пожалуйста, не вмешивайся, не говори ему ни слова.

— Какого черта! Почему, собственно? Какая катастрофа случится, если я с ним поговорю?

— Ты будешь слишком жать на него. Он еще глубже спрячется в свою раковину. Он тебя... он слишком всерьез тебя воспринимает.

— А тебя нет?

— Во мне он уверен. Он знает, что я люблю его.

— А я, выходит, не люблю? — При этой мысли глаза его влажнеют. Дождь за окном кончился, только с крыши по желобам еще стекают тоненькие струйки.

— Конечно, любишь, Гарри, но тут еще кое-что примешивается. Ты, как и он, мужчина. А мужчинам свойственны территориальные, как это, завихрения. Ты рассматриваешь магазин как свое владение, а он как свое.

— Никуда он от него не уйдет, магазин, ему же и достанется, если он только раньше в тюрьму не сядет. Я вот наблюдал за ним во Флориде и вдруг, сам не знаю откуда, у меня в голове всплыло — *уголовник*. Форма черепа у него, что ли, такая. От его плешин меня с души воротит. Он лысеет точно как Ронни Гаррисон.

— Ты обещаешь, что дашь мне самой поговорить с ним и не станешь ничего предпринимать?

— Он же обведет тебя вокруг пальца, и этим все кончится. — На самом деле у него нет ни малейшего желания самому выводить Нельсона на чистую воду.

Ей это известно.

— Не обведет, я тебе обещаю. — Она перестает потирать руку, возвращается к нему, *хлоп-хлоп*, и встает возле кровати, на которой он сидит. Она касается пальцами его коротко стриженных волос над ушами и тихонько тянет их на себя. — Я ценю, правда ценю, что ты так меня защищаешь, — говорит она.

Он поддается настойчивости ее рук и снова прижимается головой к ее груди. У нее на рубашке осталось мокрое пятно в том месте, где он теребил губами ее сосок. Соски у нее на вид хорошо пожеванные, не идеальные, но зато более реальные, чем у Тельмы. Благодаря ее общей мелкотравчатости грудки у Дженис почти не обвисли, торчат, как в юности, когда они задорно оттопыривали модные в сороковых ангорские свитера, в которых она фланировала по школьным коридорам. Он чувствует через ткань рубашки запах ее тела, запах смятения и беспокойства, с примесью дымка.

— А что мне за это будет? — спрашивает он, прижимаясь ртом к мокрому пятну.

— Подарочек.

— Когда же я его получу?

— Очень скоро.

— Ротиком?

— М-мм, посмотрим. — Она отстраняет его лицо от своего продымленного теплого тела и, взяв пальцами за подбородок, заставляет поглядеть вверх, ей в глаза. — Но если я услышу еще хоть слово про Нельсона, я тут же все прекращаю; и ты тогда на подарочек не рассчитывай.

Лицо у него пылает, сердце гулко стучит, но стучит размеренно, разгоняя по телу сладкие волны и само оставаясь на месте, в грудной клетке, где оно уютно упаковано, как упаковано у него в трусах налитое сладкой тяжестью естество; он радуется про себя, что таблетки вазотека, хотя от них и кружится голова, все-таки не окончательно сбрасывают давление, а то вот так случись иногда что-нибудь незапланированное, и привет, будешь потом локти кусать.

— Заметано, больше ни слова, — обещает Кролик, в котором вдруг проснулась былая прыть. — Я сейчас быстренько в ванную, чищу зубы и все прочее, а ты выключай свет. И кому-то нужно сходить отключить телефон, там, внизу, чтоб не действовал нам на нервы.

С тех пор как они приехали, в доме раздаются странные телефонные звонки. Шершавые голоса специфического густого тембра, присущего чернокожим мужчинам, просят позвать Нельсона Энгстрома. Гарри и Дженис попеременно отвечают, что Нельсон здесь не живет, что это дом его родителей.

— Он дал мне номер — вроде его домашний телефон, только там никто не отвечает, а по рабочему звони не звони, секретарша всегда талдычит одно — нет на месте.

— Хотите что-нибудь ему передать?

Молчание. Потом:

— Скажите просто, звонил Джулиус. — Или Лютер.

— Джулиус?

— Во-во.

— А по какому поводу вы звоните, Джулиус? Может, скажете?

— Он знает по какому. Просто передайте — звонил Джулиус. — Или Перри. Или Дэйв.

Иногда сразу вешали трубку, не называя себя. Иногда звонил кто-то, у кого была чрезвычайно вежливая, педантичная, с привкусом иностранщины, манера изъясняться, — этот как-то раз пожелал говорить не с Нельсоном, а именно с Гарри.

— Весьма сожалею, что вынужден вас беспокоить, сэр, но ваш отпрыск не оставляет мне иного выбора, кроме как лично известить вас.

— Да о чем известить-то?

— Известить вас о том, что ваш сын взял на себя серьезные долговые обязательства, и джентльмены, с которыми я связан деловыми отношениями, вопреки моим советам воздержаться от подобных действий, серьезно обсуждают вопрос о применении мер физического воздействия.

— Физического воздействия на Нельсона?

— Возможно, даже на кого-то из его родных и близких. Мне крайне неприятно это говорить и я приношу вам свои искренние извинения, но, вполне вероятно, эти джентльмены не совсем джентльмены. Я сам к этому совершенно непричастен, уверяю вас. Я только доставил к вашему порогу дурные вести. — По ходу разговора голос, кажется, все ближе и ближе придвигается к трубке, к Гарриному уху, становясь все более проникновенным и искренним, словно стремясь заключить союз, уверить Гарри, что он ему друг и полностью на его стороне. Знакомая комната, его кабинет с подернутым инеем экраном телевизора, двумя серебристо-розовыми креслами и книжным стеллажом, где собраны по большей части книги по истории, а на верхних полках стоят разные фарфоровые безделушки — маленькие феи под зонтиками мухоморов, херувимоподобные лысые монахи, птенцы малиновки в гнездышке из фарфоровой соломки, — которые в иные дни украшали буфет мамаши Спрингер, вся эта респектабельная обстановка враз претерпевает качественные изменения — темнеет, расплывается, превращается в полную бессмыслицу, и все оттого, что в ухо к нему влез угрожающий вкрадчивый голос, не лишенный даже какой-то задушевности, разную ведь людям приходится выполнять работу, в том числе и неприятную, голос, прорвавшийся из бездонного скользкого подземелья: точно так же благословенное синее небо над Мексиканским заливом в один миг перекрасилось для него, словно на глаза ему надели фильтры, — в миг, когда «Солнцелов» опрокинулся в воду.

— Каким образом Нельсон взял на себя эти самые долговые обязательства? — спрашивает Гарри, надеясь что-нибудь выведать.

Голос явно польщен, услышав, что собеседник взял на вооружение его собственное выражение.

— Эти обязательства, сэр, он взял на себя в погоне за своим удовольствием, что является его законным и неотъемлемым правом, однако либо он сам, либо кто-то другой вместо него должен расплатиться. Моих деловых партнеров заверили, что вы образцовый отец.

— Не будем преувеличивать! Зовут-то вас как, вы сказали?

— Я вам этого не говорил, сеньор. Мое имя в нашей беседе не звучало. Нас в данном случае интересует имя Энгстром. Мои партнеры полны желания уладить дело с любым представителем этого славного имени. — У Гарри мелькает мысль, что этот человек влюблен в английский язык, который представляется ему кладезем неисчерпаемых возможностей, неизведанных ресурсов.

— Мой сын, — сообщает ему Гарри, — взрослый человек, и его денежные дела не имеют ко мне никакого отношения.

— Это ваше решение? Ваше последнее слово?

— Да, последнее. Слушайте, я полгода живу во Флориде, и вот я возвращаюсь и тут...

Но в трубке уже гудки, и Гарри остается с ощущением, что стены его приземистого, маленького, сложенного из блоков известняка дома на самом деле не прочнее диетического крекера, что ковер, закрывающий весь пол от стены до стены, насквозь пропитан водой, что лопнула водопроводная труба, а вызвать водопроводчика неоткуда.

Гарри обращается за советом к своему старому другу и товарищу по работе Чарли Ставросу, в прошлом старшему торговому представителю «Спрингер-моторс», ныне пенсионеру, который сменил адрес и живет теперь не на Эйзенхауэр-авеню, а в новом кондоминиуме, в поселке, примыкающем к восточной окраине города и выросшем на месте бывшего товарного депо, после того как управление железной дороги продало под застройку этот участок, без малого двадцать акров, — просто диву даешься, сколько всякого богатства принадлежало железной дороге, пока длился период ее процветания. Гарри боится заплутать в незнакомом месте и предлагает встретиться днем у Джонни Фрая в центре города; «Отбивные Джонни Фрая» — так изначально назывался ресторанчик на Уайзер-сквер, затем в семидесятых он превратился в кафе «Барселона», а к концу того же десятилетия стал «Блинным домом»; теперь владелец вновь сменился и заведение именуется «Салатный рай» — пояснительные надписи можно увидеть в витрине: *Низкокалорийная высококачественная еда — Оригинальные супы — Оздоровительные блюда из натуральных продуктов.* Ставка делается на озабоченных собственным здоровьем преуспевающих молодых бизнесменов, яппи[[100]](#footnote-100), которые работают в офисах, занимающих целое здание из стекла, что выросло прямо напротив «Кролла»; сам универмаг стоит пустой, огромные витрины замазаны изнутри белилами, а голый, без окон, торец, обращенный в сторону горы и не прикрытый даже штукатуркой поверх грубой кирпичной кладки, возвышается над засыпанной щебнем парковочной площадкой, дотянувшейся уже до старичка «Багдада». ГИТЕ СИТЕ НЯ.

Центр города превратился в гигантскую парковку для автомобилей, но удивительно то, что на ней почти нет свободных мест. Хотя покупать в центре теперь, можно сказать, нечего, за исключением скудного ассортимента торгующих со скидкой аптек да магазина всякой дешевой всячины «Мак-Крори», где до сих пор продают корм для попугаев и пластмассовые зажимы для волос на радость старикам, которые все донашивают и никак не могут доносить одежду образца 1942 года, — количество подтянутых, сравнительно молодых людей обоих полов в легких костюмах и узких полотняных юбочках неимоверно возросло; все они пристроились кто в банки и страховые компании, кто в министерские учреждения штатного и федерального уровней и несть им числа, и всем находится дело. В погожий солнечный день они заполняют лесистый парк, который по воле городских планировщиков (не местных, правда, тут приложила руку одна заезжая модерновая архитектурная фирма, чей проект был признан в конкурсе лучшим, и, осуществив его, лихие планировщики вернулись к себе в Атланту), вырос на месте Уайзер-сквер, где когда-то, дребезжа и высекая снопы искр, выстраивались в ожидании пассажиров трамваи. Они, эти молодые бумаготолкатели, греются на солнышке возле абстрактных цементных фонтанов, почитывая «Уолл-стрит джорнал», а их аккуратно сложенные пиджачки лежат рядом на блестящих металлических скамейках, в меру возможности укрепленных, чтобы их не попортили разгулявшиеся вандалы. Среди представителей этой расы Гарри особенно завораживают женщины; вместо туфель на каблуках они носят кроссовки — но в сочетании с обтягивающими их ноги тонкими колготками; их лица украшены большими круглыми очками, которые придают им комично-сексуальный вид, так и кажется, что шары их грудей не случайно подчеркнуты формой массивных роговых и пластмассовых оправ. Эдакие Голди Хоун, приправленные для солидности толикой Джейн Фонды[[101]](#footnote-101). Нынешняя мода предписывает им всем иметь широкие мужиковатые плечи, а от бедер они избавляются с помощью велотренажеров и тугих-претугих эластичных штанов, которые обрисовывают каждый мускул так, будто он прописан фосфоресцирующей краской. Все эти дамочки воспринимаются как посланцы поголовно-стройного будущего, где секс не более чем очередное упражнение, а живут все в запечатанных офисных отсеках и общаются исключительно посредством компьютеров.

Чарли с его здоровьем уже должен был бы сыграть в ящик. Но представители средиземноморского типа на удивление живучи, а как сохраняются — ни седых волос, ни живота! Докарабкавшись до пятидесяти, они словно выходят на ровное плато и больше не меняются, пока вдруг в один прекрасный миг не кувыркнутся в пропасть где-нибудь на девятом десятке. Им как-то удается экономно расходовать ресурсы своего тела — живут, словно подчищают хлебным мякишем обеденную тарелку. Вот Чарли, он ведь еще в детстве перенес ревматизм, но, несмотря на постоянные шумы в сердце и стенокардию, ни разу не сорвался так, как сорвался Гарри во время злополучного эпизода на заливе.

— Чарли, черт, как тебе это удается? — спрашивает его Кролик.

— Надо уметь избегать всего, что чревато нервными перегрузками, — поучает его Чарли. — Как только почуешь, что ситуация попахивает стрессом, немедленно делай ноги. Когда обстановка в магазине стала давить мне на психику, я дал оттуда деру. Ох, как я рад, что разделался наконец с «тойотами»! Первым делом я купил себе добрый старый американский «олдс торонадо» — не машина, крейсер! Мягкие рессоры, руль одним пальцем можно повернуть, бензин жрет, как зверь. Я от нее просто без ума. Пять литров, восемь цилиндров, сама красная, как помидор, а верх до середины белый.

— По описанию красотка. Ты тут рядом где-нибудь припарковался?

— Хотел, да не вышло. Кружил-кружил вокруг Весенней, два раза все объехал и в конце концов сдался. Оставил мою красавицу на стоянке за дедушкой «Багдадом», а сам сел в автобус, проехал три квартала, и вот я здесь. За удовольствие надо платить. Избегай нервных перегрузок, чемпион!

— Я никогда этого не пойму. Центр Бруэра считай что вымер, а машину припарковать негде, все забито. Откуда здесь такая прорва машин, с каждым годом все больше и больше?

— Они плодятся и размножаются, — объясняет Чарли. — Беременеют по глупости, еще до совершеннолетия, и садятся на пособие. И дальше им хоть трава не расти.

Чем Гарри всегда восхищался в своем приятеле, так это его умением масштабно смотреть на вещи; нередко по утрам, когда торговля в магазине шла ни шатко ни валко, они, стоя перед витриной, на пару мусолили последние новости. Кролик так и не сумел преодолеть в себе такого отношения к происходящим событиям, как будто все они так или иначе затрагивают его лично. Усаживаясь за столик с изразцовой столешницей — столики сохранились с той эпохи, когда заведение называлось «Барселона», — он говорит:

— Видел вчера вечером Шмидта? Вот это дал, а? — В игре с «Пиратами» на стадионе Трех рек ветеран «Филлисов», играя на третьей базе, дважды бил дубли[[102]](#footnote-102) и в итоге перекрыл рекорд Ричи Эшберна по общему количеству очков.

— Еще только весна, — остужает его Чарли. — Питчеры[[103]](#footnote-103) пока просто не разыгрались. Дай срок. Увидишь, Шмидт завянет. Старый он уже — конечно, не в сравнении с тобой и мной, но для этой игры он старый, а сезон-то длинный, еще играть и играть, так что молодые ребята, питчеры, его рано или поздно допекут.

Гарри даже рад, что его восхищение Шмидтом не встречает поддержки. Спортсмены — это не то, что дает жизненный стимул, они ведь даже не подозревают о твоем существовании. Для них существуют только другие игроки. Они выходят на поле, где их встречает тридцатитысячная толпа, и когда объявляют их имена, толпа отзывается диким ликующим ревом — это и все, что спортсменам требуется о тебе знать.

— Ты заметил, — снова спрашивает он Чарли, — как много в последнее время всяких несчастий и катастроф? Взрыв самолета «Пан-Ам», потом совсем на днях давка на стадионе в Англии, когда кучу футбольных болельщиков просто затоптали, а теперь еще новое дело — на военном корабле без всяких видимых причин взрывается орудие[[104]](#footnote-104).

— Вот именно — «без видимых», — подхватывает Чарли. — Все имеет свою причину, маленькую такую причинёшку, даже если на первый взгляд это не очевидно. Тут искорка проскочила, там трещинка в металле. Да и вообще, чемпион, вспомни статистику. Сколько сейчас людей на планете, пять миллиардов? Чудо еще, что при такой перенаселенности не каждый день кого-нибудь из нас затаптывают в толпе, взрывают или укокошивают другим способом. В мире сейчас страшная давка, и дальше будет только хуже.

Сердце у Кролика срывается вниз при мысли о том, что, с позиции Нельсона, он, его отец, в очень большой степени и создает толчею. Как он тогда кричал ему, глядя на полыхающий дом 26 по Виста-креснт: *Я убью тебя!* Понятно, он не собирался приводить угрозу в исполнение. Искорка, трещинка в металле. Крохотный изъян. Умирая, мы оказываем миру большую услугу.

Чарли морщит лоб, погрузившись в меню — огромное, отпечатанное методом фотокопирования, с зеленым шрифтом на грубой, с «опилками» бумаге. Чего только теперь не делают на ксероксе. Кому сегодня нужны типографии вроде «Верити»? Неужели еще кому-то нужны? Сначала ручной набор приказал долго жить, а потом и фотонабор за ним последовал. Чарли не носит больше массивных квадратных очков в роговой оправе, закрывавших ему брови; теперь на нем «авиаторские» очки — тонкая золотая оправа с толстыми бледно-сиреневыми линзами; зажимы держат нос, как пальцы ножку рюмочки. Когда-то Чарли был плотным малым, но с возрастом усох, так что наружу вылез его природный греческий костяк — крупный, выгнутый дугой нос, скошенные впалые виски под линией темных волос. Бачки-то у него поседели — так он их стал короче сбривать, только и всего. Изучая меню, он вдруг хмыкает.

— Салат с бифштексом, — зачитывает он. — А вот еще — с кебабом из свинины. Ничего себе салатики.

Когда к ним подходит официантка, Чарли принимается ее подкалывать.

— Что это за шутки, почему в меню столько мяса? — спрашивает он. — Сплошные калории, сплошной жир! Может, в вашем понимании салат — это шматок бифштекса и листик салата?

— Мясо нарезается тонкими полосками и смешивается со всеми остальными ингредиентами, — объясняет официантка. Она рослая и, можно сказать, хорошенькая, хоть на голове у нее пушистый гребень пероксидных волос, мочка одного уха унизана крохотными сережками, а вокруг глаз темнеют грязно-розовые тени. Язык у нее как бы с трудом ворочается во рту, и оттого у нее по-детски трогательная манера, выговаривая слова, старательно шевелить губами. — Практика показывает, что многим клиентам нравится, когда в салат добавлено что-нибудь, ну, словом, посущественней.

Поскреби поглубже, думает про себя Кролик, и обнаружишь все те же отбивные Джонни Фрая.

— Расскажите-ка мне, что такое салат с орехами и беконом, — вступает он.

— Этот идет нарасхват, — говорит она. — Бекон поджаристый, хрустящий, в салате он как хлопья. Сало почти все из него убрано, под прессом. Еще там молодые побеги люцерны, немного редиски и огурцов, тонко-тонко нарезанные, и два вида листового салата, забыла, как они точно называются, и еще что-то, может, вяленые сардинки.

— Заманчиво, — торопится произнести Кролик, пока на смену первому впечатлению не пришло второе и с ним необходимость выбирать заново.

Но Чарли неймется:

— Бекон и орехи — это ведь не совсем то, что нам доктор прописал.

— Слушать надо, что тебе говорят: все сало вытоплено и выдавлено. Ну, а если даже капелька и осталась, не смертельно. Покуда в организме все более-менее сбалансировано, бояться нечего. Обо мне не беспокойся, Чарли. Расслабься.

— А что у вас в «Особом морском»? — любопытствует Чарли, просто потому что им обоим хочется еще немного ее послушать.

— О, морская капуста, само собой, морской салат, морские водоросли — родимения и фацилярия, много турецкого гороха и чечевицы и разной зелени — замечательное блюдо, особенно если вы серьезно верите в макробиотику и не боитесь чуточку горьковатого привкуса — это специфика морских водорослей, ничего не поделаешь.

— Ну уж нет, спасибо, после вашего рассказа ни за что, Дженнифер, — говорит Чарли, прочтя ее имя на полоске, притороченной к лифу салатного цвета джемпера, выполняющего роль униформы в этом салатном рае. — Принесите мне лучше шпинатно-крабовый.

— Из соусов могу предложить «Русский», «Рокфор», «Итальянский», «Итальянский сливочный», «Маковый», «Островной», «Масляно-уксусный» и «Японский».

— А «Японский» из чего сделан? — спрашивает Гарри, и не просто для того, чтобы лишний раз увидеть, как растягивается и собирается ее рот, преодолевая только ей ведомые маленькие преграды, — к японцам у него интерес, можно сказать, профессиональный. Что они, что немцы — прут и прут вперед, тогда как Америка неудержимо катится в тартарары. И как им это удается?

— Ой, можно, конечно, спросить на кухне, если вам так уж необходимо это знать, но, думаю, умебоси, наверняка тамари — мы ведь не используем готовый коммерческий соевый соус, — кунжутное масло и рисовый уксус. — Она уже смотрит более настороженно и менее приветливо, наконец заподозрив, что с ней банально заигрывают, вынуждая ее попусту тратить время. Ощутив свою вину, оба приятеля заказывают «Итальянский сливочный» и остаются наедине друг с другом.

— Милашка, — роняет Чарли, подравнивая приборы вокруг тарелки, так чтобы они лежали строго параллельно краям прямоугольной бумажной подставки.

— Что с Мелани, не знаешь?

Десять лет назад они сидели в этом же самом ресторане, а подавала им Мелани, общая подруга Нельсона и Пру, остановившаяся пожить в доме мамаши Спрингер. Вскоре она стала подружкой Чарли, хоть он был уже старый пень, рядом с ней, конечно. Во всяком случае, они вместе ездили во Флориду. Не исключено, что это изрядно добавило Флориде прелести в глазах Кролика. Однако до сих пор ни одна молоденькая киска там не бросилась Гарри на шею. Какие-то намеки на возможный флирт исходили только от женщин его возраста, по виду сущих старух.

— Она врач, — говорит Чарли. — Если точно, гастроэнтеролог, живет в Портленде в Орегоне. Это там, где в конце концов объявился ее отец, если ты помнишь.

— Смутно. Он был у нее какой-то хиппи, кажется?

— После третьей женитьбы он остепенился и стал для Мелани настоящей опорой. Да и с самого начала неприятности были в основном из-за матери, которая все время норовила удрать обратно в Калифорнию, в Милл-Вэлли. А там известно что. Алкоголь. Мужики. Наркотики.

Последнее слово бьет Гарри прямо в под дых.

— Откуда ты знаешь про все это?

Чарли едва заметно пожимает плечами, но при этом не может подавить самодовольную улыбочку.

— Мы держим связь. Я оказался рядом, когда ей нужен был кто-то, кто бы подтолкнул ее. Я сказал ей: «Действуй!» Она тогда еще любила пожалеть себя, поплакаться, какая она бедная, одинокая, всеми брошенная крошка. Ей нужен был хороший пинок, и она его получила. Я велел ей отправляться туда, где живет ее папаша со своей индианкой, и заявить о своих правах.

— Ну вот, мне ты советуешь избегать волнений, а ей — лезть напролом.

— Разные ситуации. И возраст разный. Тебе в ее возрасте я бы тоже сказал: «Действуй!» И сейчас говорю, при условии, что ты будешь беречь нервы.

— Чарли, у меня возникла проблема.

— Всего одна?

— Вообще-то не одна. Во-первых, я должен решить, что мне делать с сердцем. Нельзя же сидеть сложа руки и ждать, когда тебя накроет очередным ИМом.

— Погоди, чемпион, еще раз, я чего-то не понял.

— Это сокращенно — инфаркт миокарда. Мне повезло, что я выкарабкался после первого. Врачи говорят, надо делать операцию на открытом сердце, шунтирование называется.

— Ну так действуй!

— Ага, конечно. Тебе легко говорить. А люди во время таких операций мрут как мухи. Сам-то небось не испытал этого, оттого и смелый.

— Очень даже испытал. В восемьдесят седьмом. В декабре, ты был во Флориде. Мне два клапана заменили. Аортальный и митральный. У тех, кто в детстве перенес ревматизм, первым делом летят клапаны. Не полностью закрываются. Отсюда шумы в сердце — кровь бежит в обратном направлении.

Кролику дурно от этих картин, от всех подробностей собственного устройства — изношенные клапаны, наросты и отложения на стенках сосудов, сужающие просветы, и прочие изъяны.

— И чем же их заменили?

— Пересадили сердечные клапаны от свиньи. Тут выбор простой — либо свиной клапан, либо искусственный протез в виде механического запора с шариком. С искусственным клапаном ты все время щелкаешь. Очень мне этого не хотелось без крайней необходимости. Спать, говорят, не дает, представляешь?

— Свиные, значит, клапаны. — Кролик пытается скрыть отвращение. — Ну и как это, жуть? Правда, что тебе раздвигают грудную клетку, а кровь гоняют, как по неодушевленной машине, с помощью аппарата искусственного кровообращения?

— Ничего не жуть. Ты же в полной отключке. И что обидного в том, что ты «машина»? А ты думал, ты кто, а, чемпион?

Божье творение, которое Он создал по своему образу и подобию и в которое вдохнул бессмертную душу. Ристалище, где в вечной битве сошлись добро и зло. Ангел-подмастерье. И прочая и прочая, все, чему тебя старались обучить в воскресной школе, — вернее, не очень старались, больше полагаясь на то, что оно все как-то само в тебя войдет, перетечет со страниц популярных брошюр, — где-то там в далеком прошлом, в церковном подвале, что зарыт в его памяти даже глубже, чем бомбоубежище.

— Ты всего-навсего мягкая машина, на этот счет можешь не сомневаться, — гнет свое Чарли, одновременно поднимая кверху квадратные кисти рук, окаймленные белыми манжетами с прямоугольными золотыми запонками, чтобы Дженнифер удобнее было поставить перед ним тарелку с салатом. И как он ее углядел? Глаза у него на затылке, что ли? Она боязливо обходит стол — эти солидные с виду господа что-то такое с ней делают, она сама не понимает что, но ей не по себе — и ставит перед Гарри огромную зеленую гору с вкраплениями бекона, размером превосходящую женскую грудь, притом весьма богатую. Блюдо на вид питательное и более чем обильное — ему не следовало бы столько есть. Рослая, флегматичная девица с ее чудным белым петушиным гребнем на голове все что-то топчется рядом, и округлые выпуклости, оттопыривающие зеленый форменный джемпер, таранят сознание Гарри, мешая ему сосредоточиться на серьезных жизненных проблемах, которые он вознамерился разрешить прямо тут, за изразцовым ресторанным столиком.

— Еще что-нибудь желаете, джентльмены? — спрашивает Дженнифер, премило выпячивая губки, будто выполняя упражнение на артикуляцию. И ведь не скажешь, что она шепелявит, ну разве самую малость; скорее язык у нее великоват, такое складывается впечатление. — Может, что-нибудь из напитков?

Чарли просит принести ему стаканчик перье с долькой лайма. Она говорит, что есть только «Сан-Пеллегрино». Не важно, ему все равно. Минералка она и есть минералка.

Кролик же после непродолжительной внутренней борьбы интересуется, какое у них имеется пиво. Дженнифер, чувствуя, что они затеяли с ней какую-то игру, вздыхает и речитативом зачитывает весь ассортимент: «Шлиц», «Миллер», «Миллер лайт», «Бад», «Бад лайт», «Микелоб», «Левенбрау», «Корона», «Курс», «Курс лайт» и еще в розлив эль «Баллантайн». Не слова — музыка, а после того, как она поперекатывает их немного у себя во рту, — просто райская песня. Не глядя Чарли в глаза, Гарри останавливает свой выбор на «Мике». Дженнифер без улыбки кивает и уходит. Ежели ей так не нравится возбуждать в мужчинах интерес к себе, нечего тогда втыкать в ухо столько сережек и наваливать на лицо столько краски.

— Так ты говоришь, не жуть, — напоминает он Чарли.

— Ну да, тебя замораживают. Ты ровным счетом ничего не чувствуешь.

— Один мой флоридский знакомый, немногим старше нас, перенес операцию на сердце — по его словам, это был сущий ад, и на восстановление потом ушла целая вечность, и все равно вид у него, прямо скажем, неважнецкий. Мы с ним в гольф играем, так он замаха нормального сделать не может, точно калека!

Чарли снова пожимает плечами характерным для него едва заметным движением.

— Поправить что-то можно, только когда есть приличная основа. У твоего знакомого, наверно, все было слишком запущено. Но ты-то, ты ведь в хорошей форме. Скинуть несколько фунтов и все, ты же еще молодой, тебе всего-то навсего годков — сколько, пятьдесят пять?

— Если бы. Пятьдесят шесть в феврале стукнуло.

— Это не возраст. Вот я, веришь, в прошлом октябре шесть с ноликом разменял.

— Мне бы дотянуть до шестидесяти, и я буду считать, что мне крупно повезло, но, судя по моим нынешним делам, на это надежды мало. Зато когда я гляжу на флоридских одуванчиков — высохшие, скукоженные, мумии и те краше, и ничего, знай себе ковыляют, восемьдесят перешагнут и дальше шлепают в своих дурацких шортиках и ортопедических кроссовках, такие бодрячки, просто диву даешься, меня так и подмывает спросить их; «Откуда у вас такая живучесть? Как вам это удается?»

— Полегоньку-помаленьку, — отвечает за них Чарли, — и вниз не смотреть! — Гарри догадывается, что его другу уже начинает приедаться роль ободрителя, но, кроме Чарли, у него никого теперь не осталось, Тельму он сам скинул с возу.

— В качестве альтернативы медицина предлагает еще одну методику. Ангиопластику. У тебя в паху делают надрез...

— Эй! Я ем, между прочим.

— ...и через артерию по кровотоку доходят до самого сердца, можешь себе представить? Потом в месте сужения коронарной артерии раздувают баллончик и к чертовой матери пробивают все, что там застряло. Не воздухом, а почему-то соленой водой. Бляшке капут. Артерия растягивается, и просвет в ней восстанавливается до прежнего диаметра.

— Только если очень, очень повезет, — уточняет Чарли. — А уже через год ты снова вернешься в исходное состояние, как пить дать, снова закупоришь себя со всех сторон макадамией, да еще с пивком в придачу.

Длинная тонкая рука Дженнифер только что опустила перед ним стеклянную кружку золотистого, с шапкой пены, шипящего от собственного пузыристого возбуждения, пива.

— Если мне уже и кружечку изредка нельзя пропустить, так лучше сразу подохнуть, — привирает Гарри. Он отхлебывает и согнутым указательным пальцем стряхивает из-под носа прилипшую пену. Точь-в-точь как Нельсон.

А вот, допустим, когда она ложится с кем-нибудь в постель, эта Дженнифер, ей, поди, приходится специальные меры принимать, чтобы уберечь свой роскошный гребень — вон как он качается туда-сюда. Он читал, что девицы-панки, случается, протыкают булавки прямо через соски.

— Не валяй дурака, соглашайся на шунтирование, — убеждает его Чарли. — Ну что эти баллончики — зараз только одну артерию пройдут и стоп. Другое дело шунтирование — сколько надо шунтов, столько тебе и пришьют, хоть четыре, хоть пять, хоть шесть, одним махом, раз уж до сердца добрались. Никак в толк не возьму, тебе-то чего волноваться, что кто-то раздвинет твою грудную клетку и влезет в нее. Тебя при этом не будет. Ты в это время будешь далеко-далеко, будешь смотреть свои сны. На самом деле ты даже снов не будешь видеть. Это другое забытье, гораздо глубже сна. Это просто одно большое ничто, как если бы ты на время умер.

— Не хочу! — слышит Гарри свой сердитый голос. И тут же немного смягчает свою категоричность: — По крайней мере пока. — Чарлина фразеология, *раздвинет* и *влезет*, выбила его из колеи, слишком уж явственная получается картина: физическое усилие, еще, и вот неохотно раздвигаются в стороны костяные ворота, так что душа его может свободно выпорхнуть наружу, и потом люди в бледно-зеленых масках будут ковыряться и вылавливать что-то в студенистой красной жиже, орудуя своими крючьями, и зажимами, и сверкающими ножами. Однажды, случайно глянув в телевизор поверх плеча Дженис, он попал на сюжет кабельного канала телекомпании «Пи-би-эс» о рождении ребенка — ни один из основных каналов не допустил бы к показу такую натуралистичность, — и увидел, как женщине делают кесарево сечение. Нож, сжимаемый рукой в резиновой перчатке, прочертил на теле прямую линию, и, распадаясь на две стороны вдоль разреза, наружу полез желтый жир, будто две полоски пенистого пластика. Женское чрево с младенцем в нем, оказывается, выстлано изнутри неким *материалом*, очень напоминающим пенорезину. — Там во Флориде, — говорит он, — мне делали катетеризацию, — слово дается ему с трудом, словно он поменялся местами с официанткой, — и знаешь, это не так уж страшно, просто долго и нудно, а в остальном терпимо. Ты лежишь в полном сознании, на грудь тебе опускают какую-то штуковину вроде перевернутой чаши, с помощью которой потом наблюдают, что происходит у тебя внутри. Там, куда вводят контрастное вещество, зверски жжет, так печет, что мочи нет. — Чарли, он чувствует, разочарован его малодушным страхом перед шунтированием, и, чтобы поправить дело, затронуть нужную струнку в сидящем напротив и хмуро жующем приятеле, он доверительно сообщает: — Беда в том, Чарли, что я уже будто наполовину умер. Эта наша официанточка — первая, с кем я не прочь бы, первая за много месяцев.

— Грудастая, — констатирует Чарли. — Богатая грудь при худосочном теле. Сексуальное сочетание. Как у Бо Дерек[[105]](#footnote-105) после имплантации силикона.

— Лично мне у нее больше всего нравится причесочка. Дюймов шесть добавляет к росту, а она и так не маленькая.

— Большой рост это совсем не плохо. Высокие не так избалованы, как маленькие смазливенькие куколки, и отдача от них больше. Худоба тоже имеет свои преимущества — между тобой и клитором нет никакой жировой прослойки.

Кролик сам затеял доверительный мужской разговор, но он совсем не имел в виду нарваться на такие откровения. Он говорит поспешно:

— Надо же, столько сережек, все ухо утыкано, и как ей не больно? А правду говорят, что иные девицы-панки...

Чарли нетерпеливо его обрывает:

— Боль для панков самое то. Увечить себя, ненавидеть себя и всех, если танцевать — так обязательно под «металл» и чтоб до синяков. Для них, сегодняшних, что безобразно, то красиво. Таким способом они, понимаешь ли, протестуют против мерзости мира, который им достался в наследство от нас. Плакали джунгли Амазонки! Кругом токсичные отходы! Всякая такая бодяга, сам знаешь.

— Нынешней весной, когда я только вернулся сюда, я довольно много катался по городу, все районы проехал. Так эти поганцы латинос чуть не совокуплялись прямо на улице, своими глазами видел.

— Наркотики, — ставит диагноз Чарли. — Ребята половину времени сами себя не помнят.

— А читал заметку в «Стэндарде» про то, как возле Мэйден-Спрингса взяли одного такого поганца из западного Майами, — у него в грузовике кокаина было на семьдесят пять миллионов долларов, полтонны, в ящиках из-под апельсинов с пометкой «Осторожно! Стекло!»?

— Наркоту возили и возить будут, — философски замечает Чарли, подравнивая нож и вилку на своей пустой тарелке, — пока есть желающие платить за это деньги.

— Тот, с грузовиком, оказался, само собой, кубинским беженцем. Так нам, дуракам, и надо, нечего пускать всякую шваль.

— Прокоммунистические страны избавляются с нашей помощью от балласта — от всякого жулья да юродствующих горлопанов с завиральными идеями. — Тон у Чарли бесстрастный, но Гарри все же понимает, что тот с каждой минутой от него отдаляется. Все не так, как прежде, когда впереди у них был целый день, который им предстояло на пару провести, точнее убить, в демонстрационном зале. Чарли уже прикончил свой шпинатно-крабовый, а Кролик едва успел ковырнуть возвышающуюся перед ним груду салата, — он напряженно внимает словам старого товарища, надеясь извлечь из них полезный для себя совет. Он отправляет в рот вилку с пропитанной соусом смесью и, нащупав языком среди скользких листьев салата и побегов люцерны целое ядрышко макадамии, осторожно сдавливает его зубами — хрусть, и оно распадается на две половинки, и тогда он проводит языком по разлому — тело юной девы, полированный мрамор, неправдоподобная гладкость!

Прожевав, он говорит с запинкой:

— Я неспроста вспомнил о наркотиках — это еще одна моя головная боль. По-моему, Нельсон увлекается кокаином.

Чарли кивает:

— Да, я тоже слыхал. — Он подхватывает свою только что выровненную вилку и тянется ею через стол к одиноко возвышающейся перед Гарри, приправленной беконом зеленой грудке. — Дай-ка я тебе помогу, чемпион, а то ты сам никак не управишься.

— Слыхал, что он принимает кокаин? Ты?

— М-мм. Угу. В дедульку пошел, дерганый. Без подпорок не может. Мне всегда было с ним непросто.

— *Мне* тоже, — с готовностью подхватывает Гарри, и дальше слова сами выскакивают из него, опережая друг друга. — На прошлой неделе я поехал в магазин, хотел поговорить начистоту насчет кокаина, до меня тогда еще только слух дошел, но его на месте не оказалось, он, как всегда, где-то болтался, зато там был нанятый им бухгалтер, молодой парень, который, можешь себе представить, помирает от СПИДа, и когда я попросил ознакомить меня с документацией, он практически открытым текстом послал меня подальше и сказал, что сначала я должен получить санкцию у Дженис. А она, болванка, не желает давать добро. Думаю, просто боится узнать то, что ей рано или поздно придется узнать. Еще бы, собственный сын обирает ее без зазрения совести. Продажи подержанных ухнули вниз, отчеты уже не первый месяц вызывают у меня сильное подозрение — мне кажется, там кто-то здорово мухлюет.

— Раз кажется, значит, так и есть — ты в этом деле не новичок. Да, невеселая картина, — соглашается Чарли, а сам снова тянется вилкой к его тарелке. Одна макадамка — а каждый орешек нынче по четвертачку, между прочим, — выскакивает прямо на Гарри и, если бы не его быстрая реакция, точно угодила бы ему на штаны, оставила бы жирное пятно от соуса на его красновато-коричневых слаксах, которые он только сегодня вынул из фирменного пакета химчистки и надел первый раз в сезоне по случаю первого по-настоящему теплого весеннего дня. Резкое движение отзывается в груди огненной вспышкой. Неугомонный мальчишка со спичками снова взялся за свои проказы.

Он старается игнорировать боль и продолжает:

— Уже до того дошло, что нам в неурочное время звонят какие-то типы и непотребными голосами спрашивают Нельсона или прямо *мне* заявляют, что желают получить деньги.

— Эти прут напролом, — замечает Чарли. — Наркобизнес — вещь серьезная. — И снова тянется к его тарелке.

— Эй, мне-то оставь хоть сколько-нибудь! Непонятно, почему ты такой тощий. Ест и ест и все не толстеет, везет же. Ну так что мне делать?

— Может, пусть Дженис потолкует с Нельсоном.

— И я ей говорю то же самое.

— Ну, правильно.

— Упирается, стерва. По крайней мере мне ни о каком таком разговоре не известно.

— А вкусно, — говорит Чарли, — недурна здоровая-то пища, только сытности в ней нет, как в китайской кухне.

— Так я не понял, что ты мне советуешь?

— Иногда мужу и жене трудно договориться, слишком много всего примешивается. Хочешь, давай я попробую выманить ее на разговор: Джен-Джен, вылезай из бутылки, поведай мне, старушка, что у тебя на уме?

Гарри почти сразу, не колеблясь, отвечает:

— Чарли, если ты действительно можешь, это было бы здорово.

— Десерт заказать не желаете, джентльмены?

Дженнифер материализовалась. Удивленно обернувшись на ее трогательно спотыкающийся голосок, Гарри убеждается, почти уперевшись глазами в предмет недавнего обсуждения, что Чарли и тут, как всегда, прав: груди у нее большие, несуразные, сами себе ненавистные, как вообще все в ней. Папа с мамой, видать, постарались: чтобы эдакую грудь вырастить, надо не жалеть протеина — питательные сухие колечки «Чириоуз» на завтрак, хлеб с витаминными добавками, вот и результат. В его нынешнем перегруженном и ранимом состоянии ее хлебные груди воспринимаются как две тяжелые поклажи, которых его бедный мозг уже не выдержит. Оттянутый перед ее зеленого джемпера, колыхнувшись, приподнимается на вдохе, который она делает, чтобы произнести:

— Сегодня у нас фирменное блюдо — творожный торт из нежирного козьего молока, сверху крыжовник со сливками, очень вкусный.

Кролик, так и оставшись с поднятыми бровями, отлипает от выдающейся официантской груди и вопросительно смотрит на Чарли:

— Что скажешь?

Чарли, нет чтобы помочь другу, только дергает плечами.

— Твое дело, потом не жалуйся.

###### \* \* \*

Телефон звонит, звонит, звонит — будто в поросшие мхом, согретые теплом овраги его сна кто-то льет и льет холоднющую воду, от которой у него внутри все съеживается. Ему снилось, что он так сладко, уютно устраивается в каком-то гнездышке, что нашлась-таки норка как специально для него приготовленная. Телефон стоит со стороны Дженис; он на ощупь тянется к нему поверх ее упрямо не желающего пробуждаться тела и, пытаясь совладать с пересохшей от спанья с открытым ртом глоткой, сипло каркает: «Алло!» Часы на столике у кровати каким-то образом потеряли одну стрелку, но потом он соображает, что они просто показывают десять минут третьего. Он готовится услышать мужской голос одного из «знакомцев» Нельсона и мысленно говорит себе, что впредь, ложась спать, надо внизу отключать телефон. Сердце стучит так, что, кажется, бьется о стены темной комнаты, до удушья.

Дрожащий женский голос говорит:

— Гарри? Это Пру. Простите, что разбудила, но я... — Стыд, страх, все вместе, обрывают ей голос, и она замолкает. Будто ее голой вытолкнули на сцену.

— Ничего, говори, — вполголоса подбадривает он ее.

— Я не знаю, что делать. Нельсон совсем свихнулся, мне уже досталось, боюсь за детей — как бы он за них не принялся.

— Не может быть! — мямлит он. — Нельсон на это не способен. — Однако другие же способны, еще как, в газетах сколько об этом пишут, каждый день что-то подобное случается.

— Да кто это, ей-богу? — недовольно спрашивает Дженис, тоже выдернутая из какого-то своего сна. — Скажи, нет у тебя никаких денег. Повесь трубку и все тут.

На том конце провода всхлипывает Пру:

— ...нет сил больше терпеть... живешь как в аду... сколько лет тянется, годы, годы...

— Да, да, — бормочет Гарри, по-прежнему чувствуя себя полным идиотом. — Даю тебе Дженис, — говорит он и перекладывает горячую картофелину — трубку — в выпроставшуюся из-под простыни, сонно шарящую руку жены. Внезапно открывшееся в Пру окошко, через которое он увидел ее горячее, алое, истерзанное сердце, вызывает в нем такое чувство, словно он подсмотрел что-то запретное. Он включает на своей стороне свет, как будто так все скорее прояснится. Белая суперобложка исторической книги, через которую он все еще пытается продраться, с изображением клипера в овале из облаков и моря, настырно отливает глянцем под гофрированным абажуром. За то время, что он, начав вскоре после Рождества, мусолит несчастную книгу, дама-автор успела умереть, до известной степени отравив ему удовольствие от общения с ее трудом. Тем не менее он суеверно настроен добить книгу во что бы то ни стало.

— Да, — говорит Дженис в трубку после продолжительных пауз. — Да. Ты не преувеличиваешь? Да. — Наконец она подытоживает: — Мы сейчас приедем. Не подходи к нему. Может, вам с Джуди лучше пойти в ее комнату и там закрыться? Мама в свое время велела сделать на двери задвижку, она, должно быть, так там и осталась.

А голос Пру все потрескивает в трубке, словно кислотой протравливая ночную тишину, безмятежный покой, царивший в комнате еще десять минут назад. В голове у него начинают всплывать обрывки прерванного сна. Поездка куда-то, где ему не терпится побывать, на каком-то общественном транспорте, похоже на старый трамвай, да, так и есть, это допотопный трамвайчик, жесткие плетеные сиденья, он уж и забыл, как они выглядели, как пахли, нагретые солнцем, и фарфоровые ручки на ремнях, чтобы, повиснув на них, держаться, и фарфоровые кнопки у дверей, и пыльные проволочные решетки на окнах, свет и воздух, свободно проникающие внутрь, ласкающие старомодные канотье и дамские шляпки с бумажными цветами — все едут куда-то, где весело, в городской сад с аттракционами, с ярмаркой, и он сам, а кто же его спутница? Рядом с ним, на соседнем сиденье точно кто-то был, какая-то девушка, его подружка, только вот лица ее он вспомнить не может. Туннель любви: трамвай чудесным образом превратился в нечто фантастическое, увлекающее их, его в уютный-преуютный туннель любви. И так удобно ему там, будто с него мерку снимали.

— Может, соседей на помощь кликнуть?

В ответ в трубке снова потрескивание, снова прерывистые всхлипы. Кролик, киношным жестом полоснув большим пальцем, словно воображаемым лезвием, по горлу, скомандовал Дженис: «Все, отрубай!» Он опускает на ковер босые ноги, и в ноздри ему шибает привычный запах собственного немолодого тела — застоялый сырно-мясной дух. Пол в их спальне полностью скрыт под бледно-бежевым однотонным цельнотканым ковром; последовательно выдержанный в интерьере принцип гладких, без узоров, ковровых покрытий, в то время, когда все это задумывалось и заказывалось, отвечал требованиям современного, уютного жилища (и он сам именно так и воспринимал свой дом), но за последующие десять лет жизни в доме ковры в отдельных местах — у порога входной двери, в коридорчике, ведущем к лестнице в подвал, в спальне по обе стороны кровати — вобрали в себя столько грязи с обуви и пота с ног, что никакой ковровый шампунь не берет этот грязный, серый цвет — большой жирный отпечаток, оставленный твоей же собственной жизнью. Узорчатые ковры его детства — стилизованные цветы, завитки, лабиринты, по которым он путешествовал взглядом, пока вконец не терялся в орнаментальных джунглях, — каким-то образом незаметно поглощали грязь, и по весне, как раз в это время года, из домов на Джексон-роуд хозяйки выносили их во двор и, перекинув через бельевые веревки, хорошенько выбивали: в прохладный апрельский воздух поднимались крутящиеся облачка, бесследно растворявшиеся в общей мировой пыли. Он достает из комода чистое белье и носки и застывает в недоумении: как, собственно, нужно одеваться по случаю семейного скандала с рукоприкладством? Мозг Гарри, как отчаянный серфингист, неудержимо скользит на гребне его собственного сердцебиения.

— Здравствуй, солнышко! — говорит Дженис совершенно другим тоном, умильным и на октаву выше прежнего. — Ничего не бойся. Мы все тебя очень любим. И папочка любит тебя, да-да, очень сильно. Мы с дедушкой скоро приедем. Только сначала нам нужно одеться, поэтому ты должна нас отпустить, ладно? Всего двадцать минуточек, милая, и мы будем у вас, потерпи немножко. Конечно, так скоро, как только возможно. А пока будь умницей и делай, как велит мама. — Она кладет трубку и очумело смотрит на Гарри из-под жидковатой, спутанной челочки. — Боже, Боже, — причитает она. — Он ударил Пру кулаком по лицу и в ванной переколотил все, что мог — искал там припрятанный кокаин, который ему срочно понадобился, а когда не нашел, пошел крушить все подряд.

— Срочно понадобился! Всю жизнь так — вынь ему да положь, — кипятится Гарри.

— Он заявил ей, что мы все его обираем.

— Ха! — саркастически откликается Гарри, подразумевая, что в действительности все происходит как раз наоборот.

— Как ты можешь смеяться, ведь это твой сын! — одергивает его Дженис.

Да кто она такая, эта пигалица, эта твердолобая, как фундук, дуреха, чтобы корить его? И все же он чувствует себя пристыженным. Он ничего ей не отвечает и говорит тоном мудрой рассудительности:

— Как знать, может, оно и к лучшему, что дошло до кризиса, если все мы найдем в себе силы с этим справиться. Уже то благо, что наконец все вышло наружу.

Она надевает одежду, которую никогда не осмеливается носить здесь, на севере, при свете дня, — лососевого цвета спортивный костюм с нежно-голубыми рукавами и такими же полосками на штанах. Он останавливает свой выбор на свежевыстиранных и выглаженных крепких хлопчатобумажных брюках, аккуратно сложенных в ящике комода, и рубашке цвета хаки, в которой он делает разные нетяжелые работы по саду; сверху он набрасывает свой самый старый пиджак из зеленого вельвета в крупный рубчик с кожаными пуговицами: в общем и целом вид скорее домашний, субботневечерний. На пенсии они оба стали куда разборчивее относиться к своему гардеробу; флоридские пенсионеры все дни напролет проводят за игрой в переодевание — наряжают себя, как дети бумажных куколок.

Для своей рискованной спасательной операции посреди глухой ночи они берут асфальтово-серую «селику» — ту, что из их двух машин больше напоминает «бэтмобиль»[[106]](#footnote-106).

Дубы по бокам оцепенелых извилистых улочек Пенн-Парка только-только набирают почки, но зато клены тронулись в полную силу, исчезла окутывавшая их красноватая дымка, и кроны оделись в прозрачную, нежную, молодую листву. В домах кое-где горит свет — у кого «дежурный», на верхнем этаже, у кого на заднем крыльце, чтобы кошки и еноты не слишком нахальничали вблизи мусорных баков, но с луной по силам тягаться только фонарям. Большие подстриженные кусты в ухоженных садиках — тис, туя, рододендроны — стоят, как будто насторожившись, на фоне ночи, точно звери, вышедшие из джунглей к водопою и пойманные вспышкой фотокамеры. Странно, если вдуматься: мы спим, а кусты в это время бодрствуют, выдыхают кислород, растут; сон им неведом. И звезды не спят — над крышами и кронами они светят холодной, устилающей весь небесный свод мерцающей россыпью. Отчего мы спим? С чем воссоединяемся во сне? Вспомнить его сон, так ладно по нему скроенный. При определенных ракурсах, выхваченный боковым зрением освещенный асфальт вдруг начинает казаться припорошенным снегом. Пенн-Парк незаметно превращается в Западный Бруэр, и тут одна-две машины тоже не спят, тоже едут куда-то по безлюдному обесцвеченному Пенн-бульвару, дальше переходящему в Уайзер-стрит с парковкой при супермаркете на одной стороне и с вереницей низеньких кирпичных магазинов, сохранившихся с тридцатых, на другой — тесные узкие лавчонки, где торгуют пуговицами, и подвенечными платьями, и пирожными, и шоколадными конфетами, и телевизорами «Сони», и наборами заготовок для любителей собирать модели самолетов — находятся, значит, любители, раз их до сих пор производят и продают, это в наш-то век, когда, по общему мнению, детей ничто не интересует, кроме любимого дивана и «ящика», да и разве ж это самолеты, все эти толстобокие реактивные увальни с черными, как у панды, носами, то ли дело машинки были когда-то, во время войны, загляденье: «зеро», «мессершмитты», «спитфайеры», «мустанги». Забавно, что в то время, как все силы страны были брошены на войну, промышленность все-таки получала добро на изготовление игрушечных моделек военных самолетов, призванных воспитывать в подрастающем поколении боевой дух. Все магазины крепко спят. В цветочном фиолетово горят лампы дневного света, чтобы рост растений не прекращался даже ночью, в зоомагазине тускло светится аквариум. Машины, припаркованные вдоль поребриков, являют целую радугу неземных оттенков, это уже не привычные красный, синий, кремовый, а какие-то новые, лунно-пепельные тона, каких не только увидеть, но и вообразить при свете дня невозможно.

Гарри закидывает в рот таблетку нитроглицерина и с укором говорит Дженис:

— Врачи считают, мне вредно волноваться.

— Не я ж подняла тебя с постели в два часа ночи, а твоя невестка.

— Угу, потому что твой драгоценный сыночек полез на нее с кулаками.

— Это *ее* версия, — уточняет Дженис. — Мы пока не выслушали другую сторону — Нельсона.

Под языком начинает щипать.

— С чего ты взяла, что у него есть какая-то другая версия? К чему ты клонишь, по-твоему, она врет, что ли? Для чего ей это надо? Зачем бы она стала звонить нам в два часа ночи — чтобы врать?

— У нее, как говорят в таких случаях, своя выгода на уме. Небось, когда она решила забеременеть, он был для нее достаточно хорош, а чуть начались какие-то сложности, сразу стал нехорош, ну, а если она задумала подыскать себе кого получше, так действовать надо быстро, время упустит — кто тогда на нее посмотрит? Внешность — вещь недолговечная.

Он хохочет, вроде как аплодирует ее изобретательности.

— Молодец, все по полочкам разложила. — От таблетки, пока несильно, только подбираясь, начинает свербить в заду. — Стало быть, ты согласна, что она недурна? Все еще.

— На вкус некоторых мужчин, вполне возможно. Тех, у кого дылды и бой-бабы не вызывают неприязни. Лично мне никогда не нравилось, что рядом с ней Нельсон кажется таким низкорослым.

— Он и *есть* низкорослый, — возражает Гарри. — Не пойму почему. Мои родители оба высокие. Вообще у нас в роду все были высокие.

Дженис молча переживает свою ответственность за малый рост Нельсона.

Существует масса способов, как проехать через Бруэр, чтобы попасть в Маунт-Джадж, но сегодня ночью, когда улицы практически пусты и светофоры на перекрестках мигают желтым светом, он выбирает кратчайший путь — прямиком к мосту через Скачущую Лошадь, по которому они с Джилл шли как-то раз при луне, правда, не в такой поздний час, и дальше по Уайзер-стрит мимо углового дома, где раньше был бар «Гостеприимный уголок Джимбо», пока из-за неувязок с полицией его не прикрыли, а само здание перекрасили в пастельные, больше привычные для кондо, тона и переоборудовали под офисы для яппи, молодых преуспевающих юристов и консультантов по финансам; мимо похоронной конторы Шонбаума, занимающей импозантный, белого кирпича, особняк, слева по ходу, и обувной мастерской, где вам почистят обувь, а заодно предложат нью-йоркские газеты и горячий жареный арахис, самый вкусный в городе, его тут до сих пор продают, подумать только, он ведь бывал здесь еще мальчишкой, немногим старше сегодняшней Джуди. Самым большим удовольствием было для него в то время приехать на трамвае, который ходил вокруг горы, в центр Бруэра утречком, в субботу, купить за десять центов пакетик еще теплого, прямо с жаровни арахиса и шататься без цели, раскалывая скорлупки и бросая их тут же себе под ноги, на тротуар Уайзер-сквер. Однажды какой-то старик бродяга принялся распекать его за то, что он мусорит на улице; в те времена даже у бродяг была гражданская сознательность. Сейчас старый центр словно город-призрак, пустой, вымерший, отсвечивающий лунными полутонами, закрытый для транспорта на уровне Пятой улицы, где заезжие градостроители из Атланты, задумав создать пешеходный торговый квартал, насадили небольшой лесок — сейчас он потусторонне вырисовывается голыми ветвями в мощных синих лучах прожекторов, установленных для пресечения разбоя и разврата под пологом этой дубравы, с каждым годом становящейся все выше и гуще, придавая центру города все более сумрачный вид. Доехав до Пятой, Кролик сворачивает влево и, миновав здание почты и гостиницы «Рамада» — в прошлом отеля «Бен Франклин» с великолепным бальным залом, неразрывно связанным в его сознании с Мэри-Энн, ее шуршащими кринолинами и пьянящим запахом ее тела, — выезжает на Эйзенхауэр-авеню уже дальше номера 1204, где одно время у Чарли скрывалась Дженис, и под тупым углом поворачивает направо, устремляясь в латиноамериканский, а прежде рабочий немецкий квартал, мимо поперечных Зимней, Весенней и Летней улиц, мимо слепящих фонарей и каких-то редких шарахающихся теней (пуэрторикашки промышляют чем могут) — ночами пока еще холодновато, не вся уличная шпана из своих щелей повылезла, — и дальше к бульвару Акаций, к бруэрской средней школе, памятнику Великой депрессии с латинским изречением на фронтоне, этой воплощенной в камне мечте о всеобщем благе, по духу своему коммунистической, что неудивительно — в тридцатые идеи коммунизма витали над страной, люди тогда не были насквозь пропитаны эгоизмом, как нынче, — памятнику, воздвигнутому в год рождения Гарри, 1933-й, и имеющему все шансы его пережить. Сложенное из светло-желтого кирпича с гранитной окантовкой по углам, здание цепляется за зеленеющий склон горы, как гигантский стручок акации.

— Как думаешь, что значит «совсем свихнулся»? — спрашивает он Дженис. — Она так сказала. До какой степени можно свихнуться от кокаина?

— У деверя Дорис Кауфман, то есть Эберхардт, есть приемный сын от первого брака его жены, так вот им пришлось поместить его в наркологический центр, где-то в глубинке. У него развился параноидальный страх, что Гитлер до сих пор жив и разослал по всему свету своих агентов, которым приказано найти и схватить не кого-нибудь, а именно его. Он еврей.

— А на жену и детей он кидался?

— Жены у него, по-моему, не было. Мы не можем знать наверняка, угрожал ли Нельсон детям.

— Пру так сказала.

— Пру была сильно расстроена. Думаю, больше всего она убивается из-за денег.

— А тебя деньги совсем не волнуют?

— Во всяком случае, не так, как вас с Пру. О деньгах я не печалюсь, Гарри. Папа мой как, бывало, говорил: «Не будет у меня пятачка, я и с грошиком не пропаду». У него была вера в то, что он в любом случае сумеет вывернуться. Наверно, эту философию и я от него унаследовала.

— И потому ты готова спускать Нельсону все, вплоть до убийства?

Дженис тяжко вздыхает и говорит голосом, как никогда похожим на голос ее мамаши, Бесси Кёрнер Спрингер, которая всю жизнь прожила с грузом лишнего веса, не имея понятия об иных физических упражнениях, кроме домашней работы, сиднем сидя в своем огромном доме с опущенными шторками на окнах, чтобы не выгорали на солнце ни занавеси, ни обивка, вздыхая вот так же и жалуясь на боли в ногах:

— Гарри, чего ты от меня хочешь? Нет, серьезно, что я могу поделать? Будь он все еще ребенок, тогда понятно, но ему ведь уже тридцать два года!

— Для начала ты могла бы уволить его из магазина.

— Ну да, уволить из магазина, уволить из сыновей — извини, мол, сынок, не оправдал ты моих надежд, так, что ли? Не забудь, он внук моего отца. Папа создал магазин из ничего, на пустом месте, и он хотел бы, чтоб им управлял Нельсон, управлял вопреки всему, даже если он доуправляется до полного краха.

— Ну и ну! — Такая готовность до основания все сокрушить лишает его дара речи. Деньги приучают людей к безоглядности. Уж спорить, так на миллион, играть на бирже, так с риском разориться. — А нельзя уволить его на время, пока он не придет в норму?

В тоне Дженис звучат резкие нотки — раздражение, усталость.

— Как у тебя все легко получается — во всей этой ситуации тебя задевает только одно, то, что Лайл отослал тебя за разрешением ко мне, и теперь ты пытаешься выместить на мне свою злобу. Так вот, *ты*, ты сам поступай как знаешь, как правильно, делай все, что тебе заблагорассудится, можешь объявить в магазине, что я тебя уполномочила. У меня нет больше сил. Нет сил выносить ваши с Нельсоном бесконечные бои — всю жизнь под перекрестным огнем. Не хочу!

На руки ему все чаще ложатся световые пятна от фонарей: «селика» набирает скорость и мчится через городской парк на склоне, над теннисными кортами и танком — реликвией Второй мировой войны, — покрытым от ржавчины толстым слоем зеленой краски; краску столько раз подновляли, что от настоящего цвета, каким его помнит Гарри, ничего не осталось. Как же назывался этот цвет? Защитный. Он представляет, что попал в бомбардировку и спасает его только заградительный огонь фонарей, а Бруэр, кстати, кажется сейчас мертвым, как разбомбленные немецкие города сразу после войны.

— Мне никто не поверит, — говорит он ей желчно, — все равно к тебе побегут. И потом, я, как и ты, — смягчаясь, добавляет он, — боюсь того, что там может открыться.

За парком он проезжает светофор с красным светом и знаменитый на всю округу старый дом с башенками и кровлей из сланцевых закругленных на углах плиток, которые вместе образуют что-то похожее на рыбью чешую, и чуть дальше — торговый центр с кинотеатром в нем и афишей: ПОКА КОМАНДА МЕЧТЫ НЕ МОЛЧИ БЕЗ КОНТРОЛЯ. И вот они уже на 422-й, на территории, знакомой им как свои пять пальцев: улицы, еще в детстве исхоженные вдоль и поперек, в любое время года, — Центральная, Джексон— и Джозеф-стрит, — каждый гидрант и каждый почтовый ящик в поселке Маунт-Джадж словно пуговицы, на которые застегнута их жизнь, их подлинная жизнь; сейчас, в нижней точке ночи, все обесцвечено, и улицы под голубыми огнями фонарей кажутся какими-то закругленными, словно хлебный каравай с корочкой из снега, крылечки с кирпичными столбами, занимающие стратегически выгодную огневую позицию позади и над непременно плоским газоном и клумбой с тюльпанами. В доме 89 по Джозеф-стрит — просторном оштукатуренном спрингеровском особняке, куда Кролик, в период ухаживания за Дженис, старался заходить как можно реже, слишком уж разительным был контраст с их, Энгстромов, домом по Джексон-роуд, — свет горит во всех окнах, и кажется, будто это корабль идет ко дну среди безмолвных черных гребней деревьев и крыш. Могучего, раскидистого бука со стороны левого фасада, где раньше была их с Дженис спальня, в которую никогда не заглядывало солнце, бессильное пробиться сквозь густую листву, и в которой он каждую осень лежал без сна из-за перестука падающих наземь орешков, — этого бука больше нет, стена оголилась, все окна на виду и все освещены. Нельсон распорядился спилить его. *Папа, этот бук поедом ел весь дом. С той стороны даже краска не держалась от сырости. Трава, и та под ним не росла.* Гарри нечего было возразить, не мог же он сказать, что шум дождя в царственной кроне бука-великана — самое сильное религиозное переживание всей его жизни. Хотя нет, такое же точно чувство овладевало им, когда удавалось вдруг выполнить красивый, чистый удар на поле для гольфа.

Он припарковывает машину у тротуара под кленами, с которых в это время года летит какая-то желто-зеленая труха и капает что-то клейкое. Именно поэтому он всегда терпеть не мог ставить здесь машину. В понедельник надо будет съездить на мойку.

Пру, видно, караулила их у окна. Едва они ставят ногу на крыльцо, как она распахивает перед ними дверь, словно у нее тут установлены фотоэлементы, посылающие в дом условный сигнал. На прошлой неделе его вот так же встречала Тельма. Пру не одна, с ней Джуди — в какой-то пушистенькой пижамке фирмы «Ошкош-би-гош», из которой она явно выросла. В глаза бросаются неожиданно длинные, белые, костлявенькие ступни девочки и ее не прикрытые штанишками голые лодыжки.

— Рой, где Рой? — первым делом спрашивает Гарри.

— Нельсон его укладывает, — говорит Пру с характерной для нее кривоватой, словно извиняющейся, гримасой — рот с одной стороны словно оттянут книзу.

— Укладывает? — переспрашивает Гарри, — А ты не боишься оставлять его с ребенком?

— О нет, — говорит она. — За время, что прошло с того момента, как я вам звонила, он попритих. Думаю, когда он со всей силы меня ударил, это была для него хорошая встряска. По крайней мере в чувство пришел, и на том спасибо. — В ярком свете прихожей отчетливо видны пунцовый рубец у нее на скуле, асимметрично припухшая верхняя губа и краснота вокруг глаз — как будто кожу там долго и усердно скребли жесткой мочалкой для сковородок. На ней надет все тот же, запомнившийся ему по Флориде, короткий лоскутный халатик с узором из вьюнка, только ноги теперь не голые; из-под халата выступает длинная голубая ночная рубашка. Однако сквозь тонкую ткань при желании можно разглядеть очертания ее ног — шевеление рыб в мутной воде. Ступни ее скрыты в ночных туфлях с оторочкой из искусственного меха, поэтому проверить теперешнее состояние лака на ногтях он не может.

— Эге, что же это получается, ложная тревога? — хмурится Гарри.

— Не спешите с выводами, вот увидите Нельсона — тогда и судите, — говорит ему Пру и затем обращается к свекрови: — С меня довольно, Дженис. Все, больше не хочу. Я долго терпела, но теперь кончено, сыта по горло! — И глаза с покрасневшими от слез веками снова влажнеют, и она кидается свекрови на шею, не дав ей даже толком выпрямиться после обмена родственными приветствиями и поцелуями с внученькой, Джуди.

У Гарри внутри все подбирается: он почти физически ощущает отчаянную попытку Пру обрести сочувствие у другой женщины, матери ее мужа; и точно так же он чувствует женино внутреннее сопротивление. Пру воспитывалась в католичестве, и бурные проявления чувств и экзальтированные жесты у нее в крови, а Дженис была и есть типичная зажатая протестанточка.

Джуди берет Гарри за кончики пальцев. Он наклоняется чмокнуть ее в щечку, и в глаза ему лезут ее волосы. Девочка смешливо шепчет ему на ухо:

— Папа думает, что по нему ползают муравьишки.

— У него постоянный зуд, — поясняет Пру, нутром чувствуя, что ее импульсивная попытка заручиться поддержкой Дженис наткнулась на стойкое сопротивление, и значит, пора отбросить всякие церемонии и назвать веши своими именами. — Нормальное явление. По-научному — формикация, синдром ползающих мурашек. Возникает, когда каналы передачи нервного возбуждения заблокированы. Что еще вас интересует? Спрашивайте, я хорошо подкована. Я уже год как хожу на собрания Нарк-Анон[[107]](#footnote-107) в Бруэре.

— Кхах, — крякает Кролик, отчасти покоробленный ее жестким тоном. — Ну и что же еще говорят знающие люди?

Она в упор смотрит на него зелеными, блестящими от слез и недавнего потрясения глазами, и ей даже удается улыбнуться своей однобокой улыбочкой. Из-за припухшей верхней губы ее улыбка сегодня кажется особенно грустной и какой-то чужой.

— Они говорят, что это, собственно, не твоя проблема и люди, страдающие наркотической зависимостью, сами должны с ней справляться. Но так или иначе, проблема-то остается, в том числе и для тебя.

— Что все-таки у вас тут стряслось, если по порядку? — спрашивает он. Он вынужден как-то поддерживать разговор. Дженис, к его досаде, совершенно устранилась, вид у нее отрешенный и отсутствующий, как во время поездки с внуками в Джунгли-парк.

Джуди становится скучно — бабушка с дедушкой, вопреки обыкновению, не настроены уделять ей внимание, она отходит от Гарри и прислоняется к матери, упираясь в живот Пру своим морковным затылком. Пру, словно оберегая свое дитя, обхватывает ее за плечи мягко опушенной веснушчатой рукой. Теперь на них неотрывно смотрят уже две пары зеленых глаз, словно Гарри и Дженис прибыли к ним не как спасательная команда, а как недоброжелатели.

Пру начинает рассказывать голосом без эмоций и сантиментов:

— Ничего нового, все как всегда. Домой он пришел во втором часу, я спросила, где он был, он сказал — не мое дело; я должна была бы проглотить это, не впервой, но, наверно, позволила себе что-то сказать, поскольку он заявил, что если я буду продолжать в том же духе, то схлопочу по шее, у него и так нервы на пределе, с удовольствием дал бы кому-нибудь в рожу, и когда он не нашел в ванной дозы кокса — ему казалось, он прятал порошок в баночку из-под аспирина, — он пошел все там бить и крушить, я возмутилась, тогда он выскочил и стал гоняться за мной с кулаками по всему дому.

Джуди тоже хочется вставить словечко:

— Я даже проснулась! Мама хотела спрятаться в моей комнате, а у папы лицо было странное-престранное, как будто бы глаза открыты, а он ничего не видит.

— У него был в руке нож или еще что-нибудь? — спрашивает Гарри.

От явной абсурдности этого предположения брови Пру сердито сходятся на переносице.

— Нельсон никогда не схватился бы за нож. Он не выносит вида крови, его даже нельзя попросить помочь нарезать что-нибудь на кухне. Он вообще не знает, каким концом резать!

И Джуди снова тут как тут:

— Потом он просил прощения.

Пока они говорили, Пру все разглаживала, отводила назад Джудины рыжие длинные волосы, сейчас же, едва коснувшись пальцами лба и щек, она уже от своего лица откидывает назад упавшие рыжие пряди. Волосы у нее порядком отросли, и сходства со сфинксом больше не наблюдается; теперь они повисли и достают до плеч.

— После того как я вам позвонила, он сразу притих. Все повторял: «Ты им позвонила? Все-таки позвонила? Вызвала сюда моих родителей?» Вероятно, он был так ошарашен, что у него даже злость прошла. Твердил, как заведенный, что это конец, и просил прощения. У него в голове полнейшая каша. Поморщившись, она легонько отстраняет от себя Джуди и потуже запахивает халат — ее бьет озноб. На какое-то мгновение все умолкают, словно забыли свои роли. В минуту кризиса, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, в нас, среди прочих инстинктов, срабатывает инстинктивное стремление как бы зачеркнуть, забыть случившееся, притвориться, что жизнь не вышла за пределы обыденной нормы. — Я бы выпила чашечку кофе, — говорит Пру.

— Может, нам лучше сперва подняться к Нельсону? — возражает Дженис.

Джуди эта мысль очень по душе, и она первая бежит вверх по лестнице. Поднимаясь следом за ее молочно-белыми босыми ногами, Гарри чувствует укол вины, видя, что его внучка спит в пижаме, из которой давно выросла, тогда как у всех без исключения его флоридских знакомых одних брюк столько, что хоть семь дней в неделю ходи в разных, да еще спортивных пиджаков штук двадцать висит в шкафу, в мешках из химчистки. Дом, который он помнит еще в бытность здесь Спрингеров, когда тем лет было меньше, чем ему сейчас, кажется при ближайшем рассмотрении обставленным довольно убого — в основном мебелью, оставшейся от старых времен, вроде видавшего виды коричневого кресла с шарнирами, исторического трона Фреда Спрингера, да разрозненными предметами поновее из магазина Шехнера, а то и вовсе из какой-нибудь занюханой лавчонки, каких немало понатыкано вдоль разбегающихся от города дорог, вперемежку с парковочными стоянками и закусочными быстрого обслуживания. Лестница по сю пору покрыта давно уже протертой и лысой турецкой дорожкой, уложенной Спрингерами все сорок лет назад. Дом переходил в пользование Нельсону и Пру поэтапно, и они никогда не считали его до конца своим. Вот ведь как оно получается, думаешь помочь молодым, облегчить им жизнь, соломки подстелить, а все выходит боком, и, оказывается, не соломки ты им подстелил, а подложил настоящую мину. Ясно ведь, что для молодой пары этот дом не годится.

Из-за того, что всюду горит свет, кажется, будто дом бросило в жар от страха. По ступеням они поднимаются в таком порядке: Джуди, Гарри, Дженис и Пру, которая, весьма вероятно, уже жалеет, что позвонила им, и предпочла бы сейчас делать примочки на лицо и в одиночестве и покое поразмыслить, как ей быть дальше. Нельсон встречает их в коридоре, с Роем на руках.

— О! — восклицает он, завидев отца. — Какая честь! Какая важная персона к нам пожаловала!

— Прекрати ерничать! — одергивает его Гарри. — Я сейчас предпочел бы быть дома, в своей постели.

— Не я придумал звонить тебе среди ночи.

— Зато ты придумал бросаться с кулаками на жену и до смерти пугать детей, ты придумал вести себя как скотина. — Гарри запускает руку в брючный карман — убедиться, на месте ли пузырек с сердечным лекарством. Нельсон хорохорится — он как приехал из города, еще не переоделся и щеголяет в черных слаксах и белой рубашке, одной рукой поддерживая малыша; но редеющие волосы стоят у него на голове дыбом, а глаза в резком свете коридорной лампы безумно сверкают россыпями искр, как тогда, возле полыхающего дома 26 на Виста-креснт. Несмотря на яркий свет, зрачки его кажутся расширенными, глянцево-черными, и, кроме того, его всего трясет, знобкая дрожь то и дело пробирает его снизу доверху, можно подумать, на дворе не теплая, почти майская ночь, а лютый мороз. С тех пор как они виделись во Флориде, он вроде еще больше похудел, нос по-прежнему нездоровый, воспаленный, под носом все та же идиотская клякса усов — не усы, а недоразумение. И ко всему еще эта серьга в ухе!

— По какому праву ты берешься судить, кто как себя ведет? Тоже мне судья выискался! — дерзит он Гарри в ответ и после добавляет: — Привет, мам. Добро пожаловать в отчий дом!

— Кончай, Нельсон. Так дело не пойдет.

— Дай-ка сюда Роя, — говорит Пру холодным, бесстрастным голосом. Оттеснив чету старших Энгстромов и не взглянув мужу в лицо, она выдергивает у него из рук сонного ребенка. От тяжести она невольно охает. Коридорный светильник со стеклянным абажуром, многочисленными гранями напоминающий вазочку для конфет, коронует ее макушку сиянием в тот момент, когда она проходит под ним, направляясь в комнату Роя, бывшую детскую Нельсона, — Кролик, помнится, не раз лежал без сна и слышал, как в эту комнату к Нельсону из конца в конец коридора крадучись пробиралась Мелани — ей тогда отвели комнатушку на стороне лицевого фасада, примечательную тем, что там стоял портновский манекен. Теперь она гастроэнтеролог, поди ж ты! Безжалостный верхний свет выхватывает лицо Нельсона, смертельно бледное, наэлектризованное, затравленное и одновременно враждебно-петушистое, и лицо Дженис — темное потерянное нечто, бегство в дебри сознания: ее способность приходить в полнейшее смятение не перестает изумлять и пугать Гарри. Делать нечего, кроме него, ситуацией тут никто не владеет. Девочка Джуди задорно поглядывает на него снизу вверх, взбудораженная тем, что можно посреди ночи не спать и присутствовать при взрослых серьезных разбирательствах.

— Ну что, так мы и будем топтаться в коридоре? — говорит он. — Может, пройдем в большую спальню?

Бывшая спальня Гарри и Дженис стала спальней Нельсона и Пру. Покрывало, правда, теперь другое — их старое, в народном стиле пенсильванско-немецкое покрывало, сшитое из треугольных лоскутков, уступило место новому, с узором из желтых роз, все-таки у Пру очевидная тяга к цветочным орнаментам, — но кровать все та же, скрипучая, с лакированным резным изголовьем, на которое невозможно нормально опереться, если тебе вдруг вздумается почитать. На столиках у кровати другие журналы — «Гоночные машины» и «Роллинг стоун»[[108]](#footnote-108) вместо «Тайм» и «К сведению потребителей», — но с бывшей Гарриной стороны все тот же столик вишневого дерева с плохо выдвигающимся ящиком. Среди вертикально поставленных, подпертых сзади фотографий на комоде есть и карточка, где он снят вместе с Дженис — оба мутноглазые, немного подцвеченные — в день их серебряной свадьбы в феврале 1981 года. Две набальзамированные мумии, проносится у Кролика в голове, увековеченные в подцвеченном пузырьке времени. Здесь, как и в коридоре, светильник на потолке стеклянный, и свет бьет в глаза. Он спрашивает:

— Нет возражений, если я это выключу? Такая иллюминация кругом, что у меня башка разламывается.

— Ты же у нас тут самая важная персона. Ни в чем себе не отказывай, — язвит Нельсон.

Джуди спешит помочь объяснениями:

— Мама велела зажечь весь свет, когда папа за ней гонялся. Она мне сказала, чтобы я в крайнем случае бросила стул в окно, которое выходит на улицу, и звала на помощь что есть силы, и тогда бы приехала полиция.

Выключив свет, Кролик смотрит наружу, туда, где раньше рос бук-великан. Соседский дом стоит гораздо ближе, чем он всегда считал, прожив здесь пятнадцать лет. Окна вверху освещены. Он различает фрагменты стены и мебели, но людей не видать. Может, там уже подумывали, не вызвать ли полицию. Может, и вызвали. Он зажигает лампу на вишневом столике — так соседи смогут их увидеть и убедиться, что больше сегодня эксцессов не предвидится.

— Ей надо было спокойнее реагировать, тогда ничего бы не случилось, — объясняет Нельсон, размахивая руками как припадочный. — Я только хотел втолковать ей одну простую мысль, а она развернулась и пошла. Пру вообще перестала слушать, что я говорю!

— Наверно, ты все чаще говоришь то, что ей слышать не хочется, — отвечает сыну Кролик.

Принаряженный малый — белый верх, темный низ — выглядит как ассистент иллюзиониста на эстраде; он беспрерывно похлопывает себя то по груди, то сзади по шее и потирает руки через белую ткань рукавов, словно готовится показать фокус. Парень, конечно, смущен и напуган, но сосредоточиться никак не может, это Гарри уже сам чувствует, для него в этой комнате, помимо кровати и прочей мебели, помимо его родителей и дочери, есть кто-то и что-то еще — никому, кроме него, не видимое скопище призраков. От него как-то странно пахнет — спиртным и какой-то химией. Он весь в испарине.

— О'кей, о'кей, — соглашается Нельсон, — сегодня я перебрал, признаю. Неделька была — хуже не придумаешь. Головная контора в Калифорнии носится с идеей устроить общенациональный «Тойота-марафон», параллельно с усиленной рекламной атакой на телевидении, плюс скидки, которые они собираются предложить, — в общем, по их расчетам, продажи должны подскочить на двадцать процентов, и будьте любезны это обеспечить. В последнее время наши показатели, видите ли, их беспокоят.

— Только их? — подхватывает Гарри. — А дружок твой, Лайл, не донес тебе разве, что я на днях заходил?

— На прошлой неделе, ходил там что-то у всех вынюхивал — доложил, не сомневайся. Сам он с того дня на работе не появлялся. Большое тебе за это спасибо. И за то, что довел Эльвиру до исступления, тоже — чего ты полез к ней со своим антифеминистским бредом, заигрывал по привычке?

— Я ни к кому не лез и ни с кем не заигрывал. Просто удивился, что машинами торгует женщина, и спросил, как у нее получается. Вот ведь паскуда, я, можно сказать, перед ней рассыпался в любезностях.

— Ей так не показалось.

— Ну, и шут с ней в таком случае. Как я заметил, она в состоянии сама за себя постоять. Ты-то чего раскипятился — спишь с ней, что ли?

— Папа, скажи, ты вообще когда-нибудь думаешь о чем-то еще, кроме постели? Тебе уже сколько — пятьдесят семь?..

— Пятьдесят шесть.

— ...а ты будто сексуально озабоченный подросток. В жизни есть и другой интерес, не только — кто с кем спит.

— Ну-ка, ну-ка. Давай расскажи мне, какой интерес у вас, у яппи? Не только ведь каждые полчаса что-нибудь нюхать для поддержания тонуса; так, глядишь, и без носа недолго остаться. Посмотри, на кого ты похож, в твои-то годы. Ну, а с крэком какие у тебя отношения? Как хоть его принимают? Это ведь кристаллики, так? Выходит, тебе нужна куча всяких приспособлений, трубочки разные — все, что показывают по телевизору? И где же ты этим занимаешься? Не можешь же ты таскаться с чемоданом всех этих причиндалов по злачным местам, по всяким там «Берлогам» — или как теперь твой бар называется?

— Гарри, прошу тебя! — взывает к нему Дженис.

Улучив момент, Джуди тоже влезает в разговор, глаза у нее в этот предутренний час оживленно блестят.

— У папы, знаете, как много разных интересных трубок!

— Прикуси язычок, солнышко! — цыкает на нее Нельсон. — Пойди найди маму, пусть уложит тебя в постель.

Гарри яростно обрушивается на Дженис:

— Дай ты мне *спросить* его! До каких пор все будут ходить вокруг да около и делать вид, что парень в полном порядке? Взгляни правде в глаза, Нелли: ты катишься вниз, тебе нужна помощь.

Под влиянием острой жалости, которую в этот момент испытывает к себе Нельсон, его черты на какую-то долю секунды приобретают определенность.

— Да, все говорят, что мне нужна помощь, *чья-то*, только чья? Пока что я никакой помощи ни от кого не вижу. Есть жена, но ей на меня плевать с высокой горы, вроде есть отец, а вроде и нет, и не было никогда, и мать имеется... — Он осекается, не рискуя отвешивать оплеуху своему единственному союзнику.

— И мать имеется, — заканчивает за него Гарри, — видит, как сын обирает ее до нитки, и помалкивает.

Тут до Нельсона кое-что, кажется, смутно доходит, пробивается сквозь пугливое роение в глазах.

— Я никого не обираю, — произносит он, как под гипнозом, будто некий таинственный голос у него в голове диктует ему, что говорить. — Все идет по плану. Ой, мне плохо. По-моему, меня сейчас вырвет.

Гарри воздевает вверх руку в августейшем благословении.

— Давай. Дорогу к унитазу ты знаешь.

Дверь в ванную находится справа от комода с цветными фотографиями детей, запечатлевшими разные стадии их развития, и подцвеченным снимком Гарри и Дженис, где сами они кажутся набальзамированными, а их затуманенные глаза прикованы к какой-то одной, общей для обоих, точке в пространстве. Сунув голову в дверь, Гарри видит, что пол в ванной усыпан всем подряд: шампунь, паста, лекарства. По счастью, теперь все выпускается в упаковке из пластика, так что разбилось немного. Дверь закрывается.

— Гарри, ты слишком на него жмешь, — говорит Дженис.

— Господи, черт, кроме меня на него вообще никто не жмет. Ты, видно, думаешь, что все как-то само рассосется. Не рассосется. Мальчишка увяз по уши.

— Ты хоть про деньги не заговаривай, — умоляет она.

— Это еще почему? Деньги — это что, святыня какая-то, что их уже всуе и поминать нельзя?

Кончик ее языка просовывается между ее напряженными, встревоженными губами.

— Где деньги, там жди неприятностей с законом.

Джуди все еще отирается возле них и слышала весь разговор; ее чистые детские глаза с голубоватыми белками, ее светло-рыжие бровки с забавным маленьким вихром и ее личико, беленькое, как часовой циферблат, и такое же отчетливое, — все это как-то незаметно обезоруживает Гарри, мешает ему разозлиться по-настоящему, дать волю своему благородному негодованию. Надсадные, нутряные звуки, доносящиеся из-за двери ванной комнаты, пугают ее, и Гарри спешит ее успокоить:

— Ничего, зато твоему папе сразу станет легче. Это из него отрава выходит.

Но мысль о том, как Нельсона сейчас выворачивает наизнанку, на него самого тоже действует удручающе, и грудь его снова стягивают невозможно тугие ленты, и где-то глубоко внутри снова затеваются злые шалости с огнем — к нему возвращаются знакомые тревожные симптомы. Он нащупывает в кармане брюк драгоценный коричневый пузырек. Открутив колпачок, он вытряхивает на ладонь малюсенькую таблеточку нитростата и артистично, как когда-то прикуривал, кладет ее под язык.

Джуди, задрав голову кверху, улыбается ему.

— Я знаю: эти таблетки помогают твоему сердцу, которое из-за меня стало болеть.

— Сердце у меня болит вовсе не из-за тебя, солнышко, и, пожалуйста, выброси эти глупости из своей головки, ладно?

Ему не дает покоя высказывание Дженис — насчет денег и неприятностей с законом: понимай так, что они, сами того не предполагая, могут крепко вляпаться. ЭНГСТРОМ: СЫН-ПРЕСТУПНИК ЗА РЕШЕТКОЙ. *Мошенник и его сообщники пускают под откос семейный бизнес.* Свет в верхнем этаже соседнего дома погас — хоть этой заботой меньше. Старуха Спрингерша, наверно, в гробу переворачивается от стыда, что ее почтенный дом может причинить соседям беспокойство. Нельсон возвращается к ним из ванной, словно чем-то потрясенный, с расширенными глазами. Бедный парень, каких жутких картин он сегодня насмотрелся? Вот в резиновом мешке выносят найденное на пепелище мертвое тело Джилл, вот его мать прижимает к себе крохотное бездыханное тельце его новорожденной сестренки. Как можно его обвинять в чем-то после этого? Он умыл лицо и пригладил щеткой волосы — теперь его бледность сияет чистотой. Он останавливается, выжидая, пока по всему его телу, начиная с головы и опускаясь к ногам, волной прокатывается крупная дрожь: он точь-в-точь как собака, отряхивающаяся после купания.

Несмотря на все свои миролюбивые мысли, Гарри тут же возобновляет атаку.

— Да, кстати, — говорит он, еще прежде чем сын успевает притворить дверь в ванную, — другое твое новшество меня тоже, мягко говоря, удивило — я про толстого макаронника, который у тебя работает. Для чего тебе понадобилось запускать в магазин мафию?

— Па, ты даешь, у тебя какие-то дикарские предрассудки.

— Предрассудки тут ни при чем, а факт есть факт. И мафия — это факт. От торговли наркотиками она мало-помалу отходит, слишком жесткая тут борьба, и все больше и больше внедряется в легальный бизнес. В «60 минутах» все это детально показывали и доходчиво объясняли.

— Ма, скажи ему!

Дженис собирает все свое мужество и говорит:

— Нельсон, отец ведь прав. Тебе нужна помощь.

— Я в полном порядке, — скулит он. — Я сам знаю, что мне нужно — *сон* мне нужен, и больше ничего. Вы хоть сами-то в курсе, который час? Четвертый, между прочим! Джуди, давай-ка в постель!

— Мне будет не уснуть, я на взводе, — заявляет ребенок, скаля изумительные овальные зубки.

— Что это за слово, где ты ему научилась? — строго спрашивает Гарри.

— Ну, в смысле вздрюченная, — предлагает она вариант. — Ребята в школе все так говорят.

Гарри снова берется за Нельсона:

— А что за молодчики названивают к нам в дом в любое время дня и ночи и требуют денег?

— Да есть тут одни, говорят, я им задолжал, — отвечает Нельсон. — Может, и задолжал. Временное явление, па. Все уладится. Пойдем, Джуди. Я отведу тебя спать.

— Притормози, — останавливает его Гарри. — Сколько ты должен, из чего платить собираешься?

— Я же сказал, я все улажу. Наглость, что они тебе звонят, но это такая публика — ничем не гнушаются. Они просто не понимают, что значит долгосрочное финансирование. Звонки донимают — возвращайся во Флориду. Смени номер, я свой уже сменил.

— Нельсон, когда же это кончится? — вопрошает Дженис, и голос ее звучит надтреснуто — мешают слезы, которые наворачиваются, стоит ей взглянуть на сына. В своей белоснежной рубашке, весь наэлектризованный, Нельсон сейчас такой уязвимый, настороженный, беспомощный, как загнанный в угол зверек. — Ты должен завязать с наркотиками.

— Конечно, мам. Считай, что уже завязал. Начиная с сегодняшней ночи.

— Ха! — комментирует Гарри.

Нельсон с напором продолжает убеждать ее:

— Я знаю, что говорю. У меня нет зависимости. Я просто балуюсь наркотиками от случая к случаю, чтобы немного развеяться. Но я не наркоман.

— Ага, — подхватывает Гарри, — ты не наркоман, а Гитлер не убийца — вы только балуетесь, каждый по-своему. — С чего он приплел Гитлера? Наверно, из-за его идиотских усиков. Хоть бы малый сбрил их наконец, и еще серьгу бы из уха вынул — тогда он, Гарри, возможно, сумел бы вызвать в себе какое-то сочувствие к сыну и они могли бы попробовать начать все с чистого листа.

Хотя, рассуждает про себя Гарри, сколько таких чистых листов ему еще отпущено? Вот и эта комната, где он провел пятнадцать лет своей жизни в одной постели с Дженис, ощущая сладкий душок женского пота, запашок ее «нежданчиков», временами испытывая настоящую радость обладания ею, как тогда, с кругеррандами, а временами содрогаясь от отвращения, когда она, расплескивая херес или кампари, пьяно возникала на пороге; эта комната с буком за окном, то одевающимся листвой и затмевающим дневной свет, то вновь роняющим листья и впускающим свет обратно, с буковыми орешками, чей дробный стук напоминал быструю череду разрывов карнавальных шутих, и несмолкаемым бормотанием телевизора мамаши Спрингер, от звуков которого, особенно под занавес программы, начинала трястись лампа на столике у кровати, а старушка под этот грохот спала и в ус не дула; комната, насквозь пропитанная его жизнью, вобравшая в себя пятнадцать долгих лет, — сколько еще раз суждено ему здесь побывать? Нынешней ночью он на такое свидание никак не рассчитывал. Вдруг, как-то сразу, что значит возраст, у него внутри половодьем разливается усталость, его словно окунули в нее: липко, грязно и ничего не надо. В глазах, ближе к углам, вспыхивают и гаснут какие-то искры. Береги нервы. Пожалуй, ему лучше сесть. Дженис еще раньше уселась на кровать — на их бывшую супружескую постель; а Нельсон выдвинул для себя табурет с мягким сиденьем в желтых розах, которым, должно быть, обычно пользуется Пру, когда в неглиже садится наводить марафет перед зеркалом на комоде, готовясь к совместному выходу в свет — на ужин в какую-нибудь их «Берлогу» или в гости к приятелям из «новых», с деньгами, что селятся в северо-западной части Бруэра. И чего ради он будет жалеть своего сына, когда щенку повезло отхватить в собственное пользование такую здоровенную, высоченную, хипповую бабешку?

Нельсон между тем сменил пластинку. Он сидит, подавшись вперед, к матери, сплетя трясущиеся пальцы; губы его напряжены от мучительных усилий сдерживать тошноту, темные глаза до краев наполнены смятением, словно отражая ее собственные. Он теперь жалостливо, бессвязно пытается что-то про себя самого объяснить:

— ...только тогда я чувствую себя *человеком* — большинство, я думаю, просто живет с этим чувством, им для этого и делать ничего не надо. Но сегодня, когда я как одурелый поскакал за Пру, все было иначе — будто бес какой-то или уже не знаю кто вселился в меня, а я сам стоял снаружи и наблюдал и никакой связи с самим собой не улавливал. Как если бы мне все это по телевизору показывали. Ты все правильно говоришь, надо сбавлять обороты. А то не знаю — ладно, чего уж — у меня теперь каждое утро начинается с дозы... иначе хоть вой... и потом весь день я ни о чем другом... Выходит, так и так человеком себя не чувствуешь.

— Бедный ты мой козленочек, — причитает она. — Я знаю, знаю. Ох, как все это мне знакомо. У тебя заниженная самооценка. Я сама этим мучилась на протяжении многих лет. Помнишь, Гарри, как я по молодости тянулась к спиртному?

Хочет и его переманить на свою сторону, жмет на родственные чувства. Ну нет, с ним этот номер не пройдет — пока, во всяком случае. Его так задешево не купишь.

— По молодости? А по зрелости? Даже и сейчас не прочь при случае. Эй, очнись, ты, может, задумала проводить тут сеанс психотерапии? Этот козленочек только что надавал жене тумаков и нас хочет без штанов оставить, а ты ему потакаешь!

Джуди, лежа по диагонали на кровати за бабушкиной спиной и внимательно следя за действующими лицами запрокинутыми глазами, решает поделиться своим интересным наблюдением:

— А у дедушки, когда он сердится, верхняя губа делается жесткая-прежесткая, прямо как у моей мамы.

Нельсона хватает на то, чтобы, продравшись сквозь туман обволакивающей его жалости к себе, сказать ей:

— Заинька, по-моему, весь наш разговор не для твоих ушей.

— Давайте я отведу ее спать, — предлагает Дженис, не трогаясь, впрочем, с места.

Гарри совсем не светит оставаться с Нельсоном один на один, и он бодро вызывается в провожатые:

— Давай лучше я. А вы тут без меня поговорите. Разберитесь, что к чему. Я свое мнение уже высказал — по нему тюрьма плачет.

Джуди заливается хохотом, аж повизгивает; голова у нее запрокинута кверху, видны даже внутренние ободки век — впечатление жутковатое.

— Ой, не могу, — произносит она, сверкая странно искаженными этим ракурсом зубками-треугольниками — снизу широкими, вверху узкими. — Ты все напутал. Не тюрьма, а тюремщик. Тюрьма плакать не может.

— Да нет, Джуди, — говорит Гарри, беря ее за руку, чтобы вернуть в вертикальное положение. — Не напутал. И тюрьма тоже может плакать. Вырастешь — поймешь.

— Что за паскудство, где ее мать, в конце концов? — спрашивает Нельсон, адресуя вопрос пустому пространству прямо перед собой. — Какая она зараза, эта Пру, мне небось все уши прожужжала, что я чурбан безответственный, а сама добрую половину времени не в себе, и ничего. Видали, как ее в корме разнесло? Пить меньше надо. Дети приходят домой из школы, а мамочка дрыхнет! — Он нарочно так говорит, на Дженис работает, убаюкать хочет, наговаривает мамочке на жену почем зря. Потом он вдруг резко оборачивается к Гарри.

— Пап, — окликает он его. — Может, по пивку?

— Спятил ты, не иначе.

— Быстрей уляжется все внутри, — улещивает его мальчишка. — И уснуть будет легче, а?

— Да меня и так валит с ног, Господи! *Я-то* не на взводе — или как это на вашем жаргоне называется. Пойдем, Джуди. Пожалей дедушку. И без того уже все болит. — У него в руке ее сыроватая, липкая ручка, и она забавляется тем, что изо всех сил упирается, пока он тянет ее с кровати, и он уже чувствует, как в груди снова щемит. А едва он выдергивает ее, она тут же обмякает и начинает валиться на ковер. Он еле-еле ее удерживает, насилу перебарывая естественное желание поддать шалунье как следует. Обращаясь к Дженис, он рявкает: — Даю вам десять минут. Поговорите наедине. Не позволяй ему обвести себя вокруг пальца. Меня интересует план действий. Нужно навести хоть какой-то порядок в этой сумасшедшей семейке!

Прикрывая за собой дверь спальни, он слышит голос Нельсона:

— Мам, ну, а ты? Разопьешь со мной баночку? У нас есть «Мик» и еще «Миллер».

Джудина комната — та самая, где по вечерам клевала носом, делая вид, что смотрит телевизор, мамаша Спрингер, и где из окон видна кусками Джозеф-стрит, пустынная, словно тундра, выбеленная светом фонарей в прогалинах между липкими норвежскими кленами, — завалена мягкими игрушками, разными мишками, жирафами, котами Гарфилдами, но Гарри понимает, что игрушки-то все старые и прошло уже немало времени с тех пор, как кто-то приносил девочке подарок. Детство ее расползается на нитки раньше, чем она успела из него вырасти. Без лишних слов и уговоров она тут же заползает в свою кровать, под ветхое красное пуховое одеяльце с фигурками веселых друзей — Земляных Орешков[[109]](#footnote-109). Он спрашивает, не нужно ли ей сперва сходить кой-куда. Она мотает головой и лукаво смотрит на него с подушки, словно ее забавляет, что он так мало знает о работе ее организма. Косые лучи света пробиваются с улицы по краям опущенных жалюзи, и он предлагает задернуть занавески. Джуди говорит нет, она не любит, когда в комнате совсем темно. Тогда он спрашивает, не мешают ли ей машины, и она снова говорит нет, только большие грузовики, от них даже дом трясется, и по правилам они не должны здесь ездить, но полицейским лень следить за соблюдением правил. «Скорее, они слишком заняты», — назидательно поправляет он, всегда готовый стать на сторону властей. Странно, откуда в нем так развит этот инстинкт, ведь его собственная жизнь — далеко не образец законопослушания. Можно сказать, разок-другой по нему самому тюрьма плакала. Но уж больно власть нынешняя какая-то беспомощная, прямо-таки беззубая. Он спрашивает, не хочет ли Джуди прочитать перед сном молитву, и она отвечает спасибо, нет. Она прижимает к себе какую-то плюшевую зверушку неопознаваемых форм, без рук, без ног. Чудище какое-то. Он любопытствует, кто это, и она показывает ему — дельфин, серая спинка, белое брюшко. Он проводит ладонью по искусственному меху и засовывает игрушку назад к ней под одеяло. Ее подбородок упирается в белый профиль песика Снупи в летных очках на носу. Карапуз Лайнус, как всегда, стоит, вцепившись в свое любимое одеяло; у Пигпена-грязнули вокруг головы много-много мелких звездочек, обозначающих тучу грязи; невезучий Чарли Браун представлен бейсболистом: тут он в роли питчера, подает мяч, а там летит сам вверх тормашками, получив мячом в лоб. Сидя на краешке кровати, гадая, рассчитывает ли Джуди услышать от него сказку на ночь, Гарри вздыхает так обреченно, так измученно, что удивляются они оба, дед и внучка, и на обоих нападает нервный смех. Потом вдруг девочка спрашивает его, а правда ли, что все будет хорошо.

— Ты о чем, золотко?

— О маме, о папе.

— А как же! Они любят тебя, и Роя тоже, и они любят друг друга.

— А они говорят, не любят. Они ругаются.

— Не только они, очень многие.

— А у моих друзей родители не ругаются друг с другом.

— Еще как ругаются, уверяю тебя, просто ты этого не видишь. Ты же приходишь к ним в гости, вот они и стараются вести себя хорошо.

— Когда люди часто ругаются, они могут развестись.

— Да, и такое бывает. Но только если они *очень* часто ругаются. Твой папа когда-нибудь раньше бил маму, как сегодня?

— Она сама его иногда лупит. Она говорит, он все наши деньги пускает на ветер.

На сей раз у Гарри нет готового ответа.

— Все уладится, — говорит он, в точности как Нельсон. — Со временем все улаживается. Как правило. Иногда в это трудно поверить, но, как правило, рано или поздно все встает на свои места.

— Помнишь, как ты упал на песок и не мог подняться?

— Вот дед отчубучил, да? Но ты же сама теперь видишь: вот он я, жив-живехонек. Все уладилось.

Лицо ее в темноте круглеет — она улыбается. Волосы темными лучами выделяются на светящейся подушке.

— Ты там, в воде, был такой смешной! Я же тебя дразнила!

— И как ты меня дразнила?

— Спряталась под парус.

Он заставляет свое измученное сознание вернуться назад к тому пляжному эпизоду и говорит ей:

— Ты не дразнила меня, милая. Ты была вся синяя и полузадохнувшаяся, когда я тебя вытащил. Я спас тебе жизнь. А потом ты спасла жизнь мне.

Она молчит. Темные сердцевины ее глаз вбирают в себя его версию случившегося, его взрослую память. Он наклоняется к ней и целует ее теплый сухой лобик.

— Не думай ни о чем и ничего не бойся, Джуди. Мы с бабушкой проследим, чтобы с твоим папой все было в порядке и с вами со всеми тоже.

— Я знаю, — говорит она после небольшой паузы, успокаиваясь и отпуская его с миром. Мы все, каждый из нас, словно наша голубая планета, зависшая в черном космосе, и нет у нас иной опоры, кроме взаимного ободрения, взаимной спасительной лжи.

Выйдя от Джуди прямо против закрытой двери бывшей комнаты для шитья, где одно время спала Мелани, Кролик крадучись проходит по коридору, минуя неплотно прикрытую дверь супружеской спальни — там, он слышит, продолжается разговор Дженис и Нельсона и два голоса сплетаются в один, — и направляется дальше, в конец коридора, к комнате с окном на задний двор и небольшой огородик, за которым он любил ухаживать. Прежде это была комната Нельсона — в те незапамятные дни, когда он еще ходил в школу и носил длинные волосы и ленточку на голове, как у индейца, и пытался научиться играть на гитаре, гитаре Джилл, и тратил уйму денег на пластинки с записями рок-музыки, все его пластинки теперь анахронизм, их полностью вытеснили кассеты, но и они уже отходят в прошлое, скоро в ходу будут только лазерные диски. Сейчас хозяин комнаты маленький Рой. Дверь приоткрыта; положив кончики трех пальцев на прохладное белое дерево, Гарри толчком открывает ее пошире. Свет проникает сюда не тонко нарезанными ломтями от фонарей над близлежащей Джозеф-стрит, как в комнате Джуди, а затекает зыбким туманом от общего скопления городских огней, рассыпанных, разлитых на огромной площади, — желтый, наглотавшийся звезд отсвет, болотным маревом поднимающийся от силуэтов кленов, и островерхих крыш, и телефонных столбов. В этом неверном свете он и видит длинное, погруженное в сон тело Пру, нелепо и жалко примостившееся на детской кроватке Роя. Отороченная искусственным мехом туфля с одной ноги упала, и голая ступня торчит наружу, высовываясь из-под ночной рубашки, такой тоненькой, что она кажется прилипшей к ее согнутой в колене, мясистой вверху ноге; ее короткий лоскутный халатик задрался к поясу, собрался в складки, и провалы их в зыбком свете кажутся бездонными. Одна длинная белая рука выпростана поверх смятого одеяла, другая собрана в вялый кулак и упирается в ложбинку между губами и подбородком; кровоподтек на скуле выделяется присосавшейся пиявкой, ее морковного цвета волосы, черные в темноте, разметаны по подушке. Ее дыхание на вдохе и выдохе сопровождается легким усталым, царапающим призвуком. Он втягивает носом воздух, чтобы уловить ее запах. В ее оскорбленной насилием ауре еще есть следы парфюмерного благоухания.

Кролик наклоняется, чтобы получше разглядеть ее, и вздрагивает от неожиданности, натыкаясь на строгий блеск пары открытых глаз: Рой не спит. Свернувшись под бочком у матери, которая саму себя убаюкала колыбельной раньше, чем уснуло ее дитя, этот непонятный, гипнотизирующий его взглядом ребенок вдруг тянет свою ручонку, хватает деда за отвисшую кожу его светящегося в темноте лица и начинает ее выкручивать: остренькие коготки впиваются в лицо с такой силой, что Гарри едва сдерживает крик. Он отдирает от щеки злобного маленького краба, отцепляет палец за пальцем и, ущипнув в отместку ручку-клешню, пихает ее назад, к Рою на живот. Звериная душа в нем яростно шипит; Пру заворочалась, словно собираясь проснуться, рука ее беспокойно тянется наверх к спутанным волосам — и Гарри поспешно пятится к двери, прочь из комнаты.

Дженис и Нельсон стоят в ярко освещенном коридоре, недоумевая, куда он подевался. Одинаково жидкие волосенки, одинаково потерянные, недовольные лица — можно подумать, что не мать и сын, а брат и сестра, близняшки.

— Пру уснула у Роя на кроватке, — докладывает он шепотом.

— Ей сегодня досталось, бедняге, — говорит Нельсон. — Сучка безмозглая, не надо было нарываться, тогда никто бы ее пальцем не тронул.

Дженис извещает Гарри:

— Нельсон говорит, что сейчас он уже почти пришел в себя и нам незачем тут оставаться, поедем домой спать.

После залитой туманным полусветом тишины в спальне Роя их громовые голоса режут ему уши, и свой голос он со значением приглушает.

— Сначала скажите, на чем вы порешили вдвоем? Я не желаю, чтобы такие вещи повторялись.

В бывшей комнате Нельсона заплакал Рой. Не ему, а Гарри впору плакать — щека до сих пор болит.

— Больше этого не повторится, Гарри, — заверяет его Дженис. — Нельсон обещает сходить на консультацию к специалисту.

Он переводит взгляд на сына, силясь понять, о чем это она толкует. Парень с видимым усилием сдерживает улыбку, дескать, мы, мужчины, понимаем: чего не брякнешь, чтобы отвязаться от женского квохтанья.

— Я тебя *предупреждал* — не позволяй ему обвести себя вокруг пальца, — снова оборачивается к Дженис Гарри.

Ее лоб, слабо прикрытый челочкой, весь сморщивается от досады и нетерпения.

— Гарри, пора ехать домой. — Как намедни известил его Лайл, командует тут она.

На обратном пути он выпускает пар, весь клокоча от возмущения:

— Что все-таки он сказал? Про деньги был разговор?

Шоссе 422 дрожит под колесами огромных трейлеров, трансконтинентальных восемнадцатиколесных махин.

— Он управляет магазином, и отстранять его от дел было бы сейчас крайне неразумно. Я сама заменить его не смогу, а ты ложишься в больницу на эту свою ангио-штуковину. Пластику.

— Еще только через неделю, — уточняет он. — А если надо, то можно и дальше отодвинуть.

— Знаю, знаю, тебе только дай повод поволынить, ты и рад, но, может, уже хватит притворяться, что ты здоров? С Нового года прошло уже четыре месяца, а во Флориде врачи сказали, и трех достаточно, чтобы оправиться и перейти к следующему этапу. Доктор Брейт жаловался мне на тебя — ты не худеешь и не ограничиваешь себя в соли, как тебе было велено, поэтому в любой момент с тобой может случиться та же неприятность, что тогда, на заливе.

Доктор Брейт — кардиолог в больнице Св. Иосифа в Бруэре, который его наблюдает: белокожий веснушчатый юнец в больших очках с оправой из телесного цвета пластика. Все это Дженис говорит ему псевдобезразличным голосом своей покойной мамаши, и этот голос, будто долото, выдалбливает у него внутри какую-то ужасную пустоту. Когда они едут по аллее Панорамного обзора через разбитый на склоне горы парк, он кажется ему непрочной картонной декорацией, подсвеченные деревья словно ненастоящие. Что под этими скалами, травяными уступами, важно торчащими впритык друг к другу домами? Ничто. Бесконечное ничто и много-много атомов, поджидающих, когда наконец и он втиснется в их ряды, займет точно по нему приготовленное местечко. *Господи, услышь меня. Избавь меня от моего больного сердца.* Тельма уверяла, что это помогает. Мысли Дженис, меньше всего настроенные на молитву, бегут своим чередом, и в ее голосе, помимо решимости, звучит уже некоторый вызов.

— А что до денег, Нельсон готов признать необходимость определенных структурных изменений в фирме.

— Структурных изменений! Как только у кого-то земля под ногами начинает гореть — жди разговоров о структурных изменениях. Хоть южноамериканские страны возьми, хоть техасские ссудо-сберегательные ассоциации. Это он так выразился — «структурные...»?

— Не *я* же! Мне бы такое и в голову не пришло. Зато когда у меня начнутся курсы, я уверена, нам будут преподавать и это тоже.

— Твои курсы, прости Господи! — ворчит он. А вот и танк, выкрашенный в неправильный зеленый цвет: сколько еще осталось до того дня, когда уже никто не вспомнит, почему он здесь стоит, — продуктовые карточки, учебные воздушные тревоги, истерические заголовки на восемь колонок каждое утро, Бог против Сатаны, а на деле всего несколько отвоеванных за сутки миль по дороге на Аахен[[110]](#footnote-110) — да, сколько еще? — Что он сказал о своих отношениях с Пру?

— Он не думает, что у нее есть кто-то на стороне, — сообщает Дженис. — Поэтому мы с ним сошлись во мнении, что бросить она его не бросит, только пугает.

— Ишь, как у вас все славно получается! Ай да молодцы, крепкие ребята! А о *ней* вы подумали, или ее благополучие вас не заботит? Ты же видела сегодня, как он ее разукрасил. Сколько ей еще терпеть? Раскрой глаза: он же натуральный псих! Ты заметила, как он дергается, весь ходуном ходит? А эта рвота? И после всего он предлагает мне выпить с ним пивка, слыхала? Пивка! Господи Иисусе, да ему просто повезло, что приехали мы, а не полицейские. Спасибо соседям, не стали звонить в участок.

— Он хотел проявить радушие, только и всего. Он так страдает, Гарри, оттого что в тебе нет ни капли сочувствия.

— Сочувствия! Да чему сочувствовать-то? Мошенничает, хнычет, как баба, чего-то там нюхает, выпить тоже, кстати, не дурак, из магазина устроил черт-те что — тут тебе и гангстеры, и гомосеки со СПИДом.

— Ты бы хоть сам себя послушал, ей-богу! Жаль, магнитофона с собой нет.

— Мне тоже жаль. Ну ладно, а что с наркотиками? Какие у него намерения? — Даже в этот час — четырех еще нет — несколько субчиков в кроссовках и джинсах уже ошиваются в парке, шушукаются о чем-то за деревьями, кого-то караулят на скамейках. — Дал он твердое обещание бросить?

— Он обещал проконсультироваться у специалиста, — говорит Дженис. — Он согласен, что, возможно, у него действительно есть кое-какие проблемы по этой части. Так что мы съездили не зря. Думаю, разговор пойдет ему на пользу. Куда обращаться, он узнает запросто: у Пру целая куча имен и адресов навыписывана, не зря ж она ходила на собрания Нарк-Анон.

— Да при чем тут имена с адресами! По-твоему, общество должно всю нашу жизнь направлять в нужное русло, нянчиться с нами, как с неразумными детьми от люльки до могилы? Этот самый принцип коммунисты и пытаются воплотить на практике. Нет, что ни говори, рано или поздно наступает момент, когда приходится брать ответственность на себя. — Он ощупывает карман брюк, желая удостовериться, что тверденький цилиндрический пузырек на месте. Сейчас он таблетку брать не будет, лучше потом, дома. Сначала выпьет стаканчик молока в кухне. С печенинкой «Наттер-баттер». Печенье это, по форме как большой земляной орех, с прослойкой из арахисового масла, вкуснее всего, когда обмакнешь его в молоко, сначала до середины — до талии ореха, а потом оставшийся кусочек.

— Хотела бы я, чтоб мои родители были сейчас живы и послушали, как ты разглагольствуешь об ответственности, — говорит Дженис. — Мама считала тебя самым безответственным человеком на свете.

Обидно. Не так чтобы очень, но все же. Он-то хорошо относился к старухе Спрингер до самого ее конца и почему-то думал, что и она к нему относится неплохо. Жаркие вечера на затененной веранде, партии в безик на даче в Поконах. Они оба считали Дженис не больно сообразительной.

Миновав парк, он направляет асфальтово-серую «селику» по Уайзер-стрит прямо сквозь сердце Бруэра. Часы — реклама пива «Подсолнух» — показывают 3:50, высоко над огромным, осиротелым городским сердцем. Есть что-то очищающее в том, что ты не спишь в этот пустынный час. Как будто мир родился заново. Что-то темное, живое — кошка, а может, даже енот — смотрит круглыми, как два рефлектора, отражающие свет его фар, глазами, припав к цементным ступенькам недействующего фонтана, который был сооружен на опушке лесочка, выросшего тут по прихоти градостроителей. На пересечении Уайзер и Шестой ему приходится сворачивать в объезд. В прежние времена можно было по прямой выскочить прямо на мост. У лихачей-старшеклассников любимой забавой было мчаться прямо по трамвайным путям, вписываясь между приподнятыми островками-остановками с обеих сторон.

Он все молчит и молчит, и Дженис сама с ним заговаривает, на сей раз примирительно.

— А детки у них славные, правда? Ты ведь не хочешь, Гарри, чтобы они жили в неполной семье? Когда дети растут без отца, это так печально.

Кролик всю жизнь до дурноты боялся, когда на приеме у врача в него начинали пихать посторонние предметы — зубные боры, палочки, прижимающие язык, тонкие длинные ножички для удаления ушной серы, свечки и, наконец, раз в год докторский палец, ощупывающий предстательную железу. Поэтому одна мысль о катетере, который ему введут куда-то в основание правой ноги и потом будут проталкивать все выше и выше, направляя по нужному руслу маленький гибкий наконечник — тут ему представляется эдакий безглазый червячок, высовывающийся из яблока в том месте, где ты только что куснул, — одна эта мысль ему глубоко противна; однако еще меньше его привлекает перспектива быть замороженным до полусмерти, чтобы затем тебя распилили и разверзли, а кровь начали гонять через какую-то хитроумную машину и так до тех пор, пока не пришьют теплый скользкий кусочек взятой из твоей же ноги вены к поверхности твоего трепещущего, обмирающего, несчастного сердца.

В делеонской больнице ему сунули почитать на досуге несколько статей и даже показали коротенький видеоматериал: сердце, оказывается, одето в защитную сорочку под названием перикард, которую необходимо вскрыть — *вспороть по всей длине*, как с юморком выразились в видеофильме, будто у них на пленку записан урок кройки и шитья. Вся процедура показана на экране крупным планом: холодные узкие скальпели обрушиваются на бесформенный кровавый комок, который лежит в твоей разверстой груди, будто его живьем погрузили в отвратительную жижу, в котел с каким-то густым, хлюпающим варевом, и оно трепыхается, мечется в конвульсиях, периодически заходясь судорожным всхлипом, пытаясь ускользнуть от ножа, бедное раздетое сердце, с которого содрали его защитный покров, вопреки замыслу Господа Бога или, может, другого творца, не дававшего человеку никакого права к нему прикасаться. Затем, когда кровь пускают в обход, через сверкающий, без остановки работающий насос — точно такие машины были в старых фильмах про доктора Франкенштейна, где главную роль исполнял Борис Карлофф, — сердце останавливается. Ты смотришь и видишь, как это происходит, — видишь, как сердце лежит в мокрой жиже уже мертвое. Считай, что ты, ты как естественный организм, с технической точки зрения, мертв. Вместо тебя живет машина, а тем временем руки хирургов в резиновых перчатках (на каждом пальце будто презерватив надет) что-то там перебирают, отрезают, перетягивают. Гарри просто не может себе представить, каким образом жизнь связана со всей этой механикой — неужели то я, чей голос звучит внутри его каждую минуту, скользит, как жук-водомер, по поверхности этой лужи, в которой перемешаны флюиды его тела и все их скользкие проводящие пути. Неужели пламень его жизни мог заняться на этой раскисшей соломе?

Словом, ангиопластика казалась ему не столь сокрушительным вторжением в естество, как шунтирование. Он был назначен на пятницу. Старообразный юноша доктор Брейт — беззащитно светлая кожа, бледные веснушки, сливающиеся в сплошной крапчатый узор, очки в пластмассовой оправе, чересчур большие для его носа-пуговки — объяснил ему суть операции, или процедуры, как он предпочитал ее именовать, своим усыпляющим бдительность, монотонно-воркующим голосом певички из ночного клуба, которая от каждодневного повторения одного и того же дошла до такого автоматизма, что мысли ее текут вне всякой связи с исполняемой песней. Сам кардиолог определенно стоял за шунтирование, Гарри понял это с их первой беседы. На ангиопластику Брейт смотрел как на жалкую уступку, полумеру — можешь потешить себя, если хочешь, но пока не ляжешь под нож, всерьез говорить не о чем. По статистике, у тридцати процентов больных в течение ближайших трех месяцев после проведения процедуры вновь наблюдаются стенозные явления — предупреждал он Гарри на приеме у себя в кабинете, где у него стояли в рамочках фотографии миниатюрной веснушчатой женщины, похожей на него, как один хомяк похож на другого, и детишек, выстроенных перед родителями наподобие маленькой стремянки, — все в светлых кудряшках, все щурятся, и носы у всех как розовые пуговки, — и двадцать процентов тех, кому была сделана БДКА, все равно рано или поздно вынуждены соглашаться на АКШ. Ах да, простите, — эти сокращения означают соответственно «баллонная дилятация коронарных артерий» и «аортокоронарное шунтирование».

— Я догадался, — сказал тогда Гарри. — И все-таки давайте начнем с баллончика, а нож прибережем на потом.

— Что ж, будь по-вашему, — скороговоркой сказал-пропел доктор Брейт, немного, пожалуй, сурово, но без обиды и раздражения, смиряясь с волей клиента. Как в гольфе: сегодня ты проиграл, но ровно через неделю будет новая игра и шанс отыграться. — Девяносто процентов сердечных больных рассуждают в точности как вы. Баллонная дилятация ближе их пониманию, и никакие доводы специалистов на них не действуют. Абсурд, но тут уж ничего не поделаешь: такова человеческая природа. Вот что я вам скажу, Гарольд. — Откуда ему было знать, что никто не называет Гарри Гарольдом, хотя это его законное имя по документам. Кролик не стал поправлять его; как-то сразу повеяло детством, будто он снова вернулся туда. Мама не называла его Гарри, для нее он всегда был Хасси. — Мы устроим для вас небольшое развлечение. Дадим вам возможность наблюдать за ходом процедуры по телевизору. У вас ведь будет только местная анестезия, а так, глядишь, за просмотром и время быстрее пролетит.

— Это как — обязательно?

Доктор Брейт на миг растерялся. Для блондина он необычайно потлив, над верхней губой все время проступают капельки-росинки.

— Обычно мы отключаем экран монитора, когда имеем дело с пациентами легковозбудимыми и вообще слишком впечатлительными. Всегда, знаете ли, существует ничтожная вероятность коронарной непроходимости, и кое-кому лучше этого не видеть. Но вы-то, вы же не слабонервный! Не кисейная барышня. У меня сложилось впечатление, что вы человек мужественный, Гарольд, с бесстрашным, пытливым умом. Я ошибся?

Это называется, раскрутив клиента на тридцатку, дожать его десяточкой сверху. А куда деваться, не откажешься!

— Нет, — сказал он молодому лекарю, — не ошиблись. Портрет точный.

Оказывается, доктор Брейт сам процедуру не проводит: для этого приглашают особого специалиста — огромного мужика с обнаженными по локоть загорелыми лапищами, некоего доктора Рэймонда. Впрочем, Брейт тоже присутствует, и лицо его, как луна — окуляры поблескивают, над губой влажнеет нервная испарина, — маячит где-то за зелеными кручами плеч доктора Рэймонда и шапочками хирургических сестер. Операция проводится с участием двух ассистирующих сестер; ничего себе, «процедурка»; Гарри чувствует, что его, Гарри, грубо надули. Вдобавок задействован не один, а сразу два больничных покоя — комната, где непосредственно все происходит, и аппаратная с несколькими экранами, которые переводят его на язык дрыгающихся ярких линий, условных сигналов его жизнедеятельности: «Шоу Кролика Энгстрома» — специально для флюктуирующей аудитории в составе сестры, доктора Брейта и еще каких-то не представленных ему личностей, статистов в нежно-зеленых одеяниях, которые участвуют в безостановочном круговороте — заходят, топчутся, наблюдают, снова выходят, и так без конца. Мало того, ему как бы между делом сказали, что в готовность приведена хирургическая бригада — просто для подстраховки, если вдруг экстренно понадобится шунтирование.

Еще одна подлость: ему бреют промежность, там, куда будет введен катетер, — причем без предупреждения. Сперва ему дают таблетку, и голова его делается невесомой, а потом, уже положив на операционный стол, под лампы, бесцеремонно соскребают всю растительность на правой половине его лона; волос на теле у него всегда было немного, и его смутно беспокоит, отрастет ли сбритое заново — как знать, все-таки возраст. Дальше наступает очередь иглы, по ощущению она толще и укол болезненнее, чем укол новокаина у зубного врача; «щипочек» (это доктор Рэймонд бормочет себе под нос: «Сейчас почувствуете щипочек, потерпите») проходит не так быстро. Зато потом боли нет совсем, только нестерпимо давит на мочевой пузырь, все сильнее и сильнее, по мере того как в его организм проникает контрастное вещество, впрыскиваемое порциями горячих волн, как будто кто-то задумал запечь его грудь в микроволновке. Господи! Он несколько раз закрывает глаза с намерением помолиться, но обстановка не располагает: слишком назойливо наседает со всех сторон реальный, материальный мир. Да разве Бог, косматый библейский старик, посмеет сунуться в эдакую толчею? Единственным религиозным утешением на протяжении всей трех-с-половиной-часовой пытки служит ему вера в то, что доктор Рэймонд, с его пустынным загаром, унылым длинным носом и медвежьим загривком, — еврей: Гарри, как большинство христиан, суеверно полагает, что в любом виде деятельности евреи хоть чуточку превосходят всех остальных — не зря же они поколениями корпели над Торой и часовыми механизмами; в них, не в пример другим народам, нет этой безалаберности, они не так гонятся за удовольствиями. Их не тянет ни к выпивке, ни к наркотикам, и единственное, к чему они питают слабость (если верить прочитанной им однажды книжке об истории Голливуда), — это женщины.

Врачи и вся их свита, негромко переговариваясь, склоняются над запеленутым телом Гарри, разложенным на столе для грядущих манипуляций, под яркими операционными лампами, в комнате с желто-зелеными кафельными стенами цвета «Русского» салатного соуса, на пятом этаже больницы Св. Иосифа, где несколькими десятилетиями раньше родились двое его детей — Нельсон, оставшийся жить, и Ребекка, отошедшая в мир иной. В ту пору больницей ведали монахини — черно-белые, с оборками вокруг бледных, пастозных лиц, — но со временем монахини куда-то подевались, то ли перешли в другие категории граждан, то ли среди этих других категорий растворились. Само понятие «призвание» отмирает, бескорыстное служение никого теперь не привлекает, все хотят урвать от жизни побольше удовольствий для себя. Ни тебе монахинь, ни раввинов. Ни просто добродетельных людей, готовых смиренно ждать отпущенной им меры радости, не в этой, так в другой жизни. Вера в загробную жизнь — она и эту, земную, жизнь помогала удерживать в каких-то пристойных пределах; кстати, противостояние с русскими было в этом смысле тоже благотворным. Теперь в поле зрения одна Япония, да технический прогресс, да ненасытное стремление поскорей получить все, что можешь, пока можешь.

Наклонив голову влево и глядя поверх плеч, обступивших его распростертое тело подобно зеленым холщовым холмам, Кролик видит на экране рентгеновского монитора очертания своего сердца, что-то бледно-серое, подрагивающее, разделенное на камеры зыбкой паутиной перегородок и пронизанное темными извилистыми прожилками и продолговатыми вздутиями, которые выявлены благодаря тем самым впрыскиваниям контрастного вещества. Тонкий, как проволочка, любопытный наконечник катетера, послушный пальцу доктора Рэймонда на рычажке управления, тыркается вперед и потом потихоньку, извиваясь угрем, продвигается по диагонали дальше, такими осторожными, коротенькими толчочками, прямо в молочно-крапчатое русло — не то речка, не то щупальце какое-то внутри его, что-то органическое, незавершенное по виду, куда входит катетер, черный и донельзя реальный, с очертаниями четкими, как у пистолета. Гарри смотрит, не поперхнется ли его сердце, не попытается ли вытолкнуть незваного гостя. Все равно как палец в горле, думает он, чувствуя, как подкатывает тошнота; одновременно у него, словно у летчика-испытателя, странная отстраненность — от картинки на экране, белесой и трудночитаемой, словно кусок аэрофотосъемки, и от переговаривающихся друг с другом негромких голосов.

— Ну вот мы и на месте, — бормочет доктор Брейт, словно опасаясь нарушить чей-то сон. — Это ваша левая передняя нисходящая. Так называемая «вдовья». Типичнейший случай. Здесь чаще всего и возникают неприятности. Видите, какой тут у вас атеросклероз? Насколько утолщены стенки? Вон то скопление крупинок — это и есть бляшка. Сдается мне, просвет у вас перекрыт процентов на восемьдесят пять, или близко к тому.

— Рисовые хрустики, — пытается выговорить Гарри, но во рту у него пересохло, и голос срывается. Он просто хотел подтвердить, что да, он все сам видит — видит свое опутанное призрачное «я», представленное в виде некой схемы, видит отравляющую ему жизнь бляшку, которая в рентгеновских лучах так похожа на невзрачные комочки сухого завтрака с названием «Рисовые хрустики». Он легонько кивает, чувствуя себя еще более скованно, чем когда ему состригают волосы на голове или осматривают простату. Кивнуть более энергично он боится — как бы сердце не поперхнулось. Интересно, не то ли ощущает женщина, зная, что у нее в чреве дитя, что ощущает сейчас он, зная, что к нему в нутро влез доктор Рэймонд? И как только женщины это терпят, целых девять месяцев? И как они терпят то, что этому предшествует, когда в них вставляют кое-что другое? И гомики, кстати, тоже? По-настоящему этот вопрос никогда никем не обсуждается, даже в телевизионных ток-шоу, даже у Опры[[111]](#footnote-111).

— Сейчас наступает самый ответственный момент. — Доктор Брейт даже дыхание затаил, как комментатор, ведущий репортаж с матча по гольфу, когда вот-вот будет пробит решающий патт. Гарри сначала чувствует, а потом видит на экране, как его сердце начинает ускоренно биться, скручивается, словно хочет увернуться, скручивается именно тем спиралевидным судорожным движением, какое демонстрировал на своем кулаке доктор Олмен во Флориде; вот мутный кулак на экране разозлился, вот опять и опять, и так семьдесят раз за минуту; в этой злости его, Гарри, жизнь, его душа, победа сознания над материей, электричества над мускулом. Механически четкий, темный силуэт катетера — это внедрившийся в него смертоносный червь. Богопротивная техника насилует наши пульсирующие влажные трубки, которые достались нам еще от головоногих, от мягкотелых наших прародительниц. Он снова чувствует перистое касание дурноты. Что, если его сейчас вырвет? Наверно, это спутает им все карты, нарушит весь ход игры, и сторожащие его зеленые холмы, под которыми он погребен, вмиг расступятся. Нет, нельзя. Надо лежать смирно.

На экране он видит, как один из сегментов червя, расположенный позади любопытного носика-наконечника, начинает утолщаться и вспучиваться, вдавливая «рисовые хрустики» в берега мутноватой, запруженной речки, впадающей в его сердце, и в таком раздутом, прижатом к стенкам, наполненном состоянии замирает на месте, так что (это ему успели объяснить), если его передняя нисходящая не обеспечила себя добавочными обводными кровеносными сосудами, кровоток остановится, и будет спровоцирован сердечный приступ, прямо тут, перед камерой.

— Тридцать секунд, — выдыхает доктор Брейт, и доктор Рэймонд спускает баллончик. — Вроде неплохо, Рэй. — Боли Гарри не чувствует, только кинжальный, сладко-томительный позыв в мочевом пузыре, и еще саднит задняя стенка горла, как от соленой воды, которой он наглотался в заливе. — Еще разок, Гарольд, и все.

— Как самочувствие? — спрашивает его доктор Рэймонд голосом, какой нередко встречается у мужчин с развитой мускулатурой, а у пенсильванцев особенно — говорят, будто гальку во рту перекатывают.

— Живой пока, — отвечает Гарри, и его собственный голос звучит, ему кажется, на октаву выше обычного, почти как женский.

Баллончик повторно раздувают, и на экране вновь возникает недавняя картинка — беззвучно, как сталкиваются молекулы под микроскопом в познавательной телепрограмме, или как в рекламе какой-нибудь страховой компании, когда, благодаря компьютерной графике, из множества мелькающих фрагментов составляется логотип. Кажется, что все это имеет к его реальному телу такое же малое касательство, как запись его грехов, которую скрупулезно ведут небесные ангелы. Остановись сейчас, к примеру, его сердце, это будет не более чем игра теней на экране. Он смотрит на экран и видит, когда вздутие опадает во второй раз, что «рисовые хрустики» вдавились в стенки его передней нисходящей. Он мысленно представляет себе, как кровь беспрепятственно вливается в его сердце и с ней кислород, горючее; от переполняющей его благодарной радости голова идет кругом.

— Вроде все хорошо получилось, — говорит доктор Брейт, заметно нервничая.

— Что это еще за «вроде»? — отзывается доктор Рэймонд. — Не хорошо, а *отлично!*  — В духе одной рекламы пива «Миллер лайт» по телевизору, когда голоса за кадром обсуждают достоинства этого напитка.

###### \* \* \*

Сестра, которая тем же вечером заходит к Гарри в палату (одноместную, на 160 долларов в день дороже обычной, но, по его мнению, оно того стоит: во Флориде его сосед по палате в конце концов умер, причем перед этим весь день стонал и булькал, а напоследок испражнился под себя) смерить ему температуру и давление и оставить порцию таблеток на прием в бумажном стаканчике, молодая, с приветливым круглым лицом. Она полновата, но крепко сбита. Кого-то она ему напоминает. У нее бледно-голубые глаза и глубокие глазницы — когда голова ее повернута на три четверти, над скулой видна отчетливая впадинка, а верхняя губа кажется немного припухшей, как у Мишель Пфайфер[[112]](#footnote-112), как ему нравится. Выступающие из-под сестринской шапочки волосы рыжевато-каштановые, со множеством оттенков и с проседью, хотя по возрасту она годится ему в дочери.

Она вынимает у него изо рта странный, напоминающий по форме ракету, пластмассовый градусник и стягивает его левую руку манжетой на липучках. Накачивая воздух, она спрашивает:

— Как торговля, как «тойоты»?

— Неплохо. Был бы доллар посильнее, дела бы шли еще лучше. Магазином сейчас управляет сын, более или менее самостоятельно. Откуда вы знаете, что я продавал «тойоты»?

— Лет десять тому назад мы купили у вас машину — я и мой тогдашний ухажер. — Она поднимает на него свои бледно-голубые глаза. — Не помните?

— Так это *вы!* Ну как же! Как не помнить. Помню, конечно. Оранжевая «королла». — Это его дочь; по крайней мере он себя в этом уверил, хотя Рут из вредности так ему и не призналась. Воспользовавшись тем, что она сейчас сидит совсем близко, он читает на карточке, приколотой к халату: ЭННАБЕЛ БАЙЕР. СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА. Значит, она еще не сменила девичью фамилию.

Эннабел хмурится и выпускает воздух из манжеты, которая стискивает его руку железной хваткой полицейского.

— Минутку переждем и попробуем еще раз. Скакнуло прямо на глазах, пока мы с вами разговаривали.

Ему хочется расспросить ее.

— Ну как себя показала «королла»? Прошла испытание на прочность? А ухажер тот, он-то испытание выдержал? Как бишь его звали? Верзила такой деревенский, и уши красные.

— Пожалуйста, не говорите, пока я не измерю вам давление. Я тоже помолчу. Постарайтесь думать о чем-нибудь приятном.

Он думает о ферме Байера, где жила Рут, о живой изгороди у дороги, откуда начинался склон, поросший фруктовым садом, и откуда он, притаившись, глазел на небольшой каменный дом, желтые остовы бесхозных школьных автобусов и откуда его пыталась согнать вниз, к дому, учуявшая его темная колли, как будто собака знала, что Гарри тоже часть семьи. Фрицци — так звали собаку. Острые зубы, черные десны. *А ну как цапнет?* Спокойно. Думай лучше о бескрайнем небе Техаса над низкими прокаленными бараками в Форт-Худе, о себе самом в свежевыстиранной рубашке цвета хаки с увольнительной на весь вечер. Свобода, ласковый ветерок, зеленый закат над низким горизонтом. Подумай о баскетбольном матче против ориолской средней школы «Иволга» — какой там был маленький сельский спортзал, задняя линия с обеих сторон впритык к стене; в те дни скромные местные школы еще не слились в огромные безликие «региональные», а торговые центры еще не начали откусывать кусок за куском фермерские земли. Подумай о том, как катался на санках с горы, вместе с Мим в ее меховом капоре, на задворках шляпной фабрики в Маунт-Джадже, в зимние дни, такие короткие, что фонари на улице зажигали за час до ужина, когда пора было бежать домой.

— Так-то лучше, — говорит медсестричка. — Сто сорок на девяносто пять. Не ах, но и не плохо. Теперь отвечаю на ваши вопросы: машина прошла испытание успешнее, чем ухажер. Я продала ее только восемь лет спустя; у нее на спидометре было сто двадцать тысяч миль. Джейми откололся через год после того, как мы с ним перебрались в город. Вернулся назад, в Гэлили, Бруэр оказался ему не по зубам.

— А вам как? Тоже не по зубам?

— Да нет, мне тут нравится. Я люблю, когда жизнь бьет ключом.

Как она это понимает — неужто как ее мать в молодости? *Ты правда была шлюхой?* Вечерние сумерки и по-майски одетые в листву деревья смягчают аскетичность его одиночной палаты; в этот час на этаже затишье — время больничного ужина прошло, поток посетителей, заезжающих после работы проведать больных, уже схлынул. Гарри решается спросить:

— Вы замужем? Или так с кем-то живете? Словом, при мужчине?

Она улыбается, ее природное добродушие какую-то долю секунды борется с изумлением перед его любопытством, его беспардонностью, но быстро одерживает верх, и лицо ее вновь дышит прежней безмятежностью. В сумеречном свете кажется, что оно придвигается — бледное круглое сияние ее лица. Но в голосе ее уже улавливается городской холодок, настороженность, которая по тревоге готова подняться в полный рост.

— Нет, скорей уж при маме. Она продала ферму, которая осталась нам после смерти отца, и переехала жить ко мне, когда Джейми от меня съехал.

— По-моему, я знаю, где ваша ферма. Проезжал как-то мимо, видел с дороги. — Гарриному измученному сердцу тяжело от груза этой новой информации, от воображаемых картин, рисующих этот неведомый мир, со всеми его кустами и деревьями, и временами года, то зелеными днями, то бурыми, мир, где прошла жизнь этого ребенка — без него.

— А как Рут... — начинает он, а потом заканчивает: — Чем она занимается? Твоя мама.

Молодая женщина бросает на него испытующий взгляд, но после без колебаний отвечает, словно его вопрос был подвергнут проверке и благополучно прошел ее.

— Она работает на инвестиционную компанию, головная контора где-то за пределами штата, — финансовые рынки, взаимные фонды, всякое такое, а здесь филиал с офисом в новом здании из стекла в центре города, напротив бывшего универмага Кролла.

— Она стенографистка, — припоминает Кролик. — Печатает на машинке и записывает под диктовку с голоса.

Девушка даже смеется от удивления, как мог он по наитию так точно попасть в цель, почти в десятку. Она начинает осваиваться, забывать, что она «при исполнении». Она стоит, отступив на шаг от его кровати, и ее полные вверху ноги туго натягивают перед крахмального белого халата — даже когда она стоит, под ним вырисовываются округлые выпуклости. Зачем понадобилось Рут превращать такую ядреную деваху в синий чулок?.. Она тем временем говорит ему:

— Действительно, поначалу она поступила туда как стенографистка, но так как по возрасту она была гораздо старше других женщин, ей дали более ответственную работу. Теперь она хоть и небольшой, но администратор. Вы, случайно, не были знакомы с мамой — может, когда-нибудь раньше?

— Не знаю, вряд ли, — врет он.

— Наверно, все же были в ту пору, когда она еще не вышла замуж. Она признавалась мне, что до встречи с отцом у нее парней было хоть отбавляй. — Она улыбается, словно давая ему разрешение на знакомство с той, прежней своей мамой.

— Хоть отбавляй, — повторяет Гарри, и при мысли об этом ему становится грустно. Для каждой женщины он всегда хотел быть единственным мужчиной, как для своей матери он был единственным сыном. — Мы с ней встречались от силы раза два, не больше.

— Вам надо ее повидать, — живо подхватывает Эннабел. — Она похудела, приоделась — просто шик. Я над ней подтруниваю, что у нее ухажеров больше, чем у меня.

Кролик закрывает глаза и пытается представить, как это будет, теперь, в их-то возрасте. *Давай, давай, работай.* Приоделась, значит. Горожанкой была, горожанкой и осталась. Красный неоновый контур вокруг ее волос, когда он впервые ее увидел, словно ободок увядания на цветке.

Та, кого он считает дочерью, продолжает развивать свою мысль:

— Я скажу ей, что вы здесь, мистер Энгстром. — И хотя сам он уже не прочь дать задний ход, она, раззадоренная наметившейся между ними симпатией, делает довольно смелое предположение: — Может, у нее память получше.

За наглухо задраенными больничными окнами, в неспешно сгущающихся сумерках от земли поднимаются весенние соки, и воздух, даже здесь, внутри, кажется, напоен истомой и цветением. Глаза у Гарри вновь смыкаются.

— Не надо, — говорит он, — не стоит. Не говорите ей ничего. Вряд ли она что-то помнит. — Он вдруг как-то сразу устал, слишком устал, чтобы думать о Рут. Даже если сейчас перед ним его дочь, вся эта история уже давно быльем поросла, а все не кончается, нудит, как радио, которое забыли выключить.

Всего он должен пробыть в больнице пять дней. В субботу его навещает Дженис. Время у нее теперь расписано по часам; начались занятия на риелторских курсах недвижимости: «Недвижимое имущество — законодательная основа правообладания и перехода прав собственности» — три часа за раз в один день и «Механизмы заклада и финансирования» — в другой. Это вечером, а днем она проводит уйму времени с Пру и внуками, и кроме того, ей позвонил Чарли Ставрос, пригласил пообедать.

Кролик шумно возмущается:

— Ну не наглец ли? Я ведь еще даже не помер.

— Нет, дорогой, ни еще, ни вообще, ни в обозримом будущем — никто в этом не сомневается. Он сказал, что это всецело твоя идея, и родилась она, когда *вы с ним* вместе обедали. Чарли беспокоится за нас, только и всего. Он считает, что мне не следует пускать все на самотек, а надо пригласить независимого бухгалтера и поручить ему в паре с нашим адвокатом проверить финансовую отчетность в магазине — в точности как ты хотел.

— Чтобы в чем-то тебя убедить, тебе должен сказать об этом Чарли, я для тебя не авторитет.

— Милый, ты мой муж, а мужья вечно сбивают жен с панталыку. Чарли же всего-навсего старый друг и может рассуждать с позиции непредвзятого наблюдателя. К тому же он любил папу и болеет за фирму.

Гарри невольно хмыкает, хотя сейчас он вовсе не настроен смеяться, как и производить любые другие действия, которые могут сотрясти его сердце, потревожить непрочную паутинку той скачущей, зыбкой тени на экране монитора, приковывавшей его взгляд, пока длилась операция. Дошло до того, что, когда комедийные сериалы — скажем, «Косби», «Первые встречные» или «Золотой возраст» — вызывают у него приступ веселости, он выключает телевизор, только бы не рассмеяться, не перегрузить сердце. Все они достаточно идиотичные, эти телешоу, но они все-таки не беспредельно тупые — не чета последнему писку под названием «Розанна», где в главной роли занята какая-то толстуха, у которой, как он понимает, налицо один-единственный талант (другого он не приметил) — практически не шевеля губами, быстро-быстро тараторить[[113]](#footnote-113). Чего все с ума сходят, непонятно.

— Дженис, — говорит он вполне серьезно, — по-моему, твоего папу любил только один человек на свете — это ты. Ну, может, еще твоя мамаша, по первости. Хотя это уже с натяжкой.

— Имей уважение к покойному, — призывает она его, ничуть не выходя из равновесия.

Она вся как-то незаметно округлилась: без постоянной теннисно-плавательной диеты, которой она придерживалась во Флориде, ее, вероятно, стало развозить. Они оба по-прежнему состоят членами гольф-клуба «Летящий орел», но в этом году, в отличие от прошлых весен, они туда почти не наведывались. Когда-то они, вся их компания, отлично проводили там время, не сознавая, что так будет не всегда. А тут еще сердце подкачало — Гарри пока и сам не понимает, стоит или не стоит ему снова всерьез думать о гольфе. Ну как учешешь невесть куда, к седьмой лунке, скажем, и там скопытишься? Даже если ты передвигался не на своих двоих, а на карте — пока тебя доставят в медпункт через все поле, пройдет не меньше десяти минут, на десять минут мозг останется без кислорода. А крайний предел — пять минут, после ты уже перестаешь быть мыслящим существом.

— Ну, ладно, так ты намерена последовать его совету? Собираешься привлечь стороннего бухгалтера?

— Уже привлекла! — объявляет она, неимоверно гордая, что может выложить свой секрет, который она терпеливо приберегала для этой минуты в разговоре. — Чарли еще до встречи со мной по собственной инициативе позвонил Милдред, и мы с ним вместе поехали в дом престарелых, очень, кстати, миленький, совсем рядом с нами, — она в абсолютно здравом уме, все понимает с полуслова, только на ногах стоит не совсем твердо; в общем, приезжаем мы в магазин, а этого самого Лайла, который тебе нагрубил, на месте нет, но я тут же стала звонить ему домой и дозвонилась! Я ему сказала, что мы хотим ознакомиться со счетами начиная с октября, а он говорит — вся документация у него дома, на компьютерных дискетках, и сам он так болен, так болен, никак не может принять нас сегодня. Ну, я тогда и выдала: если, говорю, вы так больны, вам, наверно, лучше освободить кресло бухгалтера в нашей фирме.

— Так и сказала?

— Да, так и сказала. Первое, чему учат у нас на курсах, это не ходить вокруг да около на мягких лапках — от этого и людям, и потенциальной сделке один только вред; чем осторожничать, лучше прямо говорить все как есть, пусть даже кому-то такое начало не по вкусу. Я сказала ему, что он уволен, а он мне в ответ — дескать, не имеете права увольнять больного СПИДом, это дискриминация, тогда я потребовала, чтобы он завтра же представил всю документацию и все дискеты, иначе они будут изъяты у него с помощью полиции.

— Так и сказала? Слово в слово?

Глаза у нее блестят, волосенки топорщатся вокруг уже тронутого новым загаром лица-орешка с наметившимся двойным подбородком (она точно полнеет). Гарри любуется ею, как мы любуемся детьми, которых мы воспитали и вырастили, радуясь их успехам, хотя эти успехи уводят их от нас в самостоятельную трудовую жизнь, в большой мир и, значит, надо готовиться к тому, что скоро между нами и ними наметится дистанция и отчужденность.

— Ну, может, не так складно, как я излагаю это тебе, но я выдала все сполна. Спроси Чарли, он там был и все слышал. Возмутительно, что эти педики сотворили с Нельсоном. Это они его растлили!

— Голубые, — поправляет ее Гарри из чистого занудства. — Теперь их принято называть «голубые». — Он все еще не оставил попыток поспеть за Америкой, стремительно меняющей стили, костюмы, словарь, вечно танцующей на шаг впереди, вечно молодой, вечно молодеющей. — А что Лайл, как он это воспринял?

— Он сказал — посмотрим. Спросил, советовалась ли я с Нельсоном. Я сказала нет и, к сожалению, Нельсон сейчас не в той форме, чтобы с ним советоваться. Я сказала еще, что, по моему мнению, он и его дружки-приятели использовали Нельсона как дойную корову, загубили его здоровье, превратили его в жалкого наркомана — тут Чарли написал мне на листочке: «Сбавь обороты!» Эльвира и Бенни оставались за дверью кабинета, в демонстрационном зале, но ушки-то у них были на макушке. Ух, до чего меня этот педераст разозлил, слов нет! — И Дженис поясняет: — Слышал бы ты его тон — можно подумать, он делал мне большое одолжение, так ему все это скучно и неинтересно, и вообще у него такая тонкая натура, что выносить общение с особами вроде меня он не может.

Кролик мало-помалу начинает понимать, что именно чувствовал Лайл.

— Наверно, он просто обессилел, — вступается он за парня. — Его болезнь, она ведь ужас что делает с человеком. В легких скапливается всякая дрянь.

— Ну так держал бы свой штуцер подальше от мужских задниц, — лихо отвечает Дженис, понизив, однако, голос, чтобы сестры и санитарки в коридоре случайно не услышали.

Да, задницы. Тельма. Вместилище пустоты. Провал в ничто.

— И я еще не знаю, — вяло гнет свое Кролик, — если брать случай с Нельсоном, кто кого растлевает. Может, это *я* растлил несчастного мальчишку, еще двадцать лет тому назад.

— Ох, Гарри, не суди себя так сурово. У тебя такой вид — сердце кровью обливается. Ты так изменился. Что они с тобой сделали, врачи эти?

Он рад, что она спросила и можно ей рассказать.

— Мне внутрь загнали такую тонкую длинную штуковину, и я по телевизору видел ее у себя в сердце. Прямо вот так, на экране, в моем собственном бедном сердце, которое сжималось и разжималось, чтобы поддерживать во мне жизнь. Неправильно, что врачам разрешено влезать людям в сердце. Лучше бы дали умереть.

— Милый, что за глупости ты говоришь. Это же достижение современной науки, скажи спасибо. Ты выздоровеешь, все будет хорошо. Тут, кстати, Мим звонила в страшном волнении, так я ей сказала, что операция пустяковая, и дала твой телефон здесь, в больнице.

— Мим. — Это коротенькое, односложное имя вызывает у него улыбку. Его сестренка. Еще один уцелевший покуда обитатель дома на Джексон-роуд, где мама с папкой ворчали друг на друга, скандалили, ломали комедию, устраивали демонстрации, и так день за днем. В девятнадцать худышка Мим превратилась в эффектную красавицу и подалась на Запад, в Лас-Вегас. Кто-то из тамошних ее дружков-гангстеров, не чуждый сантиментов, сделал ее хозяйкой «салона красоты» (когда ее собственная красота начала заметно увядать), а теперь ей, помимо парикмахерской, принадлежит еще и прачечная-автомат. Должно быть, держать прачечную в Вегасе — самое прибыльное дело. Это ведь такой город, никто не живет там постоянно, все только проездом, и каждый оставляет после себя хоть сколько-нибудь грязи — как на светлых коврах в их здешнем доме, 14/2 по Франклин-драйв. Гарри и Дженис однажды, лет семь-восемь назад, наведались к Мим в прачечную: пещерные камеры, уставленные сверкающими автоматами, часов нигде нет, тут вечно царит предрассветная темень — два часа ночи, поэтому, когда выходишь наружу, в первый момент застываешь на месте от изумления: оказывается, солнце жарит вовсю и тротуары раскалены так, что собака не прошла бы. Находясь под впечатлением лас-вегасских легенд о Синатре и Уэйне Ньютоне[[114]](#footnote-114), он ожидал, что все здесь несет печать особого шика, но на поверку завсегдатаи лас-вегасских игорных домов оказались публикой такого же точно пошиба, как хорошо знакомые всем субъекты, которые трутся возле «одноруких бандитов» в Атлантик-Сити. С той единственной разницей, что тут ты сразу улавливал специфический колорит Запада — голоса и лица словно испещрены тончайшими мелкими трещинками. У Мим в лице и голосе тоже были заметны эти трещинки, хотя она к тому времени уже сделала себе подтяжку, чтобы убрать, как она выражалась, свою «индюшиную бородку». Жизнь что гора — чем выше лезешь, тем круче.

— *Гарри!*  — Дженис, по всей видимости, что-то ему рассказывала. — Что я сейчас сказала?

— Понятия не имею. — И он добавляет с раздражением: — Зачем вообще со мной разговаривать, когда теперь у тебя снова есть Чарли — по крайней мере в роли советчика.

Она чуть заметно вспыхивает; губы поджимаются, лицо как бы надвигается на него.

— Роль советчика — это его единственная роль при мне, и взял он ее на себя, потому что ты его попросил. Потому что он тебя любит.

Еще год назад, до Флориды, до женских курсов, которые она там посещала, ей бы в голову не пришло держать такие речи, а теперь эта пресловутая «любовь» у нее с языка не сходит, можно подумать, это что-то разлитое повсюду, что-то текучее-летучее, как бензин. Она старается расшевелить его, смутно догадывается он, пробудить к жизни, к активному действию. Он же упорно держится прежней линии.

— Меня?

— Да, тебя, Гарри Энгстрома.

— С чего бы это, Господи?

— Понятия не имею, — отвечает Дженис его же словами. — Ну да я вообще никогда не могла понять, что мужчины друг в друге находят. — Она пробует пошутить: — Может, он стал *голубым* на старости лет?

— Он до сих пор так и не женился, — словно в подтверждение ее слов говорит Гарри. — Как ты думаешь, его могло бы заинтересовать предложение вернуться на работу в «Спрингер-моторс»?

Она уже собирает свои вещи — черную кожаную сумочку, набитую всякой всячиной, словно бомба взрывчаткой, причем бомба старого образца, какие злоумышленники былых времен собственноручно бросали в своих жертв, а не плоская конструкция из «семтекса», которую современные террористы тайно проносят в кейсе на борт самолета; учебник по недвижимости вместе с подборкой сколотых вместе фотокопий образцов разных документов для сегодняшнего вечернего занятия; и новое демисезонное пальто, которое она недавно сама себе купила: канареечно-желтое, габардиновое, с широким поясом и подкладными плечами. Надев его, она выглядит юной, слегка взъерошенной девчонкой.

— Я сама спросила его об этом, — говорит она, — и он ответил нет, твердо и бесповоротно. Говорит, он в доле с кузенами, у них фирма по аренде жилья на северной окраине города, плюс какая-то химчистка — его племянник и еще один парнишка решили открыть свое дело и нуждаются в финансовой поддержке, словом, Чарли считает, что ему этого всего за глаза, и он уже не мог бы снова сесть на зарплату, тут и подоходный налог примешивается, и вообще ни к чему ему этот стресс — каждый день, хочешь не хочешь, будь любезен являться в присутствие, в данном случае в магазин. Он слишком ценит свою свободу.

— А кто не ценит? — вздыхает Кролик. — Да, Дженис, мне тут на днях пришло в голову, что пора бы нам почистить все ковровые покрытия дома. Это я не в укор тебе, но вид у них правда непотребный, детка.

В воскресенье утром к нему в палату заходит доктор Брейт.

— Молодцом, Гарольд, выглядите на все сто. Наш Рэй мастер, каких поискать. У нас на хирургии знаете как говорят? «Дай ему катетер и ленточного червя — он в него сзади войдет и под подбородочком пощекочет». — Брейт вскидывает на него глаза, смотрит из-под мохнатых ресниц в ожидании ответного смеха и, не дождавшись, пристраивается на краешке кровати — для пущей интимности. — Я тут еще раз внимательно просмотрел все ваши снимки и материалы, которые наконец удосужились прислать нам оболтусы из делеонской больницы. Просвет в вашей передней нисходящей увеличился с пятнадцати до шестидесяти процентов от нормы. Но, честно вам сказать, я не в восторге от вашей правой венечной артерии; по моей оценке, она перекрыта процентов на восемьдесят, и оно бы ничего, при условии, что имеется хорошо развитая система коллатералей, обходных сосудов, по которым кровь из огибающей артерии поступает в правый желудочек. Однако у вас в месте деления левой венечной на огибающую и переднюю нисходящую кровоток нарушен, а известно, что устранять сужение в месте деления сосудов с помощью баллонной дилятации намного труднее. Серьезные трудности — думаю, вам это интересно — возникают также, когда протяженность поврежденного участка слишком велика, или когда налицо гиперкинезия предсердо-желудочковой бороздки, или когда вы в ходе самой процедуры можете не выдержать из-за слабо развитой системы коллатералей. Во всех перечисленных случаях результат может быть довольно устрашающим.

Ноги у него коротковаты, и долго сидеть на краю кровати ему неудобно; он рывком подтягивает свой довольно увесистый зад поближе к Гарриным ногам, и Гарри чувствует, как тут же качнулась кровь в его опрокинутом неподвижном теле. Брейт улыбается ему, и голос его звучит доверительно, совсем как тогда, когда он бормотал свои комментарии, нависая над доктором Рэймондом.

— Поймите, Гарольд, ангиопластика — это же, по сути, бирюльки, а не лечение, и я призываю вас в течение ближайших нескольких дней, пока вы тут лежите, серьезно подумать — хотя, повторяю, процедура дала хорошие результаты и можно бы успокоиться на время — подумать о том, чтобы теперь, когда мы сделали первый шаг, пойти дальше и сделать шунтирование. Не сразу. У вас впереди верных четыре — шесть месяцев до следующего хирургического вмешательства. Мы бы вам пришили шунты к правой коронарной и к огибающей, а может, и к левой передней нисходящей — в зависимости от того, насколько в ней снова сузится просвет, — и вы у нас будете как новенький. Дайте нам только до вас добраться, уж мы не упустим случая проверить заодно клапан аорты, а может, стоит подумать и о кардиостимуляторе. Буду с вами откровенен: не исключено, что у вас имел место постоперационный инфарктик; на кардиограмме появились новые зубцы Q, вырос показатель изофермента креатинфосфокиназы.

— То есть вы хотите сказать, — уточняет Гарри, не давая заговорить себя окончательно, — что уже тут, в больнице, у меня случился новый сердечный приступ?

Доктор Брейт деликатно поводит плечами. Вообще деликатность характерна для всех его жестов и вполне вяжется с его бело-розовой кожей. Голос у него немного писклявый, а губы, которые его производят, отчего-то воспаленные, будто обветренные.

— Баллонная дилятация, то есть ангиопластика, — какое-никакое вторжение в организм, этого никто не отрицает. Незначительная травма — вполне естественное следствие. У вас на сердце не один и не два миокардических рубца солидного возраста. Ведь что такое, в сущности, инфаркт? Омертвение какого-то участка сердечной мышцы. Если участочек крохотный, вы, скорее всего ничего не заметите. Это типичное явление, так же как эмфизема, для всех, кто перешагнул рубеж определенного возраста. Называется оно процессом старения, и способов уйти от него не существует. Разве что в другой жизни.

Гарри испытывает интерес к другой жизни, но от вопросов воздерживается. Ему представляется сомнительным, чтобы Брейт знал больше, чем «Нэшнл инкуайрер»[[115]](#footnote-115).

— То есть, иными словами, я лег к вам в больницу уж не знаю за сколько тысяч долларов, чтобы мне сделали операцию, которая, как теперь выясняется, не более чем игра в бирюльки. Вы это хотите сказать?

— Рим не сразу строился, Гарольд, так и ваше сердце невозможно перестроить за неделю. Дилятация вызывает улучшение, по крайней мере временное, примерно в восьмидесяти процентах случаев. Шунтирование дает девяносто девять процентов. Ну как вам еще объяснить? Можно драить унитаз щеткой, а можно поменять трубы — улавливаете разницу? Всегда есть труднодоступные места, куда щеткой не очень-то доберешься, и, кроме того, образуются отложения, которые связаны с другими веществами химически. В вашем возрасте, при вашем в общем и целом неплохом здоровье вам и думать нечего — надо соглашаться. Вы просто обязаны согласиться, если не ради себя, то ради жены и сына. Ради ваших очаровательных внучат — я уже слышал о них.

Чем быстрее Брейт тараторит, тем сильнее теснит у Гарри в груди. Наконец он подает голос:

— Погодите, я хочу кое-что для себя уяснить. У тебя из ноги берут куски вен и потом их пришивают к сердцу наподобие кувшинных ручек. Так?

Хмурое облачко наплывает на чело молодого эскулапа. Он, видно, выходит за временные рамки, отведенные для беседы с больным, предполагает Кролик. Демонстрируя ангельское терпение, Брейт проводит языком по воспаленным губам и объясняет:

— Для пересадки используется поверхностная вена на ноге, а в некоторых случаях маммарная артерия — артерии лучше, чем вены, выдерживают артериальное давление. Но вам совершенно незачем забивать себе этим голову. Вы не хирург, тут начинается наша епархия. Такие операции в Соединенных Штатах делаются десятками тысяч каждый год — положитесь на меня, Гарольд, это пара пустяков.

— Оперировать меня стали бы здесь, в вашей больнице?

Глаза Брейта за стеклами его телесного цвета очков как странные, опушенные мехом щелочки под толстенькими розовыми веками.

— На сегодняшний день наша больница для подобных операций не приспособлена, — честно признается он. — Вам пришлось бы поехать для этого в Филадельфию; боюсь, в Ланкастер мы вас устроить не сможем, у них там на много месяцев вперед все забито.

— Видать, не такое уж это пустячное предприятие, если вам требуются какие-то особые условия. — У Кролика с детства предубеждение против Филадельфии. По его мнению, это самый грязный город в мире, вода — сплошной яд. А Ланкастер и того хуже: кругом фермы амишей[[116]](#footnote-116), которые до смерти загоняют рабочую скотину, а сами от кровосмесительных браков постепенно вырождаются — у них если не горбун, то карлик. Видел он один фильм про них, «Свидетель» называется, — там они показаны мудрым, своеобычным народом; Келли Макгиллис[[117]](#footnote-117) обмывает губкой свои голые груди, и все сообща, дружно строят амбар, но его такими штучками не проймешь. — Может, тогда уж пусть лучше делают во Флориде, — высказывает он встречное предложение доктору Брейту. Стоит ему вернуться в Пенсильванию, как Флорида начинает казаться чем-то нереальным, поэтому «делать операцию во Флориде» для него звучит почти как «не делать ее вовсе».

Воспаленный рот доктора Брейта сурово сжимается; над верхней губой опять проступает испарина. И чего это он так рьяно агитирует за шунтирование? Может, у него месячная норма есть, как у дорожной полиции на штрафы за превышение скорости?

— Из опыта нашего общения с делеонскими специалистами я вынес о них не самое лестное мнение, — говорит он. — Подумайте, Гарольд, подумайте. На вашем месте я бы решился — без колебаний. В противном случае вы просто-напросто играете с собственной жизнью.

*Угу*, думает Кролик, когда врач выходит из палаты, *только ты не на моем месте. И для чего тогда жизнь, если с ней не играть?*

Ему звонит Мим. В первый момент он не узнает ее голос, до того он колючий и гнусавый, до того пропито-прокуренно-хриплый.

— Ну, что с тобой вытворяют на сей раз? — спрашивает она. У нее уже давно выработалось убеждение, что он живет в округе Дайамонд аки агнец среди волков; она-то вырвалась оттуда, а он не сумел, и зря.

— Меня положили в больницу, — жалуется он ей. Он того и гляди расплачется, как маленький. — В меня ввели баллончик — через ногу прямо в сердце — и закачали в него солевой раствор, чтобы прочистить артерию, а то там на стенках осел жир от всего, что я лопал. Потом к надрезу на бедре приложили мешок с песком и велели шесть часов не шевелить ногой, иначе я мог бы умереть от потери крови. Вечная история в наших больницах: сперва тебя уверяют, что бояться совершенно нечего, ты же не боишься ходить в парикмахерскую, ну, и тут не страшнее, а потом, когда полдела сделано, тебе вдруг заявляют, что есть опасность умереть от потери крови. Сегодня утром приходит ко мне доктор и сообщает, что моя вчерашняя операция — не более чем ребячья забава, и по большому счету пользы от нее чуть. Он хочет, чтобы я пошел до конца и согласился на шунтирование. Мим, представь только: тебя вскрывают, как кокос, и еще вырезают вены из ноги.

— Знаю, знаю, — говорит она. — Так ты дашь согласие?

— Полагаю, меня в конце концов уломают. У них такая хватка — не вырвешься. Страшно, а что делать?

— У меня тут куча знакомых после операции на открытом сердце, они это шунтирование превозносят до небес. Не скажу, чтобы лично я заметила в них большую перемену: так же просиживают часами на своих толстых задницах, пока им делают маникюр, да болтают по телефону, но, с другой стороны, они и раньше живостью не отличались. Когда подходишь к нашему с тобой возрасту, Гарри, требуется упорная работа, если хочешь жить дальше.

— Брось, Мим. Тебе всего только пятьдесят.

— В наших краях для женщины это глубокая старость. Пастбище для полудохлых кляч. Полное прозябание — для женщины, повторяю. Никто больше не смотрит тебе вслед, как будто ты ходишь в шапке-невидимке.

— Хо-хо, а уж как тебе-то вслед смотрели! — говорит он с гордостью за нее. Он помнит, какая она была в девятнадцать: крашеные светлые пряди волос, широкий красный, до предела затянутый пояс, соблазнительные мягкие свитерки, тонкие руки с позвякивающими браслетами на запястьях, длинные, выступающие вперед зубы, которые, улыбаясь, она не могла скрыть, губы, так густо намазанные помадой, будто она только что ела булку с вареньем, — длинноногий жеребенок, бедовая девчонка, одержимая желанием вырваться из Бруэра, всеми правдами и неправдами выскочить за ограду. И она своего добилась, надо отдать ей должное. Кролик оказался на это неспособен. Слишком он был мягкотелый. Даже во Флориде он как потерянный. Ему необходимо было оставаться там, где его помнили прежним.

— Когда думаешь наведаться в наши края? — спрашивает он Мим.

— Скажи сперва, насколько у тебя все серьезно, Гарри.

— Да не так чтобы уж очень серьезно. Просто я расхныкался. На самом деле от меня требуется всего только воздерживаться от животных жиров и соли, да еще поменьше волноваться.

— А чего тебе волноваться, из-за кого?

— В общем-то не из-за кого, все как всегда, — говорит он. — У Нелли, правда, возникли кое-какие проблемы. Эй, слушай, ты ни за что не угадаешь, кто тут снова вышел на первые роли — увивается за Дженис, пока я валяюсь в больнице. Твой старый ухажер, Чарли Ставрос.

— Нашел ухажера! Я тогда взялась за него исключительно для того, чтобы отвадить его от твоей жены. Тут у нас в ухажеры зачисляют не раньше, чем девушке покупается квартирка в кондо — это как минимум.

Он изо всех сил пытается поддержать в ней интерес к разговору. Те, кто сами прокладывали себе дорогу в жизни, как она, быстро впадают в скуку.

— Скажи хоть два слова про Вегас — как там? — спрашивает он ее. — Небось уже жарко? Не хочешь на пару неделек рвануть на восток и укрыться здесь от жары? Мы бы поместили тебя в гостевой, прямо над моим кабинетом, и ты наконец познакомилась бы со своими внучатыми племянничками. Джуди уже настоящая маленькая женщина. Обещает быть красоткой — не такой, как ты, но все же.

— Гарри, когда я последний раз приезжала в Пенсильванию, я чуть не померла — не понимаю, как можно выносить такую влажность: ходишь как будто обвернутая в мокрые махровые простыни. Если хочешь знать мое мнение, все твои неприятности со здоровьем из-за паршивого климата.

— Да, наверно, — вяло соглашается он. Телефонная трубка у него в руке кажется отсыревшей. Ему самому сейчас не хватает способности испытывать живой интерес к чему бы то ни было. Он уже может беспрепятственно бродить по коридорам больницы, а тут порой видишь удивительные вещи: не далее как час назад он наткнулся на замечательную в своем роде посетительницу — это была бруэрская девчонка, не старше пятнадцати, вся в черном (черная куртка, черные узкие брюки, черные остроносые ботинки), крашеные желтовато-белые волосы коротко острижены и с помощью специального мусса уложены так, что торчат во все стороны, как у цыпленка на рождественских открытках, а прямо возле глаза татуировка в виде маленького крестообразного цветочка. Но даже это зрелище не вывело из равнодушия его сердце; он подумал тогда, что и это он уже видел раньше — видел девчонок, которые издевались над собой как могли, полагаясь на свое главное оружие, молодость; она-то уж останется при них, и до свадьбы, как говорится, все заживет.

— Может, приеду осенью, если ты дотянешь, — говорит ему Мим.

— Дотяну, не сомневайся, — заверяет он. — Так легко ты от старшего братца не избавишься. — Но продолжать разговор становится все труднее, и он почти физически чувствует, как в паузах Мим теряется в догадках, что бы еще сказать. — Эй, Мим, — говорит он вдруг, — ты не помнишь, папка когда-нибудь жаловался на боли в груди?

— У него была эмфизема, Гарри. Из-за того, что он не хотел расстаться с куревом. Ты-то бросил. Ну и молодец. Я сейчас ограничила себя пачкой в день. Правда, мне кажется, я никогда и не затягивалась по-настоящему.

— Я смутно припоминаю, как он жаловался, что у него вся грудь заложена. Бывало, просунет руку под рубашку и массирует грудь.

— Может, он просто почесывался. Говорю тебе, Гарри, папа умер от удушья. Маму доконала болезнь Паркинсона. Думаю, сердце и у того, и у другого под конец тоже стало сдавать, как у всех, не без этого. А как иначе? Жизнь это, знаешь ли, сплошная нагрузка на сердце.

Какой категоричной стала его маленькая сестренка, все у нее по полочкам, на все есть ответ. И еще за что-то злится на весь белый свет. В точности как малыш Рой.

— Эй, — снова говорит он, пытаясь задержать ее у телефона, — я еще кое о чем хотел тебя спросить. Помнишь, как ты всегда пела «Вы от плюшки, мушки, кыш»?..

— Ну, помню. Вроде бы.

— Какая там дальше строчка после «Сладко будет в ротике и тепло в животике»?

В наступившей тишине он различает звуковой фон — типичный гомон парикмахерской, жужжание фена.

— А шут его знает! — наконец говорит она. — Ты уверен, что это я пела?

— Да, но не важно. Ты-то сама как живешь? — спрашивает он. — Все по-старому или что новенькое появилось? Когда мы тебя замуж-то будем выдавать?

— Гарри, хватит уже об этом. Кому нужна старая калоша вроде меня? Разве что для прикрытия. Или для плутней с налогами, если какой-нибудь ушлый бухгалтер научит, как это провернуть.

— Кстати о бухгалтерах, — начинает он и уже готовится рассказать ей все о Нельсоне, Лайле и Дженис и об угрозах по телефону, но она не желает больше слушать. Торопливой скороговоркой, понизив голос, она говорит ему:

— Гарри, тут к нам зашла одна очень важная клиентка, очень-очень важная, правда, даже ты наверняка знаешь ее имя, я должна повесить трубку. Давай держись! Судя по голосу, ты идешь на поправку. Если тебе там станет невмоготу, ты всегда можешь сбежать сюда — погреешь косточки, тряхнешь стариной.

Он хотел бы уточнить, что значит в ее представлении тряхнуть стариной, — в прежние времена она всегда предлагала подыскать ему подходящую девчонку, если он выберется один, впрочем, один он так ни разу и не выбрался, — и еще ему бы хотелось в подробностях обсудить, почему ей кажется, будто он идет на поправку. Но Мим уже повесила трубку. У нее своя жизнь, только поспевай крутиться. Рука, в которой он держал трубку, болит на сгибе. Стоило им вторгнуться в его артерии с их контрастными веществами и баллончиками, и теперь боль, то сильная, то не очень, блуждает по всем суставам, как будто его кровь уже не на сто процентов его собственная. Уж если распечатаешь бутылку шипучего джинджер-эля, то потом, закрывай ее не закрывай, эффект не тот.

Давешняя сестра с круглым белым лицом — вполне деревенская мордашка — заходит к нему вечером в понедельник.

— Мама должна мне кое-что принести сюда, пока я дежурю. Хотите я попрошу ее заглянуть к вам на минуту?

— Сама-то она захочет? Что она сказала?

*При одной мысли, что ты считаешь ее своей дочерью, мне начинает казаться, будто ее вываляли в дерьме*, сказала ему Рут, когда они с ней виделись в последний раз.

Молодая женщина в белом колпаке улыбается.

— Я тут на днях обмолвилась, как бы невзначай, что вы лежите у нас в больнице, и, сдается мне, она не будет против. По крайней мере я не услышала от нее по вашему адресу какой-то грубости — ничего такого. — У нее на лице робкий румянец смущения, улыбки, догадки. Если в ближайшее время в ее жизни не произойдет ничего существенного, это будет просто глуповатая, пустая физиономия. Невинность иссякнет, останется недалекость.

День для Гарри был не из удачных. Шум транспорта, трудовой жизни города снова напомнил ему, как он пока еще от всего этого далек. Дженис не пришла, теперь у нее уже начались вечерние занятия. Небо весь день хмурилось, длинными вереницами тянулись серые дождевые тучи, и хвостатые черные облака поднимались над кирпичными трубами, но дождь не пролился. Вид из окна включает несколько узорчатых бордюров, которыми увенчаны третьи этажи узких зданий напротив; в первых этажах располагаются кофейня, химчистка, магазин канцтоваров. Угловой дом выкрашен в серый цвет, средний в голубой, а третий, с особенно нарядными окнами, в бежевый. До жителей Бруэра мало-помалу стало доходить, что кирпичные дома можно красить в любой цвет, какой пожелаешь, не обязательно кирпично-красный. На той стороне улицы за стеклами верхних этажей живут люди, но, хоть Гарри уже все глаза проглядел, ему пока не выпала удача подсмотреть, как раздевается какая-нибудь женщина, или на худой конец увидеть все равно кого, кто подошел бы к окну взглянуть на улицу. Угнетает его и то, что у него уже третий день нет стула — как поступил в больницу, так и все. В первый день он винил малоудобное судно и собственное беспокойство, как бедные сестрички будут выносить из-под него все, что он выдаст; на второй день он видел причину в смене пиши — блюда, которые сочиняют больничные диетологи, на вид вполне приличные, но на вкус как сырая бумага, а на зубах как мякина, и уж до того все легкоусвояемое, что слюнным железам просто делать нечего; однако на третий день, когда он может походить по коридору и спокойно запереться в индивидуальном туалете в своей же палате, он винит уже только себя одного, свою немощь — кто еще виноват, что внутри у него все иссякло, оскудело, все процессы того и гляди замрут. Газов, и тех не осталось.

Странно, что круглолицая девица (впрочем, вряд ли девица — она ведь всего года на три моложе Нельсона) именно сегодня предложила привести к нему свою мать: прошлой ночью Рут ему приснилась. По мере того, как окружающий его мир постепенно окрашивается в уныло-серый, без оттенков цвет, сны его становятся все ярче и красочнее. Рут — Рут, какой она была в ту весну, когда они в буквальном и фигуральном смысле жили вместе, оба двадцатишестилетние, она, что называется, в теле, бесшабашная, немного вульгарная, по-своему привлекательная, — приснилась ему в платье ярко-синего цвета в мелкий беленький горошек; он всем телом прижимался к этому платью, к ее телу под платьем, и говорил, как идет ей этот цвет, а ее волосы, прямо у него перед глазами, блестели и переливались — рыжий, каштановый, золотой. Рут отворачивала голову, но он понимал — это не оттого, что он ей неприятен, а оттого, что она испытывает вполне естественное смущение из-за ситуации в целом: судя по всему, она живет в одном доме с ним и Дженис, то есть они живут там все вместе, и Дженис как раз где-то поблизости, точнее наверху, хотя солнце и мебель, плетеная, с цветной обивкой, указывает на их флоридское жилье, где никаких «наверху» быть не может. Обнимая Рут, он словно делал что-то не вполне дозволенное, как если бы она была его родственницей, и, расхваливая ее веселенькое платье, он пытался подбодрить ее, передать ей ощущение полнейшего благополучия, уверенность, что их любовь наконец обрела все права. Он уткнулся лицом куда-то возле ее шеи, в занавес ее разноцветных волос, зная, что его желание неистребимо, что он готов овладевать ею снова и снова, извергаясь, как неиссякаемый фонтан, в ее прекрасное могучее тело. Его пробуждение было ознаменовано такой феноменальной эрекцией, какой наяву у него не бывало почти никогда, и это несмотря на таблетки, понижающие артериальное давление, и общую хандру. Пока сон еще жил в памяти, цепляясь за нее синими в горошек лоскутами, он понял, что белые горошинки — это лепестки, которыми, как конфетти, месяц назад был усыпан тротуар на улице, обсаженной брэдфордскими грушами, неподалеку от Летней, где они с Рут одно время вместе жили, и что солнечные пятна точно такие, как на чугунном столе с папоротниками и африканскими фиалками на маленькой верандочке мамаши Спрингер — через прихожую напротив вечно сумеречной гостиной. Получалось, что, хотя мебель во сне была флоридская, дом, где они все вместе обитали, ничем другим, кроме как старым спрингеровским особняком, быть определенно не мог.

Гарри спрашивает круглолицую сестру:

— Что вам известно о моих отношениях с вашей мамой?

Румянец у нее на лице чуточку густеет.

— О, ровным счетом ничего. Она вообще не распространяется о том, как она жила, пока не повстречала моего отца, не обзавелась семьей, домом. — Теперь все звучит вполне заурядно — упоминание о том, как жила Рут до замужества; но было время, когда ее образ жизни считался неприличным, а сама она слыла пропащей и в маленьком, тесном мирке Маунт-Джаджа пользовалась скандальной известностью. — Я так понимаю, что вы были каким-то особенно близким другом.

— Не уверен насчет «особенно», — говорит Гарри.

На душе у него скверно, оттого что он лишил ее возможности продолжать разговор. Как ей реагировать на его последнюю, лживую реплику? Стоять и вежливо молчать, демонстрируя припухшую верхнюю губку, — ко всему привыкшая медсестра, терпеливо сносящая капризы больных. Он завел ее в тупик и предоставил выбираться оттуда самостоятельно. Он любит ее; любовь разливается внутри независимо от его воли и желания, как половодье, как анестезия. И он говорит ей, своей, возможно, дочери:

— Послушайте, вы все замечательно придумали, но ведь если бы она пришла ко мне, то только потому что вы попросили ее об этом, а не по собственному желанию, и, честно вам скажу, Эннабел, — он впервые назвал ее по имени, — мне будет не очень приятно предстать перед ней в таком виде. Вы говорите, она похудела, шикарно выглядит, а я вон какой толстый и больной. Боюсь, для меня это свидание было бы большим потрясением.

Лицо девушки снова становится бледным и приобретает казенное выражение. Границы вновь восстановлены как раз тогда, когда в нем зашевелилось отцовское чувство к ней.

— Как хотите, — говорит Эннабел. — Скажу ей, что вас выписали, если она вдруг спросит.

— А есть вероятность, что спросит? Подождите. Не надо со мной так официально. Объясните мне, почему вы хотите устроить наше свидание?

— Мне показалось, вы проявляете к ней повышенный интерес — стоит мне упомянуть ее, у вас даже лицо оживает.

— Правда? Может, это оттого, что я смотрю на вас. — Набравшись смелости, он продолжает: — Я, между прочим, все время думаю, правильно ли вам в вашем возрасте продолжать жить с ней вместе? Не пора ли вам уже выпорхнуть из-под ее крылышка?

— Да я пробовала, правда, ненадолго. Не скажу, что мне понравилось. Жить одной совсем непросто. Мужчины сплошь и рядом ведут себя по-свински.

— Неужели? Грустно слышать это.

Лицо ее сразу смягчается от милой улыбки — уголки верхней губы чуть загнуты кверху, а припухлость посредине остается на месте, словно замочек.

— Знаете, она говорит то же, что и вы. Но меня такое положение вещей устраивает, во всяком случае сейчас. Мы теперь с ней не как мама с дочкой, скорее как подружки, которые вместе снимают жилье. В нашем городе одинокой женщине недолго и в беду попасть, уж вы мне поверьте. Бруэр, конечно, не Нью-Йорк, но и не Пенн-Парк.

Ну разумеется. Его адрес у нее перед глазами, он же вписан в медкарту, прикрепленную к спинке больничной кровати. Он для нее из породы пенн-парковских снобов, которых он сам всю жизнь недолюбливал.

— Бруэр город грубый, — соглашается он, снова откидываясь на подушку. — Таким всегда был, таким и остался. Уголь да сталь. Питейные заведения да бордели вдоль всех железнодорожных путей, а они шли прямо через центр города, когда я был еще молодым. — Он смотрит в сторону, на декоративную кирпичную кладку, бегущие по небу и не принесшие дождя темные тучи, и говорит опекающей его сестре: — Вам лучше знать, как вам жить. Скажите вашей маме, если она спросит, что, может быть, нам доведется свидеться в другое время. — Под грушевыми деревьями — в раю.

Глядя из больничной койки в окно, Гарри с благодарностью думает о тех давно умерших каменщиках, которые с такой фантазией укладывали верхние ряды кирпичей в трех домах на противоположной стороне улицы, создавая нарядные узорчатые бордюры с углублениями и выступами, вертикалями и диагоналями — так что тень от них в разное время суток ложится по-разному, — о тех мастерах прошлого века, которые, стоя на строительных лесах, переговаривались между собой на языке пенсильванских немцев... или уже и тогда все каменщики были сплошь итальянцы? Так лежа и размышляя о бесчисленных кирпичах, что складывались в строения и снова рассыпались и снова складывались вдоль тихих, добропорядочных улиц, которые взбираются вверх по склону горы Джадж, он пытается и свою жизнь вообразить неким условным кирпичиком, который в 1933 году занял свое место в кладке, плотно сев в чавкнувший раствор, и с каждым днем все прочнее в нем затвердевает: всего-навсего одна отдельно взятая жизнь в рядах и стенах и кварталах других жизней. Такой подход дает определенное удовлетворение, есть в нем какой-то слабый отголосок давнего коллективного порыва, но это смутное чувство не может тягаться с изначально присущим ему устойчивым впечатлением, что Бруэр и мир за его пределами не более чем рюши, фижмы и оборки на нем самом — словно кружавчики на пухлом атласном сердечке, какие дарят друг другу в День святого Валентина, что он сам и есть сердце мироздания, как далай-лама, который, по недавним сообщениям (в Тибете, сорок лет спустя после установления китайского владычества, не прекращаются волнения), предложил сложить с себя сан. Предложение повергло в ужас и содрогание всех его последователей, ибо как может далай-лама отказаться от своей божественной сущности? Не более чем Гарри от своего неистребимого эгоцентризма.

Он много смотрит телевизор. Экран глядит прямо ему в лицо, шнур от антенны тянется к приемнику от стены у него за головой, наподобие кислородного шланга. Ему сейчас нужны факты, не фантазии; старые киноленты по кабельному «Эй-эм-си» кажутся допотопными и надуманными в своей черно-белой контрастности, а старые телешоу по «Эн-ай-кей» — невыносимо пошлыми с их вставками дружного хохота и залакированными прическами по моде пятидесятых, и даже бесконечный спорт — регби из Ирландии, керлинг[[118]](#footnote-118) из Канады — все это раздражает его как пустая трата времени, а у него теперь времени осталось в обрез, только для правды, такой, как на «Ди-эс-си» с его научно-популярным уклоном или на «Канале-12»: интервью с политиками из Нью-Йорка и Вашингтона, которых поочередно, словно играя в пас, обрабатывают ведущие Макнил и Лерер, рептилии в программе Смитсоновского института, выстреливающие раздвоенными язычками на фоне опаленной солнцем пустыни, или гигантские галапагосские черепахи в серии из цикла «Естественный отбор» в борьбе за собственную жизнь, или русские в борьбе с нацистами в скачущих кинохрониках Второй мировой, и голос за кадром сэра Лоуренса Оливье («Двадцать миллионов павших», — звучит его голос, словно завершающий аккорд, и картинка на экране замирает и размывается, и надвигается щемящая душу музыкальная тема, и у Гарри мурашки бегут по коже при мысли, что и он был в этом мире, на противоположной стороне северного полушария, прыгал, расплющивая пустые жестянки, и свертывал шарики из металлической фольги, и это был его посильный вклад в борьбу с гитлеризмом, его, десятилетнего участника живой истории), и еще «Война и мир в атомном веке», «Жизнь природы», «Портретная галерея власти», «Об удивительных явлениях», «Летопись заповедного мира», «Живой организм», «Планета Земля», борьба и гибель, гепард, разрывающий на части антилопу, тарантулы в смертельной схватке со скорпионами, малютки опоссумы, отпихивающие друг друга в битве за лучший сосок и ничуть не смущенные ослепительно ярким светом съемочных ламп и присутствием оператора-натуралиста, самцы птичек-ткачиков, соревнующиеся в плетении изощреннейших гнезд только для того, чтобы заслужить одобрение привередливой самочки, — он жадно впитывает в себя все эти сведения, всю невероятную изобретательность, разнообразие и обреченность, как будто он поставил перед собой задачу пройти ускоренный курс самообразования по предмету «Устройство и жизнь мира». Но ни конца ни края не видно этому половодью информации.

В вечерних новостях главное место отведено Китаю — визит Горбачева, выступления протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, но протест направлен не против Горбачева, Горбачева студенты, наоборот, любят, его во всем мире любят, несмотря на странное пятно на лбу, очертаниями напоминающее Японию. Насколько можно понять, китайским студентам хочется свободы, им хочется быть похожими на американцев, впрочем, по виду их уже не отличить от американцев, все в синих джинсах и футболках. Между тем в самой Америке новости такие: не только президент страны, Джордж Буш, но и его жена, первая леди, оказывается, принимают душ вместе со своей собакой Милли; если это и есть то, к чему стремятся китайцы, удовлетворить их притязания будет не так уж и сложно, пусть не в полном объеме, но близко к тому, хотя в душе у Гарри начинает шевелиться ностальгия по Рейгану — ему по крайней мере не откажешь в достоинстве, в дистанции, которая питает мечту; самая сильная его сторона как президента заключалась в том, что ты никогда не мог сказать наверняка, сколько он знает — все или ничего, и в этом смысле он был подобен Богу, оставляя всех в неведении относительно своего истинного могущества. С этим, нынешним, ты понимаешь, что кое-что ему известно, но это кое-что, судя по всему, весьма незначительно. Кролику не доставляет ни малейшего удовольствия каждый раз, вспомнив о президенте, видеть мысленным взором сцену совместного принятия душа, в которой, кроме голого президента и его немолодой жены, задействована еще и собака. Рейган и Нэнси все же ухитрялись сохранять достоинство даже тогда, когда их, можно сказать, на глазах у многомиллиардной аудитории избавляли от полипов и грудей.

Дженис приходит в шесть вечера во вторник, когда он доедает свой последний щадящий ужин — назавтра его выписывают. На ней новое пальто, серая юбка и пурпурно-красная, с низким вырезом блузка, почти такая же броская, как платье в горошек, в котором ему приснилась Рут. Его жена излучает энергию и деловитость, ее густо разбавленные сединой волосы подстрижены и уложены умелой рукой парикмахера, который решительно ликвидировал ее знаменитую челочку, откинув волосы со лба, так что они окружают голову живой и даже пышненькой массой, разделенной глубоким косым пробором. Дженис напоминает ему тех оживленных, бойко стрекочущих телевизионных дамочек, которые ведут выпуски новостей. И точно — она сгорает от нетерпения поделиться с ним новостями. На глаза у нее словно надеты ненатурально блестящие контактные линзы, и он не сразу понимает, что это слезы, заготовленные для него, пока она была за кадром.

— Ох, Гарри, — начинает она, — все даже хуже, чем мы предполагали! Там тысячи и тысячи!

— Тысячи чего?

— Долларов, долларов, которые украл Нельсон! Чарли, я и бухгалтер, знакомый его племянника, — Милдред сказала, что она уже слишком стара проводить аудит и вообще у нее в богадельне дел невпроворот, — мы сегодня втроем нагрянули в магазин, Чарли сказал, я непременно должна присутствовать, его с бухгалтером недостаточно, и я попросила показать нам бумаги, и Нельсон, он, вопреки обыкновению, был на месте, посмотрел на меня так жалко, так беспомощно, всю душу мне перевернул, я этого взгляда до смерти теперь не забуду, и сказал, да, пожалуйста, что, мама, тебя интересует? Он нам все сам рассказал. Поначалу, когда ему до зарезу нужны были деньги на... ну, ты понимаешь, кокаин, он просто выписывал себе чек с пометкой «непредвиденные расходы» или «оперативная наличность», но Миддред, она тогда еще работала, требовала объяснений, и он испугался. В любом случае, такие скромные суммы, сотня, пусть две за раз, его никак не могли устроить, и тогда он придумал предлагать покупателям хорошую скидку на подержанные машины, если они согласны заплатить наличными или выписать чек непосредственно на его имя.

— Я же *говорил*, что цифры по продаже подержанных в отчетах занижены, — говорит Гарри с каким-то вялым торжеством. После катетера с его эмоциями что-то приключилось, будто их выхолостили. — Сколько машин он пустил налево с помощью этого трюка?

— Он теперь уже и сам точно не помнит, но Чарли говорит, это можно восстановить по бумагам. Требуется время, больше ничего. Само собой, не каждому клиенту Нельсон предлагал вступить с ним в сомнительную сделку, тут ему надо было проявлять разборчивость и осторожность, выбирать тех, кто победнее, кто не станет у дареного коня зубы пересчитывать. Он действовал с умом. Нельсон гораздо умнее, чем ты привык думать.

— Я и не говорил, что у него башка не варит.

— Ох, только ведь, Гарри... — Оболочка из слез снова застилает ее карие глаза, и они выходят из берегов, мокрые дорожки поблескивают по обе стороны круглой шишечки ее носа, в котором характера не больше, чем в ручке выдвижного ящика. Она вытягивает бумажную салфетку для лица из коробки, которую тут ставят на тумбочку каждому пациенту, и когда она наклоняется вперед, он взглядом ловит очертания ее аккуратных грудок в свободном вырезе красной, в крестьянском стиле блузки, вероятно, новой, он у нее такой не видел, специально для своих курсов купила, для свиданий с Чарли, для нового этапа и выхода в большой мир — самостоятельно, без него. Его обдает изнутри неприятным жаром, как во время катетеризации. Казалось бы, эка невидаль, голая грудь его собственной женки, а вот поди ж ты. Дженис промокает лицо, лицо раз и навсегда сбитой с толку дурехи, и наклоняется еще ближе к нему, так что он чувствует ее дыхание, чует слабо мятный запах леденцов. Чтобы табак перебить. У него перед глазами блестят ее слезы; ее прерывающийся голос звучит совсем тихо, никто, кроме него, при всем желании не услышит: —...он на этом не остановился. К тому времени он перешел уже на крэк, и пошли такие суммы — страшно сказать. Тогда он вместе с Лайлом разработал специальную схему, тут уже начинаются всякие трудные финансовые подробности...

— Погоди, — обрывает он ее. К нему в палату зашла разносчица с кухни, чтобы забрать поднос. Пухленькая латиноамериканка с длинными красными ногтями и отчетливыми усиками.

— Вы не кушали достаточно, — укоряет она его с застенчивой улыбкой, обнажая ряд жемчужно-мелких зубов.

— Достаточно, — уверяет он. — Больше не хочу. Очень вкусно. Хорошо. Буэно.

У нее при себе блокнот, в который она записывает, какой процент пищи он поглотил. Треть переваренных водянистых стручков фасоли, половину бледного овала безвкусной телятины, от силы листик грубого зеленого салата, плавающего в грязно-оранжевой подливе, ложку тапиокового пудинга, от дрожащей студенистости которого его всего передернуло.

— На завтрак, — зачитывает она по бумажке, — кружок ананаса, пшеничная каша, подсушенный пшеничный хлеб с отрубями и кофе без кофеина.

— У меня уже слюнки текут, — заверяет он ее.

— Кушайте еще сейчас, — предлагает она.

Но он непоколебим.

— Нет, спасибо, все остыло. Ко мне жена пришла.

Она изучает запись в его медкарте.

— Написано: завтра последний день.

— Да, представляете? — отзывается Гарри. — Назад, в океан жизни. Я буду скучать там без вас. И без вашей здоровой пиши.

Забирая пластмассовый поднос, она царапает по дну длинными красными ногтями, и от этого звука у него по коже разбегаются мурашки. Он вспоминает о красотке с платиновыми волосами, которая перебирала клавиши компьютера в «Финансовых альтернативах». У той тоже были длиннющие ногти. Умерла, сказал Лайл. Если жизнь после смерти действительно существует, и где-то умершие собираются вместе, может, у него еще будет шанс познакомиться с ней поближе? Хотя, с другой стороны, денег там нет, так о чем им говорить?

Когда женщина с подносом уходит, Дженис возвращается к животрепещущей теме. Кончик языка на секунду-другую просовывается между зубами, свидетельствуя о ее попытке собраться с мыслями.

— Я не уверена, что до конца все понимаю, но тебе известно, как проводится инвентаризация — когда подсчитывают, сколько грузовиков, фургонов, легковых автомобилей получено в месяц по поставкам из Среднеатлантического отделения «Тойоты» в Мэриленде.

— От двадцати до двадцати пяти ежемесячно, так, во всяком случае, всегда было, — доводит до ее сведения Гарри, желая показать ей, что хоть он и лежит сейчас на обеих лопатках, но раньше-то дело свое знал. — Нам ни разу не удалось сбыть за год триста новых единиц, за исключением одного-единственного года, восемьдесят шестого, когда Нельсон только-только принял дела. Сильная иена для нас как удавка на шее, да и «Хонда» с «Ниссаном» оттяпывают хороший кусок. Еще «Форд Рейнджер» в прошлом году здорово подгадил нашему пикапу-однотонке.

— Гарри, постарайся сосредоточиться на главном. Суть дела, как мне объяснили, сводится к тому, что Кредитная корпорация «Тойота-моторс» в Калифорнии финансирует наши поставки из Мэриленда: когда мы продаем машину, деньги к ним возвращаются, когда мы заказываем машину, они добавляют соответствующую сумму к нашему кредитному счету. Что делал Нельсон: каждый месяц он указывал в отчетах на одну-две продажи меньше, чем их было на самом деле, поэтому суммы, недополученные за эти машины, «Тойота» приписывала к нашей задолженности, а Нельсон с Лайлом всю выручку с них помещали на особый счет, который они открыли на имя «Спрингер-моторс», ну, ты сам знаешь, банки теперь всем предлагают какие-то отдельные счета — сберегательные, чековые с поступлениями со сберегательных, счета основного капитала с выплатой по чекам и каких еще только нет. В общем, каждый месяц наш долг «Тойоте-моторс» в Калифорнии увеличивался на стоимость одной или двух машин, которых в действительности у магазина в наличии уже не было, то есть задолженность росла, а реального товара становилось все меньше; если бы так продолжалось и дальше, то года через два или три у нас не осталось бы ни одной новой машины для продажи, зато долг «Тойоте» вырос бы до астрономических сумм!

— Так сколько все-таки мы задолжали им на сегодня? — Его сознание не вполне готово воспринять эти факты во всей их весомости. В голову лезут больничные мысли — то обещанный на завтрак ананас, то настойка наперстянки, которую он должен был принять последний раз вечером, а принял или нет, не помнит.

— Никто не знает, Гарри. Нельсон не помнит, а Лайл говорит, что случайно стер несколько дискет, где у него хранились счета.

— Случайно намеренно, — комментирует он. — Ну и говно! Ну и говны, оба два!

— Да, да, *ужасно*, — вздыхает Дженис, — и Лайл говорит по телефону ужасные вещи. Говорит, что умирает и ему все равно, что мы с ним сделаем. Голос такой, как будто у него в голове помутилось; неужели это тоже от его болезни? — Тяжкий груз фактов наконец сокрушает ее, и она разражается истерикой; слезы бегут, рыдания сотрясают плечи, и она пытается опустить мокрое лицо на его покрытую одеялом грудь, но росточку не хватает — она сидит, притулившись на стуле, возле его высокой больничной койки, — и глазами и ртом утыкается в жесткий край матраса, взахлеб повторяя, что у нее в голове не укладывается, как он мог с ней так поступить.

«Он» — то есть Нельсон; Гарри на сей раз в обидчиках не числится. От горя у нее вся голова горячая, даже макушка, прямо как закипающий чайник. Он успокаивающими движениями слегка массирует женину голову под ее новой коротенькой стрижкой и с трудом сдерживает улыбку. *Так им обоим и надо*, думает он. Спрингерам. Ее темные с проседью волосы такие тонкие, что липнут к пальцам, как паутина. Целых пять минут он массирует ее теплую, несчастную голову кончиками пальцев, а сам глядит в пустой экран телевизора и жалеет, что придется пропустить шестичасовые новости, следом за которыми, в шесть тридцать, следует обзор последних событий в стране.

Где-то в глубине души он отказывается верить, что сегодняшний рассказ Дженис может сравниться с рассказом о событиях в стране — в смысле реальности происходящего. Допустим, она его жена, но она не Конни Чанг и уж точно не Дайана Сойер[[119]](#footnote-119) с ее широко расставленными голубыми глазами, чувственным ртом и отрешенным взглядом, такая красивая, белокурая буйволица.

— Ну и что теперь будет? — спрашивает он наконец.

Она поднимает заплаканное лицо и, как ни удивительно, оказывается в состоянии дать кое-какие ответы. Не иначе Чарли ее натаскивал.

— Значит, так, сперва надо выяснить, сколько мы должны Кредитной корпорации, и сполна рассчитаться. Процент по кредиту им перечислялся, так что особо беспокоиться им вроде бы нечего, это все равно как взять кредит под недвижимость, только Нельсон эту свою недвижимость втихаря продал на сторону.

— Если он подделывал какие-нибудь подписи, это подлог, — мрачно замечает Гарри, и черная безысходность, словно контрастное вещество, начинает заполнять его сердце, поскольку теперь уже очевидно, что на сыне можно поставить крест. *Человеческие отбросы*, если вспомнить выражение его собственного отца, который тогда причислил к отбросам и самого Гарри. Он спрашивает: — Что же будет с нашим парнем?

Дженис моргает мокрыми ресницами. То, что она готовится сейчас сказать, представляется ей столь значительным, что она еще какой-то миг медлит с ответом. Затем голосом весомым и очень отчетливым, как говорила мамаша Спрингер, когда выносила окончательное и бесповоротное суждение, она произносит:

— Он дал согласие на лечение в наркоклинике. Безотлагательное.

— Ну, это хорошо, я думаю. Что же вынудило его согласиться?

— Я сказала — или он соглашается, или я увольняю его из магазина и подаю на него в суд.

— Ого! Так и сказала?

— Да, Гарри, да. С трудом, но сказала. Пришлось.

— Такое — своему родному сыну?

— У меня не было выбора. Он катится по наклонной плоскости и сам понимает это. Представь, он даже благодарил меня, честное слово. Мы с ним объяснились прямо там же, в магазине, только вышли наружу, туда, знаешь, где сорняки, а Чарли и бухгалтер оставались в помещении. Потом мы вернулись и сразу стали звонить — из твоего бывшего кабинета.

— А где хоть эта клиника?

— В Северной Филадельфии. Ее рекомендует специалист, консультировавший Нельсона, только бы удалось его туда устроить. Они все переполнены, как выяснилось. Общество не справляется с этой проблемой. В Бруэре есть только программы, рассчитанные на амбулаторное лечение, но его консультант уверяет, что тут очень важно оказаться в отрыве от привычной среды, составной частью которой являются наркотики.

— Значит, он все-таки сходил на прием после той стычки с Пру?

— Да, ко всеобщему удивлению. Но что совсем уж удивительно, человек этот, консультант, сумел расположить к себе Нельсона. Внушить к себе уважение. Он, кстати, черный.

Гарри чувствует укол ревнивой обиды. Его сына подхватывают чьи-то чужие руки. Отцовские руки не сумели его удержать. Теперь на помощь призваны профессионалы.

— И как долго продолжается курс лечения?

— Полный курс — девяносто дней. В первый месяц детоксикация плюс интенсивная терапия, а затем в течение последующих шестидесяти дней он восстанавливается, выполняет какую-то работу, что-то по линии общественно полезного труда, просто для того, чтобы постепенно адаптироваться к нормальной жизни.

— То есть он выпадает на целое лето. Кто же возьмет на себя магазин?

Дженис кладет руку поверх его руки жестом, который кажется ему заученным, отрепетированным заранее.

— Ты, Гарри.

— Лапушка, не могу. Я ведь теперь вдрызг больной.

— Чарли говорит, у тебя в корне неправильное отношение, так нельзя. Ты без боя сдаешься своему сердцу. Он говорит, для тебя лучшее — это позитивный настрой и активная деятельность.

— Да ну? Почему б ему самому не поуправлять у нас магазином, раз он такой, черт его побери, активный?

— Он теперь занят более важными делами.

— Ага, тобой, например.

Она хихикает, хоть у нее на подурневшем лице еще не обсохли слезы.

— Не валяй дурака. Он просто старый друг, который пришел на помощь в трудную минуту.

— Не то что я, никакого от меня проку, так?

— Ты же в больнице, милый. Ты проявил немалое мужество, *по-своему*. И вообще, как всем нам хорошо известно, есть вещи, которые ни ты, и никто другой за меня сделать не могут, только я сама.

Его подмывает оспорить этот тезис, отдающий сомнительным новомодным благочестием, но если он намерен вернуться в строй, то ему лучше молчать в тряпочку и не заводиться по пустякам. Поэтому он спрашивает о другом:

— Как Нельсон воспринял твою суровость?

— Как я тебе уже сказала — хорошо. Он только и мечтал, чтобы мы, его близкие, приняли какое-то решение, поскольку он потерял над собой уже всякий контроль. Пру страшно рада, что его будут наконец лечить. И Джуди рада.

— А Рой не рад?

— Он слишком мал еще, чтобы понимать, но, как ты сам недавно заметил, атмосфера в доме была нездоровая.

— Это я так сказал — «нездоровая»?

Она пропускает вопрос мимо ушей. Она снова выпрямилась на стуле и, послюнив салфетку, протирает лицо.

— Мне предстоит встретиться с парнем до его отъезда?

— Нет, миленький. Он уезжает завтра утром, ты его уже не застанешь.

— Хорошо. Не знаю, как бы я это выдержал. Кому сказать, что он нам устроил — он ведь всех нас, не только тебя и меня, а и своих детей, *всех*, взял и спустил в сортир, очень просто. Он же продал нас всех за свой поганый наркотик.

— Ну, знаешь, Гарри, побойся Бога, — ты сам за свою жизнь не раз и не два поступал как отъявленный эгоист, мне ли об этом не знать!

— Было, не спорю, но уж не ради щепотки порошка.

— Это сильнее их. У них в этом вся жизнь. Кроме того, они, очевидно, покупали еще и препараты для Лайла. Я хочу сказать — медицинские препараты, лекарства от СПИДа. У нас в стране они пока не продаются, а стоят страшно дорого, их провозят нелегально.

— Печальная история, — помолчав немного, произносит Кролик. Чернильно-черная тоска циркулирует у него по венам. Залежался он в больнице. Забыл, какая она, жизнь. И он спрашивает у Дженис: — Куда это ты намылилась в такой попсовой кофточке?

Она поднимает глаза от зеркала в крышке сумочки, в которое она глядится, приводя себя в порядок, и смотрит на него — лицо ее упрямо каменеет, выражая готовность держаться до победного конца.

— Чарли обещал сводить меня куда-нибудь поужинать. Его беспокоит, как бы я не надломилась психически в результате этой ужасной душевной травмы. Нужно проработать ситуацию.

— Проработать?..

— Детально все обсудить.

— Ты можешь все обсудить со мной. Лучше, чем просто лежать и маяться от безделья, спорт в новостях так и так уже пропустил.

Она делает ртом характерное женское *мммм*, раскатывая валиками губ свежий слой помады с видом одновременно серьезным и самодовольным, и говорит:

— Ты лицо заинтересованное. У тебя свои счеты с Нельсоном, да и со мной, если на то пошло.

— Оно, конечно, у Чарли своего интереса и в помине нет — спит и видит, как бы снова залезть тебе под юбку. Если уже не залез.

Она бросает помаду назад в бомбообразную сумку и легкими прикосновениями пальцев поправляет свою новую прическу, разглядывая себя в зеркальце под разными углами, после чего решительно щелкает крышкой и закрывает замок.

— Очень трогательно, Гарри, с твоей стороны, — говорит она ему, — так правдоподобно притворяться, будто я кого-то еще могу в этом плане заинтересовать, хотя на самом деле, конечно, не могу — разве что собственного мужа, хоть изредка, по праздникам.

Он говорит, пристыжено, поскольку в душе признает, что в последнее время он ее не слишком баловал:

— На мой счет можешь не сомневаться, но просто, ты же знаешь, у мужчин это связано с артериальным давлением, и...

— Это мы обсудим дома. Я обещала Чарли встретиться с ним ровно в семь.

— Где? В салатном баре, бывшем заведении Джонни Фрая? Это в двух кварталах отсюда. Можно пешком прогуляться.

— Нет, не там. Он хотел на пробу сходить в новый вьетнамский ресторанчик, неподалеку от Мэйден-Спрингса. Так что мне еще нужно успеть добраться туда, а ты же меня знаешь, я могу и заплутать. И в довершение всего у меня пока не готово задание — пятьдесят страниц из книги по британскому законодательству о недвижимости, всю голову сломаешь с их допотопными терминами, сто лет никто уже так не говорит, — к завтрашнему занятию я должна их проштудировать.

— Что же получается, тебя и дома завтра вечером не будет? В первый мой вечер после больницы? — Он изображает недовольство, пользуясь случаем получить несколько очков в свою пользу, хотя в действительности он был бы только рад, если бы она и сейчас поскорее ушла и оставила его наедине с телевизором.

— Там видно будет, — говорит, вставая со стула, Дженис. — Есть у меня одна мыслишка. — Затем она вдруг спрашивает: — Неужели ты мной не гордишься? — Она наклоняется, чтобы прижать на секундочку свое горячее, полное забот и планов лицо к его щеке. — Разве я не молодец, что так здорово со всем справляюсь?

— Молодец, — говорит он неправду. Лично ему она больше нравилась неумехой.

Она выходит, перекинув через руку новое, канареечно-желтое пальто, и он отмечает, что она порядком раздалась сзади: такая корма для уроженок здешних мест — типичный признак того, что женщина крепко встала на ноги и осознала себя самостоятельной личностью.

Гарри смотрит оставшийся кусок новостей с ведущим Томом Брокоу и намеревается затем, в семь часов, погрузиться в передачу о природном мире Антарктиды, как вдруг к нему с визитом являются, кто бы вы думали? — Гаррисоны. Ладно бы еще только Тельма, так она притащила с собой Ронни, а впрочем, скорее он притащил ее: за то время, что они не виделись, она еще больше исхудала и пожелтела и едва переставляет ноги, как будто каждый шаг грозит ей по меньшей мере переломом. Она виновато улыбается, глазами прося прощения за свой никудышный вид, за то, что пришла в сопровождении мужа, за то, что вообще пришла.

— Мы были тут, в больнице, на приеме у моего врача, — объясняет она, — а Рон-младший прослышал, что ты тоже здесь.

— Да, лег на небольшую, как они тут выражаются, «процедуру», — говорит он и рукой указывает на стул, придвинутый Дженис к кровати и, вероятно, еще теплый от ее внушительного зада. — Рон, видишь там в углу большое кресло? Можешь подтащить его поближе. Оно на колесиках.

— Я постою, — буркает тот. — Мы только на минуту.

Вид у него хмурый, но Кролик, собственно, не просил Гаррисонов навещать его и не намерен расшаркиваться.

— Как угодно. — И он переключает внимание на Тельму: — Как *твое* здоровье?

Тельма принужденно вздыхает:

— Да как, у врачей разве поймешь? Они же никогда не признаются, что не знают, как помочь. Два раза в неделю провожу диализ в домашних условиях. Ронни святой, ему нужно памятник поставить, что он еще терпит меня. Он ходил на специальные курсы, чтобы научиться пользоваться аппаратом.

— Ронни всю жизнь был таким, — заверяет ее Гарри, при том что все трое, кто сейчас находится в этой комнате, нисколько не заблуждаются относительно его любви в кавычках к Ронни Гаррисону, которого он знает с детского сада и приблизительно с тех же пор органически не переваривает. Еще в пятилетнем возрасте это был грязный на язык пакостник, гнусный коротышка, да и сейчас хорош — лысый, как головка причинного места, с клочьями последних волос над большими отвислыми ушами. В старших классах школы и потом еще довольно долго Ронни выглядел здоровячком, но с приближением старости он заметно поблек, на лице появились какие-то провалы, на шее обозначились узлы и жилы. Гарри сообщает ей, как если бы она впервые об этом слышала:

— Дженис тоже ходит на курсы, хочет научиться торговать недвижимостью. Полагаю, для того, чтобы ей было чем заниматься, если я вдруг откину копыта.

Тельмины веки подрагивают, исхудавшая рука с обручальным кольцом на пальце протестующе отвергает саму возможность такого исхода. Чем больше изматывает ее болезнь, тем сильнее становится она похожа на хрестоматийную школьную учителку. Отчасти в этом заключалась забавная пикантность его связи с ней — неприступная внешность и бешеный темперамент в постели, но, быть может, ее подлинному «я» соответствовал все-таки облик учительницы, а то, другое, было только личиной, надеваемой исключительно ради него, — есть же какое-то насекомое, которое умеет выдавать себя за цветок.

— Гарри, никаких копыт ты не откинешь, — говорит она с жаром, со страхом за него. Удивляет его это женское свойство — искренне, по-настоящему переживать за кого-то другого, не за себя. — Теперь каких только чудес не научились творить с сердцем, и латают, и штопают, запросто, как тряпичную куклу. — Она выдавливает из себя слабую улыбку. — Хочешь взглянуть, что у меня есть?

Он думает про себя, что это-то ему хорошо известно — все-все, что у нее есть; но она расстегивает рукав и, заголив руку с характерной для нее вообще легкостью оголять себя, показывает ему тыльную поверхность. Два лиловых синяка на ее истончившемся запястье соединены прозрачной подковкой — пластмассовой трубочкой, которая удерживается плашмя кусочками лейкопластыря, прикрепленными к ее желтушной коже.

— Это мой шунт, — говорит она, с особой внятностью произнося последнее слово. — Он соединяет артерию с веной, и когда мне нужно делать очередной диализ, мы его вынимаем, а меня подключают к искусственной почке.

— Очень мило, — только и может он сказать. Он рассказывает им о своей баллонной дилятации, но он уже сам подустал от этих рассказов, от попыток поведать другим о леденящем душу ощущении, когда видишь темную тень катетера, который, словно змееподобный указательный палец проковыривает себе путь, дюйм за дюймом продвигаясь в самое нутро бледных, подрагивающих очертаний его собственного сердца. — Коронарная артерия могла в любой момент закупориться, и тогда каюк. Остановка сердца.

— Так ведь этого не случилось. Кончай трепаться! — говорит Ронни, отделяясь от стены, на которую опирался, отрываясь от собственной тени. — Великий Энгстром! — фыркает он, припоминая ехидное прозвище, которым дразнил Гарри во времена их баскетбольной юности. Забавно, что Гаррисон всю жизнь неотступно, как тень, преследует его издевками, не давая забыть о том, что многое в спорте оплачено соленым потом и неблагодарной черной работой, вопреки извечному стремлению брезгливого Кролика не замараться, не знать об этой изнанке и самому не быть к ней причастным. — Нашего аса чтобы никто пальцем не тронул! Полюбуйтесь, как у него все легко и просто. — Ронни в свое время весь кипел оттого, что Марти Тотеро выпускал его, Ронни, на площадку всякий раз, когда жесткие ребята из команды соперников начинали грубо играть против Гарри, чтобы он взял их на себя. Обеспечить заслон, так это теперь называется.

— Для меня все было тоже не так легко и просто, как выглядело со стороны, — говорит ему Кролик. Он переводит взгляд на Тельму, он хочет быть с ней поласковей, ведь она нашла в себе силы пренебречь мужниным гневом, заставила его сопровождать ее сюда. Ее никогда не останавливали опасения унизить Ронни, она дарила Гарри свою любовь безоглядно, и даже сейчас, когда любовники оба сломлены каждый своим недугом, ее близкое присутствие вновь дает ему неповторимое ощущение покоя и защищенности, какое испытываешь подле немногих женщин, благословенное чувство, что с ними ты всегда на высоте, как бы и что бы ты ни делал. — Как ты, Тел? Что врачи говорят? Обещают справиться?

— Аа-а! Конечно, они не скажут ложись и помирай, но организм уже так измотан!.. Сопротивляться ведь тоже можно только до какого-то предела. С болью я еще могла бы смириться и с непроходящей слабостью тоже, но когда отказывают почки, как не пасть духом? Что за радость жить, когда самые элементарные вещи становятся проблемой? Гарри, помнишь то место из Библии, которое нам часто читали в школе на молитвенных собраниях, пока их не отменили, — о том, что всему свое время? Время собирать камни, и время разбрасывать камни? Так вот, я все чаще думаю, что мне время сдаваться.

— Тел, не надо, не говори так, — вмешивается Ронни, вкладывая в эти слова свой, личный, жар. Он тоже любит эту женщину, тоже зовет ее Тел. Гарри приходит в голову мысль, что двое мужчин на одну женщину, и наоборот, пожалуй, совершенно нормальный расклад, точно так же нам одинаково необходимы дни будничные и праздничные, день и ночь. Ронни говорит сердито, раздосадованный тем, что она готова сдаться; майский вечер незаметно поглощает его, делает почти неразличимым на фоне растворившейся в полумраке стены, и мало-помалу начинает казаться, будто Гарри и Тельма совсем одни в комнате, как в те украдкой выкроенные дневные часы, когда слышно было, как бьются их сердца и тормозят снаружи, на извилистых улочках школьные автобусы, или тогда, на Карибах, в их первую ночь, когда они до рассвета не смыкали глаз, а затем, не сговариваясь, будто они были одно целое, провалились в сон, а за окнами, за опущенными жалюзи, уже начинал бледнеть синий тропический воздух и уже смолкало слабое ночное перешептывание пальм. Голос бестелесного Ронни говорит возмущенно: — У тебя трое сыновей, они хотят, чтобы ты жила до глубокой старости.

Тельма лукаво улыбается Гарри, ее лицо проступает бесцветной восковой маской в свете майского дня, угасающего над узорчатыми кирпичными карнизами и трубами, которые отчетливо видны из окна.

— Да зачем им это, Рон? — спрашивает она, поддразнивая мужа, но не отрывая взгляда от лица Гарри. — Они уже взрослые. Все, что я могла, я для них сделала.

Бедный Рон не знает, что отвечать. Может, у него слова в горле застряли. Сжалившись, Кролик приходит ему на выручку:

— Как дела на страховом фронте, Рон?

— Положение более-менее выровнялось, — слышится в ответ его хрипло-угрюмый голос. — Не сказать, что плохо, но и не очень хорошо. Некоторые компании сильно пострадали из-за скандала со ссудо-сберегательными ассоциациями, но нас это не коснулось. По крайней мере народ перестал спекулировать страховками — занимать под них деньги, закладывать их под пять процентов, а вырученную сумму снова вкладывать под десять, как это многие практиковали. В результате мы терпели бешеные убытки.

— Как ни странно, есть свои преимущества даже в том, что стареешь, дряхлеешь, дуреешь, — замечает Гарри. — По крайней мере ты и тебе подобные оставят свои попытки всучить мне очередную страховку.

Из коридора доносятся звуки шагов, позвякивание кастрюль и свет там как будто стал ярче. В больницу пришел вечер.

— Совсем не факт, — возражает ему Ронни. — Могу устроить вам с Дженис очень выгодную пожизненную страховку, если интересуетесь. Есть у меня один знакомый врач, он не станет придираться по мелочам. Один инфаркт у тебя уже был, и ты выкарабкался, это очко в твою пользу. Давай набросаю тебе кое-какие цифры.

Гарри его не слушает и вновь обращается к Тельме:

— Мальчики в порядке?

— Да, надеемся. Вроде все ничего. Алексу предложили место в Виргинии, недалеко от Вашингтона — что-то связанное с высокими технологиями. Джорджи рассчитывает, что его возьмут в труппу мюзикла и уже этим летом он будет выступать с ними перед отдыхающими в Катскиллских горах[[120]](#footnote-120).

— Дженис только что сообщила мне одну важную вещь. Ей удалось получить согласие Нельсона пройти курс лечения в наркологическом реабилитационном центре.

— Это замечательно, — говорит Тельма, и так сердечно, так искренне звучит ее голос в полумраке, будто он растворен не в воздухе, а в самой его крови, введенный ему внутривенно. И все их послеполуденные часы, когда их тела были переплетены и флюиды их перетекали и смешивались, не исчезли бесследно, они и сейчас в нем, с ним, каждая его клеточка хранит эту память.

— Спасибо за добрые слова, — говорит он и, осмелев, быстро берет ее прохладную руку — ту, что без шунта, — в свою и приподнимает ее с колен, слегка коснувшись тыльной стороной ее груди.

От стены отделяется голос Ронни:

— Пора, Тел.

— Спасибо, Рон, что привел ее ко мне.

— Для аса Энгстрома — все, что угодно. Мы просто были тут же, в здании.

— Ас-то я ас, вопрос только в чем. На сегодняшний день ответ ясен — ни в чем.

— Как знать, — ворчливо буркает Ронни. Смотри-ка, не такой уж он скот.

Тельма с усилием поднялась на ноги и, склонившись над его кроватью, спрашивает, вот так, открыто, при Ронни:

— Милый, один поцелуй на прощание — осилишь?

Осилить, конечно, можно, но Тельмино холодное, бледное, прощальное лицо, мимолетно прижавшись к его лицу, так что губы их встречаются косо, неловко, обдает его слабым, как бы издалека донесшимся, уриновым запашком. Оставшись опять наедине с самим собой в палате, он вспоминает, как, бывало, целовал на прощание Тельму у нее дома, и рот ее хранил еще кисловато-молочный привкус его самого, его спермы. Она в такие минуты была еще вся разнеженная, одурманенная их любовным свиданием и ничего сама не замечала, а он пытался скрыть брезгливое отвращение, вызванное его же собственным запахом на ее губах. Подобное чувство он испытывал — снова тягостное воспоминание, — когда Никсон, уже замаранный слухами об Уотергейте, в разгар какого-то очередного топливно-энергетического кризиса в стране, появился на экране телевизора и призвал соотечественников по-хозяйски расходовать тепло в домах и переключить свои домашние термостаты на пониженный режим, что не только сэкономит стране топливо, но, согласно данным научных исследований, поможет сохранить здоровье, поскольку нам всем только на пользу жить в домах с низкой температурой воздуха. Большое, во весь экран, озлобленное, испуганное лицо и мокрые, подрагивающие губы. То был их президент — мошенник или нет, не суть важно, — бесславно сорвавшийся вниз, но не оставляющий попыток сказать то, что от него требовалось; и Гарри как американский гражданин и патриот внял призыву — пошел и привернул свой термостат.

Дженис просыпается рано — не спится, слишком много волнений; ей предстоит длинный и нелегкий день: в девять проводить Нельсона, в полдень забрать из больницы Гарри, в семь написать зачетную работу по британскому законодательству, регулирующему вопросы недвижимости, в бруэрском филиале Пенсильванского университета, который помещается в переоборудованном бывшем здании средней школы на Сосновой улице, в той части города, где ей не сразу удается найти парковку, особенно по вечерам. В Пенн-Парке в середине мая день начинается с поцелуя утренней прохлады, совсем как во Флориде; их небольшой, сложенный из известняка домик уютно устроился в окружении уже полностью одетых в листву деревьев. Все дни, пока Гарри лежит в больнице, ее не покидает радостное чувство, усугубляющее, как водится, угрызения совести: она упивается тем, что можно свободно приходить и уходить, ни перед кем не отчитываясь, и ложиться спать когда пожелаешь, и по телевизору смотреть что душе угодно. Ей, к примеру, нравятся передачи из цикла «Неразгаданные тайны» по средам, вечером, но Гарри, который всегда сидит тут же рядом, в кабинете ли, в постели, не переставая зудит, что все эти байки про «загадочные явления» чушь собачья, и, если немножечко подумать, легко заметить, что опираются они на свидетельства людей либо с психическими отклонениями, либо просто нечистых на руку. Чем Гарри становится старше, тем он циничнее; а ведь когда-то он был даже по-своему религиозен. Не может быть, чтобы по телевидению пускали целый цикл передач, в которых нет ни грана правды, и Роберт Стэк, ведущий, производит впечатление в высшей степени здравомыслящего человека. Вчера, из-за их с Чарли совместной вылазки в новый вьетнамский ресторан на скоростной отвилке в сторону Мэйден-Спрингса (было очень мило, правда, она так и не поняла назначения пузырчатых жестких рисовых лепешек, по виду напоминающих неудавшиеся блинчики, а по вкусу настолько никаких, что к ним так и просится какой-нибудь соус) она успела захватить только последние десять минут из еженедельного драматического сериала «Про тех, кому за тридцать», который она по вторникам старается не пропускать, потому что ей интересно вспоминать и сравнивать нынешнее время с тем, когда ей самой было за тридцать и она была опутана цепями обязательств, как всякая мать — жена — дочь, а потом ненадолго стала любовницей Чарли и места себе не находила, и терзалась сознанием вины, и даже подруг у нее не было, кроме Пегги Фоснахт, и та в конце концов бухнулась в постель с Гарри, впрочем, чего там, она уже покойница, ужасно, ужасно, лежит, гниет в своем гробу, вся ссохлась как мумия, нет, это такой кошмар, что сознание отказывается это постичь, и все же никуда от этого не денешься, это случается сплошь и рядом, в том числе и с людьми одного с тобой возраста. Одна, без Гарри, она, проголодавшись, может похлебать куриного супчика «Кэмбелл» прямо из консервной банки, даже не разогревая, только покрошив туда немного крекеров «Ритц», и позабыть на время о том, что ей нужно обеспечить ему особое, тщательно сбалансированное питание, не содержащее, по возможности, ни жиров, ни соли, а потом еще выслушивать его брюзжание, как все пресно и безвкусно. Поди знай, так ли уж худо остаться вдовой, нет-нет да и промелькнет у нее мыслишка, хотя мыслям таким в голове не место и она их старательно изгоняет.

Прошлой ночью, примерно с час, лил сильный дождь, так барабанил по кондиционеру за окном, что не давал ей спать, и нынче вечером по прогнозу снова ожидается ливень, хотя сейчас над участком поднимается легкий туман, рыжеватый от косых лучей солнца, проникающих сквозь высокие соседские деревья, неподалеку от которых Гарри разбил небольшой огородик, в подражание тому, что был когда-то у его родителей позади дома на Джексон-роуд; все его посадки — это салат, морковка и кольраби: любит зелень похрумкать, есть у него такая слабость. Потягивая кофеек, она смотрит программу «Сегодня» и отмечает, что Брайант и Уиллард уже оба немного оправились после кошмарной неприятности, которая их постигла, когда сугубо личная записка Брайанта каким-то образом попала в газеты, — людям теперь не оставляют ничего личного, охотники за скандалами не могут угомониться, пока не выволокут напоказ все грязное белье, без конца что-то вынюхивают и высматривают, не жалея сил, мечтают еще один Уотергейт выискать, ее отец из-за Уотергейта и умер, и никто ее в этом не разубедит. В новостях почти сплошь Китай и Горбачев — никогда не знаешь, в какой момент коммунистам приспичит объединиться в одну шайку-лейку и совместными усилиями на тебя ополчиться, — да еще Панама, где этот рябой черт Норьега никак не хочет уйти по-хорошему с насиженного места, а вот и Пенсильвания — вчера здесь проголосовали против налоговой реформы, за которую ратовал губернатор Кейси; люди заподозрили, что это повлечет за собой рост налогов, а за последние десять лет еще не было случая, чтобы американцы руководствовались чем-либо, кроме собственных шкурных интересов.

Она пытается сообразить, что лучше на себя надеть, если едешь попрощаться с сыном, отбывающим на лечение в клинику для наркоманов, а потом все утро сидеть нянькой при Рое, дожидаясь Пру, которая повезет Нельсона в Северную Филадельфию, — та уже вся на нервах, и немудрено, на дорогах теперь жуть что творится, бывает, прижмется сзади какой-нибудь мерзавец, стукнет тебя, а когда ты выйдешь с ним разобраться, нажмет на газ и откатит твою машину с глаз долой, прошли уже те времена, когда Филадельфия славилась дружелюбием и добрососедством, а для молодой да привлекательной женщины, как Пру, ехать одной и подавно опасно. Пру рассчитывает вернуться к полудню, с тем чтобы Дженис успела забрать Гарри из больницы — двенадцать тридцать крайний срок, предупредила ее дежурная сестра: в день выписки у них не положено кормить ленчем, к тому же санитарки, которые приходят прибрать в палате и застелить чистое белье, очень не любят, если потом на это белье кто-то плюхается, пачкает его и после отбывает восвояси. Когда она думает о Гарри и его сердце, у нее от беспокойства поднывает в желудке, мужчины, как выясняется, такие хрупкие, хотя этот симпатичный доктор Брейт, со всеми его веснушечками, в восторге оттого, как поработал баллончик, и все-таки Гарри теперь стал смотреть на себя иными глазами, чем прежде, даже говорит о себе, словно о ком-то, кого он знал очень давно, и ведет себя точно малое дитя, такого на ее памяти еще не было, чтобы он совершенно устранился и позволил ей все решать самой. Она не представляет себе, как оставит его одного в доме в первый же вечер после больницы, но и пропустить зачет на курсах тоже не может, словом, единственный разумный выход для нее — учитывая сегодняшнюю кутерьму с отъездами и приездами и состояние детей, расстроенных разлукой с отцом, которого увозят от них куда-то далеко, где его будут лечить, — перебазироваться в старый мамин дом и надеть по этому случаю элегантный костюм из тонкой шерсти, купленный два года назад в универмаге «Уонамейкерс» в торговом центре на территории бывшей ярмарки (то-то они детьми радовались, когда их отпускали с занятий из школы, уж на каких только качелях-каруселях они там не катались, вот мальчишка напротив взлетает вверх над тобой, а вот он уже внизу, и небо ходит ходуном, и юбка вытворяет бог знает что, и пахнет опилками и «сахарной ватой», а карлики, а всякая живность, а призы за метко накинутое на колышко кольцо — почему-то колышки всегда оказывались толще, а дырки в кольце меньше, чем казалось вначале), — сине-белый костюмчик, разлетающаяся при ходьбе темно-синяя юбка в складку, свитерок цвета топленого молока и синий пиджак без пуговиц с плечиками, которые в химчистке как пить дать либо свернут в сторону, либо сомнут, либо и вовсе оторвут, ужасная мода, если говорить о ее пригодности для химчистки. Когда она впервые показалась Гарри в своем новом костюме, он сказал, что она в нем похожа на малявку полицейского — вероятно, подкладные плечи да еще кантик на карманах создавали впечатление униформы, но зато, прикидывает она, вид в нем будет приличный, даже если проходить целый день, от тяжелой минуты прощания с Нельсоном, когда ей понадобятся все силы, чтобы не сломаться, до зачета, где придется вспоминать неудобопроизносимые допотопные термины: какие-то маноры, лены с ленниками, фригольды и копигольды, и протоколы Манориальной курии, и продажа недвижимости под «мертвую руку», и легаты, и lex loci rei sitae[[121]](#footnote-121), и бог знает что еще. Маленькие старые парты, за которыми сидели ученики начальных классов, выдрали из пола и вынесли вон, а взамен установили новые кресла из полых алюминиевых трубок в сочетании с оранжевым пластиком, с одним широким подлокотником, загибающимся вперед, чтобы создать подобие столика, но старые школьные доски остались на месте, уже не черные, а серые от въевшейся за многие годы меловой пыли, как и высоченные окна, которые ни закрыть, ни открыть без длинного шеста невозможно; остались и плывущие под потолком лампы, похожие на сплющенные луны, на большие полые цветы, подвешенные на тоненьких стебельках головками вниз. Дженис нравится снова чувствовать себя ученицей, старательно следить за объяснениями учителя, узнавать что-то новое и одновременно сознавать присутствие других учеников, слышать, как они дышат, как иногда шаркнет по полу чья-то подошва в сосредоточенной тишине урока. У них в группе три четверти женщин и почти все моложе ее, но все-таки не все: к ее большому облегчению, она тут не самая старая, да и не самая тупая, если на то пошло. Годы, горе, опыт эпизодической работы в магазине кое-чему ее научили; ей жаль, что родители не дожили до этого дня и не видят, как она сидит сейчас в классе с двадцатью пятью другими учениками и грызет гранит науки в надежде получить специальность и лицензию, а за высокими окнами шумит город, доносятся обрывки латиноамериканских мелодий и подогнанные под местную латиноамериканскую моду машины с ревом проносятся по Сосновой, не видят ее с ее тетрадями и карандашами и желтым маркером (когда она заканчивала школу, маркеров еще в помине не было); но, с другой стороны, если бы они до этого дня дожили, ни на каких курсах она сейчас бы не сидела — у нее просто не хватило бы духу. Родители у нее были замечательные, но они не верили, что она способна сама о себе позаботиться, а когда она вышла замуж за Гарри, это недоверие в них окончательно укрепилось. Она не умела принимать верные решения.

Занятия у них ведет мистер Листер — печальный, длинный, какой-то весь помятый, лицом в нижней части похожий на собаку. За предыдущую работу он поставил ей «хорошо» и вообще, как она заметила, относится к ней с симпатией. Ее соученики, даже самые молодые, тоже к ней расположены, угощают сигареткой во время небольшого перерыва в восемь тридцать и зовут пойти выпить с ними по кружечке пива после окончания занятий, в десять. До сих пор она отнекивалась, но как-нибудь надо будет составить им компанию — когда с Гарри все немного определится, — хотя бы для того, чтоб ее не считали ханжой и воображалой. Еще ее радует, что она не распустила себя, как некоторые женщины ее возраста из их группы, — дрожь берет, право слово, когда смотришь на эти бесформенные груды мяса, и никаких попыток привести себя в божеский вид, так и таскают за собой свои сотни фунтов, еле-еле в школьные кресла протискиваются. И долго, интересно, можно жить в таком состоянии? Господь не слишком щедро одарил Дженис, но один из Его бесспорных даров ей — ладно скроенная фигура, и Дженис постаралась сберечь этот дар не только ради себя самой, но и ради Гарри тоже. И что любопытно, чем старше она становится, тем больше он ею гордится. Иногда так на нее посмотрит, будто она сию секунду свалилась к нему с Луны.

Несмотря на хороший темп, взятый ею с самого утра, в центре Бруэра она все-таки попадает в поток вяло тянущихся друг за другом машин и ползет вместе со всеми — час пик. Машины, машины, и куда все едут? На склоне горы, обращенном в сторону шоссе, видны следы вчерашнего ливня — длинные извилистые траншеи размытой красной глины: верхний слой, траву, все снесло. На Джозеф-стрит она останавливает машину у тротуара и по дорожке идет к дому, страшась того хаоса, который она сейчас там застанет, однако Нельсон уже одет в один из своих бежевато-серых костюмов, а Пру — в коричневые слаксы и мужского покроя рубашку цвета хаки, поверх которой на спину наброшен толстый красный свитер со связанными впереди рукавами, словом, одета по-дорожному. Вид что у нее, что у Нельсона бледный, изнуренный; так и кажется, будто сейчас увидишь у них вокруг голов особое свечение от мощного заряда внутренней психической энергии — такие случаи, сколько бы Гарри ни фыркал презрительно, не раз описывались в «Неразгаданных тайнах».

В кухне, показывая Дженис, где лежит особый бутерброд с арахисовым маслом и медом, приготовленный именно так, как любит Рой (в противном случае у него все немедленно летит на пол, даже обожаемый детьми торт «Лакомка» на десерт), Пру, сочтя, по-видимому, что свекровь заметила в ее поведении какие-то странности, объясняет негромким, торопливым, сбивающимся голосом:

— У Нельсона в доме оставался припрятанный кокаин, и его посетила идея, чтобы мы с ним напоследок, до его отъезда, все употребили. Для одного там было многовато, даже для него, и я попробовала — несколько дорожек. Честное слово, не понимаю, что его так притягивает — щиплет, жжет, я вся исчихалась, потом не могла уснуть, а в остальном ровным счетом ничего. *Ничегошеньки.* Я так и сказала ему: «Если из-за этого весь сыр-бор, не вижу никаких проблем — бросить и забыть». Лично мне труднее было бы отказаться от шоколадки «Херши».

Но уже одно то, что она так разговорчива, так легко и свободно с ней откровенничает, то и дело отводя прямые рыжие волосы со лба каким-то ласкающим движением обеих рук, подрагивающими кончиками пальцев, убеждает Дженис в определенных химических последствиях этого эксперимента. Ее сын заражает все кругом. Он заражает все, до чего ни дотронется. Вот итог ее материнства — она подарила миру губительную силу.

Пока они ходили в кухню, Нельсон оставался в гостиной; сидя в дедовом кресле с Роем на руках, он что-то нашептывает мальчугану, тихонько дует на него, щекоча ему ушко. Он поднимает навстречу матери лицо, на котором написана боль несправедливой обиды, и говорит ей:

— Ты, конечно, понимаешь, почему я согласился?

— Чтобы спасти свою жизнь, — говорит ему Дженис, забирая у него с колен ребенка. Рой тяжелеет не по дням, а по часам, и она поскорее опускает его на пол. — Пора почаще заставлять его ходить своими ногами, — объясняет она Нельсону.

— Ну да, заставлять — как ты заставляешь меня идти в это дурацкое, бесполезное заведение, — отзывается Нельсон. — Я хочу, чтобы на этот счет была полная ясность. Я отправляюсь туда только потому, что ты меня вынуждаешь, а не потому, что я признаю, будто у меня есть какие-то проблемы.

На нее вдруг наваливается такая смертельная усталость, словно это не начало, а уже самый конец сегодняшнего тяжелого дня.

— Благодаря тому, как удачно ты, судя по всему, распорядился деньгами, проблемы есть не только у тебя, а у всех нас. Одна большая проблема.

У сына на лице едва ли дрогнул один мускул, но на какую-то долю секунды он все же опустил веки, прикрыв глаза своими пушистыми ресницами, немного даже слишком пушистыми для молодого человека. У нее всегда сердце кровью обливается, когда она видит его ресницы.

— Это просто долг, только и всего, — твердит он. — Если бы Лайл не чувствовал себя так скверно, он сумел бы тебе все толково объяснить. Мы просто одалживали под будущую прибыль. В конце концов мы все бы уладили.

Дженис думает о предстоящем сегодня вечером зачете и о несчастном Гарри — о металлическом червяке, которого загнали ему в сердце. Сыну она говорит:

— Милый мой, ты долго и упорно крал, и не какие-нибудь гроши из копилки с мелочью. Ты наркоман. Ты не ведаешь, что творишь. Ты перестал быть самим собой, и сколько это уже продолжается, я не знаю, но все мы хотим только одного — чтобы ты снова стал прежним.

Его губы, такие же тонкие, как у нее, упрямо поджимаются и практически исчезают под усами, которые, кажется, стали длиннее.

— Я только балуюсь, расслабляюсь от случая к случаю для снятия напряжения, совсем как ты — ты пьешь, я нюхаю. Нам с тобой без этого никак. Неудачникам, мам, нужно себя подкачивать.

— Я не считаю себя неудачницей, надеюсь, и ты себя не считаешь, Нельсон. — Она чувствует, как все внутри напрягается, но старается не повышать голоса, говорить спокойно и ровно, как поступил бы в подобном случае Чарли. — У нас с тобой уже был разговор на эту тему во Флориде, и ты тогда дал ряд обещаний и ни одно из них не выполнил. Твои проблемы — слишком тяжкая обуза для меня, и для твоей жены тоже, и для твоего отца — для него это уже обуза непосильная.

— Да папе до меня дела нету!

— Ему есть до тебя дело. Не перебивай меня. Скажу больше: твои проблемы — слишком тяжкая обуза для тебя самого. Тебе необходимо поехать — там у них налаженная методика работы с подобными пациентами. Специалист, который тебя консультировал, придерживается того же мнения.

— Айк говорит, это надувательство. Он говорит, вообще вся наша жизнь надувательство.

— Это у него такая негритянская манера изъясняться. Он сам тебя записал в клинику, он обеими руками за то, чтобы ты туда поехал.

— А что, если я не выдержу? — Они с Гарри ни разу в жизни не отправили его в летний лагерь, все боялись, вдруг он не выдержит.

— Придется выдержать, иначе...

— Ну-ну, продолжай, мам, — иначе что?

— Иначе то.

Он пробует немного поиздеваться над ней:

— Ах, то! Понятно. Что же вы там с Чарли и с папой Гарри такое задумали, уж не в тюрьму ли меня засадить? — Вопрос для него не праздный; нервы у него расходились, он громко шмыгает носом и потом механически потирает свои воспаленные покрасневшие ноздри.

Она пытается срочно придумать достойный, а главное, правдоподобный ответ:

— Мы никуда тебя засаживать не собираемся. На это есть компания «Тойота» и полиция — достаточно дать им сигнал.

Он снова шмыгает носом, не верится ему что-то.

— Зачем вам поднимать шум? Я все верну. Я с самого начала собирался вернуть деньги. Видно, тебе твой дурацкий магазин дороже меня.

Однако его попытка взять беспечно-шутливый тон запоздала — она больше не настроена проявлять снисходительность; она охвачена праведным гневом, она до глубины души оскорблена.

— Ты крал у меня, но я не об этом. Ты обворовывал деда. Ты по кирпичику разворовывал то, что он построил своими руками.

Настороженные глаза Нельсона широко раскрываются; в тусклом полумраке гостиной на лице его проступает тюремная бледность.

— Дедуля всегда мечтал, чтобы я заправлял делами в магазине. А дети, ты о детях моих подумала? Что будет с Джуди и Роем, если ты приведешь свои угрозы в исполнение? — Рой между тем расхныкался, шлепнулся на пол и теперь навалился ей на ноги в расчете отвлечь ее внимание на себя, как видно, тональность этого разговора была ему не по нутру.

— Раньше надо было думать о детях, раньше, — каменным голосом говорит Дженис. — Их ты тоже обкрадывал. — Она испытывает горечь и одновременно гордость от своей каменной твердости; голова у нее как чужая, но мысли ясные; она словно со стороны наблюдает, как продукт ее собственного чрева корчится у ее ног. Эта отчужденность сознания, догадывается она, должно быть, и есть *власть*, о которой столько всегда разговоров на занятиях женской группы во Флориде, — та власть, какой всегда обладали мужчины.

Нельсон решает зайти с другого конца и продемонстрировать свое собственное негодование.

— Все, хватит, мам! Только вот этого мне не надо — «Как ты мог поступить так с мамой и папой?» А как вы поступали со мной, забыла? Что вы на пару вытворяли, когда умерла малышка Бекки, из-за вас у меня и сестры-то не было, а потом, когда ты сбежала со своим сальным греком и мой чокнутый папаша привел в дом Джилл и Ушлого и они совали мне наркотики, мне, ребенку?!

Дженис неожиданно для себя замечает, что, несмотря на всю свою твердокаменность и внутреннюю решимость, она плачет, и в горле у нее першит, и слезы в три ручья текут по лицу. Она отирает их тыльной стороной руки и срывающимся голосом спрашивает:

— Много — много этой отравы они в тебя засунули?

Он морщится и слегка притормаживает.

— Ну, не знаю, — мямлит он. — Иной раз давали травки пыхнуть. Но сами-то они не только траву курили, и я все видел, никто не считал нужным меня оберегать.

Она прижимает скомканный клинекс к лицу, к глазам, и думает, как бездарно начинает она сегодняшний день, а ведь готовилась, костюм надела такой, чтоб к любой роли подходил, — и матери, и бабки, и заботливой жены, и ревностной студентки, и в недалеком будущем деловой женщины.

— Наверно, детство твое не было безоблачным, — признает она, похлопывая себя под глазами, сумев наконец настроиться на следующую роль, — но у кого оно безоблачное? Проще простого сидеть сложа руки и обвинять родителей. Мы старались как могли, но мы же тоже были живые люди.

— Живые люди! У вас теперь так это называется! — возмущается он.

— Видишь, Нельсон, — говорит она ему, — пока ты сам еще мал, ты, естественно, смотришь на родителей как на божество, но теперь ты уже достаточно взрослый, чтобы спокойно принимать их такими, какие они есть. Отец сейчас нездоров, а я из последних сил пытаюсь еще что-то в своей жизни сделать, и времени для этого у меня остается совсем немного, у нас просто нет возможности уделять тебе и всем твоим заскокам столько внимания, сколько мы, по твоему разумению, обязаны уделять. Ты уже в том возрасте, когда пора самому за себя отвечать. Всем, кто тебя хоть немного знает, совершенно ясно, что курс лечения в Филадельфии — это твой единственный шанс. Мы все постараемся на три месяца надежно прикрыть твои тылы, но когда в августе ты вернешься, рассчитывай только на себя. Поблажек больше не будет, на меня, во всяком случае, не надейся.

Он обиженно фыркает.

— Я-то наивно думал, что мать любит своего ребенка что бы там ни было. — И, словно намереваясь воздействовать на нее и физически, он рывком поднимается с дедова кресла и становится рядом, возвышаясь над ней на несколько жалких дюймов.

Она снова чувствует, как в горле начинает щипать, а в глазах закипают слезы.

— Если бы я тебя не любила, — говорит она, — я бы палец о палец не ударила, губи себя сколько хочешь! — У нее не осталось больше слов в запасе; она порывисто устремляется навстречу белому разобиженному лицу и сжимает сына в объятиях, а он, нехотя, посопротивлявшись сперва, уступает и тоже обнимает ее, поглаживая сзади по лопатке своими, как выражалась Гаррина родительница, «маленькими спрингеровскими ручками». Вот *она*, мстительно думает Дженис о свекрови, действительно была преступной матерью, за всю свою жизнь ни разу не сумевшей сказать сыну нет.

Нельсон шепчет ей на ухо, что все у него будет хорошо, и вообще все будет хорошо, просто он вымотался, немного загнал себя.

Пру спускается вниз с двумя объемистыми чемоданами в руках.

— Не знаю, по каким случаям там надевают костюм и как часто это бывает, — говорит она, — а вот чего должно быть много, если я правильно понимаю, так это лечебной физкультуры и физиотерапии, поэтому я собрала тебе все спортивные трусы и носки, какие мне удалось отыскать. Джинсы тоже уложила — наденешь, когда вас пошлют полы драить.

— Пока, папа, — подает голос Рой откуда-то у них из-под ног. Поскольку у его матери руки заняты, Дженис сама поднимает его кверху, хотя для нее он становится тяжеловат и ногами дрыгает — не удержишь, чтобы отец поцеловал его на прощание. Малыш немедленно вцепляется Нельсону в уши, и она ума не приложит, откуда у Роя эта привычка делать другим больно, чтобы показать, как он их любит.

После того как его родители отбыли в «селике-супре» винно-красного цвета (за руль сел Нельсон), Рой ведет бабушку за дом, где на месте бывшего Гарриного огорода с низенькой проволочной изгородью вокруг, через которую он легко перешагивал, установлены детские качели и горка, купленные еще пять лет назад для Джуди и теперь проржавевшие и заброшенные. Хотя лето еще в самом начале, у подножия металлических опорных штанг буйно разрослась трава. Дженис кажется, она узнает перистые верхушки моркови и листья кольраби, затерявшиеся среди подорожника и одуванчиков; желтые головки одуванчиков превратились уже в полные семян белые помпоны, стоит на них обрушиться сломанной хоккейной клюшке, которой малыш Рой рубит направо-налево, точно самурайским мечом, они мгновенно разлетаются. Спрингеры вселились в этот дом, когда Дженис было восемь лет, и сейчас, когда она смотрит на него со стороны огорода, большой дом кажется ей непривычно голым без старого бука. По небу вдогонку друг за другом летят пухлые облака с темными, чернильного оттенка, сердцевинами, возможно, предвещающие дождь. Метеослужба нынче утром опять накликала на них ливни, правда, не такие сильные, как прошлой ночью. Она ведет Роя прогуляться по плиточкам тротуара вдоль Джозеф-стрит; кое-где плитки заменили, но все равно она нет-нет да увидит знакомую трещину, а вот и две плитки, чуть вздыбленные корнями платана, отчего на поверхности тротуара образовался коварный маленький холмик, всегда подстерегающий беспечных девчонок на роликах. Кое-что она по пути рассказывает внуку, называет имена людей, которые когда-то жили в домах по соседству, но его хватает всего на один квартал, а потом он начинает кукситься и пищать от усталости; нынешние дети как будто от рождения лишены заряда физической энергии, здоровой потребности самим все исследовать, тогда как в ее пору чего-чего, а этого у них было хоть отбавляй, что у мальчишек, что у девчонок, сама вечно бегала с ободранными перепачканными коленками, и мама отчитывала ее за неопрятный внешний вид. На протяжении всей их прогулки искра интереса у Роя вспыхивает лишь однажды — когда у них на пути оказывается цепочка мягких муравьиных холмиков, протянувшаяся между двумя трещинами в тротуаре, каждый холмик словно горка молотого кофе. Он поддевает их ногой и топчет, топчет муравьиную армию, которая беспорядочно мечется в отчаянном порыве спасти муравьиную матку. Бойня изнуряет его, муравьишки прибывают и прибывают, и в результате ей ничего не остается, как подхватить маленького увальня на руки и отнести его домой — и всю обратную дорогу его ребячьи кроссовки бьют ее по животу, по юбке в складку.

По одному из кабельных каналов все утро гоняют мультфильмы. Отряды рисованных супергероев, которые двигают за раз только какой-нибудь одной частью тела и говорят, шевеля только нижней губой, сражаются в открытом космосе с мерзко квохчущими злодеями из других галактик. Рой засыпает перед телевизором, зажав в ладошках разломанную пополам, обмусоленную, раскрошенную печенинку из овсяных отрубей с малым содержанием сахара, какими его потчует Пру. Этот дом, где Дженис провела столько лет, — фиалки в горшках, знакомые безделушки, все в трещинках коричневое кресло, папино любимое, в котором он часто сидел, прикрыв глаза, пережидая, пока утихнет мигрень, обеденный стол в столовой, который, если верить маме, планомерно уничтожался приходившими прибирать в доме женщинами, поскольку все они просто забрызгивали поверхность стола каким-нибудь составом, придающим блеск мебели, и быстренько растирали его, и там нарастал слой липкого воска, погребая под собой благородную полировку, — этот дом только усиливает в ней чувство вины перед Нельсоном. Его бледное, перепуганное лицо, кажется, до сих пор проступает в полумраке гостиной; она поднимает жалюзи, повергая в изумление полусонных ос, ползающих по подоконнику с проворством старых артритиков. На противоположной стороне улицы, возле большого дома Шмелингов, растет кизил, возвышаясь над крышей крыльца; сейчас он в цвету и очертаниями смахивает на атомный гриб, знакомый всем по снимкам, сделанным во время испытаний атомной бомбы в те дни, когда русских еще боялись. Как могла она так жестоко обойтись с Нельсоном, и из-за чего? — из-за денег! При воспоминании о собственной суровости ее бросает в дрожь, пробирает до костей, до того податливого, мягкого, что еще осталось где-то в самой их сердцевине, заставляя ее физически содрогнуться от гадливости к самой себе, как после приступа рвоты.

Однако в этих чувствах никто из близких ее не поддержит. Ни Гарри, ни Пру. Пру возвращается не к полудню, как было договорено, а только во втором часу. Она говорит, дорога была настолько ужасная, что и представить себе нельзя, на Пенсильванской скоростной целый большой участок частично перекрыт, для движения оставлена всего одна полоса, а в Северной Филадельфии тоже наездишься, пока куда-нибудь доберешься, — это что-то невообразимое, какие-то бесконечные кварталы сплошных домов. И потом, уже на месте, нужно было ждать и ждать, пока Нельсона зарегистрируют, им там спешить некуда; а когда она попробовала что-то сказать, ей тут же дали понять, что вообще-то у них очередь и каждому принятому в затылок дышат еще трое. Пру почему-то кажется сейчас до странности чужой, и росту в ней вдруг словно прибавилось, и в лице стало больше озлобленности — тот образ, что хранится в ее, свекровиной, памяти, не вполне совпадает с тем, что видят ее глаза. Из связующей их цепи выпало ключевое звено.

— Как у него настроение? — спрашивает ее Дженис.

— Злился, но рассуждал вполне здраво. Замучил меня разными указаниями относительно магазина, чтобы я все в точности передала его отцу. Даже заставил меня записать. До него, как видно, не доходит, что он свое уже откомандовал.

— У меня так скверно на душе из-за всего, даже есть не могу, кусок в горле застревает. Рой заснул перед телевизором, и я не знала, будить его или нет.

Пру усталым жестом отводит назад волосы.

— Вчера вечером Нельсон не давал детям спать допоздна, носился по дому как умалишенный, тормошил их, целовал, усаживал играть с ним в карты. Он от своей наркоты и сам дуреет, и остальным покоя нет. У Роя в час игровая группа, надо скорее брать его и бежать.

— Прости, я же знаю, что он ходит в группу, но не знаю, где у них занятия и есть ли они по средам.

— Я сама должна была вас предупредить, но кто же мог думать, что съездить в Филадельфию и обратно — целое событие. В Огайо, помнится, смотаться в Кливленд ни для кого не составляло труда. — Хотя она впрямую не обвиняет Дженис за то, что Рой не успел вовремя попасть на занятия, но треугольником сошедшиеся на переносице брови выражают нескрываемую досаду.

А Дженис все хочет добиться от невестки отпущения своей вины.

— Как по-твоему, я действительно должна чувствовать себя преступницей?

Пру машинально переводит глаза с предмета на предмет, оглядывая и оценивая все то, из чего, в конце концов, если говорить о практической пользе и приложении собственных сил, складывается ее дом, и на мгновение фокусирует на Дженис свой холодный, ясный взгляд.

— Нет, конечно, — говорит она. — Для Нельсона это единственный шанс. И только вы могли заставить его им воспользоваться. Слава Богу, что вы на это пошли. Вы поступили абсолютно правильно.

В суждениях ее, однако, столько безапелляционности, что Дженис по-прежнему остается неудовлетворенной. Она касается языком середины верхней губы, где у нее возникает ощущение сухости. Там, посередине, все время образуется маленькая, до конца не заживающая трещинка.

— Но я чувствую себя такой... есть какое-то слово — меркантильной! Можно подумать, магазин меня волнует больше, чем собственный сын.

Пру пожимает плечами:

— Ничего не поделаешь, расклад здесь простой. У вас в руках главный козырь. Я, Гарри, дети — да Нельсон чихать хотел на всех нас. Мы для него пустое место. Он болен, Дженис. Это не ваш сын, это чудовищно изолгавшийся прохиндей.

Слова эти бьют ее наотмашь, и Дженис начинает плакать; а невестка, даже не думая ее утешать, поворачивается к ней спиной и, все такая же раздраженная, деловитая, собранная, идет будить Роя и переодевать его в чистые вельветовые брюки.

— Я сама уже давно опаздываю. Мы скоро приедем вдвоем, — говорит Дженис, чувствуя, что она со своими переживаниями никого тут не интересует.

Они с Пру еще раньше решили, что не стоит рисковать и оставлять Гарри одного в Пенн-Парке, пока она будет три часа отсутствовать на занятиях, и лучше ей привезти его из больницы сюда, здесь же он и заночует. По дороге в Бруэр она сгорает от нетерпения поскорее увидеть его на ногах и поделиться с ним своими терзаниями.

Но он, как и Пру, тоже ее разочаровывает. После пяти ночей, проведенных в больнице Св. Иосифа, он зациклен на себе и равнодушен ко всему остальному. С ним вообще что-то стряслось, разом, вдруг: кажется, ткни — и развалится, дышит и то с трудом; волосы, тускло-светлого оттенка, он намочил и зачесал наверх, как в юности, когда он выходил из школьной раздевалки с коком на голове. Они у него почти не тронуты сединой, но на висках поредели и кожа на впалых забровных выемках ссохлась и съежилась. Он весь словно воздушный шар, из которого потихоньку выпускают воздух: с каждым днем он все больше сморщивается, все ниже оседает к полу. Красновато-коричневые слаксы и синий пиджак теперь висят на нем, как на вешалке — больничная диета выжала из него несколько фунтов жидкости. А заодно из него как будто выпустили и силу духа — какой-то он заторможенный, рассеянный, таким был ее отец в последние пять лет жизни, когда он часами сидел в своем любимом кресле и с закрытыми глазами пережидал очередной приступ мигрени. Ей это кажется противоестественным: до сих пор в их союзе жизненная энергия распределялась далеко не равномерно, и бесспорное первенство всегда принадлежало Гарри — отсюда и его импульсивно возникающие потребности, и стойкое ощущение, что другие в нем души не чают, и его умение походя ее обидеть, и его невыраженная словами вечная угроза бросить ее при первом удобном случае. Ей кажется противоестественным, что это она за ним заехала и теперь она повезет его в своей машине, его, одетого и причесанного, как юнец, который явился за своей девушкой, чтобы везти ее куда-нибудь поразвлечься. Когда она пришла за ним, он сидел, обмякнув, на стуле возле кровати, и на полу между раздвинутыми ногами, обутыми в замшевые башмаки, стояла уже уложенная старая спортивная сумка с лекарствами и грязным нижним бельем. Она взяла его за руку, и он неуверенными шагами двинулся к лифту мимо сестер, которые пожелали ему на прощание счастливого пути. Одна, полноватая, помоложе других, была, кажется, искренне опечалена тем, что он их покидает, а разносчица-латиноамериканка сказала, метнув на Дженис горящий взор: «Пускай хорошо кушает!»

Гарри, полагает Дженис, мог бы хоть одним словом намекнуть, что он благодарен им всем за заботу; но всякий мужчина, даже если его хвороба пустячная, принимает женскую заботу как должное, и потому их, мужчин, благодарность никогда не изливается щедрым потоком. Только усевшись в машину, он раскрывает рот — и говорит ей гадость:

— Полицейскую форму зачем-то нацепила.

— У меня сегодня зачет, хочу прилично выглядеть. Боюсь только, не сумею сосредоточиться. Нельсон из головы не идет, все думаю и думаю.

Он плюхнулся рядом с местом водителя — колени упираются в приборную доску, голова лежит на подголовнике, весь его вид излучает самодовольство.

— А чего тут думать? — вопрошает он. — Он таки увильнул, никуда не поехал? Я знал, *знал*, что стервец даст деру.

— Никакого деру он не дал, и от этого все еще гораздо печальнее. Он отправился туда точь-в-точь как он отправлялся в школу. Гарри, я все спрашиваю себя, правильно ли мы поступаем.

Глаза у Гарри закрыты, словно для того, чтобы заслониться от нагромождения зрительных образов, настырно лезущих в стекла машины: там, за окнами, Бруэр с его окрашенными кирпичными домами, тяжеловесными, сложенными из песчаника церквями, величественным зданием суда, новым скромным небоскребиком зеленого стекла и непомерно разросшимся парком на месте бывшей Уайзер-сквер, где нынче находят убежище наркоманы и бездомные, те, кому домом служат картонные коробки и кто весь свой скарб хранит в украденных из магазинов самообслуживания тележках.

— А как нам еще поступать? — спрашивает он лениво. — Пру что думает?

— Ну, она-то за. Ей лишь бы с рук его сбыть. Я не сомневаюсь, что в последнее время он ее здорово допек. Да на нее только посмотреть — сразу видно, что мысленно она от него уже открестилась, вся такая независимая, бодренькая, грубить стала мне. Так мне показалось.

— Ладно, сама не становись в позу. Что Чарли, как он на это смотрит? Да, кстати, как ваш вьетнамский ужин вчера, удался?

— Не могу сказать, что я понимаю вьетнамскую кухню, хотя в целом мне понравилось. Посидели совсем немного, но было очень мило. Я даже успела застать дома конец «Про тех, кому за тридцать». Это была завершающая весенняя серия — Гэри пытался выгородить Сюзанну, про которую Хоуп пишет разоблачительную статью для журнала, так как ей стало известно, что Сюзанна запускает руку в кассу центра социальной помощи. — Все это она выкладывает ему на тот случай, если он подозревает ее в шашнях с Чарли, пусть знает, что у нее и времени-то не было побыть с ним наедине. Бедняжка Гарри, его не переубедить, что кому-то ничего этого уже не нужно.

По-прежнему не раскрывая глаз, он испускает тяжкий стон.

— Кошмар! Все как в жизни.

— Чарли гордится мною, — говорит она, — за то, что я не пошла на попятный с Нельсоном. У меня был ужасно тяжелый разговор с ним, с Нельсоном, сегодня утром: он сказал, что магазин мне дороже, чем он. И я теперь не нахожу себе места — а что, если он прав, что, если с годами мы стали чересчур уж расчетливыми? Он показался мне таким маленьким, Гарри, таким затравленным и озлобленным, как тогда — помнишь? — когда я ушла к Чарли. Как можно было бросить двенадцатилетнего ребенка? Вот за что надо сажать в тюрьму, и поделом бы мне! Чем я только думала, *чем?* Он все правильно говорит — кто я такая, чтобы читать ему нотации, чтобы посылать его в какое-то жуткое заведение? Ведь мне, когда я вытворяла бог знает что, было столько же лет, сколько ему сейчас. Ведь он же еще такой *молодой*, ты вдумайся! — Она снова плачет; вот будет смех, если она всерьез пристрастится к слезам, интересно, бывает такая зависимость? Все, что было в ее жизни темного, сомнительного, мучительно-постыдного, вдруг всколыхнулось и хлынуло наружу неудержимым горько-соленым потоком. Из-за слез она почти не видит дороги, и громко шмыгает носом, и сама над собой смеется.

Гаррина голова перекатывается на подголовнике, словно он нежится в лучах невидимого солнышка. Однотонное светло-серое небо постепенно затягивается облаками, их темные сердцевины все теснее сбиваются в сплошные грозовые тучи.

— Ты пыталась что-то изведать, опробовать, — объясняет ей Гарри. — Пыталась жить, пока пороху хватало.

— Да я не имела *права*, и ты тоже не имел права поступать так, как мы поступали!

— Бога ради, давай без надрыва. Время тогда было такое, — говорит он. — Шестидесятые. Вся страна как с цепи сорвалась. Мы с тобой еще более-менее прилично выглядим. Как-никак перебесились и снова сошлись.

— Да, но иногда мне кажется, что мы просто пошли по линии наименьшего сопротивления, и все. У нас не получилось сделать друг друга счастливыми, Гарри.

Ей хочется, чтобы он вместе с ней посмотрел правде в глаза, но он только улыбается, будто во сне.

— У тебя очень даже получилось, — говорит он. — А если не получилось у меня, что ж, мне очень жаль.

— Прекрати, — одергивает она его, — прекрати все время зарабатывать очки в свою копилку. Я говорю серьезно. Ты сам знаешь, я всегда тебя любила, хотела тебя любить, если бы ты мне позволил. Всегда — еще со школы или уж, во всяком случае, с «Кролла». Об этом, между прочим, мне и Чарли говорил вчера — как я всю жизнь по тебе с ума сходила. — Лицо у нее пылает; его упорное нежелание говорить с ней серьезно вызывает у нее мучительное смущение; она жмет на газ, сворачивает на Эйзенхауэр-стрит. Луч солнца в разрыве облаков зажигает капот их «камри», но тут же он снова погружается в густую тень от черной тучи. — А ресторанчик правда миленький, — говорит она, — так хорошо они там все устроили, оформили и вообще, и вьетнамочки такие миниатюрные, что я на их фоне чувствовала себя просто кобылой. По-английски говорят — не придерешься, даже с пенсильванским акцентом. Второе поколение, наверно, может такое быть? Неужели столько лет прошло с войны? Надо нам с тобой туда как-нибудь съездить.

— Ну, как можно, это же ваше с Чарли место, я не смею вторгаться. — Он открывает глаза и садится прямо. — Эй, куда это мы едем? Это дорога на Маунт-Джадж.

— Гарри, — начинает она, — только не злись, пожалуйста. Ты ведь знаешь, у меня сегодня вечером на курсах зачетная работа, и у меня душа не на месте, что я бросаю тебя на три часа одного сразу после больницы. Я с Пру уже обо всем договорилась — мы с тобой заночуем у них, поспим одну ночь в маминой старой кровати — они перетащили ее в бывшую комнату для шитья, напротив маминой комнаты, когда переоборудовали ее в детскую для Джуди. Там хоть за тобой присмотрят, пока я отлучусь.

— Какого черта! Почему мне не поехать к себе домой? Я так мечтал об этом. Пятнадцать лет я жил в этом треклятом сарае у твоей мамаши, хватит, не хочу больше!

— Ну всего одну ночку, миленький. Пожалуйста — иначе я от волнения с ума сойду и зачет провалю. Знаешь, сколько мне всяких слов нужно запомнить? Там и латынь и какие-то дурацкие старые английские термины...

— Сердце у меня в полном порядке. Как новенькое. Представляешь решетку в раковине — когда из нее все застрявшие в ней волосы вынут, зубную пасту налипшую отскребут, прочистят, промоют?.. Вот такое у меня сейчас сердце. Я же сам наблюдал, как эти гады хирурги там орудовали. Ничего со мной не случится, если я побуду один, я тебе обещаю.

— Доктор Брейт — он очень милый, правда? — сказал мне, что, пока тебе не сделали процедуру, у тебя была вероятность коронарной закупорки.

— Такая вероятность была не до, а во время процедуры, когда катетер сидел у меня внутри. Сейчас катетера во мне нет. Его вынули почти неделю назад. Не упрямься, детка. Вези меня домой.

— Всего одну ночь, Гарри, пожалуйста. Сделай такую милость, это же всем на благо. Мы с Пру подумали, что, если ты побудешь у них сегодня, дети не так болезненно переживут отсутствие отца. Они будут вроде как при деле — помогут нам позаботиться о тебе.

Он снова погружается в сиденье, показывая, что сдается.

— А моя пижама? Моя зубная щетка?

— Все уже там. Я еще утром отвезла. Денек у меня сегодня выдался, я тебе доложу. Насилу все спланировала. Ну так, с тобой мы теперь уладили, и мне нужно срочно садиться за книги. Я *должна* позаниматься.

— Не хочу оставаться под одной крышей с Роем, — говорит он, дурачась, уже смирившись с перспективой провести ночь в Маунт-Джадже, в старом доме, где он и сам когда-то жил. В конце концов, почему не считать это своеобразным маленьким приключением? — Он меня обижает. Во Флориде он вырвал у меня из носа трубочку с кислородом.

Дженис вспоминает, как утром Рой остервенело топтал муравьев, однако недрогнувшим голосом сообщает:

— Я провела с ним сегодня все утро, и он вел себя идеально.

Пру с Роем еще не вернулись. Дженис ведет Кролика наверх и советует ему прилечь. Старая мамашина кровать застелена свежим бельем; его бледно-бежевая, почти белая пижама трогательно сложена на подушке. В темном дальнем углу, рядом со швейной машиной «Зингер» он видит портновский манекен — пыльно-серого цвета, безголовый, зато с прекрасной осанкой. Огромная кровать старухи занимает почти всю комнату, так что остается всего несколько дюймов с одной стороны, у окна, и с другой, возле обшитой панелями стены. Швейная вся обшита панелями из вертикальных лакированных досок, которые заканчиваются на уровне груди и дополнены декоративным лепным бордюром. Из точно таких же досок сделана и дверца неглубокого стенного шкафчика в углу. Когда он ее открывает, она неприятно громко стукается о столбик старухиной кровати — точеный столбик с навершием в виде сплющенного набалдашника, будто затвердевший, выкрашенный коричневой краской гриб, причем краска растрескалась на мелкие прямоугольнички, совсем как высохшая лужа грязи на дороге. Дверцу он открывает, чтобы повесить свой синий пиджак, пристроить его среди покрытых паутиной, беспорядочно сваленных старых утюгов, и тостеров, и уложенных в пожелтевшие полиэтиленовые пакеты от моли покрывал, и целой коллекции мертвых галстуков Фреда Спрингера. Он закатывает рукава рубашки — так-то оно лучше; ему, пожалуй, начинает нравиться эта затея провести день в старом доме в Маунт-Джадже.

— Пойду-ка я прогуляюсь.

— Может, не стоит? — беспокоится Дженис.

— Очень даже стоит. Мне в больнице все уши прожужжали, что пешие прогулки для меня лучше всяких лекарств. По коридорам и то ходить заставляли.

— Я-то думала, ты захочешь прилечь.

— Может, попозже. Ты давай садись за уроки. Иди, иди, а то я уже волнуюсь, как ты зачет сдашь.

Он оставляет ее за обеденным столом с учебником и фотокопиями, а сам отправляется по Джозеф-стрит к Поттер-авеню, вдоль которой проложена канава для стока воды с заброшенной фабрики искусственного льда. Канава давным-давно пересохла, но цементные стенки навек окрасились какой-то зеленью. Кролик идет прочь от центра поселка, где на каждом шагу попадаются химчистки, и Минутка-маркет «Индюшачья горка», и «Пицца-хат», и заправочная «Саноко», и уцененная стерео— и новая видеотехника там, где раньше был обувной магазин, и зал для занятий аэробикой над бывшей булочной, которая была здесь в дни его детства. Из дверей тогда доносился такой волшебный аромат свежевыпеченного теста и глазури, что, проходя мимо, он всякий раз сглатывал слюну. Он идет в гору, к пересечению Поттер-авеню и Уилбер-стрит; раньше там к бетонному столбу был прикреплен зеленый почтовый ящик — теперь на его месте, прямо на тротуаре, стоит другой, гораздо вместительней, со скругленным верхом, выкрашенный в синий цвет. Пожарный гидрант, раскрашенный в красный, белый и синий к двухсотлетию независимости в семидесятые[[122]](#footnote-122), теперь покрыт слоем пронзительно-оранжевой краски, цвет спасательных жилетов, безрукавок для бега трусцой и охотничьих курток — как будто странный туман все сильнее окутывает наш нынешний образ жизни, мешая нам ясно различать предметы. Он идет вверх по Уилбер-стрит, чувствуя, что крутой подъем отзывается в сердце. Кварталы в нижней части улицы застроены претенциозными особняками наподобие спрингеровского — штукатурка, кирпич, шифер, дома-крепости с островерхими выступами на крыше и многими акрами кровли; иные из них разделены теперь на квартиры с отдельным входом, в каждую ведет наружная деревянная лестница, так что импозантностью тут больше не пахнет. Кролик минует проезд, где в незапамятные времена стоял телефонный столб с привинченным к нему баскетбольным щитом, и тут у него появляется уже знакомое ощущение — будто вся грудь у него заложена, а ребра жмут, как туго стянутые ленты, — и он закидывает под язык нитростатину и ждет, глядя, как прохладные тени облаков бесшумно и быстро скользят по лесистому склону горы наверху, когда его отпустит и он почувствует характерное пощипывание. Он-то надеялся, что сможет теперь обходиться меньшим количеством таблеток, но, наверно, должно пройти какое-то время, прежде чем проявится полезный эффект операции.

Он продолжает двигаться дальше, один-одинешенек на крутом тротуаре, поднимаясь все выше и выше в тот квартал, где они с Дженис поселились после свадьбы. Построенный одним махом еще в тридцатые ряд примыкающих друг к другу домов лесенкой карабкается вверх по склону. Подобно пожарному гидранту, дома стали ярче, чем были когда-то, щеголяют самыми невероятными, прямо-таки сказочными цветами — тут и бледно-фиолетовый, и лаймово-зеленый, даже бирюзовый и алый: в дни Гарриной молодости ни один уважающий себя пенсильванский домовладелец ни за что не выкрасил бы свое жилище в какой-нибудь такой цвет. Жизнь тогда не только была масштабнее, но и строже. Цветовая гамма исчерпывалась синюшно-навозными оттенками стен, шероховатых на ощупь, оставляющих на пальцах краску, а под краской обмазанных битумом.

В их бывший дом, седьмой от начала ряда, под номером 447, когда-то вели стертые деревянные ступеньки, ныне замененные цементными с вкраплениями неправильной формы разноцветных осколков кафеля и с дорожкой зеленого коврового покрытия посередине; наружную дверь, за которой находится вестибюль, кто-то покрасил: утопленные панели — блестящей эмалью цвета охры, а выступающие над ними планки — в темно-бордовый, так что получился двойной крест, прорисованный отчетливо и смело и дополнительно украшенный медным дверным молотком в виде головы лисицы. У фасада припаркованы «камаро» и «БМВ»; окна украшены стеклярусными шторами и броскими репродукциями абстрактных картин. Да и весь ряд домов, считавшихся чуть ли не трущобами, когда здесь жили Гарри и Дженис с двухгодовалым Нельсоном и когда умерла здесь же их новорожденная дочка, теперь заметно прихорошился — веселые денежки яппи навели здесь лоск. Иметь тут квартиру стало престижно — место высокое, обзор что надо. А тогда, тридцать лет назад, глядя с четвертого этажа поверх черных толевых крыш на респектабельные особняки и комфортабельные автомобили ниже по склону, думалось только о том, что этот вид из окна наглядно, как под увеличительным стеклом, демонстрирует им их же собственную неудовлетворенность жизнью, несостоятельность — да, несостоятельность, которую он снова, многие годы спустя, переживает сейчас, когда полоса действительных или мнимых его удач и побед осталась в прошлом. Оказавшись здесь, он невольно вспоминает дешевые оконные рамы с сеткой, пропитанный ржавым запахом парового котла вестибюль и еще пластмассового клоуна, заброшенного кем-то из детей в грязь под ступеньки — нынче цементные, покрытые зеленой дорожкой из того же материала, что покрывает транспортные островки на территории их кондоминиума во Флориде.

Когда-то этот ряд домов был последним по Уилбер-стрит; улица заканчивалась посыпанной гравием площадкой для машин, где можно было развернуться, а заброшенный гравийный карьер соединял их склон с другим, невидимым отсюда, поросшим косматыми зарослями. Сейчас же сразу два ряда домов, уже не очень новых, снаружи обшитых вагонкой, а внутри разделенных на частные квартиры, с непомерно высокими трубами и островерхими крышами, как на картинке в детской книжке, поднялись над прежней застройкой. Оконные рамы, двери и обшивка окрашены в светлые, веселенькие тона. Декоративные посадки и махонькие газончики производят пока что довольно жалкое впечатление; обрушившийся прошлой ночью ливень погнал по облысевшим, безлесным участкам горы потоки красноватой глины, которые потекли, густея и застывая, вдоль новеньких поребриков, заползая и на проезжую часть, на иссиня-черный асфальт. *Как нещадно мы все эксплуатируем.* Так думает Гарри. Имея в виду окружающий мир.

Он поворачивает назад и идет вниз. Дойдя по Поттер-авеню до Джозеф-стрит, он проходит немного вперед и, заглянув в Минутку-маркет, решает для преодоления нахлынувшей на него меланхолии купить пакет кукурузных чипсов за девяносто девять центов. ВЕС НЕТТО 16¼ oz. 177 г. *Изготовлено «Кистоун фуд прод., инк.», Истон, Пенсильвания 18042, США. Состав: кукурузная мука, растительное масло (содержит одно или несколько из нижеперечисленных масел: арахисовое, хлопковое, кукурузное, частично гидрогенизированное соевое), соль.* Звучит как будто неплохо. ЖУЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА — призывает его несколько помятый пакет цвета тыквы. Ему нравится солоноватый кукурузный привкус и то, как каждый толстенький чипсик, размером с квадратный дюйм, толще, чем картофельный, но тоньше, чем кукурузный из пачки «Фритос» и не такой жгучий, как приправленные красным перцем кукурузные треугольнички «Доритос», щекочет ему острыми краями язык и нёбо, а затем с хрустом рассыпается на зубах. Есть же продукты, которые приятно взять в рот: конфетки «Нибс» и «Гуд-энд-плентис», жареный арахис, фасоль, но только приготовленная так, чтобы не разваливалась. Все остальное — какая-то более или менее тошнотворная жвачка; или вот еще мясо — тренировка для зубов, пока жуешь и не думаешь, а как задумаешься, так и вовсе поперек горла встанет. Отношение к еде у Кролика с самого детства двойственное, особенно если говорить о том, что еще недавно бегало, прыгало, словом, жило, как ты и я. Доходит до того, что временами ему чудится привкус смертельного ужаса перед занесенным топором в ломтике индейки или курицы, довольного похрюкивания и барахтанья в куске свинины, тупой монотонности коровьего существования в говядине, а в баранине — чуть заметный запашок мочи, как от Тельминого лица в больнице. Ее теперешний гемодиализ, их давняя ночь в тропической хижине — обмен телесными флюидами; но, как выяснилось, наши тела ограничены в своих возможностях, и наша способность проникаться чужой судьбой и бедой тоже ограничена, а тут еще приплетаются и Дженис, и Рон, и дети, и охочие до сплетен гостиные по всему округу Дайамонд, ну и, что греха таить, у него есть и свое личное внутреннее ограничение — неумение, а может, инстинктивное нежелание любить иную материю, кроме его собственной. Но ведь и она, она тоже всякий раз после ни с того ни с сего делалась вдруг недоброй к нему, как будто он вызывал у нее отвращение, когда она сама уже сполна утолила свой аппетит и ее рот пропитан его кисломолочным запахом. Да, вкусила она от его мяса — а теперь вот ее саму изнутри пожирают ненасытные микроскопические обжоры. Волчанка, объясняла она ему, заболевание аутоиммунное, организм сам себя разрушает, антитела набрасываются на твою собственную ткань, как будто организм сам себя возненавидел. Мысли о Тельме заставляют Гарри ощутить свою беспомощность, и в своей беспомощности он ожесточается сердцем. Кукурузные чипсы, которые он жует на ходу, оседают у него в желудке тяжелым узловатым комком, сгустком кислоты, и все же он не может устоять перед искушением отправить в рот еще чипсик, еще раз почувствовать его неровно загнутые соленые краешки, его девственную хрупкость на языке, на зубах, среди истекающих слюной нежных мембран рта. Когда он возвращается к дому 89 по Джозеф-стрит, укрывшемуся за стеной липких, одетых в листву норвежских кленов, в пакете уже пусто, не осталось ни крупицы соли, ни крошечки чипса, даже самой малюсенькой, такой, чтобы муравьишка мог унести, доставить своей откормленной, рыжей муравьиной матке в ее лабиринт под тротуаром; он обернул себя вокруг шести с четвертью унций чистейшей отравы, в артериях у него засор и затор, в глотке жирный, масляный привкус. Как же он себе ненавистен — до сладострастия!

Дженис корпит над уроком, сидя за обеденным столом, — составляет списки слов для заучивания. Когда она поднимает голову, он видит застывший взгляд ученика, который усердно морщит и потирает лоб, и темную щель полуоткрытого рта. Ему претит видеть ее такой, наблюдать ее титанические усилия преодолеть собственную тупость. Длительная прогулка так его утомила, что он поднимается наверх, снимает, чтобы не помять, брюки и ложится на старухину кровать, прямо поверх покрывала, прикрываясь, однако, лоскутным одеялом, сшитым руками амишей, одеялом, которое щекочет его ноздри воспоминанием о том, как пахло от мамаши Спрингер, когда конец ее был уже близок, — застоявшимся запахом не промытых как следует труднодоступных уголков тела. Он внезапно пугается, что он так далеко от больницы, от антисептики, от коридоров, где каждое негромкое позвякивание исполнено заботы о нем нынешнем — таком больном.

Должно быть, он уснул, потому что когда он вновь открывает глаза, день за стеклом единственного в комнате окошка уже сменил свои тона: веет холодноватой, сумрачной тревогой. Дождь все ближе. Тучи сливаются с кронами деревьев. Судя по доносящимся снизу звукам, Пру и дети уже дома, в коридоре за дверью кто-то ходит — вот так же много лет назад он лежал и слушал, как Мелани и Нельсон украдкой шныряют взад-вперед по ночам. Но сейчас не ночь — еще только вечереет. Дети вернулись с занятий, и мать строго-настрого наказала им вести себя тихо — дедушка спит; но разве удержишься, когда хочется протестующе крикнуть или издать ликующий вопль? Жизнь — это шум. У Кролика болит живот, он сам не помнит почему. Стоит ему выйти в коридор, в туалет, как тут же они оба являются к нему в гости, бедные маленькие полусиротки. Четыре глаза, два зеленых и два карих, смотрят на него сбоку от кровати. Джудино личико вытянулось и посерьезнело за месяцы после Флориды. У нее будет характерная энгстромовская сухопарость и затравленный взгляд, как у тех, кто вечно спасается от погони. На ней сиреневое платье с белой плиссированной отделкой. Неужели ему просто мерещится, что губы у девочки подкрашены? Неужели Пру это позволяет? В том, что волосы ее искусственно подвиты, сомнений быть не может — откуда бы взялась эта морковная волнистость?

Внучка спрашивает его:

— Дедушка, очень больно тебе было в больнице?

— Нет, Джуди, не очень. Больше всего у меня болела душа, из-за того что я вообще угодил в больницу.

— А тебе внутри все исправили как надо?

— Да, конечно. Об этом можешь не беспокоиться. Врачи говорят, я стал как новенький.

— Почему тогда ты в кровати?

— Потому что бабушка стала готовиться к зачету, а я не хотел ей мешать.

— Она говорит, ты будешь у нас ночевать.

— Похоже на то. Устроим детский праздник с ночевкой. Когда тебя еще не было на свете, Джуди, мы с твоей бабушкой жили здесь много-много лет, вместе с ее мамой, твоей прабабушкой. Ты помнишь ее?

Девочка смотрит на него во все глаза, зеленые-презеленые из-за клена за окном.

— Немного помню. У нее были толстые ноги, и она носила толстые оранжевые чулки.

— Верно. — И это все, что в ее детской памяти сохранилось от мамаши Спрингер? Считай что ничего. Неужели так быстро уходим мы в небытие, исчезаем, не оставляя следа?

— Мне ее чулки не нравились — противные какие-то, — добавляет Джуди, словно угадав, что ему хотелось бы услышать от нее еще что-то, и стараясь не обмануть его ожиданий.

— Это специальные эластичные чулки для людей с больными ногами, — объясняет Кролик.

— Еще она носила смешные очки, кругленькие такие, она никогда их не снимала. А мне давала футляр, поиграть. Я им щелкала.

Рой, заскучав от рассказов про какую-то тетеньку, которой он в глаза не видел, начинает говорить о чем-то своем. Его круглая рожица запрокидывается кверху, словно он силится проглотить застрявший кусок, а выгнутые дугой брови широко растопыривают его блестящие темные глаза.

— Папа... а папа... попал. — А может, он сказал «пропал»; ему никак не удается облечь свои мысли в сколько-нибудь удобоваримую форму, и он начинает сначала, с заветного слова «папа».

Джуди, теряя терпение, сердито толкает его; он налетает на столбик кровати и заваливается между краем матраса и стенной панелью.

— Не можешь говорить, так не вякай! — командует она. — Папа уехал лечиться.

Малыш стукнулся головой; он таращит глазенки, словно ожидая от дедушки сигнала, что ему дальше делать.

— Ай бо-бо, — говорит за него Гарри и, усевшись повыше спиной к старому коричневому изголовью, раскрывает руки навстречу ребенку. Рой кидается ему на грудь и тогда уже поднимает вой, жалуясь на бо-бо. Гарри гладит его по волосам, тоненьким, липнущим к пальцам, точно как волосы Дженис накануне, когда она расплакалась, а он ее утешал. Удивительно, когда лежишь сам беспомощный в постели, остальных так и тянет кинуться к тебе за сочувствием. Тебе наконец определили место, которое всех устраивает.

Джуди напролом, сквозь обиженные подвывания Роя, продолжает разговор:

— Дедуля, хочешь посмотреть со мной какой-нибудь фильм по видику? У меня есть «Дамбо», потом «Звуки музыки» и еще «Грязные танцы».

— В принципе я бы не против посмотреть «Грязные танцы» — другие два я уже видел, но разве тебе не нужно сесть за уроки?

Девочка улыбается.

— Так и папа всегда говорит. Он никогда не хочет смотреть со мной видео. — Она переводит взгляд на убаюканного, обласканного Роя и бесцеремонно тянет братишку за руку. — Пойдем, дурень. Не наваливайся ты дедушке на грудь, ему же больно!

Они уходят. В какой-то момент, пока Джуди стояла возле кровати, перед ним тихим призраком возникло мимолетное видение покойной Джилл — как много знакомых у него среди покойников. И число их постоянно растет. Жизнь словно детская игра «лисица-воровка», в которую они играли первоклашками. Все выстраивались по одну сторону асфальтовой площадки, а «лисица», тот, кто водил, выкрикивал: «Лисица-воровка!» — и все пускались бежать к другому краю площадки, а «лисица» догонял и выхватывал из толпы кого-то одного и тащил его в очерченный мелом круг в середине площадки, и в следующий раз две «лисицы» уже на пару охотились на тех, кто дружным галопом покрывал расстояние от одной безопасной зоны до другой, а потом двойка превращалась в четверку, четверка в восьмерку — и пропорция менялась на противоположную. Последний непойманный оставался водить на следующий кон.

На стекле появились редкие точечки дождя. Веки у него снова тяжелеют; внутри все заволакивается туманом, он ползет вверх, выше, выше — еще чуть-чуть и мозг поглотит. Когда впадаешь в сонное состояние, то, что называется внутренний мир, который при свете дня меньше самого мелкого зернышка, неимоверно разрастается и, подавляя всяческое твое сопротивление, прорывает скорлупу сознания. Как это, право, странно, неужто нет другого способа ощутить себя живым, кроме как есть и спать, гореть и замерзать? Вечный круговорот солнца и луны: день переходит в ночь, и наоборот — но все ж единым целым им не стать никогда.

Его зовут ужинать, голос доносится издалека, сквозь многие слои — обшивки, штукатурки, воздуха, — и, судя по тону, уже не первый раз. Ему самому не верится, что он уснул; и времени-то, считай, не прошло нисколько, только и успел увидеть, как одна-другая мысль, принимая странные эластичные формы, шмыгнула за угол. Ему кажется, что рот у него выстлан пушистым налетом. Он вспоминает, что вспомнил сегодня о рамах с натянутой на них сеткой в окнах их квартиры на Уилбер-стрит, ими торговали в скобяных лавках, пока их не вытеснили из употребления окна универсальной конструкции, где вторую раму со стеклом или сеткой можно вставлять по желанию в зависимости от времени года. Те старые рамы с сетками невозможно было подогнать как следует, обязательно оставались щелочки, через которые проникали комары и мошки, но это пустяки. Трагичность этого воспоминания была в другом: в дыхании летнего дня, которое просачивалось сквозь сетку, в ярких солнечных полосках вдоль стыков, в незамечаемых прежде подробностях, которыми были отмечены отдельные детали — изгиб сетчатого полотна, раздвижная для подгонки по размеру окна рама с клеймом производителя и проем самого окна, неподвижный, как и кирпичная кладка Бруэра, преданно хранящая почерк старых каменщиков, давно отошедших в иной мир. Что-то трагическое заключено в самой материи, которая продолжает нести бессменную вахту, какое бы страшное горе на нас ни обрушилось. Он вошел к себе в квартиру в тот день, когда там умерла Бекки, — там ровным счетом ничего не изменилось. Вода в ванне, отбивные на сковородке. Его снова зовут ужинать, на этот раз кричат откуда-то ближе, голосом Дженис, вероятно, снизу, с лестницы:

— *Гарри! Ужинать!*— Да иду же, иду! Господи! — отзывается он.

Кричала Дженис, но ужин готовила Пру: легкая, вкусная, полезная для здоровья пища. Кусочки какой-то белой рыбы, украшенные петрушкой и зеленым луком и приправленные перцем и лимоном, дымящаяся спаржа в прямоугольной латке для микроволновой печи и в большой деревянной чаше салат — наструганные соломкой сельдерей и морковь, финики и зеленый виноград. Салатница и посуда для микроволновки появились в хозяйстве уже после смерти старухи Спрингерши.

Все едят, но говорит за всех одна Дженис — отважно взяв инициативу в свои руки, она без умолку трещит о предстоящем зачете, о курсах, о своих соучениках, среди которых есть несколько женщин в годах, вроде нее, решивших попробовать себя на деловом поприще, а остальные — это молодые люди, которые «совсем как мы» в пятидесятые, до того раздавлены безденежьем, что уже и лапки кверху подняли, такие перестраховщики, всё боятся, как бы чего не вышло. Она рассказывает, что занятия ведет мистер Листер, и Джуди покатывается со смеху, повторяя на разные лады смешное имя, радуясь тому, как складно рифмуются «мистер» и «Листер».

— Не нужно смеяться, Джуди, у него лицо такое печальное! — говорит Дженис.

Джуди пускается в путаный рассказ о том, что выкинул сегодня в школе один мальчишка: он нечаянно разлил краску для плаката, который они все вместе раскрашивали, разложив его на полу, а когда учительница стала его громко отчитывать, он поднял опрокинутую банку и остаток краски выплеснул ей на платье. А еще у них в классе есть один черный мальчик, их семья переехала в Маунт-Джадж из Балтимора, так вот он разукрасил себе все лицо странными узорами — говорит, они имеют тайный смысл. Ее манера говорить чем-то напоминает ее бешеную скачку по телеканалам, и Гарри приходит в голову, что она все это либо выдумывает, либо сама уже запуталась, где реальная школа, а где школьные сериалы, которые она глотает все без разбору.

Пру спрашивает у Гарри, как он себя чувствует. Он говорит — превосходно; дышать ему после операции — «процедуры», если пользоваться терминологией больничных врачей, — и правда стало легче и, между прочим, память тоже улучшилась. Видно, у него уже начиналось размягчение мозгов, а он и не заметил. Нет, в самом деле, говорит он, извиняясь за причиненное беспокойство, благодаря за добротную, здоровую еду, которую ему удалось загрузить в себя поверх вредоносного комка кукурузных чипсов, никакой беды не случилось бы, если бы его оставили на несколько часов одного дома.

Дженис говорит, она и сама понимает, что все это, должно быть, наивно и глупо, но она не простила бы себе, если бы с ним случилось неладное, пока она сидит на занятиях, и вообще, какие там фригольды с копигольдами, когда знаешь, что близкий человек того и гляди захлебнется.

У двоих взрослых за столом от этих случайно слетевших с языка слов перехватывает дух; и когда тишина становится невыносимой, Гарри ласково поправляет ее: «Ты, конечно, оговорилась, при чем тут «захлебнется»?» И Дженис удивленно спрашивает: «А я сказала «захлебнется»?» — и задним умом понимает, что действительно сказала. И Гарри с потрясающей ясностью видит, что все только видимость, что она не забыла Ребекку, что в ее собственном сознании она всегда была и будет матерью, утопившей свое дитя. Тридцать лет прошло. Как раз в эту пору все и случилось — конец весны, начало лета; в июне будет годовщина. Дженис поднимается с места, потерянная, красная, расстроенная.

— Кто еще желает кофе, кроме меня? — спрашивает она под неподвижными взглядами присутствующих, словно актриса, которой по роли положено сейчас что-то сказать.

— На десерт, если кто-нибудь хочет, есть ореховый пломбир, — добавляет Пру, ее бесстрастный огайский голос с годами наложился на местные обороты речи, предупредительную манеру пенсильванцев изъясняться так, что даже собеседнику, чье сознание подернуто туманом, было бы все предельно ясно. Она сняла свитер и закатала рукава своей мужской, цвета хаки, рубашки, и ее наполовину обнаженные, опушенные, веснушчатые руки мелькают над кухонным столом при свете ограненной люстры на потолке.

— Это же мое любимое мороженое, — первым отзывается Гарри, спеша из жалости к жене помочь ей поскорее покинуть яркий круг прожектора в центре сцены; даже маленький Рой, как завороженный, глядит на Дженис своими чернильными глазками, чуя, что тут что-то не так, что на ней какое-то заклятье, о котором все сговорились молчать.

— Гарри, это же для тебя самое вредное, — с благодарностью хватается Дженис за предложенную возможность вступить в перебранку, устроить небольшую семейную сцену. — И мороженое, и орехи — тебе ни того, ни другого нельзя!

— У меня специально для Гарри припасен замороженный йогурт, — вступает Пру. — Банановый и персиковый, если не ошибаюсь.

— Ну-у, сравнили, — дурашливо дуется Гарри, чтобы окончательно переключить внимание на себя. — Мне так хочется пломбирчика с орешками! И *еще* с чем-нибудь! Ну, хотя бы с кусочком яблочного струделя, а? Или с кексиком? Или с ватрушечкой? М-мм, вкуснятина, правда, Рой?

— Как можно, Гарри, ты же себя погубишь! — ужасается Дженис, пожалуй, несколько преувеличенно: ее печаль не об этом.

— Есть еще то, что называют «замороженное молоко», — продолжает перечислять Пру, и он вдруг понимает, что и ее сердце тоже не здесь сейчас, что в продолжение всей вечерней трапезы она старательно маневрировала, чтобы не попасть случайно в наспех прикрытую яму Нельсонова отсутствия, о котором никто, даже дети с их широко распахнутыми глазами, ни разу не упомянул.

— Мне ватрушку, — выбирает Рой не по возрасту басовитым голосом, и когда ему растолковывают, что никаких ватрушек в доме нет, дедушка просто пошутил, и до него доходит, что он совершил промах, ему становится невмоготу постигать суровую науку самостоятельности, под знаком которой прошел весь нынешний день, и он распускает нюни.

— Сладко будет в ротике, — напевает ему Кролик, — и тепло в животике.

Пру уносит Роя наверх, а Дженис ставит перед Джуди мороженое и собирает со стола тарелки, чтобы тут же загрузить их в посудомоечную машину. Гарри успевает припрятать свою ложку и, едва Дженис поворачивается к ним спиной, запускает ее в Джудино блюдце. Миг чистого блаженства — когда язык расплющивает о верхнее нёбо комочек мороженого, и из него, как звезды в наступающей ночи, проклевываются дробленые орешки.

— Ты что, дедушка! Тебе же нельзя! — вскрикивает Джуди, глядя на него с неподдельным испугом, хотя у самой губы вот-вот расползутся в улыбке.

Тогда к своим губам он прижимает палец и тихонько обещает:

— Я только одну ложечку. — А сам уже тянется за следующей порцией.

Тогда ребенок зовет на помощь:

— Ба!

— Это он балуется, — успокаивает ее Дженис, но его на всякий случай спрашивает: — Положить тебе?

Он встает из-за стола.

— Мне нельзя есть мороженое, это самая вредная для меня еда, — сообщает он ей и сразу принимается ворчать при виде беспорядочной мешанины из тарелок, кое-как сброшенных в посудомойку (все ту же, старую, еще со времен мамаши Спрингер): — Господи, никакой системы — смотри, сколько места зря пропадает!

— В таком случае укладывай сам, — отвечает, как и положено, современная женщина, и пока он послушно выстраивает тарелки одну к другой, без лишних зазоров, диагональными рядами, она собирает свои бумажки, книгу, сумочку.

— Вот пропасть! — говорит она и возвращается в кухню, чтобы пожаловаться Гарри: — Думала-думала все утро, что надеть, — и на тебе, забыла плащ! — За окнами зарядил настоящий дождь, словно на дом натянули громко шелестящий чехол.

— Может, Пру одолжит тебе свой?

— Да он с меня свалится, — говорит она. Тем не менее она поднимается наверх, где Пру укладывает Роя спать, и после непродолжительных переговоров, содержание которых остается для Гарри неведомым, спускается в вишнево-красном дождевике из пластика, зигзагами переливающемся при свете лампы, с широкими отворотами и длинноватым для нее поясом. — Очень я в нем смешная?

— Да нет, не очень, — отвечает он. Его приятно будоражит эта транспозиция: взгляд поднимается снизу вверх, следуя зигзагам, и ты уже ждешь, что сейчас увидишь против себя рыжеволосую Пру, как вдруг натыкаешься на немолодое лицо Дженис, обрамленное ярким платком, тоже заимствованным.

— И еще, проклятье, у меня просто зла на себя не хватает! — забыла взять мою любимую ручку, оставила ее дома на столике в спальне, а она всегда мне удачу приносила. И ехать за ней уже поздно по такому дождю!

— Тебе не кажется, что все это не стоит переживаний? — говорит он. — *Что именно* ты пытаешься доказать преподавателю?

— Если я и пытаюсь что-то доказать, то не преподавателю, а себе, — отвечает она. — Скажешь Пру, я уехала, буду в половине одиннадцатого или в одиннадцать, если мы решим потом зайти выпить пива. Ты не жди меня, ложись отдыхай. У тебя усталый вид, мой дорогой. — Она легонько целует его на прощание в губы, многозначительно задержав поцелуй дольше обычного, за что-то его благодаря. Рада-радехонька упорхнуть из дому. У нее теперь, кроме него, вдруг откуда ни возьмись столько советчиков в штанах появилось — тут тебе и Чарли, и мистер Листер, и новый бухгалтер в магазине: втираются в доверие тихой сапой, как тот катетер на экране монитора, неприметными толчочками внедряющийся в самое нутро его призрачного, оплетенного паутиной сердца.

Обволакивающий дом шелест становится громче, после того как на крыльце отзвучали шаги Дженис и взревел мотор «камри». Она вечно, будто с перепугу, разгоняет мотор, не включив передачу, и потом с подскоком срывается с места, можно подумать, соревнуется с кем-то — у кого самая приемистая машина. Дженис сейчас упакована в красный плащ Пру, а он сейчас в доме Пру за мужчину-хозяина.

Устроившись перед телевизором в гостиной, он и Джуди досматривают по шестому каналу конец выпуска новостей «Эй-би-си» (ну и позер этот Питер Дженнингс — рассказывает американцам об Америке, а сам не может избавиться от акцента, такой он, видите ли, до мозга костей канадец), а затем по прихоти Джуди, тискающей в руках пульт дистанционного управления, скачут взад и вперед по программам, разрываясь между телевикториной и сериалами — детективным «Саймон и Саймон» и семичасовыми комедийными «Косби» и «Будем здоровы!», которые идут в повторном показе. Пру не спеша спускается вниз, уложив наконец Роя, идет прибраться в кухне по-хозяйски после Дженисовой шаляй-валяй уборки, потом обходит столовую, проверяя, все ли окна закрыты от непогоды, заглядывает на маленькую «солнечную» веранду и обрывает засохшие листья с растений на старом чугунном столе мамаши Спрингер. В конце концов она заходит в гостиную и садится рядом с ним на диване — Джуди с пультом облюбовала кресло Фреда Спрингера. В очередной серии «Шоу Косби» семейство Хакстейблов переживает один из многих драматических моментов, связанных с воспитанием детей, который, конечно же, обязательно растворится, как кусочек сахара в чае, в их здоровом, теплом юморе, в их взаимной любви и привязанности друг к другу: Ванесса с подружками охвачены страшным волнением из-за предстоящего танцевального конкурса, где каждая участница должна не только танцевать, но и выразительно шевелить губами под фонограмму, создавая видимость, что поет она тоже сама, и девочки внимательно прислушиваются к советам старого негра-пианиста из ночного клуба; когда наступает день генеральной репетиции дома, перед родителями, девчонки так не по-детски вызывающе извиваются и дергают задами, что миссис Хакстейбл, она же Клэр, а в реальной жизни сногсшибательная Филисия Рашад, которая замужем за чернокожим спортивным комментатором с лягушачьими глазами, вынуждена положить конец непристойному кривлянию, выключить музыку и отослать глупышек наверх, однако все это с такой неподражаемой улыбкой — широкой, белозубой, немного губастой улыбкой негритянки, — что сразу понимаешь: она не против непристойности, отнюдь, только всему свое место и время, взять хотя бы самих старших Хакстейблов, которые чуть ли не в каждой серии, под занавес, нежно обнявшись, призывно глядят друг на друга. Сидя рядом с ним на диване, Пру неподвижно смотрит на экран, и в уголке ее глаза, ближайшем к нему, блестит слезинка-бриллиант. Со своего поста в прадедовом кресле Джуди переключает канал, и взгляду предстает тропическая синева небес и гигантская черепаха, медленно-медленно поворачивающая голову, в то время как голос за кадром, словно Божий глас, торжественно вещает: *«... готова насмерть стоять за клочок земли, облюбованный ею для выведения потомства»*.

— Черт подери, Джуди, верни назад «Косби», *я кому сказал!*  — рявкает Гарри, взбеленившись не столько из-за себя, сколько из-за Пру, для которой, как он полагает, это шоу словно добрая сказка о том, что бывает, но уже никогда не будет.

Джуди, обескураженная не меньше, чем девчонки из шоу, испуганно возвращается на прежний канал, но там идет реклама, и она кричит от обиды, постепенно проникающей в ее сознание:

— Зачем папа уехал! Пускай он вернется! Все злые, он один хороший.

Она ударяется в слезы, Пру встает утешить ее, Кролик с позором ретируется. Он кружит по дому, слушает дождь, удивляется тому, что сам жил здесь когда-то, вспоминает мертвых и живых в их прежнем обличье, всех, кто жил здесь тогда вместе с ним, находит в кухне на полке под потолком полбанки жареных орешков кешью, а в телевизоре — повтор вчерашней игры между «Никами» и «Быками»[[123]](#footnote-123). Его с души воротит, когда Майкл Джордан[[124]](#footnote-124), взлетая над кольцом, чтобы положить мяч сверху, выделывает своим розовым языком что-то непотребное. Он видел интервью с Джорданом — толковый парень, так почему надо вываливать язык, будто ты слабоумный? Немногочисленные белые игроки на площадке кажутся до обидного голыми, неприкрытыми — какие-то они бесцветные, потные, липкие, с клочками волос под мышками; Гарри не верится, что когда-то и сам он выходил на площадку в таком же виде, правда, трусы тогда носили подлиннее и проймы для рук в майках были не такие огромные. Незаметно для себя он приканчивает кешью в банке, и тут вдруг баскетбол (Джордан взмывает в воздух, ухитряясь не один, а два раза изменить направление «полета», и, непонятно как извернувшись, из-за спины, все-таки забивает жутко неудобный мяч в кольцо, несмотря на то что лапища верзилы Юинга шлепает его прямо по лицу) вызывает у него физическую боль своей пружинистой, прыгучей динамикой, предельной напряженностью каждого движения, память о которой еще хранится у него пусть не в мышцах, но в нервных окончаниях. Нужно принять нитростат, а пузырек остался в кармане пиджака наверху, в стенном шкафчике. И вообще здесь, внизу, ему становится все больше не по себе. Он выключает в кухне свет и, стараясь не дышать, проходит мимо старухиного буфета в темной столовой, где обои на стенах как бы шевелятся от слабых бликов дождя, стекающего по окнам и подсвеченного снаружи уличными лампами.

В коридоре наверху он слышит доносящееся из бывшей мамашиной, а ныне Джудиной комнаты бормотание телевизора и, набравшись смелости, стучит в дверь и приоткрывает ее. Девчушка уже переодета в ночную рубашку без рукавов и сидит в постели, опираясь на две подушки, в обнимку с плюшевым дельфином, а с ней на кровати сидит ее мать. В мелькающих вспышках стоящего в ногах телевизора из темноты выхватываются бледные пятна — белки Джудиных глаз, ее голые плечи, брюшко дельфина, длинная рука Пру, которой она обнимает дочку и которая свешивается на плоскую детскую грудь. Прочистив горло, он говорит:

— Послушай, Джуди... в общем, извини, если я тебя обидел.

Одним быстрым, нетерпеливым движением руки она молча показывает, что дедушка прощен и должен поскорей войти и сесть смотреть с ними телевизор. В неверном голубом сиянии он берет детский стульчик с прямой спинкой, переносит его поближе к кровати и, кряхтя, на него опускается; колени задираются чуть не выше головы. Капли дождя поблескивают на стеклах в свете фонарей на Джозеф-стрит. Он кидает взгляд на профиль Пру — не сверкнет ли опять слезинка, но лицо ее непроницаемо, нос заострен, губы сомкнуты. Они смотрят «Неразгаданные тайны»: дебелые, раскормленные американские физиономии одна за другой проходят перед объективом камеры, и все серьезно и правдиво рассказывают про НЛО, которые им довелось наблюдать над полями сахарной свеклы, над торговыми центрами, в резервациях индейцев-навахо, а меж тем клетчатые диваны с креслами и полосатые обои в их собственных жилищах, освещенных пронзительно-яркими софитами, без которых невозможна киносъемка, обнажены с такой чудовищной детальностью, с какой обнажается строение одноклеточной водоросли диатомеи под микроскопом. Гарри поражен тем, как складно и гладко все эти провинциальные шерифы и простые женщины из трейлерных городков и даже последние бродяги и отщепенцы, которые случайно выкатились на полянку со следами недавнего пикника именно в тот момент, когда исполинский разум, руководящий действиями НЛО, решил там приземлиться и взять на исследование образцы земной фауны, — как все они ладно говорят: нация артистов разговорного жанра, велеречивых голов, откуда они только взялись, у каждого от зубов отскакивает то, что заготовлено им для тридцатисекундного выступления перед громадной аудиторией сограждан. Пока идет реклама, Джуди делает пробежку по каналам — Жак Кусто в костюме аквалангиста, поросенок Порки в голубой безрукавке с большими пуговицами (странно, почему в старых мультфильмах все звери разгуливают с голым задом), какой-то рок-певец с длинными, как сосульки, патлами, сующий микрофон прямо себе в рот и заходящийся в экстазе, будто девка в порнофильме за секунду до похабной кульминации, сцена в зале суда — по плутоватым глазам судьи сразу понятно, какая это продажная тварь, колибри, в замедленной съемке взмахивающий поразительно гибкими крылышками, Анджела Лансбери[[125]](#footnote-125), которая смотрит, будто она чем-то страшно шокирована, Грир Гарсон, который смотрится, будто он слегка не в фокусе на черно-белом экране, — и потом назад к «Неразгаданным тайнам»: на очереди сюжет о младенце, исчезнувшем из одной нью-йоркской больницы, и немой вопрос в глазах Роберта Стэка, такого загадочного в своем темном плаще, сегодня особенно многозначителен. Уже раз сорвавшись на ребенке, Кролик прикусывает язык. Он остро чувствует свою физическую уязвимость. Мелькающие телеобразы обрушиваются на него с неумолимостъю сердцебиения. Оставив тайну исчезнувшего младенца неразгаданной, он поднимается и со словами «спокойной ночи» наклоняется поцеловать Джуди, по пути к ее личику скользнув мимо лица побольше.

— До завтра, дедуля, — машинально произносит девочка, все простив или все забыв.

— Внизу свет выключен, — вполголоса говорит он Пру.

— Мне так или иначе нужно будет спуститься, — еще тише говорит она: они оба словно боятся разрушить волшебные чары, которыми ребенок приворожен к телевизору.

Лицо Пру, когда он скользнул мимо, чтобы поцеловать другое детское личико, источало какую-то особую ауру, шампунно-пудровую — вот так сейчас деревья вокруг дома уступают дождю запах листьев и свежести.

Аромат дождя и зелени проник и к нему в комнату, бывшую швейную, с безголовым портновским манекеном в углу. Он переодевается в пижаму, которую Дженис с несвойственной ей предусмотрительностью для него тут приготовила. Неодолимая ватная усталость навалилась на него, обложила его, словно дождь. Здесь, в узкой комнате, шум дождя слышнее, чем где-либо, слышнее и сложнее по звучанию — непрерывный разговор, в который вовлечены крыша крыльца, желоб под крышей дома и эхом отзывающаяся водосточная труба, податливые листья кленов, свист и шелест от какой-нибудь пронесшейся мимо машины. И совсем близко — периодический дробный перестук капель между вставной наружной рамой с сеткой и подъемным окном, и это значит, стенка будет постепенно отсыревать, гнить. Ну, да не его это забота. Его забот с каждым днем становится все меньше. Окно в комнате чуть приподнято снизу, чтобы шел воздух, и несколько капель отскакивает ему на руку, когда он на минутку останавливается поглядеть на улицу. Маунт-Джадж почти не меняется, по крайней мере здесь, в старой части, и тем не менее Маунт-Джадж оторвался от его жизни, остался где-то там, внизу, как земля под крылом взмывающего ввысь самолета. Его жизнь протекала по этому блестящему асфальту, мимо этих наклонных лужаек и крылечек с кирпичными колоннами, протекла и не оставила следа. Поселок не ведал о его существовании, вопреки его детской уверенности в обратном: каждый камень и ящик с молочными бутылками на крыльце, каждая клумба с тюльпанами провожали его взглядом и не видели его; а он-то считал их друзьями, но сейчас это открытие совсем его не пугает. На противоположной стороне улицы светится размытое окно, и в нем видны пустое кресло, набор щипцов для камина с латунными ручками и каминная кирпичная полка с парой ничего не помнящих подсвечников.

Кролик быстренько шлепает босиком по коридору — в ванную и обратно — и забирается под одеяло, когда нет еще и девяти. В больнице к этому часу все посетители уже давно бы разошлись, а больные, дождавшись их ухода, уже приняли бы лекарства и сходили в туалет, все улеглось бы, и в коридоре убавилась бы громкость сестринских голосов и яркость электрического освещения. В отведенной ему комнате нет настольной лампы, только верхний свет — лампочка с бумажным абажуром, и включать ее ему не хочется. Он приметил в стенном шкафчике стопку старых выпусков «К сведению потребителей», но, по-видимому, товары, достоинства которых там обсуждаются, давно ушли с рынка. Подаренная Дженис историческая книга — он все не может ее дочитать, хотя перевалил уже за половину, — осталась у него в кабинете, в Пенн-Парке. Свет, который просачивается с улицы, для чтения тоже не годится. Зато он отбрасывает на стену ромбовидные проекции оконных стекол, вдруг оживающих, когда дождевые капли, подрагивая, скапливаются у верхней рамы и потом, в один непредсказуемый миг, ручейком срываются вниз. Очень похоже на процесс зарождения жизни, как его показывали в одной из образовательных программ, к которым он в последнее время пристрастился: сперва молекулы хаотично собираются в группы, их все больше и больше, потом электрический разряд, молния — и готово, жизнь зародилась. За головой у него, рядом с деревянным изголовьем, украшенным резными завитками и грибовидными столбиками, швейная машина его покойной тещи терпеливо ждет, когда же наконец старухина короткая распухшая стопа нажмет на педаль, а короткие толстые пальцы проденут в заржавевшую иглу смоченную слюной нитку — когда ее оживят. Вероятность этого примерно такая же, как вероятность зарождения жизни из одних только молекул. Приглушенное содрогание, далекие раскаты грома, откуда-то со стороны Бруэра, и шорох в кронах деревьев. Гаррина голова подперта двумя подушками, и неприятное стеснение в груди почти прошло. Сердце не причиняет ему боли, просто дрейфует, израненное, по океану убывающего времени. Время идет — он не знает, сколько его прошло, когда дверная ручка, повернувшись, щелкает, и полоса света из коридора врезается в амниотическую[[126]](#footnote-126) уединенность его взятой взаймы комнатушки.

Внутрь заныривает Пру — макушка ее сияет медными бликами.

— Не спите? — спрашивает она почти шепотом. Голос у нее как-то огрубел, лицо проступает в темноте молочно-белым сердечком.

— Не-а, — отзывается Кролик. — Лежу вот, слушаю дождь. Джуди угомонилась?

— Да, наконец-то! — говорит молодая женщина и вместе с прорвавшимся раздражением входит в комнату вся, целиком, и, выпрямившись, останавливается у двери. На ней все тот же короткий халатик, ноги скрыты под чем-то белым, доходящим ей до щиколоток. — Она расстроена из-за Нельсона, естественно.

— Естественно. Прости, что я не сдержался, — говорит он. — Бедному ребенку ко всем неприятностям только этого не хватало. — Отталкиваясь локтями, он садится повыше, ощущая себя в некотором роде хозяином; сердце гулко колотится — ситуация довольно странная, хотя за несколько дней в больнице он должен был бы попривыкнуть принимать гостей лежа в постели.

— Не знаю, — отвечает ему Пру. — Может, ей действительно этого не хватало. Должно же у нее быть хоть какое-то понятие! А то она считает, что все телевизоры в мире существуют исключительно для нее. Ничего, если я закурю?

— Да пожалуйста.

— Просто я вижу, окно приоткрыто, но если вам...

— Мне нормально, — уверяет он ее. — Даже нравится. Когда другие курят. Почти как сам покуришь. Тридцать лет как бросил, а все еще тянет. Удивительно, что ты сама не бросила — теперь ведь все помешаны на здоровье.

— Я бросила, — говорит Пру. Ее лицо, освещенное сине-зеленым язычком зажигалки «Бик» — по форме вроде тюбика помады, — кажется жестким, решительным, будто раздетым до голой основы; длинная тень прыгает поперек щеки от носа. Пламя гаснет. Она шумно выдыхает дым. — Разве что иногда вечером, одну-две, чтобы заглушить голод. Ну а теперь история с Нельсоном — так почему мне не закурить? Не все ли равно? — Ее парящее в высоте лицо поворачивается одним профилем, потом другим. — Тут даже присесть не на что. Жуть, а не комната.

Сквозь сигаретный дым он улавливает ее чисто женский, с отдушкой парфюмерного отдела универмага, запах, который прочно прилипает к женщинам благодаря всяким лосьонам, притиркам и любимому шампуню.

— Зато уютно. — И он убирает ноги, чтобы она могла сесть на кровать.

— Могу поспорить, что я вас разбудила, — говорит Пру. — Выкурю сигарету и сразу уйду. Мне нужно было побыть с кем-то из взрослых. — Она затягивается по-мужски, глубоко, и дым выходит жидкими струйками изо рта и ноздрей и продолжает выходить еще при нескольких последующих выдохах. — Я только надеюсь, что этот кошмар с укладыванием детей не будет повторяться каждый вечер, пока Нельсона нет дома. Так их утешать и подбадривать — сама без сил останешься.

— Я думал, он не очень-то сидел дома вечерами.

— В это время он обычно бывал дома. Оживление в «Берлоге» начинается не раньше десяти. Он приходил с работы домой, ел, общался с детьми, а потом его начинало подкидывать. Я действительно верю, что он по большей части не помышлял заранее бежать из дому на ночь глядя за очередной дозой, просто на него накатывало и он не мог с собой справиться. — Она снова затягивается. Он слышит, как она вбирает в себя дым, — вдох, состоящий из нескольких уровней, — и вспоминает, что он чувствовал, когда курил. Это было все равно как создавать из воздуха некое продолжение себя самого. — С детьми он помогал, этого у него не отнимешь. Как бы паскудно он ни обращался со всеми остальными, он не был плохим отцом. Почему я сказала «не был»? Я не должна говорить о нем так, будто мы его похоронили.

— А сколько сейчас времени, не знаешь? — спрашивает он вдруг.

— Минут пятнадцать десятого.

Дженис вернется не раньше половины одиннадцатого. Времени хоть отбавляй, так что можно раскручивать тему дальше. Он поудобнее устраивается на подушках. Хорошо хоть днем успел вздремнуть.

— Значит, говоришь, паскудно он с тобой обращался? — переспрашивает он.

— Не то слово! Хуже некуда. Ночь напролет где-то шляется, занимается бог знает чем, а потом извольте ему еще сопли утирать, прощения он, видите ли, просит! Меня это из себя выводило больше, чем сами его ночные скачки. У меня отец был пьяница и бабник, каких поискать, пил-гулял напропалую, но он хоть не плакался потом маме, какой он несчастный, эту роль он отводил ей. Инфантильная зависимость Нельсона никак не укладывается в рамки опыта моей предыдущей жизни.

Кончик ее сигареты вспыхивает в темноте. Далекие громовые раскаты придвигаются ближе. Присутствие Пру здесь, рядом, обдает жаром мозг Гарри; она словно неудобная, громоздкая, вся из острых углов состоящая поклажа в тонкой живой торбе его сознания. И разговор ее резкий, жесткий — неистребимая акронская жесткость с позднейшим наслоением из уничижительного вокабуляра, который она переняла у психотерапевтов и наркологов. Ему не нравится, что его сына называют инфантильным.

— Ты не один день была с ним знакома, еще в Кенте, — указывает он ей почти враждебно. — И знала, чтó ты на себя взваливаешь.

— Да *не знала я*, Гарри! — Кончик сигареты описывает в воздухе возмущенную петлю. — Я надеялась, что он повзрослеет, мне и в голову не могло прийти, до какой степени он увяз в выяснении отношений с вами, обоими. Он ведь до сих пор мусолит обиды, которые вы ему нанесли, можно подумать, вы единственные в целом мире, кто не желал подтирать сыночку зад на протяжении тридцати лет его жизни. Я ему толкую: спустись на землю, Нельсон. Дрянные родители — это, выражаясь языком гольфа, все равно как пар поля[[127]](#footnote-127). Бог мой! Идеала вообще нет в природе. Тогда он начинает злиться и обзывает меня мороженой рыбой. Это он о постели. С коксом стыд улетучивается моментально: женщины-наркоманки готовы *на все*. Я и говорю ему: мне не светит, чтобы ты заразил меня СПИДом, откуда мне знать, чем наградили тебя твои накоксованные шлюхи! Ну, и он снова бежит из дому. Какой-то замкнутый круг. Уж сколько лет все это тянется!

— А поточнее? Сколько?

Она пожимает плечами — старухина кровать трясется.

— Больше, чем вы думаете. В компашке у Тощего траву и колеса все потребляли — геям-то что, им на себя денег не жалко, больше тратить не на кого. А года два назад Нельсон сам по себе уже так втянулся, что появилась необходимость красть. Сначала он только нас обворовывал, забирал себе деньги, которые должны были пойти в дом, на семью, потом начал таскать и у вас — из магазина. Надеюсь, вы засадите его в тюрьму, я не шучу! — Она уже какое-то время держит сложенную горсточкой руку прямо под сигаретой, чтобы пепел не упал мимо, и теперь озирается в поисках какой-нибудь пепельницы, но ничего подходящего не видит и в конце концов бросает незатушенный окурок в сторону приоткрытого окна — он ударяется о сетку, рассыпается искрами и потом шипит и гаснет на мокром подоконнике. В голосе у нее появляется хрипотца, он словно нащупывает наконец определенный ритм, начинает звучать громче и мелодичнее. — Я больше не хочу иметь с ним ничего общего. Я боюсь с ним спать, я боюсь быть с ним связанной официально. Я загубила свою жизнь. Вам не понять, что это значит. Вы мужчина, вы свободны, вы можете поступать, как вам заблагорассудится, и лет по меньшей мере до шестидесяти вы покупаете. Женщина только продает. Ей иначе никак. У нее просто нет выбора. А будет долго торговаться, ни с чем останется. Мне тридцать четыре. У меня был один-единственный шанс, Гарри. Я упустила его, профукала на Нельсона. У меня было на руках несколько выигрышных карт, и вот как я ими распорядилась, а теперь поезд ушел, игра проиграна. Муж меня терпеть не может, меня саму тоже от него трясет, и у нас даже нет денег, чтобы разбежаться! Мне страшно — кто бы знал, как мне страшно. А детям моим, думаете, не страшно? Я ничто, грязь под ногами, а раз я ничего не стою, то и они тоже. И дети ведь это прекрасно чувствуют.

— Эй, эй, — вынужден вмешаться он. — Ну-ка перестань. Каждый человек чего-то стоит. — Говорить-то он говорит, но про себя думает, что у него не хватило бы аргументов отстоять это старомодное убеждение. Сказать по совести, мы все ничто. Без Бога, который поднимает нас из праха и обращает в ангелов, мы все ничего не стоим.

Ее рыдания сотрясают постель с такой силой, что в его еще слабом послеоперационном состоянии его начинает мутить, как от качки. Чтобы унять колыхание ее внушительного тела, он притягивает ее к себе. Она, словно только того и ждала, прямо вжимается в него, будто нет между ними простыни и одеяла, и продолжает рыдать — регистром ниже и горше; он чувствует ее горячее дыхание у себя на груди, там, где на пижаме расстегнулась пуговица. На груди, которую ему хотят разрезать.

— У тебя хотя бы есть здоровье, — урезонивает он ее. — Что же тогда говорить мне? Меня уже в гроб положили, осталось только гвозди в крышку забить. Бегать мне нельзя, с женщинами спать нельзя, даже есть что хочется и то нельзя; добьют они меня, я знаю, заставят делать шунтирование. *Тебе* страшно? У тебя еще куча карт на руках. А мне каково? Сама подумай.

Уже успокоенным голосом Пру говорит из недр его объятий:

— Операции на сердце сейчас делают сплошь и рядом.

— Ну да, тебе легко говорить. В таком случае я тоже могу сказать тебе, что другие женщины сплошь и рядом выходят замуж за всякое дерьмо. А ты могла бы сказать мне, что наши дети сплошь и рядом становятся наркоманами и мошенниками в придачу.

Короткий смешок. Вспышка света за окном и через несколько секунд — гром. Оба прислушиваются. Потом она спрашивает:

— Это Дженис говорит, что вам нельзя спать с женщинами?

— Мы эту тему не обсуждаем. В последнее время нам просто не до того. Слишком много всего навалилось.

— Ну а доктор что говорит?

— Не помню. Моему кардиологу лет, наверно, столько же, сколько Нельсону. Нам с ним неловко поднимать такие темы.

Пру фыркает и заявляет:

— Ненавижу свою жизнь. — Она как-то странно оцепенела, будто кролик в свете надвигающихся фар.

Он позволяет своей руке, которой он обнимает ее за широкую спину, прогуляться наверх по бугоркам стеганого халатика и нырнуть в шелковистую ложбинку на шее под волосами и там их перебирать, тонкие, теплые.

— Мне это чувство знакомо, — бормочет он умиротворенно, ощущая во всем теле, по всей его длине, подкарауливающую его ватную сонливость.

— Кое-что мне в Нельсоне все же нравилось, например его отец, — говорит она. — Может, я надеялась, что со временем он повзрослеет и станет похожим на вас.

— Может, он и стал, — говорит Гарри. — Ты еще не знаешь, каким я могу быть скотом.

— Воображаю, — вставляет она. — Но это потому, что вас провоцируют.

Он продолжает свою мысль:

— В мальчишке от меня не так уж мало, я ведь вижу. — Ее шея оживает под его пальцами, наэлектризованные мягкие волоски липнут к ним. — Мне нравится, что ты носишь длинные волосы, — говорит он.

— Чересчур отросли. — Ее рука передвинулась к нему на грудь, туда, где пуговица расстегнута. Он мысленно представляет себе ее руки с покрасневшими костяшками пальцев, какие-то беззащитные, неприкрашенные. Она к тому же левша, вспоминает он. Эта ее особенность, как всякая необычность, добавляет к его шевельнувшемуся возбуждению новый градус. Быстро, пока сам не успел еще ничего сообразить, он свободной рукой отнимает ее руку от своей груди и передвигает ее пониже, к полусбритому лобку, туда, где как черт из табакерки выскочил непрошеный гость. В жесте его больше простодушного удивления, чем похоти: так ребенок спешит поделиться с другими интересным открытием — камень лежал, лежал и вдруг зашевелился, или это такая бабочка с толстым-претолстым тельцем? Ее глаза изумленно расширяются на тусклом лице всего в нескольких дюймах от его лица на подушке. У нее в ресницах застряли крохотные иголочки света. И он пускает свое лицо в плавание и, подхваченное приливной волной всколыхнувшейся в нем крови, оно преодолевает те немногие дюймы, чтобы сомкнуть губы с губами, предварительно выбрав нужный угол, в то время как ее пальцы ритмично ласкают его, не поспевая за бешеными скачками его сердца. В тот миг, когда пространство сужается и пропадает, его настигает запоздалая тревога — как же его бедное сердце? а соучастие в блуде? В их поцелуе ему чудится привкус рыбы, так удачно ею приготовленной, с лимончиком и зеленым лучком, привкус рыбы и спаржи.

Дождь хлещет прямо в сетку. Стук дождя и стук капели по подоконнику сливаются в непрерывную общую дробь. Яркая, близкая вспышка пронзает небо от края до края, и меньше чем через секунду оглушительный душераздирающий треск громового раската обрушивается сверху на дом. И словно подхваченная этим природным неистовством, Пру говорит «Черт!», соскакивает с кровати, с грохотом закрывает окно, опускает жалюзи, распахивает халат, стряхивает его с себя и, наклонившись, стаскивает через голову ночную рубашку. В темной комнате нагота ее высокого, бледного, крутобедрого тела так прекрасна, что сравнить ее можно разве только с теми грушами в цвету, в Бруэре, в прошлом месяце — ему тогда казалось, они цветут для него одного, как будто он шел, шел и вдруг забрел в кусочек рая и сам не может поверить в это чудо.

## Часть третья

## ИНФАРКТ МИОКАРДА

К середине июня сорняки заполонили все кругом: лопух и цикорий вымахали под три фута вдоль сухих, спекшихся, как камень, обочин шоссе 111, а уставшие бороться за выживание маленькие тисы, высаженные по линии фасада «Спрингер-моторс» для создания зеленого бордюра у витринных окон, опутаны ползучими сорняками, бодро пролезающими сквозь слой полусгнившей мульчи, которую года два никто не подновлял. Гарри в очередной раз делает зарубку в голове: не забыть вызвать озеленителей, засыпать новую мульчу и заменить погибшие тиссы, почти треть от общего числа, а то вид — хуже не придумаешь, как рот на треть без зубов. На противоположной стороне четырехрядного шоссе (движение теперь гуще и интенсивнее, чем когда-либо, хотя штат по-прежнему держится за пятидесяти-пяти-мильный-в-час лимит скорости) забегаловка под названием «Придорожная кухня», торговавшая едой навынос, уступила место шестому или седьмому по счету заведению сети «Пицца-хат» в окрестностях Бруэра. И что все находят в этой пицце? Жесткие ватрушки, сыр да тесто, а откусишь — за куском тянутся тоненькие резиновые нити, очень аппетитно! Однако по субботам, когда в предвоскресном настроении Бенни изъявляет готовность сгонять напротив и принести всем кто чего закажет, Гарри позволяет себе угоститься пиццей-пепперони[[128]](#footnote-128) с луком и перчиком; только, Бога ради, без анчоусов! Уж больно они на улиток смахивают.

Сегодня, впрочем, не суббота, сегодня понедельник после праздничного воскресенья, когда все поздравляли своих отцов[[129]](#footnote-129). Гарри поздравительной открытки не получил.

Он и Дженис дважды навещали Нельсона, чтобы принять участие в сеансе так называемой семейной психотерапии, в огромном мрачном реабилитационном центре в Северной Филадельфии — кругом поручни, доски с объявлениями и сырой запах множительной техники, напомнивший ему о воскресной школе в церковном подвале, куда он ходил ребенком, — и оба раза «сеанс» выливался в кухонную свару, только в присутствии рефери, сухопарой бледно-темнокожей женщины в диковинных очках, с характерной располагающей улыбкой доброй христианки и прихожанки, такой, какая в голове у Гарри ассоциируется с лучшими представителями черной Филадельфии. Они снова пережевывают все ту же старую жвачку: гибель младенца, заскоки шестидесятых, когда Дженис съехала из дому, а Джилл с Ушлым в него въехали, безумная история с женитьбой Нельсона на секретарше из Кента, на дюйм его выше и на год старше, и ко всему еще католичке, и полубезумная история о том, как и почему молодая пара въехала в старый спрингеровский дом, а пожилая пара из него выехала, к тому же старички теперь по полгода живут во Флориде, и все для того, чтобы не мешать сыну использовать автомагазин, как ему заблагорассудится; Гарри объясняет, как, с его точки зрения, мать Нельсона всю жизнь калечит и развращает сына из-за ее собственного комплекса вины, именно в этом надо искать причину того, что парень считает себя вправе жить в мире грез и удовольствий и водить компанию с гомосеками и наркоманами и плевать на то, что его жена и дети ходят в обносках. Пока он говорит, улыбка молочнокофейной психотерапевтички становится все более и более благотерпеливой, а когда он умолкает, она обращается к следующему из присутствующих — Нельсону, Дженис или Пру — и просит прокомментировать услышанное, как будто его слова не изложение фактов, а просто сотрясание воздуха, и польза от них будет только тогда, когда их свалят в общую кучу с другими высказываниями и хорошенько все перемешают. Это обожаемое психотерапевтами «проговаривание», «раскладывание на составляющие» вообще удивительным образом обесценивает факты реальной жизни; решения, которые были единственно возможными и правильными для людей в их конкретной жизненной ситуации, представляются в виде примитивных рефлексов, уже исследованных вдоль и поперек в процессе «проработки» миллионов аналогичных случаев, — все оказывается проще пареной репы, все жевано-пережевано так, что ни вкуса, ни цвета, ни запаха не осталось. Он чувствует себя предсказуемым, заведомо просчитанным и сброшенным со счетов, что бы он тут ни говорил, и от этого нервы его все больше расходятся, а ему это вредно, и в конце концов он твердо заявляет обеим — Дженис и Пру, — что в следующий раз они поедут без него.

Бенни идет через зал и, подойдя к окну, возле которого стоит и смотрит наружу Гарри, спрашивает его:

— Как прошел праздник?

Гарри очень доволен, что ему есть что ответить.

— К нам приезжала жена Нельсона с детьми, и я устроил для всех пикник с грилем в саду. — Звучит изумительно: семейный праздник в лучших американских традициях, но тут была своя сомнительная изнанка. Начать с того, что гриль у них не простой, а в виде металлической сферы — «само совершенство», как отозвался о нем несколько лет назад журнал «К сведению потребителей», но у Гарри для этого совершенства совершенно не хватает терпения и, хотя в инструкции ясно сказано «дождаться, чтобы угольные брикеты стали серыми и до конца прогорели», он всякий раз боится упустить момент; в результате он то и дело проверял готовность сырых котлет для гамбургеров, никак не желавших прожариваться, и отбивался от Дженис, которая задергала его предложениями зажарить котлеты в кухне, пока комары не сожрали детей живьем. Вторая накладка состояла в том, что внуки вручили ему довольно милые поздравительные открытки — все прекрасно, никаких возражений, — обе по эскизам модного нынче художника Гэри Ларсона, которого все почему-то считают жуть каким остроумным, но уже само единообразие их подарков — открытки даже подписаны одним красным фломастером, у Джуди буква «Д» с девчоночьей завитушкой, а у малыша Роя частокол кривых и косых палочек, решительно накаляканных рукой дошколенка, — яснее ясного говорило о том, что никто их специально не готовил: заскочили по дороге в аптеку и купили первое, что подвернулось. Волосы у Пру и детей были еще мокрые после бассейна. От себя Пру вручила миску с салатом собственного приготовления.

— Здорово, — одобрительно отзывается Бенни своим негромким, сипловатым голосом.

— Да, неплохо, — соглашается Гарри и поясняет, как будто существующий лишь у него в голове образ Пру — с мокрыми длинными волосами, с прижатой к бедру большой деревянной плошкой зеленого салата с ломтиками редиски — стоит перед глазами у них обоих: — Мы договорились в загородном клубе, чтобы жене Нельсона оформили временное членство, и они почти до вечера купались там в бассейне.

— Это хорошо, — кивает Бенни. — Она, по-моему, девица что надо, Тереза. Не то чтоб я ее часто видел, она в магазин почти не заходила, но я переживаю: такая семья, и надо же, как неудачно все повернулось.

— Да ничего, они помаленьку справляются, — говорит Гарри и переходит на другую тему: — Ты не смотришь теннис, репортажи с Открытого чемпионата? — Кто-то должен пойти и собрать все эти пакеты и обертки, которые летят к ним через шоссе от «Пиццы-хат» и застревают в бордюре из замученных маленьких тисов. Но самому ему наклоняться не хочется, а послать Бенни кажется не вполне удобным.

— Не-а, не завожусь я от спортивных зрелищ, хоть убей, — отвечает упитанный молодой продавец немного запальчивее, чем того требует вопрос. — Даже от бейсбола: две игры посмотрю, и мне уже скучно. По большому счету что мне-то лично от всех этих игр? Понимаете? Какой, грубо говоря, прок? Правильно?

Раньше на той стороне дороги 111 рос раскидистый старый красавец клен, который хозяева «Пиццы-хат» спилили, чтобы расширить свои торговые площади под красной крышей. Крыша по форме напоминает шляпу, скат сделан с двумя уклонами. Вон как другие стараются — он со своими еле видными тисами должен спасибо говорить, что торговля у него все-таки идет неплохо.

— Что ж, — говорит он Бенни, не имея охоты ввязываться в спор, — ты не много потерял, Филадельфия нынче на последнем месте. Худший результат за всю историю бейсбола, а теперь они еще додумались продать двоих «стариков» из команды звезд. Бедросяна и Сэмюела. Никакого патриотизма.

Бенни настойчиво продолжает разъяснять свою позицию, непонятно кому и зачем:

— Лично я как считаю, лучше *самому* заняться чем-то полезным в воскресенье, особенно если погодка располагает, чем приклеиться к телевизору и сидеть час за часом, понимаете, что я хочу сказать? Самому побыть на воздухе, дочку выгулять, сходить с ней искупаться у соседа в бассейне, или всей семьей съездить на прогулку в горы, когда жары нет, словом, сами понимаете.

Далось им всем это «понимаете»: думают, если не заколачивать постоянно гвозди в ваше легковесное внимание, так его просто ветром сдует.

— Это мне знакомо, сам когда-то был таким, — заверяет его Гарри, чувствуя, как напряжение оставляет его, поскольку раздражающий его нервные окончания образ Пру с бадьей салата у бедра отодвигается на задний план, и он мало-помалу настраивается на философский, весьма приятный меланхолический лад, какой обычно овладевает им, когда он подолгу глядит в большое знакомое окно. У него над головой синий бумажный транспарант с буквами АМАЧАТОЙОТ, сквозь который просвечивает солнце, в нескольких местах начал отклеиваться от стекла. — Пацаном я всегда занимался каким-нибудь спортом и до недавнего времени таскался играть в гольф, лупил как дурак по мячу.

— Это вам и сейчас не заказано, — подбадривает его Бенни своим типично итальянским, сипловатым, слегка задыхающимся голосом. — Могу поспорить, вам и доктор ваш то же самое говорит, наверняка советует больше двигаться. Мне мой тоже советует. Ну, мне-то из-за веса, вы ж понимаете.

— Да, надо бы, наверно, что-то придумать, — соглашается Гарри, — чтобы кровь в жилах не застаивалась. Но не знаю, почему-то гольф стал вдруг казаться мне ужасно глупым занятием. До меня просто дошло, что я ничего здесь не достигну, теперь уже точно. Наша старая четверка, те, с кем я раньше играл, распалась — кто где. Теперь в клубе засилье крепких белокурых ребят из новых, а они ногами не ходят, на картах по полю разъезжают. Некогда им пешком ходить, быстренько отыграли и назад — деньги ковать, всю траву изъездили своими колесами дурацкими. А мне всегда нравилось самому ходить, самому клюшки носить. Как иначе укрепишь ноги? Тут, между прочим, зарыта собака мощного свинга в гольфе, хочешь верь, хочешь нет. Весь фокус в ногах. Я в основном работал руками. А знал ведь, что и как делать, — усекал, когда другие играли или когда смотрел соревнования профессионалов по телевизору, — знать-то знал, а сам сделать не мог.

Эта длинная и какая-то очень самоуглубленная тирада приводит Бенни в некоторое замешательство.

— Вам точно нужно побольше двигаться, — сипит он. — Особенно учитывая ваш опыт.

Кролик не уверен, что понимает, какой опыт тот имеет в виду — недавний, медицинский, или быльем поросший опыт его спортивных достижений. Его старые баскетбольные фотографии покинули кабинет Нельсона и вновь заняли свое место на стенах демонстрационного зала — что с того, что стены теперь нежно-розовые? — Кролик самолично их перевесил, это вам не мульчу на газонах подновлять. ЭНГСТРОМ ЗАБИВАЕТ СВОЙ 42-Й.

— Да, когда Шмидт объявил, что покидает большой спорт, я был потрясен, мне захотелось снять шляпу, — втолковывает он Бенни, который уже десять раз повторил ему, что спортом по телевизору не интересуется. Возможно, ему просто нравится доводить толстяка. Ничего, пусть потерпит. Он так и не знает, был или не был Бенни замешан в махинациях Нельсона, но когда он снова стал во главе магазина, у него то ли духа не хватило уволить итальянца, то ли просто лень одолела. Он теперь живет по принципу: день прожить — не «тойоту» с рук сбыть. А «тойоты» и сами прекрасно продаются, особенно модели «камри» и «королла». Так чего же еще? — Ведь от него ничего особенного не требовалось, — объясняет он Бенни, — просто числиться в составе команды до пятнадцатого августа — и получил бы еще полмиллиона. А как он начал сезон — шаровая молния! Два хоум-рана в двух первых играх, и это, заметь, после травмы плеча и операции. Но, как сказал Шмидт, он подошел к той точке, когда его тело перестало ему беспрекословно подчиняться. Он прекрасно знал, что нужно сделать, а сделать уже не мог, и он не стал прятаться от правды и заслуживает всяческого уважения: в наш продажный век он предпочел лишиться денег, но сохранить честь.

— Восемь ошибок. — Это вступает в разговор Эльвира Олленбах: ее звучный голос доносится из кабинки у стены, примыкающей к Парагваю, где она оформляет счет и другие необходимые бумаги за «Короллу ЛЕ», проданную накануне одной из нынешних разбитных бабенок, которые, не успев переступить порог, требуют к себе особого внимания. У них теперь есть работа, деньги, все, даже у совсем молоденьких — в прежние времена сидели бы по домам и нянчили детей. Как ни посмотришь вокруг, так все чаще видишь, что теперь женщины и автобусы водят, и даже грузовики. Скоро будет, как в России; не хватает, чтобы женщины за отбойный молоток взялись. Может, уже и взялись. Единственная разница между двумя давними старушками-сверхдержавами состоит теперь только в том, что свой лес они ввозят в Японию с разных сторон. — Две ошибки подряд в двух последних играх против «Гигантов»[[130]](#footnote-130), — перечисляет неумолимая Эльвира, — и на отбивании у него всего 203[[131]](#footnote-131), только два попадания на сорок одну попытку, если брать последние результаты. — Ее голова, к которой с боков, словно миниатюрные ручечки к кувшину, приставлены хорошенькие ушки, нашпигована цифрами. Отец у нее, как она ему однажды пояснила, был ярый болельщик, и чтобы находить с ним общий язык, ей приходилось и самой не отставать, и постепенно она так втянулась, что это уже вошло в привычку.

— Так-то оно так, — мямлит Кролик не очень уверенно, делая несколько шагов по направлению к ее столу, — но все-таки это поступок. Всего только неделю назад, если ты в курсе, было напечатано интервью с ним в одной газете, и он там говорил, что он в блестящей форме, просто немного не рассчитал, перегорел, как юнец, от азарта. Не читала? И после этого у него хватило мужества прийти к совершенно другому выводу. А ведь мог дотянуть кое-как до конца сезона и спокойненько заграбастать свои полтора миллиона. Нет, мне нравится, как он ушел, — заключает Кролик, — без канители и без торгов.

Эльвира, не подымая головы от бумаг — ее висячие золотые сережки покачиваются в такт движениям рук, — невозмутимо комментирует:

— Да кто бы его держать стал до августа с такой игрой? Он избавил себя от позора, только и всего.

— И я о том же, — говорит Гарри не совсем уверенно, разрываясь между желанием вступить в дружеский союз с этой привлекательной молодой особой и естественным стремлением одержать над ней верх, поставить ее на место. Не то чтобы он что-то имел против нее или Бенни, отнюдь: работать с ними совсем не хлопотно, даже приятно; и больше всего, кажется, они боятся вылететь из магазина вслед за Лайлом и Нельсоном. Гарри самому же проще было принять на веру их невиновность и не кренить лодку, то бишь магазин, больше чем его уже накренило. У них обоих приличные связи в Бруэре и «тойоты» они продают довольно успешно, а что разговоры в часы затишья — «окон», выражаясь языком молодежи, — не так греют душу и прочищают голову, как их прежние беседы с Чарли Ставросом, в общем, неудивительно: времена нынче такие, не враз смекнешь, что к чему. Рейган всех окончательно сбил с толку, а тут еще коммунисты непонятно что стали вытворять. — Про выборы в Польше слыхали? Ничего себе? — говорит он вслух. — Народ голосует против Компартии — думал ли кто-нибудь, что мы до этого доживем? Горби на весь мир заявляет, что дома в Армении все равно что куличи из песка, цемента в них кот наплакал, в строительных трестах сидят одни мошенники. А Китай? Да, власти в конце концов учинили расправу, но поразительно другое — целый месяц этим молокососам позволяли навязывать властям свои правила игры и никто не понимал, как из этой истории выпутаться! Складывается впечатление, что там, по ту сторону, уже нет ни твердой, ни мягкой руки. Уж лучше б как раньше, — говорит он, — холодная война. Тогда был по крайней мере какой-то смысл, было зачем вставать по утрам.

Он сознательно провоцирует их, своих молодых подчиненных, ему даже хочется, чтоб они вскинулись на него, но его слова тихо и бесследно улетучиваются, как нудные тирады стариканов из времен его детства, которые сидели на крылечках и бубнили что-то себе под нос. И уже не в первый раз после своего возвращения в магазин его посещает такое чувство, будто он это не он, а какое-то привидение, которое все тут снисходительно ублажают. И слова его не более чем сотрясание воздуха. В бывшем кабинете Нельсона и в соседней комнате, где раньше сидела Милдред, расположился бухгалтер, нанятый Дженис по рекомендации Чарли Ставроса; доскональная проверка финансовой отчетности оказалась делом настолько трудоемким, что он взял себе помощника, тоже на полный рабочий день. Эти двое, оба молодящиеся, в серых костюмах (пиджаки они, приходя, вешают на плечики, а уходя, снова надевают) явно ощущают себя здесь начальством, не номинальным, а реальным.

— Эльвира, — как всегда, с удовольствием произносит он ее имя, — а ты читала утром в газете про то, что четверых мужиков привлекли к уголовной ответственности за то, что они приковали себя цепью к машине под окнами клиники, где делают аборты? Заодно им шьют вовлечение малолетних в преступные действия, поскольку с ними был семилетний мальчонка. — Он нисколько не сомневается, что в вопросе о допустимости абортов она за «свободный выбор». Все они, молодые, независимые девицы, одним миром мазаны. Он нарочно занимает промежуточную позицию, но чуть ближе к тем, кто «за жизнь», чтобы вернее раззадорить ее, хотя по большому счету ему все равно, и она это прекрасно понимает. Она встает из-за стола и идет к нему широким, решительным шагом, такая тоненькая, что дух захватывает, с подготовленными бумагами в руках; маленькая головка с широким подбородком, с зачесанными назад блестящими темными волосами завершает стройную шею, в ушах покачиваются удлиненные серьги в форме бразильского ореха. Он на шаг-другой отступает, и они, теперь уже все трое, оказываются возле окна — Гарри стоит посередине, возвышаясь на целую голову.

— Заранее можно сказать, — замечает она, — что протестуют только мужчины. Почему их так это волнует? Откуда столько пыла? Не все ли им равно, как распоряжаются собой какие-то совершенно не знакомые им женщины?

— По их мнению, это убийство, — говорит Гарри. — Они считают, что уже наутро после зачатия зародыш надо рассматривать как самостоятельную маленькую жизнь.

Его формулировки наконец распаляют ее, и она презрительно фыркает:

— Тхх-ха! Что они могут *считать!* Если бы мужчин можно было обрюхатить, никаких дискуссий в помине бы не было! Скажи, Бенни?

Она втягивает Бенни, чтобы с ходу развести пожиже варево, которое Гарри, пока неясно зачем, заварил. Не зря же он подкинул ей провокационную темку.

Бенни с настороженной хрипотцой отвечает:

— Моя церковь учит, что аборт — это грех.

— И ты, конечно, веришь — пока у самого не засвербит, ведь так? Лучше расскажи нам, как вы с Марией обходитесь — предохраняетесь небось? Семьдесят процентов молодых католических пар так или иначе предохраняются, тебе об этом известно?

Была одна странность в эпизоде с Пру, вспоминает Гарри, — презерватив, который она извлекла из кармана своего короткого халатика. Одно из двух: либо он всегда лежит у нее в кармане, либо она еще за порогом его комнаты знала, чем кончится их свидание. Он к этим приспособлениям непривычный, после армии вообще ими ни разу не пользовался, однако даже не пискнул в знак протеста: парадом командовала она. Эта штуковина так ему все стиснула, что он только и думал, хватит ли ему мощи держать ее в растянутом состоянии или в конце концов она его одолеет, к тому же оставшуюся после операции растительность защемило краем скрутившейся у основания тугой резинки, пришлось, весьма прозаично, немного повозиться — темно, ничего не видно, она ему помогла; возможно, из-за всего ему потребовалось больше времени, чем обычно, ну, да не страшно, зато она успела разрядиться дважды, сперва под ним, затем сверху, оседлав его, и дождь хлестал в окно за опущенными жалюзи, и бедра у него под руками были такие мясистые, широкие, что он даже забыл о собственной толщине, и груди ее часто-часто подпрыгивали, пока она колыхалась на подступах ко второму оргазму, а он уже был в полуобморочном состоянии от страха за свое слабое сердце, которое могло не выдержать такой скачки. Какое-то слишком деловитое, без намека на стыдливость, отношение Пру к постели отчасти развеяло романтичность той первой минуты, когда он увидел ее в полумраке, обнаженную, бледную, и сравнил ее с деревьями в цвету на той незабвенной аллее. Она делала все, что полагается, только без нежности, немного деревянно, будто у портновского манекена, который стоял, невидимый, в темном углу, вдруг выросли руки и ноги, и голова с мотающейся гривой морковного цвета волос. Чтобы чем-то удержать состояние готовности, он не переставая твердил себе: *Она левша — левши у меня еще не было.*Бенни заливается краской. Он не привык говорить с женщинами в таком ключе.

— Может, и так, — вынужден признать он. — Это ведь не смертный грех, в нем можно не исповедоваться, если не хочешь.

— Иначе священник все время попадал бы в идиотское положение, — подсказывает ему Эльвира. — Но предположим — не важно, чем и как вы предохраняетесь, — Мария все-таки залетит. Что будете тогда делать? Вы же не захотите ущемлять интересы вашей ненаглядной дочурки — пока все остается по-старому, вы можете обеспечить ей все самое лучшее, так? Ответь мне, что важнее — качество жизни, которое вы в своей семье имеете на сегодняшний день, или комочек белка размером с козявку?

Бенни срывается на истерический писк — бывает такое, когда взрослый мужчина взвинчен до предела.

— *Отстань* от меня, Элли! Не мучай меня, я не хочу об этом думать. Ты покушаешься на то, что для меня свято, на религию. И я совсем не против детей, еще одного, двух, пожалуйста! Почему нет, в конце концов? Я еще молодой.

Гарри пытается немного помочь ему.

— Да кто возьмется судить, что такое качество жизни? — спрашивает он Эльвиру. — Может, тот самый внеплановый малыш изобретет фонограф, когда вырастет.

— Если вырастет в гетто[[132]](#footnote-132), не изобретет. Этот малыш шестнадцать лет спустя ограбит вас на улице, чтобы купить себе наркоты.

— Ну, не будем расистами, — замечает Гарри, которого, можно сказать, ограбил его собственный сын, никакой не цветной, а очень даже белый и не в гетто выросший.

— Это не расизм, а реализм, — парирует Эльвира. — Это жизнь: представьте себе какую-нибудь полунищую темнокожую девчонку, уже успевшую стать матерью, у которой полоумные самцы-фундаменталисты хотят отнять последнее — право на аборт.

— Угу, — подхватывает он, — какую-нибудь полунищую темнокожую девчонку, которая в детстве не наигралась в куклы, поскольку кукол у нее отродясь не было, и потому завела себе ребеночка, и она совсем не против приклеить на лоб трудяге-налогоплательшику еще один счет — пособие на своего следующего отпрыска. Получай, белая сволочь! Вот правда жизни, вот о чем говорит статистика рождаемости.

— Что-то расизмом вдруг повеяло, вам не кажется?

— Реализмом — хотела ты сказать.

Разомлевший после любовных утех, благодарный судьбе за то, что он сумел после этого остаться в живых, он рискнул спросить Пру, нет ли у нее подозрений насчет Нельсона — почему его так тянет к голубым, всем этим Лайлам и Тощим. Когда она, разве только самую малость опешив от его вопроса, отвечала ему, тщательно подбирая слова, в мокром свете от окна было видно ее дыхание, выявленное облачками сигаретного дыма. «Нет, Нельсон любит женщин. Хоть он и маменькин сынок, но в этом смысле он весь в вас. Просто он их немного побаивается, не то что вы». Когда меньше чем через час в комнату вошла Дженис и, потянув носом, уловила запах табачного дыма, он притворился, будто его валит в сон и он не может выяснять, что, откуда, да почему. Второй окурок Пру унесла вместе с презервативом, а первый, мокнувший всю ночь на подоконнике, к утру раскис и размяк, словно валялся тут невесть сколько лет, и вполне мог сойти за историческую реликвию, хранящую память о Нельсоне и Мелани. Вздохнув, Кролик говорит:

— Ты права, Эльвира. У всех людей должна быть возможность выбора. Даже если их выбор будет всегда неудачный.

Из комнаты, где он был вместе с Пру, он мысленно переносится в комнату, где жил вместе с Рут, в доме на Летней улице, один пролет вверх по лестнице, и вспоминает обстоятельства, при которых он видел эту комнату в последний раз: Рут сказала ему, что беременна и что он всюду сеет смерть, а он упрашивал ее оставить ребенка. *Пусть он будет! Что значит — пусть он будет? Ты на мне женишься?* Она издевалась над ним и одновременно умоляла его и в конце концов, пора уже реально смотреть на вещи, наверное, сделала аборт. *Если ты ни в чем не можешь разобраться, считай, что я для тебя умерла, и этот твой ребенок тоже умер.* И та медсестра из больницы Св. Иосифа с круглым лицом и добрым нравом не имеет к нему никакого отношения, как и уверяла его Рут во время их последнего разговора у нее дома, на ферме, десять лет назад. У него однажды была дочка, и она умерла; он вышел у Бога из доверия, и другой дочери ему даровано не было. Вслух он говорит:

— Шмидт сделал то, что Роуз, по своей тупости, сделать никак не может: если твоя песенка спета — уйди! Уйди сам, красиво, к чему продлевать агонию, затевать дрязги, тащить на подмогу адвокатов.

Бенни и Эльвира смотрят на него с беспокойством, пытаясь разглядеть подвох за странным пируэтом, который совершила его мысль. Но ему самому охватившее его состояние очень нравится, и он с удовольствием предается бесцельным скитаниям по собственной памяти. В первый день, когда он пришел в магазин в новой должности главного торгового представителя, сменив на этом посту преставившегося Фреда Спрингера, он боялся, что эта роль ему не по размеру — великовата. Теперь же, когда он стал старше и в голове у него роится столько воспоминаний, ему даже усилий прикладывать не надо — все получается само собой.

Через широкое витринное стекло он видит пару, на вид между тридцатью и сорока, а может, и чуть за сорок, ему теперь все кажутся молодыми: они бродят среди машин на площадке, то и дело наклоняясь, чтобы взглянуть на отделку салона и на прилепленный к боковому стеклу листок с заводской спецификацией. Женщина тучная, белая, в легкомысленной кофточке с тесемками сзади (на шее и на талии), выставляющей напоказ ее жирные руки, а мужчина смуглый, почти темнокожий — каких только оттенков кожи не встретишь у латиноамериканцев — и очень худой, в бледно-зеленой маечке до пупа. Головы их двигаются вверх и вниз с какой-то опаской, словно здесь, в этих прериях сверкающих автомобильных крыш, на них из засады может выскочить отряд кровожадных индейцев: ни дать ни взять чета отважных первопроходцев, в каком-то смысле так и есть, по крайней мере в этом уголке земного шара, где представители разных рас, как правило, держатся обособленно.

Бенни спрашивает Эльвиру:

— Кто к ним пойдет, я или ты?

— Иди ты, — решает она. — Если женщину нужно будет немного дожать, тащи сюда, я ее уболтаю. Только не смотри, что она белая, его тоже без внимания не оставляй. Будешь мужчину игнорировать — они оба разобидятся, как пить дать.

— Что?! Ты меня в дискриминации подозреваешь? — в шутку возмущается Бенни, но за дверь, отделяющую кондиционированную прохладу от июньской влажной жары, он выходит невесело, с какой-то мрачной решимостью.

— Лучше не надо прохаживаться насчет его веры, — говорит Эльвире Гарри.

— Да не трогаю я его веру. Только, по-моему, этого мерзавца папу римского давно пора привлечь к ответу за то, что он творит с женщинами.

Пегги Фоснахт, вспоминает Кролик, незадолго до того, как ей сначала отрезали грудь, а потом она и вовсе померла, ненавидела папу лютой ненавистью. А рак, говорят, от злобы и возникает — так он где-то вычитал. Когда подольше поживешь да посмотришь вокруг, философствует он, в какой-то момент начинаешь ловить себя на том, что ты все это уже слышал раньше, причем не только сами новости, но и комментарии к ним, и вот крутится-вертится без конца одно и то же, точно отбросы в испорченном кухонном «перемалывателе»; телевизионщики будто сговорились что ни вечер доводить тебя до безумия, только и остается — очертя голову бежать на улицу и скупать все подряд, все рекламируемые ими транквилизаторы и в придачу к ним слабительное, и клеющий крем «Фиксодент» — зубные протезы к деснам приклеивать, и снотворное соминекс, и тайленол — сражаться с головной болью и простудой, и средство от геморроя, и полоскание для рта — избавляться от дурного запаха по утрам. Почему те, кто пускает в эфир вечерние новости, полагают, что те, кто их смотрит, превратились уже в полных инвалидов и развалюх? Одного этого достаточно, чтобы возникло желание немедленно переключить канал. Какая пакость все эти рекламные ролики — его просто тошнит от дружеской, пересыпанной народным юморком, беседы «простых людей из глубинки», которым, видишь ли, захотелось поделиться друг с дружкой, у кого в заду просто свербит, а у кого уже так жжет, что мочи нету; или еще находка — молодая/старая красавица, снятая в романтическом, чуть смазанном фокусе, которая сладко так потягивается, выходя из уборной в белом халате, ведь ей наконец удалось полностью освободить кишечник; а есть еще одна завораживающая реклама слабительного экс-лэкс: на экране поочередно возникает огромное множество людей, и каждый говорит «с добрым утром», и ты невольно представляешь себе, как при таких делах весь мир очень скоро заполнится нашим улыбчивым американским говном — придется хорошо заплатить малоимущим странам третьего мира, чтобы вслед за токсичными отходами начать захоранивать у них еще и наше дерьмо.

— Дался тебе этот папа! — удивляется Гарри. — Чем, к примеру, Буш лучше? Он тоже против «свободного выбора».

— Верно, но как только женщины начнут голосовать против республиканцев и кресло под ним зашатается, он быстро изменит свою точку зрения. А вот на папу голосованием повлиять невозможно.

— У тебя никогда не возникает такое чувство, — спрашивает ее Гарри, — что с приходом Буша мы, говоря по-спортивному, переместились куда-то за боковую линию, что мы теперь вроде Канады, только размерами побольше, и что ни мы сами, ни наши действия никого особо не волнуют? Я вполне допускаю, что так и должно быть. И наверно, так даже лучше и проще — все время быть на вершине очень обременительно.

Эльвира, не совсем понимая, как ей следует реагировать, решает обратить все в шутку. Она тихонько теребит серьгу в форме бразильского ореха, поглядывая на него искоса снизу вверх.

— Лично вы очень даже всех нас волнуете, Гарри, если мы с вами говорим об одном и том же.

Это самые теплые слова, которые он услышал от нее за все время совместной работы. Он заливается краской.

— Я имел в виду не себя, я говорил о стране. Знаешь, кого я виню во всем? Старую бестию Хомейни за то, что окрестил Америку «Большим Шайтаном». Он навел на нас какую-то порчу, и мы стали сдавать позицию за позицией. Нет, серьезно. Не знаю, как это ему удалось, но подгадил он нам здорово.

— Будет вам витать в облаках, Гарри. Спускайтесь-ка лучше на землю, вы нам тут очень нужны.

Она тоже идет на стоянку, где только что появилась четверка девчонок-подростков, все как одна в «варенках». А кто их знает, такие времена настали, что и у подростков могут найтись деньги на «тойоту». А может, у них рок-группа, в группе только девочки, и они хотят подобрать себе фургон, будут в нем ездить с концертами. Гарри идет вглубь, к кабинетам, где в ворохах бумаги свили себе гнездышко и трудолюбиво в нем копошатся два временно нанятых бухгалтера. У того, что за старшего, какое-то будто резиновое, усталое лицо и темные круги под глазами, а помощник его на вид совершеннейший дебил — изъясняется с трудом и затылок у него подозрительно плоский. Зато рубашка на нем — не придерешься: всегда свежая, белоснежная, с туго затянутым галстучком, пришпиленным на груди зажимом.

— Ага, — говорит тот, что за старшего, — он-то нам и нужен, голубчик! Имя Энгус Барфилд вам что-нибудь говорит? — Ну и круги у него, глубокие, чернущие, словно провалы в глазницах; на вид чистый енот. Хоть лицо у него не первой свежести, волосы черные, как вакса, и лежат на голове, будто нарисованные, волосок к волоску. Аккуратность у бухгалтеров в крови, работа такая: ну-ка, столько цифр написать, тысячи, миллионы цифр, и чтобы ни одна пятерочка не сошла случайно за троечку, а семерочка за единичку. Пока его окольцованный глаз вопросительно вскинут на Гарри, резиновые губы ни секунды не остаются на месте, непрерывно складываясь в сменяющие одна другую многозначительные гримасы.

— Нет, — отвечает Гарри, — хотя... погодите. Кажется, что-то знакомое. Барфилд...

— Оч-чень интересный субъект, — произносит бухгалтер, хитровато кривя губы. — С декабря по апрель он каждый месяц покупал по «тойоте». — Он сверяется с документом, который лежит у него на столе, прямо под рукой. Волосы у него на запястьях очень длинные и черные. — Одна «королла» четырехдверная, один «терсел» пятискоростной хэтчбек, один «камри-вэгон», потом люксовый «4-Раннер», а в апреле он и вовсе разошелся и взял себе «супру-турбо» со спортивной крышей, заплатил сущие пустяки — двадцать пять семьсот. Итого чуть меньше семидесяти пяти тысяч. Все машины приобретены на одно имя, везде указан один адрес по Ивовой улице.

— Это где же?

— Одна из боковых улиц повыше бульвара Акаций, знаете? С недавних пор райончик довольно модный.

— Бульвар Акаций, — повторяет Гарри, мучительно напрягая память. Слышал, слышал он раньше это диковинное имя — Энгус... От Нельсона. Когда тот собирался ехать к друзьям в Северный Бруэр.

— Пол мужской. Семьи нет, белый. Кредитоспособность не вызывает сомнений. К тому же он не мелочится — весь товар оплачен по прейскуранту, без каких-либо скидок. Единственный недостаток этого клиента, — продолжает бухгалтер, — в том, что, по сведениям городской мэрии, его уже полгода как нет в живых. Скончался накануне Рождества. — Он собирает губы в пучочек, асимметрично сдвинутый к одной ноздре, и вскидывает брови так высоко, что ноздри, не желая оставаться безучастными, тоже изумленно растопыриваются.

— Есть, вспомнил! — говорит Гарри и чувствует, как сердце, дернувшись, рванулось куда-то. — Это Тощий. Энгус Барфилд — так в действительности звали молодого человека, которого все кругом называли «Тощий». Он был... э... гомосексуалист, кажется, примерно одних лет с моим сыном. Имел хорошую работу в центре Бруэра — руководил одной из программ профессионального обучения недоучившихся в школе подростков при министерстве жилищного строительства и городского развития. Он был дипломированный психолог, если не ошибаюсь. Нельсон когда-то упоминал.

Придурковатый помощник, который слушает его, глядя ему в рот, будто способен разом воспринимать только одну нехитрую мысль, при этих словах хихикает: услыхал про психолога, дурья башка, и обрадовался, оно и понятно — где психолог, там и псих. Старшой тем временем перекручивает нижнюю часть лица на новый лад, словно демонстрируя свое умение вязать узлы.

— Банки любят ссужать деньги государственным служащим, — замечает он. — Надежно, безопасно, понимаете? — Поскольку от него этого явно ждут, Гарри кивает, тогда бухгалтер театрально хлопает ладонью по бумагам, в аккуратном беспорядке разложенным на столе. — С декабря по апрель Кредитный банк Бруэра пять раз предоставлял ссуду на приобретение автомобиля Энгусу Барфилду с переводом соответствующих сумм на счет «Спрингер-моторс».

— Да как они могли — одному человеку?.. Простой здравый смысл...

— Стоило появиться компьютерам, друг мой, как здравый смысл немедленно вылетел в окно. Лежит, пылится где-то вместе со шляпкой тетушки Матильды, знаете, были такие, со страусовыми перьями? Теперь ссуды в банке выдаются автоматически, а для этого думать не надо: щелк, скок, попал — не попал, играли в детстве в блошки? Тот же принцип. Компьютер проверил его кредитоспособность, остался доволен и дал добро на ссуду. Все чеки были оприходованы, вопрос только кем, потому что в приходных статьях фирмы «Спрингер-моторс» они не фигурируют. Мы склонны думать, что ваш Лайл где-то открыл липовый счет. — Бухгалтер утыкает палец в стопку банковских распечаток; посмотрев на его палец с черными волосами между костяшками, неестественно прогнувшийся посередине, Кролик смаргивает и отводит глаза. Этот гуттаперчевый типчик, несомненно, принадлежит к разряду прирожденных менторов, которых Кролик всю жизнь инстинктивно обходил стороной. — Давайте разберем нашу ситуацию на наглядном примере. Представьте, что компьютер — это француз. Пока вы не знаете языка, он кажется вам чуть не гением. Но стоит вам освоить язык, и вы убедитесь, что он глуп как пробка. Скорость — да, этого у него не отнимешь. Но действовать быстро еще не значит действовать с умом.

— Но, — теряется в поисках нужных слов Гарри, — но как-то не верится, что Лайл и Нельсон, Лайл особенно, могли так подло воспользоваться именем несчастного парня, ведь он только в декабре умер, получается, едва успели его похоронить, как они взялись за дело? Хладнокровно, расчетливо — неужели возможно такое?

Бухгалтер как-то даже обмякает, придавленный его дремучей наивностью.

— У мальчиков был хороший аппетит. А мертвые, насколько мне известно, переживать не способны. Он умер, но в банке у него остался открытый кредит, поскольку в компьютер не поступила команда его закрыть. Таким образом на ссудах, которые предоставил Кредитный банк, вкупе с липовым отчетом о продажах, который был отправлен в Среднеатлантическое отделение «Тойоты», они положили себе в карман что-то порядка двухсот тысяч — неплохой навар с операции. Это на сегодняшний день выяснено достоверно, а дальше посмотрим. Ну, в любом случае тут хватит и на печенье, и на варенье.

Помощник снова хихикает. Кролик, услышав, о какой сумме идет речь, весь холодеет от ужасного предчувствия, что этим долгом, как волной, и его с головой накроет. Здесь, в его гнезде, среди вороха бумаг, рассыпанных по столу, за которым он сам работал не один год, время от времени доставая из среднего ящика слева леденец в форме спасательного круга, здесь, у него на глазах ему готовят смертельную ловушку. Он похлопывает по карману пиджака, все-таки, когда ощутишь под рукой тверденькую выпуклость пузырька с нитростатом, чувствуешь себя увереннее. Вот выйдет за дверь — и сразу возьмет таблетку. Той ночью, когда они с Пру оказались в постели, оба, каждый по-своему, доведенные судьбой до беспросветной тоски и полубезумия, скрипучая старая кровать под ними тоже казалась подобием гнезда, только другого гнезда, в котором сплелось и переплелось все, что осталось от семейного достояния, — затхлый старушечий запах мамаши Спрингер, изгнанный из ее матраса неожиданным для него энергичным прыганьем, тогда как вот уже сколько лет на нем никто, кроме одинокой старухи, не спал, да еще неистребимый дух старых, пропахших нафталином одеял, хранящихся в кедровых комодах на чердаке, среди обтянутых плюшем семейных альбомов, ломаных качалок с плетеными сиденьями и шляпок с вуалями в круглых шляпных картонках, дух, исходивший между прочим не только от поруганной постели, но и от старой швейной машины, нашедшей здесь свой последний приют, и от преданных забвению Фредовых галстуков в стенном шкафу, и от свалявшейся пыли на полу под досточтимым ложем. И надо же, чтобы все приметы доброй семейной истории свелись вот к этому — пошлому совокуплению с громом и молнией за окном. Теперь, впрочем, кажется, что ничего и не было. Он и Пру холодновато-вежливы друг с другом, а Дженис, каждый день делающая новый шажок в приближении к идеалу деловой женщины, бросила сочинять разнообразные поводы для совместного времяпрепровождения двух семей. Гриль в честь праздника всех отцов стал исключением из правил, и не самым удачным: когда гамбургеры наконец были готовы, были готовы и дети — они устали, извелись, раскапризничались, и, в довершение всего, их искусали комары.

Гарри заливается смехом, который по идиотичности и беспричинности ничем не уступает хихиканью помощника бухгалтера.

— Бедняга Тощий, — говорит он, стараясь подладиться под манеру речи того, главного, бухгалтера. — Хорошую шутку сыграл с ним дружок его, Лайл: столько тачек ему подкатил, когда тот уже свое отъездил.

Четвертого июля он, чтобы порадовать Джуди, идет в праздничном шествии по Маунт-Джаджу. Джудин герлскаутский отряд в числе участников, а муж их вожатой, Клэренс Эйферт, — член организационного комитета. Им очень нужен был мужчина внушительного роста, чтобы поручить ему изображать во время шествия Дядюшку Сэма, и Джуди сказала миссис Эйферт, что у ее дедушки рост как раз такой — высокий-превысокий. Вообще-то по современным меркам шесть футов и три дюйма не ахти какой рост, а для НБА[[133]](#footnote-133) он просто карлик, но кое-кто в оргкомитете, из поколения отцов мистера Эйферта, оказалось, вспомнил Кролика Энгстрома, звезду школьного баскетбола, и загорелся позвать его, невзирая на то что Гарри живет в Пенн-Парке, в противоположном конце Бруэра. Ну и что, что живет? Он же здешний, маунт-джаджский, он тут вырос, и хотя для национального символа Америки он грузноват, зато кожа у него белей не сыщешь и глаза именно такие, как требуются, бледно-голубые, и выправка отличная. Он же служил в армии, когда была война с Кореей. Он у страны не в долгу.

Расклешенные штаны в широкую красную полоску не сходятся у него на животе, но поскольку их держат трехцветные подтяжки, а сверху брючный пояс прикрыт светло-голубым жилетом в звездах, большой беды в этом нет. Всю неделю перед четвертым Гарри и Дженис пропрыгали вокруг этого костюма. Они дошли до того, что специально к свободному, мягко драпирующемуся галстуку поехали покупать парадную рубашку с отложными манжетами и стоячим воротничком; после долгих колебаний они остановились на его повседневных замшевых туфлях, рассудив, что они все же лучше сочетаются с красно-полосатыми штанами — и даже издали могут сойти за штиблеты, — чем его выходные черные туфли, приберегаемые для свадеб и похорон. Фрак — шерстяной, темнее жилета, но тоже голубой, на каждом борту по три декоративных пуговицы — сидит на нем вполне прилично, а вот слегка ворсистый, расширяющийся вверху цилиндр с лентой из крупных серебряных звезд еле держится у него на макушке и одновременно жмет, ведь под него надо было всунуть еще белый нейлоновый парик, словом, конструкция на голове возведена ненадежная — чуть оступишься, и цилиндр слетит. Не зря он всю жизнь не любит шляпы.

Дженис в задумчивости прикусывает кончик языка.

— А парик тебе непременно нужен? У тебя свои волосы светлые.

— Да, но стрижка? Слишком коротко для Дяди Сэма. Знал бы раньше, отрастил бы.

— Постой, — осеняет ее, — а почему, собственно, Дядюшка Сэм не может носить современную прическу? Он ведь и сейчас живой, разве нет?

Он примеряет цилиндр без парика и докладывает:

— Вообще-то так он сидит покрепче.

— Знаешь, Гарри, я тебе честно скажу, этот парик на тебе — он как-то меня смущает. Ты в нем похож на здоровенную бабищу с красной рожей.

— Слушай, мне все это не надо, я только из-за внучки согласился, так что, пожалуйста, прибереги свои колкости до другого раза.

— Какие колкости, скорей уж тонкости! Забавно, что я раньше не разглядела в тебе женственного начала. Ей-богу, родись ты женщиной, ты был бы красоткой, в сто раз привлекательнее, чем твоя мать — и Мим, кстати, тоже. А вот им лучше было бы родиться мужчинами — обеим!

Мама невзлюбила Дженис с той самой минуты, когда он впервые привел ее в дом, пригласил зайти после работы в универмаге Кролла, а Мим в один прекрасный день увела у нее Чарли Ставроса, во всяком случае, такова была версия Дженис.

— Я в этом костюме упарюсь, уже сейчас весь чешусь, — возвращается к реальности Гарри. — Давай примерим бороду.

Когда козлиная бородка садится на место, Дженис изумленно восклицает:

— *Вот!* У тебя даже лицо другое стало — удлинилось, подобралось. Не пойму, почему ты не носил бороду? — Говоря о нем, она уже не в первый раз незаметно для себя соскакивает на прошедшее время. — Кстати, мистер Листер решил отпустить бороду, она у него уже немного отросла, и он теперь не кажется таким понурым. У него подбородок скошенный, а с бородой незаметно.

— Что ты все лезешь ко мне с этим занудой? — Потом он добавляет: — Мне что-то не нравится, как ведет себя липучка, когда я говорю, — клей уже плохо действует.

— Ничего удивительного, эта борода, наверно, знаешь, на скольких парадах побывала?

— Вот именно, балда ты эдакая, поэтому клей и не держит. Вопрос в том, есть ли способ подновить липкий слой?

— Не двигай сильно нижней челюстью, только и всего. А хочешь, позвоню Дорис Эберхардт — когда она была замужем за Кауфманом, они страшно увлекались любительскими спектаклями.

— Еще не хватало откровенничать с этой пройдохой. Будем надеяться, там, на месте, у кого-нибудь найдется чем ее подклеить.

Но на месте вместо четкой организации царит путаница и неразбериха. Сбор назначен на площадке возле старой маунт-джадской средней школы, где теперь остались только седьмые и восьмые классы, а само здание планируют вскоре разобрать по кирпичикам из-за выявленного асбеста и деревянных полов — за них приходится платить безумную страховку. Когда здесь учился Гарри, он вместе со всеми дышал себе преспокойно асбестовыми парами и ходил по деревянным полам, не слишком задумываясь о пожароопасности. По асфальту парковочной стоянки для машин и бурой траве бейсбольного поля хаотично перемещаются все и вся — музыкальные группы, антикварные автомобили, платформы с эмблемой «4-Эйч»[[134]](#footnote-134), ветераны в серой военной форме, — и единственным свидетельством некоего организующего начала служат мелькающие в толпе люди обоего пола, одетые в одинаковые зеленые футболки с надписью ОРГКОМИТЕТ. ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. МАУНТ-ДЖАДЖ и пластиковые кепочки с козырьком впереди и сеткой сзади, как у водителей грузовиков. В поисках кого-нибудь, кто сказал бы ему, что делать, он растерянно бродит по школьной территории, где когда-то слонялся с щегольским коком «утиный хвост» на смоченных и старательно причесанных волосах, в вельветовой приталенной курточке с подвернутыми рукавами и, если для баскетбола был не сезон, с пачкой сигарет, оттопыривающей нагрудный карман. Он ждет, что вот сейчас столкнется со своей школьной подружкой, Мэри-Энн, с той, тогдашней Мэри-Энн, в черно-белых туфельках и беленьких носочках и короткой юбочке в складку (она была «заводилой» в «группе поддержки», когда на каких-нибудь соревнованиях выступала команда их школы) и между юбкой и носками мелькнут прямые, гладкие, крепенькие икры, и вспыхнет нечаянной радостью навстречу ему ее лицо с ямочкой на щеке, с чуть прыщавеньким лбом... но вместо нее к нему подходят какие-то незнакомые люди с характерным для восьмидесятых годов выражением озадаченности на лицах и спрашивают один за другим, как пройти туда или сюда, полагая, что раз он одет Дядей Сэмом, так должен все знать. Приходится ему по очереди объяснять им, что он сам ничего не знает.

Задняя стена старой школы, построенной еще в двадцатые из рыжего кирпича, была глухая, без окон, а напротив стоял сарай из крытых толем досок (давно разобранный), где хранилось всякое школьное оборудование; посыпанная гравием площадка между ними и сейчас пробуждает в нем волнующие ассоциации — такая власть заключена в немых кирпичах этого укромного, «секретного» места: здесь, именно здесь пропадали после уроков и дотемна все самые охочие до новых знаний и свободные от жесткого домашнего контроля местные ребята, не только мальчишки, девчонок тоже хватало, здесь они просто болтались все вместе, кидали мяч в кольцо на голой кирпичной стене (щит был прибит к стене плашмя, точно так же как в том памятном деревянном спортзале, в ориолской школе), обжимались, прижавшись к доскам сарая, на которых клочьями висел ободранный толь, разговаривали обо всем на свете (девчонки, обхваченные мальчишьими руками, оказывались заключенными в мягкую клетку, из таких живых клеток выстраивался целый ряд), подначивали друг друга, делились секретами, робко, наугад что-то пробовали, оттягивали до последнего миг, когда нужно было расходиться по домам, оставляя после себя щебнистое пространство, заряженное особым электричеством, пытливой энергией подростков. А сегодня на этой площадке, залитой бетоном и очищенной от всего лишнего — ни сараев, ни щитов, — Кролик натыкается на Джудин скаутский отряд: часть девочек в униформе, а часть, в специально изготовленных костюмах, на платформе грузовика готовятся изображать композицию «Свобода» — самая высокая и хорошенькая девочка завернута в белую простыню, на голове у нее топорщится острыми зубцами корона, в руках огромный бронзовый фолиант и золоченый факел, а вокруг ее картонного пьедестала собрались девочки с красными, коричневыми, черными и желтыми лицами, которые должны таким образом представить все разнообразие рас на планете, для чего пришлось прибегнуть к краске, поскольку настоящих маленьких индианок, негритянок и азиаток в Маунт-Джадже не водится, во всяком случае, их нет в организации девочек-скаутов.

Джуди топчется в группке цвета хаки с форменными значками и косичками, обступившей грузовик, и когда она видит деда в его сногсшибательном наряде, то как завороженная подходит к нему и берет за руку, словно желая притянуть его к земле, к реальности. Чтобы поглядеть на нее, ему нужно наклонить голову, а это не просто, цилиндр и так держится на честном слове. Обращаясь скорее к забору на дальней границе бейсбольного поля, он спрашивает ее:

— Как там моя борода, Джуди? Все нормально?

— Да, дедуля, нормально. Ты испугал меня сначала. Я тебя не узнала.

— Мне все кажется, она вот-вот отклеится.

— Со стороны незаметно. Какие здоровенные полосатые штаны! А животу твоему не тесно в жилете?

— В настоящий момент как раз это волнует меня меньше всего. Джуди, послушай, детка. Выручишь меня, а? Мне только сейчас пришло в голову, что теперь ведь делают такую липкую ленту, которая клеит с обеих сторон. Может, возьмешь у меня пару долларов и слетаешь по-быстрому в лавку через дорогу, купишь мне такую ленту? — Всю жизнь, меняя с течением лет хозяев и названия, через дорогу от школы существовала лавка, бесперебойно снабжавшая учеников жвачкой, игрушечными пистолетами и пистонами, шапочками-кепочками, таблетками и сигаретками, порножурналами и вообще всем, что молодые люди желали, нет, считали обязательным иметь. С огромным трудом, не наклоняя головы, он прорывается сквозь многие слои костюма к бумажнику в необъятном боковом кармане своих полосатых штанов и затем, подняв его на уровень лица, выковыривает две долларовые бумажки. Потом, для подстраховки, добавляет еще одну. Нынче, за что ни возьмись, все почему-то стоит дороже, чем ожидаешь.

— А вдруг там закрыто — сегодня же праздник!

— Там открыто. Они всегда работают без выходных.

— А вдруг начнется парад, и я не успею к своим на платформу!

— Не начнется, парад без меня не начнется. Давай, Джуди, в темпе! Я же тебя в беде не бросал? В море, на лодке, вспомни-ка, кто тебя спас? А по чьей милости я связался с этим парадом, будь он неладен? *По твоей!*Боясь уронить цилиндр, он не решается посмотреть вниз, но голос у нее такой, что, похоже, она сейчас заплачет. Ее головка рыжеватым облачком маячит у нижней границы его поля зрения.

— Ладно, попробую, только...

— Запомни, — говорит он, и нижняя челюсть его каменеет, поскольку теперь он точно чувствует, что борода у него на подбородке долго не продержится, — клей с *двух* сторон. Спроси скотч, они выпускают то, что надо. Пулей, детка.

Сердце стучит как бешеное; он снова роется в своих одеяниях, желая удостовериться, что не забыл заветный пузырек с нитроглицерином. Где-то в недрах просторного кармана он наконец нащупывает его — маленький, дарующий жизнь драгоценный слиток. Когда он поднимает к лицу руку, чтобы посильнее прижать бородку, он замечает у себя дрожь в пальцах. Если эта козлиная бородка не прилипнет как следует, не быть ему Дядей Сэмом, и весь парад полетит кувырком — так и останется бесформенной толпой, запрудившей территорию вокруг школы. Он мелкими шажочками, ни на кого не глядя, переступает по площадке, пытаясь унять расходившееся сердце. Это же стресс, самый настоящий!

Наконец, пыхтя, как паровоз, возвращается Джуди. Едва отдышавшись, она выпаливает:

— Они там все *тупые*. Они только одну еду теперь продают. Всякие пакеты — жевать на ходу. А липкая лента у них только клеится с одной стороны. Я на всякий случай купила. Не надо было?

Парковочная площадка оглашается барабанной дробью, сперва это отдельные пригоршни, россыпи звуков — кто-то из юных барабанщиков, истомившись в ожидании, начинает проказничать, другие нестройно подхватывают, потом звуки сливаются, набирают мощь, увлекаемые общим неотвратимым порывом. Заводятся моторы старинных автомобилей и грузовиков с оформленными на разные лады платформами, наполняя праздничный воздух сизым выхлопным газом.

— Надо, надо, — успокаивает ее Гарри, лишенный возможности опустить глаза вниз на внучку, не рискуя потерять цилиндр, и убирает в карман рулончик липкой ленты и сдачу с трех долларов, которые вложены снизу ему в руку. Он ощущает себя как бы отдельно от своего тела в этом маскарадном костюме — будто его взгромоздили на ходули, будто ступни его уменьшились до невозможности.

— Прости, дедушка. Я старалась! — Джудин тоненький невесомый голосок, где-то там, внизу, куда не достигает его взор, чуть дрогнув, разлетается солеными брызгами, как всплеск воды на солнце.

— Ты все сделала как надо, — лицемерит он.

К нему подскакивает какая-то ошалелая дамочка, кубышка в зеленой оргкомитетской футболке и кепочке с козырьком, и поспешно уводит его к голове колонны, мимо украшенных платформ и отрядов горнистов с барабанщиками, мимо «фордов» модели «А»[[135]](#footnote-135) и представителей городских властей при галстуках и при белом лимузине. Маунт-джаджская полиция выделила патрульную машину, которая с включенной синей мигалкой и выключенной сиреной поведет парад, а за ней, на некотором расстоянии, пойдет Гарри. Можно подумать, без поводыря он заблудился бы: в детстве он ни одного парада не пропускал, садился на велосипед и ехал в толпе окрестной ребятни, и между спицами у всех были просунуты красные, белые и синие бумажные ленточки, которые весело трепыхались на ходу. Вниз по Центральной до торгового квартала, не доходя до выезда на шоссе 422, через самое сердце местного центра, потом налево в гору по Поттер-авеню, вдоль кварталов кирпичных домов на две семьи, возвышающихся над покатыми лужайками за низкими каменными оградами (где они еще остались), потом вниз мимо переулка, а ныне улицы Киджирайз с ее несуществующими больше трикотажными фабриками и ремонтными мастерскими, на месте которых теперь красуются вывески «Линнекс», «Компьютерное обеспечение», «Комплексные системы управления», дальше поворот на Джексон-стрит, в одном квартале от его родительского дома, еще ниже на Джозеф-стрит, а оттуда, минуя громаду баптистской церкви, под острым углом на Миртовую — мимо почты и узкого дома собраний ложи «Чудаков»[[136]](#footnote-136) к конечной цели, к трибуне, установленной перед фасадом ратуши в окружении сквера, куда в шестидесятые толпами стекались ребята покурить травку и побренчать на гитаре, а теперь в небольшом количестве сползается одно старичье да забредают время от времени бродяжки, щеголяя загаром, какого не купишь за миллион долларов. Кубышка-зеленогрудка и маршал-распорядитель парада, чей высокий статус отмечен огромной картонной бляхой, подслеповатый и сутулый ювелир по имени Гиммельрайх (Кролик был на несколько классов младше его отца, который учился в той же школе и был известен под кличкой «Матильда»), на пару придерживают его, чтобы дать головной патрульной машине отъехать на достаточное расстояние, а то слишком тесное соседство Дядюшки Сэма и полиции может быть истолковано превратно. Сразу за ним пойдет белый лимузин с главой местной администрации и теми из членов муниципального совета, кто не отбыл встречать праздник в Поконы или на Джерсийское побережье. Сзади доносятся самые разнообразные звуки — тут и горны с барабанами, и волынки (волынщиков пригласили из округа Честер), и режущая ухо поп-музыка на платформах — пожилые мотивчики призваны помочь иллюстрировать Свободу, и Дух Независимости, и ЕДИНЫЙ МИР, и четырехчастный принцип Голова-Сердце-Руки-Здоровье, — а в самом хвосте колонны местный рок-певец заходится в подражаниях то Пресли, то Орбинсону, то Леннону, всем по очереди, и электрический вентилятор дует во всю свою мегаваттную мощь на штабеля раскаленных усилителей, которыми уставлена платформа певца. Но здесь, впереди, в голове колонны, все, напротив, как-то странно притихло, замерло, и необъяснимый страх сковывает Гарри, когда для него настает момент ступить замшевым башмаком на двойную желтую линию посередине главной улицы Маунт-Джаджа, и сделать наконец первый шаг, и пойти, и пойти. Он чувствует, как кружится у него голова, какой он сам нелепый и огромный. В спину ему урчит на малой скорости белый лимузин, так что останавливаться нельзя, а впереди, сильно впереди — за каждым углом и поворотом синяя мигалка скрывается у него из виду — маячит патрульная машина; но непосредственно перед ним нет ничего, кроме жутковатой пустоты обычно запруженной машинами и людьми Центральной улицы под неподвижным июльским небом, синеющим над проводами. Движение на дороге — он сам, его одинокая, напряженно выпрямленная фигура. Притихшая улица лежит перед ним, словно лунный пейзаж со всеми своими щербинами, шрамами и старинными чугунными крышками люков. Нервическая дрожь и в сердце и в руках сменяется экзальтированной радостью жертвы, добровольно отдающей себя на заклание, едва он делает несколько первых шагов в глубь асфальтовой пустоты, окаймленной здесь, на пути их маршрута, весьма малочисленными зрителями — несколько полуголых тел в шортах, кроссовках и цветных рубашках вдоль поребрика.

Его встречают громкими возгласами. Размахивают руками с шутливым энтузиазмом, кричат «Эгееей!» этому явившемуся им во плоти Дяде Сэму, этому живому символу, ходячему флагу, этому любителю пособирать налоги у себя дома и поозорничать в международном масштабе. Ему ничего не остается как махать в ответ и сдержанно раскланиваться, стараясь удержать на голове цилиндр, а на лице козлиную бородку. Из толпы, становящейся чем дальше, тем многолюднее, все чаще раздается его имя — Гарри или Кролик: «Эй, Кролик! Молодчина!» Помнят его. Впервые за много лет столько раз подряд звучит его старое прозвище; во Флориде его вообще никто так не зовет, и его собственные внуки были бы изумлены, если бы вдруг услыхали. И вот нежданно-негаданно оно снова летит к нему с тротуаров — живое, согретое общей приязнью. Так и кажется, что все эти люди — просто растянутая вдоль улицы, повторно использованная (в соответствии с популярной нынче идеей переработки отходов) толпа зрителей, которые по вторникам и четвергам, в «баскетбольные» вечера, до отказа заполняли трибуны старенького школьного спортзала, и собственными разгоряченными телами сами себе устраивали лето посреди зимы: у игроков на площадке пот ел глаза, ручьями стекал из-под волос и косыми струйками из-за ушей сбегал по шее вниз. Сейчас пот скапливается у него под шерстяным фраком, на спине и животе, который и точно ужасно стиснут жилетом, права была Джуди, и еще под цилиндром, даже при том что парик остался дома: слава Богу, Дженис надоумила — бывают, бывают у его дурехи минуты просветления.

Пот проступает тем обильнее, чем раскованнее и живее он машет толпе зрителей, которые гроздьями собираются на углах, и под сенью норвежских кленов, и на сохранившихся кое-где невысоких стенках из песчаника, и на покатых лужайках, и еще выше, в тенистой прохладе крылец, — и мало-помалу делает свое дело, разъедает и без того хилый клейкий слой на его фальшивой бороде. Он чувствует, как с одного боку она мягко отделяется от подбородка, и тогда, не сбавляя шага — а надо сказать, ступает Дядя Сэм немного странно, на полусогнутых, не то что Гарри с его пружинистой, легкой походкой, — он выуживает из недр брючного кармана припрятанный рулончик скотча и отрывает кусочек длиною в дюйм, с полоской клетчатой бумаги на конце. Лента с готовностью липнет к пальцам; после нескольких все более злобных попыток она наконец, свернувшись в кольцо, летит на асфальт. Он отматывает еще кусочек и прижимает его одним концом к лицу, а другим к синтетическому белому мочалу; фокус удался, хотя теперь на лице у него, должно быть, поблескивает непонятный прямоугольничек. Свидетели этого импровизированного ремонта на ходу приветствуют его находчивость дружными воплями. Он приподнимает высокий, тяжелый цилиндр и, стараясь не делать резких движений, с достоинством раскланивается в обе стороны, вызывая новый взрыв аплодисментов и одобрительных выкриков.

Толпа, которая открывается его глазам — за взмахами его руки, за его улыбкой, за бликующей липкой лентой у него на лице, — безмерно его удивляет. Население Маунт-Джаджа одето по-летнему, с той степенью наготы, которая мало-помалу стала достоянием всех без исключения возрастных категорий, а не только вечно полуголой детворы, как было во времена Гарриного детства. Седовласые матроны восседают на алюминиевых стульчиках, вынесенных к поребрику тротуара, разодетые будто пухлые младенцы — сплошные шашечки и оборочки, из-под которых жизнерадостно выставлены на всеобщее обозрение бесформенные ноги с набухшими венами. Мужчины почтенного возраста взяли моду втискивать свои давно потерявшие стройность ляжки в велосипедные трико, в которых пристойно могут выглядеть только юнцы. Молодые мамаши, спустившиеся поглядеть на парад от своих бассейнов позади дома, все либо в бикини, либо в цельнокроеных эластичных купальниках с такими вырезами сверху и снизу, что зады и груди наполовину из них вываливаются. И на вздернутом бедре каждая держит зарумянившегося от жары младенца — у этих в наличии только подгузники. Вообще поразительно, как много детей — совсем крох и тех, кто уже ходит ножками, — какое-то бесконечное вскипание, поколение за поколением, непрерывно происходит здесь с тех пор, как поселок произвел на свет его самого. То были совсем другие времена — кругом одно старичье: идешь, бывало, утром в школу, а из домов одна за другой выходят хмурые хозяйки, угрожающе потряхивая метлами, всегда в толстых темных чулках и домашних платьях-халатах, застегнутых на все пуговицы от ворота до подола. А теперь у обочин Джексон-роуд плещется веселая невинная волна обнаженной плоти. Голые коленки — что гроздья винограда, загорелые голые плечи теснятся, трутся, ворочаются в пятнистой тени тротуара. И всюду американские флаги на золоченых древках и воздушные шары каких угодно расцветок, даже «металлические», и форм, например, в виде сердца, с веревочками, которые просто держат в руках или привязывают к кустам, или к ручкам колясок, где опять-таки сидят дети, снова дети. Всепроникающий дух благодушия, всеобщий тайный сговор во что бы то ни стало развлечься и отдохнуть создает атмосферу, которая окружает и поддерживает его парад, ведомый им сквозь небывалую пустоту в самом центре знакомых наклонных улиц.

Гарри подклеивает бородку с другой стороны и, убирая ленту, заодно выуживает из этого же кармана пузырек с таблетками и закидывает в рот нитростатину. Участок пути, где дорога шла в гору, дался ему тяжеленько, а сейчас, на спуске, болезненно протестуют колени и пятки. Когда он немного нагоняет полицейскую машину впереди, легкие его заполняются удушливым выхлопным газом. Сзади его непрерывно подталкивает музыкальная болтанка — чуть провалится куда-то «Американский патруль», на его месте тотчас всплывает мелодия «Вчера», и наоборот. Он концентрирует внимание на двойной желтой полосе, местами замазанной черным следом от резкого торможения, а местами, там, где ее разрешено пересекать, переходящей из сплошной в прерывистую, но по большей части непрерывной, которая лежит перед ним, словно пара прямых, негнущихся старых трамвайных рельсов, давно уже похороненных под асфальтом или разобранных и пущенных на лом. Щелкают фотоаппараты — это его снимают. Слышатся приветствия — это его окликают, кто по имени, кто по прозвищу. Люди знают его, но сам он не видит ни одного знакомого лица, ни единого — хоть бы раз мелькнуло в толпе где-нибудь в обрамлении рыжих волос асимметричное лицо-сердечко Пру, или гипнотизирующие черные глазенки Роя, или маленький коричневый упрямый орешек — лицо Дженис, но даже их нет. Они сказали, что будут стоять на углу Джозеф-стрит и Миртовой, но здесь, на подступах к ратуше, народу больше, чем где-либо: подрумяненные поваром-летом тела по четыре-пять человек в глубину сплошной стеной стоят вдоль дороги, и в этой толпе его родные и близкие канули без следа.

Его городок, каким он знал его, весь канул без следа за минувшие десятилетия, но на его месте возник другой — моложе, оголеннее, бесстрашнее, лучше. И здесь по-прежнему любят его, как и раньше, когда он на радость им набирал сорок два очка в одной игре на своей площадке. Он живая легенда, облако, сошедшее с небес. Внутри у него какая-то лопнувшая капсулка со взрывчаткой открыла сосуды — словно цветок, раскрывшийся навстречу солнцу. Глаза щиплет от пота, а может, это какая-то аллергия, голова зверски болит под скороваркой цилиндра. Парниковый эффект, думает он. Озоновая дыра. Когда растает антарктический лед, нас всех затопит. Обшаривая взглядом расплавленную человеческую массу в надежде, что где-нибудь мелькнет наконец знакомое лицо, Гарри натыкается то на банку с пивом, которую без зазрения совести, прямо у него на глазах, пускают по рукам, то на сверкнувшие яркой вспышкой серьезные, взрослые очки близорукого ребенка, то на серебряное кольцо в ухе латиноамериканской по виду девчонки. На пути следования он приметил несколько черных лиц в толпе, веселых и подбадривающих, как и все прочие, и одно-два азиатских — усыновленный кем-то вьетнамский ребенок-сирота, чья-то низенькая толстенькая жена-филиппинка. А далеко позади, там, где все еще тянется праздничное шествие, волынщики затягивают нуднейшую шотландскую народную песню, и рок-имитатор хныкающим «ленноновским» голосом призывает: «...вообрази, все *люди* ...», и, ближе к голове колонны, прорываясь через царапины на магнитофонной пленке и треск в динамиках, в эту какофонию мощно врывается Кейт Смит, царствие ей небесное, жила бы еще и жила, если бы не чудовищный вес, — «Бог да хранит Америку... седой от пены *океан* »[[137]](#footnote-137). В глазах у Гарри щиплет нестерпимо, и какое-то странное, до головокружения, до дурноты — как если бы его вдруг оторвали от земли, чтоб обозрел он всю историю человечества, — нарастает в нем чувство, заставляя сердце забиться сильнее: нет, что ни говори, это чертовски счастливая страна, другой такой в целом мире не сыскать!

Такого рода глупым откровением в былые дни он мог бы поделиться с Тельмой, когда, насытившись друг другом, они не стеснялись вполголоса говорить обо всем на свете. И вот вдруг Тельма мертва. Умерла от почечной недостаточности, тромбоцитопении и эндокардита в конце июля, в час, когда занимался прохладный рассвет очередного знойного, сине-серого дня, освещая первыми лучами узорчатую кирпичную кладку под крышей дома напротив больницы Святого Иосифа в Бруэре. Бедная, бедная Тельма, ее многострадальный организм просто дошел до полного изнеможения, не выдержал долгой борьбы. Ронни сколько мог старался держать ее дома, но ее последняя неделя была такой, что даже ему это оказалось не по силам. Галлюцинации, бред, ядовитая злоба. Много злобы, много яду, и кому все это досталось — Рону, который так преданно за ней ухаживал столько лет, был ей любящим мужем, кто бы мог подумать, в молодости, до женитьбы, еще тот был шалопай. Ей было всего пятьдесят пять, на год моложе Гарри, на два старше Дженис. Умерла на той неделе, когда пассажирский самолет ДС-10, совершавший рейс Денвер — Филадельфия с посадкой в Чикаго, разбился при попытке сесть в Су-Сити, Айова, на скорости двести миль в час. С двумя не вышедшими из строя моторами он дотянул до взлетной полосы, перекувырнулся, стал разваливаться и загорелся, и при всем том больше ста человек осталось в живых: кто повис на ремнях безопасности вверх тормашками, кто своими ногами ушел с места катастрофы и скрылся в близлежащих кукурузных полях. Кролику кажется, что это единственное за все нынешнее лето событие, которое не стало двадцатой годовщиной чего-нибудь — «Вудстока»[[138]](#footnote-138), Мэнсоновой резни[[139]](#footnote-139), происшествия в Чаппакуиддике[[140]](#footnote-140), высадки на Луне[[141]](#footnote-141).

Заупокойная служба должна состояться в какой-то неопределенного толка и конфессии церкви в миле от Эрроудейла, то есть за ним, если ехать от Бруэра. В поисках церкви Гарри и Дженис заплутали и неожиданно для себя оказались в торговом центре Мэйден-Спрингса, прямо под афишей кинокомплекса на шесть залов, на которой не хватило места, чтобы втиснуть все названия: Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ БЭТМЕН ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-2 ЮНЫЙ КАРАТИСТ-3 О-ВО МЕРТВЫХ. Ленивая девка в билетной кассе не имела ни малейшего понятия, есть тут у них где-то церковь или нет, столько же проку было и от прыщавого мальчишки-билетера у входа в просторное пустое красное фойе, пропитанное маслянистым запахом поп-корна и тающих во рту ли, в руках шоколадных пуговок «Эм-энд-эмс». Гарри был зол на себя: столько раз ездил тайком в Эрроудейл к Тельме, чтобы теперь не суметь отыскать проклятую церковь! Когда наконец красные от волнения, смущения и взаимного недовольства, поскольку каждый про себя честит другого за неспособность справиться с элементарной задачей, Энгстромы прибывают на место, то выясняется, что церковь — всего-навсего примитивный сарай, ангар с окнами и куцым шпилем из анодированного алюминия, одиноко торчащий посреди акра красной, без единого деревца, земли, которая жиденько засеяна чахлой травкой и густо исчерчена следами от машин. Изнутри стены бетонные, и свет, свободно проникающий через высокие окна с простыми стеклами, какой-то голый, безжалостный. Вместо скамей тут расставлены складные стульчики, а над головой с металлических штанг свешиваются какие-то ненастоящие, игрушечные войлочные полотнища, украшенные крестами, трубами, терновыми венцами вперемежку с номерами изречений из Священного Писания — Мк 15:35, Откр 1:10, Ин 19:2. Священник одет в коричневый костюм, галстук и рубашку с обычным воротничком и весь он какой-то всклокоченный, запыхавшийся и больше всего похож на полноватого молодого заведующего из магазинчика бытовой техники, которому нет-нет да и приходится самому таскать тяжелые коробки. Голос его усилен крохотным стебельком микрофона, почти неприметного на фоне дубовой кафедры. Он говорит о Тельме — какая это была образцовая мать семейства, прихожанка, страдалица. Портрет, в котором есть все, кроме самого портретируемого, — как платье без владельца. Вероятно, священник и сам уловил это, поскольку далее он переходит к ее «оригинальному» чувству юмора, ее своеобразному взгляду на вещи, благодаря которому она так мужественно переносила длительную и изнурительную борьбу с недугом. Исполняя пасторский долг, он навестил Тельму в больнице в последнюю мучительную неделю ее жизни и отважился предложить ей вместе поразмышлять об извечной тайне: почему Господь одним посылает хворь и страдания, другим же нет, иных исцеляет, а прочих оставляет недужными до конца их дней. И даже в Божественном Евангелии, если хорошенько вспомнить, мы видим ту же закономерность, ибо что сталось с теми — без счета — прокаженными и бесноватыми, кому *не* суждено было оказаться на пути Иисуса или кому *не* достало настойчивости прорваться к Нему через несметную толпу страждущих, стекавшихся к Нему, на ровном месте и на горе, в Капернауме и в Галилее? И как же отвечала ему Тельма? Как отвечала она со своего больничного ложа, терзаемая болью и мукой? Наверно, сказала она, она заслуживает страданий не меньше, чем любой смертный. Преставившаяся являла образец истинного смирения — не возроптала и на смертном одре. А несколько ранее, при менее тягостных обстоятельствах, припоминает священник, и голос его звучит бодрее, настраивая слушателей на более легкомысленный лад, он пришел к ней с визитом в ее образцово прибранный дом, и она объяснила ему, что сразивший ее недуг — это всего лишь маленькое недоразумение: какие-то микроскопические проволочки в ее внутреннем устройстве случайно перехлестнулись не так, как надо. И тут она с характерным для нее мягким юмором, который так памятен всем нам, любившим ее, и одновременно с печальной серьезностью высказала предположение, что, возможно, Всевышний ответствен только за те явления, которые доступны нашему опыту и пониманию.

Он поднимает глаза на собравшихся почтить память покойной, очевидно, не до конца уверенный в том, как отнесется это небольшое собрание к его реминисценциям, и те, то ли действительно распознав Тельмины интонации в процитированном высказывании и довообразив остальное — ту странную смесь учительского менторства, желчной иронии, и бескомпромиссности, из чего и складывалась при жизни ее неповторимая живая манера, — то ли просто угадав, что святой отец нуждается в поддержке, дабы избавиться от призрака незаслуженного страдания, отзываются благопристойными смешочками. С явным облегчением человек в коричневом костюме, точно ведущий ток-шоу, завершающий очередной выпуск программы, переходит к безопасным шаблонным текстам — псалму о тихих водах, стихам из Экклезиаста о том, что всему свое время, и гимну, в котором говорится, что ныне день истек.

Гарри сидит бок о бок со шмыгающей носом Дженис в ее «полицейском» костюме и думает о Тельме, распутной, обнаженной Тельме, какой знал ее он, и о том, как мало она была похожа на портрет, нарисованный сегодня священником; но, кто знает, может, Тельма священника не менее реальна, чем его, Гаррина, Тельма. Женщины прирожденные актрисы и, ведя свою роль, они интуитивно подлаживаются под зрителя. С ним у нее была всегда одна роль — обожать его, предоставлять свое тело в полное его распоряжение, словно от этого своего тела избавляясь. Тело ее было больное, желтушное и хранило внутри смерть — обтянутое шелком черное вместилище. Было что-то неуловимо оскорбительное, уничижительное для него в том, как она, не имея сил противиться, отдавала себя в кабалу не вполне пристойной потребности любить. Он не мог любить ее так, как любила его она, и в его — относительной, конечно, — отстраненности она находила утешительное самонаказание, столь драгоценную для нее иронию всей этой ситуации. Но всякий раз, когда он направлялся к дверям, ей хотелось, чтоб он остался еще. И когда он встает для благословения, ее подлакированный священником призрак придвигается к нему, прислоняется к его груди, обдавая его кисломолочным дыханием, безмолвно моля не покидать ее. Дженис опять хлюпает носом, но Гарри свою скорбь по Тельме хранит при себе, у сердца, прекрасно понимая, что Дженис ее видеть не желает.

Снаружи, под неуместно ярким солнечным светом, Уэбб Мэркетт, с лицом, испещренным улыбчивыми морщинами, которые за минувшие годы стали еще глубже, с вечной своей сигаретой, свисающей из-под длинной, верблюжьей верхней губы, обходит группки собравшихся и представляет всем свою новую жену, застенчивую девицу лет двадцати с небольшим — моложе Нельсона, моложе Эннабел, — пушистенькую блондиночку в темных оборках, с фигурой молоденького тюлененка или чемпиона по плаванию среди юниоров, без выраженных углублений и выступов. Уэбб любит таких, обтекаемых. Гарри жаль девчонку — приволокли беднягу в религиозный ангар хоронить жену когдатошнего партнера ее мужа по гольфу. Синди, предыдущая жена Уэбба, по которой Гарри вздыхал не так уж много лет тому назад, тоже здесь, в одиночестве, вся какая-то понурая, недовольная, с трудом балансирующая на каблуках своих открытых, наподобие босоножек, черных туфель, пока ей наконец удается встать в более-менее устойчивую позу на заросших травой, выбитых колесами машин колдобинах красной земли, где оставляют свои машины прихожане этой церкви. Дженис липнет к Уэббу с его новообретенной женой, а Гарри галантно направляется в сторону Синди — та возвышается поодаль бесформенной кучей и щурится на жарком, в знойном мареве солнце.

— Привет, — говорит он, поражаясь, как она могла довести себя до такого состояния. У нее теперь типичная комплекция дайамондских тетушек — бюст как прилавок, а зад такой, будто она таскает под юбкой скамейку. Милое, аккуратненькое личико, когда-то манившее разгадать, что скрывается за его мальчишеским, задорным выражением, ее вздернутый носик и широко расставленные глаза — все затянуто жиром и снизу подперто тройным подбородком; шеи нет вовсе, как у деревянных русских кукол, которые вставляются одна в другую. Волосы ее, всегда прежде коротко стриженные, отпущены, распущены и перманентно завиты в соответствии с требованиями молодежной моды зрительно увеличивать объем головы. Изящества ей эта прическа не добавляет.

— Гарри! Как ты? — Голос ее по-похоронному сдержан, она церемонно протягивает ему для пожатия пухлую, шириною с медвежью лапу, руку; он берет ее в свою, но, как видно, тоже под воздействием печальных обстоятельств, наклоняется и запечатлевает поцелуй на ее сыроватой, мясистой щеке. — Какой ужас, с Тельмой-то, а? — сокрушается она.

— Да уж, — подтверждает он. — Но к этому все шло, и давно. Она сама знала. — Он полагает, что для него допустимо проявить некоторую осведомленность о мыслях покойной; Синди была в их компании на Карибах в ту ночь, когда все решили обменяться партнерами. Он мечтал о Синди, а досталась ему Тельма. Теперь и та и другая за пределами желания.

— Да, всегда ведь сам знаешь, правда? — говорит Синди. — То есть, я хочу сказать, ты и сам чувствуешь, что твое время на исходе, когда ты так болен. Внутренний голос никогда не обманывает. — Кролик вспоминает маленький крестик в ямочке у нее под шеей, который можно было заметить, когда она появлялась в купальнике, и еще как она, подобно многим из ее поколения, была помешана на всем непонятном и таинственном — астрология, предчувствия, озарения, — не до такой, правда, степени, как подружка Бадди Инглфингера Валери, но та была завзятая хиппи, в лучших традициях, шести футов росту и вся увешана бусами.

— У женщин, возможно, более тонкая организация, — тактично отвечает он Синди. Он еще чуточку усиливает крен в сторону откровенности. — У меня самого тут недавно случились кое-какие неприятности со здоровьем, так ощущение было такое, словно я всю жизнь прожил в каком-то дурмане.

Для нее это чересчур мудреное и чересчур исповедальное признание. В его с Синди отношениях и раньше существовала какая-то стена, помещавшаяся сразу за ее ярко-коричневыми, как ириска, глазами, глухой забор, дальше которого сигналы не проникали. *Дурочка Синди* — так звала ее Тельма. Дура не дура, но, как убедился Гарри, прокравшись однажды во время попойки у Мэркеттов в их супружескую спальню, где обнаружил пачку весьма пикантных «полароидных» фотоснимков, Синди исправно функционировала. Ублажала муженька по полной программе. Теперь-то вид у нее и вправду глуповатый — и очень несчастный.

— Мне говорили, — продолжает он, — ты работаешь в бутике в новом торговом центре под Ориолом.

— Уйду я оттуда скорей всего. Все, что я зарабатываю, вычитается потом из алиментов Уэбба, так зачем зря спину гнуть? Волей-неволей начинаешь понимать мамаш, которые всю жизнь сидят на пособии.

— Ну, не знаю, — говорит он, — все-таки работа дает возможность бывать на людях, общаться, заводить новые знакомства. — *Найди себе хорошего мужика да выходи-ка ты снова замуж!*  — не произносит он вслух, но подразумевает. Да только найдутся ли охотники взять в жены эдакую груду мяса? Попробуй прокатись теперь с ней под парусом — любую лодку потопит.

— Я подумываю заняться целительством. Одна девушка у нас в бутике ходит на курсы холистического массажа.

— Очень завлекательно, — мурлычет Гарри. — И какие места предпочтительнее массировать, чтобы быстрей исцелиться?

Шутка с его стороны достаточно фривольная, чтобы она осмелилась начать: «Ты с Тельмой...» Но продолжения не следует, она глядит себе под ноги.

— Да? — Прежний заслон мешает ему сделать шаг ей навстречу. Да и не та это аудитория, перед которой ему хотелось бы разыгрывать роль осиротевшего Тельминого любовника.

— Тебе будет не хватать ее, я понимаю, — говорит Синди, смутившись.

Он прикидывается невинной овечкой.

— Сказать по совести, мы с Дженис в последнее время почти не виделись с Гаррисонами: Ронни вышел из гольф-клуба — слишком дорогое удовольствие, говорит, да я и сам нынче летом почти не имел возможности туда выбираться. Теперь там все другое, стариков, считай, не осталось. Зато молодые остолопы ходят табунами. Все себе захапали. По мячу лупят так, что он на милю улетает, и все воскресные лотереи выигрывают без зазрения совести. Одна только польза от клуба, что моя невестка с детьми ездит туда поплавать в бассейне.

— Я слыхала, ты вернулся в магазин, снова при деле.

— Ага, — подтверждает он и, на случай если она и без него уже в курсе, добавляет: — Нельсон маленько сошел с катушек. Так что я просто временно оберегаю тылы.

Он соображает, не сболтнул ли чего лишнего, но она уже смотрит мимо него.

— Я должна идти, Гарри. Ни секунды больше не выдержу глядеть, как Уэбб скачет козлом вокруг этой своей недоразвитой куколки. Самому уже за шестьдесят, а туда же!

Везет же некоторым. До шестидесяти дотянул и еще хоть куда. В тишине, сковавшей воздух после ее резкого выпада, у них над головами пролетает самолет, волоча за собой приглушенный высотой рокот моторов. С улыбочкой не самой дружелюбной он замечает:

— Вы все, каждая по очереди, как могли старались продлить ему молодость. — У него из памяти не идут те давние, сделанные «Полароидом», снимки. Трудно не испытывать хотя бы легкой неприязни к женщине, которую когда-то так мучительно желал, пусть даже эта боль давно осталась в прошлом.

Народ довольно дружно разъезжается, и Гарри понимает, что надо бы подойти и выразить сочувствие Ронни. Его старинный знакомец, его Немезида в мужском обличье, стоит в рыхловатой группе в окружении троих своих сыновей и сопровождающих их женщин. Вот Алекс, компьютерный вундеркинд, с короткой стрижкой, мужланистый, близоруко щурится. А это Джорджи — по длинным, всевозможно обласканным волосам враз узнаешь будущего артиста, а пиджак какой на нем, а галстук, ну точно не мать пришел хоронить, а на сцене красоваться. Наиболее приятное лицо у Рона-младшего — улыбка Тельмина, и сам он крепкий, загорелый, видно, что работает на воздухе. Пожимая всем руки, Гарри наповал сражает их тем, что каждого называет по имени. Когда имеешь серьезную связь с женщиной, интимная магия ваших отношений в какой-то степени распространяется и на ее детей — может, потому, что, рожая детей, ей тоже приходилось раздвигать ноги.

— Как дела у Нельсона? — интересуется Рон-младший, без какого-либо, судя по выражению его лица, подвоха. Должно быть, именно он, из всех троих единственный, постоянно обретающийся в Бруэре, и рассказал Тельме о пагубном пристрастии Нельсона.

Гарри отвечает как мужчина мужчине.

— Неплохо, Рон. Он прошел месячный курс лечения в детоксе[[142]](#footnote-142), и сейчас он и еще человек двадцать этих, как бишь их называют, «злоупотребляющих» живут в реабилитационном, «концептуальном», по-ихнему, пансионате в Северной Филадельфии. Работает волонтером с подростками на спортивной площадке в бедняцком районе.

— Это просто здорово, мистер Энгстром. Нельсон отличный парень, по сути.

— Сам я сейчас к нему не езжу — не по нутру мне эта семейная терапия, которой они там всех пичкают, но его мать и Пру божатся, что он очень увлекся, просто нашел себя в работе с трудными цветными подростками.

Джорджи, самый смазливый из мальчишек, Тельмин любимчик, покуда не вмешивался, но весь их разговор слышал, и теперь ему не терпится вставить слово:

— Единственная беда Нельсона — он слишком ранимый. У него совсем нет самозащиты. У нас в шоу-бизнесе быстро обрастаешь слоновьей кожей. Ну, вы понимаете, принцип простой: «А пошли вы!..» — Он поправляет сзади причесочку.

Старший, Алекс, тоже не остается в стороне и в присущей ему манере неотесанного правдолюбца веско говорит:

— Если хотите знать, даже *я* начал привыкать к наркотикам, пока торчал в Калифорнии, вот почему я был так рад, когда подвернулась работа в Фэрфаксе. То есть что я хочу сказать — *все* пробуют. А там по уик-эндам народ только этим и занимается — на пляжах, на дорогах, где угодно; балдеют все поголовно. Ну можно разве в таких условиях растить детей? Или денег подкопить?

Ее сыновья теперь взрослые мужчины, с проблеском седины в волосах, с морщинками возле рта, с женами и детьми, Тельмиными внучатами, которые ищут у своих отцов защиты в этом мире, где так хитро переплелись все травы и травки. В Гаррином восприятии ее сыновья куда взрослее самого Ронни, в котором он обречен всегда видеть только гадкого мальчишку с переулка Венрих, похабника и сквернослова из спортивной раздевалки их общей школьной поры. Многие из тех, кого он любил когда-то, один за другим ускользают от него навсегда в небытие, но Ронни всегда тут как тут, словно вонючая изнанка его, Кролика, собственного тела, словно тесные эластичные трусы, в которых день проходишь — и пора стирать.

Роль убитого горем вдовца удается Ронни на все сто; видок у него такой, будто его только что вынули из стиральной машины — белые ресницы торчат из красных от слез век, от курчавых, медного цвета завитушек на голове остались одни седые пучки над уныло повисшими ушами. Кролик силится преодолеть давнишнюю неприязнь, застарелое соперничество — подчеркнуто крепко и выразительно сжимает его руку в своей и проникновенно говорит: «Мои искренние соболезнования».

Но вопреки его ожиданиям злобный бес прежней вражды оживает в Роннином лице, раньше румяном и мясистом, теперь вытянутом, опавшем, с ввалившимися щеками. Метнув быстрый взгляд в сторону сыновей и дернув головой — мол, надо поговорить, — он берет Гарри за руку повыше локтя, стискивает так, что не рыпнешься, и отводит его подальше от посторонних ушей, на несколько шагов по засохшей, изборожденной колеями глине. Отчетливой авторитетной скороговоркой на манер тех реплик, какими в толчее на площадке обмениваются игроки в разгар спортивной борьбы, он произносит:

— Думаешь, я не знаю, что ты столько лет спал с Тел?

— Я... я никогда особо не задумывался, что ты знаешь и чего не знаешь, Ронни.

— Сукин ты сын! Та ночь на островах, когда мы все поменялись друг с другом, это ведь было только начало, да? Ты и потом встречался с ней, уже здесь.

— Рон, по-моему, ты сказал, что все знаешь. Спросил бы у Тельмы, раз тебя это так волновало.

— Не хотел лезть к ней с расспросами. Она и так из последних сил боролась за жизнь, а я любил ее. Только перед самым концом у нас был разговор.

— Выходит, все-таки полез к ней с расспросами?

— Она хотела умереть с чистой совестью. Сукин ты сын! Великий Энгстром! Ас первый класс! Циничный, расчетливый эгоист, вот ты кто, мерзавец, каких свет не видывал.

— Да почему? Чем уж я так нехорош? Может, ее тянуло ко мне. Может, расчет был взаимным? — Поверх Ронниного плеча Гарри видит тех, кто хотел бы попрощаться с мужем покойной, но не решается подойти, догадываясь, что их торопливый обмен репликами идет в довольно нервном ключе. Лицо у Гаррисона налилось краской и у Кролика, возможно, тоже. Он резонно замечает: — Ронни, на нас смотрят, неудобно. Не время сейчас.

— Другого времени не будет. Не желаю больше видеть тебя — никогда. Ты мне противен.

— Ты мне тоже. Меня всю жизнь тошнит от тебя, Рон. На том месте, где у нормальных людей голова, у тебя детородная головка. И если Тельма устала жрать твое дерьмо и устроила себе маленький праздник, так можно ли ее винить за это?

Лицо у Ронни стало совсем пунцовое, на глаза наворачиваются слезы; он как вцепился в Гаррину руку, так и не отпускает ее, как будто это его последняя живая связь с ушедшей женой. Голос его звучит совсем тихо, с какой-то новой настойчивостью. Гарри, чтобы расслышать его, приходится наклонять голову.

— Мне начхать на то, что ты с ней спал, понял? Меня другое убивает — что для тебя это было как нужду справить. Она по тебе с ума сходила, а ты принимал все как должное, тщеславие свое тешил. Самовлюбленная скотина, дерьмоед поганый! Она на тебя последние силы угробила. Она пошла против принципов, против всего, во что ей хотелось верить, а ты даже не оценил этого, ты даже не любил ее, и она это знала, она сама мне сказала! Она мне все рассказала, в больнице, просила простить ее. — Ронни набирает побольше воздуха, чтобы сказать еще что-то, но от слез у него перехватывает дыхание.

У Кролика тоже начинает першить в горле, когда он думает о Тельме и Ронни, там, у ее последней черты, как она выдала своего любовника, потому что в ее теле уже не осталось любви.

— Ронни, — шепчет он. — Я ценил ее. Честно, ценил. Она была потрясающе хороша.

— Скотина, скотина, — только и может несколько раз повторить Ронни. Потом они оба поворачиваются лицом к остальным, которые все не могут дождаться своей очереди откланяться и рассесться по машинам, чтобы как-то с пользой употребить остаток этого жаркого, подернутого знойным маревом субботнего дня, вернуться к лужайкам и садикам, разбросанным по округу Дайамонд, покосить и пополоть, да мало ли что еще. Среди тех, кто пристально наблюдает за ними, — Дженис и Уэбб. Они, должно быть, догадываются о предмете этого разговора; на самом деле большинство из присутствующих здесь сегодня тоже, должно быть, догадываются, не исключая и троих сыновей. Хотя, наезжая в Эрроудейл, он всегда соблюдал меры предосторожности — прятал «тойоту» у нее в гараже, ни разу не был застигнут с ней в постели ни сыном, в неурочный час вернувшимся из школы, ни водопроводчиком, без стука вошедшим в незапертую дверь, — такие вещи рано или поздно каким-то образом просачиваются наружу. Как воздух из покрышки, хотя прокол-то может быть булавочный. У людей на такие дела особый нюх. Не иначе прошел какой-то слушок, а нет, так теперь точно пройдет. Ну и ладно. А пошли вы, как сказал бы Джорджи. Пошли вы все и прихватите с собой Уэббову девочку-жену, которая, судя по обтекаемости, уже на сносях. Вот дает этот Уэбб, орел, да и только!

Дальше все как в кино, хеппи-энд. Ронни и Гарри, Гаррисон и Энгстром, легко и красиво, будто заранее репетировали, расходятся по пересекающимся траекториям. И хотя веки у обоих красные, а в горле ком, они улыбаются кучке собравшихся и, элегантно разминувшись в точке пересечения, направляются каждый к своей родне — Гарри к Дженис в ее темно-синем с белой окантовкой и подкладными плечами костюме, а Ронни назад к сыновьям, на свое законное место в центре печального события. Что значит играть за одну команду — сколько бы лет ни прошло, а чувство локтя остается. Кролик, вспоминая, как однажды Ронни на целый уик-энд увез Рут в Атлантик-Сити, а потом похвалялся перед ним своими подвигами, не испытывает к нему никакой жалости.

*Ты мне нравишься, Тойота, я ценю твою заботу!* Это новый присланный компанией бумажный транспарант для витрины. Порой, стоя у окна, когда снаружи вдруг потемнеет от набежавшей на небо дождевой тучи или затмевающая весь белый свет высоченная фура остановится по какому-то делу возле дверей ремонтной мастерской у края тисовой изгороди, Гарри случается поймать в стекле собственное отражение — и тогда он ужасается, какой он огромный, как много места занимает он на планете. Выходя на безлюдную мостовую в качестве Дяди Сэма, в прошлом месяце, он ощущал себя фантастически высоким, как будто голова его, словно гигантский воздушный шар, плыла над музыкой парада. И хотя его внутреннее ощущение самого себя — это ощущение безобидной пассивной натуры, негромкого ровного голоса, словом, того, кто не желает зла другим и не желает сам оказаться загнанным в угол и не хочет умирать, кроме этого, внутреннего «я», есть еще и другое, наблюдаемое извне: здоровенный детина, бывший спортсмен, ростом шесть футов три дюйма и весом никак не меньше двухсот тридцати фунтов; чудовищный призрак, обряженный в щегольской серый летний костюм, блестящий, будто его натерли воском, увенчанный большой головой с мягкими невыразительными волосами, которые подстрижены по последней моде в парикмахерском салоне (обслуживает как мужчин, так и дам; минимальная цена пятнадцать долларов), тютелька в тютельку до ушей, словом, эдакая жуткая громада с глазами, чтобы видеть, и руками, чтобы хватать, и зубами, чтобы кусать; туша, поедающая за один присест такое количество еды, что троим эфиопам хватило бы на целый день; бессовестный потребитель бензина, электричества, газет, углеводов и углеводородов. Начальник, босс в сверкающем костюме. Его недавние неприятности с сердцем, как и коронки на задних зубах, ставить которые оказалось делом болезненным (и для кошелька тоже), стали неотъемлемой частью полного джентльменского набора его нынешней респектабельности.

Сегодня Гарри особенно важно хорошо выглядеть в собственных глазах, поскольку ровно в одиннадцать магазин намерен посетить представитель корпорации «Тойота», некто господин Нацуме Симада, до сей поры известный здесь исключительно по своей аккуратной подписи — каждая буковка прописана отдельно — на кремовой негнущейся бумаге с логотипом головной конторы, «Торговый дом «Тойота» в Америке», что базируется в Торрансе, штат Калифорния. Слух о финансовых нарушениях, препарированных двумя нанятыми Дженис по наущению Чарли бухгалтерами, просочился наверх, достигая все более высоких инстанций, — за письмами из Среднеатлантического отделения «Тойоты» в Глен-Берни, Мэриленд, последовали извещения из Кредитной корпорации «Тойоты» в Балтиморе, а затем и безукоризненно вежливые, но неумолимые по тону предупреждения непосредственно из Торранса за подписью г-на Симады, который пользовался, по-видимому, перьевой авторучкой старого образца, заправленной небесно-голубыми чернилами.

— Волнуетесь? — спрашивает Эльвира, пристраиваясь сбоку от него в своем стильном полосатом костюме. В связи с летней жарой волосы у нее на затылке подстрижены совсем коротко, открывая — очень сексуально — темный подпушек сзади на шее. Интересно, было у Нельсона с ней что-нибудь? Если Пру и впрямь его от себя отлучила, ему оставалось только искать утешения на стороне. В том случае, конечно, если он не хотел довольствоваться «накоксованными шлюхами» или не сменил тайком ориентацию. Сексуальная жизнь сына, насколько он может судить о том, о чем предпочитает не думать, и Эльвира, как она ему видится, вещи плохо совместимые: чересчур она стильная и слишком среднеполая. Впрочем, вполне вероятно, Гарри недооценивает действительное количество энергии в мире — он склонен к недооценке теперь, когда его собственная энергия идет на убыль.

— Не так, чтобы очень, — отвечает он. — Как я выгляжу?

— Вполне импозантно. Мне нравится ваш новый костюм.

— Цвет неплохой, напоминает «серый металлик». Материальчик придумали под влиянием полетов на Луну.

На площадке перед магазином Бенни исполняет ритуальный танец с открыванием дверей и подниманием капотов, в котором принимает участие молодая пара — сущие дети: они без конца переглядываются, ища друг в друге поддержки, то вдруг начинают одновременно что-то говорить, то внезапно разом умолкают, парализованные твердым намерением не дать нагреть себя, хотя бы и на доллар. Уже объявлена августовская распродажа, и «Тойота» предлагает тысячедолларовую скидку. Прошли те дни, когда машины продавали только по цене, объявленной в каталоге, и никаких тебе торгов: хочешь — бери, не хочешь — как хочешь, поищи себе чего-нибудь попроще, а это товар высшего качества! Но мало-помалу американская метода растлила былую чистоту. «Тойота» ради мизерной выгоды позволила втянуть себя в общую драчку.

— А знаешь, — говорит он Эльвире, — сколько лет мы торгуем японскими машинами, но чтобы хоть раз к нам сюда пожаловал настоящий японец — такого на моей памяти еще не бывало. Я по наивности всегда считал, что они все где-то там, в Тойота-Сити, знай себе наслаждаются чайной церемонией.

— Ну да, чаек попивают — в обществе гейш, — подхватывает Эльвира. — Как мистер Уно[[143]](#footnote-143).

Гарри улыбается, оценив ее шутку с подтекстом. Девчонка — молодая особа, правильнее сказать — следит за текущими событиями.

— М-гм, недолго он пробыл в роли Нумеро Уно[[144]](#footnote-144), да? Сегодня на ней серьги в виде старинных височных украшений: несколько маленьких выпуклых крышечек из тусклого серебра, соединенных подвижными длинненькими сочленениями размером с кокон бабочки. Вся конструкция вибрирует от сдерживаемого негодования, когда она говорит:

— Если кто и должен держать ответ перед господином Симадой, так это Нельсон и Лайл.

Он пожимает плечами.

— Что тут можно сделать? Наш юрист с трудом, но дозвонился до Лайла, так тот поднял его на смех. Сказал: ему, чтобы встать с постели и дойти до туалета, приходится принимать кислород, он не сегодня-завтра умрет. А кроме того, болезнь, по его словам, уже затронула мозг, и он поэтому не может взять в толк, чего от него хотят. Да, и кстати, ему пришлось продать компьютер и дискет с записями, увы, не сохранилось. Короче говоря, он попросту послал нашего юриста подальше. — Вопреки обыкновению, он остерегся прямо сказать, куда именно послал Лайл юриста, а вот чем вызвана такая галантность по отношению к Эльвире, он до конца и сам не знает. Выходит, хоть и понимаешь, что твоя игра уже сыграна, а все еще тужишься. Ему нравится, что она такая стройненькая — на ее фоне Пру и даже Дженис кажутся толстушками, — и от нее веет невозмутимостью и покоем, что на него, в его нынешнем состоянии, действует умиротворяюще, как телевизор с выключенным звуком, безмолвное мелькание картинок на экране. — Я как услышал об этом, расхохотался, честное слово, — комментирует он реакцию Лайла. — И на смертном одре есть свои преимущества.

— Скоро уже и Нельсон вернется. Сколько ему осталось — неделя? — спрашивает она, стоя от него по левую руку.

— Да, по плану так, — говорит Гарри. — Не заметишь, как и лето пролетит, верно? По вечерам особенно чувствуется, что лето на исходе. Вроде еще тепло, а темнеет все раньше и раньше. За год успеваешь забыть, как в конце лета темно по вечерам. Как цикады трещат. Как пахнет пожухлой травой. Правда, к нынешнему лету это не относится — сплошные дожди: сорняки у меня на огороде все растут и растут, спасу нет, салат и брокколи так вытянулись, что стебель их не держит и они все набок валятся. А горох разросся, как дикий виноград, плети через изгородь свешиваются на соседний участок.

— Зато не было такого пекла, как в прошлом году, — замечает Эльвира. — Все тогда, помните, обсуждали парниковый эффект? Может, и нет его, этого эффекта?

— Есть, еще как есть, — заверяет ее Кролик с убежденностью, какой он сам в себе не подозревал. На противоположной стороне шоссе 111, над красной шляпой крыши «Пиццы-хат», стайка скворцов, уже собравшихся в путь на юг, чернеет на проводах, как на нотной линейке. — Я-то этого не увижу, не доживу, — говорит он, — а ты увидишь, и внуки мои тоже. В Нью-Йорке, в Филадельфии вся припортовая зона уйдет под воду, как только начнут таять льды в Антарктике. Все Джерсийское побережье затопит, и Атлантик-Сити заодно. — Ронни Гаррисон и Рут: нет, он все-таки редкостный подонок, этот Ронни.

— Как у него дела, есть какие-нибудь известия? У Нельсона.

— Да, бросил нам пару открыток с фотографией Колокола свободы[[145]](#footnote-145). Тон у его посланий вполне жизнерадостный. В каком-то смысле наш сын всегда страдал из-за неупорядоченности жизни, а у нас не получалось жить иначе. Ну, а в реабилитационном центре, как я понимаю, все упорядочено до предела. Он иногда говорит с Пру по телефону, но вообще внешние контакты там не поощряются, во всяком случае, на этом этапе.

— А что думает Пру? — Не померещилось ли Гарри — или тут действительно слышен повышенный интерес, словно в телевизоре включился звук?

— Трудно сказать, что думает Пру, — отвечает он. — У меня такое впечатление, что она настроена поставить точку, на браке я имею в виду, не дожидаясь, пока Нельсон сам себя доконает. Она, Дженис и дети сейчас в Поконах.

— Так вы тут один-одинешенек, — сочувствует ему Эльвира Олленбах.

Что это, пробный шар? Как быть? Может, надо пригласить ее зайти к нему на огонек? Выпить по бокальчику дайкири у него в кабинете, провести рукой по ее стриженому затылку, по шее с темным подпушком, потом выяснить, везде ли цвет волос совпадает — в гостевой спальне с наклонным потолком, где в стенном шкафу припрятаны старые «Плейбои», которые они там обнаружили, когда въехали в дом; мысль о молодом пружинистом женском теле, жаждущем утолить с его помощью свой здоровый аппетит, сродни мысли о накрывающей его снежной лавине. Весь привычный распорядок жизни полетел бы в тартарары.

— В моем возрасте одному побыть совсем неплохо, — говорит он. — Никто не мешает смотреть по телевизору то, что мне нравится. Программу Национального географического общества, диснеевские мультфильмы, передачи из цикла «Мир природы». Когда Дженис дома, волей-неволей смотришь с ней на пару дурацкие сериалы — соберется скопище идиотов в гостиной и давай мусолить семейные проблемы. Взять хоть «Розанну»: я однажды не выдержал и спросил, какого черта она смотрит эту чушь собачью, так она мне говорит: «А мне Розанна нравится. Толстая, безалаберная, немножко вредная — американки в большинстве своем такие и есть». Я теперь мало что смотрю. Выпью стаканчик пива — больше стараюсь не пить — и на боковую.

Молодая женщина порывается вернуться на свое рабочее место. Но ему хорошо, когда она рядом, и он поспешно спрашивает:

— Знаешь, кто выводит меня из себя?

— Кто?

— Пит Роуз. Читала в «Стэндарде» на днях статейку про то, что он, оказывается, и раньше попадался на темных делишках — в восьмидесятом, когда его и еще целую группу игроков из Филадельфии застукали на амфетаминах[[146]](#footnote-146) и клуб тогда распрощался с Рэнди Личем, единственным из всех, у кого хватило совести честно признаться, тогда как остальные нагло отпирались?

— Да, что-то такое видела. Рецептами их снабжал какой-то бруэрский врач.

— Все точно, прославил наш город. Теперь понятно, на что надеется Роуз: сошло с рук один раз, сойдет и другой. Никто ведь сегодня не желает отвечать за свои поступки, что хотят, то и творят, и всем хоть бы хны. Олли Норт[[147]](#footnote-147), наркодельцы, тюрьмы забиты до отказа, и при этом одно сюсюканье. Нарушай закон, сжигай флаг — кому до этого есть дело?

— Нет смысла так расстраиваться, Гарри, — успокаивает она его, совсем по-матерински, мыслями уже не с ним. — Мошенники всегда были, есть и будут.

— Это точно, нам ли не знать!

Последнюю многозначительную реплику она, уже повернувшись к нему спиной, и вовсе оставляет без внимания. Неужели она все-таки путалась с Нельсоном?

— Главное — игрок-то он так себе, никакого понятия о стиле, — почему-то считает он нужным добавить, имея в виду Роуза. — По мне, чем выполнять все с натугом и напрягом, лучше вообще на поле не выходить.

Глядя наружу, где царит удушливый зной конца лета и происходит постоянная смена света и тени, то проявляя, то вновь стирая его собственное устрашающее отражение в стекле, Гарри замечает, что подновленная тисовая изгородь — он все же вызвал озеленителей, и они заменили погибшие растения и рассыпали свежую мульчу — собрала на себя уйму оберток и пакетов из-под пиццы и пластмассовых стаканчиков из-под кофе, словом, всевозможный мусор, который пригнало ветром с той стороны шоссе. Нельзя допустить, чтобы ожидаемый сегодня японский гость увидел такое безобразие. Гарри выходит за дверь, и горячий, насыщенный вредоносными испарениями воздух, оттолкнувшись от асфальта, мгновенно, словно кляпом, затыкает ему рот. Слева под ребрами что-то резко сжимается. Он кладет под язык таблетку нитростата, и только когда она начинает растворяться, наклоняется вниз. Чем больше мусора он собирает, тем больше его, кажется, остается — фантики от конфет, целлофановые обертки от сигаретных пачек, рекламные листки и целые страницы газет, промоченные дождем и побуревшие под солнцем, большие стаканы из-под разных безалкогольных напитков в комплекте с крышками и соломинками и даже с булькающей внутри грязноватой водицей от растаявшего льда. Надо же, сколько в мире всякой пакости, конца ей не видно. Хоть бы мешок для мусора догадался взять, лопух: обе руки у него уже заняты, а лицо наливается густой краской, когда он пытается ухватить растопыренными пальцами еще какую-то измятую липкую картонку. Так, согнувшись в три погибели, он вычищает руками кусты, когда на стоянку перед магазином с хрустом въезжает лимузин, и ему ничего не остается, как впопыхах скакать обратно, внутрь, чтобы пихнуть мусор в корзину у себя в кабинете. Пыхтя и отдуваясь, с колотящимся сердцем и готовым лопнуть, застегнутым на все пуговицы, пиджаком его серо-металлического костюма он устремляется назад, через выставочный зал, к дверям, чтобы успеть встретить господина Симаду, пожать ему руку своей не вымытой после улицы, и земли, и налипшего сахара, и клейких ошметков расплавленного сыра от пиццы рукой.

Японец оказывается безукоризненного вида господином приблизительно пяти футов шести дюймов росту, в руках он держит поразительно плоский темно-красного цвета портфель, а одет он в дымчато-черный костюм с едва заметной тончайшей полоской, покрой которого позволяет по достоинству оценить щегольские отложные манжеты с золотыми запонками и высокий белый воротничок его чуть голубоватой рубашки. Он крепко сбит, напоминает набитый свинцовой картечью «бобовый» пуф[[148]](#footnote-148), подтянут и бодр, хотя немного тяжеловат, с калифорнийским загаром на лице, не лишенном приветливости.

— Приятно с вами знакомиться, — произносит он. — Очень приятное место. — По-английски он говорит непринужденно, однако с достаточно сильным акцентом, чтобы Гарри на секунду запнулся, прежде чем ответить ему.

— Хм, здесь-то как раз не очень приятное место, — говорит он в ответ и тут же соображает, что сморозил бестактность: зачем, спрашивается, «Тойота» стала бы торговать своей продукцией в каком-то малопривлекательном месте? — То есть, я хочу сказать, наши края скорей славятся сельским пейзажем — амбары с гексафусами[[149]](#footnote-149) и всякое такое. — Наверно, ему следовало пояснить, что значит «гексафус», но, поколебавшись, он решает не вдаваться в подробности. — Не желаете ли совершить небольшую экскурсию по нашим производственным площадям? Ознакомиться, как у нас тут все устроено? — Это на случай если он не в курсе, с чем едят «производственные площади». Вот ведь пока не заговоришь с иностранцем, вроде и о языке не думаешь, а тут всю голову себе свернешь.

Господин Симада медленно, словно у него болит шея, разворачивает голову и плечи сперва в одну сторону, затем в другую, обозревая демонстрационный зал.

— Да, да, — улыбается он. — В Торрансе я изучал фотографии и праны. О! Мирая реди!

Эльвира, встав из-за стола, павой подплывает к гостю, — чтобы выглядеть еще неотразимее, она слегка втягивает щеки.

— Мисс Ольсима, то есть я хотел сказать мистер Симада... — А ведь Гарри практиковался, заучивая имя наизусть, стараясь запомнить так: гостиница «Рамада», только в начале две первые буквы заменить нотой «си», и надо же в самый ответственный момент так опростоволоситься! — Позвольте представить вам мисс Олленбах, одного из наших лучших торговых представителей — продавцов.

Господин Симада первым делом, повинуясь инстинкту, слегка кланяется, опустив руки вдоль тела. Когда же они переходят к рукопожатию, складывается впечатление, будто они намерены трясти руки, пока один из них не будет сражен улыбкой другого, так долго это продолжается.

— Хорошая идея есть, продавцы-мужичины и продавцы-женичины работают в одном магазине, — одобрительно говорит он Гарри. — Теперь мы видим это больше и больше.

— Даже не знаю, почему нам понадобилось столько времени, чтобы додуматься до такой очевидной вещи, — в тон ему говорит Гарри.

— Хорошая идея требует время, — замечает гость, чуть заметно сокращая улыбку, которая оттягивает книзу уголки его полных и одновременно приплюснутых губ.

С детских военных лет Гарри помнит, как жестоко расправлялись японцы с военнопленными на Батане[[150]](#footnote-150). Самые первые сведения о них, после Перл-Харбора, сводились к тому, что они все как один маленькие, плавают в крошечных субмаринках и летают в крошечных самолетиках под названием «Зеро»; а потом, когда на первом этапе войны Америка стала терпеть в Тихом океане поражение за поражением, о них заговорили иначе — что это фанатики на службе у императора, полуроботы-полуобезьяны, которых только огнеметами можно выкурить из их нор. Какой бесконечно длинный путь прошли мы с тех пор! Гарри чувствует, как его захлестывает волна благодушного умиления, благосклонного приятия мира, который вовсе его об этом не просит. Господин Симада между тем спрашивает Эльвиру, играет ли она.

— Вы имеете в виду теннис? — уточняет она. — Да, играю. Стараюсь использовать любую возможность. Как вы догадались?

На плоском лице японца сразу разбегается много-много быстрых складочек, и с обезьяньим проворством он касается ее запястья там, где на загорелой коже выделяется полоска посветлее.

— Напурусник, — говорит он, очень довольный собой.

— Напульсник! Гениально! — восхищается Эльвира. — Вы сами наверняка тоже играете у себя в Калифорнии. Там все играют.

— Да, когда свободное время. Уровень пять, надеюсь, скоро уровень четыре.

— Потрясающе, — отзывается Эльвира, однако ее брошенный искоса, снизу вверх взгляд на Гарри безмолвно вопрошает, как долго ей еще исполнять обязанности гейши.

— Хорошо справа, прохо слева, — доверительно сообщает ей господин Симада, сопровождая свои слова небольшой демонстрацией.

— Во время замаха разворачивайтесь к сетке спиной, ракетку отводите назад и вниз, — объясняет Эльвира, тоже для наглядности жестикулируя. — Мяч встречайте впереди, нельзя допускать, чтобы он играл вами, а не вы им.

— Так говорит, как настоящий профи, — делает ей комплимент господин Симада, весь светясь от удовольствия.

Вне всяких сомнений, Эльвира на кого угодно произвела бы впечатление. Так и видишь ее на корте — быстроногую, легкую, резвую. Гарри мало-помалу приходит в себя. Дождавшись окончания теннисного урока, он проводит для гостя небольшую экскурсию по административным помещениям и дальше через разделенный на отсеки и стеллажи отдел запчастей, где их встречает Родди, помощник начальника отдела, юнец порочно-смазливой наружности, с распущенными прямыми волосами, которые он то и дело привычным жестом отбрасывает с лица — лицо и руки у него измазаны жирной сероватой смазкой; сверкнув белками, он окидывает их нечистым взглядом. Гарри почитает за лучшее не представлять их друг другу из опасения, как бы господин Симада ненароком не замарался. Он поскорее уводит его к двери с латунными засовами, за которой открывается гулко грохочущее царство ремонтной мастерской, где долгие годы безраздельно правил Мэнни, доставшийся Гарри в наследство от Фреда Спрингера пятнадцать лет назад и недавно уступивший бразды правления Арнольду, весьма упитанному молодому человеку с дипломом об окончании профессиональной школы с расширенной программой обучения, откуда он вынес твердое правило на работе появляться только в комбинезоне из непромокаемого и легко моющегося материала, отчего фигурой он похож на игрушечного пупса или на снеговика. Господин Симада застывает в нерешительности на пороге яростно ухающей на разные лады мастерской — грохот металла о металл прорезается выразительными мужскими возгласами — и пятится назад со словами:

— Морарный дух — порядок?

Моральный дух его, видите ли, интересует. Гарри думает о своих механиках с их ненасытными претензиями и бесконечными кофепитиями и наглыми требованиями предоставлять им, помимо зарплаты, бесплатно и то, и это, и все на свете, с их невыходами на работу по понедельникам и подозрительно ранними уходами по пятницам — и говорит:

— Полный порядок. С учетом всех премий и компенсаций они зарабатывают по двадцать два доллара в час. Я на своей самой первой работе, мне тогда было пятнадцать, получал за час тридцать пять центов!

А вот это господина Симаду абсолютно не интересует.

— Черные рабочие — где? Не вижу.

— Э-э, да. Мы бы и рады взять еще рабочих, только квалифицированных не вдруг найдешь. Года два назад был у нас один, и руки хорошие, и с коллективом ладил, так все равно пришлось с ним в конце концов расстаться — на работу ходил, как хотел, то опоздает, то вовсе не явится. А когда у него потребовали объяснений, сказал, что живет по своему, афроамериканскому времени. — Гарри совестно признаться, что все остальные работяги звали парня не иначе как чернозадый. Оно, конечно, нехорошо, но мы хоть не торгуем черными куколками Самбо[[151]](#footnote-151) с утрированно негроидными губами, какие вовсю продаются в Токио, — сам видел репортаж в «60 минутах» этим летом.

— «Тойота» справедливый хозяин есть, против дискриминации, — внушает ему господин Симада. — Мы хороший гражданин вашего прураристического общества. На заводе в Джорджатауне, Кентукки, много черных негров. Не все на сборке, напарники тоже есть.

— Будем над этим работать, — обещает ему Кролик. — Край у нас, видите ли, довольно консервативный, но постепенно и мы учимся шагать в ногу со временем.

— Очень приятный край.

— Точно.

Оказавшись вновь в демонстрационном зале, Гарри зачем-то считает нужным пояснить:

— Цвет для стен и деревянной отделки выбирал мой сын, Нельсон. На его месте я предпочел бы что-то менее, э-э, изысканное, но он один управлял тут всеми делами, пока я полгода жил во Флориде. Моей жене подавай флоридское солнце. Она, кстати, тоже играет в теннис. Очень увлекается.

Господин Симада расплывается в улыбке. Губы расплющиваются, словно прижатые к стеклу, а очки, вернее, прямоугольники золотой оправы, кажется, садятся прямо на глаза.

— Нельсон Энгстром, мы его знаем, — радостно подтвердил он. Скопление согласных в фамилии оказывается для него непреодолимой преградой, и у него получается какой-то «Анк-а-стом». — В компании «Тойота» он очень знаменитый черовек.

По тому, как жестко перехватило вдруг у него в груди и, наоборот, безвольно разлилось где-то ниже пояса, он понял, что они наконец, после всех предшествующих церемоний и обмена любезностями, подобрались к истинной цели этого визита.

— Не лучше ли нам пройти ко мне в кабинет? Там, наверно, будет удобнее.

— С удовольствием.

— Попросить девушек принести для вас что-нибудь? Кофе? Чай? Разумеется, наш чай — не ваш чай. Примитивный одноразовый «Липтон»...

— Хорошо без чая.

Довольно бесцеремонно он входит к Гарри в кабинет и садится в виниловое кресло для посетителей с хромированными ручками и мягкими подлокотниками на них, лицом к столу. Он устраивает свой исключительно тонкий портфельчик у себя на коленях и небрежно складывает на нем руки, выставляя на обозрение две ослепительные полоски белых манжет. Выждав, пока Гарри займет место за столом, он затем начинает свою, вероятно, заранее приготовленную речь.

— Всегда, — говорит он, — мы в Японии брали пример с Америки. Я маренький марчик во время оккупации смотрел снизу вверх — какие великаны американские солдаты, какие веселые, беззаботные. Враги, но как черовеки не плохие. Уверенные в своей силе. Нашего императора дурные советники заставили идти неверной дорогой, и генерар Макартур[[152]](#footnote-152) — он был как раньше император, высоко, высший сорт. Мы много трудились, слушались его — возрождали города, учились демократии. Японский народ очень скоромный сперва, понимал превосходство Америки. Вы знаете историю «Тойоты». Сперва — очень скоромно, потом шире, теперь мы производим совсем хороший товар для маренького черовека, да? У нас есть то, что вам надо, да?

— Хороший был лозунг, — замечает Гарри. — Лично мне он гораздо больше нравится, чем некоторые из новоиспеченных.

Но господин Симада отнюдь не предполагает, что его будут перебивать. Его загорелые, ухоженные пальцы решительно расплющиваются на тонком красного цвета портфеле, а корпус подается вперед, чтобы голос еще отчетливее доходил до собеседника:

— Итак, в послевоенные годы японцы-мужчины и японцы-женщины уважают Соединенные Штаты. Как старший брат. Но последнее время старший брат ведет себя как маренький брат, все торико роняет слезы и жалуется, хочет много-много пображек в торговле, говорит, японцы нечестно соревноваются. Почему нечестно? Производим товар дешево, таможенный сбор, доставка — все равно дешево: народ это рубит, народ покупает. Американский образ жизни хорошо старое время. Новое время Америка производит пустое место, одни торико слияния, поглощения, меньше налоги, больше национальный долг. От себя ничего, все в себя — иностранные товары, иностранные капиталы. Америка все берет, ничего не дает. Как большая черная дыра.

Господин Симада очень доволен пришедшей ему на ум злободневной аналогией и в целом — своим непрерываемым монологом по-английски. Он улыбается и так с улыбкой на лице открывает двойным щелчком, грохнувшим, как выстрел из двустволки, свой изящный портфельчик. Оттуда он вынимает всего один листок негнущейся кремовой бумаги, довольно скудно украшенной какими-то цифрами.

— Согласно приведенным здесь цифрам, с ноября восемьдесят восьмого по май восемьдесят девятого «Спрингер-моторс» не указывает в отчете, но продает девять автомашин «тойота» на общую сумму сто тридцать семь тысяч четыреста, по отпускным ценам завода. С учетом кредитного процента на указанную сумму оплата за кредит сегодня составит сто сорок пять тысяч восемьсот. — С рефлекторным, на полпути остановленным поклоном он через стол вручает листок Гарри.

Тот кладет на него свою большую ладонь и говорит:

— М-да, понятно, однако все это было вам доложено ревизорами, которых *мы же сами* и наняли. «Спрингер-моторс», как фирма, к мошенничеству не причастна. Ситуация сложилась действительно непригляд... непривычная, но сейчас мы ее исправляем. Мой сын пристрастился к наркотикам и взял на должность главного бухгалтера человека без чести и совести, и на пару они принялись обирать нас с вами как могли. Кредитный банк Бруэра тоже пострадал, это отдельная махинация — у них был один умерший общий друг, который... покупал машины, можете себе представить? Но к делу. Послушайте, моя жена и я сам — юридически владеет фирмой она, — мы самым серьезным образом намерены вернуть Среднеатлантическому отделению «Тойоты» весь наш долг, до последнего цента. И еще, мне бы хотелось уточнить при случае, как рассчитывается процент по кредиту.

Господин Симада чуть откидывается назад и произносит наикратчайшую из своих речей:

— Когда?

Гарри кидается головой в омут.

— Конец августа.

Три недели, считая с сегодняшнего дня. Им, вероятно, потребуется взять ссуду в банке, бруэрский Кредитный и так уже имеет на них зуб. А, ладно, пускай хваленые Дженисовы счетоводы пораскинут мозгами, раз они такие ушлые.

Господин Симада несколько раз моргает за стеклами вмонтированных в его плоское лицо бинокуляров и, кажется, едва заметно кивает в знак согласия.

— Конец августа. Процент исчисляется из расчета двенадцать процентов годовых с ежемесячным перерасчетом согласно условиям стандартного займа в Кредитной корпорации «Тойота».

Он защелкивает портфель и осторожно ставит его рядом с креслом на узкое, шаткое донышко. Он искоса глядит на фотографии в рамках у Гарри на столе: здесь Дженис, года три-четыре назад, еще при челочке, в длинном с блестками платье, принаряженная для новогоднего вечера в Вальгалла-Вилидж, цветной снимок, который Ферн Дрексель сделала своим «Никкоматом» со вспышкой, подаренным ей Берни на Хануку[[153]](#footnote-153), и который вышел на удивление удачно — Дженис в предвкушении праздника выглядит моложе своих лет, лицо слегка не в фокусе, и многовато выдержки, и глаза мечтательно затуманены; рядом Нельсон — выпускник средней школы, в блейзере и при галстуке, но с волосами до плеч, как у девицы; и наконец, задержавшаяся здесь со времени хозяйничанья за этим столом Нельсона, вставленная в рамочку черно-белая школьная фотография Гарри, для которой он позировал в баскетбольной форме: мяч поднят над поблескивающим правым плечом, как будто он изготовился для броска, короткая стрижка, сонный взгляд, на майке буквы «МД» — «Маунт-Джадж».

Не строго вертикальное, как прежде, положение тела господина Симады в кресле сигнализирует о том, что с этой минуты беседа переходит в менее официальную плоскость.

— Очень интересные теперь молодые люди, — такую решает он выбрать тему. — Не боятся умирать с городу, как другие боялись на протяжении всей истории. Не боятся атомной бомбы, как другие недавно совсем боялись. Но боятся чего-то — у них нет сичастья. В Японии тоже так. Синие джинсы, рок-музыка не приносят много сичастья. Раньше, у нас в Японии, очень простые вещи дарили черовеку сичастье. Свет луны в вечерний час над прудом. Пение цикады в бамбуковой роще. Очень маренькие вещи дают очень большое чувство. Япония — маренькая страна на островах, почти ничего нет, чтобы жить. Не бескрайний Китай, не Соединенные Штаты. Нефти нет, простора нет. У нас торико наш народ, его дисиприна. Теперь я пять лет живу в Карифорнии, я разочарован: совсем нет дисиприны в народе Америки. Да, много хорошее есть, не надо спорить. Хороший теннис, хорошая душа. Очень весело. Я имею много дорогих друзей в Америке. Всегда они просят прощения за лагеря для японцев при Франкрине Рузвельте[[154]](#footnote-154). Всегда я им говорю — я удивляюсь: «Это война!» Когда война, народу нужна дисиприна. Не торико когда война. Мир — тоже война в некотором смысле. Теперь мы ведем бои не с американцами и британцами, а с «Ниссаном», «Хондой», «Фордом». Представительство «Тойоты» должно быть место, где строгая дисиприна, строгий порядок.

Гарри чувствует, что пора вмешаться — не нравится ему, куда клонит этот японец.

— Наше отделение как раз такое место. Этим летом продажи выросли на восемь процентов, вопреки общеамериканской тенденции. Я не устаю повторять своим сотрудникам: «Тойота» заботится о нас, а мы заботимся о «Тойоте».

— Теперь нет, простите, — легко ставит его на место господин Симада и продолжает развивать свою мысль дальше: — В Соединенных Штатах для меня странная непонятная вещь есть: все время борьба между порядком и свободой. Все кричат о свободе — газеты, теревидение, тереведущие, все. Очень все рубят свободу и много говорят. Парни на рориковых досках хотят свободу кататься вдоль берега по пешеходным дорожкам и опрокидывать бедных стариков. Черные негры с радиоприемниками хотят свободу самовыражать себя через горомкие звуки. Некоторые хотят свободу иметь оружие и парить по людям — у них это просто спорт. В Карифорнии много удивляет меня собакино деримо. Везде собакино деримо — значит, у собак есть большая свобода ронять деримо везде. Свобода собаки дороже, чем чистая ружайка и тротуар. В Соединенных Штатах «Тойота» надеется создавать острова порядка в море свободы. Надеется достигать нужное равновесие между потребностями внешнего мира и нуждами внутренней сущности, между *гири* и *ниндзё* [[155]](#footnote-155), как мы называем это в Японии. — Он тянется вперед и, сверкнув широкой белой манжетой, тычет пальцем в листок с цифрами на столе у Гарри. — Слишком много беспорядка. Слишком много собакино деримо. Вы платите до конца августа, мы не обвиняем вас в уголовном преступлении. Но больше никаких лицензий от «Тойоты» у «Зингер-моторс» нет.

— Спрингер, — машинально поправляет его Гарри. — Послушайте, — жалобно начинает он, — никто так не страдает из-за страшной деградации моего сына, как я.

На этот раз настал черед господина Симады перебить собеседника; собственное словоизвержение не на родном языке, каким бы тонким и изысканным ни был подразумеваемый японский первоисточник, настроило его на боевой лад.

— Не торико сын, — строго замечает он. — Кто папа и мама у такого сына? Где они? Во Фрориде, загорают, играют в теннис, пока их марчик играет здесь в машины. Нельсон Анк-а-стом не зрелый еще быть начарником в отделении «Тойоты». Из-за него компания «Тойота» теряет лицо. — От этого страшного умозаключения уголки его приплюснутых губ все ползут и ползут книзу, а глаза все выкатываются в гневном недоумении.

Потеряв все шансы на успех, Гарри все еще пытается возражать:

— Не вы ли ратовали за омоложение штата сотрудников — чтобы привлечь покупателей из молодежи. Между прочим, Нельсону через месяц исполнится тридцать три. — Он мог бы добавить — да только зачем, ведь можно еще и обидеть ненароком, — что в таком точно возрасте Иисус Христос был достаточно зрелым, чтобы принять смерть на кресте во искупление грехов рода человеческого. Он хватается за последний аргумент: — Вы же растеряете здесь все связи и всю клиентуру. Уже тридцать лет жители Бруэра твердо знают, куда им обращаться, если они надумали купить «тойоту». Сюда, к нам, в магазин на шоссе один-один-один.

— Теперь нет, — подводит черту господин Симада. — Слишком много собакина дерима, мистер Анк-стром. — Смотри-ка, третья попытка, и у него уже почти получилось. Умеют добиваться своего, в этом им не откажешь. — «Тойота» не рубит нехорошие игры с ее машинами. — Он подхватывает с пола свой тонюсенький портфельчик и встает. — Этот счет вы держите у себя. Будет исичо много других бумаг. Очень приятный, хотя и печарный визит, порезная беседа на общие темы. Прошу не отказать в любезности объяснить шоферу, как проехать на шоссе четыре-два-два. К магазину мистера Крауса.

— Вы едете к Руди? Он ведь раньше работал здесь, у нас. Это же я научил его всему!

Господин Симада как бы каменеет внутри своего элегантного в тончайшую полоску дымчато-серого костюма.

— Хороший учитель не всегда хороший родитель.

— Ну, если он теперь будет единственным представителем «Тойоты» в округе, ему придется распрощаться с «Маздой». Этот моторчик Ванкеля — жуткая дрянь. Беличья клетка. — Голова у Гарри сделалась легкая, пустая — бояться больше нечего, палач опустил топор. Ничего нет хуже, чем ждать, как решится твоя участь; а все терять — в этом есть даже какое-то специфическое удовольствие. — Да, кстати, могу пожелать вам удачи с моделью «лексус», — говорит он. — «Тойота» и роскошь — эти два понятия до сих пор плохо укладывались в сознании покупателей, но со временем все может измениться.

— Все изменяется, — веско говорит господин Симада. — В этом печарная тайна мира есть. — Выйдя в демонстрационный зал, он вопросительно возглашает: — Мирая реди? — Эльвира своей пощелкивающей скорой походкой пересекает зал, и серьги у нее в ушах исполняют какой-то диковинный танец вдоль выступов ее четко обрисованной челюсти. Японский гость спрашивает ее: — Пожаруста, могу просить вашу визитную карточку для сношений в будущем? — Она достает из кармана жакета карточку, и господин Симада принимает ее, внимательнейшим образом изучает, вежливо кланяется, опустив руки вдоль тела, а затем, чтобы разрядить атмосферу доброй шуткой на американский манер, показывает, как он теперь выполнил бы теннисный удар слева.

— У вас уже получается, — заверяет она его. — Помните: назад и *вниз*.

Он еще раз кланяется и, обернувшись к Гарри, расплывается в такой широчайшей улыбке, что все лицо у него собирается в складки и даже очки на носу приподнимаются.

— Желаю решить большие проблемы. Пока время есть, может быть, надо покупать «рексус» по оптовой цене. — Это, по всей видимости, «маренькая» японская шутка.

Гарри сжимает холеную руку в мужественном рукопожатии.

— Думаю, теперь мне не то что «лексус» — «королла» не по карману, — говорит он и, повинуясь инстинкту доброжелательства, тоже изображает подобие легкого поклона.

Он провожает гостя за дверь к лимузину: темнокожий шофер, опершись на крыло, подкрепляется пиццей, с солнца сползает облако; лишенная цвета и жалости знойная яркость слепит глаза, и Гарри болезненно щурится; шутки в сторону — он вдруг чувствует себя совсем беззащитным и больным от постигшей его утраты. Невозможно представить себе магазин без синей эмблемы «Тойоты». Без глянцево-неподвижного озерца надежно сработанных автомобилей, окрашенных в резковатые азиатские цвета. Бедняга Дженис, вот кого ждет удар. Ей будет казаться, что она предала память отца.

Но Дженис принимает свершившееся гораздо спокойнее, чем он предполагал; сейчас ее куда больше волнуют курсы по недвижимости. Она уже завершила один десятинедельный забег и сразу без остановки пошла на второй круг. Со своими товарками по курсам она ведет бесконечные телефонные разговоры, обсуждая предстоящий экзамен или достоинства несравненного мистера Листера, которому чудо как идет его новая борода.

— Я уверена, что у Нельсона есть какой-то план действий, — говорит она. — А если и нет, мы его выработаем все вместе на семейном совете.

— План действий! Двести тысяч долларов отдать ни за что, ни про что. И на торговле теперь денег не выручишь, «тойот» нам больше не видать.

— Да что в них такого необыкновенного, Гарри? Нельсон их терпеть не мог. Кто нам мешает приобрести лицензию у американских производителей — Детройт[[156]](#footnote-156), кажется, снова набирает обороты?

— Да, но пока еще не настолько, чтобы позволить себе иметь дело с Нельсоном Энгстромом.

Она делает вид, будто он забавно сострил:

— Фу, какой противный! — Потом она переводит взгляд на его лицо и сразу пугается и, огорченная, пересекает кухню и проводит рукой по его щеке. — Ты ведь действительно переживаешь. Прошу тебя, не нужно. Помнишь, как папа говорил: «Не все в гору, бывает и под гору; не все под гору, бывает и в гору». Погоди, через недельку вернется Нельсон, а до тех пор мы все равно ничего не можем предпринимать.

Снаружи, за сеткой кухонного окна, в которую непрестанно тычутся какие-то мотыльки, стоит раннеавгустовский вечер, окрашивая воздух в типичный для этой поры колорит — уже тоскующий по свету, но еще пропитанный летним теплом. По мере того как день убывает, жухлая трава и стрекот насекомых все виднее и слышнее, хотя другого такого лета, с такими ливнями, грозами и потоками воды под ногами в округе Дайамонд Гарри не припомнит. Он замечает в саду несколько опавших листьев, оброненных плакучей вишней, вот и стебли лиловой хосты уже отмирают. В его теперешнем настроении одиночества и апатии он тянется к матери-земле — не в ее ли уютных юбках, в тени под кустами, все еще прячется его детство?

— Черт! — говорит он, в этом коротеньком восклицании ему теперь чудится магический смысл — с тех пор как три месяца назад оно, сорвавшись у Пру с губ, возвестило о ее решимости переспать с ним и будь что будет. — Да какие у Нельсона могут быть планы, какие действия? Пусть скажет спасибо, если под суд не пойдет.

— За воровство из семейного кармана никто в тюрьму не сажает. У него были проблемы медицинского порядка, он был болен, как был болен и ты сам, только не стенокардией, а наркоманией. Теперь вы оба выздоравливаете.

В ее речах он с каждым днем все яснее слышит чужие голоса, оценки и суждения, вложенные ей в уши где-то и кем-то помимо него.

— С кем это ты общаешься? — спрашивает он. — Уж не с этой ли всезнайкой, Дорис Кауфман?

— Она Эберхардт. С Дорис я не разговаривала уже не вспомнить сколько недель. Но у нас на курсах есть несколько женщин, мы с ними после занятий заходим посидеть в одно местечко там же, на Сосновой, более-менее приличное и тихое, по крайней мере в это время, не знаю, как позже, так вот одна из них, Фрэнси Альварес, говорит, что к любой зависимости такого рода надо относиться как к сугубо клиническому случаю, ну, как если бы человек подхватил вирус гриппа, иначе недолго и свихнуться — начинаешь клеймить всех подряд, а того не возьмешь в голову, что бедняги и рады бы избавиться от недуга, да не могут.

— В таком случае, откуда у тебя уверенность, что Нельсону от лечения будет прок? То, что ты выложила шесть косых, это ему трын-трава. Он и в клинику-то пошел отсидеться, пока улягутся все бури. Не ты ли сама мне рассказывала, как он однажды признался тебе, что любит свой кокс больше всего на свете. Больше, чем он любит тебя, меня, своих собственных детей, наконец.

— Что ж, у каждого в жизни бывают моменты, когда приходится отказываться от того, что ты любишь.

Чарли. Вот о ком она, наверно, подумала сейчас, вот отчего в ее голосе столько искренности, столько печальной мудрости, — о нем, о ком же еще? Ее глаза в свете угасающего августовского дня темны и глубоки, они словно зовут его разделить с ней то знание, которое дается опытом женской жизни. Пальцы ее снова легонько касаются его щеки — будто муха села на лицо и мешает уснуть, неприятно щекоча кожу то тут, то там. Короче говоря, раздражает; он дергает головой, пытаясь согнать ее руку. Она убирает ее, но продолжает смотреть на него все с той же многозначительной серьезностью.

— Меня сейчас ты больше беспокоишь, чем Нельсон. Ты снова стал себя хуже чувствовать? Дышать тяжело?

— Да, бывает, кольнет иногда, — признается он. — Ничего страшного, таблетку под язык возьмешь, вроде и полегче. Хочешь не хочешь, мне теперь с этим жить.

— Я все думаю, может, тебе стоило согласиться на шунтирование?

— Да я и баллончик-то насилу выдержал. У меня иногда такое чувство, будто он застрял у меня внутри.

— Ох, Гарри, ты бы хоть небольшую физическую нагрузку себе давал, что ли. А то приедешь из магазина — и в кресло к телевизору и потом сразу в кровать. Ты совсем забросил гольф.

— Да что-то не тянет — старая компания развалилась, а молодняк в «Летящем орле» не больно жаждет брать к себе в четверку старикана. Переедем во Флориду, там снова начну играть.

— Да, кстати, тут нам тоже надо кое-что обмозговать. Какой же мне смысл получать лицензию агента по купле-продаже недвижимости, если сразу после этого мы на полгода удалимся во Флориду? Так никогда не создашь себе репутации на местном рынке.

— Репутации! Ты дочь Фреда Спрингера и жена Гарри Энгстрома — какая репутация тебе еще нужна? А теперь ты к тому же еще и мать прославленного кокаиниста.

— Я имею в виду профессиональную репутацию. Это просто такое специальное выражение, мистер Листер им часто пользуется. Подразумевается, что люди должны знать — когда бы ты им ни понадобился, ты всегда здесь, под рукой, а не за тридевять земель, во Флориде, загораешь, позабыв про все дела.

— Все ясно, — говорит он. — Флорида была в самый раз, когда я стоял во главе «Спрингер-моторс» и меня надо было сунуть куда подальше, чтоб я не путался под ногами у Нельсона, но теперь тебе угодно было возомнить себя деловой женщиной, поэтому Флорида вроде как уже и ни к чему.

— Ну, если на то пошло, — решается Дженис, — я и правда подумывала, что, может, самый простой способ рассчитаться с долгами фирмы — продать квартиру в кондо.

— Продать? Только через мой труп, — заявляет он, не то чтобы уж совершенно всерьез, больше из удовольствия слышать собственный негодующий голос, который вполне мог бы принадлежать какому-нибудь вечно недовольному папаше из телесериала или, скажем, седовласому Стиву Мартину в фильме «Отцовство» — они только на днях смотрели этот фильм по рекомендации одной из соратниц Дженис на ниве недвижимости. — Мне до того разжижили кровь, что она теперь совсем не греет — я тут на севере зимой околею.

В ответ на эти слова Дженис смотрит на него с таким видом, будто вот-вот заплачет, темно-карие глаза ее, горячие и глянцевые, совсем как у малыша Роя за миг до того, когда он разевает рот, чтобы зареветь.

— Гарри, пожалуйста, не морочь мне голову, — умоляет она. — Я ведь не раньше чем в октябре смогу сдать экзамен на лицензию, не хочешь же ты сказать, что заставишь меня сразу мчаться во Флориду, где эта лицензия нужна мне как рыбе зонтик, только ради того, чтобы ты мог поиграть там в гольф — и с кем? — с людьми, которые ни по возрасту, ни по своим человеческим качествам тебе не компания. Которые к тому же обыгрывают тебя, снимают с тебя по двадцаточке за каждую игру.

— Так, ладно, ты будешь тут целыми днями зарабатывать себе репутацию, а мне чем прикажешь заниматься? Магазину крышка, капут, или как там это по-японски, *фи-ни-то*, но даже если и не совсем и если сынок наполовину выправился, ты же опять вернешь его в дело, а он меня рядом с собой не потерпит, у нас, видишь ли, разный подход, мы друг другу на нервы действуем!

— Может, теперь вы с ним сумеете найти общий язык. Может, сумеете как-то друг к другу приспособиться, раз нет иного выхода.

— Да я был бы только рад, — говорит он ей просто, не пытаясь больше лезть в бутылку. Отец и сын, вдвоем против целого мира, вместе возрождают из руин семейное дело — эта картина будоражит его воображение. Он себе вальяжно беседует о том о сем с Эльвирой и Бенни, а Нельсон как заведенный бороздит озерцо блестящих автомобильных крыш, продает подержанные, которые раскупаются, как горячие пирожки — успевай, налетай! «Спрингер-моторс», какой эта фирма была, пока старина Фред не взял у «Тойоты» лицензию. Ну, задолжали они несколько сотен тысяч — а у правительства, между прочим, долгу на триллионы, и ничего, все тихо-спокойно.

Она замечает проблески надежды в его лице и — уже в третий раз — дотрагивается до его щеки. Вставая теперь по ночам и раз и два (если под телевизор было выпито больше одного стакана пива), Гарри научился на ощупь находить дорогу в ванную, дотрагиваясь в кромешной тьме сначала до стеклянной поверхности ночного столика, потом, после нескольких шагов с вытянутой вперед рукой, до гладкого полированного ребра комода, а там уже и до шишковатой ручки на двери ванной. Каждое прикосновение, так он думает из ночи в ночь, оставляет на вещах чуточку пота и жира с кожи пальцев; рано или поздно край полированного комода потемнеет, так же как засалились края карманов на его штанах для гольфа из-за того, что он все время лазал в них то за подставочкой-ти, то за маркером, и так игру за игрой, год за годом; и этот вещественный след, эти многослойные отложения от его шарящих прикосновений, думает он порой, добравшись наконец до цели, до убежища ванной комнаты с подсвеченным выключателем внутри, останутся здесь — темной тенью на полировке, микроскопическим облачком эфиров его тела, — когда его самого уже не будет.

— Не дави на меня, ладно, милый? — просит его Дженис с такой несвойственной ей искренностью, что его очерствелое старое сердце начинает биться быстрее от внезапно всколыхнувшегося чувства — что он муж жене своей. — Весь этот ужас с Нельсоном такой стресс для меня, хотя я, может, не всегда это показываю. Я же его мать, и мне стыдно, и я не знаю, что будет, могу только гадать. Все смешалось, все как в круговороте.

Как жмет в груди. Слева, в клетке из прутьев-ребер поселилась боль. Мимолетное видение, как они с Нельсоном работают бок о бок, растаяло без следа — пустой сон. Ему хочется, чтобы Дженис, ставшая вдруг неузнаваемо, пугающе прямой и бесстрашной, улыбнулась его вымученной шутке.

— Староват я уже барахтаться в круговоротах, — говорит он ей.

Возвращение Нельсона из реабилитационного центра приходится на тот день, когда в авиакатастрофе погибает второй за последние две недели член конгресса США, на сей раз белый республиканец. Один конгрессмен встретил смерть в Эфиопии, другой в Луизиане; первый в прошлом состоял в леворадикальной организации «Черные пантеры», а второй служил шерифом. Казалось бы, занятие политикой не самая опасная профессия на свете; но политикам приходится много летать. Пру отправляется в машине за мужем в Северную Филадельфию, оставив детей на Дженис. Дождавшись их возвращения, Дженис уезжает к себе домой в Пенн-Парк.

— Я подумала, пусть побудут одни, своей семьей, — объясняет она Гарри.

— Ну, какой он на вид?

Она задумчиво дотрагивается кончиком языка до верхней губы.

— На вид он... серьезный. Собранный, спокойный. Совсем не дерганый, не то что раньше. Не знаю, успела ли Пру рассказать ему, что «Тойота» отбирает у нас лицензию и что ты обещал в ближайшее время выплатить сто сорок пять тысяч. Сама я не хотела с ходу забивать ему этим голову.

— Так о чем же ты с ним говорила? О чем-то ведь говорила?

— Сказала, что он отлично выглядит — по-моему, он даже округлился немного и еще что мы с тобой очень гордимся им, ведь у него хватило характера пройти весь курс лечения, от начала до конца.

— Ха! А обо мне он спрашивал? Как я себя чувствую, например?

— Нет, так прямо не спрашивал, Гарри, но он прекрасно понимает, что если бы с тобой стряслось что-нибудь непредвиденное, ему бы сразу сообщили. Его, судя по всему, главным образом беспокоили дети. Это было так трогательно: он повел их обоих на веранду, где мама выращивала разные цветы, мы еще называли ее «солнечной», помнишь, и там просил у них прощения за то, что был им плохим отцом, и рассказывал им про наркотики, какое это зло, и про то место, где он лечился и где его научили никогда-никогда больше к ним не притрагиваться.

— А у тебя он не попросил прощения за то, что был плохим сыном? А у Пру — за то, что был ей дерьмовым мужем?

— Я понятия не имею, о чем они с Пру на пару разговаривали — они провели в машине несколько часов, пока добрались: все подъезды к Филадельфии запружены, ужас что творится, да еще на скоростной ремонт никак не закончат. Такое впечатление, что все филадельфийские дороги и мосты разом пришли в негодность.

— Он, значит, даже ни разу не спросил обо мне?

— Да нет же, милый, конечно, он о тебе спрашивал. Они ждут нас с тобой завтра к ужину.

— Какая честь! Я смогу лицезреть отказавшегося от наркотиков наркомана. Восьмое чудо света. Жду не дождусь.

— Ты не должен говорить с ним в таком тоне. Он сейчас особенно нуждается в нашей поддержке. Возвращение в привычную среду обитания — самый трудный этап реабилитации.

— Среду обитания, говоришь? Вот что мы все такое, оказывается.

— Ну, так это называют на профессиональном языке. Ему ведь нужно суметь удержаться и не связаться снова с его старой наркоманской компанией, которая собирается в «Берлоге». Вот почему семья должна приложить все силы, чтобы заполнить эту брешь.

— Ох ты, Боже ж ты мой! Может, хватит уже этого сюсюканья? — Безумное раздражение бурлит и клокочет в нем. Его бесит, что все теперь носятся с Нельсоном, будто он пуп земли. Подумаешь, возвращение блудного сына! Его бесит, что Дженис с упоением впитывает в себя новые слова и лезет из кожи вон, чтобы прокладывать себе дорогу в какие-то новые сферы, все дальше и дальше от него. Его бесит, что весь мир состоит из должников и ни один из них даже и не думает платить — ни Мексика с Бразилией, ни замаравшие себя по уши ссудо-сберегательные банки, ни Нельсон. Кролик отродясь не испытывал пиетета перед старомодной этикой деловых отношений, но нынешняя утрата всех этических норм возмущает его до глубины души.

Потом проходит ночь и еще один день — в постели и в магазине. Он сообщает Эльвире и Бенни, что Нельсон вернулся, что мать нашла его потолстевшим и что никакой программы действий он покамест не обнародовал. Эльвира получила приглашение от Руди Крауса перейти работать к нему в магазин на шоссе 422. Он наслышан о ней от некоего господина Симады, который дал ей блестящую характеристику. До нее также дошли слухи, что Джейк уходит из «Вольво — Олдс» в Ориоле и возглавит агентство по продаже моделей «лексус» недалеко от Потстауна. Впрочем, она не торопится, предпочитает еще немного поотираться тут в надежде, вдруг Нельсон и сам что-нибудь придумает. Бенни потихоньку наводит справки в других фирмах и не слишком беспокоится о своем будущем.

— Чему быть, того не миновать, вы меня понимаете? Главное, здоровье и надежный тыл, семья, а остальное приложится. Так я считаю.

Гарри просил их пока не посвящать ремонтную службу в подробности визита господина Симады. Его преследует странное чувство, что он с каждым днем все больше распадается на составные части; когда он идет по линолеумным плиткам пола в демонстрационном зале, ему кажется, что голова его плывет в каких-то головокружительных высотах, как тогда, когда она покачивалась, увенчанная цилиндром, над щербатым, разлинованным асфальтом — в день парада в Маунт-Джадже. Вечером он едет домой и поспевает к началу выпуска новостей на канале 10 с Томом Брокоу, но только он усаживается, как Дженис понукает его снова сесть за руль «селики» и тащиться с ней через весь Бруэр в Маунт-Джадж — уже не вспомнить в какой по счету раз в его жизни.

Нельсон сбрил усы и вынул серьгу из уха. Лицо у него загорело и обветрилось, и жирку он точно нагулял. Верхняя губа его, вновь открытая для обозрения, оказалась какой-то длинной, пухлой, чуть выступающей вперед, как у покойной мамаши Спрингер. Так вот на кого он, выходит, похож; старуха всегда напоминала ему сардельку, туго набитую, в натуральной шкурке, и то же сходство Гарри начинает теперь замечать в Нельсоне. Да и движения у сына какие-то скованные, старушечьи, словно за время реабилитации из него выкачали не только всю наркоту, всю искусственную заводку, но заодно и присущую ему от рождения нервическую подвижность. Сейчас он впервые производит на отца впечатление человека немолодого, пожившего, и редеющие волосы с пятнами проплешин уже не кажутся чужеродными и не воспринимаются как временное явление, хвороба, с которой можно как-то совладать. Он вызывает у Гарри ассоциации со священником, гладеньким таким, откормленным служителем какой-нибудь невнятной конфессии или секты, вроде того недоумка, читавшего заупокойную по Тельме. Налет чинной благопристойности заметен даже в одежде, в белой рубашке с полосатым галстуком, отчего Гарри чувствует себя рядом с сыном не по возрасту молодящимся, поскольку сам он приехал в тенниске с эмблемой «Летящего орла» и мягким, свободным воротом.

Нельсон вышел встречать родителей к дверям и, обнявшись с матерью, хотел заключить в объятия и отца, неловко обхватив своего великорослого папашу за спину и притянув его книзу, чтобы коснуться щекой его щеки. Для Гарри это была полнейшая неожиданность, к тому же не из приятных: от их объятия за милю несло показухой, слащавостью и натугой, как если бы они решили внять призывам истеричных телепроповедников, которыми они на прощание напутствуют зрителей, прежде чем исчезнуть с экрана и возлюбить своих секретарш. С тех пор как возраст сына стал исчисляться двузначным числом, они почти никогда друг до друга не дотрагивались. И хотя понятно, что смысл этого жеста был примирительно-искупительный, на Гарри повеяло чем-то заученным, ритуальным, как будто его сыну кто-то где-то внушил, что так надо, но никакого родственного чувства здесь нет и в помине.

Пру, в свою очередь, тоже, кажется, обескуражена тем, что место ее мужа занял теперь некий святой отец; когда Гарри склоняется к ней, ожидая ощутить у себя на губах теплый толчок ее губ, он получает взамен индифферентную щеку, подставленную ему навстречу с пугливым проворством. Он задет и не понимает, что он сделал не так. После того, что произошло с ними той безумной грозовой ночью, она своим молчанием ясно выразила желание предать случившееся забвению, и он со своей стороны ничего не имел против такого решения и тоже помалкивал. У него теперь уже нет былой силы, избытка жизненной энергии, чтобы затевать новый роман, — нужно идти на риск, на поступки, которых от тебя бесконечно требуют, на то, что к твоей обычной нормальной жизни добавится филигранное кружево тайны, и тайна эта будет поглощать все твои мысли, грызть и мучить, и ты будешь жить с постоянным страхом, что рано или поздно все откроется и накроется. Ему невыносимо думать, что Нельсон может узнать о его тайне, тогда как осведомленность Ронни заботила его очень мало. Он даже находил в этом определенное удовольствие — все равно как пихнуть кого-нибудь локтем в борьбе за мяч под кольцом. Он и Тельма были, как говорится, два сапога пара: каждый умел трезво соразмерить риск и награду за него; совместными усилиями они создавали укромное потайное пространство, где можно было насладиться свободой, пусть только на часок побыть свободными от всего, кроме друг друга. Когда имеешь дело с людьми своего поколения, когда у вас одни песни, одни войны, одно отношение к этим войнам, одни правила и даже одни радиопередачи, ты всегда можешь с достаточной уверенностью предвидеть, чего ждать, а чего нет. Но стоит тебе связаться с представителем иной генерации — и под ногами уже зыбкий океан, и ты уже играешь с огнем. Вот почему его настораживает это, в сущности, пустячное изменение в температуре отношения к нему Пру, этот легкий холодок недовольства.

Детей сажают за стол вместе со всеми; Джуди и Гарри сидят по одну сторону спрингеровского обеденного стола красного дерева, накрытого по-праздничному, Дженис и Рой по другую, а Пру и Нельсон друг против друга на торцах. Нельсон предлагает перед трапезой помолиться; он заставляет их всех взяться за руки и закрыть глаза, и когда от неловкости они уже не знают, куда деваться, торжественно произносит:

— Мир. Здоровье. Благоразумие. Любовь.

— Аминь, — говорит Пру испуганно.

Джуди все смотрит вверх на Гарри, пытаясь понять, что он обо всем этом думает.

— Очень трогательно, — говорит он сыну. — Так вот чему учат в детоксе?

— Не в детоксе, пап, в реабилитационном центре.

— Да как ни назови, вас что там, религией нашпиговали по уши?

— Ты должен признать свое бессилие, свою зависимость от высшей силы, это основополагающий принцип АА и АН[[157]](#footnote-157).

— Насколько я помню, раньше ты не слишком жаловал разглагольствования о высшей силе, скорее наоборот.

— Да, верно, я и сейчас не слишком это жалую — в той форме, в какой преподносит это ортодоксальная религия. От нас требуется только верить в силу, более могущественную, чем наша собственная, — в Бога как мы его понимаем.

На все у него готов ответ, на все есть объяснение — Гарри насилу сдерживается, чтобы не прицепиться к чему-нибудь.

— Да нет, я только рад, — говорит он. — Как поет Синатра, что угодно, только б ночь прошла. — Помнится, Мим однажды процитировала ему эту строчку. Сегодня вечером в доме Спрингеров Гарри с печальной горечью сознает, какое огромное расстояние отделяет его от Мим, и мамы, и папки, и всего их давно канувшего в вечность богобоязненного существования на Джексон-роуд в тридцатых — сороковых.

— Сам ведь ты когда-то во все это верил, — говорит ему Нельсон.

— Да, верил. И сейчас верю, — соглашается Кролик, прекрасно сознавая, что его миролюбие раздражающе действует на сына. Но ему не удержаться, чтобы не добавить: — Аллилуйя. Едва мне в сердце загнали катетер, я прозрел и увидел свет.

На это Нельсон не моргнув глазом возглашает:

— В центре нас всех готовят к тому, что нам не раз встретятся люди, которые будут смеяться и издеваться над нашим исцелением, правда, никто не предупредил, что первым в числе насмешников будет твой собственный отец.

— Я и не думал издеваться. Да ради Бога! Пусть у тебя будет столько мира, любви и благоразумия, сколько твоей душеньке угодно. Кто против? Я за. Мы все за. Скажи, Рой?

Мальчуган сердито вылупил на него глазенки, недовольный, с чего это вдруг его одного упоминают. Оттопыренная мокрая нижняя губа у него начинает обиженно подрагивать, он растерянно поворачивается лицом к матери. Пру говорит Гарри негромким, обращенным только к нему голосом, в котором он улавливает туманный намек на признание, слышит отголоски дождя, хлещущего по сетке окна.

— Рою сейчас очень трудно — ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к Нельсону.

— Я его прекрасно понимаю, — заверяет Гарри. — Мы все мало-помалу свыклись с его отсутствием.

Нельсон с возмущением и мольбой обращает лицо к Дженис, и та приходит на выручку:

— Нельсон, расскажи нам лучше о том, как ты работал наставником, — говорит она фальшиво-заинтересованным тоном человека, который все это знает уже наизусть.

Нельсон начинает говорить, сидя до странности неподвижно, как будто его успокоили раз и навсегда, а Гарри привык к тому, что сын с младых ногтей ни секунды не сидел спокойно, весь как на иголках, и в этих его едва уловимых нервных подергиваниях было все же что-то родное и понятное и внушающее надежду.

— По большей части, — докладывает он, — твоя задача состоит в том, чтобы слушать, дать им возможность выговориться. А тебе много говорить не требуется, достаточно показать, что ты никуда не спешишь и, если нужно, будешь ждать — и слушать. Самые что ни на есть тертые уличные пацаны в конце концов раскалываются. Время от времени приходится напоминать им, что ты сам знаешь почем фунт лиха и пусть они заливают про свои подвиги кому-нибудь другому. Многие из них не только употребляют, но и приторговывают, и когда они начинают похваляться, сколько они заколотили деньжищ на том и сем, ты задаешь им очень простой вопрос: «Ну, и где же теперь эти капиталы?» — и всю их спесь как рукой снимает. Потому что денег тех давно в помине нет, — сообщает Нельсон в тишине внимающему ему родственному застолью, своим собственным во все глаза глядящим на него детям, — они их давно профукали.

— Да, кстати, насчет кто сколько профукал... — начинает было Гарри.

Но Нельсон без остановки продолжает все тем же размеренным, ровным тоном проповедника:

— Ты должен стараться подвести их к тому, чтобы они сами признали свою зависимость и не пытались больше морочить голову ни себе, ни другим. Очень важно, чтобы это открытие шло от них самих, так сказать, изнутри, и не было навязано им извне, иначе они ни за что не примут его. Твое дело слушать: молчание лучше всяких слов помогает им двигаться вперед, минуя ловушки и западни, расставленные у них внутри. Стоит тебе раскрыть рот, как они тут же начинают сопротивляться. Нужно запастись терпением — и верой. Верой в то, что рано или поздно этот процесс сработает. И он действительно срабатывает. Всегда, без исключений. Дух захватывает, когда в очередной раз на твоих глазах происходит это чудо, и раз, и два, и три. Люди хотят, чтобы им протянули руку помощи. Они ведь сами понимают, что живут неправильно.

Гарри вновь порывается вставить слово, но Дженис опережает его, громко, так чтобы всем сидящим за столом тоже было слышно, сообщая ему:

— У Нельсона есть задумка переоборудовать магазин в лечебный центр. Во всем Бруэре нет ни одного приличного заведения, где бы всерьез занимались этой проблемой. Проблемой наркомании.

— Ничего более идиотичного в жизни своей не слыхивал, — тут же выносит приговор Гарри. — На какие, спрашивается, шиши? Речь идет о людях, у которых нет денег, все их деньги профуканы на наркотики.

После Гарриного выпада в голосе Нельсона начинают проскальзывать знакомые старые нотки.

— Деньги будут от субсидий, папа, — говорит он хныча. — Федеральные фонды. Государственные. Даже великий сторонник ничегонеделанья Буш, и тот признает, что пора что-то предпринимать.

— У тебя в магазине двадцать человек штатных сотрудников, тебе на них наплевать? И почти у всех семьи, дети. А куда прикажешь деваться механикам из ремонтного отдела? А твои продавцы как же — бедняжка Эльвира?

— Подыщут себе другую работу. Это же не конец света, в самом деле. Люди теперь не так держатся за место, как в эпоху вашего запуганного поколения.

— Запуганного — конечно, будешь тут запуганным, когда вы, нынешние, несетесь по жизни без руля и без ветрил. Да и как тебе удастся переоборудовать этот цементный панельный сарай в лечебницу?

— Я и не собираюсь устраивать лечебницу.

— Ты и без того на сегодняшний день должен «Тойоте» сто пятьдесят тысяч, и срок истекает через две недели. Не говоря уже о семидесяти пяти косых, которые ты должен вернуть банку.

— То, что покупалось на имя Тощего, машины то есть, они ведь из магазина никуда не девались, как стояли там, так и...

— И не говоря о подержанных, которые ты сбывал за наличные, а денежки клал себе в карман.

— Гарри, — вмешивается Дженис, выразительным жестом указывая на аудиторию — внимательно прислушивающихся детей. — Этот разговор сейчас не к месту.

— Он всегда не к месту. Где и когда я могу назвать своими именами все, что натворил наш сынок-паскудник? Больше двухсот тысяч, черт подери, где их взять, я спрашиваю? — Искры боли рассыпаются у него под грудными мышцами. В глазах темно — лица за столом плывут, как клецки в мутном супе. Вообще в последнее время неприятные ощущения стали учащаться; с тех пор как с помощью ангиопластики удалось увеличить проходимость его левой передней нисходящей артерии, прошло уже три месяца. Доктор Брейт предупреждал, что через три месяца часто наблюдается рецидив.

— Но зато он прошел такую школу, Гарри. Он теперь так много всего знает, такой опыт приобрел. Можно считать, что мы потратили эти деньги на его аспирантуру.

— Аспирантуры, школы, институты! С чего это нас так на образование потянуло? Очередная обдираловка, больше ничего. Чему они могут научить? Как обдирать лопухов, которые университетов да школ не кончали?

— Не хочу опять в школу! — подает голос Джуди. — Там все такие воображалы!

— Я не о твоей школе говорю, золотко. — Кролик еле дышит, как будто в грудь ему натолкали кусочков пенопласта, которые никакими силами невозможно растворить. Надо срочно выводить себя из стресса.

Сидя во главе стола, Нельсон излучает невозмутимое спокойствие и основательность.

— Папа, я ведь не отрицаю: я был наркоманом, — говорит он. — Я сидел на крэке, а это стоит денег. Все время боишься сломаться, и потому через каждые двадцать минут подкачиваешься новой дозой. Так, если торчать всю ночь, можно не одну тысячу спустить. Но я деньги брал не только себе на наркотики. Лайлу требовались крупные суммы, чтобы приобретать какие-то новые препараты, на которых прохвосты из управления по контролю за лекарствами сидят как собака на сене, и в результате их приходится нелегально ввозить из Европы или из Мексики.

— Ах да, Лайл, — с удовлетворением произносит Гарри. — Как он поживает, компьютерный гений?

— Пока держится, не сдается.

— Он еще меня переживет, — говорит Гарри вроде бы в шутку, но реальная вероятность такого прогноза врезается в его сознание ледяной сосулькой. — Значит, компания «Спрингер-моторс», — продолжает он, пытаясь завладеть ситуацией, — вся ушла на кокс и пилюльки для гомосека. — Как бы все-таки выяснить, думает он, глядя на своего немолодого, раздобревшего сына, голубой он или нет? Помнится, он прямо спросил об этом Пру, но ее ответ не удовлетворил его. Если Нельсон не голубой, зачем ей было допускать до себя Гарри? И эта ненасытность, этот застарелый голод.

Нельсон говорит ему действующим на нервы раз навсегда успокоенным, невыводимым из равновесия голосом:

— Напрасно ты так переживаешь, папа, а главное, из-за чего — из-за денег, и сумма-то по нашим временам не бог весть какая. Это у тебя пережитки Депрессии, что ты так трясешься над каждым долларом. А в долларе на самом-то деле ничего святого нет, это просто условная единица измерения.

— Да что ты? Вот спасибо, объяснил. Теперь мне стало намного легче.

— И что касается «Тойоты» — тоже потеря невелика. Если хочешь знать мое мнение, они давно плесенью подернулись. Возьми их телерекламу для «лексуса» и сравни с рекламой «ниссана» для «инфайнити» — и сравнивать нечего! Все ролики с «инфайнити» — блеск, фантастика, никаких машин, только деревья и птицы, и правильно: они проталкивают на рынок *концепцию*. «Тойота» же проталкивает очередную груду железа. Не зацикливайся ты на «Тойоте», мой тебе совет. «Спрингер-моторс» жив и здравствует, — весомо заявляет Нельсон. — У фирмы по-прежнему есть активы. Мы с мамой сейчас мозгуем, как их лучше задействовать.

— В добрый час, — говорит Гарри, скручивая трубочкой салфетку и снова вставляя ее в кольцо, детское колечко из какого-то прозрачного материала с тоненькими, как иголочки, разноцветными вкраплениями. — Мы с твоей матерью живем вместе тридцать три года, и до сих пор ей не удалось задействовать элементарные продукты, так чтобы ее стряпню можно было есть, но, будем надеяться, не все еще потеряно. У нее же теперь есть учитель, мистер Листер, может, он научит ее, как что задействовать. Спасибо за угощение, Пру, все было очень вкусно. Прости, что затеяли этот разговор. Рыбу ты готовишь бесподобно, это твой конек. И солененькие вроде как горошинки сверху, не знаю, что это, но мне понравилось. — Он вытряхивает из неразлучного пузырька таблетку нитростата и замечает, что руки сегодня дрожат по-новому — не просто подрагивают, а буквально ходят ходуном, как будто подчиняясь каким-то своим мыслям, о которых у него нет ни малейшего представления.

— Каперсы, — говорит Пру еле слышно.

— Гарри, с завтрашнего дня Нельсон возвращается в магазин, — ставит его в известность Дженис.

— Замечательно. Ну, тогда я спокоен.

— Я хотел сказать, папа, спасибо, что подменил меня. Летние сводки выглядят вполне прилично, учитывая сложившиеся обстоятельства.

— Учитывая обстоятельства? Да мы просто сотворили чудо. Твоя Эльвира — это что-то невероятное. Хотя не мне тебе говорить. Япошка, который перекрыл нам кислород, хочет забрать ее к Руди на 422-й. В магазин к Руди переводится и весь наличный товар. — Он поворачивается к Дженис: — Все-таки не могу поверить, что человека, который оказался несостоятельным по всем статьям, ты сажаешь на прежнюю должность.

Дженис отвечает ему в том преувеличенно спокойном тоне, который царит сегодня за этим столом, как будто один среди них сумасшедший, а остальные сговорились ему подыгрывать:

— Это не просто человек, который оказался несостоятельным. Это твой сын, и он стал теперь другим. Дать ему шанс — наша святая обязанность.

Голосом, который больше бы подобал Дженис, его жене, Пру мягко добавляет:

— Он правда очень изменился, Гарри.

— Живи одним днем, — воспроизводит Нельсон какой-то заученный текст, — и уповай на помощь высшей силы. Ты не поверишь, папа: стоит человеку принять эту помощь, и уже ничто не сможет повергнуть его в уныние. Все годы, как я теперь понимаю, я был страшно угнетен и подавлен; любая проблема разрасталась до вселенских масштабов. Теперь же я просто вручаю все в руки Господни, поворачиваюсь на бочок и сплю себе спокойненько. Нет, программа, конечно, есть и надо ее выполнять: во-первых, собрания группы тут, на месте, и потом раз в неделю я езжу в Филадельфию к моему психотерапевту и заодно хожу проведать моих ребят, подопечных. Люблю я эту работу. — Он поворачивается к матери и улыбается. — И любовь эта взаимная.

— Эти твои ребята-наркотята, с которыми ты носишься, они что же — все черные? — спрашивает его Гарри.

— Нет, не все. Но спустя какое-то время это вообще перестаешь замечать. Белые, черные — проблема-то одна. В основе всего лежит заниженная самооценка.

Откуда такое всезнайство, такое непоколебимое спокойствие, твердость, добродетельность; Кролик задыхается, как будто его заперли в пыльном чулане. Он обращает лицо к внучке, надеясь хоть на какой-то просвет, искорку, лучик живого, не из врачебной прописи, света. Он спрашивает ее:

— Что скажешь, Джуди, что ты обо всем этом думаешь?

Лицо девочки отмечено печатью совершенства — идеальные ровные зубки, идеальные игольчатые ресницы, узкие, как лезвия, блики, вспыхивающие в зеленых глазах и вдоль прядей рыжих волос. Природа силится подарить миру победительницу.

— Я рада, что папочка снова дома, — говорит она, — он теперь совсем спокойный. И еще — ответственный. — Опять, опять он слышит чужие, фальшивые слова, затверженные на репетиции, куда его не позвали. Но с другой стороны, чего он может желать несчастному ребенку, как не отца с чувством ответственности?

На улице, дойдя до края тротуара, он просит Дженис сесть за руль «селики», хоть и знает, что для этого придется подгонять под нее сиденье и зеркала. Когда они уже едут вокруг горы к дому, он спрашивает ее:

— Ты окончательно решила, что мне незачем оставаться в магазине? — Он смотрит вниз, на свои руки. Пляска их несколько умерилась, но все еще впечатляет.

— Я думаю, сейчас так будет правильнее, Гарри. Надо дать Нельсону возможность проявить себя. Он так старается!

— Эта псевдонаучная наркоманская дребедень у него из ушей прет.

— Никакая это не дребедень, раз помогает людям вернуться к нормальной жизни.

— Да он же на себя не похож.

— Ничего, привыкнешь.

— Он копия твоей мамаши. Та тоже вечно всем нотации читала.

— Спроси кого хочешь, он — вылитый ты. Только ростом пониже, и глаза у него мои.

А вот и парк — тенистые аллеи, старенькие теннисные корты, мемориальный танк, давно отстрелявший свое. Когда сам сидишь за рулем, все это видится не так отчетливо. Сейчас же все проплывает мимо, словно музейные экспонаты с отклеившимися ярлыками. Он делает попытку выкарабкаться из овладевшего им злобного, загнанного состояния духа.

— Прости, что я сказал грубость за ужином, да еще при детях.

— Мы и не к такому были готовы, — невозмутимо роняет она.

— Я не хотел поднимать вопрос о деньгах и о других малоприятных вещах. Но кто-то же должен. Ты попала в беду, кроме шуток.

— Знаю. — Дженис подныривает под фонари Уайзер-стрит в ее верхней части: упрямый тупоносый профиль, маленькая ручка, крепко сжимающая рулевое колесо, кольцо, сапфиры с бриллиантами, материно наследство. — Но нельзя терять веру. Ты же сам меня учил.

— Я? — Он приятно удивлен: отрадно думать, что за тридцать три года супружества он таки сумел чему-то ее научить. — Веру во что?

— В нас. В жизнь, — отвечает она. — Кстати, вот еще почему я думаю, что тебе лучше на время оставить магазин: ты что-то стал неважно выглядеть. Ты не похудел?

— Всего на пару фунтов. А что, разве это плохо? Разве не прожужжали мне все уши, что надо худеть?

— Вопрос как и почему, — многозначительно говорит Дженис, вся распираемая новообретенными ценными сведениями и новым самодовольством. Она тянется к нему рукой и игриво прихватывает его за бедро, с внутренней стороны, как раз там, куда ему вводили катетер, от которого он ведь мог и умереть. — Все у нас будет хорошо, — говорит она неправду.

Вот и август, душный и знойный август срединной поры, неуклонно приближающий лето к его сверкающему, кристально-прозрачному завершению. Фарвеи на поле «Летящего орла», обычно к этому времени года выжженные солнцем и твердые, как дорожки для картов, нынче, благодаря небывалому количеству дождей, все еще зелены, только на рафе трава красно-бурая, да какой-нибудь молодой худосочный кленок нет-нет да и мигнет желтым листом. Первыми желтеют молодые деревья — они нежнее, восприимчивее, пугливее.

Ронни Гаррисон не изменился — по мячу жахает, как кузнец по наковальне: короткий замах, тяжелый удар, да еще и крякнет, бывает, от натуги. Освободившись, не по своей воле, от забот по магазину и нуждаясь в партнере по гольфу, уж если пытаться начать играть снова, Кролик вспомнил Тельмин рассказ о том, что им пришлось выйти из клуба, поскольку денег на оплату ее медицинских счетов уже не хватало. Когда он позвонил, Ронни, кажется, удивился — Гарри и сам удивился, набирая знакомые цифры, въевшиеся в пальцы, как память о его мертвом романе, — но предложение принял, что само по себе тоже было удивительно. Возможно, оба решили положить конец старой вражде — теперь, над Тельминым мертвым телом. Или возобновить старую дружбу — ну, не дружбу, отношения, связывавшие их с тех пор, когда они в коротких штанишках и высоких ботиночках бегали по булыжным закоулкам Маунт-Джаджа. Когда Гарри сквозь все минувшие годы вглядывается назад и видит Ронни — сперва толстогубого тусклоглазого забияку на детской площадке во дворе начальной школы, потом Ронни-юнца, нахально теребящего в раздевалке свой большой, бледный, на огурец похожий отросток — обрезанный и как бы слегка приплюснутый; потом Ронни, на коне и на скаку, времен его холостяцких деньков в Бруэре, одного из тех лихих парней, как выяснилось впоследствии, кто успел погулять с Рут до того, как она прибилась к Кролику; Ронни — ловкого говоруна и похабника, сомнительного дельца, а потом уже Ронни — мужа Тельмы и сотрудника Скулкиллской страховой компании, довольно унылую, надо сказать, личность, да и что веселого бегать как заведенному и без конца пытаться всучить всем одно и то же, повторяя набившие оскомину слова про «родных и близких» и про то, что «все мы, увы, не вечны»; Ронни, постепенно превращающегося в лысоватого господинчика с понурой улыбкой на фотографии у Тельмы на комоде, который, как мерещилось Гарри, беспардонно за ними подглядывает, так что однажды он, насмешив этим Тельму, вскочил с постели и положил фотографию плашмя лицом вниз, и после этого случая Тельма уже сама разворачивала ее лицом к стене, если ожидала, что днем он к ней заедет; и наконец Ронни-вдовца, с лицом цвета лежалой сливы и морщинами, оттянутыми от глаз книзу, с тонкой стариковской кожей и розоватыми пятнами на скулах, — Гарри понимает, что всегда был неразлучен с Ронни, как бы ни желал он обратного, что Ронни — какая-то частичка его самого, в чем прежде ему не хотелось сознаваться, прежде, но не теперь. Пусть он гнусен, пусть у него член размером с переросший огурец, пусть он отпускает сальные шуточки, а его мутные голубенькие глазки вечно за ним подсматривают — ну и что, черт побери, все мы люди, все человеки: просто тело, на одном конце мозги, а остальное, в сущности, канализация.

Сыграв на пробу один круг, оба находят, что вполне сносно провели время, и уславливаются встретиться во второй, а потом и в третий раз. Ронни сохранил своих старых клиентов, но и только: развить бурную деятельность среди новоиспеченных отцов семейства он давно уже не пытается, так что его разовые отлучки на службе проходят совершенно безболезненно. Игра у них складывается очень неровно, сказывается отсутствие практики, исход матча, как правило, выясняется только на последних двух лунках. Красивый, широкий, свободный удар Гарри — где после него окажется мяч: на фарвее или в лесочке неподалеку? А Ронни? Посмотрит он в момент удара вверх и загубит простенький чип, отправив мяч через грин прямиком в песчаную ловушку, или удержит голову внизу, как положено, и пробьет четко и даже сделает пар? Партнеры стараются поменьше разговаривать друг с другом, чтобы дурная кровь, скопившаяся за годы их общения, не вышла наружу; видеть, как тот, другой, ошибается и досадует, до того веселит душу, что в этот момент ты почти его любишь, ей-богу. И ни слова о Тельме.

На семнадцатой, длинной лунке, пар пять[[158]](#footnote-158), с речушкой ярдах в ста девяноста, Ронни сильно недобивает четверкой айроном. «Какой же дурак будет тут пачкаться четверкой?» — говорит Гарри и подходит к мячу с драйвером. Сосредоточившись на том, чтобы не увести правый локоть в сторону, он чудненько выполняет удар, и мяч улетает ярдов на тридцать дальше речушки. Ронни, изо всех сил стараясь отыграться на следующем ударе, перестарался — тройкой вудом он запускает мяч по бананообразной траектории в сосновый бор на примыкающем к фарвею склоне горы Пемаквид. Получив таким образом передышку в напряженном единоборстве и повторяя про себя *главное спокойствие*, Кролик ловко щелкает шестым айроном, удар просто красавец, и мяч опускается в центральной части грина. Лунку он легко выигрывает с паром и получает преимущество в одно очко, что, при наличии одной оставшейся лунки, гарантирует ему если не победу, то уж точно не поражение в матче. От избытка чувств он спрашивает Ронни, когда они приближаются в карте к восемнадцатой ти:

— Слыхал про «Вояджер-2»? Что скажешь? По-моему, это будет посерьезнее, чем высаживать человека на Луне. Вчера в «Стэндарде» я прочел, как высказался на этот счет один ученый: это, говорит, почти как попасть из Нью-Йорка в лунку в Лос-Анджелесе.

Ронни только неопределенно крякает, весь во власти отвращения к самому себе, которое охватывает всякого проигрывающего партию в гольф.

— Облачность на Нептуне, — не унимается Кролик, — вулканы на Тритоне. Что бы это могло означать, как думаешь?

Если бы он задал свой вопрос где-нибудь во Флориде одному из тамошних его партнеров-евреев, он, вполне возможно, получил бы какой-нибудь интересненький ответ — неожиданный ракурс в трактовке фактов, но здесь, на родине пенсильванских немцев, его собеседник, Ронни, косится на него с подозрением.

— Да с чего это должно что-то означать, ваша честь?

Кролика словно погладили против шерсти. Ты с ним как с человеком, а он хамит в ответ! Пошлый, мерзкий тип, таким всегда был, таким и остался. Ты предлагаешь ему обсудить с тобой отдаленные уголки Солнечной системы, а он отмахивается, как от назойливой мухи. Все ломает и крушит в своей поганой башке. А Гарри чувствует, что это выше его разумения: постичь, как веретенообразная космическая машина может передавать информацию с помощью пусть слабых, но абсолютно верных сигналов за миллиарды миль — не иначе как по милости Божьей, которой отмечена и эта не поддающаяся простому разрушению красота кристального дня на исходе лета. Его распирает от потребности вознести кому-то за это хвалу. Ронни тоже должен бы знать такую потребность, иначе они с Тельмой не ходили бы в церковь-сарай никому не известной конфессии.

— Три кольца, которых раньше никто никогда не видел, — умиляется Гарри, — такие тоненькие, будто карандашиком нарисованы. — Ну в точности как Берни Дрексель, заходившийся в умилении, какие у фламинго ножки тонкие.

Но Ронни уже вылез из карта и, притворяясь, будто ничего не слышал, со злодейским видом делает пробные замахи, сгорая от нетерпения поскорее начать игру и взять реванш. Обиженный и разочарованный, мыслями весь с отважным «Вояджером», Кролик забывает про правый локоть в момент удара и бьет, прямо скажем, неважно, отправляя мяч по красивой кривой, словно рассчитанной на компьютере, точно в бункер посреди высокой травы справа от фарвея. На восемнадцатой лунке пар пять и вся хитрость в речушке, которая снова тут появляется, но вообще лунка не из сложных и сделать пар большого труда не составляет; в свои лучшие дни Кролик не раз укладывался в четыре удара. Однако теперь ему приходится сперва выбираться из бункера, а потом брать тройку айрон, отнюдь не самую любимую его клюшку, но ничего не поделаешь, такое расстояние, и в результате удар получается «жирный» — перестарался, как Ронни на предыдущей лунке, — и мяч приземляется где-то возле самой речушки и исчезает в зеленом пятне дикого кресс-салата, где его потом с трудом находят. Он со штрафным очком возвращает мяч в игру; ему хочется пробить наконец точно на флажок девяткой айроном, но мяч, по закону подлости, уходит влево: таким образом, у него на счету уже пять ударов, а мяч все еще находится сильно левее грина. Ронни тем временем худо-бедно продвигается вперед, удары у него один краше другого, все низкие, куцые, выполненные с грацией молотобойца; но в серьезный переплет он ни разу не попал и после четырех ударов все-таки оказался на грине, в двенадцати футах от лунки. Следовательно, у Кролика одна надежда — грамотный чип, чтобы в один удар попасть на грин. Его мяч лежит в траве, и он с ним не справляется. Как самый захудалый, тупой, нерешительный горе-гольфист, он боится ударить по-настоящему, и мячик отскакивает всего фута на два, не больше, и останавливается, так и не долетев до грина, при том что ударов у него уже шесть, а у Ронни в перспективе два верных патта, чтобы закончить лунку со счетом шесть и выиграть у него, мерзко, гнусно выиграть. Если Гарри что-то ненавидит в этой жизни, так это проигрывать лунку тому, кто набрал на ней буги. Он поднимает свой желтый мяч и, размахнувшись как следует, зашвыривает его в сосны. Энергичное движение не совсем по вкусу чему-то там в его груди, но зато какая отрада смотреть, как этот маленький сферический мучитель исчезает из виду, превращаясь только в свист, и стук, глухой, в отдалении. Исход матча — ничья.

— Ну и ладно, никто не выиграл, зато никто и не проиграл, — подытоживает Ронни, подкатив свой мяч с двенадцати футов поближе к лунке, так что оттуда ребенок и тот забьет.

— Хорошая игра, — милостиво соглашается Гарри и решает обойтись без рукопожатий. Он еще не может пережить свой позорный срыв на финише. Нет, что бы там ни говорили, а наша вселенная — это вместилище позора.

Пока они перекладывают в карманы своих сумок мячи, подставочки-ти и пропитанные потом перчатки, Ронни, поскольку теперь его очередь испытывать избыток чувств, восклицает:

— А ты видел вчера вечером, в передаче Питера Дженнингса, в самом конце, показали фотографии этих колец, там еще Луна была видна в отдалении, и потом еще составную фотографию, из разных снимков Нептуна: их перевели на сферу, стык в стык, так что получился как бы макетик планеты? Прямо диву даешься, — разошелся наконец Ронни, — какие чудеса теперь творят благодаря компьютерной графике.

Гарри становится немного не по себе, когда он представляет, как «Вояджер» делает последний снимок Нептуна и уплывает — в пустоту, навек. Да откуда кто знает, сколько там этой пустоты?..

Они выгружаются возле гольф-магазина, сумки с торчащими кверху клюшками отбрасывают длинные столбики теней. Дни становятся короче. Гарри умирает от жажды и мечтает о кружке пива в клубном патио, за столиком на улице под большим бело-зеленым зонтиком, рядом с бассейном, где с разбегу «бомбочкой» прыгают в воду дети и загорают юные красотки, все это на фоне красного солнца, закатывающегося за высокий край горы Пемаквид. Прежде чем двинуться в сторону пива, они впервые за всю игру встречаются глазами — случайно, конечно. Повинуясь некстати возникшему импульсу, Кролик спрашивает:

— Тоскуешь по ней?

Ронни исподлобья бросает на него уклончивый взгляд. Под белесыми ресницами его веки кажутся воспаленными.

— А ты?

Застигнутый врасплох, Кролик едва-едва может изобразить на лице то, что требует от него ситуация. Он просто использовал Тельму, пока было что использовать.

— Конечно, — отвечает он.

Ронни откашливается, напрягая веревки жил на шее, проверяет, застегнута ли молния на сумке, закидывает ее за плечо, чтобы отнести к машине.

— Конечно, истосковался весь, — говорит он. — Уж не врал бы. Да она тебе ни на хрен была не нужна. То есть нет. Прошу прощения. Как раз на хрен она и была тебе нужна.

Гарри стоит, раздираемый равно невозможными альтернативами — то ли сказать ему, каким наслаждением было для него проводить время в постели с Тельмой на глазах у Ронниной улыбающейся фотографии, то ли заявить, что никакого удовольствия не было и в помине. Он выбирает нейтральный ответ:

— Тельма была очень милая.

— А для меня, — говорит ему Ронни, вмиг утратив свою обычную задиристую манеру и надевая вытянутое печальное лицо вдовца, — как будто земля ушла из-под ног. Без Тел я просто существую по привычке, не живу. — Голос его начинает срываться, будто цепляясь за что-то, отвратительно булькать. Когда же Гарри зовет его пропустить по кружечке в патио, он артачится: — Нет, мне надо грести к дому. Сегодня я обедаю у Рона-младшего и его самой последней, самой замечательной подруги. — А в ответ на попытку Гарри назначить день для следующей партии он говорит: — Премного благодарен, старичок, но ты у нас член, а я нет. Не всем подфартило жениться на богатеньких. Ты же знаешь порядок — по уставу «Летящего орла» нельзя регулярно приглашать в клуб одного и того же гостя. И вообще, День труда[[159]](#footnote-159) на носу. Пора и за работу приниматься, хватит баклуши бить, а то у меня в конторе решат, что я тоже сыграл в ящик.

###### \* \* \*

В своей асфальтово-серой «селике» он едет домой в Пенн-Парк. «Камри», отданной в распоряжение Дженис, на подъездной дорожке нет, поэтому, слыша, как надрывается телефон в доме, он решает, что это, наверно, она ему звонит. Ее теперь почти никогда нет дома — то она на занятиях, то в Маунт-Джадже с внуками сидит, то в магазине держит военный совет с Нельсоном, то в Бруэре утрясает какие-то дела с адвокатом и теми двумя бухгалтерами, нанятыми по совету Чарли. Он пытается вставить ключ в замок, стервенея, оттого что всякий раз приходится возиться, пока, царапая металл, поймаешь нужное положение и ключ войдет как надо, — и что-то ему это напоминает, что-то из прошлого, неприятное, до пустоты, до провала в животе, но что?.. Плечом он толкает дверь и успевает к телефону в прихожей, когда тот дает последний (он это точно знает) звонок.

— Алло, — с трудом удается ему вымолвить.

— Папа? Что с тобой?

— Ничего. А что?

— Да голос у тебя какой-то не такой.

— Я только успел войти. Думал, это мама звонит.

— А мама, кстати, была тут сегодня. Я еще в магазине. Это она сказала, чтобы я тебе позвонил. Я тут задумал нечто грандиозное.

— Знаю, знаю. Ты хочешь открыть центр помощи наркоманам.

— Возможно, со временем. Но пока я считаю, нам лучше сохранить магазин как есть. Он, между прочим, роскошно выглядит, правильно, что убрали отсюда все эти маленькие «тойотки» непонятно каких расцветок. Покупатели идут, представь себе, приезжают за подержанными, думают, мы объявили распродажу, а еще одна-другая компании заинтересованы купить у нас место, «хюндаи», например, — у них большой новый центр дальше по дороге, за Хейсвиллом, но туда поди еще доберись, это же, знаешь, за развязкой, пока сообразишь, как подъехать, голову сломаешь, так они, конечно, с радостью открыли бы магазин тут, близенько, на Сто одиннадцатой, — но звоню я тебе совсем не поэтому, а потому что вчера вечером меня посетила одна мысль, я сегодня на пробу рассказал об этом маме, и она велела поговорить с тобой.

— Ясно, ясно, очень мило, что меня вы тоже решили привлечь, — говорит Гарри.

— Вчера вечером я был на реке, там, знаешь, на западной окраине, где люди живут в речных хибарках, ну, представляешь, разноцветные фонарики, крылечки, ступени ведут прямо к воде?

— Знать не знаю, но представить можно, сам я там никогда не был. Но это к делу не относится, продолжай.

— Да, так вот мы с Пру были там вчера вечером вместе с Джейсоном и Пэм, о них ты, наверно, от меня уже слышал раньше?

— Вроде смутно припоминаю. — Зачем он без конца прерывается, требует каких-то подтверждений, это действует Гарри на нервы. Сказал бы прямо и дело с концом. Можно подумать, отец его съест.

— Короче, один из знакомых живет в такой хибарке. Там было здорово, разноцветные огоньки, музыка, всевозможные лодки плавают вверх-вниз по реке, кто-то катается на водных лыжах, в общем...

— Потрясающе. Надеюсь только, Джейсон и Пэм не из той же компании, что Лайл и Тощий.

— Они были с ними знакомы, но они абсолютно *нормальные*, папа. Они даже подумывают завести ребенка.

— Если ты твердо решил навсегда покончить с кокаином, нечего тогда и путаться со старой кокаиновой компанией.

— Да я же уже сказал, они нормальные. Нормальнее не бывает. У них лучший друг Рон Гаррисон-младший, тот, что по столярному делу.

А это он к чему говорит? Может, Нельсон в курсе его связи с Тельмой?

— Ну-ну, дальше что? — торопит его Гарри.

— Представь, сидим мы там на крылечке и вдруг мимо проносится фантастическая машина — водный мотоцикл. Их еще гидроциклами называют...

— Да, знаю, видел во Флориде, в океане. По-моему, это небезопасно.

— Па, я в жизни такой красоты не видел — он летел, как ракета. *Фррр!*  — и нету! Джейсон сказал, это модель «Бегущая по волнам» фирмы «Ямаха» и у нее какой-то новый принцип действия, я пока не вник, где-то происходит компрессия воды, потом струя под напором выпускается сзади, он мне сказал, что торгуют ими в одном-единственном месте, в захолустной лавчонке где-то по дороге в Шумейкервилл, там и места-то нет, чтоб держать их про запас, да хозяин не очень об этом и думает, он просто фермер на пенсии, а торговля у него вроде хобби. В общем, сегодня утром я позвонил в торговое представительство «Ямаха» в Нью-Йорке и потолковал по душам с одним парнем. Конечно, смешно ограничить себя только «Бегущей по волнам», мы возьмем у них для продажи и снегомобили, и трейлеры, потом они еще производят генераторы, которые у всяких мелких производителей идут нарасхват, и еще трех— и четырехколесные вездеходики для фермеров, чтобы объезжать владения, у них, кстати, проходимость гораздо выше, чем у электрических гольф-картов...

— Нельсон. Стой. Погоди. Не так быстро. Как ты собираешься поступить с Мэнни и всеми его ребятами из ремонтной?

— Там давно уже не Мэнни, пап. Начальник у них Арнольд.

— Я и хотел сказать Арнольд. Что я, Арнольда не знаю? Не в этом суть, какая разница, кто там у них начальник, хоть тот, хоть этот, хоть эта, если хочешь, а суть в том, что они привыкли работать с автомобилями — это такие большие штуки на четырех колесах, и бегают они на бензине, а не на сжатой воде.

— Ничего, привыкнут. Люди довольно легко ко всему приспосабливаются, пока не достигнут определенного возраста. К тому же мы с мамой уже немного обкорнали ремонтную службу — рассчитали троих механиков, а сейчас даем рекламное объявление на весь комплекс ремонтных услуг. Хотим расшевелить торговлю подержанными, какое-то время придется тянуть только на них, как в те времена, когда дедушка Спрингер только начинал; он, помню, рассказывал мне, что поначалу задвигал «тойоты» подальше, чтоб не мозолили людям глаза, — народ тогда сильно не доверял японским товарам. В каком-то смысле сейчас положение изменилось — люди сравнительно скромного достатка уже не шарахаются при виде демонстрационного зала с новенькими машинами, и курс иены теперь не тот, и вообще все не то. Ну так как?

— Что — как?

— Что скажешь по поводу идеи раскрутить «Ямаху»?

— Ладно, скажу, только учти: ты сам меня спросил. За что я тебе очень признателен. Я даже тронут, я ведь понимаю, ты мог бы и вовсе меня ни о чем не спрашивать, вы с мамашей держите такую круговую оборону, что к магазину на пушечный выстрел не подойдешь. Но вернемся к твоему вопросу. Лично я считаю, что глупее ничего и придумать нельзя. Это просто бзик, больше ничего. Сегодня водный мотоцикл, завтра водные ролики. Прибыль от игрушек вроде мотоцикла или снегомобиля раз в десять меньше, чем от солидной семейной машины — ты в состоянии увеличить оборот в десять раз? Не забывай — депрессия на носу.

— Это кто ж сказал?

— Все говорят, что Буш — копия Гувера[[160]](#footnote-160). Ты-то вот молодой, не помнишь, как было при Гувере.

— Тогда была инфляция на фондовом рынке. Сейчас проблема скорее в обратном — много денежных средств на руках. Откуда взяться депрессии?

— Оттуда! Никакой к черту дисциплины ни у кого! Мы по уши в долгах! Наша страна, и та уже нам не принадлежит, вот до чего мы дошли! А ты, как я себе представляю, сидел-посиживал на крылечке, накачавшись не тем, так этим, огоньки ему, видишь ли, понравились, и вдруг что-то мимо вжих-вжих, и тебя осенило: «Вот оно! Спасение!» Тебе тридцать три года, а ты все в бирюльки играешь. Ты вернулся из детокса полный благих намерений, и где они? Опять голова невесть чем забита!

Воцаряется долгое молчание. Прежний Нельсон сразу стал бы огрызаться, заскулил бы по-детски, обиженно. Но голос на том конце провода, когда он наконец заговаривает, исполнен пасторской степенности и тренированного, почти автоматического спокойствия, это Кролик отметил про себя еще за семейным ужином на прошлой неделе.

— Ты, видимо, не понимаешь, папа, что в обществе потребления все и построено на бирюльках. Люди ведь покупают что-то не потому, что это жизненно необходимо. В действительности человеку нужно совсем немного. Люди покупают то, что лежит за гранью необходимого, то, что *приподнимает* их жизнь в их глазах, а не просто позволяет ей кое-как теплиться.

— Сдается мне, ты в своем детоксе переусердствовал с медитациями.

— Ты нарочно говоришь «детокс», чтобы уколоть меня. Я был в лечебном центре, а затем в специальном реабилитационном пансионате. Собственно «детоксикация» занимает всего пару дней. Гораздо больше времени требуется, чтобы вывести так называемый сроднившийся яд — отраву, которая крепко въелась в организм.

— Я для тебя, наверно, такая же отрава, сроднившийся яд, угадал? — Подспудно, на протяжении всего этого разговора, он все еще переживает прощальный злобный выпад Ронни Гаррисона.

И вновь Нельсон на какое-то время умолкает. А потом говорит так:

— И да, и нет. Я по-прежнему не оставляю попыток любить тебя, но ты этого по большому счету не хочешь. Боишься связать себя по рукам и ногам.

Кролик говорить не может: ждет, когда таблетка растворится под языком. Она пощипывает, как кружочек красного леденца, и создает ощущение легкой невесомости и простора, отчего к его росту сразу как бы добавляется несколько дюймов. Мальчишка заставит-таки его пустить слезу, если только он позволит себе всерьез задуматься. И он говорит:

— Ты мне тут психологию не разводи, давай ближе к делу. Где, черт побери, ты и твоя мамаша возьмете сто пятьдесят тысяч долларов, которые до конца месяца нужно вернуть «Тойоте», иначе они подадут на нас в суд?

— А-а, это, — небрежно отмахивается сынок, — разве мама тебе не сказала? С этим все уже улажено. С ними расплатились. Мы взяли заем.

— Заем? Да кто ж вам поверил?

— Бруэрский Кредитный. Мы получили вторую закладную на имущество «Спрингер-моторс», оно тянет не меньше чем на полмиллиона. Нам дали сто сорок пять тысяч; их объединили с семьюдесятью пятью за пять машин Тощего, ну, эти скоро к нам вернутся, по крайней мере большая часть, в порядке расчета по кредиту со Среднеатлантическим отделением. С того дня как они всю товарную наличность перевели в магазин к Руди, и ты не должен об этом забывать, они стали *нашими* должниками.

— Так ты все-таки намерен расплатиться с Кредитным банком — каким, интересно, образом?

— Совершенно незачем полностью возвращать ссуду, да это просто никому и не нужно, от тебя требуется только аккуратно выплачивать проценты. Кроме того, доллар падает, а все выплаты по ссуде не облагаются налогом. Если на то пошло, давно надо было ссуду взять, больше надо было в бизнес вкладывать.

— Не знаю, как благодарить Бога за то, что ты снова вернулся в строй. Ну, а как относится к затее с «Ямахой» твоя мама?

— Она меня поддерживает. Она не то что ты: она не зашорена, нормально воспринимает новые веяния. Думаю, папа, тут есть над чем поразмыслить, надо будет нам с тобой разобраться. Почему наши с мамой попытки куда-то вырваться, научиться чему-то новому, вызывают у тебя такое безумное раздражение?

— Какое там раздражение! Напротив, одно сплошное уважение.

— Нет, ты злишься. Тобой движет зависть и ревность. Я ведь любя говорю, папа. Ты чувствуешь, что застрял, увяз, и поэтому инстинктивно желаешь, чтобы и все остальные тоже увязли вместе с тобой.

Он не может устоять перед искушением угостить сынка его же пилюлей — небольшой порцией терапевтического молчания. Таблетка нитростата отзывается знакомым легким толчком в седалище, а его кровеносные сосуды, расширившись, сделали все вокруг невесомым, отчего окружающий его мир кажется теперь далеким и непрочным, как Нептуновы кольца.

— Не я, — произносит он наконец, — довел «Спрингер-моторс» до ручки. Но ты волен поступать как знаешь. В конце концов Спрингер у нас ты, а не я.

Он слышит на заднем плане женский голос, потом такой звук, как в морской раковине, который бывает, когда трубку телефона прикрывают ладонью. Когда же голос Нельсона снова к нему возвращается, тональность его совсем другая, словно его обмакнули во что-то и он приобрел новый оттенок, словно разлились соки любви. Что-то в эту секунду произошло между сыном и Эльвирой. Может, он и правда нормальный?

— Тут Эльвира хочет тебя спросить, что ты думаешь о том, как решился вопрос с Питом Роузом?

— Скажи ей, это лучший выход для обеих сторон. И я считаю, он все равно достоин, чтобы его избрали в Галерею славы[[161]](#footnote-161), хотя бы за количество набранных очков, но скажи ей, что все же для меня образец классного игрока — это Шмидт. Еще скажи, что я без нее скучаю.

Кладя на рычаг трубку, Гарри представляет себе демонстрационный зал, предвечерний свет на запыленном стекле витрины — высоченном, уходящем прямо в небо теперь, когда его не ограничивают сверху рекламные транспаранты, и мысленно видит все, что сейчас происходит там в магазине, идет своим чередом, только почему-то без него.

Лысоватый травяной газон позади их маленького, сложенного из известняка дома, 14/2 по Франклин-драйв, отмечен сухим поцелуем осени: бурые плешины и первые, пока еще редкие опавшие листья плакучей вишни, соседского черного грецкого ореха, черешни, почти прилепившейся к дому, так что он видит белок, снующих в ее ветвях, и ивы, свисающей над пустым цементным прудом с синим крашеным дном и бортиком из настоящих ракушек. Все деревья кажутся еще такими зелеными, вовсю растущими, но в траве собирается все больше опавших с них пожухлых листьев. Даже тсуга, там, ближе к соседнему дому из тоненького желтого кирпича, и рододендроны вдоль изгороди, отделяющей участок Энгстромов от владений монументального псевдотюдоровского особняка из клинкерного кирпича, и лохматые австрийские сосны, усыпающие иголками цементный прудик, — все они, хотя и вечнозеленые, тронуты тленом исхода лета и стоят как бы чуть запыленные, источая сладковатый, сухой дух — так, или очень похоже, пахло когда-то от старого кедрового сундука, где его мама держала запасные одеяла и парадную льняную скатерть с золотым шитьем, извлекаемую на свет божий в День благодарения и Рождество, и еще два старинных, диковинных лоскутных покрывала, доставшихся ей в наследство от Реннингеров. Согласно семейной легенде, эти лоскутные шедевры имели какую-то баснословную ценность, однако когда в тяжелый для семьи момент их попытались продать, никто не давал больше шестидесяти долларов за штуку. После долгих обсуждений за кухонным фарфоровым столом решено было согласиться и на эту цену, а теперь такие изделия старой работы, если они в приличном состоянии, с руками и ногами отрывают за тысячу долларов. Каждый раз, думая о тех далеких уже днях и о том, какие суммы казались тогда серьезными деньгами, он чувствует себя так, будто их всех обкрадывали, — нищенское жалованье да хлеб по одиннадцать центов за буханку, вот вся их тогдашняя жизнь. Там, на Джексон-роуд, они жили как в тюрьме, в финансовых тисках, а то, что не они одни, все тогда так жили, совсем не утешает, скорее добавляет горечи. В последнее время любое напоминание о той далекой поре действует на него удручающе: слишком очевидным становится в эти минуты постоянное обесценивание жизни. Ночью, лежа без сна, страшась, что ему уже никогда не уснуть или что сегодня он уснет навеки, он всеми фибрами ощущает убийственную бесполезность всего вещественного, материального, словно под действием какого-то атомного распада бесценное сверкающее настоящее обращается, с каждым тик-таком часов, в свинцовый шлак истории.

Форсайтия и кольквиция к концу этого дождливого лета совсем от рук отбились, и весь вторник перед уик-эндом, на который падал День труда, прохладный и пасмурный, Гарри посвятил тому, чтобы попытаться вернуть им божеский вид и вообще обрезать их на зиму. С форсайтией дело ясное — берешь самый старый стебель и срезаешь его прямо под корень, и куст твой вдруг сразу делается моложе, тоньше, как девчоночка, а потом обрезаешь самые душистые верхние побеги и пригнувшиеся к земле ветви, которые того и гляди укоренятся среди растущего внизу красоднева. Сентиментальность в этом деле — только помеха; чем беспощаднее обрежешь куст осенью, тем обильнее будут усыпаны по весне радостными желтыми цветками ветки-обрубки. А вот с кольквицией задача посложнее, до того переплелись и перепутались за лето ее стебли. Нужно бы выстричь самые длинные, да попробуй найди их основание — враз попадешься в сети густо переплетенных веток и веточек, а ниже начинаются такие непроходимые заросли из молодых побегов, что ни садовые ножницы, ни ножовку туда не всунешь — нет зазора даже для ножа. Оставшийся в это лето без присмотра куст небывало вымахал в высоту, и по-настоящему надо было бы сходить в гараж за алюминиевой стремянкой. Но Кролику неохота глядеть на грязную свалку из старых покрышек, негнущихся шлангов, битых цветочных горшков и ржавых инструментов, которую оставили им в наследство прежние хозяева, не потрудившиеся вычистить после себя гараж, как и выбросить из стенного шкафчика наверху подборку старых «Плейбоев». За минувшие десять лет они с Дженис и своего хлама поднавалили, так что мало-помалу в гараже не осталось места даже для одной машины, о двух и говорить нечего; словом, гараж превратился в усыпальницу для отложенных на потом решений и всякого сентиментально лелеемого барахла, натолканного в таком количестве, что, попытайся он выудить стремянку, следом повалятся сверху какие-нибудь старые банки с краской и садовый разбрызгиватель со сношенными прокладками. И поэтому он тянется вниз, продираясь сквозь путаницу в сердцевине куста, пока не дает о себе знать боль в груди, сопровождаемая ощущением, будто ему изнутри приложили к коже жесткую, негнущуюся нашлепку. А нитроглицерин со вчерашнего вечера лежит в кармане его клетчатых штанов для гольфа, которые он снял, укладываясь спать пораньше, в одиночестве, угостившись предварительно пивком с кукурузными чипсами, чтобы заесть неприятный привкус, оставшийся после гольф-матча с Ронни.

Желая утихомирить боль, он переключается на прополку красоднева и лиловой хосты. Из каждой щелки, куда проникает свет, пробуждая к жизни песчаную почву, лезут сорняки, мокрица, элевзина, каких только нет, а вот и портулак тут как тут, полые красные стебли с круглыми листочками, так и стелется зигзагами по земле. У сорняков ведь тоже у каждого есть и своя манера, и индивидуальность, которые словно вступают с садовником в диалог, пока он делает свою привычную работу. Скажем, мокрица — хороший сорняк, не колет руку (не то что чертополох или репейник) и легко вытягивается из земли, он сам знает, когда его песенка спета, и не сопротивляется понапрасну, тогда как, например, бешеный огурец без конца ломается в местах своих многочисленных сочленений, а пырей, кислица и сумах расползаются под землей, как опасные болезни, которые ни излечить, ни остановить невозможно. Сорняки ведь не знают, что они сорняки. Отыскав безопасную лазейку возле ствола плакучей вишни, голубой латук вымахал в высоту на восемь футов, даже его самого перерос. В его жизни был только один эпизод, когда он чувствовал, что с головой уходит в работу, — это были дни, проведенные среди рододендронов миссис Смит, когда он нанялся к ней ухаживать за ее садом. *Прекрасный, сильный молодой человек*, сказала она ему на прощание, цепляясь за него своими тощими, как куриная лапа, руками. Жизнь — единственное, что мы получаем в дар, но дар этот дорогого стоит.

В полутора кварталах от дома, на Пенн-бульваре, рокочет, шелестит проезжающий транспорт, в мерное урчание диссонансом врывается внезапный грозный рык и скрежет переключаемой на многотонном грузовике передачи, или гневное бибиканье, или истерическое блеяние «скорой помощи», мчащей какого-то бедолагу в больницу. То и дело наблюдаешь эти сцены, проезжая по тихой боковой улочке: то какую-нибудь высохшую старушенцию на носилках сносят вниз с ее крыльца, словно она со скоростью замедленной съемки съезжает на салазках по склону, волосы неприбраны, рот без зубных протезов, глаза неотрывно смотрят в небо, как будто отказываясь даже принадлежать ее телу; то какого-нибудь краснорожего доходягу загружают в проем между двумя открытыми железными дверцами, а его осиротевшая подруга в домашнем халате, утирая слезы, стоит на тротуаре и глядит, как санитары обступают его тело со всех сторон, склоняются над ним, точно стая слетевшихся на пир белых стервятников. Кролик не раз отмечал особую, как бы замороженную, невозмутимость, которой были окрашены эти уличные сцены. Есть свое специфическое достоинство в чертах обреченного, когда его смертный час наконец пробил; есть какая-то завершенность, которая выделяет из окружающего весь ансамбль участников, подобно ярко подсвеченному макету, изображающему сцену Рождества Христова. Почему-то предполагаешь, что люди примут печальное известие гораздо хуже, чем это происходит в действительности. В реальной жизни они не кричат, не корят Бога. Наверно, думает он, мы просто уползаем в себя, как улитки. Становимся бессловесными тварями. Червяками на крючке.

Где-то далеко за рекой в центре Бруэра воет сирена. Над головой в небе, обрастающем чешуйками облаков в подготовке к завтрашнему дождливому дню, потрескивает самолетик, заходя на посадку над аэропортом позади бывшего ярмарочного поля. Что полюбилось Гарри с первой минуты, едва он увидел этот дом, — его укромность: вроде и от всего этого дорожного шума и гама недалеко, и в то же время не вдруг его отыщешь, примостился скромно в засыпанном щебнем тупичке, вместе со своим дробным номером, зажатый со всех сторон куда более помпезными жилищами пенн-парковских богатеев. Всю жизнь он на дух не переносил этих снобов, а теперь вот нашел себе среди них тихое пристанище. Въезжает ли он на машине к себе в тупичок, ковыряется ли в саду позади дома, или смотрит телевизор у себя в кабинете с составленными из ромбов окнами, Кролик чувствует себя укрытым надежно, как в убежище, где никаким жаждущим поживы злым силам, разгулявшимся по миру, его не найти.

Дженис подкатывает к дому в жемчужно-серой вместительной «камри». Она прибыла прямехонько с дневных занятий в филиале Пенсильванского университета на Сосновой улице, тема урока: «Математика в риелторском деле — основы и способы применения». В студенческом костюме — сандалии и сарафан цвета спелой пшеницы, на плечи наброшена белая ажурная кофточка свободной вязки — и без челочки а-ля Мейми Эйзенхауэр она вся такая модненькая, новенькая и молоденькая, ни за что не дашь ей ее возраст. Все ее последние наряды в обязательном порядке снабжены подкладными плечиками, даже кофточка и та с плечиками. Она идет к нему, и кажется, ей предстоит преодолеть огромное расстояние на их маленьком, в четверть акра участке: их владения вдруг раздвинулись и расширились из-за внедрившейся в их жизнь взаимной отчужденности. Вопреки обыкновению, она подставляет ему лицо для поцелуя. Нос у нее холодный, как у здорового щенка.

— Как сегодня занятия? — спрашивает он, соблюдая правила приличия.

— Бедненький мистер Листер в последнее время ужасно чем-то озабочен, — сообщает она. — Борода у него совсем седая стала. Мы подозреваем, что от него уходит жена. Она однажды явилась на занятия и держалась крайне неприятно, это наше общее мнение.

— На вас, я погляжу, угодить непросто. А что это ваши занятия так долго не кончаются? День труда уже на носу.

— Бедненький Гарри, совсем я тебя нынче летом забросила, да? Куда ты собираешься девать весь этот мусор, что ты настриг? Кольквиция просто лысая, ну и обкорнал же ты ее! Ни за что не догадаешься, что этот жалкий куст называют еще «восточной красавицей».

Он не спорит.

— Я уже начал уставать, неверные решения стал принимать. Поэтому я подумал, что на сегодня хватит.

— Очень разумно, — одобрительно отзывается она. — А то, глядишь, от сада одни пеньки остались бы. Пришлось бы переименовать куст из «красавицы» в «уродину».

— Слушай, ты, ты хоть раз мне в саду помогала? Ни разу!

— Все, что снаружи, — твоя епархия, а что внутри — моя, разве у нас с тобой не такое распределение обязанностей?

— Я понятия не имею, какое у нас распределение — тебя и дома-то не бывает! Теперь отвечаю на твой вопрос: я собирался сложить ветки позади пруда для просушки, а потом сжечь их весной, когда мы вернемся из Флориды.

— Твои планы охватывают уже и девяностый год, это впечатляет. Лично я пока еще совершенно не представляю, что будет в следующем году. А не слишком ли безобразно будет выглядеть наш участок всю зиму с этой кучей посередине?

— Ничего безобразного, наоборот, будет выглядеть вполне естественно. И кому смотреть-то? Нас же тут не будет.

Ее язычок упирается в верхнюю губу задумчиво приоткрывшегося рта. Но она говорит только:

— Наверно, не будет, если мы решим жить в прежнем режиме.

— Что значит — если?

Она будто и не слышит его, все глядит на доходящую до верхнего края ограды кучу настриженных веток.

— Если ты у нас единолично распоряжаешься в стенах дома, может, откроешь секрет — что у нас сегодня на ужин? — возвращает он ее к действительности.

— Вот черт, — говорит она, — я же хотела остановиться у фермерского ларька в конце моста и прихватить там сладкой кукурузы, но в голове теперь столько разных мыслей, что я проехала мимо и даже не вспомнила. Думала, поедим кукурузы с остатками вторничной мясной буханки и в хлебнице есть булочки, тоже надо бы их съесть, а то так и заваляются. В «Стэндарде» был чудный совет, как освежить черствый хлеб в микроволновке, подробности я подзабыла, там что-то про воду. В морозилке должен быть пакет овощной смеси, можем взять его вместо кукурузы.

— Ну да, еще можем посыпать солью да сахаром кубики льда, — подхватывает он. — В чем у меня есть полная уверенность, так это в том, что в морозилке есть кубики льда.

— Гарри, я честно собиралась что-нибудь купить, но ведь нормальных магазинов по пути ни одного нет: в «Минутке» цены несусветные, а на Пенн-бульваре такие типчики за прилавком стоят — по-моему, они пробивают чеки как Бог на душу положит, но себе, понятно, не в убыток.

— Словом, ты у нас знаешь, где и что покупать, — подводит итог Гарри. На юго-западе чешуйчатые облака сливаются в монолитную серую массу; Гарри и Дженис вместе направляются к дому, прочь от надвигающейся тьмы.

— Итак, — говорит Дженис. Манеру произносить «итак», как если бы это было самостоятельное, полноправное предложение, она недавно подцепила у кого-то из своих однокашников или наставников на курсах, где такое начало считается, по-видимому, удачным вступлением к разговору о сделке. — Ты даже не спросишь меня, как я сдала последний зачет. Сегодня нам раздали проверенные работы с оценками.

— Как ты сдала зачет?

— Замечательно, нет, правда! Мистер Листер поставил мне хорошо с минусом, но сказал, что если бы я еще чуточку подсобрала мысли и подтянула орфографию, то получила бы хорошо с плюсом. Я же знаю: в одних случаях после «ч» пишется «о», а в других «е», только в каких?

Он обожает, когда она вот так с ним разговаривает — как будто ему-то известны ответы на все вопросы. Он прислоняет садовые ножницы с длинными ручками к стене в гараже, позади какой-то железной банки со всяким хламом, а ножовку вешает на ее законный гвоздик. Призрачная, как бы ускользающая в своем сарафане цвета спелой пшеницы, она первая поднимается по ступенькам заднего крыльца, и в кухне зажигается свет. Там, в кухне, она, с присущим ей сосредоточенно-озадаченным выражением, прикусив от усердия кончик языка, обшаривает холодильник в поисках съестного. Он приближается и кладет руки ей на талию поверх пшеничного сарафана и, когда она наклоняется ниже, легонько стискивает в ладонях ее ягодицы. С нежным укором он говорит ей:

— Тебя вчера допоздна дома не было.

— Ты спал, когда я пришла, умаялся, бедненький. Я побоялась тебя разбудить, легла в гостевой.

— Да, сам не знаю, отчего меня так сморило. Я все хочу добить эту книжку про Войну за независимость и никак не получается — отключаюсь и все тут.

— Зря я ее купила. Надо было подарить тебе на Рождество что-нибудь другое. Я-то думала, тебе понравится.

— Правильно думала. Мне нравится. Просто день вчера выдался нелегкий. Сперва Ронни вырвал у меня ничью на последней лунке, когда я уже практически положил паршивца на обе лопатки, потом небрежно так отмел мое приглашение сыграть с ним еще, и в довершение под вечер позвонил какой-то весь очумелый Нельсон и стал морочить мне голову своими безумными идеями про какие-то скутеры и «Ямаху».

— Ну, что касается Ронни, у него, несомненно, есть причины для отказа, — замечает Дженис. — Странно, что он вообще согласился с тобой играть. Как насчет брюссельской капусты?

— Давай брюссельскую.

— Мне почему-то всегда кажется, что у нее такой привкус, будто она подпорчена, но ничего другого все равно нет. Я беру обязательство завтра же съездить в порядочный магазин и забить холодильник на все три дня, включая уик-энд и День труда.

— Мы ожидаем Нельсона с семейством в гости?

— Я думала, мы могли бы все вместе пообедать в клубе. Этим летом мы его почти не использовали.

— Голос у него по телефону прямо звенел — может, он уже опять принялся за старое?

— Гарри, Нельсон сейчас, как никогда, в норме. Он вернулся с новой верой, с новой религией. Хотя я согласна, «Ямаха» не выход из положения. Прежде чем думать о приобретении новой лицензии, надо подсобрать капитал и обеспечить себе надежную кредитоспособность. Я тут советовалась кое с кем из моих однокурсниц...

— Ты обсуждаешь с посторонними наши семейные финансовые проблемы?

— Да не наши, нет, мы разбирали их как обычный учебный пример. Чисто гипотетически. У нас на курсах мы все время разбираем какие-нибудь примеры. И все сошлись во мнении, что это абсурд — вешать себе на шею закладную, выплачивать по ней каждый месяц две с половиной тысячи, когда у нас в собственности полно еще всякого другого имущества.

Кролику не по душе такое направление разговора. На всякий случай он напоминает:

— Наш дом уже заложен под семь сотен в месяц без малого.

— Я в курсе, глупенький. Это же теперь моя профессия, забыл? — Вытряхнув кочешки брюссельской капусты из вощеного пакета в специальную пластиковую посудину и сунув ее в микроволновку, она устанавливает на панели время — три коротких писка, один протяжный и затем нарастающее гудение. — Мы купили дом десять лет назад, — растолковывает она ему, — за семьдесят пять тысяч, пятнадцать внесли сразу и еще десять — пятнадцать, должно быть, выплатили за эти годы; первая половина выплаты по рассрочке аккумулируется сравнительно медленно, тут действует закон геометрической прогрессии в зависимости от срока, торговцы недвижимостью всегда об этом предупреждают; короче говоря, на нас висит еще тысяч пятьдесят, но все это не так важно, поскольку начиная с восьмидесятого года дома в нашем районе постоянно росли в цене, в последнее время цены, правда, стабилизировались, но падения пока тоже не наблюдается, хотя не исключено, что уже нынешней зимой начнется небольшое снижение, но сейчас можно было бы запросить, скажем, тысяч двести двадцать — двести тридцать, учитывая престижность, Пенн-Парк как-никак, и уединенность, и то, что у нас каменная кладка, а не просто облицовка, иначе говоря, тут уже вступает в силу так называемая «историческая ценность»; уж меньше чем на две сотни мы точно соглашаться не стали бы, а двести минус пятьдесят значит сто пятьдесят на руки, то есть сразу две трети нашего долга Кредитному банку!

Кролик не припомнит, когда ему доводилось слышать от Дженис тираду такой протяженности, и только через несколько секунд до него доходит подлинный смысл того, о чем она говорила.

— Ты хочешь продать наш дом?

— Ну сам подумай, Гарри, разве не расточительно держать дом, где живешь, по сути, только летом, тем более что в мамином доме свободного места сколько угодно.

— Я люблю наш дом, — говорит он ей. — Я нигде больше, ни разу, с тех пор как перестал жить на Джексон-роуд, не чувствовал себя по-настоящему дома, только здесь. Здесь есть класс. Этот дом — это мы.

— Милый, я тоже люблю наш дом, но нужно ведь трезво смотреть на вещи, ты сам всю жизнь меня к этому призывал. У нас нет никакой необходимости владеть сразу четырьмя единицами недвижимости.

— Почему тогда не продать кондо?

— Об этом я уже думала, но нам очень повезет, если мы сумеем вернуть за него то, что мы заплатили. Во Флориде отношение к недвижимости точно такое же, как к автомобилям, — всем подавай новенькое, только-только с конвейера. А все новые центры, вообще застройка — на востоке.

— А дом в Поконах? Нельзя продать лучше его?

— Тоже не деньги. Там ведь простой сарай, даже без отопления. Двести тысяч, дорогой! Нам нужно выручить двести тысяч.

— Да почему же нам, не мы же накрутили такую сумму долга «Тойоте»? Нельсон и его дружочки-голубочки!

— Ты можешь сколько угодно повторять это, но ему самому не расплатиться, а действовал он от лица фирмы.

— Ну, а магазин? Почему тебе не продать магазин? Такой участок земли прямо на 111-м, да за него отвалят кучу денег, это же теперь фактически центр города, старый-то из-за пуэрторикашек все теперь стороной обходят.

На лице у Дженис мелькает болезненное выражение, открытый, лишившийся челочки лоб собирается в складки; в кои-то веки, доходит тут до него, он не поспевает за ее мыслью.

— Ни за что, — коротко отрезает она. — Магазин — наше главное достояние. Мы обязаны сохранить его как фундамент, на котором будет построено будущее Нельсона, будущее твоего сына и твоих внуков. Папа, я знаю, распорядился бы точно так же. Помню, как он купил свой «пятачок», сразу после войны — тогда там была сельская заправочная, на краю кукурузного поля, в войну она бездействовала, машин-то никаких не было... да, так вот он повез нас с мамой на место посмотреть, что да как, и я, конечно, сразу отыскала на задворках свалку — в зарослях ежевики, ты потом назвал этот кусок участка Парагваем, — куча всяких старых железок от автомобилей и еще зеленые и коричневые лимонадные бутылки, просто клад для меня тогда, и я радовалась, будто невесть какие сокровища откопала, школьное платье все как есть перепачкала, уж досталось бы мне от мамы, будь уверен, если бы папа первый не рассмеялся, он ей сказал, что у меня, видать, нюх на машины, значит, толк будет. «Спрингер-моторс» не продается, пока я жива и пребываю в здравом уме и трезвой памяти, Гарри. И к тому же, — добавляет она, стремясь несколько сгладить свою категоричность, — я ничего не смыслю в купле-продаже производственных площадей. Зато если продавать наш дом, я все проверну сама и получу половину агентских комиссионных. Я буду не я, если мы не выручим за него две сотни; половина от шести процентов при цене двести тысяч — это шесть тысяч долларов, мне в карман!

Он опять не может за ней угнаться.

— Ты сама все провернешь — то есть ты лично?

— Ну конечно, какой ты непонятливый, я лично — для какой-нибудь риелторской фирмы. Это будет моя, так сказать, «вступительная» сделка, для меня это лучшая рекомендация. Сам подумай, смогут ли, к примеру, «Пирсон и Шрак» или тот же «Подсолнух» не взять меня на работу агентом, если я с ходу принесу им такой отличный вариант?

— Погоди-ка. Значит, большую часть года мы, предположим, будем жить во Флориде...

— Какую-то часть года, милый, какую-то. Я пока не знаю, на сколько мне удастся отлучаться, особенно вначале, пока я не заработаю солидную репутацию. И Флорида, если по совести, немножко скучная, разве нет? Все там ровное, плоское, из знакомых у нас там одни старики.

— А в остальное время мы, значит, будем жить в мамашином старом доме? Куда же денутся Нельсон и Пру?

— Никуда, там же и останутся, разумеется. Гарри, да что с тобой? Это у тебя, видно, от таблеток. Много принимаешь? Жили же мы втроем с Нельсоном в одном доме с мамой и папой. И ведь неплохо жили, разве нет? Даже очень хорошо. Нельсону и Пру всегда будет на кого оставить детей, а мне не придется одной тащить на себе все хозяйство.

— Какое такое хозяйство?

— Ты этого, понятно, не замечаешь, мужчинам кажется, что все в доме делается само собой. Но в действительности обычная рутина отнимает уйму времени, жить на два дома совсем не просто. Ты же сам всегда переживаешь, как бы нас не ограбили, пока мы в отъезде. А при таком раскладе у нас будет своя комната у мамы, то есть у Нельсона, я абсолютно уверена, что они уступят нам нашу прежнюю спальню, и мы будем раз и навсегда избавлены от ненужных волнений, подумай!

Ага, вот и старые знакомые: ленты-удавки, больно врезаясь, снова стиснули ему грудь. Слова даются ему с трудом:

— Как Нельсон и Пру относятся к тому, что мы к ним переедем?

— Я пока еще их не спрашивала. Хотела сегодня вечером обсудить это, после того как выясню твою реакцию. Честно говоря, я не вижу, как они в этой ситуации могут быть против — по закону дом принадлежит мне. Итак. Что скажешь?

Глаза ее, которые он так привык видеть темно-угрюмыми и опасливыми, нередко замутненными то хересом, то кампари, сейчас сияют от радостного предвкушения первой самостоятельной сделки.

Он сам не может понять свои чувства. Было время — правда, он тогда сам был моложе, — когда любая перемена, даже грозящая обернуться полным крушением, веселила ему сердце самой возможностью хорошей встряски, вторжения чего-то нового, неизведанного в привычный порядок вещей. Но в его нынешнем состоянии на первый план выступает идущее изнутри боязливое, стреножащее его нежелание быть выкорчеванным из родной почвы.

— Скажу, что мне тошно думать об этом, во всяком случае, сейчас, вот так сразу, — говорит он ей. — Мне совсем не улыбается опять жить постояльцем при ком-то. Мы были в таком положении пятнадцать лет, пока наконец не вырвались. Никто теперь так не живет — друг у друга на голове, все поколения под одной крышей.

— Живут, милый, еще как живут — сейчас вообще такая тенденция намечается, жилье дорожает, а количество жителей неуклонно растет.

— А если у них еще дети появятся?

— Не появятся.

— Ты-то откуда знаешь?

— Знаю, и все. Мы с Пру говорили как-то об этом.

— Интересно, у Пру никогда не возникает ощущения, что свекровь слишком на нее давит?

— С чего бы у нее возникли такие ощущения? Мы обе стремимся к одному и тому же — видеть Нельсона здоровым и счастливым.

Кролик только пожимает плечами. А ну ее, пусть себе варится в собственном соку, тупоголовая самодовольная пигалица. Они ж теперь образованные, им же теперь все про всех известно.

— Давай съезди к ним после ужина — посмотрим, как они примут твой безумный план. Лично я категорически против, если, конечно, мой голос что-то значит. Продавай магазин, и пусть мальчишка сам вкалывает — вот тебе мой совет.

Дженис отрывает взгляд от микроволновки, отщелкивающей положенные минуты, и вдруг подходит к нему вплотную и снова дотрагивается до его лица загадочным, словно нашаривающим жестом и всем телом к нему прижимается, напоминая ему, чисто сексуально, какая она миниатюрная — и какой он, в сравнении с ней, громадный: так было, когда они только узнали друг друга, так остается и поныне. Он вдыхает запах ее легких, с проседью волос и видит красноватые белки ее глаз.

— Конечно, твой голос очень много значит, родной мой, больше всех остальных, вместе взятых. — С каких это пор Дженис стала называть его «родной»? С тех пор как они обосновались во Флориде и стали якшаться со всей этой южной публикой и с евреями. Тамошние еврейские супружеские пары такие уютные, домашние, как старые разношенные туфли, и мужчины принимают свою жизнь так, будто никакой другой у них и быть не могло, и, кажется, вполне ею довольны. Великая у них религия, думает Кролик, если можешь закрыть глаза на обрезание.

Они с Дженис на время прекращают говорить о доме, но пока они ужинают, больная тема молчаливо присутствует за столом. Потом он помогает ей прибрать на кухне, и они добавляют еще несколько тарелок к тем, что уже давно дожидаются своей очереди в посудомоечной машине. Их ведь всего двое, и Дженис к тому же почти не бывает дома, не один день проходит, пока машина загружается полностью. Она звонит Нельсону — убедиться, что они никуда не уходят, снова надевает белую кофточку, снова садится в «камри» и уезжает в Маунт-Джадж. Чудо-Женщина. Кролик успевает ухватить самый конец новостей с Дженнингсом — серия старых, подрагивающих черно-белых фрагментов из кинохроники о начале Второй мировой войны: вторжение в Польшу (завтра пятидесятилетняя годовщина), танки против кавалерии, вопящий Гитлер, обеспокоенный Чемберлен; затем он выходит в сумерки, к полчищам комаров, чтобы поаккуратнее сложить начавший уже подсыхать хворост в углу участка позади цементного пруда с выцветающим синим дном и расползающимися трещинами. Домой он возвращается, когда по телевизору идут последние десять минут викторины «Колесо фортуны». Ай да Ванна[[162]](#footnote-162)! Как плавно она выступает! Как элегантно хлопает в ладоши, пока вращается колесо! Глядя на нее, нельзя не испытывать гордости оттого, что ты, наравне с ней, принадлежишь к роду двуногих млекопитающих.

Под конец очередной серии «Шоу Косби», шедшего этим летом в повторном показе (одна из серий, где все бесконечно вертится вокруг трудного подростка Тео), Гарри неудержимо клонит в сон — его, конечно, угнетает мысль, что Дженис надумала продать дом, но он успокаивает себя тем, что до реализации этих замыслов дело почти наверняка не дойдет. Уж очень она несобранная. В голове у нее вечно сумбур; скорее всего мамаша с сынком будут и дальше плыть по воле обстоятельств, все больше увязая в долгах, как, впрочем, и весь мир вокруг; и банк будет смотреть на это сквозь пальцы до тех пор, пока магазин еще что-то стоит. «Филлисы» играют на выезде в Сан-Диего, да все равно они только на шестом месте. Он почти полностью убирает звук в телевизоре и под убаюкивающее подрагивание обеззвученных картинок на экране вытягивает ноги на подушке, которую они, переезжая в свой дом, забрали из дома мамаши Спрингер, и усаживается поглубже в серебристо-розовом кресле, купленном ими лет десять назад в магазине Шехнера. Плечи у него ноют после сегодняшней работы в саду. Он вспоминает о своей исторической книжке, но она осталась в спальне наверху. Слышно негромкое постукивание за окнами с ромбовидными переплетами: дождь, как в тот вечер в начале лета, когда он выписался из больницы, — узкая комната с безголовым портновским манекеном, другой мир, страна грез. Звонит телефон, и он просыпается. По дороге к аппарату в прихожей он кидает взгляд на часы, вмонтированные в термостат: 9:20. Дженис что-то загостилась. Он надеется, что это звонит не очередной наркоторговец с напоминанием о долге или с сообщением о новой партии «товара». И как только этим барыгам от наркобизнеса удается разбогатеть, в их действиях нет никакой согласованности, тычутся наугад, авось повезет. Когда он уснул в кресле, ему снился сон про то, как он отчаянно сражается с кем-то невидимым; сама борьба происходила как-то смазанно и невразумительно, но место он видел отчетливо, там был купол над головой, как в старых железнодорожных вокзалах, только потолок был пониже и побелее, скорее похоже на часовню, довольно тесную, и этот образ еще цепляется за его сознание, и сквозь сонную одурь рука его кажется невероятно старой и странной (кисть сверху распухшая, бугристая, пальцы высохшие), когда он тянется к трубке на стене.

— Гарри. — Никогда еще голос Дженис не был таким — окаменевшим, мертвым.

— Привет. Где ты пропала? Я уже начал волноваться, думал, может, по дороге что случилось.

— Гарри, я... — Будто что-то хватает ее за горло и не дает говорить.

— Да?..

Тогда она говорит сквозь слезы, судорожно переводя дыхание, давя всхлипы, сглатывая комки в горле:

— Я изложила мой план Нельсону и Пру, и мы решили не пороть горячку и сперва хорошо все обдумать. Он проявил больше понимания, она меньше, наверно, потому что он вообще больше понимает, какие у нас финансовые проблемы...

— Ясно, ясно. Слушай, успокойся, ничего страшного не случилось. Просто она привыкла считать этот дом своим, какой женщине понравится, если на кухне появится еще одна хозяйка?

— А когда она уложила детей спать, она спустилась к нам с таким лицом... и сказала, что раз мы теперь все будем жить под одной крышей, мне и Нельсону не помешает кое о чем узнать.

— Да?.. — Голос у него по инерции невозмутимый, но сон как рукой сняло; он чует, что-то надвигается на него, вырастая из крохотной точки на горизонте в космический корабль, как в каком-нибудь фантастическом боевике.

Голос Дженис твердеет, делается ровным и приглушенным, как будто за дверью ее может кто-то подслушивать. Она сейчас скорее всего в их бывшей спальне, сидит на краешке кровати; за одной стеной посапывает Джуди, а за противоположной Рой.

— Она сказала, что ты с ней переспал вечером того дня, когда ты вышел из больницы и остался здесь у них ночевать.

Ну вот и настиг его летательный аппарат, со всеми его заклепками и мигающими огнями.

— Так и сказала?

— Да, так и сказала. Еще сказала, сама, мол, не знает, как это случилось, хотя призналась, что вы и раньше немножко симпатизировали друг другу, а в тот вечер всех, видите ли, охватило такое отчаяние!..

Немножко симпатизировали. Наверно, по сути, это правильно, хотя и не слишком приятно. С его стороны, так ему, во всяком случае, казалось, было нечто большее. Как если бы он вдруг столкнулся с собственным отражением, узнал самого себя в длинноногой, длинноволосой, молодой женщине-левше.

— Ну что молчишь? Это правда?

— Э-э, лапушка, я даже не знаю, что сказать, в каком-то смысле...

Всхлип со стоном: он словно воочию видит перед собой лицо Дженис, перекошенное, жалкое, некрасивое, будто изуродованное обрушившейся на нее старостью.

— ...в тот день, — продолжает Кролик, — оно как-то само так получилось, и с тех пор ни-ни, ни слова, ни полслова, ничего. Как если бы ничего и не было.

— Ох, Гарри! Как же ты мог?.. Ведь это твоя невестка. Жена Нельсона!

Он чутко улавливает, что тут уже в ход пошел сценарий с прописными истинами — и сквозь крохотную трещинку под своды его потрясенного и посрамленного сознания проникает легчайшее дуновение скуки.

— Ничего страшнее ты сделать не мог — просто не мог! — говорит ему Дженис. — Это предел. Я все помню: как ты сбежал, как спутался с Пегги, моей лучшей подругой, потом с той несчастной девчонкой-хиппи, не говоря уже о Тельме — и не думай, что я хотя бы на одну минуту заблуждалась насчет тебя и Тельмы, но вот сейчас ты совершил такое, чему прощения нет!

— Серьезно? — Словцо срывается с его губ с какой-то незапланированной интонацией тайной надежды.

— Я тебе этого никогда не прощу. Никогда, — говорит Дженис, снова возвращаясь в безжизненно-тусклую тональность.

— Не говори так, — умоляет он. — Ну, случилось минутное помешательство, но ведь никто не умер. А ты сама зачем оставила меня с ней на ночь глядя? Кто я, по-твоему, совсем труп бесчувственный, что ли?

— Я не могла пропустить занятия, у меня был зачет, иначе я бы ни за что не поехала, я чувствовала себя такой виноватой! Вот смех. Я чувствовала себя виноватой. Теперь наконец мне понятно, почему у нас действует запрет на оружие. Будь у меня пистолет, застрелила бы вас. Обоих застрелила бы!

— Ну, еще о чем Пру поведала? — Он рассчитывает, что, отвечая на вопрос, она немного спустится с заоблачных высот кровожадной ярости.

— Она не особо распространялась. Просто выдала факты, потом сложила руки на коленях и нахально уставилась на нас с Нельсоном. По-моему, она даже не раскаивалась, только озлилась — поперек горла я ей встала, не желает терпеть меня в своем доме. Потому и призналась.

Он чувствует, что Дженис вербует его в союзники против тех, других (не зря говорят, муж и жена — одна сатана), перенося основную тяжесть обвинения на Пру. Он испытывает большое облегчение, оттого что его уже потихонечку начинают прощать, и одновременно — легкое разочарование.

— Да, ее против шерсти лучше не гладить, — примирительно говорит он, перекидываясь в женин лагерь, — Пру то есть. Да чего и ждать от дочери акронского сантехника? — Он в последний момент решает, во всяком случае, пока, не рассказывать Дженис о том, как Пру за время их короткого свидания успела насытить себя дважды, и ему показалось, что его просто использовали (умело, надо сказать).

Конечно, этот грех ему еще искупать и искупать. Недели, месяцы, годы пройдут, пока он заслужит прощение. Теперь, с ее новой деловой хваткой, Дженис ничего не отдаст задешево.

— Нужно, чтобы ты сейчас приехал сюда, Гарри, — говорит она.

— Я? Зачем? Поздно уже, — сопротивляется он. — И от всех этих кустов я сам сегодня рухнул как подрубленный.

— Не рассчитывай, что ты останешься в стороне, умник какой выискался! То, что случилось, ужасно и отвратительно. После этого никто из нас уже не будет таким, как прежде.

— Никто вообще не может оставаться таким, как прежде, — осмеливается заметить он.

— Подумай, каково сейчас Нельсону.

Удар достигает цели. Он действительно старался об этом не думать.

Она рассказывает ему:

— Нельсон держится очень спокойно, вот когда ему пригодились сеансы психотерапии в лечебном центре. Он говорит, эта ситуация потребует тщательной проработки, и лучше начать не откладывая. Малейшее промедление грозит тем, что мы все зациклимся, каждый на своем, и нас тогда будет уже не свернуть.

Кролик снова пытается создать с Дженис союз единомышленников, побудить жену поделиться с ним еще одним наблюдением.

— Да, я как раз хотел спросить, как он это принял, Нельсон?

Но она отвечает предельно кратко:

— Полагаю, он в шоке. Сам он говорит, что его подлинные чувства пока еще на замке.

— Я бы на его месте вообще помалкивал, — храбрится Гарри, — как вспомнишь, какие номера он выкидывал все эти годы!.. Одни бруэрские шлюхи накоксованные чего стоят, и если хочешь знать, эта Эльвира в магазине тоже не для украшения там находится. Стоит ей оказаться поблизости, у него даже голос меняется, мурлычет, как сытый кот.

Но Дженис на эти штучки не поддается.

— Ты нанес Нельсону тяжелейшую травму, — говорит она строго. — Что бы он отныне ни «выкинул», ты не вправе винить его. Понимаешь, Гарри, то, что ты сделал, это же извращение, скандал, про такое в газетах пишут! Это чудовищно!

— Лапушка...

— Я тебе больше не лапушка!

— При чем тут «извращение»? Мы же не кровные родственники. Ну, переспали один-единственный раз, и тут же забыли об этом. Она была натянута как струна, а я был на пороге смерти. Наверно, так она поняла роль сестры-сиделки при мне.

Новый приступ рыданий — поди знай, отчего вдруг открываются эти шлюзы.

— Гарри, как ты можешь шутить!

— Какие шутки? Я на полном серьезе. — Однако ему кажется, что его высекли, отделали по первое число, во рту у него пересохло.

— Сейчас ты немедленно приедешь сюда и поможешь нам восстановить хоть что-то из того, что ты разрушил. Ты можешь хоть раз в жизни быть человеком? — И она кладет трубку, выступив напоследок как карикатурная пародия ее мамаши — та вот так же смачно произносила «раз в жизни».

###### \* \* \*

Нечасто в нашей жизни случаются озарения, но когда случаются, мы обязаны к ним прислушиваться. Кролик видит яснее ясного, что надлежит ему делать. С этой минуты все его действия приобретают собранность и решимость. Он поднимается наверх, укладывает вещи. Коричневая холщовая сумка. Вместительный желтый жесткий чемодан «Туристер» с вмятиной в углу, грузчики в аэропортах не церемонятся. Трусы, майки, носки, рубашки-поло пастельных тонов, парадные рубашки в целлофановой упаковке, слаксы для гольфа, штаны-бермуды. Несколько галстуков, хоть он их всегда не любил. Гардероб у него теперь исключительно летний; шерстяные костюмы и свитера в закрытых от моли мешках терпеливо дожидаются, когда придет осень, октябрь — ноябрь, которая нынче не придет, для него не придет. Он отбирает четыре легких спортивных пиджака и два костюма, один бежевато-серый, другой серый, сверкающий, как доспехи. На случай свадьбы или похорон. Плащ, два свитера. Пара черных туфель со шнурками рассовывается по двум карманам его складной дорожной сумки, а сине-белые кроссовки «Найки» ложатся по бокам чемодана. Надо, надо снова бегать трусцой. Зубная щетка, бритвенные принадлежности. Лекарства — целый вагон. Что еще? Ах да. Он хватает с ночного столика «Последний салют» и запихивает книгу в сумку, он будет не он, если не добьет ее, помрет, но добьет. Он оставляет свет в коридоре наверху и в подвесном фонаре возле входной двери с номером 14/2 — для устрашения квартирных воров. В два приема он загружает весь багаж в машину, грудью ощущая его тяжесть. Окидывает взглядом пустую прихожую. Заходит в кабинет, бесшумно ступая по бежевому ковровому покрытию, и смотрит в окошко с ромбовидным переплетом на поблескивающий в ночи силуэт плакучей вишни. Он взбивает подушку и расправляет чехол на широких подлокотниках кресла, в котором он давеча задремал, и задремал-то ведь ненадолго, но как далеко отсюда, на другом, недосягаемом берегу. Тот, задремавший, был не он нынешний, а какая-то жалкая личность. Вернувшись к входной двери, он чувствует на лице ночной ветерок, слышит приглушенный шум машин, доносящийся с Пенн-бульвара. Он тихонько захлопывает дверь. У Дженис свой ключ. Он думает о том, как она сейчас ждет его в просторном оштукатуренном спрингеровском доме, который всегда казался ему похожим на огромный заброшенный лоток мороженщика. Прости меня.

Кролик садится в «селику». *Путешествие в интерьере!*  — один из недавних рекламных лозунгов, которые пытаются внедрить в массовое сознание. Когда лозунгов слишком много, они начинают уничтожать друг друга. Включается мотор, задняя передача, поехали потихонечку. *С тобой я свободен как ветер, «Тойота»!* Электронные часы показывают 10:07. Поток машин на Пенн-бульваре начинает уже редеть, придорожные закусочные и бензоколонки мало-помалу погружаются в темноту. Он сворачивает направо возле подмигивающего красным сигнала «стоп» и потом еще раз направо на бруэрскую обводную дорогу по берегу Скачущей Лошади. Дорога взмывает вверх над деревьями примерно в том месте, где сгрудились, как стадо слонов, громадные серые газгольдеры, и оплетенный обводными путями-шунтами старый город не лишен даже определенного величия. Двадцатиэтажное здание суда, построенное на заре депрессии, и по сей день остается самым высоким — по углам подсвеченные прожекторами орлы с распростертыми крыльями, и над ним, над всем городом внушительная махина горы Джадж, Судейской горы, увенчанной звездной диадемой гостиницы «Бельведер»: гора нависает, словно застывший гребень прибойной волны. Уличные фонари горят в окружении кирпичных стен Бруэра, как спички в натруженных красных ладонях. А затем, не успеешь оглянуться, как город и все, что в нем есть, оказывается уже выхваченным из виду. Рощи сорных деревьев наполовину скрывают заброшенные заводики вдоль реки — с одинаковым успехом можно было бы видеть все это, находясь в любом другом месте на востоке Соединенных Штатов, на любом из четырехрядных, разделенных посередине зеленой полосой скоростных шоссе.

Они с Дженис столько раз проделывали этот путь на юг, что он наизусть знает все возможные варианты: можно съехать на 222-ю и двигаться прямо, но зато с черепашьей скоростью на Ланкастер, через вереницу утыканных светофорами пригородов Бруэра, а можно остаться на 422-м и проехать еще несколько миль до 176-й и дуть прямо на юг и уж потом сдвинуться на запад, к Ланкастеру и Йорку. Когда он предпринял первую попытку совершить подобное путешествие, — минувшей весной стукнуло ровно тридцать лет, подумать только, — он допустил ошибку, слишком рано взял курс на юг, в направлении Уилмингтона и босоногих Дюпонш, которых он себе нафантазировал. Но восток сам имеет уклон к западу, и весь фокус в том, чтобы жать на запад до самой 83-й, которой в те стародавние времена еще в помине не было, и только потом сворачивать на юг, прямо в чрево страшного чудища о двух головах, Балтимор-Вашингтона. *Чудовищно* — так она сказала. Что ж, может быть, в каком-то смысле, быть живым вообще чудовищно. Как представишь себе эти скопища обезумевших молекул... Но чтоб они все возникли сами по себе? Быть не может.

Он включает радио, пытаясь в невнятице рок-музыки и разных ток-шоу отыскать милые его сердцу старые мотивы, мелодии, на которых он вырос. Насколько легче было искать нужную волну, когда ты двигался по старомодной шкале, вращая ручку, чем теперь, тыча пальцем в слишком чувствительную кнопочку электронного поиска, — все равно как идти с завязанными глазами, тогда как раньше ты точно знал, куда ступаешь. Наконец он случайно натыкается на шелковистые голоса Дайаны Шор и Бадди Кларка, сплетающиеся в дуэте: «Останься! На улице холод...» Вот черти, у него даже мурашки по хребту забегали, когда после шутливой скороговорки, где не все слова разберешь, они вдруг делают паузу и потом, вместе, ладно, стройно, поют завершающую фразу. Та же станция, почти затухая, когда он едет под виадуками, и потрескивая вблизи высоковольтных линий, предлагает послушать один старый шлягер, о котором он начисто забыл, как мог он забыть? — танцевальные вечера в старших классах, разодетые в пух и прах парочки шаркают под томный вальсовый ритм, полоски серпантина, свисающие с сетки баскетбольного кольца, согретый ржавой печкой, освещенный только светом приборной доски салон папкиного «доджа», живой, теплый, запретный дух — как аромат какого-то соблазнительного кушанья, такой пряный, что в первый момент от него перехватывает дыхание, — поднимающийся из раздвинутых ляжек Мэри-Энн. *Вайя кон диос[[163]](#footnote-163), мой милый.* Сырой треугольник трусиков, пояс с резинками, какие носили тогда девчонки. Росистая, безупречная свежесть их тел, их всех, в испарине кружащихся под гирляндами из гофрированной бумаги, под разноцветными лампочками. *Вайя кон диос, любовь!* Ох-хо-хо, как сердце-то щемит. Сколько чувства в этих фразочках, раскопанных кем-то из диджеев в пыльных залежах на полках со старыми, на 78 оборотов, пластинками, сколько чувства, забитого, как пыж в патрон, неприметного, как зернышко, способное прорасти после тысячелетней спячки в какой-нибудь пирамиде. Вот и звезды способны к рециркуляции и к воспроизведению всех необходимых для сотворения мира тяжелых атомов, но Гарри никогда уже не будет тем, кем был когда-то, тем пареньком наедине с той девушкой, и кончикам его пальцев уже не пастись на нежных пастбищах, с исподней стороны ее бедер, он навсегда оставил там какие-то свои атомы, какие-то молекулы.

Потом дали «Караван» в исполнении Фрэнки Лейна[[164]](#footnote-164), не самую замечательную его вещь, но все равно первый класс, и «Чудесно» Дорис Дей[[165]](#footnote-165). Эти паузы, с ума можно сойти: *Чуде сно*. Умели тогда пронять, ничего не скажешь, — тогда, когда в каждой из двух бейсбольных лиг было по восемь команд, и все знали игроков наизусть. Люди тогда были не то чтобы мягче, скорее наоборот, тверже, однако уязвимее, хотя уязвимых мест у них было меньше.

Со 176-й ему приходится съехать на 23-ю, пролегающую через земли амишей, на всей протяженности пути это единственный отрезок, когда едешь по трассе исключительно местного значения, но в такое время на дороге не должно уже быть никаких телег и шарабанов, которые мешали бы ему двигаться с нормальной скоростью. Кролику хочется еще разок взглянуть на одно памятное место в Моргантауне, скобяную лавку с двумя бензонасосами снаружи, где хозяин, крепко сбитый фермер, в двух рубашках, надетых одна на другую, с приметными волосатыми ноздрями, дал ему совет сперва решить, куда он хочет ехать, а уж потом трогаться в путь. Что ж, на сей раз он избавлен от сомнений. Он досконально изучил маршрут и ясно представляет себе конечную цель своего путешествия. Однако на месте сельской лавчонки теперь стоит элегантное агентство по торговле недвижимостью. Там, где прежде торчали насосы, в лунном свете выступает пятачок, покрытый новеньким черным асфальтом с контрастными желтыми полосами, подчиняясь которым под углом должны парковаться машины.

Приглядевшись, он видит, что и свет здесь не лунный — это адский огонь, которым всю ночь озарены тротуары перед офисами и магазинами. Хотя время близится к одиннадцати, гигантские фуры ревут, фыркают, стонут, все едут и едут через сонный каменный городок; витрина риелторской конторы вся в снимках предлагаемой для продажи недвижимости, а шоссе 23, первоначально обычный проселок, что тянулся по гребню, разделяющему сельские долины, черные, как коровий навоз в ночной темноте, подобно любой уважающей себя дороге, пестрит рекламными щитами. ПИЦЦА-ХАТ. БУРГЕР-КИНГ. Видеопрокат. МИНУТКА-МАРКЕТ «Индюшачья горка». Лоскутное царство. ШВЕДСКИЙ СТОЛ «Под кленом». Деревенские целебные травы. Сельские ножи — топоры — пилы. Агентство недвижимости заставляет его вспомнить о Дженис, и сердце у него на секунду ныряет вниз при мысли о том, как она сидит и дожидается его вместе с Нельсоном и Пру в доме Спрингеров и не находит себе места от беспокойства, вероятно, воображая, что он попал в аварию, а потом возвращается и открывает своим ключом брошенный дом, вся охваченная смятением и страхом, и, как всегда у нее бывает в такие минуты, часто и жарко дыша. Наверно, правильнее было бы оставить записку, как это сделала в свое время она сама. *Гарри, милый, мне нужно несколько дней побыть одной, чтобы все обдумать.* Но ведь она сказала, что никогда его не простит, *обоих вас застрелила бы*, она сама взвинтила ставки, ну и пусть томится в собственном соку, воображает себя умнее всех — как же, снова в школу ходит. И Нельсон такой же. Черта с два они заставят его участвовать в этом непотребстве, семейную психотерапию им подавай, а сеанс будет проводить не кто иной, как его собственный сын, чью дебелую рыжеволосую женку оприходовал его папаша. (Единственная стоящая вещь за минувший год, понимает, оглядываясь назад, Кролик.) Черта лысого он доставит сынку удовольствие лицезреть его, и сам не желает видеть его белое как мел от этой новой обрушившейся на него беды лицо. Он, Кролик, не желает, чтобы его разглядывали под микроскопом.

По радио начинается выпуск одиннадцатичасовых новостей. У Джима Бейкера, суд по делу которого происходит в Шарлотте, Северная Каролина (он обвиняется в мошенничестве по двадцати четырем пунктам в связи с деятельностью его скандальной телевизионной епархии, так называемого Клуба ТКЧ[[166]](#footnote-166)), сегодня в зале суда был нервный срыв, и теперь он помещен для проведения психиатрической экспертизы в специализированное отделение федеральной тюрьмы. Доктор Бэзил Джексон, психиатр, наблюдавший Бейкера на протяжении девяти последних месяцев, заявил, что еще недавно покорявший всех своим проповедническим даром евангелист в настоящее время страдает галлюцинациями: в среду, после того как во время дачи свидетельских показаний забился в истерике его бывший сотрудник Стив Нельсон, Бейкер, выходя из здания суда, вообразил, будто собравшаяся снаружи публика — это дикие звери, изготовившиеся кинуться на него и разодрать в клочья. Жена Бейкера, Тэмми, из своего роскошного особняка в Орландо, Флорида, сообщила, что ее муж, с которым она говорила по телефону, судя по голосу, переживает страшную душевную травму, и что она вместе с ним помолилась и они оба решили положиться на волю Божью. Находящаяся сейчас в Лос-Анджелесе Джессика Хан, бывшая его секретарша, из-за связи с которой еще в 1980 году и рухнула в конце концов его карьера, сказала репортерам буквально следующее (далее цитата): я не врач, но уж Джима-то Бейкера знаю как облупленного. Он кого хочешь вокруг пальца обведет. По-моему, все это спектакль от начала до конца, чтобы публика расчувствовалась, такая же дешевка, как с Тэмми, когда она вылезает на экран и начинает лить слезы и жаловаться, что все-то их, несчастных, обижают (конец цитаты). В Вашингтоне министерство энергетики сбилось с ног в поисках таинственно исчезнувшего весьма ощутимого количества трития, изотопа тяжелого водорода, необходимого для производства водородных бомб. Оттуда же, из Вашингтона, научно-популярный журнал «Сайенс» сообщает читателям, что сегодня в нью-йоркском Международном аэропорту Кеннеди установлен новый бомбоискатель, названный ТНА (термонейтронный анализатор) и настроенный на обнаружение пластиковой взрывчатки весом не менее двух с половиной фунтов, то есть заведомо неспособный среагировать на бомбу, содержащую только один фунт взрывчатого вещества «семтекс», понадобившегося, как полагают специалисты, для взрыва самолета компании «Пан-Ам», рейс 103, над шотландским местечком Локерби. В Торонто суперзвезда кинематографа Марлон Брандо известил журналистов о том, что завершил работу над последним в своей актерской карьере фильмом. «Фильм дрянь, — так охарактеризовал он картину под названием «Первокурсник». — Провал обеспечен, зато с кино для меня теперь покончено. Вы себе не представляете, какое это счастье!» В Бонне (Западная Германия) канцлер Гельмут Коль позвонил по телефону вновь назначенному премьер-министру Польши Тадеушу Мазовецкому с призывом укреплять добрососедские отношения между двумя странами. Завтра в это время, почти минута в минуту, если сделать поправку на часовые пояса, исполнится ровно пятьдесят лет с того дня, когда гитлеровская Германия напала на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну, которая, по современным оценкам, унесла пятьдесят миллионов жизней. Ничего себе, а?

Теперь о спорте: «Филлисы» проигрывают в Сан-Диего, «Пираты» из Питтсбурга пока прохлаждаются. Что касается погоды, то могло бы быть и получше, хотя бывает и хуже. *Меццо, меццо.* Нет, это не значит «месиво», хотя кое-где возможны ливни с грозами, просим ланкастерских сов и филинов обратить на это особое внимание. Ах да, чуть не забыл, Брандо назвал свой последний, прощальный фильм «кучей говна». А что? Запросто — чего и ждать от парня, который свою киношную карьеру начинал в драной майке!

Кролик улыбается внутри своей шепчущей, летящей вперед пещеры на колесах: весельчак ведущий, по-видимому, считает, что все равно никто не слушает, вот и резвится в свое удовольствие. Сидит один как перст в пустой радиостудии, кругом только бумажные стаканчики из-под кофе да перфорированные акустические плитки. Поди знай, где и как отзовется твой голос. Поди проверь, все ли слышит Бог, не задремал ли Он со скуки. Приборная панель «селики» светится чуть ниже линии его зрения, как огни незнакомого города под крылом бомбардировщика.

По скоростной он пересекает реку Саскуэханна и уже в Йорке выскакивает на 83-ю. Теперь Гарри мчится на юг, и станция отстает, затухает вместе с последними тактами «Просто жиголо» Луиса Примы, ах, какой потрясающий припев — хор снова и снова повторяет «просто жиголо», как бы добродушно подсмеиваясь над этим бесподобным, чуть хрипловатым голосом; так здорово, кожу на голове покалывает от наслаждения, вот до чего! Кролик некоторое время возится с кнопкой настройки, но отыскать другую станцию со старыми мелодиями не удается, в эфире одна болтовня, звонки в студию от каких-то пьянчужек, да и сам ведущий говорит, будто заложил за воротник, а рот у него работает в режиме автопилота: аборты, ядерные отходы, безработица среди чернокожей молодежи мужского пола, причастность ЦРУ к распространению СПИДа, уличенные в мошенничестве биржевые маклеры Милкен и Боэски, Буш и Норт, Норьега, вы не смеете мне указывать... Кролик выключает приемник, испытывая отвращение к звуку человеческого голоса. Паразиты.

Крикливые паразиты, вот мы кто, заполонили все на свете, даже эфир. То ли дело бормотание колес, зеленые дорожные знаки, сперва смутно проступающие в свете фар, параболически увеличивающиеся и затем в мгновение ока исчезающие из виду, как платок в руках у фокусника. Дело к полуночи, но прежде чем остановиться, ему хотелось бы покинуть пределы штата. Даже тогда, вечность тому назад, в своей халтурной попытке сбежать куда глаза глядят, он укатил в Западную Вирджинию. Чтобы выехать из Пенсильвании, нужно преодолеть подъем, какую-то безымянную высоту сразу за Хаверфордом. И знаки и фары встречаются реже. Одинокое шоссе карабкается вверх. Сверкает в лунном свете (на сей раз подлинном, не поддельном), пробивающемся сквозь прореху в облаках, озерная гладь. Спускаясь, он оказывается в штате Мэриленд. Тут все немножко иначе: ухоженные разделительные зеленые полосы посредине, парковки для тех, кто ездит в город на работу из пригородной зоны и желает воспользоваться системой «до города на машине — по городу на общественном транспорте». Цивилизация. Из грязи в князи. В глаза ему будто песку насыпали. Сердце отчаянно дрожит, не в силах уже более ничего в себя вобрать. Он съезжает с 83-й и заруливает в мотель сети «Бест вестерн», прилично севернее Балтимора, с удовлетворением отмечая про себя, что ни одна душа в мире, никто, кроме квадратного, ко всему равнодушного клерка-азиата за стойкой регистрации не ведает о его местонахождении. Куда подевался тритий?

Ему в мотелях нравится — вытянутый в длину сыроватый отсек заимствованного на время жилого пространства, две составленные вместе кровати, телевизор с приглашением за отдельную плату посмотреть фильм для взрослых, мохнатый ковер, какие-то крупные птицы на репродукциях в рамках, стерильные полотенца, беззвучие обезличенности, запертое в чулан эхо застарелого секса. Спится ему хорошо, как будто он выскользнул из своего тела со всеми его недомоганиями и оставил его лежать на той, второй пустой кровати. Во сне он снова на работе в магазине, с какой-то молодой женщиной, по-видимому, начальницей. На голове у нее белый больничный колпак и висячие сережки в ушах, но когда он придвигается к ней вплотную и пытается объяснить ей что-то про себя, про свою незаменимость для успешной деятельности всего предприятия, вопреки всем возможным наветам на него со стороны Дженис, она кривит рот и лицо ее у него на глазах расползается, словно некий зримый вопль, воспринимаемый не ушами, а почему-то глазами.

На завтрак он, поддавшись искушению, берет яичницу из двух яиц, хоть и знает, что яичный желток — злейший враг артерий, да к ней еще бекон в придачу. Кролика всегда радует этот глубоко американский по духу момент — когда загружаешься в свой автомобиль в окружении таких же, как ты сам, полусонных, неразговорчивых постояльцев мотеля, солидных пожилых пар, чокнутых семеек, которые сомнамбулами выплывают из столовой и расходятся по парковочной площадке, запятнанной длинными, молочными, утренними тенями. И снова на дороге, и снова радио. Новости те же, что и ночью, дополненные только итоговым бейсбольным счетом (филадельфийцы проиграли пять — один) и сообщениями из Азии, где сейчас уже почти вечер; японские неугомонные биржевые спекулянты, успокоенные китайские студенты, филиппинские проститутки с кукольными личиками, многострадальные вьетнамцы-победители, бурно развивающиеся и тем не менее охваченные недовольством корейцы, спотыкающиеся на обе ноги бирманские социалисты, враждующие камбоджийские группировки, включая отряды оголтелых «Красных кхмеров» под водительством самого кровавого после Гитлера и Сталина национального вождя, печально знаменитого Пол Пота. Ничего себе, а? За работу, птички певчие, пора вставать! Диджей, другой, не тот, что вещал поздно вечером, но тоже с приветом, сам с собой наедине в студии, крутит одну песенку в стиле рокабилли, которая всегда нравилась Кролику, про то, как полезно порой немного себя порадовать — «кого-нибудь немножко полюбить, самим собой побыть». Тут Гарри приходит в голову, что сегодня ночью он даже не порадовал себя, хотя номера в дорожных гостиницах обычно действуют на него возбуждающе. Стареешь, брат!

По мере приближения к Балтимору кондоминиумы множатся, заполняя холмы и долины, — пастельные, пряничные лесенки, внутри которых живут невидимые человечки. 83-я плавно, без стыков и швов вливается в 695-ю, и он сам вливается в поток направляющихся в город на работу жителей пригородных кондоминиумов, в костюмах и при галстуках, и, подчиняясь единому темпу, едет по Кольцевой, участвует в толкотне за место под солнцем, как будто он еще вправе на это претендовать. А потом он выезжает на 95-ю, по которой, не сворачивая, ему предстоит жать до самой Флориды. Вообще-то обогнуть Вашингтон можно двумя способами, они с Дженис оба испробовали, и занудно-многоопытные путешественники из числа их соседей по кондо, вроде Зильберштейнов, утверждают, что 495-я, огибающая город с севера и запада, на сколько-то там миль короче, но ему нравится поглядеть хотя бы на те немногие из памятников столицы, которые можно увидеть с дороги, когда объезжаешь город с востока по 95-й и пересекаешь Потомак по широкому мосту, ведущему в Александрию[[167]](#footnote-167): белое, как сливочное мороженое, замерзшее, далекое сердце великой старой республики.

После громадья мегаполиса Виргиния воспринимается как буколический безлюдный край. Поля здесь обширнее, чем в Пенсильвании, холмы мягче и больше открыты взору, с лугами и лошадками, в воздухе висит благородный туман, а то вдруг мелькнет на бледно-зеленом пригорке усадьба с колоннами, будто вышитая прилежной рукой засидевшейся в девках дочери местного рабовладельца. Легкий военный колорит тоже присутствует: тут полигон форт-белворского Училища сухопутных войск, там база квонтикского Учебного центра морской пехоты. Гарри думает о своей службе в армии, и ему вспоминается сквозь ностальгическую дымку подрагивающая призрачная шеренга безликих молодых людей, небывалая умиротворенность оттого, что не надо самому принимать какие бы то ни было решения, знай себе исполняй приказы. Война — это во многих отношениях избавление от жизненных тягот. Какой смысл в том, что ты американец, если нет холодной войны? А все-таки мы выстояли. Сорок лет сдерживать натиск воинствующего хама тоже не шутка. История этого не забудет. Теперь по радио на всех частотах либо кантри-музыка, либо проповеди, найти что-нибудь другое — большая удача. «Помолимся за тех, у кого не все гладко в семейной жизни», — призывает один из радиопроповедников, и его шероховатый, коричневый, как темная патока, голос рождается так глубоко в его нутре, что видишь его самого, будто наяву: закрытые глаза, капли пота на висках, — «помолимся за мужей-христиан, страдающих от нервного стресса, за женщин-христианок, у которых сердце болит за мужей; помолимся о всех заложниках, заключенных в тюрьмах, о страждущих в гетто, о всех больных СПИДом». Кролик переключает станцию и решает позвонить в Бруэр, когда остановится пообедать.

Сколько рек на пути! За Потомаком — Аккотинк, Поик, Оккокуан, Раппаханнок, Памунки, Ни, По, Матта, Саут-Анна. Мосты с этими названиями — всего лишь несколько секунд дороги. Неразличимые городки тоже имеют имена: Массапонакс, Ледисмит, Сидар-Форкс. Уже севернее Ричмонда постепенно густеющая россыпь хижин говорит о том, что здесь начинается настоящий Юг, сельский, черный Юг. На окраине Ричмонда Гарри заворачивает к «Ховарду Джонсону»[[168]](#footnote-168). В ушах звенит, нога болит — та, которая жмет на педали акселератора, шею не повернуть, а жара по сравнению с температурой на парковочной площадке возле мотеля сегодня утром усилилась на несколько градусов. В кондиционированном помещении ресторана все платные телефоны заняты бизнесменами с портфельчиками. Он объедается, уплетая до последнего брусочка всю жареную картошку соломкой, которую ему подали на гарнир к безвкусному гамбургеру, и с ней гору соли; напоследок он берет еще яблочный пирог — интересно, каков он в Виргинии. Выясняется, что более сладкий и вязкий, чем у них в Пенсильвании, и главное — корицей сверху не посыпан. Он расплачивается по счету, видит, что телефон свободен, и, имея наготове четвертачков на три доллара, набирает номер, но не серого дома из известняка на Франклин-драйв, а того, где он жил когда-то давно, дома Спрингеров в Маунт-Джадже.

Трубку снимает девочка. Тут же влезает телефонистка, и Кролик закидывает в автомат монет на три минуты разговора и говорит:

— Здорово, Джуди, это дедушка.

— Здравствуй, дедушка, — говорит она самым обычным голосом. Может, до нее еще просто не дошли никакие отголоски вчерашних ночных разоблачений. А может, маленькие дети настолько не понимают, что значит быть взрослым со всеми вытекающими отсюда последствиями, что и удивляться ничему не могут.

— Ну как жизнь? — спрашивает он.

— Нормально.

— Тебе ведь на следующей неделе уже в школу, хочешь в школу-то?

— Ну, так, можно. Лето уже надоело немножко.

— А Рой как? Ему тоже лето надоело?

— Он такой дурак, он даже сам не понимает, что ему надоело, а что нет. Его отвели спать после обеда, но он не спит, а катает мяч. Мама жутко злится. — Поскольку Гарри не находится, что ответить, она добавляет для поддержания беседы: — Папы нет дома, он в магазине, на «пятачке».

— Не страшно, мне все равно, я и с твоей мамой поговорю, с ней еще и лучше. Позовешь ее? Джуди! — тут же окликает он ее, повинуясь какому-то порыву, пока девочка не побежала звать маму.

— Что?

— Давай договоримся: учись как следует. Не бойся ты этих мальчишек, которые нос задирают. Ты очень славная, очень красивая девочка, нужно только немного подождать, и все к тебе само придет. Только не торопи время. Не спеши становиться взрослой. Все будет прекрасно, вот увидишь.

Он пытается вложить ей в голову больше, чем она способна воспринять. Ей ведь всего девять лет. Еще лет десять пройдет, прежде чем ей может прийти в голову фантазия рвануть на Запад и самой устраивать свою жизнь, как Мим.

— Знаю, — говорит Джуди не внушающим опасений за ее судьбу, скучающим голосом, и, вполне возможно, она и правда уже это знает. Потом стук трубки о деревянную поверхность, какие-то голоса на заднем плане, торопливые шаги, громче, громче, и вот наконец запыхавшаяся Пру.

— Гарри!..

— Приветик, Тереза. Как дела? — Откуда этот заигрывающий беспечный тон, совершенно неуместный, он и сам не знает, просто так у него почему-то вышло.

— Не ахти, — отвечает она. — Где вы?

— Далеко. Слушай. Что тебя дернуло за язык?

— Ох, Гарри, у меня не было выхода. — Она начинает плакать. — Я не могла допустить, чтобы Нельсон не узнал об этом, он ведь так старается быть правильным. И смех и грех. Он все кается, страшно сказать, в чем он мне теперь признается; язык не поворачивается рассказать вам хотя бы половину, ни вам и никому на свете, а на ночь мы с ним вместе молимся, встаем на колени у кровати и вслух читаем молитву, представляете, до чего он дошел, чтобы покончить с наркотиками и стать наконец порядочным отцом и мужем, просто стать *нормальным*.

— Вот, значит, как. Ну-ну. Все равно, нас-то зачем было приплетать? Всего один раз бес попутал, никаких продолжений. Я, честно говоря, считал, что ты уже и думать забыла.

— Как то есть забыла? Если вы так считаете, значит, по-вашему, я действительно законченная дрянь.

— Да нет, зачем же, но, как бы это сказать, у тебя и без того голова от забот пухнет, а для меня это было почти как сон. — Он думает, что его признание будет ей лестно.

Но голос Пру моментально суровеет.

— Для меня это было кое-что посущественнее. — Ох, женщины! В жизни не угадаешь, какая версия ближе их сердцу. — Я самым ужасным образом предала своего мужа, — торжественно заявляет она.

— М-да, — говорит Кролик, — но, насколько я понимаю, муж-то он был неважнецкий... Эй, а Джуди нас часом не слушает?

— Я говорю по верхнему телефону. Я велела ей повесить трубку внизу.

— Так она повесила или нет? Джуди! — кричит он. — Я тебя вижу!

Тихое постукивание, пощелкивание, и затем какая-то новая, очищенная от помех слышимость.

— Черт! — шипит Пру.

Кролик спешит подставить плечо:

— Я теперь уже не могу слово в слово воспроизвести то, что мы говорили, но сомневаюсь, чтобы она многое могла понять.

— Она понимает больше, чем вы думаете, только не показывает. Девочки все такие.

— Ну так как? — гнет он свое. — Были у него отношения с мужчинами — или только с женщинами? У Нельсона.

— Я не вправе отвечать на этот вопрос, — говорит она плоским, сухим, окончательно захлопнувшимся для него голосом.

В разговор вмешивается другой женский голос — намного более приветливый, любезный, с ленцой, и его скорее всего темнокожая обладательница предупреждает:

— Сэр, ваши три минуты истекли. Если вы хотите продолжить разговор, опустите, пжал-лста, еще один доллар десять центов.

— Да я, наверно, уже закончил, — говорит он обеим женщинам сразу.

Пру кричит, прорываясь сквозь их грозящую вот-вот прерваться связь:

— Гарри, где вы?

— В пути! — кричит он в ответ. На полочке перед ним лежит еще несколько монет, и он бросает в автомат четыре четвертачка и десятицентовик. Когда они все с гулким звоном проваливаются внутрь, он напевает в трубку песенку, которую только что слушал по радио. Визитная карточка Уилли Нельсона[[169]](#footnote-169): «Опять в дороге, опять в пути...»

Тут Пру начинает всхлипывать. Э-э, да с ней говорить не лучше, чем с Дженис.

— Не надо так! — сквозь слезы умоляет она. — Не надо дразнить нас, мы же ничего не можем, мы все тут как привязанные.

Жалость проникает в него вместе с воспоминаниями о ее прекрасной, как грушевый цвет, наготе той ночью, в узкой, душной комнате, когда за окнами усиливался дождь. Ей никуда не рыпнуться, вот что она имеет в виду, ей нужно думать о тех, кто пока еще жив.

— Я тоже привязан, — говорит он ей. — Я привязан к своему телу.

— Что передать Дженис?

— Передай, что я на пути в кондо. И что, как только она пожелает, может ко мне присоединиться. Просто вчера мне не понравилось, как вы все дружно на меня насели, не продохнуть. К старости я стал плохо реагировать на нехватку воздуха.

— Я не должна была, не должна, но просто тогда это...

— Это было то, что надо, — говорит он. — Тогда это было именно то, что надо. А скажи... как я тебе, ничего? Для старичка сгодится?

Она отвечает не сразу.

— То-то и оно. В этом весь ужас. Не воспринимаю я вас как старичка. Ни сейчас, ни раньше.

Вот и ладно, он таки добился чего хотел. Чтобы она заговорила с ним *таким* голосом — как женщина с мужчиной. Можно ли просить о большем? Теперь пусть идет с миром. И он говорит:

— Не изводи себя, Пру. Ты шикарная женщина. Скажи Нельсону, пусть сбавит обороты. Если он соскочил с крэка, это еще не повод уподобляться Билли Грэхему[[170]](#footnote-170). — Или Джиму Бейкеру. С этой мыслью Гарри вешает трубку и очень изумляется, когда телефон со звоном выплевывает ему назад десятицентовик и все четыре четвертака. Не иначе телефонистка с южным акцентом их подслушивала и прониклась к нему симпатией.

Покуда день катится к закату, а он сам к Фейетвиллу в Северной Каролине, где они с Дженис не раз за последние годы останавливались в гостиничке «Комфорт-инн», он по своему автомобильному радиоприемнику слышит поразительное известие. Передача, составленная из классических свинговых мелодий, прерывается экстренным сообщением: Бартлет Джаматти, председатель Национального комитета по бейсболу, бывший президент Йельского университета, скончался в результате сердечного приступа на острове Мартов Виноградник, Массачусетс. *Пит Роуз дает сдачи*, думает Кролик. Профессор Джаматти, пятидесяти одного года от роду, после ленча в своем загородном доме в Эдгартауне пошел отдохнуть, а в три часа жена и сын обнаружили его — сердце уже остановилось. *Всего пятьдесят один*, думает Кролик. Полицейские доставили Джаматти в местную больницу, где врачи в течение полутора часов пытались вернуть его к жизни; в реанимации бригаде экстренной помощи несколько раз удавалось вновь запустить электрический механизм сердечного ритма, но в конце концов смерть Джаматти была констатирована. Ничтожное подергивание на экране монитора — а без него мы не более чем груда гниющего мяса. Во Флориде нужно будет первым делом записаться на прием к доктору Моррису, чтобы не попасть в лапы к австралийцу с ястребиным носом, доктору Олмену. *Этот не успокоится, пока не располосует меня своим ножом.* Джаматти преподавал в Йеле английский, так сообщалось в экстренном выпуске, позднее стал самым молодым в истории университета президентом и за одиннадцать лет сумел решительно переломить наметившуюся в этом почтенном учебном заведении тенденцию к неуклонному погружению в болото бюрократизма и академической посредственности. Исполняя обязанности президента Бейсбольной лиги, он восстановил против себя некоторых игроков, осуждавших его за неоправданное экспериментирование с основополагающими правилами игры. Его недолгое пребывание на посту председателя Комитета по бейсболу ознаменовалось скандальным делом Роуза, решение по которому было принято неделю назад, что в значительной степени усилило позицию Джаматти. Это был во всех отношениях тяжелый человек; он много ел и много курил. *Я хотя бы не курю.* А теперь — мелодия, которую слушатели снова и снова просят повторить для них: «В настроении».

Одно время жизнь в Фейетвилле была развеселая — рядом Форт-Брэг, казармы, увольнения: Кролик припоминает отрывок какого-то репортажа на эту тему в «60 минутах». В центре городка, там, где раньше располагались целые кварталы киношек с порнорепертуаром вперемежку с гостиницами сомнительного толка, доведенные до отчаяния городские власти в конце концов порешили разбить парк, предварительно сровняв с землей рассадник разврата. Поужинав жареными креветками с кольцами лука и обжаренным с одной стороны белым хлебом (надо полагать, это одно из южных лакомств) в гостинице «Комфорт-инн», — ресторан тут по новой моде с салатным баром посредине размером с небольшую кофейню, и пока дожидаешься официантку, не раз подумаешь, что, может, лучше было не тратя лишнего времени налопаться салатов, — Гарри отважно направляет свою асфальтово-серую «селику», свой личный «бэтмобиль», прямо в сердцевину порочного города Фейетвилла. За более-менее злачное место может сойти, по его наблюдениям, только темноватая широкая улица — там и сям входную дверь подпирает темнокожий субъект, чего-то ждет, то ли когда его пошлют выполнять какое-то поручение, то ли когда закончится то, что происходит там, за дверью. Но никаких тебе шлюх в соблазнительных трусиках или обтягивающих трико для аэробики — только рыжебородый белокожий толстяк в костюме из черной кожи с заклепками без конца заводит мотоцикл, зажав в кулаке несчастную ручку и оглашая все вокруг диким шумом. Чернокожие и бровью не ведут. Ждут себе и ждут чего-то. Даже вечером, когда уже смеркается, воздух дышит жаром, и все движения их замедлены, как у больной рыбы, и кисти рук на характерный негритянский манер болтаются под углом к запястьям.

Возвратясь к себе в комнату, где из-под ковра тянет цементом и сыростью, а стены сплошь выкрашены в желтый цвет, все выступы, и трубы, и лопасти кондиционера, и электрические выключатели — все закатано валиком и залито из разбрызгивателя желтой краской, Кролик подумывает, не увеличить ли ему счет за пребывание на пять долларов пятьдесят центов и посмотреть нечто под названием «Похотливые кумушки», но вместо этого, зато совершенно бесплатно, смотрит урывками «Первые встречные» (его коробит, что по сюжету два парня живут вместе, пусть даже один из них русский и вообще чисто шутовской персонаж) и досрочную футбольную встречу — сезон еще не открыт — между «Морскими ястребами» из Сиэтла и «Золотоискателями» из Сан-Франциско. А с порнушками, которые крутят по кабельным гостиничным каналам, прямо беда: из опасений, как бы чей-нибудь шустрый четырехлетка, отпрыск родителей-юристов, не нажал случайно на нужную кнопочку, они теперь показывают сиськи и попки и даже растительность на лобке, но не самое сокровенное, ни у женщин, ни у мужчин, ни в приподнятом состоянии, ни в обмякшем, ни в каком. Ну, куда это годится? Как выясняется, без этого главного действующего лица и кино уже не кино. Мы хотим видеть его. Может, мы все малость того, с голубизной, и на самом деле он, Гарри, всю свою сознательную жизнь был влюблен в Ронни Гаррисона. Как подарок ему сегодня, когда у Пру снова сорвалось это «Черт!» и потом еще «не надо дразнить». Этот ровный, без модуляций, голос, каким женщина говорит с мужчиной, как если бы он держал ее в объятиях, голос, позволивший себе отпустить вожжи и обратиться к сути, к отношению его и ее детородных органов, голос, наставляющий Нельсону рога. Улегшись в постель, в темноте, он наконец самовозбуждается, воображая себя в компании двух кофейного цвета красоток из прежнего Фейетвилла — просто чтобы доказать себе самому, что он пока еще жив.

Утренние выпуски новостей по радио ничем новеньким не радуют. Снова на разные лады судят да рядят о смерти Джаматти. Бейсбол в трауре. В экономике намечается некоторый подъем. Артиллерийские обстрелы в Бейруте: огонь между христианами и мусульманами достиг небывалой силы. Помощник министра жилищного строительства и городского развития утверждает, что министерскую документацию кто-то изрядно пощипал[[171]](#footnote-171). Отрицательное решение, вынесенное Верховным судом США по вопросу о допустимости общей молитвы перед началом футбольных матчей, вызвало бурное негодование во всех южных штатах. В столице Алабамы, Монтгомери, мэр Эмори Фолмар самолично вышел с мегафоном на поле и призвал зрителей хором повторять за ним слова молитвы. Он пояснил собравшимся, что, по его убеждению, футбол и молитва неразрывно связаны в американской традиции. В местечке Силакога, также штат Алабама, присутствующие на матче местные священники поднялись со своих мест на трибуне и, поддержанные трехтысячной толпой, затянули «Отче наш». В Пенсаколе, штат Флорида, группа проповедников, вооружившись рупорами, также побудила зрителей к коллективному чтению молитв. *Фанатики*, сам себе говорит Кролик. Эти южане не лучше амишей. Жуть.

Отсюда и до самой Флориды магистраль 95 тянется словно долгий зеленый туннель: по обе стороны стена высоких сосен. В просветах мелькают какие-то домишки. Рекламный щиток предлагает купить *Ореховые рулетики: три на доллар*. Щиты побольше, раскрашенные в латиноамериканские цвета — оранжевый и желтый на черном фоне, лаймово-зеленый, все броские, кричащие, — уже тянутся миля за милей, и все чаще среди них встречается реклама чего-то под названием «К югу от границы»[[172]](#footnote-172). *Осталось совсем немного. Вы такого не видали, вы такого не едали!* Когда же вы наконец туда попадаете, вынырнув из многомильного соснового туннеля, то оказывается, что весь сыр-бор из-за убогого увеселительного парка сразу за условной линией границы, отделяющей Северную Каролину от Южной: кругом понатыканы сувенирные лавки, посередине торчит отдаленное подобие Сиэтловой иглы[[173]](#footnote-173), увенчанной сомбреро. Со всех сторон тебе навязывают хваленые мексиканские тако[[174]](#footnote-174), и общее впечатление *тако себе*.

Южная Каролина — необузданный штат. Недаром она первая взбрыкнула и откололась[[175]](#footnote-175). Чем дальше, тем сосны становятся выше, и в этом чудится предвестие беды. Всюду видишь пиротехнические забавы: покупай и запускай сколько влезет. Лесовозы, груженные могучими стволами, погромыхивая, резво катятся вниз по склону и еле-еле, почти останавливаясь, вползают наверх. Кролик нервозно поеживается, вспоминая о своих «северных», пенсильванских номерных знаках. Чуть дернешься случайно из своего ряда, и поминай как звали — скинут прямо в реку Пи-Ди. Или реку Линчес. Или Покатолиго. Здесь, на этой трассе, несчастных животных сшибают с такой силой, что они не просто расплющиваются, а словно лопаются от удара, и по раскуроченным ошметкам невозможно определить, кто был кто. Опоссумы. Дикобразы. Любимая кошечка какой-нибудь милейшей дряхлеющей дамы, настоящей южанки и леди. Клочья меха в куче серповидных огрызков лопнувших шин от трейлеров. А тот, бедняга, прилег отдохнуть после ленча — и все!..

Дженис, должно быть, уже получила от Пру его сообщение, не исключено даже, что она поджидает его в кондо — если поспешила сесть в самолет из Филадельфии, а в аэропорту взяла напрокат машину, — поэтому наслаждайся-ка, брат, свободой, пока ее у тебя не отняли. Он натыкается на негритянскую радиостанцию — вещицы в стиле госпел[[176]](#footnote-176), и эластичный упитанный голос выкрикивает: «Он придет, но будете поносить Его». Фраза повторяется снова и снова, с самыми неожиданными ритмическими вариациями. «Отнимите камень!» — так сказал Иисус. Наконец все это прерывается рекламой — чего бы вы думали? — «Тойоты»! Наш пострел везде поспел, вот япошки дают, и сюда влезли, умеют работать, до чего ж настырные ребята! Рабам под носом у рабовладельцев свои машины всучивают. Сориентировались в тонкостях нашего *прураристического общества*. У Гарри от долгой неподвижности болит шея. Он уже начинает пресыщаться и радио, и самой ездой. Любезная Богу страна. Мог бы сделать ее и поменьше, никто бы от этого не пострадал.

*Он придет.* Забавная штука получается, если посмотреть на отношение Гарри к религии. Когда от Бога все поголовно отвернулись, в шестидесятые, он, Гарри, чувствовал, что не может Его предать, зато теперь, когда проповедники орут молитвы в рупоры, он не может заставить себя возжелать Его. Он как старый друг, которого так долго знаешь, что уже и сам забыл, что тебе в Нем так нравилось. Казалось бы, после инфаркта и пережитого страха должно было появиться ощущение близости, но, странное дело, чем ближе к чему-то подходишь, тем меньше об этом думаешь, как будто ты уже в Его руках. Как будто ты сам на площадке, в игре, а не сидишь, мандражируя и вспоминая все, чему тебя учили, на скамейке запасных.

В эфир выходит Перри Комо с песней «Потому что». На последней фразе у Кролика под волосами разбегаются мурашки, больно щиплет кожу возле глаз. *Потому что ты — мояяяя!* Пожалуй, Комо лучший из всех: у Кросби в манере проскальзывала ирландская плутоватость, его вечно тянуло валять дурака, то Ламур была у него в подручных, то Хоуп[[177]](#footnote-177), ну, а что касается Синатры... если и существовал в мире предмет, по поводу которого мнения Кролика Энгстрома и всего остального человечества диаметрально расходились, то это отношение к Синатре. Не нравится ему, как тот поет, хоть убей не нравится. И никогда не нравилось — ни тогда, когда шестнадцатилетние девчонки из трусов выпрыгивали от экстаза, прямо заходились, глядя на худосочного паренька со впалыми щеками на сцене театра «Парамаунт», ни позже, когда он пообтесался-пообкатался и превратился в лас-вегасского жирного кота и только успевал намурлыкивать бесчисленные «лунные» альбомы, под которые, как принято думать, народонаселение великой страны предается любви — море разливанное любви. Седой от пены океан. А Кролику всегда казалось, что голос у него плоский, он его из глотки, как из тюбика, выдавливает. Зато, например, для Мим Синатра — бог, но тут дело не только и не столько в пении, сколько в стиле жизни, когда перепутаны день и ночь, а в друзьях-приятелях ходят гангстеры и президенты, и даже манерка приподнимать по-гангстерски плечи, чтобы они казались квадратными (Чарли Ставрос тоже так ходит), и прозвище «г-н Председатель», и Сэмми Дэвис-младший и Дин Мартин[[178]](#footnote-178) — когда оба еще не завязали со спиртным, если они таки завязали, во всяком случае, здоровьишко у того и другого было ни к черту, это он сам где-то читал, а-а, ясно где: в одном из глупейших скандальных листков, которые Дженис притаскивает домой из «Минутки». Временами Гарри завидует той блестящей, полной опасностей жизни, какой, по его представлению, живет Мим, и радуется за нее, в характере у нее всегда было это — ей подавай скорость, любой ценой, пусть даже она разобьется, пусть ее скинет с велосипедной рамы, но ведь и на полную катушку жить — рано или поздно попадешь в наезженную колею, и он не жалеет о том, как прожил свою жизнь, хотя, конечно, Бруэр городишко скучноватый, это вам не «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и не «Чикаго, город мой, другого мне не надо», как своим придавленным голосом заверяет нас Синатра. Оглядываясь назад, он понимает то, чего в свое время не понимал: что больше всего на свете ему нравилось топтаться целыми днями в демонстрационном зале перед огромным запыленным стеклом витрины с рекламными транспарантами, покачиваясь на пятках, чтобы дать мышцам ног какую-то нагрузку, поджидая очередного клиента, перебрасываясь от нечего делать парой фраз с Чарли или с кем другим, отрабатывая свое жалованье, заполняя отведенное ему место в общей большой картине, внося свой посильный вклад и получая взамен, пусть скромное, признание. Мы ведь только этого и ждем друг от друга — признания. Занять отведенное тебе место в общей мышиной возне. Вот и в армии тоже у каждого было свое место: твой личный номер, твоя койка, твои уставные обязанности, место в строю, пропуск на увольнение в субботу вечером, четыре пива и девка на ранчо. *Милый, ты ведь только за один раз заплатил.* Быть человеком вовсе не значит всегда поступать по-своему. Вернее, как открылось Кролику только теперь, на склоне жизни, по-своему ты вообще никогда не поступаешь, всегда по указке других: сперва матери да бедного папки, потом лютеранского пастора, крутого нравом старого немца Фрица Круппенбаха, который, впрочем, умел внушить к себе уважение, его слово не расходилось с его верой, ну, а потом школьных учителей; тренер Марти Тотеро и разные другие общими усилиями стремились задать тебе некий ракурс для последующей самостоятельной работы, и, наконец, уже на нынешнем этапе, эту роль взяли на себя многочисленные ведущие ток-шоу. Твоя жизнь есть продолжение других жизней и сама должна иметь продолжение. Но возможно, если твоя собственная мать в свое время жила на полную катушку, как, например, мать Эннабел, у тебя волей-неволей вырабатывается настороженное отношение к противоположному полу.

В стене сосен теперь все чаще возникают разрывы. Заболоченные прогалины открывают доступ небу, появляются хижины на сваях, деревья с мохнатыми шишечками, развешенное на веревках разноцветное белье. Безыскусные, от руки написанные объявления: *«У папы». Настоящая южная кухня.* ДЕШЕВО-СЕРДИТО. Длиннющий мост через озеро Марион — огромный резервуар воды посреди неизвестно чего. От федеральной магистрали ответвляются дороги, ведущие в столицу, Колумбию, где он так ни разу и не был, зато они с Дженис однажды сделали крюк и заглянули в Чарлстон, а после снова вернулись на шоссе 17. В другой раз они проехали через Саванну и ночевали в переоборудованном плантаторском доме с высокими сводчатыми потолками и с жалюзи из вертикальных полос на окнах. Они иногда неплохо проводили время, он и Дженис. Хотя по большому счету на месте любой жены (да и мужа, вероятно, тоже) мог бы с успехом оказаться почти кто угодно из числа довольно большой категории граждан. И несмотря на это, считается, что ты обязан обожать свою половину, пока смерть не разлучит вас. До скончания веков. Речка Ашепу. Что-то знакомое, кажется, из старых комиксов, только очень старых.

Он съезжает с шоссе в месте парковки и отдыха — оазис цивилизации в этой дикой глуши: бензоколонка, ресторан, магазин, где можно купить кое-что из продуктов, пиво, пиротехнику, лосьон для загара. За стойкой управляются два черных молодца, глянцево-черных; руки у обоих голые до плеч, поблескивают на жаре, у одного чахлая козлиная бородка а-ля Малколм Икс[[179]](#footnote-179). Здесь на Юге их начинаешь побаиваться, цвет их кожи заявляет о себе во весь голос, здесь они *раса*, они тут повсюду. Однако немолодая белая подавальщица общается с черными парнями без малейшей натяжки. Все трое непринужденно, с улыбкой переговариваются, у всех одинаковый тягучий акцент с придыханиями, будто легкий бриз гуляет от одного рта к другому. Отрадная картина. Вот во имя чего велась Гражданская война.

Желая убедиться, не разучился ли он ненароком говорить, Кролик спрашивает белого толстяка, который сидит за стойкой через один пустой табурет от него и который уже наведался к прилавку с салатами и навалил себе на тарелку целую гору зеленых листьев, и свеклы, и шинкованной капусты, и брынзы, и бобов, и горошка:

— Сколько отсюда часов езды до Флориды примерно, не знаете? — В надежде сойти за местного, он как может растягивает свой пенсильванский выговор.

— Четыре, — отвечает толстяк с улыбкой. — Я сам только оттуда. А во Флориде вы куда?

— Прямо в противоположный конец. В Делеон. У нас там кондо, я поехал вперед, а жена позже подтянется.

Его собеседник все чему-то улыбается, жует и улыбается.

— Это место я знаю. Старый добрый Делеон. Приятный город.

Кролик до сих пор не замечал там особых примет старины.

— Раньше у нас с балкона виден был залив, по потом вокруг всего понастроили, и плакал наш вид на море.

— Вдоль залива сейчас большое строительство, со стороны Атлантики уже давно все забито. На рассвете я еще был в Сарасоте.

— Правда? Расстояние нешуточное!

— Так я ж из-за этого и уплетаю за обе щеки. С пяти утра ничего, кроме шоколадного батончика, во рту не держал. Вроде дело нехитрое, едешь себе и едешь, но рано или поздно приходится остановиться — начинает мерещиться всякое.

— Что, например?

— Да вот ехал сейчас по низинке, такой по земле туман стелется, не поймешь не разберешь, на голову шибко действует. Как крепкий кофе на пустой желудок. — У него действительно на редкость располагающая манера улыбаться, и жевать, и говорить, и делать все это одновременно. Рот у него широкий, но какой-то безгубый, как у кукол из «Маппет-шоу». Непременную для водителя грузовика кепочку с козырьком и сеткой сзади он пристроил рядом с тарелкой; на красивых, в меру волнистых седых волосах, которым позавидовал бы любой богатей, заметен навеки вдавленный след от кепки.

— Вы на таком здоровенном грузовике работаете? Я всегда удивлялся, как вы, ребята, с ними справляетесь? Далеко едете?

— В Бостон.

— В Бостон? Далековато. — Кролик сам никогда не был в Бостоне, и для него это где-то на краю света, под брюхом у штата Мэн. Люди, обитающие на таком далеком севере, воспринимаются им как существа полуреальные, вроде эскимосов. С ним в армии служил один парень, Джезило, кажется, так тот вечно хвастался, какая у них в Бостоне потрясающая китайская кухня.

— Сегодня, завтра — как тебе больше нравится — короче, я должен доставить этот драндулет в Бостон до вечера в воскресенье, ровно через двадцать четыре часа, считая с этой минуты.

— А когда же вы спите?

— Ну, это пустяки, съедешь на обочину, урвешь часок тут, часок там, и ладно.

— Надо же!

— Да я уж без малого пятнадцать годков баранку кручу. Тут как-то решил — все, хватит, пора и на покой, так нет же, посидел-посидел и снова вернулся! Невмоготу дома. Хоть бы по телевизору что путное показывали, и того нет. А вы? Про себя что скажете?

— Я-то? — В настоящий момент у меня барахлит левая передняя нисходящая. Наконец до него доходит, о чем его спрашивают, и он отвечает: — Да вроде как на пенсии.

— Тогда желаю вам побольше сил, приятель. Лично я не выдержал, — говорит водитель грузовика. — Чуть умом не тронулся с этой пенсией. — Пожилая подавальщица, та, что на короткой ноге с двумя чернокожими, приносит изголодавшемуся шоферу овальное блюдо с доброй порцией жареного бифштекса, утопающего в розоватой луже из масла с кровью, и еще три круглых плошки с разными овощами, и на отдельной тарелке — золотисто-коричневый кукурузный хлебец.

Гарри неохотно — только подружился и уже пора прощаться — встает из-за стойки.

— Ну что ж, вам тоже побольше силенок — вам они нужнее, чем мне, — говорит он.

В ответ этот толстый белый чудо-человек, который, подобно Супермену, готов домчаться в Бостон быстрее самой быстрой пули и, который, подобно Томасу Эдисону, довольствуется лишь эпизодическим коротким сном, набив широкий, как у куклы-«маппет» рот, только улыбается и кивает, и змеистая струйка сока от бифштекса стекает по дальней от Гарри стороне его маленького, гладенького, будто яичко, подбородка. Человек — создание несовершенное. Возьмите хоть Джима Бейкера. Возьмите Барта Джаматти.

Сидя за рулем своей «селики», Гарри пересекает реку Таглифинни. Потом Салкехачи. Литл-Комбахи. Кусавати. Тертл. Кикапу, вспоминает он — не Ашепу, а Кикапу. Веселящий напиток «Кикапу джой-джус» в комиксах про малыша Абнера. В паузе между шквалами негритянской музыки с ее новомодным специфическим звучанием — полное впечатление, что кто-то шваркает досками по полу, поистине находка — он слышит рекламу фабрики музыкальных инструментов «Апчерч» («вот инструмент, который будет радовать еще не одно поколение») и какого-то дезодоранта под названием «Крошка-кошка». Придет же в голову так назвать дезодорант! Что за идея? Он проезжает по мосту над Саванной, и Южная Каролина со всей ее пиротехникой остается наконец позади. От нескончаемых миль пути он чувствует себя так, будто его обухом по голове ударили, поэтому на отвилке в город он съезжает с трассы и, доехав до центра, паркует машину возле импозантного старинного здания суда и в маленькой бутербродной на главной улице покупает себе горячий сандвич с перченым копченым мясом-пастрами. Он усаживается с ним на скамейку и ест, стараясь не капнуть на брюки, как тот водитель грузовика с дырявым ртом в забегаловке, где Гарри останавливался перекусить несколько часов назад. Этот уголок Саванны, всего в квартале от реки, напоминает декорации — будто комнаты под открытым небом, разделенные рядами примыкающих друг к другу домов с высокими крылечками и завесами тусклых деревьев. День еще не избавился от зноя, хотя тени уже удлиняются, уплотняются на мягких очертаниях старых фасадов, каких-то более печальных и розовых, чем привычные ему бруэрские. Вокруг скамейки, где он сидит, незаметно собирается стайка голубей в надежде, что он, возможно, захочет поделиться с ними булочкой или картофельными чипсами, ароматизированными соусом «Бар бе кью». Молодой нищий с длинными, желтыми, как у Джорджа Кастера[[180]](#footnote-180), волосами и густым загаром, какой бывает только от бездомной жизни, посылает ему безумный, сверкающий взгляд со скамейки за деревом, то есть как бы из соседней «комнаты». Высокий обелиск воздвигнут тут в память о каком-то, вне всякого сомнения, славном событии. Безымянные буренькие пичуги с гомоном вьются над деревьями, то скроются в кроне, то снова выпорхнут — никак не могут, видно, решить, настал уже вечер или нет. Пора, пожалуй, ему двигать. Он аккуратно складывает все обертки и пакет из-под молока в мешок, где лежал сандвич, и опускает его в урну — вот его дар городу Саванне, вот тот след, что он здесь оставит, совсем как сальное пятнышко от пальцев рук на краю комода там, позади, дома. Голуби возмущенно квохчут и, очень недовольные, шумно снимаются с места. Тем временем бродяжка неслышно приблизился к нему со спины и каким-то обезличенным, без географической принадлежности, спотыкающимся голосом наркомана спрашивает, не угостит ли его господин сигаретой.

— Мимо, — разводит руками Кролик. — Тридцать лет как бросил. — Он вдруг вспоминает, как это было, — как, повинуясь внезапному порыву, он зашвырнул полпачки «Филипа Морриса» (они тогда продавались в симпатичных табачного цвета пачках) прямо в чей-то незакрытый мусорный бачок в маунт-джаджском переулке. Тоже след оставил.

Кролик с колотящимся сердцем идет к машине, попрошайка плетется следом, бормоча что-то насчет «монеток». Гарри нервно вставляет ключ, забирается внутрь и хлопает дверцей. Слава Богу, «селика» не слишком перегрелась, даже после всех пройденных миль, и сразу послушно заводится; Джордж Кастер, оставшись снаружи, растерянно моргает и отворачивается, как будто он тут ни при чем. Гарри осторожненько проезжает сквозь ряд «комнат» под открытым небом, вокруг высокого обелиска и уже на выезде из Саванны сбивается с пути. Он совершенно теряется в бесконечных негритянских окраинах, в этом нагромождении деликатно разваливающихся домов, которые не нюхали краски со времен Мартина Лютера Кинга[[181]](#footnote-181). У газетчиков теперь что ни убийство, то политический заговор, но в случае с Кингом Гарри был склонен поверить слухам. Верить-то он верит, только вспомнить бы еще имя убийцы, того, кого упекли в тюрьму. Тройное имя. Сбежал, его снова поймали. Джеймс Эрл... а вот дальше забыл. Ладно, урок истории окончен. Уже не на шутку перепуганный, что ему отсюда вовек не выбраться, он притормаживает у какой-то продуктовой лавчонки старого образца, с обшарканным дощатым полом, в котором блестят шляпки гвоздей, — в его ребячью пору точно такие лавочки были у них в Маунт-Джадже, с той, правда, разницей, что здесь кругом все черные; долговязый негр цвета высохшего бобового стручка, для которого его появление и расспросы что-то вроде бесплатного развлечения, объясняет ему, как вернуться на автостраду, и кисти его рук, когда он жестикулирует, мотаются на запястьях, словно пришитые на живую нитку.

Благополучно вернув себя на 95-ю, Кролик катит по Джорджии. Не успевает стемнеть, как начинается дождь, а глаза у него теперь уже не те, что раньше, огни на дороге в темноте различают плохо, а тут еще и дождь. Он даже выключает радио — слишком обильный град событий и впечатлений на него обрушился. Тело, оттого что он столько времени сидит в одной позе, с непривычки гудит, будто его долго и нудно дубасили мешками с песком. Надо причаливать, сделать передышку, а то и до беды недолго. За Брансуиком ему попадается наконец подходящая гостиница, «Рамада». Он берет на ужин жареную зубатку, которая не слишком удачно ложится на сандвич с пастрами, и уж совсем худо идет десерт, кусочки засахаренного батата и ореховый, точнее, пекановый, пирог; но, с другой стороны, побывать в Джорджии и не отведать пеканового пирога?.. Проходя мимо гостиничных дверей на пути к своему номеру по цементной дорожке, над которой сплошным навесом тянется ряд балконов, он тихо радуется. На улице дождь, а тут сухо, хорошо. С умом сделано. Им всем тут меня не достать. Но едва ощутив свое укромное счастье, он спотыкается мыслями о несчастных, открытых всем ветрам родных и близких, покинутых им в далеком округе Дайамонд. Чувство вины засело у него в сердце, как соринка в глазу, еще не полностью утратившем чувствительность.

Где-то на середине очередной серии «Золотого возраста» ему вдруг становится противно и скучно глядеть на игривые потуги немолодых людей, и старуха бабка, которая за словом в карман не лезет, тоже ему надоела, и вообще — надо понимать, когда пора ставить точку. Лучше уж смотреть по образовательному каналу передачу из цикла «Живая планета» про жизнь в экстремальных условиях на полюсе. Раньше он ее уже видел, но все равно, поразительное зрелище: как Дэвид Эттенборо на наших глазах переворачивает валуны в самой что ни на есть мертвой пустыне, в Антарктике, и там под ними оказываются лишайники, или как на протяжении всей жуткой, черной, без лучика солнца зимы пингвины-самцы ковыляют вразвалочку на своих перепончатых лапах сквозь нескончаемую вьюгу, держа яйцо в складке кожи под брюхом. Жизнь... нет, это что-то невероятное, она везде, скоро все заполонит, и, глядишь, в конце концов от мира ничего не останется. Десятичасовой выпуск новостей на том же канале сообщает все то, что он уже много раз слышал в течение дня по радио. Смерть бедняги Джаматти. Рождение медвежонка-панды, самочки, в вашингтонском зоопарке. По признанию бывшего личного врача президента Рейгана бригадного генерала Джона Хаттона, только смерть звезды Голливуда Рока Хадсона в 1985 году раскрыла Рейгану глаза на опасность распространения СПИДа: до этого президент был уверен, что это заболевание не страшнее кори. А вот еще один «болтун — находка для шпиона»: офицер флота Дэвид Уинсон в своей заметке, опубликованной в журнале «Сообщения Института ВМФ США», утверждает, будто бы корабль ВМС США «Винсенс», несший службу в Персидском заливе, был давно взят на заметку моряками других военных кораблей, осуждавших его неоправданно агрессивные и безответственные действия по меньшей мере за месяц до того, как выстрелом из бортового орудия «Винсенса» был сбит иранский гражданский авиалайнер с пассажирами на борту — свыше двухсот семидесяти человек, в том числе женщины и дети. Ох, бедняги! Иранцы, не иранцы, какая разница! Детишки, замотанные в платки женщины, все попадали в черную жесткую воду. В Вашингтоне новый японский премьер с визитом, в Панаме временное правительство, в Венгрии толпы немцев из Восточной Германии ждут не дождутся, когда их пустят в свободный мир. Вот бедняги! Где им знать, что свободный мир на последнем издыхании, скоро ничего от него не останется.

Кролик укладывается спать, как есть, не сменив нижнего белья, и старается сосредоточиться на том, где он и кто он. Это последняя ночь его пребывания в нигде. Уже завтра жизнь снова его настигнет. В телефоне Дженис, за стеной Голды. Он не чувствует в себе той легкости, какой ожидал, пускаясь в бега из Бруэра. Ты все тот же ты. Штаты все те же Штаты, намертво сцепленные кредитными карточками и индейскими географическими названиями. Тело Гарри наливается тяжестью на гостиничной сдвоенной кровати. Затерянный в паутине тонких линий на карте дорог, он засыпает и спит, словно в материнской утробе — это ведь тоже временный рай.

Утро. От вчерашнего дождя одни воспоминания в виде лужиц на распластавшемся под ударами беспощадных солнечных лучей асфальте. Воскресенье. Он решает напоследок побаловать себя «французскими» гренками и сосисочками, а уж с завтрашнего утра снова сесть на овсяные отруби. У Дженис нет привычки вычищать кухонные шкафы перед отъездом. В каком-то смысле это даже удобно, если вы ничего не имеете против муравьев и тараканов. Он все принюхивается и приглядывается к яичной корочке на гренке и кленовому сиропу — и то и другое не внушает ему доверия. Какие гренки готовила ему мама на завтрак перед воскресной школой, таких уж теперь нигде не поешь: плоские, с золотистой корочкой треугольники хлеба, сироп не какой-нибудь, а «От тетушки Джемаймы» из банки, которая по форме и раскраске была словно бревенчатая хижина с трубой-носиком. Убирая чемодан в багажник, он в который раз поражается, до чего странное впечатление производят габаритные фонари «селики»: если смотреть сзади, кажется, что у машины раскосые «глаза».

Меньше чем через час он переезжает реку Сент-Мэрис. Дорожный щит приглашает его ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ФЛОРИДУ, и в эфир проникает реклама медицинских страховых полисов «Голубого креста», таких и сяких клеющих кремов для зубных протезов, пульмонологических и прочих клиник. Обочины делаются песчаными, поток машин на дороге густеет, приобретает нарядный лоск. Внезапно впереди проступает Джексонвилл, волшебная страна Оз с голубовато-зелеными небоскребами, город-мечта в конце соснового туннеля; поблескивающие стеклянные кубы теснятся, словно уступы, вокруг главной вершины — баптистской больницы. Вы едете по высокой дуге моста через реку Сент-Джонс, и Джексонвилл сверкает то под таким углом, то под эдаким, будто брильянт, который, любуясь, вертишь в руке, а ваше дело платить сколько положено за проезд и смотреть в оба, чтобы не укатить случайно по автостраде в Грин-Коув-Спрингс или Таллахасси. Федеральная 95-я здесь всего-навсего одна из множества скоростных магистралей. Легковые машины тут широкие и толстые, а грузовые везут не штабели окоренных сосновых бревен, а рулоны свежего дерна. Кругом, обступая его, как диковинные сухопутные крейсеры, важно плывут белые фургоны и трейлеры всех видов и мастей, «Виннебаго» и «Звездоходы», «Следопыты» и «Дельфины», семейные дома на колесах: глава семейства за штурвалом, окно открыто, локоть в окне, хозяйка в доме у него за спиной — постель застилает. Из всех сорока восьми штатов тянутся во Флориду эти караваны, встречаются даже номера с символами Колорадо (зеленая гора) и Мэна (жестикулирующий красными клешнями омар). С удивлением замечает он кое у кого и новый смазанно-трехцветный флоридский значок, не иначе как в память о гибели «Челленджера»[[182]](#footnote-182), среди все еще преобладающих старых, в виде зеленой, с очертаниями Флориды, кляксы в центре номерной пластины — как грязный шлепок на галстуке. Да, с «Челленджером» осрамились, самое позорное событие восьмидесятых: это ж надо, запустить в космос женщин, несчастную школьную учительницу из Нью-Хэмпшира и еще одну, молоденькую евреечку с пушистыми волосами, не говоря о мужчинах — кроме белых, там был один черный и один желтый, ну просто расовый срез Америки в лучших голливудских традициях, — и все для чего? Чтобы уже через минуту они разлетелись на кусочки и мы увидели это в своих телевизорах! А теперь исследователи доисследовались до предположения, что, возможно, их смерть не была мгновенной и минуты две или три они летели вниз, навстречу воде, в полном сознании. Гарри спускается все ниже, южнее, все глубже внедряется во Флориду, с радостью возвращаясь к пальмам, и к белым крышам, и к ощущению тропической истонченности; вот и облака здесь голубые — на сером — на белом — на голубом, словно великий небесный живописец предпочитает работать здесь материалами легкими, светлыми.

По 95-й вы двигаетесь параллельно восточному берегу вплоть до 4-й, а там уходите по диагонали на юго-запад, прямиком через Диснейуорлд, куда так мечтала попасть бедненькая его Джуди, в следующий их приезд надо во что бы то ни стало свозить ее туда. Если слушать, что говорят мнящие себя бывалыми путешественниками всезнайки (к каковым он всегда причислял Эда Зильберштейна, еще до того, как его сынок попробовал подкатиться к Пру), так надо пилить и пилить по 4-й и сворачивать только на 75-ю, немного удлиняя путь, зато якобы выигрывая если не по спидометру, так по секундомеру, или на худой конец жать по 17-й на Порт-Шарлотт, но лично он все равно любит ездить строго на юг по 27-й, через дышащее жаром плоское брюхо штата, через Хейнс-Сити и Лейк-Уэльс, в пустынные земли к западу от семинольской резервации и озера Окичоби, и уж оттуда по шоссе 80 прямиком в Делеон.

Что во Флориде проще простого, так это настроить автомобильный приемник на одну из станций, передающих старые мелодии. Их тут пруд пруди. Какова публика, таковы и мелодии. В этих песнях вся ваша жизнь, как любят говорить некоторые ведущие, и вот оно, пошло-поехало, Пэтти Пейдж сперва просит-умоляет не отпускать ее, потом задиристо поет что-то с латиноамериканским окрасом и припевом «ай-яй-яй» и ей хором подвывают кабальерос и напоследок — «Всю жизнь ждала тебя и только для тебя хранила я любовь»; ее сменяет Тони Беннет, или еще кто-то в том же роде из уныло мычащих итальянцев, с песней про то, как много у него скопилось любви; а за ним Гоги Грант — «Вольный ветер»: он уже напрочь о ней забыл, о Гоги Грант, и это та редкая песня, которая не включает у него в мозгу ни единой клеточки памяти. Между тем пейзаж за окном, за пределами монотонного шипения кондиционера, становится все больше под стать развеселым ритмам салунной музычки хонки-тонк: *Активный отдых только для взрослых!*  — и вот одна, другая, третья машина обгоняет его и у каждой к заднему стеклу на лапках-присосках прикреплен оранжевый кот Гарфилд. «Зачем с другими ходишь ты, ну кто же знает...» — поет «Своенравную розу» Нат «Кинг» Коул, под конец, словно перышком проводя по щеке: «И почему меня к тебе так тянет? Никто не знает». Ты так и видишь его понимающую медленную улыбку. Потом «Тцена, тцена» — эту песню Гарри тоже не слышал уже целую вечность, нынче национально-окрашенная музыка не в моде, и еще песенка про папу, национальная уже не по музыке, а по содержанию. А дальше Кей Старр из кожи вон лезет со своим «Колесом удачи», икает, голос форсирует: «Прррра-шуу — сейчасссс!» А вот это другое дело, детская считалочка в джазовом переложении Эллы Фицджеральд «Билетики, ответики», с ней у него связаны кое-какие воспоминания, под нее он шагал в начальную школу в паре с Лотти Бингамен и тайно вздыхал по Маргарет Шелкопф; ага, Пресли запел, «Люби меня нежно»... нет, режьте его на куски — пока Пресли не разжирел и не опустился и не добил себя под конец наркотиками, голос у него был каких мало, настоящий, красивый голос, с полузадушенным Синатрой не сравнить; Рэй Чарльз включился, тоже голос так голос: «Не перестать любить тебя, мечтать о прошлых дняаах», да-да, медленно тает звук, и это характерное для незрячих покачивание головой; и следом Конни Фрэнсис с песней из фильма с ее участием «Куда подевались ребята», тоже, между прочим, голос такой, что мурашки по спине бегут... Ладно, но все же, чья, интересно, жизнь в этих песнях? То была романтическая «пляжная» эпоха — пора надежд, задор, рок-н-ролл, девочки, машины, словом, вечный праздник, — ну а он уже вовсю занимался другими делами: женился, разбегался, воссоединялся, вкалывал в типографии, какие ему там были девочки, какой рок-н-ролл! Вот Ронни Гаррисон и Рут не зевали, устроили себе романтический уик-энд на пляже на Джерсийском побережье — никак ему по этому поводу не успокоиться.

Спустя какое-то время станция затухает и, пока он ищет другую, к нему успевает прорваться трансляция церковной службы и голос проповедника-евангелиста, который надрывно кричит: «Иисус знает! Иисус заглядывает к тебе в сердце! Иисус видит смерть в твоем сердце!» — и Гарри поскорей уходит с этой волны и попадает, правда, с опозданием, так что не успевает насладиться всеми всхлипами, на «Плач» Джонни Рэя: «Если милая напишет: «Позабудь...» Это было незадолго до его отъезда на армейскую службу, незадолго до неминуемой разлуки с Мэри-Энн, тогда он еще не знал, что расстанутся они навсегда, и они с ней ужасно спорили из-за Джонни Рэя: Кролик называл его «истеричкой», нормальный мужик, по его мнению, не стал бы так нюни распускать и петь так не стал бы, и только потом, уже в Техасе, он с опозданием понял, что песня-то была просто создана для него — это ему милая написала «позабудь». Следующим номером идет, вернее прогуливается, Дин Мартин с песенкой «Вот что такое *аморе* [[183]](#footnote-183)»: это Кролик уже отслужил и закрутил роман с Дженис, тихоней и скромницей, она тогда тоже работала у Кролла в универмаге, продавала орешки — ее миниатюрное крепенькое тело, безотказно действующий на него изумленный взгляд ее темных глаз, да, он точно помнит, что все это было тогда, потому что он в шутку говорил ей: «Вот что такое *аморе* », когда выпускал ее из объятий в комнате какой-то ее подруги, которая время от времени позволяла им там встречаться, с видом на серые газгольдеры возле реки... «Кто один» — это уже выводит рулады покойник Рой Орбинсон. «Прощай, моя милая! Сердце, прощай!» — до чего удивительный голос, так и взмывает ввысь, кажется, еще чуть-чуть и разобьется, как хрустальный бокал, впрочем, в каком-то смысле так и случилось; в компанию почтенного возраста «старичков» он попал, вероятно, благодаря факту своей смерти, догадывается Кролик.

Песни льются, сменяя друг друга и прерываясь каждые полчаса для короткого выпуска новостей. В Колумбии в результате артиллерийского обстрела пострадали восемьдесят четыре человека. Ко всем бедам колумбийцев добавилось еще и резкое падение цен на кофе; в связи с предстоящим выступлением президента Буша по проблеме наркомании в стране аналитики из Вашингтона задаются вопросом, сумеет ли он стать для американцев вторым Рональдом Рейганом? Еще одно сообщение из Вашингтона: официальные лица не теряют надежды на то, что новорожденный детеныш панды, помещенный специалистами в инкубатор, сумеет победить в борьбе за жизнь. Теперь о событиях во Флориде: в бассейне реки Калусахатчи по-прежнему отмечается активность морских коров; вчера в Майами в матче между «Филадельфийскими орлами» и местными «Дельфинами» победу одержали футболисты из Филадельфии со счетом двадцать — десять. Счетом Кролик доволен, но вот как относиться к старым мелодиям, к разливанным рекам сиропа, и все про то же, про любовь, и еще раз про любовь, и какая она красивая, и какая она милая, и песик тычется в витрину, и мамочка целует Санта-Клауса, и капризная-упрямая на Шейди-Лейн судьба моя, и скрипочки фоном, и пиццикато, и мощное крещендо духовых, так чтобы тебя проняло до основания, чтобы штаны с тебя сами сваливались, — как-то кисло делается от всего этого: ему совсем не светит на склоне дней подвести прискорбный итог, что песни, в которых вся его жизнь, такая же чушь собачья, как и современный рок, которым пичкают сегодня безмозглых юнцов, или продукция шестидесятых — семидесятых, от которой заходился Нельсон, — и то, и другое, и третье придумано в расчете на пустую башку и избыток гормонов, седой от пены океан, образно выражаясь, а уж слушать старые песни сейчас все равно что пытаться затолкать в себя сразу два банановых десерта с пломбиром и взбитыми сливками, когда-то ему это удавалось без большого труда. Все эти песни — однодневки, разок побывали в употреблении и на помойку, и стряпают их с единственной целью получить быструю прибыль. Нас ведут по цветущей аллее через благоухающий сад, потом по команде тех, кто стоит у руля музыкальной индустрии, разворачивают и уже следующее поколение ведут той же дорогой обратно, лишь чуточку изменив цвет и запах с помощью синтетических добавок.

Кролик чувствует себя так, будто его предали. Когда он рос, вокруг был мир, где война воспринималась как более или менее обычное явление, — война, но не перемены. Мир оставался неизменным, ты успевал в нем вырасти. Он-то знает, когда почва ушла у них из-под ног. Когда закрыли универмаг Кролла, а «Кролл» стоял в центре Бруэра с незапамятных времен, и был он больше любой городской церкви и старше здания суда, стоял в самом основании Уайзер-сквер, и каждый год на Рождество во всех угловых витринах начинало происходить что-то фантастическое: бегали по кругу поезда, важно кивали головками куклы, загадочно подмигивали звездочки, будто сам Господь Бог зажег их, чтобы в это самое темное время года всем стало светлее. Пока он был совсем маленький, он не умел различать, что сотворил Бог, а что люди; все шло откуда-то сверху. Он помнит, как ребенком стоял с мамой на холоде и глядел, раскрыв рот, на мир расцвеченных блестками игрушек в витрине, такой же реальный мир, как всякий другой, морозный воздух кусал ему щеки, просительно позвякивали колокольчики Армии спасения, умопомрачительно пахло горячими мягкими кренделями, какие тогда продавали на Уайзер-сквер, помнит ощущение, что все взрослые куда-то спешили, закутанные, бесформенные фигуры одна за другой исчезали в дверях «Кролла», где всегда можно было купить все самое лучшее, кровати и портьеры, игрушки и горшки, фарфор и серебро. Конечно, когда он сам стал там работать в отделе доставки, он видел и изнанку: как кого принимали и увольняли, сколько забот доставляли то поставщики, когда какие-то изделия по их прихоти снимались с производства, то потребители, когда внезапно менялись их вкусы и мода, какая вообще это рискованная, нервная игра — коммерция, и все же, отбрасывая частности, он продолжал верить в «Кролл» как идею, символ могущества и доброй воли. Поэтому когда однажды летом нечто под названием «система» решило закрыть универмаг Кролла только лишь потому, что туда перестали ходить за покупками (белые вообще стали бояться появляться в центре города), Кролик ясно понял, что мир не оплот незыблемого милосердия, а всего-навсего ветхая конструкция из разных недолговечных механизмов, смонтированная на скорую руку единственно ради денег. Все ради денег. Твое дело маленькое — заходи, проходи и не сомневайся: из тебя выжмут все, что можно, особенно если ты зелен и доверчив. И если «Кролл» мог уйти в небытие, за ним с легкостью могут последовать и суд, и банки. Станет невыгодно содержать Бога, закроют и Бога.

Многие мили вокруг Диснейуорлда и даже на порядочном от него удалении заняты его сородичами поскромнее — увеселительными и тематическими парками, которые живут надеждой на то, что им тоже перепадет какое-то количество туристов. СТРАНА ВОСКОВЫХ ФИГУР. Аквапарк. Подводный мир. Мир цирка. Музей старинных игрушек и кукол. Старое, старинное — теперь за старинное сплошь и рядом сходят вещи, которые даже не такие старые, как он сам, очередное вымогательство! Двигаясь по дороге 27 строго на юг, через какое-то время оказываешься посреди полого-холмистой, иссушенной, блеклой сельской местности, как бы вылинявшей от зноя, с блеклыми стадами на просторных, опаленных нещадным солнцем полях, и апельсиновыми рощами с их темной, густой, искусственно орошаемой зеленью, с огромными резервуарами для воды, торчащими, словно гигантские грибы, словно космические аппараты, прилетевшие сюда из иных миров. На обочине небольшие, шаткие, от руки написанные щитки предлагают СОЛЕНЫЕ ОРЕШКИ и тут же стоят изящные девчонки-мексиканочки со своими лотками, а вот и слабенький отголосок оставшихся к северу отсюда «тематических» великанов — трогательный, запыленный увеселительный парк с аттракционами: несколько незамысловатых конструкций, собранных тут ради минутного острого ощущения и сейчас стоящих без дела в ожидании вечера и благодарных маленьких клиентов.

Солнце уже в зените, и утренние клочковатые облака истаяли без следа, жара совсем нешуточная, убийственная, пугающая, стоит ему вылезти из «селики» возле бензоколонки «Тексако», где он притормаживает, чтобы сходить в туалет, — от нее нет спасения, как от снега на Южном полюсе, она проникает даже за дверь уборной, такая же влажная, как летом в Пенсильвании, но шпарящая сильнее, будто обозленная на тебя за что-то. Шоссе широкое, но попадаются светофоры и боковые дороги от выцветших фермерских угодий; мимо проплывают городки — Лейк-Уэльс, Фростпруф, Эйвон-Парк, Себринг, и он мимоходом думает, как живут там люди, вдали от побережья, от кондоминиумов и спортивной рыбалки, как живут те, кому надо каждое утро вставать и идти работать, как и тем, кто живет в Бруэре, только здесь у них все расплющено солнцем: как занесло их сюда, можно сказать, на край света, на эту песчаную косу, которая, если случится хотя бы небольшой подъем воды в океане из-за таяния антарктических льдов в результате скопления углекислого газа в атмосфере, тут же полностью уйдет под воду? Густой столб дыма попадает в поле его зрения слева по ходу машины, в той стороне, где резервация индейцев-семинолов, густой ядовитый дым. Беда, катастрофа, атомная бомба, война началась, пока он утопал в ностальгических музыкальных волнах? Он уже готовится к тому, что путь ему преградит лесной пожар, однако все обходится, столб дыма, медленно отдаляясь, остается слева, и он уже никогда не узнает, что горело и почему. Свалка скорее всего. У Гарри от долгого сидения все тело затекло, и он вынимает таблетку нитростата — просто с таблеткой быстрее разбегается кровь по жилам, немного отпускает внутри, немного пощипывает. Приятно.

Земля вокруг становится все менее освоенной, все более неухоженной. Названия городишек звучат все более вычурно: Лейк-Плэсид, иначе Тихие воды, Винус и Олд-Винус, или соответственно просто Венера и Старая Венера, и еще Палмдейл — Пальмовая долина; сразу за этой самой «долиной», проехав через Рыбный ручей (не где-нибудь, а в Гаррисберге: не путать флоридскую дыру с пенсильванским почтенным тезкой), вы уходите направо по 29-й, узкой, но такой прямой и ровной дороге, что просматривается все на многие мили окрест, грузовики наплывают на тебя из дрожащего знойного марева, и кажется, будто им отрезали колеса, местный трудовой люд жмет на своих пикапчиках, высовываясь, чтобы ты заметил их в зеркале заднего вида и дал себя обогнать, реклам практически не видно, общее ощущение духоты и болота кругом, в обозримом радиусе никаких признаков цивилизации, даже радио ничего не берет, последняя из мелодий, в которых заключена «вся ваша жизнь», пока и она тоже не растворяется в эфире, это песня в исполнении неизвестной ему Конни Босуэлл, выступавшей задолго до того, как Кролик влился в ряды радиослушателей. «Скажи, и я поверю» — она чуточку пришепетывает, и голос звучит так печально и тихо, словно она с тобой одним говорит: «теперь тебе милей другаяааа», и оркестрик тоже играет приглушенно, с легким металлическим призвуком, как играли раньше в вестибюлях отелей, где стояли пальмы в кадках, атмосфера двадцатых, жилось тогда трудно, но не было никаких страхов по поводу табака, алкоголя, холестерина, никто не носился со своим здоровьем, пили, ели и курили, кто сколько мог, и все тут. «Скажи, и я поверю». У него чуть ли не слезы на глаза наворачиваются, столько искренности, столько подлинной боли в ее голосе. Что все-таки у Дженис на уме? Ладно, скоро выяснится, ждать осталось недолго.

В какой-то момент начинаешь думать, что эта 29-я никогда не кончится, так и будет тянуться до бесконечности между канавами болотной воды в обрамлении скудной, жесткой, серой растительности, но нет, приходит время, и она вливается в 80-ю, в местечке с названием Ла-Бель, и та уже бежит на запад, проходя чуть южнее русла Калусахатчи, и, значит, ты почти дома, вот и указатель на региональный аэропорт юго-западной Флориды, а вот и самолеты загудели совсем низко над головой, хоть пали по ним через ветровое стекло, только он же не злодей-«Винсенс». Поддавшись ностальгическому порыву, чтобы поскорей вобрать в себя подзабытый флоридский дух, он проезжает мимо поворота на федеральную автостраду 75 дальше, на знакомое шоссе 41. «Старвин Марвин». Универсальное протезирование. Суперкассир. Мотель «Звездопад». Один раз они с Дженис отмочили шутку и остановились на ночь в мотельчике вроде этого, прикинувшись любовниками, хотя в действительности прожили в законном браке без малого тринадцать лет. Несчастливое число, однако ничего, они через него благополучно перевалили. В этом году их браку уже тридцать три. А вместе они тридцать четыре года. С тех пор, как оба еще работали у Кролла. Тогда он и думать не думал, что она получит наследство. Стояла себе за прилавком, продавала орешки, трогательно-жалкая маленькая дуреха, на форменном коричневом халате вышито имя «Джен», и что-то в ней было такое беззащитное — и потому сексуальное: умеющая постоять за себя независимая женщина, как Эльвира, наверное, никогда не бывает зациклена на сексе, но у Джен с этим было все в порядке, а как она поразилась, когда он показал ей все, на что способен, все, что он уже проходил с Мэри-Энн на заднем сиденье в автомобиле, только с Джен это было в постели. Мама сразу невзлюбила Джен; встав посреди кухни с необтертыми мыльными руками, она не раз громогласно заявляла, что Фред Спрингер с этими его подержанными автомобилями мошенник каких поискать. Ну, а теперь фирме «Спрингер-моторс» капут — *финито*. Она теперь там же, где и «Кролл», в отхожем месте. Ничего святого не осталось.

Гарри подъезжает к своей отвилке на 41-м. Плюмажи пампасной травы, цветущие кусты, обрамляющие извилистые улочки, все выглядит как-то иначе в это время года, цветистее что ли. Раньше ему не доводилось бывать здесь в эту пору. Сравнительно малолюдно, меньше машин в подъездных аллеях, больше задернутых штор, тротуары кажутся и вовсе нехожеными, на дорогах свободнее, даже сейчас, в час пик, когда в воздухе уже проступает вечерняя пелена, будто тусклый налет на серебре. Ни одного раздавленного броненосца не примечает он на бульваре Пиндо-Палм. Охранник у въезда на территорию Вальгалла-Вилидж, поджарый негр в очках, которого Гарри никогда прежде не видел, находит в списке его имя и взмахом показывает, что можно проезжать. Даже не улыбнулся любезности ради, ишь какой серьезный, в университете, поди, обучался, ученый.

Кодовое устройство на внутренней входной двери в корпус Б не срабатывает. Столько всяких цифр нужно держать в голове, может, он чего и напутал. Но когда после третьей попытки дверь по-прежнему не открывается, он смекает, что дело, наверно, не в нем, а в замке. Должно быть, сменили шифр. Тогда, припадая на плохо слушающуюся правую ногу, которая три дня кряду жала на педаль акселератора, Гарри вынужден ковылять через затянутый зеленым покрытием транспортный островок и голый асфальт, по безумной жаре, сквозь налетающие на него со всех сторон основательно забытые тропические ароматы — благоухание гибискуса, бугенвиллеи, сухих пальмовых листьев, хрустящей бермудской травы, — к офису администрации в корпусе В, чтобы узнать наконец новый код.

Там его уверяют, что его, вне всякого сомнения, известили о смене кода письмом по его летнему адресу на севере; в ответ он говорит: «Ну, значит, жена его выбросила, или потеряла, или я не знаю, что она сделала с вашим письмом». Его голос, вновь разговаривающий с другими людьми, кажется ему очень странным, каркающим, и раздается откуда-то извне, с расстояния нескольких футов от него самого, словно отскакивающее только с одной стороны эхо или хор, который иногда вдруг как грянет вот так же странно, из одного динамика стереосистемы в машине, даже вздрогнешь. Сейчас без машины он чувствует себя неуютно, слишком обнаженно: морская улитка без раковины. На обратном пути он заглядывает в клуб «Девятнадцать» и, к своему удивлению, не обнаруживает ни единой души ни внутри, ни снаружи, хотя на первой ти толчется какой-то народ, отбрасывая начавшие уже удлиняться тени. Понятно, доходит до него, в это время года в разгар дня просто никто не играет.

В лифте карточка технического осмотра в рамочке поменяла цвет, персиковый коридор пахнет каким-то новым освежителем воздуха, с ностальгическим привкусом душистого шипучего лимонада. Дверь в 413-ю открывается легко, оба ключа, царапнув по металлу, попадают в скважину и послушно поворачиваются, и, что тоже приятно, лицом он не задевает паутину, а по ковру от него не пускаются наутек большие бурые пауки. В последнее время его преследуют какие-то жуткие фантазии. Их кондо в точности такое, как всегда, как неподвластная переменам реконструкция себя самого, — открытый стеллаж, Дженисовы птички и цветочки из мелких беленьких ракушек, большое зеленое стеклянное яйцо, перекочевавшее сюда из гостиной мамаши Спрингер, светлый диван, письменный стол с ножками под бамбук, серо-зеленый экран выключенного телевизора. Никому, видать, до их квартирки дела нет, ни хулиганам, ни грабителям, даже обидно. Он переносит вещи в спальню и открывает раздвижную дверь на балкон. Звук его шагов оставляет глубокие рытвины в мертвой тишине жилища. Электрический разряд молчаливого укора застревает в спертом воздухе. Квартира не ждала его так рано. Сейчас, когда он, преодолев такие расстояния, прибыл на место, все предметы кажутся ему непомерно увеличенными в размерах, точно щербинки на булавочной головке под микроскопом. Да и вся квартира в целом — мебель, аквамариновые шкафчики и стол в кухне, уголки плотно пригнанной дверной коробки и плинтуса — производят на Кролика впечатление тщательно сработанной и накрепко сбитой конструкции, герметично закрытой со всех сторон, так чтобы из нее не выплеснулся заполнивший ее до краев страх.

Белый телефон стоит, готовый звонить по первому требованию. Гарри снимает трубку. Гудка нет. Господь Бог на проводе. Номер отключен на время мертвого сезона. Сегодня воскресенье, завтра праздник, День труда. Вот вам старая как мир загадка: если телефон не работает, нужно позвонить на телефонную станцию, а как позвонить, если телефон не работает?

Но телефон не звонит и когда его подключают. Дни проходят впустую. Голды, их соседи за стенкой, пока еще у себя во Фрамингеме. Берни и Ферн Дрексель на севере, катаются между домами своих дочек — один в округе Уэстчестер, другой их прежний дом в Квинсе — и «чудесным» домом их сынка в Принстоне и его же дачкой в Манахокине. У Зильберштейнов квартира в Северной Каролине, где они живут с апреля по ноябрь. Гарри однажды полюбопытствовал, почему они не уезжают на лето к себе в Толидо, и Эд, посмотрев на него с вечным своим многозначительным прищуром, ответил вопросом на вопрос: «Ты сам-то бывал в Толидо?» Ресторан в Вальгалле наводит жуть небывалой пустотой за столиками, любой случайный стук прибора о тарелку эхом отдается во всех концах зала, бинго проводится всего один раз в неделю. На гольф-поле с утра пораньше собираются горластые первые четверки, из-за них Гарри просыпается ни свет ни заря, когда на небе еще отчетливо видна луна, — эта публика явно помоложе привычного контингента, бизнесмены из местных, которые, пользуясь мертвым сезоном, покупают временные членские билеты с хорошей скидкой; зато потом, примерно с десяти утра до четырех дня гольф-поле изнывает на убийственной жаре и там не увидишь ни единой живой души, разве только собака бродячая пробежит или кошки залезут сделать свои дела в песчаные ловушки. Когда же наконец в одно прекрасное утро Гарри собрался с духом, чтобы самому пройти круг, не на своих двоих, а в карте, но все же, то оказывается, что его туфли, сданные на хранение в клуб, куда-то подевались. Парнишка, оставленный присматривать за гольф-магазином при клубе, пока хозяин с помощником не вернутся с севера, где сезон в загородных клубах продолжается до конца октября, заверяет его, что туфли найдутся, никуда они не делись, просто сейчас, в это время года, у них тут совсем другая система.

Единственная живая душа, кого он видит в коридоре у себя на пятом этаже, единственная, кто здесь, а не где-то, это сумасшедшая из 402-й, миссис Забрицки, вдовица с седыми космами волос, подколотыми с боков двумя старинными черепаховыми гребнями, отчего общее впечатление полного сумбура у нее на голове только усиливается. Голды рассказывали ему, что совсем молоденькой девушкой она чудом выжила в концлагере. Она поглядывает на Гарри так, будто он тоже сумасшедший, иначе зачем он здесь?

Как-то раз, поскольку они нос к носу сталкиваются у лифта и она смотрит на него с непонятным выражением, он считает нужным объясниться:

— Нынче меня что-то подкинуло вернуться сюда раньше обычного. Жена пробует заняться недвижимостью, делает первые шаги, а мне наскучило одному сидеть в четырех стенах.

Маленькая, совсем без шеи голова миссис Забрицки свернута на сторону к самому плечу, будто она прижимает к уху телефонную трубку. Вперилась ему в лицо с яростным негодованием, ощерившийся рот, длинные искусственные зубы на обтянутом овале лица — ни дать ни взять стилизованная эмблема Бэтмена, которая этим летом встречалась на каждом шагу[[184]](#footnote-184). Глаза ее с красными прожилками, горячие и круглые, глубоко вставленные в глазницы, отмечены печатью угасания, какой было отмечено и лицо Лайла.

— Это сущий ад, — произносит старушонка-лилипуточка, с трудом шлепая губами, из-под которых так и норовят вылезти наружу ее зубы.

— Что-что? О чем вы?

— Погода... — говорит она. — Ваша жена... — Она умолкает, мучительно шевеля губами.

— Да? Моя жена?.. — Кролик старается подавить стремление говорить громче нормы — со слухом у нее, по-видимому, все в порядке, несмотря на неестественно свернутую набок голову.

— Миленькая, — заканчивает она свою мысль, но взгляд у нее при этом страшно сердитый. Волосы косматыми клочьями топорщатся на голове — их словно взбили для укладки, а уложить забыли.

— Она скоро приедет, — почти кричит он, испытывая страшную неловкость и оттого, что выдает первому встречному свои тайные надежды, и оттого, что оказался наедине со скособоченной безумной карлицей. Вот, значит, какая женщина досталась ему под конец, после Мэри-Энн и Дженис, после Рут с ее шелковистой увесистой плотью, и Пегги Фоснахт с ее удлиненными глазами, и Джилл с ее незрелыми грудками и безучастной покорностью, и Тельмы с ее черным вместилищем, и Пру, которая светилась в темноте, как улица, которая живет по своим суровым законам, но ненадолго одевается нежным белым цветом, не говоря уже о техасской шлюхе с шероховатым, как сахар на языке, голосом и еще об одной, той он тоже заплатил за любовь и редко-редко, но вспоминает, — девушке с вечера дружбы между типографией «Верити» и бруэрским Польско-Американским клубом: она была тощенькая, простуженная, так и не сняла ни свитера, ни бюстгальтера, сидела и ждала его в маленькой комнатушке на койке, будто пленница, такая молоденькая, живот и бедра взмокшие от лихорадки, но сама вся чистенькая, бледная, с синими детскими прожилками в том месте, где под кожей выступают тазовые кости, и старомодный нетронутый темный меховой треугольник, не выбритый с боков, не как у моделей в порножурналах; для него само собой разумелось, что девушка была полька, просто потому что познакомились они с ней в клубе с таким названием, и было ей, наверно, лет восемнадцать, миссис Забрицки в таком примерно возрасте освободилась из концлагеря, тогда у нее тоже кожа была гладкая, а тело гибкое — юная жертва, уцелевшая в этом кошмаре. Что делает с людьми время; теперь все лицо у нее изборождено канавками, пересекающимися, как линии на листке бумаги в мелкую клеточку.

— Ей надо подождать, — говорит миссис Забрицки.

— Я передам ей ваш наказ, — обещает он громким голосом, пытаясь отряхнуть прилипчивое наваждение, в основе которого то обстоятельство, что она женщина, а он мужчина, и оба они одинаково одиноки и безумны, и разделяет их всего несколько дверей в общем коридоре, который смахивает на длинную вентиляционную шахту нежно-персикового цвета с серебристыми прожилками, поблескивающими на рельефном рисунке обоев. Вся его жизнь — путешествие в женские тела, и кто сказал, что это путешествие пора завершить? Предположим, на конец войны ей было восемнадцать, ему двенадцать, всего-то шесть лет разницы. Значит, сейчас ей шестьдесят два. Не так уж страшно, вполне может на что-нибудь сгодиться. Вон Бью Голд, их соседка, и того старше, а еще хоть куда.

Он пытается отвлечься на телевизор, но долго ему перед экраном не усидеть. Последние из крутившихся все лето сериалов в повторном показе идут вперемежку с анонсами новых шоу, которые, похоже, мало чем отличаются от старых: все те же семьи, звуковые вставки с дружным хохотом, череда потешных эпизодов для разрядки, надоевшие декорации — трехстенные гостиные с лестницей на заднем плане, как в «Косби», и входной дверью справа, через нее-то и появляются источающие добродушный юмор комические фигуры бабушки и дедушки — стариканы раздают подарки и создают проблемы. В «Косби» дверь справа, в «Розанне» слева. У толстяка-мужа тоже намечаются сердечно-сосудистые неполадки. Все труднее различать, где кончается телевизионная семья и начинается твоя собственная, реальная; правда, жизнь твоей семьи не прерывается каждые шесть минут рекламным блоком, а экранное житье-бытье не заходит в конце концов в тупик, в ничто, когда ничего уже больше не происходит, где ни тебе острот, ни комических персонажей, которые бы хоть изредка возникали на пороге, ни взрывов хохота на звуковых врезках, ровным счетом ничего, кроме скуки и неприкаянности, особенно когда просыпаешься ни свет ни заря, и луна еще светит на небе, а на первой ти какие-то люди уже гомонят, шумно договариваясь о ставках.

Поначалу он уверяет себя, что Дженис, устав дозваниваться до него в те четыре дня вплоть до вторника, пока телефон был отключен, должно быть, просто отчаялась и потому оставила попытки. Потом он начинает воспринимать ее молчание как демонстрацию и вызов. *Я тебе этого никогда не прощу!* О'кей, прекрасно, будь он проклят, если он ей сам позвонит. Дура набитая. Сучка богатая. Деловая женщина в придачу. Ишь, командирша выискалась, думает теперь, с бухгалтерами да юристами, которых ей Чарли, спасибо, подсунул, она уже может распоряжаться жизнью всех вокруг, но мы-то знаем, какая она самостоятельная, видали, как она спьяну даже до унитаза не могла самостоятельно добраться. Раз-другой Гарри давал слабину, не мог устоять, как правило, часов около четырех или пяти, когда ему невыносимо было слышать доносившиеся с гольф-поля звуки вечерней серии игр, которые возобновляются после дневного перерыва, и знать, что до ужина ему еще ждать несколько часов, но телефон в маленьком, сложенном из известняка доме в Пенн-Парке все звонит и звонит и никто к нему не подходит. Он кладет трубку, отчасти испытывая облегчение. Ничто — есть в этом какая-то чистота. Как в беге, пока бежишь. Он дал ей понять, что у него еще есть кое-какая прыть в ногах, зато теперь она дает понять ему, что у нее тоже еще хватает упрямства ему противостоять. Ее упорное молчание пугает его. Он гонит от себя картины всевозможных несчастий, которые могли с ней стрястись: вдруг она поскользнулась в ванне, вдруг съехала на «камри» в кювет, выпив с горя лишнего у Нельсона или за ужином в обществе Чарли в каком-нибудь вьетнамском ресторане, а он сидит тут и ничего не знает. Или он видит, как полицейские водолазы находят ее в затонувшей машине на заднем сиденье, как ту девушку из Уилкс-Барре[[185]](#footnote-185), двадцать лет назад. Да нет, глупости, случись что-нибудь, его бы, конечно, известили, не Нельсон, так Чарли, не Чарли, так Бенни позвонил бы ему из магазина, если магазин еще существует. С каждым проведенным здесь днем пенсильванские дела уходят от него все дальше. Вообще, пока он бродит по пустым комнатам их квартиры в кондо (из каждой комнаты открывается вид на гольф-поле и целое море крыш из испанской черепицы за ним), вся его жизнь начинает казаться ему нереальной, вернее, не более реальной, чем жизнь героев телесериалов, и теперь ему уже не успеть повернуть ее русло к реальности, отнестись к ней серьезно, докопаться до земного ядра, до железного стержня планеты и добыть оттуда для себя какую-то иную, настоящую, реальную жизнь.

Местные новости по радио здесь, во Флориде, в это время года переполнены сообщениями о катастрофах и преступлениях, можно подумать, здешнее население дало зарок вести себя хорошо в зимний период, а в межсезонье отпускает вожжи. То ураганы *(Габриэла наращивает мощь)*, то лобовые столкновения на дорогах, то вооруженное нападение в универмаге «Пабликс». На следующий день после Дня труда молнией убивает совсем молоденького футболиста, покидающего поле после тренировки; в том же сообщении упоминается между прочим, что во Флориде от молний людей погибает больше, чем в любом другом штате. Житель Кораллового мыса, офицер полиции с мексиканским именем, привлечен к судебной ответственности за то, что ломиком забил насмерть своего коккер-спаниеля. Морские черепахи тысячами гибнут, запутавшись в сетях для креветок. Убийца по фамилии Петтит, про которого даже его родная мать говорит, что в профиль он вылитый Чарльз Мэнсон[[186]](#footnote-186), признан вменяемым и посему способным предстать перед судом. Старый знакомец Дейон Сандерс по-прежнему не сходит с первой полосы форт-майерской «Ньюс-пресс»: сегодня он делает четыре пробежки и один хоум-ран, играя в бейсбол за «Нью-йоркских янки», завтра он подписывает контракт на несколько миллионов, обязуясь играть в футбол за «Соколов Атланты», послезавтра против него возбуждает дело тот самый полицейский, которого он ударил еще в прошлое Рождество в местном торговом центре, а в воскресенье он уже играет за «Соколов» и забивает гол — поистине уникальный случай в истории: один и тот же человек в течение всего одной недели ухитрился записать в свой актив хоум-ран и гол, причем и то, и другое в матчах профессионалов!

Дейон слеплениз нужного теста

На радость всем, пока он в силе. Он сам не устает повторять, что он сейчас в расцвете сил. Когда дает интервью перед телекамерой, он всегда в черных очках, весь увешанный золотыми цепями. Кролик смотрит, как юная знаменитость, рослый детина Беккер, одерживает верх над Лендлом в финальной игре Открытого чемпионата США по теннису, и отчего-то расстраивается: Лендл показался ему старым, заезженным, отощавшим, хотя ему ведь всего двадцать восемь.

Он ни с кем не разговаривает, кроме миссис Забрицки, когда той удается подловить его в вестибюле, да с продавцами — подростками из бедняцких флоридских семей, когда покупает кое-что из еды, лезвия для бритвы или рулон туалетной бумаги, да еще с теми, кто чувствует себя обязанным вступать со всеми в беседу, такими же, как он, пенсионерами, в их общем ресторане в Вальгалле; все, словно сговорившись, расспрашивают его о Дженис, так что с каждым разом он чувствует себя все более по-дурацки, и он все чаще разогревает какое-нибудь готовое замороженное блюдо и не высовывает носа из квартиры, шныряя взад-вперед по кабельным каналам в поисках, чем бы убить время. Единственный его товарищ, разделивший с ним его тоскливое одиночество, — его сердце. Он прислушивается к нему, пытается понять, о чем оно хочет поведать. В разное время суток оно отстукивает разный ритм: с утра, словно нехотя, как сквозь толщу воды, доносится его биение — *тхоррампф, тхоррампф*, а ближе к вечеру, когда организм уже подустал и одновременно возбужден, стук становится своенравным, сбивчивым, с акцентом на первом ударе и россыпью орнаментальных ноток вослед, с внезапными коротенькими скороговорками и замираниями ни с того ни с сего. В нем что-то неприятно дергается, когда он поднимается с постели, и снова — когда ложится, и еще всякий раз, когда он напряженно думает о своем нынешнем положении, о том, почему он оказался в таком подвешенном состоянии. Мог ведь он сделать над собой усилие в ту злосчастную ночь, принять уготованное ему испытание как подобает мужчине, кабы только знать, сколько и каких испытаний подобает мужчине безропотно принимать? Он и Пру переспали один-единственный раз, но было, было, факт. А для чего, если разобраться, приходим мы в этот мир? Женщины теперь все страшно негодуют — мужчинам подавай грудь да задницу, больше они в них, женщинах, ничего не хотят видеть, а чего еще там видеть, скажите на милость? Нас изначально запрограммировали на ихнюю грудь и задницу. Исключение составляют такие ребята, как Тощий и Лайл, у них в программе грудь не значится. Одно он знает совершенно точно: скажи ему сейчас выкинуть из своей жизни какие-то куски, последнее, с чем он расстанется, будет то, что связано с постелью, даже ту хлюпающую носом девчонку из Польско-Американского клуба дружбы он не отдаст, хоть она ему и двух слов не сказала, забрала двадцатку и была такова, немалые деньги по тем-то временам, и нос утирала платком, пока он наяривал, и пусть, все равно она что-то свое дала ему, пустила его туда, куда ему так необходимо было попасть, и это главное. А всякое разное другое, очень много всего, за что ты якобы должен быть благодарен, это все не то, не главное. Когда Гарри поднимается из глубокого плетеного кресла, весь кипя от возмущения, — без Шелли Лонг программу «Будем здоровы!» смотреть невозможно, не на этого же типа любоваться, у которого лоб, как у кроманьонца, он ему и никогда-то не нравился, — и идет на кухню насыпать себе еще кукурузных чипсов «Кистоун» (тут их не во всяком магазине найдешь, лучше сразу ехать в «Уинн-Дикси» на бульваре Пиндо-Палм), Гаррино сердце доверительно выстукивает ему тихий быстрый галоп, вроде того кружевного ритма, какой отбивали на ударных в эпоху свинга, когда в ход шла не только мембрана барабана, но и обод — и под конец замирающее насмешливое дзынь по тарелке: музыка его молодости. В такие минуты у него в груди возникает беспокойное ощущение какой-то спешки, переполненности. Не боль, просто странное чувство, дающее исподволь о себе знать откуда-то из глубин притаившегося у него внутри неблагополучия, думать о котором ему неприятно, как о непрожаренных, с кровью, бифштексах в сандвичах-«субмаринах», всю жизнь вызывавших у него содрогание и продававшихся навынос в «Придорожной кухне» на противоположной от магазина стороне шоссе 111 до того, как ее место заняла «Пицца-хат». Теперь при каждом резком движении он чувствует внезапный прилив крови, мгновенное удивление, легкий сдвиг в голове, отчего одна нога на какую-то долю секунды вдруг кажется короче другой. А боль — может, ему просто мерещится, но противное ощущение, будто ленты жгутами стягивают ему ребра, будто что-то пришито с внутренней стороны к коже, стало острее, жгучее, как если бы нить, которой пришито это что-то, сделалась теперь гораздо толще и раскалилась докрасна. Когда он вечером выключает свет, ему не нравится, как сильно запрокидывается назад голова, если он по привычке спит на одной подушке — как в яму проваливаешься, и не то чтобы в таком положении ему трудно дышать, просто почему-то теперь ему удобнее, не так *тяжело* внутри, если он подпирает голову двумя подушками. Засыпая, он лежит на спине, Лицом в потолок. Можно повернуться на бок, но спать так, как он спал всю жизнь, распластавшись на животе и свесив ступни ног за край кровати, стало совершенно невозможно; ему страшно зарываться головой в гнездовище подкарауливающих его внизу багряных, расползающихся скользкими ужами, тронутых тленом мыслей. Как теперь с опозданием выясняется, теплое, маленькое, крепко сбитое тело Дженис хоть и похрапывало-попукивало порой, притулившись у него под боком, но зато она и охраняла его от целого полчища злобных гоблинов. И вот сейчас ее нет, и он спит один со своим сердцем и слушает, как оно пускается вскачь, спотыкаясь, когда что-нибудь внезапно нарушит его покой — то мальчишки перелезут через забор на поле для гольфа и ну давай там орать, то где-то в центре Делеона заблеет сирена, то авиалайнер с севера пролетит ниже обычного, заходя на посадку в аэропорту юго-западной Флориды, будоража вокруг себя ночное пространство. И он просыпается в лавандовом свете и потом ждет, когда понемногу замедляющийся ритм его сердца снова утащит его в толщу сна.

А сны у него сладкие, как запретное лакомство: разноцветные, яркие, с переизбытком действующих лиц вариации на темы разных ситуаций из прошлого, отложившиеся в клетках-хранилищах его мозга; какие-то комнаты, то как будто их маленькая гостиная на Виста-креснт, 26, с камином, которым там никто не пользовался, с лампой на основании из обрубка деревянного плавника, то старая кухня на Джексон-роуд, 303, с деревянным ледником и газовой плитой с сосочками синего пламени, с фарфоровой, местами потертой, доской стола — все слегка набекрень и все подновленное, и люди, множество людей, только возраст у всех перепутан: вот Мим с густо наложенными зелеными тенями вокруг глаз в возрасте их мамы, когда они с сестрой были детьми, вот Нельсон-карапуз выдвигается из-под машины в грязной ремонтной мастерской «Спрингер-моторс», и взгляд у него на перепачканном личике болезненно-тоскливый, а вот Марти Тотеро, и Рут, и даже безмозглая козявка Маргарет Коско тут как тут, тридцать лет имени ее не вспоминал, а поди ж ты, сохранилось в тайниках мозга так же ясно, как и ее худосочная городская бледность, которая запомнилась ему по тому эпизоду в китайском ресторане — они вчетвером сидели в кабинке, Рут рядом с ним, Маргарет напротив с мистером Тотеро (голова у него, как у издыхающего носорога, серая, с каким-то странным перекосом), так, вчетвером, они и сидят теперь в ресторане Вальгалла-Вилидж, на это ясно указывает путаный барельеф на тему викингов и богатый салат-бар, сколько тут всякой всячины под прозрачными пластмассовыми крышками, все яркое, разное, всех цветов радуги, как драгоценные каменья, как цветные мелки «Крейола», без которых не обходился в детстве ни один февраль, ни один его день рождения, другие подарки тоже были, но этот непременно — несколько выступающих один над другим рядов в коробке вкусно пахнущих воском новеньких мелков с заостренными кончиками — будто ряды зрителей на трибуне стадиона — в ярком февральском свете из окна, и сосульки, и непередаваемое чувство, что ты стал на год старше. Гарри неохотно пробуждается от этих сладких сновидений, словно череда миниатюрных картинок необходима ему как хлеб насущный, словно это некий многоцветный, тонко сработанный прибор, который нужен ему для поддержания жизни, так бедная Тельма зависела от аппарата искусственной почки. Просыпается он всегда лежа на животе, и только по мере того, как голова его постепенно проясняется и вновь воссоздает картину настоящего: фетрово-серые параллельные полоски, которые, смутно доходит до него, означают рассвет по ту сторону жалюзи, настойчиво лезущая в лицо прохлада утреннего свежего ветерка с залива, проникающего сквозь открытую дверь балкона, — только тогда его снова начинает грызть сознание своего одиночества и сердце снова вступает с ним в разговор. Иногда оно кажется таким маленьким, беззащитным, как ребенок, который, спрятавшись у него внутри, жалуется, что о нем все забыли, просит помочь ему, не бросать, а иногда это злодей, агрессор, интервент, предатель, тайком передающий секретные сведения на непонятном шифрованном языке, чужеродный паразит, от которого нет способа избавиться. Боль наносится ему теперь жестоко и расчетливо: враг набирает силу, оттачивает клинки.

Он записывается на прием к доктору Моррису. К его удивлению, ему назначают прийти почти сразу, через день после звонка. Кого-кого, а врачей тут пруд пруди, как старателей на Клондайке — не столько золота, сколько желающих его добыть, особенно в это время года, когда массового переселения престарелых иммигрантов с севера на юг еще не наблюдается. Доктор Моррис принимает в одной из многочисленных низких оштукатуренных лечебниц, что тянутся вдоль шоссе 41. В приемной всегда играет успокаивающая нервы тихая музыка, прибойным рокотом вплетается в нее шум машин за окнами. Со времени их последнего свидания доктор постарел. Какой-то стал весь согнутый, ногами шаркает, суставы пальцев распухли, артрит, видно, замучил. Щеки в обвислых складках, кажется, не совсем чисто выбриты; ноздри забиты черной шерстью. Сын доктора, «юный Том», розовый, гладенький, сорокапятилетний, встречает Гарри в холле и протягивает ему для пожатия толстую, усыпанную веснушками руку; на нем белый докторский халат, из-под которого торчат ярко-зеленые слаксы для гольфа. У него за стенкой своя приемная, и не сегодня-завтра он станет тут единовластным хозяином. Но пока старый доктор еще не хочет расстаться со своей клиентурой. Гарри пускается в путаные описания всех своих сложных ощущений. Нетерпеливым взмахом артритической руки доктор приглашает его пройти в смотровую. Там он велит ему раздеться до трусов, взвешивает его, укоризненно цокает языком. Затем сажает на кушетку, слушает стетоскопом грудь, постукивает по голой спине внимательными узловатыми пальцами и с важной серьезностью молча берет Гаррины руки в свои. Долго, внимательно разглядывает ногти, переворачивает ладонями вверх, изучает, недовольно хмыкает. Вблизи от него исходит печальный стариковский запах кожевенной лавки и плесени.

— Ну так как? — спрашивает Гарри. — Как я, по-вашему?

— Вы даете себе какую-нибудь физическую нагрузку?

— Да так, не особенно. То есть сейчас, как вернулся сюда. У себя на севере я понемногу работаю в саду. В гольф играть... так я вроде бы без партнеров остался.

Доктор Моррис задумчиво смотрит на него сквозь стекла очков без оправы. Глаза его, когда-то пронзительно голубые, теперь обесцветились, словно вылиняли. Брови торчат неопрятными бело-рыже-бурыми клочьями, щеки все в каких-то пятнышках и шишечках. Но вот его нависающие над глазами брови ползут вверх, словно орудийные башни, получившие команду взять цель.

— Вам нужно ходить.

— Ходить?

— Да, быстрым шагом. Несколько миль в день. Чем вы питаетесь?

— Ох... ну, чем — тем, что не надо готовить, только разогреть. Вынул из морозилки, сунул в микроволновку и ешь. Жена пока осталась на севере, хотя когда она здесь, тоже не больно-то много готовит. Зато невестка у меня, вот та...

— Соленым балуетесь? Случается?

— Ммм... ну, разве иногда, очень редко.

— Вы должны решительно ограничить потребление натрия. Если не можете не кусочничать, держите дома свежие овощи. Прежде чем взять что-либо в рот, внимательно изучите состав — он указан на пакете. Исключите соль и животные жиры. По-моему, мы все это уже проходили, когда вы попали в больницу, — он отрывает руку от стола, чтобы свериться с записями, — девять месяцев назад.

— Да, верно, я какое-то время держался, да, в общем, и сейчас держусь, только знаете, когда это изо дня в день, проще бывает...

— Схватить какую-нибудь отраву. Не позволяйте себе распускаться. Не ленитесь. Вам нужно сбросить сорок фунтов. Исключите из рациона соль, и недели за две десять фунтов уйдут сами собой, просто потому что вода в организме не будет удерживаться. Возьмите у меня список рекомендуемых продуктов, если вы потеряли тот, который я дал вам раньше. Можете одеваться.

Доктор весь как-то уменьшился в размерах — или, наоборот, стол у него раздался, с тех пор как Гарри здесь не был. Он, уже в одежде, подсаживается к столу и начинает:

— Да, так вот, эти боли...

— Боли уменьшатся, как только вы будете лучше следить за собой. Вашему сердцу не нравится то, чем вы его потчуете. У вас в последнее время не было нервных потрясений?

— Кое-какие неприятности, не без этого. Семейные проблемы, но, кажется, теперь все потихоньку налаживается.

Доктор что-то строчит на рецептурном бланке.

— Я хочу, чтобы вам сделали анализ крови и ЭКГ в городской больнице. Затем я переговорю с доктором Олменом. В зависимости от результатов мы решим, не пора ли повторить катетеризацию.

— Господи Иисусе! Только не это. Опять!

Косматые пегие брови снова ползут вверх, сухие строгие губы поджимаются с укоризной. Да, это вам не все понимающий, великодушный еврейский рот. Шотландская нетерпимость и скаредность, вот чем диктуется его манера так думать и так говорить — того и гляди, вспылит, дескать, он за свою жизнь уже навидался пациентов, которые бездарно загоняют себя в гроб.

— Что, собственно, вас так расстроило? Очень больно было? Припекало?

— Да нет — противно, — говорит Гарри, — знать, что внутри у тебя эта штуковина. Само сознание, понимаете?

— Ну, батенька, вы предпочитаете жить с сознанием, что у вас опять сузился просвет в коронарной артерии? Прошло ведь уже, так, посмотрим, почти полгода, как вам сделали ангиопластику в... — он читает по бумажке, с трудом преодолевая незнакомые названия, — в больнице Святого Иосифа в Бруэре, штат Пенсильвания.

— Меня заставили *смотреть*, представляете? — жалуется ему Гарри. — Я своими глазами видел в телевизоре мое несчастное сердце, все будто «рисовыми хрустиками» забито.

Вот она, скупая шотландская улыбочка, колючая, как знаменитый шотландский чертополох.

— Все так мрачно?

— Это... — он подыскивает нужное слово, — унизительно. — Впрочем, если хорошенько подумать, отныне и до самого конца вся его жизнь скорее всего именно такой и будет — унизительной. Электрокардиостимуляторы, костыли, инвалидные коляски. Полное бессилие.

Доктор Моррис старательной трясущейся рукой подчеркивает какие-то записи в его карточке. Не поднимая головы, он говорит:

— Теперь в нашем распоряжении есть самая разная аппаратура, на катетере свет клином не сошелся. Скажем, серьезные повреждения сердечной мышцы можно обнаружить при обследовании с помощью внутривенной инъекции технетия-99. Можно попробовать эхокардиографию. Давайте не будем торопить события. Посмотрим для начала, как пойдут дела, когда вы перейдете на более здоровый образ жизни. Постарайтесь справиться сами.

— Идет.

— Жду вас ровно через месяц. Вот вам направления на анализ крови и ЭКГ и рецепты — тут мочегонное и успокоительное на ночь. Соблюдайте диету. Больше ходите пешком, не до изнеможения, но энергично — три мили бодрым шагом каждый день.

— Слушаюсь, — говорит Кролик, медленно поднимаясь со стула и чувствуя какую-то необыкновенную легкость, будто мальчишка, которого вызвали к директору школы и, слегка пожурив, отпустили с миром.

Но доктор Моррис еще продолжает буравить его выцветшими старыми голубыми глазами и вдруг неожиданно спрашивает:

— У вас есть какое-нибудь постоянное занятие? Тут у меня значится, что вы возглавляете агентство по продаже автомобилей.

— Это в прошлом. Сын занял мое место, и жена не хочет, чтобы я путался у ребенка под ногами. Фирма была основана ее отцом. Ну да им так и так, наверно, придется все продать.

— А хобби у вас есть?

— Хм, читаю — историческую литературу. Можно сказать, историк-самоучка.

— Этого недостаточно. У мужчины должно быть серьезное занятие. Нужно что-то *делать*. Лучшее лекарство от всех недугов — здоровый интерес к жизни. Постарайтесь увлечься чем-то, найти для себя что-то интересное — что-то помимо собственной персоны, и тогда ваше сердце прекратит говорить с вами.

Едва на Кролика повеет откуда-нибудь добрым советом, ему сразу хочется дать деру и сделать все в точности наоборот. Он молча встает и с пачкой бумажек от доктора Морриса выходит на улицу, где набирает силу сокрушительная жара. Два-три каких-то человека на парковочной площадке — словно подкрашенные дымки, вьющиеся вверх от их собственных теней, не сразу поймешь, существуют они в реальности или в воображении. По радио в «селике» сплошное брюзжание — снова Дейон Сандерс, потом Коч[[187]](#footnote-187), который на предварительных выборах кандидата от демократической партии на пост мэра Нью-Йорка уступил первенство какому-то негру, результаты тестирования выпускников средних школ в округе Ли, Флорида, — налицо заметное снижение уровня знаний, и наконец вчерашнее телевизионное обращение президента Буша к американским школьникам. «Опять одни разговоры! Надо же что-то *делать!* » — раздается в эфире стенание дозвонившегося в студию радиослушателя.

А что, думает Кролик, в случае Буша тактика ничегонеделания вполне себя оправдывает, может, и в его случае сработает? Рядом с ним на переднем сиденье колышутся рецепты и направления доктора Морриса и ксерокопии диетных листов, обдуваемые сквознячком из автомобильного кондиционера. Поймав другую волну, он узнает, что накануне вечером «Филлисы» разбили нью-йоркских «Горожан», два — один. Победу «Филлисам» обеспечил решающий хоум-ран Дики Тона в девятом иннинге; в результате ньюйоркцы, считавшиеся на момент открытия сезона бесспорными лидерами в своей подгруппе, оказались отброшенными далеко назад, теперь их на пять с половиной игр опережают даже «Чикагские щенки», шансы которых прежде оценивались весьма невысоко. Гарри пытается отнестись к сообщению заинтересованно, но получается у него это плохо. А началось все с тех пор, как Шмидт объявил о своем решении покинуть профессиональный бейсбол. Увлечься чем-нибудь — совет прекрасный, только вот чем, если интереса ко всему с каждым днем все меньше. Самой природой, видно, так задумано.

Однако ходить пешком он все-таки начинает. Даже отправляется в торговый центр на Пальметто-Палм и покупает новые кроссовки «Найки», с каким-то особым пузырьком воздуха в пятке для лучшей амортизации. Он выходит утром, между девятью и десятью, как только проглотит завтрак и переварит свежий номер «Ньюс-пресс», а потом еще раз, между четырьмя и пятью, чтобы, вернувшись, вздремнуть, поужинать, посмотреть телевизор, осилить страничку-другую из его исторической книги и крепко заснуть — спасибо пешим прогулкам. Он методично исследует Делеон. Сперва он обходит одну за другой все извилистые улочки в радиусе одной мили от Вальгалла-Вилидж: низкие оштукатуренные дома с палисадниками без ограды, заросшие довольно высокой жесткой травой, в которой проглядывают засохшие пальмовые листья; есть в этом что-то по сути, по фактуре флоридское, какой-то уютный, душистый привкус, ощущение всеобщего курортного отпуска, и наткнуться здесь на расторопного человека из службы доставки посылок «Ю-пи-эс» или тявкающую собачонку — вот как этот плоскомордый пекинес с шелковистой длинной шерсткой, кокетливо подвязанной ленточками, — все равно что обнаружить жизнь на Марсе. Затем, с каждым днем проникаясь все большей любовью к своим замечательным новым кроссовкам (видно, с чудо-пузырьками они и правда лучше пружинят, хоть он сначала не поверил, решил, что это просто рекламный трюк), он добирается уже до центральной части Делеона, до реки, откуда город и начал строиться как укрепленный форт в годы семинольских войн[[188]](#footnote-188) и заодно как порт для отгрузки скота и хлопка.

Там, в нескольких кварталах вглубь от берега моря и от зеленых стеклянных отелей, он открывает для себя целые районы старой застройки, с большими, тенистыми, пряно пахнущими, ласковыми деревьями, настоящими вечнозелеными виргинскими дубами и эвкалиптами, а кое-где и баньянами, расползающимися вширь на подпорках-костылях, у которых под кронами внизу притулились деревянные домишки, когда-то беленые, но теперь облупившиеся до серой наготы, с зашторенными оконцами и с рифлеными железными крышами. Из домов этих вырываются обрывки музыки, скрипучие звуки радио, и всплески голосов — перепалки, пересмешки — яркие лоскутки чьей-то подслушанной чужой жизни. Пешеходные дорожки тут немощеные, просто тропинки, вроде кошачьих, протоптанные между деревьями по диагонали напрямик к каждому частному владению, кругом словно понаставлены заплаты из выжженной травы, и в укатанную дорожную грязь втоптаны кожурки и скорлупки. Все здесь напоминает Гарри те кварталы, куда он заехал по ошибке, пытаясь выбраться из Саванны, но одновременно и город его детства, Маунт-Джадж времен депрессии и войны, грохочущей в отдалении, когда у людей еще не вышло из привычки сидеть перед домом на крыльце, и стоянки для машин пустовали, и кругом были неправильной формы кукурузные поля, и мужчины, отработав день на фабрике, по вечерам поливали лужайки, а те, кто сравнительно недавно сам оторвался от земли, держали кур и зарабатывали лишний грош, приторговывая свежими яйцами. Куриное хлопотливое клохтанье, поклевывание и вдруг беспокойное кудахтанье — сорок лет не слышал он этих звуков и до сего дня даже не догадывался, что скучал по ним. А тут на тебе, курятники — понатыканы по всему этому им самим разведанному сонному предместью.

Днем, под лучами давящего, провожающего лето солнца, здесь царит безлюдье и оцепенение, иногда только мамаши с дошколятами загружаются в машину или выгружаются из машины. Хлопают дверцы, и хлопки еще долго летят по пыльным прямым улочкам, под сенью виргинских дубов. На пересечении улиц можно встретить продуктовую лавку, где, в традициях южного попустительства, торгуют и пивом и вином, или выкрашенный снаружи в пастельные тона бар, открытая дверь которого приглашает внутрь, в полумрак, или видеопрокат с выставленными в окне кассетами (ужасы, кунг-фу) — картинки на коробках от солнца все выцвели. В один прекрасный день он проходит мимо галантерейного магазина старого образца, одноэтажного, обшитого досочками, и в скромной витрине видит весь ассортимент памятных ему невинных забав — детские конструкторы, сборные модельки самолетов, китайские шашки: вот уж не думал он, что все это где-то еще продают. Он порывается зайти внутрь, но в последний момент не решается. Чересчур он белый.

Ближе к вечеру, когда он вновь отправляется на прогулку, предместье будто снова начинает дышать, все убыстряется, в картинку возвращаются выпавшие из нее на время мужчины и мальчишки, и Кролик шагает бодрее, свидетельствуя своим энергичным шагом, что сюда привел его обычный тренировочный маршрут, он тут проходом, зашел и вышел, и в мыслях нет ничего высматривать и вынюхивать. Здесь сплошь тянутся негритянские кварталы, мили и мили, огромное стоячее экономическое болото, пережиток южного, рабовладельческого прошлого Делеона, источник рабочих рук для гостиниц и кондоминиумов, отсюда берутся и официанты, и охранники, и горничные. Для Гарри, который прежде знал только Делеон глянцевый, Делеон блестящего сообщества престарелых беженцев, в этих черных кварталах заключена какая-то большая загадка, и ближе к вечеру, когда удлиняются тени под деревьями и смолкает куриное клохтанье, все его чувства словно раздвигаются, чтобы лучше проникнуть в самую суть этой загадки, как тогда, давно, когда он шел невидимый через Маунт-Джадж в тихо шуршащих на ходу коротких штанишках, сам не выше живой зеленой изгороди, и силился понять непостижимый взрослый смысл светящихся окон, кухонных звуков, просачивающихся к нему от домов через лужайки, таинственные и влажные, как сказочные джунгли. Бывало, заплачет где-то ребенок или залает собака, и по нему тогда щекоткой пробежит возбуждение оттого, что он есть, в этой точке пространства и времени, что ему предстоит открывать неведомые миры и жить вечно, ему, Гарольду К. Энгстрому, или попросту Хасси, как его звали в те далекие, невозвратные дни. Он все дальше и дальше забредает в своих пеших прогулках, обретая уверенность, осваиваясь понемногу в этом странном городе, где он наконец-то начинает жить уже не только как заезжий визитер; но с наступлением темноты, когда музыка из окон, исчерченных светящимися полосками жалюзи, становится слышнее, к нему приходит неуютное ощущение своей инородности, своей слишком приметной, проступающей во тьме белизны, и он поспешно возвращается к машине, которую он теперь оставляет на парковочной площадке или у тротуара с паркоматом где-нибудь в центре города — это его, так сказать, основная база, откуда он уходит в свои все более дальние походы.

Вернувшись в один из таких дней домой приблизительно в половине седьмого, только-только чтобы успеть принять душ и застать выпуск новостей по телевизору, пока на кухне разогревается очередное готовое блюдо, он вздрагивает от телефонного звонка. После первой недели тоскливого одиночества он перестал каждую минуту прислушиваться и ждать. Несколько звонков, которые за это время прорезались, все были одного порядка — записанный на магнитофонную ленту текст («Добрый день, с вами говорит Сандра»), рекламирующий какую-нибудь медицинскую страховку, или предлагающий похоронные услуги по минимальному тарифу, или услуги по размещению ценных бумаг по очень скромным расценкам; включают автомат и обзванивают все подряд номера по компьютеру, какой в этом прок, хотелось бы знать, лично он, Гарри, тут же вешает трубку и не представляет себе, что кто-то станет это слушать и тем более заглотит наживку. Но на сей раз звонит Нельсон, сынок.

— Папа?

— Да, — отзывается он, собирая по крупицам свой давно не используемый голос и пытаясь сообразить, что отец может сказать сыну после того, как переспал с его женой. — Нелли, — говорит он, — как хоть вы там, черт возьми?

В далеком голосе слышится робкая боязливость, такая же, как у него, неуверенность от непонимания, что в этой ситуации более уместно.

— У нас все хорошо, в общем и целом.

— Еще не сорвался? — У него вовсе не было намерения с ходу брать агрессивный тон. Голос на том конце, такой слабый из-за разделяющего их расстояния, какую-то секунду ошарашенно молчит.

— А, ты про наркотики! Нет, конечно. Я о них и не вспоминаю, разве только на собраниях АН. Как они учат, ты должен вверить свою жизнь высшей силе. Тебе бы самому не помешало попробовать, папа.

— Я как раз над этим работаю. Нет, правда, кроме шуток. Слушай, Нельсон, я тобой горжусь. Продолжай в том же духе, живи одним днем, так, кажется, тебе велели, остальное не в нашей власти.

Похоже, парня опять на секунду заклинило. Наверно, ему в отцовских словах почудилась излишняя нравоучительность. Кто он такой, чтобы читать мораль? Черт, он же всего-навсего хотел проявить участие, вроде полагается. Гарри прикусывает язык.

— Здесь у нас столько всяких событий, — говорит ему Нельсон, — что мне в последнее время было не до себя. Я теперь думаю, что все мои беды были из-за безделья. Ну чем я занимался? Днями торчал в магазине и тупо ждал, когда что-нибудь произойдет, когда наконец заявятся покупатели, — тут последнюю уверенность в себе растеряешь. То есть, я что хочу сказать, от меня ничего не зависело. Я просто тихо деградировал.

— Я ведь тем же самым занимался, пятнадцать лет подряд, каждый день.

— Ну да, но у тебя другой темперамент. Ты более бесшабашный, что ли.

— Проще сказать — дурак?

— Не начинай, папа, я не ссориться позвонил. И вообще для меня это удовольствие ниже среднего, я несколько дней с духом собирался. Но я должен сказать тебе что-то важное.

— Валяй, выкладывай свое важное. — *Эх, не клеится разговор.* Он ведь совсем не хочет говорить в таком тоне, вымещает на парне свое недовольство Дженис. Он злится, обижается на нее за ее упорное молчание. Но остановиться уже не может. — Долгонько вы там зрели, чтобы со мной поговорить, я ведь уже две недели тут один сижу. Старик доктор Моррис запретил мне есть, в такой я нынче хорошей форме.

— Ну, знаешь, — отвечает на это Нельсон, — если ты такой охотник поговорить, мог в тот вечер приехать к нам, как тебя просили, а не исчезать в неизвестном направлении. Никто не собирался тебя убивать, мы только хотели вместе во всем разобраться, выяснить, что же произошло, если смотреть на вещи изнутри, с точки зрения динамики взаимоотношений между членами семьи. Вот с Пру мы дошли до сути, теперь понятно, что ею двигало неосознанное стремление восстановить утраченную связь с ее собственным отцом.

— С губошлепом Лубеллом? Передай ей от меня большое спасибо. — Но вообще он приятно удивлен, что Нельсон говорит с ним теперь спокойнее и тверже. Так устроен мир, что тебе не стать мужчиной, пока ты не подомнешь под себя родного отца. Самому Гарри было в этом смысле попроще — система, не дожидаясь его, практически положила бедного папку на обе лопатки. — Мне в тот вечер показалось, что на меня устроили засаду, поэтому я не поехал, — объясняет он Нельсону.

— Ну вот, а мама решила, что нам незачем самим выходить с тобой на связь, раз ты предпочитаешь бегать и прятаться, как последний трус. И, кроме того, она не была в восторге, когда ты почему-то позвонил Пру, а не ей.

— Я много раз набирал наш номер, но ее невозможно поймать дома.

— Ладно, чего там теперь выяснять. Она просила, чтобы я довел до твоего сведения кое-что существенное. Во-первых, у нас есть покупатель на дом, правда, дают меньше, чем она рассчитывала, всего сто восемьдесят пять, но ситуация на рынке сейчас вообще вялая, и ей кажется, что надо соглашаться. Все-таки эта сумма позволит уменьшить наш долг банку до таких пределов, что мы постепенно сможем расквитаться.

— Позволь внести ясность. Ты говоришь о доме в Пенн-Парке? Скромный дом серого камня, которым я всегда дорожил?

— О каком еще доме может идти речь? Мы не можем продать дом в Маунт-Джадже — где нам тогда жить?

— Скажи-ка, Нельсон, потешь мое любопытство. Каково ощущение — прокурить родительский дом, просадить его на какой-то паршивый крэк?

К сыну начинают возвращаться его прежние хныкающие интонации:

— Сколько можно тебе повторять: я не так уж крепко сидел на крэке. На крэк я только под конец перешел, просто потому что с ним меньше мороки, чем с порошком. Ну виноват я, виноват, Господи! Я же поехал в центр, я поклялся очиститься, я как могу пытаюсь возместить моральный ущерб всем, кому я его вольно или невольно причинил, как это у них называется. Что еще тебе от меня надо? Кто ты такой, чтобы казнить меня?

И правда — кто?

— Ладно, — сдается Кролик. — Извини, беру свои слова обратно. Так что еще мать велела тебе передать мне?

— Что «Хюндаи» на самом деле заинтересовалась нашим магазином — это именно то, что им нужно и чего у них нет. Они планируют увеличить здание, отодвинуть заднюю стену еще дальше назад, как и я сам, кстати, всегда хотел. — *Гудбай, Парагвай!*  — проносится у Кролика в голове. — Они даже не стали бы увольнять рабочих из ремонтной, просто подучили бы кое-чему, и, может, кого-нибудь из продавцов оставили бы. Эльвира, наверно, перейдет к Руди на 422-й. «Хюндаи» делает ей встречное предложение. А вот *меня* не хочет брать никто! Ни под каким видом. Похоже, все азиатские компании действуют заодно, так получается.

— Получается так, — подтверждает Гарри. Слишком много *ниндзё*, мало *гири*. — Сочувствую.

— Не стоит, папа. У меня теперь развязаны руки. Я подумываю, не заняться ли социальной помощью?

— Социальной помощью?!

— Ну да, а что такое? Помогать другим для разнообразия, не все же о себе думать. У нас в филиале Пенсильванского университета есть двухлетний курс по этой специальности, занятия с октября, я могу прямо сейчас записаться и начать уже в этом году.

— И правда, что в этом такого, если вдуматься, — с готовностью соглашается Кролик. Ему делается все противнее от своей сговорчивости, от жалкого желания вернуть себе всеобщую благосклонность.

— Я сам думаю, и наши адвокаты меня поддерживают, что, если получится, правильнее было бы не продавать «Хюндаи» участок с магазином, а сдать его им в аренду. Дом в Пенн-Парке стоит вполне достаточно, поэтому «пятачок» и магазин выгоднее сохранить за собой как прибыльное вложение. Мама говорит, к 2000 году он уже будет стоить миллионы!

— Ух ты, — без намека на энтузиазм отзывается Гарри. — Вы с мамой славно спелись, как я погляжу. Это все или еще какой-нибудь сюрприз для меня приготовлен?

— Даже не знаю, вообще-то тебя это вряд ли касается, но Пру считает, что касается. Мы пытаемся забеременеть.

— Мы?..

— Хотим завести третьего ребенка. Все, что произошло, заставило нас понять наконец, как мало мы до сих пор дорожили нашим браком и одновременно как много мы уже вложили в то, чтобы наша семья состоялась. Не только ради Джуди и Роя, но и ради нас самих. Мы ведь любим друг друга, папа.

Если это говорится, чтобы возбудить его ревность, то расчет верен: он чувствует укол, точно под правым желудочком. Но при этом Кролик испытывает большое облегчение, что его избавили от повинности вечно скорбеть о загубленной судьбе Пру. Вот и славно, хочешь прозябать в нищете — в добрый час, мысленно напутствует он ее.

— Грандиозно, — говорит он вслух и, не удержавшись, добавляет: — Хотя меня терзают смутные сомнения, что на жалованье социального работника можно содержать семью с тремя детьми. — И, чувствуя, что его загоняют в угол, и постепенно распаляясь, продолжает: — Да, и передай маме, что я пока не готов дать согласие на продажу нашего дома. Это ведь не «Спрингер-моторс», здесь мы выступаем как совладельцы, и без моей подписи на купчей ей не обойтись. Если мы разбежимся, моя подпись будет ей стоить ой как недешево, на этот счет пусть не заблуждается.

— Разбежитесь? — Мальчишка явно струсил. — С чего ты взял? Об этом и речи не было.

— Как с чего, — говорит Гарри, — с того, что мы, по-моему, уже разбежались. Где она? Тут я ее, во всяком случае, не вижу. Может, прячется под кроватью? Но ты из-за этого сильно не переживай, Нельсон. Тебе не впервой, хотя тогда ты был еще пацаненком, и я себя чувствовал препаскудно. Ты давай о своей жизни думай. Судя по всему, все складывается у тебя неплохо. Я тобой горжусь. Впрочем, я, кажется, повторяюсь?

— Но ведь все как раз и зависит от продажи вашего дома в Пенн-Парке!

— Ты передай, что я подумаю. На днях позвоню Джуди и Рою, скажи им.

— Но папа...

— Нельсон, у меня тут в духовке разогрелся чудный низкокалорийный замороженный обед, и зуммер гудел уже пять минут назад. Если мама хочет что-то со мной обсудить, пусть звонит. Все, убегаю. Рад был с тобой поговорить. Правда рад! — Он вешает трубку.

Он теперь покупает низкокалорийные замороженные готовые блюда, сырые овощи — капусту, морковь — и напрочь отказался от всего хрустяще-соленого. Его весы в ванной комнате показывают, что он сбросил три фунта, если взвешиваться голышом, с утра, сразу как очистишь кишечник. По вечерам он старается обходиться без телевизора и сопутствующих ему вещей — хлебницы в ящике кухонного стола и пива в холодильнике: он прямиком идет в постель и читает подаренную Дженис еще на прошлое Рождество книгу. Писательница, автор книги, уже присоединилась к Рою Орбинсону и Барту Джаматти в том потустороннем мире, где отдельные знаменитости вроде Элвиса и Мэрилин раздуваются, как воздушные шары, пока не превратятся в божества, и где, увы, подавляющее большинство сморщивается и скукоживается, усыхая до размеров пожелтевших некрологов, немногим больше того, какой уготован Гарри на страничке бруэрского «Стэндарда». Ни на один паршивый дюйм в форт-майерской «Ньюс-пресс» он не рассчитывает. Из некролога на смерть писательницы он узнал, что покойная приходилась племянницей Генри Моргентау, министру финансов при Рузвельте. Гарри отлично помнит Моргентау — такой востроносенький, он все призывал Гарри и его однокашников-школяров тратить у кого сколько есть несчастных пенсиков на военные почтовые марки. Поистине мир тесен, а жизнь, в определенном смысле, долгая.

Он добрался в книге до самых волнующих событий — наконец, после долгих лет разочарований и лишений и, прямо скажем, ничтожной поддержки со стороны его будущих сограждан-американцев, Вашингтон обрел надежду объединить усилия с французским флотом, направлявшимся из Вест-Индии, и с его помощью взять в тиски английского генерала Корнуоллиса, засевшего со своей армией в Йорктауне на берегу Чесапикского залива[[189]](#footnote-189). Кажется почти невероятным, что этот дерзкий план может сработать. Как с точностью рассчитать время, когда в одно место должны быть стянуты все основные силы, как обеспечить надежную связь, если любое сообщение с корабля на сушу и обратно идет по нескольку недель? Хорошо, допустим, а зачем вообще это было нужно той же Франции? *Вместо рвущегося в бой неустрашимого союзника французы получили ярмо себе на шею: союзник не сумел обеспечить единую действенную исполнительную власть и, чтобы иметь простую возможность вести военные действия, ему постоянно требовались все новые вливания в виде боевых кораблей и денежных сумм. Словом, война эта, как и все войны на свете, оказалась гораздо более дорогостоящей затеей, чем могли предполагать Бурбоны, когда в нее ввязывались.* Ну, так, а зачем это было нужно солдатам? *Простые солдаты американской армии, слишком долго мирившиеся с положением всеми забытых и заброшенных детей войны, терпя лишения, голод и безденежье, в то время как важные господа из конгресса разъезжали в экипажах и вдоволь ели и пили, теперь отказывались выступать в поход, если им не будет выплачено обещанное жалованье.* И зачем же все это было нужно Вашингтону? Он ведь не мог тогда предполагать, что его физиономия появится на долларовых банкнотах. Но он не отступается, тут латает, там выклянчивает, лезет, толкается, и вся его сила — в бездарности британских военачальников, этих высокородных подагриков, мечтающих поскорее вернуться в свои замки, да еще в том, что, как и позднее во Вьетнаме, местное население в массе своей не испытывало дружеских чувств к завоевателям. И вот уже Вашингтон переправляется с войсками через Гудзон, воспользовавшись тем, что английский главнокомандующий Клинтон малодушно отсиживается в Нью-Йорке. Одновременно граф де Грасс беспрепятственно ведет свой флот на север, потому что английский адмирал Родней осторожничает и, вместо того чтобы пуститься за ним в погоню, остается на оборонительных рубежах в Барбадосе. И все же вероятность того, что сухопутные войска и военные корабли окажутся в зоне Чесапикского залива в одно и то же время, а генерал Корнуоллис будет сидеть все так же на месте и послушно их дожидаться, представляется весьма сомнительной. Все эти корабли и обозы, все эти люди, устало бредущие, и лошади, галопом скачущие по песчаным лесистым дорогам Нового Света, которые лентами вьются через дремучие леса и пустынные поля, в краю медведей, и волков, и бурундуков, и индейцев, и странствующих голубей[[190]](#footnote-190)... Гарри неудержимо клонит в сон. Как их всех много, думает он, какая кутерьма. Его хватает на десять страниц за вечер; он, как усталое войско, продвигается медленным маршем.

В своих оздоровительных прогулках он не обязательно тяготеет к черным кварталам Делеона; он открывает и затем исследует шикарные улицы, о существовании которых даже не подозревал, — длинные, протянувшиеся вдоль береговой линии, с домами, обращенными лицом к океану, задом к дороге и случайному прохожему, который невзначай приметит деревянную лесенку, солярий, гараж на три машины в конце подъездной дорожки с закатанными в бетон морскими ракушками, а из посадок — кусты гибискуса и жакаранды, услышит плеск воды, долетающий из какого-то скрытого изгородью бассейна, урчание кондиционера в промежутках между шипящими накатами и откатами прибоя: *шшик — пши-ик*. Живут же люди! Это тебе не квартиренка в кондо, где сегодня у тебя есть вид на залив, а завтра его отнимут, и ничего не попишешь. Как ни лезь из кожи вон, как ни карабкайся наверх, над тобой всегда окажется кто-то побогаче, кто взошел на эту высоту без малейших усилий. Везунчики, они держат тебя внизу, растравляя в тебе чувство неудовлетворенности, чтобы ты с новой прытью ринулся покупать всякое рекламируемое по телевизору дерьмо.

В просветах между густой частной застройкой вдоль береговой линии видна, как нетрудно догадаться, синяя гладь залива, полосатые паруса, стремительно проносящиеся мимо водные мотоциклы, парашюты и моторные катера, которые их за собой тянут, и далеко на горизонте неподвижно застывшие серые силуэты грузовых судов. Фрр-рр! — это его обогнали велосипедисты в купальных костюмах; а вот следом пыхтит молодой упитанный почтальон в серо-голубых шортах и носочках в тон, толкая перед собой сумку-тележку на резиновом ходу, будто детскую коляску, теперь они все такими пользуются. Ну и народ нынче пошел — слабаки. Им бы только на диван к телевизору. Человек, который приносил почту на Джексон-роуд, уже не вспомнить, как его звали, мужчина с седеющими волосами, с красивым нерадостным лицом, мама еще говорила, от него жена ушла, так вот он всегда носил свою обшарпанную кожаную сумку на плече, дугой сгибаясь под ее тяжестью, особенно по пятницам, когда ему нужно было разносить по домам журналы, «Лайф» и «Пост»[[191]](#footnote-191). Да, точно, от него ушла жена: Гарри, тогда совсем мальчишка, пытался и не мог себе представить, чем же тот заслужил такой позор?

Его кроссовки «Найки» с пузырьками воздуха под пяткой несут его по отделанному ракушечником тротуару, такому ослепительно белому, что глазам больно, если солнце стоит высоко. И он идет дальше, в район причалов, туда, где в коралловый берег врезаются узкие ровные полоски воды, словно проложенные по трафарету улицы, заставленные всевозможными моторными лодками, которые покачиваются на привязи, послушные и пустые, их резиновые кранцы тихо постукивают по вертикальным коралловым стенкам, крутые бока не то подрагивают, не то поеживаются в солнечных лучах, отскакивающих увертливыми полосками от спокойной, ласково липнущей к борту воды. *Тук. Шлеп.* Всюду предупреждающие надписи «Посторонним вход воспрещен», но к нему, респектабельного вида белому господину в летах, это не относится. Чтобы приобрести и содержать такую лодочку, денег нужно столько, что в прежние времена на них можно было бы купить дом, и многие из стоящих здесь на приколе красоток, вне всякого сомнения, не раз использовались для кокаиновых рейсов: чух-чух, заработал мотор, отчалила лодка от причала глухой безлунной ночью; не зря же море и преступление всегда были заодно, сколько существуют корабли, столько же и пираты, где кончается суша, кончается закон, человек в открытом море ничто, волной накроет и поминай как звали, буль-буль и нету, наверно, потому-то Гарри и боялся — всю жизнь боялся воды. Он тоже любит свободу, но ему вполне хватает простора в полях и лугах, и другого ему не надо. Здешние жители все поголовно помешаны на лодках, но он этой страсти не разделяет. Ему подавай terra firma[[192]](#footnote-192). Удаляясь от воды, он обходит растянувшиеся на мили неказистые кварталы кое-как облагороженных бедняцких лачуг, понастроенных тут сразу после войны для людей скромного достатка, однако тоже желавших урвать для себя кусочек солнца, в боях добытого для них Вашингтоном, или для тех, кто попросту тут родился, для кого этот странный, нереальный, курортный край — их родной дом; домишки сбрасывают с себя краску, как отдыхающие на пляже одежду, и окружают их не кусты барбариса да тиса, а колючки кактусов, жиреющих под палящим солнцем, — все-таки в Америке чересчур жарко и сухо, чтоб европейская цивилизация могла пустить тут по-настоящему глубокие корни.

Но сколько бы он ни ходил по разным местам, его снова и снова тянет опять вернуться в обширный черный район, он и сам не знает толком почему: может, потому что он желает реализовать свое неотъемлемое гражданское право ходить где ему вздумается, а может, потому что эта как бы вовсе не существующая часть курортного города Делеона кажется ему смутно знакомой, бывал, бывал он здесь прежде, пока его жизнь еще окончательно не разнежилась, не раскиселилась. В понедельник после уик-энда, который должен был поднять неграм настроение — во-первых, избрана черная «мисс Америка», а во-вторых, футболист из команды «Филадельфийских орлов» Рэндел Каннингем буквально вытянул игру, когда его команда проигрывала «Краснокожим» из Вашингтона двадцать — ноль, — Кролик отваживается углубиться еще на несколько кварталов по сравнению с его прежними походами и там, позади старого пустующего здания средней школы (по-видимому, ровесницы бруэрской), сложенного из охристо-желтого кирпича, с высокими, забранными в решетки окнами и с латинским изречением над главным входом, он натыкается на спортивное поле: широкое, рыжее, открытое солнцу безлюдное пространство с бейсбольным ромбом и ограничительным забором у дальней границы и с двумя воротами для европейского футбола на внешнем поле, а ближе к улице расположились два выщербленных глиняных теннисных корта с провисшими, погнутыми от бессчетных ударов металлическими сетками и такая же бледная, утоптанная земляная баскетбольная площадка. Один против другого, каждый на своем конце, над площадкой торжественно возвышаются два щита с кольцами без сетки, поддерживаемые трубчатыми опорами. Возле одного щита топчется несколько черных мальчишек, идет борьба за мяч. Мельканье ног, короткие выкрики. От шаркающих подошв поднимаются облачка пыли. Кто-то притащил и поставил на нескошенной полоске отцветшей метельчатой травы возле цементной дорожки несколько скамеек. Спинок у них нет, хочешь — садись лицом к улице, хочешь — лицом к площадке. Кролик выбирает скамейку и устраивается в самом конце, так чтобы лицом ни туда, ни сюда, можно и за игрой наблюдать, и в то же время делать вид, будто просто присел на минутку передохнуть, прежде чем идти себе дальше своей дорогой, и никуда особенно не смотришь, и вообще не суешь нос в чужие дела.

Ребята, их всего шестеро, все в трусах и майках, заметно отличаются друг от друга по росту и по раскованности в движениях, но, что ему нравится, никто не суетится, попадают ли они в кольцо или мажут, откидывают мяч назад или проходят через заслон, или вдруг делают потешное обманное движение, будто собираясь рвануться вперед и тут же резко останавливаясь, чтобы из-за спины отдать кому-то замысловатый пас, это уж они по телевизору подглядели, обезьянничают, — все вместе они словно плетут какой-то общий узор, никто чрезмерно не выкладывается, жизнь вон какая длинная, да и день еще не кончается. Их вовлеченные в работу ноги по колено погружены в тончайший розоватый туман от зависшей в воздухе пыли, икры матово припорошены ею, только темнеют ручейки пота, а кеды окрашены одинаковым густо-розовым цветом глинистой земли. Здесь на площадке ощущается легкий ветерок, оживший на открытом пространстве бейсбольного поля. У Кролика на часах четыре, занятия в школе закончились, только не здесь, не в этой заброшенной школе из желтого кирпича, настоящая жизнь идет где-то совсем в другом месте, в какой-нибудь новомодной, приземистой, с обилием стекла средней школе, куда привозит ребят школьный автобус, где-то у черта на куличках, на разровненной бульдозерами городской окраине. Кролику радостно думать, что мир пока еще не слишком перенаселен и в нем попадаются такие вот обойденные вниманием любителей все осваивать и разрабатывать уголки. Прямо в центре площадки, за которой, конечно, никто не следит, проросла трава, видно, туда редко добегают обутые в кеды ноги — не здесь они топочут, прыгают и вдавливаются в землю на разворотах. Зато под кольцами, что на одном, что на другом конце площадки, заметны вытоптанные полукруглые ямки.

Хотя сидит он в отдалении — на расстоянии хорошего решительного чипа или, наоборот, легонького удара сэндведжем, — игроки его засекли. А ведь они не для того тут собрались, чтобы устраивать бесплатное представление для какого-то жирного старого белого бездельника, который разгуливает тут, будто его кто звал. И где его машина? Чувствуя гневный накал исподлобья бросаемых на него взглядов и опасаясь, как бы его робкая попытка установить с ними контакт не обернулась позорным провалом, Гарри демонстративно вздыхает, тяжело поднимается со скамейки и уходит, по пути поглядывая на таблички с названиями улиц, запоминая на будущее дорогу в этот мирный оазис. Если начать приходить сюда каждый день, то через какое-то время на него перестанут смотреть как на чужака. Черные — не белые, у них нет этого расистского инстинкта ревностно охранять свой квартал от посягательства «нечистых». И как раз сейчас они вроде бы должны быть ублаготворены: одна из них только что стала «мисс Америкой», у них на счету это уже третья. Забавно, что среди прочих членов жюри последнего этапа конкурса были две знаменитости, которых он прекрасно знает, относится к ним почти как к родным, да попросту *любит!* Филисия Рашад, именно она, и никто его в этом не разубедит, и есть подлинная звезда «Шоу Косби» — какие ноги, какая неотразимая естественная улыбка; и еще Майк Шмидт, которому хватило ума самому поставить точку, когда он понял, что новых свершений уже не будет. Получается, жизнь после смерти в каком-то смысле все-таки существует. Шмидт судит конкурсы. Ушлый продолжает жить. А в позапрошлый уик-энд темнокожая девчонка обыграла Крисси Эверт в Открытом теннисном чемпионате США — последнем в спортивной карьере Эверт. Легендарная теннисистка тоже решила поставить точку. Знать, пришло время.

«Ньюс-пресс» теперь что ни день выходит под огромными, через всю полосу заголовками, оповещающими читателей о продвижении урагана Гуго: *Смертоносный Гуго проносится по островам, Гуго врывается на Пуэрто-Рико.* Во вторник он совершает моцион по дорогим прибрежным кварталам и пытается разглядеть на небе признаки приближающегося урагана, начертанные перстом Создателя уведомления в виде облаков и туч, но тщетно. Вечером того же дня, случайно оказавшись вместе с ним возле лифта, миссис Забрицки подымает на него выпуклые, в прожилках глаза, глядящие с обтянутого кожей черепа, и весомо произносит:

— Страшная штука.

— Это какая?

— Какая идет сюда, — отвечает она, ее седые патлы, кажется, уже разметаны ветром, топорщатся во все стороны.

— Ах, это! Не бойтесь, до нас не дойдет, — успокаивает ее Гарри. — Это все репортеры истерию раздувают. Понимаете, истерию — ненужную панику. Работа у них такая: каждый вечер вынь да положь какие-нибудь новости, хоть из пальца их высоси!

— Так, да? — говорит миссис Забрицки, не без хитрецы. Ее шея еще глубже ввинчивается в горбатые плечи, отчего голова склоняется набок с игривым кокетством, хотя сама она скорее всего об этом не догадывается. А может, и догадывается, кто ее знает. Читал же он где-то, что даже в нацистских концентрационных лагерях и то возникали романы. Этот длинный без окон коридор с персиково-серебристыми обоями наводит на него оторопь своей склепообразностью, и он всегда не чает поскорей оттуда выбраться. Большая ваза на мраморном полукруглом столике вся в зеленовато-золотистых разводах, словно траурная урна с прахом. А лифт все не едет. Его партнерша по ожиданию, прочистив горло, вновь пытается завязать разговор.

— Завтра среда — ужин-буфет. Я много-много люблю буфет.

— Я тоже, — отзывается он. — Только мне трудно сделать выбор, и в результате я набираю всегда больше, чем нужно, ну, а раз взял, так уж и съедаю. — К чему это она про буфет заговорила? Приглашает пойти с ней вместе? Свидание ему назначает? Он уже некоторое время назад прекратил повторять ей, что Дженис приедет со дня на день.

— Кошерное едите?

— А я сам не знаю. Рулетики из бекона с гребешками, например, — кошерное блюдо?

Она выпучивает на него глаза, как будто если кто и сошел с ума, так это он, — глазные яблоки вот-вот выскочат из орбит: лопнут, не выдержав натяжения, нити или жилы, как ни назови, которые пока еще удерживают их в глазницах. Затем она, видно, приходит к умозаключению, что он пошутил: неуверенная скованная улыбка медленно расползается по нижней половине ее лица, испещренной морщинами вдоль и поперек, наподобие лоскутного одеяла, сшитого из крохотных квадратиков. Ему вспоминается малявка потаскушка со шмыгающим носом из Польско-Американского клуба, ее шелковистая кожа пониже пояса, под свитером, и он обиженно злится на Дженис, которая бросила его, в его-то возрасте, на милость женщин. Он ужинает за столом один, никем не потревоженный, но недавняя попытка вторжения со стороны миссис Забрицки до того разбередила его, что ему приходится убаюкивать сердце двумя таблетками нитростата.

А позже, 1 сентября 1781 года, когда он уже лежит в кровати, колонны французской армии пленяют воображение филадельфийцев. *Бурными овациями встречали жители Филадельфии французов, которые проходили торжественным маршем по улицам их родного города, радуя глаз парадными белыми мундирами и белыми плюмажами; воротники и отвороты у них были цветные — красные, зеленые, фиолетовые или синие, у каждого полка свой цвет, — что и говорить, во всей Европе не было солдат, экипированных наряднее.* Джозеф Рид, президент штата Пенсильвания, устроил в честь французских офицеров званый обед, *украшением которого стал суп из девяностофунтовой черепахи, поданный в ее же собственном панцире*. Вот где холестерина-то! Но их, похоже, это не заботило. Впрочем, сколько лет им всем было тогда, бедолагам? Уж не пятьдесят шесть, разве что за редким исключением. Солдаты боятся выступать на юг, в край малярийных болот. Рошамбо удалось отговорить Вашингтона атаковать Нью-Йорк, и вообще на этом этапе именно Рошамбо выполняет роль мозгового центра революции. Он намерен соединиться с армией де Грасса у северной оконечности Чесапикского залива. И де Грассу удается избежать столкновения с английским флотом адмирала Худа, избрав малоиспользуемый обходной путь между Багамами и Кубой. Нет, не получится, все равно не получится.

*Гуго рвется к Соединенным Штатам*, читает он заголовок в «Ньюс-пресс» на следующее утро. Гарри отказался от сладких хлопьев на завтрак и перешел на подушечки из пшеничной муки с отрубями, хотя зачем и почему и сам не помнит, вроде бы это как-то связано с клетчаткой и работой кишечника. Человек — та же канализационная система, как врачи говорят. Остается только надеяться, что он не доживет до такого состояния, когда все его мысли будут сосредоточены на том, сходил он или нет, и если да, то как. У мамаши Спрингер на исходе дней вошло в привычку докладывать о том, что ей удалось сделать в уборной, с такой значительностью, будто она снесла золотое яйцо в семейную копилку. Вечерние выпуски новостей прерываются рекламными вставками, и половина из них расписывает достоинства всевозможных слабительных, а другая — эффективность разных средств от геморроя: можно подумать, новости смотрят одни старые задницы. После завтрака он прогуливается по бульвару Пиндо-Палм и возвращается домой с пакетом продуктов из «Уинн-Дикси», где он решительно прошел мимо кукурузных чипсов «Кистоун», зато воздал должное низкокалорийным замороженным готовым обедам. Обещанный сегодня ливень хлынул в полдень, но к трем уже прекратился, и Кролик, словно в каком-то трансе, садится в «селику» и едет в центр Делеона, где оставляет машину возле двухчасового паркомата, и дальше идет еще одну милю пешком — к спортивному полю, которое он открыл для себя в понедельник. Сегодня на земляной баскетбольной площадке играют сразу две компании подростков, по одной у каждого кольца. На одной стороне энергично сражаются двое на двое, а с другой трое мальчишек не спеша по очереди кидают мяч в кольцо — в его детстве эта забава называлась «минус пять». Предположим, ты бросаешь первый, и если попадаешь, следующий должен в точности повторить твой бросок, а если промажет, получит минус один, минус два, и так пока не наберет минус пять — тогда он вылетает из игры. Кролик садится на скамеечку поближе к этой группе и не таясь наблюдает. Да что такое, в самом деле, это свободная страна или как?

Мальчишкам лет двенадцать-тринадцать от силы, они сами не понимают, как им относиться к появлению непрошеного зрителя. Чего надо здесь белому дядьке — наркотиков, черненьких мальчиков? Их расслабленные, с ленцой движения словно деревенеют, они подталкивают друг друга плечами, переглядываются, нервно хихикают. Потом один, может, нарочно, пропускает брошенный ему мяч, и тот от его руки отскакивает почти прямо к Гарри. Он, не поднимаясь с торца скамейки, наклоняется в сторону и левой рукой останавливает мяч. Левая у него всегда работала хуже правой, но и она, оказывается, еще кое-что помнит. Все помнит. Сразу признает эту тугую пупырчатую округлость, разделенную гладкими швами, и дырочку, через которую подкачивают воздух. Большой пупырчатый мяч, который так любит летать. Он кидает мяч им обратно, из положения сидя и поэтому немного неловко, но и не без намека на щегольство, пусть знают, что он тоже кое-что понимает. Как-то сразу успокоившись, черное трио сосредоточивается на игре, изощряясь в разных бросках — то попробуют забить крюком, то в обычном прыжке из-под кольца, то с разворотом, из-за спины, а то вдруг начнут изобретать какие-то неимоверные броски, которые, как ни смешно, иногда попадают в цель, благодаря счастливой случайности или везению. Один такой чумовой мяч отскакивает от дужки и летит прямо Кролику в руки. На этот раз он встает и с мячом в руках идет на поле к ребятам. Он чувствует, какой он огромный, — огромная надвигающаяся глыба с солнцем за спиной. Его тень падает на лицо ближайшему из мальчишек, голову которому прикрывает местами распускающаяся пестрая шерстяная вязаная шапочка. У другого пацана на майке красуется номер «8».

— Во что играете? — спрашивает их Гарри. — В минус пять, так это у вас называется?

— В треху, — нехотя отвечает Вязаная шапочка. — Три промаха, и гуляй. — Он протягивает руку за мячом, но Кролик поднимает мяч вверх, так что мальцу не достать.

— Можно мне разок бросить, а?

Ребята переглядываются, совещаясь глазами, и решают, что это вроде как выкуп за мяч, который они хотят получить назад.

— Валяйте, — разрешает Вязаная шапочка.

Гарри стоит под углом от кольца, на расстоянии футов двадцати, и когда колени его сгибаются, а правая рука идет наверх, он ощущает груз прожитых лет, многочисленных одеял, в которые запеленало его время, с тех пор, как он в последний раз бросал мяч в кольцо. Мимо. Он, как полагается, держит взглядом нужную точку на щите, но мячу не хватает амплитуды и, вместо того чтобы, скользнув по щиту, упасть в кольцо, он попадает между доской и дужкой и отскакивает назад в руки номеру 8.

— Да, дядя, — говорит с издевкой третий, из всех самый латиноамериканистый и неприветливый, — ты свое уже отыграл!

— Заржавел, точно, — соглашается Кролик. — И воздух тут у вас мне непривычный.

— Показать, как это делается? — предлагает номер 8, самый рослый из троицы.

Он становится на то место, откуда бил Гарри, и, открыв рот, болтает высунутым языком, в точности как Майкл Джордан. Он ласково, по-кошачьи, толкает воздух повыше лба, и мяч словно сам собой слетает с его длинной, коричневой, расслабленной руки. Но он тоже промахивается, попадая в дужку справа. Общая неудача помогает сломать лед. Кролик не двигается с места, выжидая, как они теперь поведут себя. Мальчишка в вязаной шапочке из разноцветных концентрических кругов, которые в Гаррином сознании ассоциируются с «Черными мусульманами»[[193]](#footnote-193), подбирает мяч и говорит: «Дайте-ка я уложу его как надо», и мяч действительно попадает в кольцо, хотя паренек его не бросает, а так, швыряет просто и видно сразу, что, в отличие от номера 8, ему не суждено стать еще одним Майклом Джорданом. Теперь или никогда. И Гарри спрашивает:

— Эй, слабо дать мне сыграть с вами в эту вашу «треху»? По-быстрому, один кружок, и я пошел. Я ведь просто гуляю, вышел ноги поразмять.

Хмурый латиноамериканец говорит приятелям:

— Чего он к нам лезет? Вы как хотите, а я с ним играть не буду. — И он идет прочь и садится на скамейке.

Но двое других, рассудив, вероятно, что один белый все равно что верхушка айсберга и самый верный способ миновать опасность — это пойти в обход, так и быть, соглашаются принять в игру настырного чужака. Он быстренько промахивается и раз и два — сперва не в силах повторить вслед за номером 8 бросок с двойным «обманным» замахом над вытянутыми вверх руками воображаемых защитников, затем хитрый бросок с левой руки, который первым выполняет Вязаная шапочка, а за ним и номер 8, — но потом Кролику удается поймать за хвост призрак былого мастерства и он начинает лидировать. Глубокий вдох, глаза на переднюю дужку кольца — и дальше все как по маслу. Расстояние между кистями рук и кольцом становится все меньше и меньше. Только ты и кольцо, десять футов над землей, над всем. Он до того расходится, что даже показывает им свой коронный номер, который он без устали отрабатывал на гравийных переулках Маунт-Джаджа: бросок двумя руками, стоя спиной к щиту, — голова запрокинута назад и корзину видишь вверх ногами.

Когда все переворачивается с ног на голову, каким синим и гранитно-серым кажется небо с облаками — пучина, бездна, готовая поглотить все и вся, будто опрокинутая вздыбленная земля. Мяч чисто ложится в кольцо, и все трое, довольные, смеются. Эти пацанята не умеют бросать двумя руками — не их, не «черный» стиль, поэтому Кролик мог бы как нечего делать забрасывать свой коронный с пяти шагов и всех их разделать под орех. Но в благодарность за то, что они такие молодцы — пустили его поиграть с ними, он бросает одной рукой и строит из себя верзилу-мазилу, выпуская вперед номер 8, и тот снова перехватывает инициативу.

— Смотрите все, суперкрюк Карима[[194]](#footnote-194)! — объявляет паренек и правда попадает в кольцо приблизительно с шести футов, стоя справа.

— Когда я был, как вы сейчас, — говорит им Кролик, — на таких же точно бросках специализировался Боб Петтит из команды Сент-Луиса. — И он, можно сказать, намеренно промахивается. — Все, у меня теперь три в минусе. Выбываю. Премного вам благодарен, джентльмены.

В ответ на его прощальные слова они что-то бормочут нечленораздельное, точно пчелы гудят. «Латиноамериканистому», который в знак протеста отсиживался на скамейке, он мимоходом кидает:

— Мое почтение, амиго.

Нагнувшись за своим сложенным зонтом, который он прихватил на случай нового непредвиденного дождя, Гарри улыбается: его кроссовки теперь густо присыпаны розовой пылью, в точности как кеды троих чернокожих мальчишек.

Он идет назад к своей машине у паркомата с чувством невероятного облегчения и очищения, словно он один из тех счастливцев в халатах из рекламного ролика «молочка магнезии», которые кружатся в мягком размытом фокусе, ошалев от радости, что наконец, благодаря чудодейственному молочку, их внутренности заработали как часы. Подумать только, всего чуть поиграл в баскетбол, а ощущение такое, будто ему теперь море по колено. На обратном пути в Вальгалла-Вилидж он останавливается возле закусочной и покупает большой пакет картофельных чипсов с луком и замороженную лазанью[[195]](#footnote-195), чтобы разогреть ее в духовке на ужин и тем самым избежать необходимости спускаться вниз к «ужину-буфету» в ресторане и чего доброго столкнуться там с миссис Забрицки. Ему уже начинает казаться, что он чуть ли не обязан ей чем-то — за то, что она его единственная соседка на этаже, обретшая здесь, как и он, свое одинокое пристанище.

Телефон в квартире молчит. В вечерних новостях снова сплошной Гуго, да еще факты мародерства на Виргинских островах Сен-Круа и Сент-Томас, пострадавших от разрушительного урагана, да еще в Вашингтоне зарубили программу по здравоохранению и это будет иметь катастрофические последствия здесь во Флориде, где сосредоточено огромное количество людей пожилого возраста, да еще новые сведения о пропавшем французском авиалайнере, совершавшем рейс из Чада в Париж. В Сахаре обнаружены обломки самолета, разбросанные на большой площади. Судя по удаленности отдельных кусков друг от друга, можно предположить, что в самолет была подложена бомба. *Как в тот самолет над Локерби*, мысленно отмечает Кролик. Ощущение, что ему море по колено, отступает, как океанский отлив. В любую секунду мы все можем взлететь на воздух.

Сама комната и вся обстановка в квартире сейчас, когда он живет тут один, кажется, застыли в молчаливом, грозном напряжении, как человек, который по какой-то причине дал обет не двигать ни рукой, ни ногой. По ночам он чувствует, как комнаты дышат — и думают. Они думают о нем. Пустой экран телевизора, светлый диван, склеенные из маленьких ракушек фигурки птиц, ровное, без единой морщинки, покрывало на кровати в комнате, которую накануне прошлого Нового года занимали Нельсон и Пру, аквамариновые кухонные шкафчики, слишком густого, назойливого тона, как показалось ему в первый момент и как до сих пор кажется, не желающий звонить телефонный аппарат — все обладает какой-то скрытой властью, способностью пережить его самого. Он живая плоть, они неодушевленные предметы. Наглухо замкнутое, гулкое пространство, приветствовавшее его появление семнадцать дней тому назад, теперь до краев заполнено страхом, напряженным нервным ожиданием, которое благодаря бормотанию телевизора, газетным заголовкам, таймерно-тикающему жару духовки, и скачущим, тоже тикающим минутам на таймере микроволновки, и даже негромкому шарканью, шороху и шуршанию, производимому движениями его собственного тела, еще как-то удерживается под спудом, но только пока все эти звуки и образы непосредственно длятся во времени; когда же и они, эти ничтожные раздражители пустоты, отступают, тогда вновь наваливается тишина, присутствие отсутствия, вопрос, на который нет ответа, но который со всех сторон окружает его пока еще прямостоящий, шелестящий стебель теплой крови. Лазанья липнет к зубам и напалмом жжет язык, но он тем не менее уминает все до последнего кусочка, всю порцию на двоих, пока сидит перед телевизором, перескакивая с Дженнингса на Брокоу и обратно в погоне за лучшими кадрами, запечатлевшими оставленные ураганом разрушения и сам ветер, бешеный влажный ветер, с ревом врывающийся в точно такие же, как у него, комнаты, вышибающий целиком раздвижные стеклянные двери и расшвыривающий их по сторонам, будто это противни для выпечки пирогов. Все разлетается к чертовой бабушке, мир рушится, и нет в жизни ничего, что можно было бы надежно пришпилить и удержать на месте. Красота!

У него вдруг возникает потребность, внезапная и неудержимая, как позыв помочиться у того, кто принимает мочегонное, поговорить с внуками. Дед он им или нет, в конце концов, кто может ему запретить? Ему приходится искать телефон Нельсона в записной книжке на письменном столе с ложно-бамбуковыми ножками; прошлой зимой номер поменялся, и теперь он его напрочь забыл — Гарри уже в таком возрасте, когда из памяти постоянно выпадает то одно, то другое. Так, вот она, книжка, вся исписана Дженисовым так и не устоявшимся ученическим почерком, со всеми мыслимыми и немыслимыми наклонами. Он набирает номер, но на середине вешает трубку, спохватившись, что, кажется, набрал 8 вместо 9, и набирает снова. Ему отвечает Пру. Голос будничный, негромкий, жестковатый. Его первый порыв — немедленно положить трубку.

— Привет, — говорит он. — Это я.

— Гарри, вам не следовало...

— А я и не собираюсь. И в мыслях нет с тобой говорить. Хочу поболтать с внуками. Тут вроде у Роя день рождения приближается?

— В следующем месяце.

— Подумать только. Четыре года исполнится.

— Четыре года ему сейчас. Будет пять.

— Значит, пора в садик, — говорит Гарри. — Невероятно. Я так понимаю, у вас с крошкой Нелли и третий уже не за горами. Красота!

— Да, посмотрим, что получится.

— Презервативы, значит, побоку, хм? И СПИД уже больше не боишься от него подцепить?

— Гарри, пожалуйста! Это совершенно вас не касается. Но если уж вам так интересно, он прошел тестирование и реакция на ВИЧ у него отрицательная.

— Красота! Еще одной заботой меньше. Ай да сынок у меня — не голубой и не заразный. Пру, по-моему, я тут схожу с ума. Такие сны мне снятся — как нарезка из комиксов.

Он рисует себе, как она сейчас кривовато улыбается его словам и уголок ее рта ползет книзу, как свободной рукой, двумя пальцами, откидывает со лба прядь морковно-рыжих волос. Сексапильна, что и говорить; да только какой прок, что в результате она получила? Мужа — в перспективе социального работника, место для проживания в доме, где она не хозяйка, и будущее, в котором ей предстоит влачить жалкое существование да, глядя в зеркало, видеть, как меркнет ее красота. Слышать ее голос для него все равно что припасть к глазку перископа и взглянуть на затуманенный солеными брызгами мир там, наверху. Она наверху, в этом мире, он здесь внизу, под водой.

Ее тон понемногу меняется, ныряет вниз, приближаясь к отметке дружеской доверительности. С женщинами всегда так: стоит раз переспать с ними, и в их голосе, обращенном к тебе, навсегда поселяются эти грудные модуляции.

— Гарри, как хоть вы проводите там время?

— Ну, я много хожу везде, гуляю, изучаю город. Старый добрый Делеон — приятный городок. Передай Дженис, если ты с ней видишься, что мне тут строит глазки одна богатая вдова-еврейка.

— Вообще-то она сейчас здесь у нас. Мы сегодня отмечаем одно событие — она продала дом. Не ваш дом, ваш она не может продать без вашего согласия, просто один дом для риелторской фирмы, для «Пирсона и Шрака», если точно. Она по их заданию ездит показывать дома по уик-эндам, пока сама не получила лицензию.

— Ну так это ж замечательно! Дай-ка мне ее, я тоже хочу ее поздравить.

Пру мнется.

— Мне надо спросить ее, захочет ли она говорить с вами.

В животе у него сразу разверзается пустота — от страха.

— Ладно, не стоит. Я позвонил поболтать с детьми, честное слово.

— Тогда передаю трубку Джуди, она тут вьется возле меня, очень возбуждена известиями об урагане. Гарри, берегите себя.

— Само собой. Ты ж меня знаешь. Я на рожон не лезу.

— Да уж я вас знаю, — говорит она. — Сумасшедший! — Как это у нее по-пенсильвански прозвучало, по-домашнему, степенно — врастает в местную почву, голубушка. Типичная бруэрская мать семейства не первой молодости.

Потом перестук, перешептывание, и вот уже трубкой завладела Джуди.

— Ой, деда, — возбужденно кричит она, — мы все так за тебя волнуемся, там же у вас ураган!

— Кто это все? — говорит он. — Надеюсь, не моя красавица Джуди? Просто смешно ей волноваться после того, как она справилась с утлой лодчонкой и вытащила деда на берег! По телику сказали, что Гуго готовится нанести удар по обеим Каролинам сразу. Но отсюда это целых шестьсот миль. У нас тут все спокойно, светит солнышко, с небольшими перерывами. Я даже немножко поиграл в баскетбол с ребятишками, почти такими же, как ты, ну разве чуточку постарше.

— А у нас шел дождь. Весь день.

— И еще к вам в гости пришла бабушка, — подсказывает он ей.

— Она не хочет говорить с тобой, — сообщает ему Джуди. — За что она на тебя злится, ты плохо себя вел?

— Сам не знаю! Может, слишком много перед телевизором сидел, пультиком щелкал?.. Эй, Джуди, знаешь что? По дороге сюда я ехал мимо Диснейуорлда, и я дал себе торжественное обещание, что, как только вы снова здесь окажетесь, мы обязательно устроим туда семейную вылазку.

— Не-а, не надо. Ребята из школы там были, и все говорят ничего особенного, скучно даже.

— Ну, а в школе как?

— Мне нравится учиться и так, вообще, но всех ребят я ненавижу! Выродки поганые!

— Не надо так говорить. Это очень некрасиво. А в чем дело, ребята не обращают на тебя внимания?

— Да уж лучше бы не обращали! Они меня дразнят из-за веснушек. Обзывают морковкой конопатой!.. — Тоненький голосок срывается.

— Ну, тогда все ясно. Просто ты им нравишься. Они от тебя без ума. Только не мажь губы помадой, пока тебе не исполнится лет пятнадцать. Помнишь, о чем я просил тебя в прошлый раз, когда мы говорили?

— Ты сказал: не торопи время.

— Точно. Не торопи время. Пусть все идет как идет. Природа сама разберется. Слушайся маму и папу. Они тебя очень любят.

— Знаю, знаю, — вздыхает она, уже скучая.

— Ты свет их жизни. Слыхала такое выражение — «свет их жизни»?

— Нет.

— Ну, вот и ладно, глядишь, и я тебя чему-то научил. Теперь давай беги к своим делам, милая. Можешь дать трубку Рою?

— Он говорить-то нормально не может, такой дурак!

— Может, может. Позови его. Скажи ему, дедушка припас для него пару мудрых слов.

Трубка со стуком кладется, и ухо улавливает невнятный звуковой фон — какая-то каша домашних шумов: ему даже мерещится, что он слышит голос Дженис, твердый и решительный, как у покойницы мамаши Спрингер. Приближающиеся шаги: кто-то идет к телефону через гостиную, которую он знает как свои пять пальцев — любимое кресло старика Спрингера, широкие окна с задернутыми шторами, маленький столик с волнистым бортиком — зеленое стеклянное яйцо с капелькой пустоты внутри, много лет на нем красовавшееся, теперь перекочевало на стеллаж сюда в кондо и сейчас красуется у него перед глазами. Голос Пру говорит ему:

— Дженис не хочет говорить с вами, Гарри. Передаю трубку Рою.

— Привет, Рой, — говорит Гарри.

Молчание. Снова Господь Бог на проводе.

— Ну, как там у вас? Говорят, дождь лил целый день.

Опять молчание.

— Ты хороший мальчик, маму-папу слушаешься?

Молчание, но, похоже, кто-то там задышал.

— Видишь ли, — говорит Гарри, — ты, наверно, сам пока так не думаешь, но у тебя сейчас очень серьезный возраст.

— Деда, привет, — наконец пищит детский голосок.

— Привет, — откликается Гарри, вынужденный тем самым снова вернуться к началу разговора. — Мне очень скучно тут без тебя.

Молчание.

— Каждое утро ко мне на балкон прилетает птичка-невеличка и спрашивает: «Где же Рой? Где же Рой?»

Молчание — да большего эта примитивная дребедень и не заслуживает. Но малыш неожиданно произносит еще одну фразу, которой его, по-видимому, успели научить:

— Деда, я тебя люблю.

— А я люблю тебя, Рой. Да, кстати, с днем рождения! В следующем месяце тебе ведь будет уже пять. Совсем взрослый парень.

— С днем рождения, — повторяет за ним Рой, на этот раз тем странно-низким, мужицким голосом, какой у него временами вдруг неожиданно прорезается.

Гарри ловит себя на том, что ждет какого-то продолжения, но ему самому совершенно ясно, что продолжения не будет.

— Ну, хорошо, — говорит он, — на этом мы, пожалуй, закончим. Очень было приятно с тобой поговорить. Скажи всем, что я их люблю и целую. А теперь можешь повесить трубку. Ну давай, будь умницей, положи трубку.

Молчание, потом негромкое неловкое постукивание — трубка пытается попасть на рычаг, — и линия разъединяется. Непонятно, думает Кролик, в свою очередь возвращая трубку на место, зачем ему понадобилось заставлять несмышленыша класть трубку первым. Можно подумать, для него это вопрос жизни и смерти.

Он опять остается один, и ему делается невыносимо жутко от мысли, что весь вечер придется безвылазно сидеть в этих стенах. Полвосьмого, времени еще навалом, чтобы поспеть на «ужин-буфет», хотя, с другой стороны, рот у него болезненно раздражен после переперченной лазаньи и картофельно-луковых чипсов, целого пакета колючих гнутых дисков с острыми краями и солью. Ладно, сходить он все-таки сходит, но ограничится какой-нибудь низкокалорийной ерундой. Беседа с родственниками его заметно приободрила: тылы у него все-таки есть. Решив обойтись без душа, он быстренько надевает рубашку, пиджак, галстук. У лифта все чисто, миссис Забрицки его не подкарауливает. В полупустом «Мид-холле», под взглядами неистовых воителей-викингов, которые глядят на него с огромного керамического панно, он устраивает себе пир на весь мир, угощаясь, среди прочего, рулетиками из бекона с гребешками. Оригинальное сочетание таких разных фактур — хрустящего, свернутого в трубочку бекона и нежно-упругих, чуточку резиновых гребешков — настолько восхитительно и воспринимается с такой обостренностью его воспаленным ртом, что аппетит его сразу делается бездонным. Он идет за добавкой, добавляя заодно уж и спаржи в сметанном соусе, и картофельных оладышков, но потом вдруг сразу ему делается так тяжело, что сердце жалобно сжимается. Он берет под язык таблетку и отказывается от десерта и кофе, хотя бы и без кофеина. Осторожно ступая, он двигается к дому через чуждые жесткие пучки бермудской травы, через транспортный островок с зеленым покрытием, под теплым звездным куполом, а вернее, под перевернутой кверху дном глубокой чашей, в которую мы заглядываем сверху вниз (сегодня, бросая мяч с прогибом назад в баскетбольное кольцо, он вдруг это ясно понял), мы прилеплены к поверхности земли — как мухи на потолке. Ох и объелся же он, даже мутит. И воздух тяжелый; Млечный Путь едва намечен, как убегающая кверху от пупка дорожка из светлых волосков на животе у женщины.

Он входит в квартиру за пятнадцать минут до окончания очередной серии «Болезней роста», единственного семейного телесериала, где ни один из персонажей не вызывает ни малейшей симпатии, разве что Розаннин муж, добряк-простак, у кого-то симпатию вызывает. Потом он какое-то время скачет взад-вперед между «Неразгаданными тайнами» на канале 20 и старой записью Эббота и Костелло[[196]](#footnote-196) на 36-м — должно быть, это было смешно, когда их программа только вышла на экраны, в тот самый год, когда Гарри окончил школу. Костелло визжит как резаный, на нервы действует своими воплями, а Эббот старый, злобный как черт, и чуть что лупит нещадно своего толстяка-приятеля. Ну и времечко было — все орали друг на друга, рычали, как звери. Может, шестидесятые и правда пошли нам на пользу, если разобраться как следует. Среди постоянно встревающих рекламных роликов попадается и тот, что снят по заказу автомобильной компании «Ниссан» для продвижения на рынке их новой модели «инфайнити», — цикады, пруды с лилиями, никаких машин в помине, одна природа, один снобизм. Реклама «лексуса», которую он недавно видел, почти такая же загадочная и многозначительная: какая-то неправдоподобно живописная, блестящая от дождя дорога. И те и другие попросту уходят от ключевого вопроса: по плечу ли японцам создать свой оригинальный образ машины класса люкс? Или же те, кто может позволить себе швырнуть на авто тридцать пять тысяч, отдадут предпочтение европейцам? Слава Богу, Гарри нет больше до этого никакого дела. Вот Джейку, в его магазине на дороге в Потстаун, тому дело есть, а Гарри нет.

Он чистит зубы, не забывая и про зубную нить, и про полоскание для рта. Теперь, когда он здесь один, без Дженис, он становится все более педантичным в своих привычках: разрешите представить, еще один старый нудный холостяк, у которого главная забота — регулярный стул да еще волосы в носу. Да, волосы в носу, не хватало только стать похожим на доктора Морриса. Сегодняшний двойной ужин отзывается резкой болью в животе, но сколько он ни сидит на унитазе, ничего не выходит. Сейчас бы ему очень пригодилось хваленое «молочко магнезии», надо будет не забыть купить. Это же самое слабительное рекламировалось еще в одном ролике, там про его эффективность рассуждал какой-то негр, и из-за цвета его кожи реклама получилась излишне натуралистичной, принимая во внимание цветовую гамму конечного продукта, — недодумали ребята. Улегшись в постель, он, выступив вместе с союзными армиями в поход на Йорктаун, неожиданно натыкается на ужасные свидетельства британских зверств в районе Уильямсберга. Адъютант де Грасса, швед Карл Густав Торнквист, достойный потомок древних викингов, свидетельствует в своем путевом дневнике: *Взойдя в господский дом посреди прекрасной усадьбы, мы обнаружили там беременную женщину, заколотую штыками в своей постели; лютые варвары вырезали обе ее груди и на балдахине над ее ложем начертали: «Так не родишь же ты бунтовщика!» В другой комнате нашим глазам предстало зрелище не менее ужасное: пять отрубленных голов были расставлены на буфете взамен гипсовых статуэток, кои, вдребезги разбитые, лежали тут же на полу. Бессловесная скотина тоже не избежала жестокой участи. Во многих местах на пастбище лежали убиенные лошади, быки и коровы.* Гарри пытается нырнуть в сон, раздвинув завесу невольного волнения, вызванного этими кровавыми картинами. Почему-то Война за независимость представлялась ему вполне джентльменским предприятием, без всяких таких ужасов. Постепенно его начинают окружать разные ускользающие видения, полусон-полуявь, кошмары, в которых только после пробуждения нельзя обнаружить смысла. Он видит круглый женский живот с гладкими швами и поблескивающей пушистой дорожкой посередине — живот вспорот, и оттуда вытягиваются ярды и ярды красного шпагата, как из сердцевины бейсбольного мяча. Потом он лежит рядом с кем-то, с каким-то маленького роста мужчиной, одетым во все черное, у которого вялое, безжизненное, совсем без мышц тело, будто это кукла чревовещателя, и черные очки на лице. Он просыпается, когда за окном еще темно, слишком рано для визга косилок, для щебета неприметной бурой пичуги в ветвях норфолкской сосны, для болтовни молодых бизнесменов, собирающихся в четверки поиграть в гольф на заре. Он в темноте идет в ванную комнату, прокладывая путь между неподвижными глянцевыми очертаниями и косыми полосками тусклого света — от синих цифр на таймере духовки, от желтоватых дежурных лампочек на ограде гольф-поля. Он сидя, по-бабьи, мочится и возвращается в постель. Спит он всегда на своей стороне кровати, как если бы Дженис по-прежнему спала на своей. Теперь ему снится знакомая уже запертая дверь с закругленным верхом, только на этот раз она сразу открывается, поворачиваясь на бесшумных податливых петлях, и впускает его внутрь, где царит какое-то яркое, праздничное оживление. Место вроде знакомое, да, это нижний этаж в доме мамаши Спрингер, но чтобы попасть туда, почему-то нужно спуститься по ступенькам, словно в подвал, и все там такое нарядное, каким ее дом сроду не был, какое-то разноцветное, карнавальное, прямо латиноамериканское великолепие, сравнимое разве что с рекламой пароходных круизов, которую вот уже сколько времени крутят, прерывая выпуски новостей; там его радостно приветствует множество людей, иных он едва знает, других с трудом припоминает: вот миссис Забрицки — молоденькая, тоненькая, не узнать, если бы не игриво-вопросительно свернутая на сторону шея, в короткой по самое некуда юбочке с бахромой, как было модно в шестидесятых, вот Марти Тотеро с почтальонской сумкой на плече, и перекос в фигуре гармонично сочетается с перекосом в его лице, а вот мама с папой, еще в расцвете сил, оба рослые, быстроногие, одетые как на праздник, возвращаются домой из больницы с новорожденной девочкой на руках, завернутой в розовое одеяльце, из которого выглядывает только крошечный вздернутый носик и плотно зажмуренный глазик, вот высокий темноглазый мужчина с твердым строгим взглядом и зализанными блестящими черными волосами, как на старой рекламе бриолина, — он крепко, по-мужски пожимает Гарри руку, а Дженис быстро шепчет Гарри в ухо, что это, конечно же, Рой, повзрослевший Рой, вон какой вымахал, с Гарри ростом. Просыпаясь, Кролик чувствует кистью это крепкое рукопожатие и еще не угасшую приветливую улыбку на своем лице.

*Гуго угрожает юго-восточному побережью. Самолет авиакомпании «ЮС-эр» потерпел катастрофу в Нью-Йорке. Авария французского авиалайнера ДС-10, возможно, вызвана взрывом бомбы. По требованию властей округа Ли владельцам судоходных средств придется снизить скорость в районах обитания морских коров.* Гарри кормит себя овсяными отрубями и с грехом пополам переваривает их вместе с «Ньюс-пресс». *Сен-Круа во власти хаоса: отряды полиции и национальной гвардии слились с толпой вооруженных мачете мародеров и приняли участие в бесчинствах на пострадавшем от урагана острове. Туристы осаждают прибывающих на остров репортеров просьбами помочь им выбраться из района бедствия.* Нытики несчастные, ей-богу. Ему приходит в голову, что, возможно, его сон навеян потоком сообщений из района Карибского бассейна, где в канун уик-эндов в курортных гостиницах всегда устраиваются веселые праздники для вновь прибывших отдыхающих. Он выходит на свой узкий балкончик поглядеть, что сегодня с погодой. В газете обещали солнечный день, несмотря на происки Гуго, и не наврали. Торчащие в отдалении сине-зеленые небоскребы отбиваются от ярких мячиков света, которыми забрасывает их поднявшееся на востоке утреннее солнце. Залив не виден, но запах его доносится и сюда. Он силится вспомнить всех, кто был еще на празднике, и не может: люди из сна не застревают в памяти. Нью-йоркский самолет через несколько секунд после взлета потерял управление и упал в реку, двое погибли. Только двое. В Сахаре сто семьдесят один. В Лондоне получено телефонное сообщение: звонивший объяснил, что за случай с французским лайнером следует благодарить Аллаха. Это известие Гарри принимает не так близко к сердцу, как сообщение о бомбе в самолете «Пан-Ам», рухнувшем на Локерби. О чем бы ни говорили в новостях, все мало-помалу приедается, набивает оскомину, как телевизионные рекламные тайм-ауты во время футбольных матчей.

Пока те, кто моложе его, перекрикиваются и перешучиваются на поле для гольфа за занавешенной раздвижной дверью, Гарри наводит порядок у себя дома: застилает постель, подметает пол в кухне и ставит еще один стакан из-под сока и плошку из-под сухого завтрака с молоком в посудомоечную машину, где медленно собирается рассортированная по форме и калибру посуда, которой пока все еще недостаточно для нормальной загрузки. И сегодня тоже. Когда Дженис соблаговолит наконец сюда явиться, он желает быть во всеоружии и преподать ей наглядный урок по ведению домашнего хозяйства.

В десять он выходит на утренний променад. Он смотрит на небо, на северо-запад, откуда движется ураган, который держит Флориду в напряжении, и поражается виду облаков — как они причудливо многообразны, как разметаны клочьями по небу, серые — на белом — на голубом, тут и вздыбленные кручи дождевых туч, и вереницы длинных, снизу косматых, а сверху гладко-округлых облаков, будто побывавших под сильной струей воды и напоминающих след прибоя на песке. Солнечный свет льется словно сквозь толщу прозрачного, стеклянного ветра в вышине. Что-то сегодня в воздухе не то, дышать трудновато. Слишком мало озона? Или, наоборот, слишком много? Наверное, это только игра его воображения, но ему тем не менее кажется, что в небе сегодня нет самолетов. Обычно видишь, как они один за другим, то выше, то ниже, вычерчивают медленную дугу, заходя на посадку в региональном аэропорту юго-западной Флориды. Да, что-то спугнуло самолеты с неба. В солнечных лучах словно какая-то широкая дорога из туманной, иссеченной ровными полосами дымки вертикально уходит за горизонт на северо-востоке, напоминая зыбкие полосы лунного света на поверхности спокойно дышащего океана.

Повинуясь безотчетному порыву, он вдруг решает сходить за «селикой», поехать в центр, оставить машину у паркомата недалеко от «Первого федерального банка», а самому прошвырнуться в негритянский район. А ближе к вечеру он, пожалуй, попробует пройти пару лунок в гольф. Ему на днях позвонили из клуба и сказали, что туфли его нашлись.

На площадке за пустующей желто-кирпичной школой высокий парень в обрезанных по колено джинсах бросает мяч в одно кольцо, в другое, сам, один, больше никого. На нем бирюзовая, пронзительно яркая майка с головой рыкающего тигра: оранжево-белый полосатый мех, желтые глаза, а язык и кончик носа неправдоподобно фиолетовые. Однако на парне наряд его выглядит уместно, даже производит впечатление удачно подобранной спортивной формы. Он старше вчерашних мальчишек, ему лет восемнадцать по меньшей мере. И, в отличие от них, он точно знает, что делает, все его движения экономны и выверены: он отрабатывает дриблинг, изучает площадку и, бросая, держит взглядом кольцо, рассчитывает силу — обе руки на мяче, левая уходит вниз только в самый последний момент. На ногах у него высокие, по щиколотку, черные кеды, без носков; прическа пирожком, которая прикрывает череп сверху, а с боков и сзади под ней на короткой щетине выбриты иксы. Усевшись на скамейке, на противоположном конце от маленького красного рюкзачка, оставленного тут парнем, Кролик довольно долго за ним наблюдает, в то время как солнце продолжает светить, а прозрачный, невидимый ветер дуть, и проплывающие по небу облака то и дело окунают земляную площадку и окрестные неказистые домики в глубокую тень. Дома цвета вылинявшего на солнце белья кажутся далекими и безмолвными. Не видно, чтобы кто-нибудь выходил из них или в них входил.

Иногда, чтобы сменить позу, Гарри отклоняет голову назад, будто загорает, подставляя солнцу свое белое лицо, погружая закрытые глаза в красное, разрешая фотонам прожигать насквозь его полупрозрачные веки. В одно из таких мгновений, раскрыв глаза, он видит, что парень стоит прямо перед ним, чернее грозовой тучи. Чернота у него с каким-то матовым оттенком, а высокие скулы и тонкие губы выдают присутствие индейской крови.

— Вам что-то надо? — Голос у него ровный, без выражения и без улыбки. Невольно кажется, что он раздается из разинутой фиолетовой пасти тигра.

— Нет, ничего, — говорит Кролик. — Может, я мешаю?

— Совсем ничего? — Свободной рукой, той, что не прижимает к бедру мяч, он делает едва уловимое движеньице, как бы легкий щелчок хлыстом — *крэк!* Кролик стреляет глазами туда, где стоит красный рюкзачок, и возвращает их обратно к пасти тигра.

— Нет, спасибо, — говорит он. — Сроду не баловался. А вот как насчет один на один? Раз у тебя нет другой компании.

— То-то я слыхал, белый тут вчера дурака валял.

— Во-во, я ж на пенсии, только и валять дурака.

— Почему здесь? Зачем так далеко ходить? Вам негде валять дурака у себя, в вашей части города? Там таких мест навалом.

— Там как-то скучно, — говорит ему Гарри. — Мне больше нравится здесь, не так много всякой мишуры. Ты против?

Пока парень, несколько сбитый с толку, раздумывает, что ответить, рука Кролика быстро ложится на мяч — он сильнее обшарпан, чем мяч у вчерашних ребятишек, и не цвета естественной кожи, а сине-красно-белый. Сглаженно-шероховатая поверхность под рукой теплая.

— Ну же, — просит он, — дай мячик.

Выражение лица у парня никак не меняется, но он позволяет Кролику забрать мяч. Со своей добычей Гарри шагает по утоптанной земле. Он ощущает себя головокружительно высоким, как тогда, этим летом, когда он ступил на пустую проезжую часть во главе парада. Утром он надел штаны-бермуды, чтобы быть готовым, если подвернется случай поиграть. Пыль и солнце гладят его голые икры, белые как мел стариковские икры, на которых и всегда-то волос было немного, а теперь практически не осталось — там, где о лодыжки больше пятидесяти лет терлись носки, их нет совсем.

Он бросает наудачу с порядочного расстояния и попадает. Он и Тигр по очереди делают броски, избегая дотрагиваться друг до друга и передавая друг другу мяч с отскоком от земли.

— Вы играли раньше, — заключает наконец парень.

— Очень давно. В школе. Больше нигде не учился и не играл. Тогда была совсем другая манера, чем у вас теперь. Но если хочешь отработать какие-то движения в «один на один», — пожалуйста, я к твоим услугам. Играем до двадцати одного. Штрафные — по требованию.

Во взгляде Тигра читается свинцовая тоска, но он кивает и ловит откинутый ему мяч. Пижонской баскетбольной походочкой — плечи опущены, зад оттопырен — он идет на центральную линию, продавленную в земле пятками кед. Со спины парнишка — сплошь кости да жилы, отполированные потом; но покатые плечи под бирюзовыми лямками сухие и матовые.

— Погоди, — говорит Гарри. — Приму-ка я сначала свою таблетку. Не обращай внимания.

Нитростат загорается под языком, и к тому времени, когда Тигр пошел в атаку, а Кролик накрыл его бросок из-под щита и потом сам отошел с мячом назад, но промазал с двадцати футов, пощекатывающий эффект таблетки достиг уже противоположного конца туловища. Он чувствует приятную расслабленность и беспредельную свободу — поначалу. У Тигра в арсенале несколько хороших, резких, обманных приемов, и он, конечно, намного проворнее грузного пожилого человека, но много бросков он тратит впустую. Этот нынешний их стиль, стоп-скок, не дает тебе времени слиться с целью в одно органичное целое, и, кроме того, траектория бросков у Тигра оставляет желать лучшего: недостаточно плавно сходит у него мяч с кончиков пальцев, низковато летит, превращая мишень — кольцо — из полного круга в узкую щель. Еще он на дюйм или два уступает Гарри в росте; Гарри несколько раз перепрыгивает его под щитом, и мяч, благополучно пройдя над кончиками Тигровых пальцев, падает в кольцо: вот так, мягонько, вверх, в кольцо, готово. Кольцо без сетки в самый раз для таких мячей, его и кольцом-то не назовешь: дрянной оранжевый обруч, немилосердно погнутый любителями показать «класс» в духе Дэрила Докинса из Филадельфии — вколотить мяч сверху в кольцо что есть силы и после еще непременно на нем повиснуть. И Тигр начинает заводиться и прессинговать, навязывая более жесткую, стремительную игру, если, конечно, Гарри такое потянет. Локти Тигра, его острые коленки стукаются о Гаррино тело, и он невольно смеется, вспоминая знакомое старое ощущение: атака, борьба, толчея. Краем сознания он отмечает колыхания своего толстого брюха, сопровождающие каждое энергичное действие, водянистую тяжесть, которой наливаются колени, но нет — адреналин и ностальгия сильнее. Тигр начинает играть на медлительности противника все с большей жестокостью, с хирургическим расчетом — то резко уворачиваясь, то внезапно атакуя, и Кролик тоже прибавляет в темпе, чувствуя, как дышать становится все труднее, как просвет для воздуха все сужается. Но несмотря ни на что, он радуется солнцу, выбивающему струи пота из пор, словно пробуждая к жизни посеянные семена. Подлинный смысл этого бешеного напряжения в том, чтобы слиться с землей и небом, чтобы он, земля и небо стали одним целым: земля, утрамбованная, розоватая, прекрасная пыль, на которой снова и снова отпечатываются расходящиеся веером полоски от подошв его кроссовок и сетки-клетки от черных кед Тигра, утоптанная земля на периферии его поля зрения, когда он сосредоточен на дриблинге; и небо, широкое бледное небо, куда он поднимает глаза, чтобы проследить за полетом мяча после броска, своего или того, другого. Облака взволнованной серебристой толпой окружили слепящее солнце — лазоревый небесный стадион. Случайно, в каком-то коротком рывке вверх, Кролик смотрит прямо в око солнцу и потом еще с минуту не может отделаться от мерцающей красной луны, прыгающей у него перед глазами. В груди все сжалось, голова плывет; пульс отдается в ушах, в насквозь промокшее пятно между лопатками острым ножом вонзилась боль. Тигр ловит отскочивший после его же броска мяч и, прижав его к бедру, замирает в грациозной позе и выразительно смотрит на Гарри. Кожа его как мелкозернистый черный точильный камень. У него маленькие, плотно прижатые к голове уши, а волосы над иксами так туго закручены, как только это может сделать природа; солнце играет в каждом тугом завитке.

— Эй, вы как?

— Я? В норме.

— Чего тогда пыхтите?

— Поживешь с мое. Узнаешь.

— Может, хватит? Никакой беды нет.

Кролик — пот застилает ему глаза и кровь гулко пульсирует в жилах — понимает, что парень делает великодушный жест. Ему кажется, что древо его артерий и вен усыпано огромными алыми цветками. Никакой беды нет. Не беда, что у тебя кишка тонка с молодыми тягаться. Не беда, что тебе даже коротенькую игру один на один не потянуть. Пот, смешиваясь с пылью, начинает спекаться у него на ногах. Он боится потерять ритм, порыв или, как это еще выразить, вдохновение, небесную милость.

— Разве тебе... Игра не нравится? — спрашивает он. Ему доставляет удовольствие пугать Тигра своей толстой красной физиономией, вздымающимися как меха белыми телесами, непреклонными, как у храбрых викингов, ледяными голубыми глазами.

— Ну почему. Терпимо. — Наконец-то он улыбается. Изумительные ровные зубы, нежно-лиловые десны. Теперь даже у ребят из гетто зубы в идеальном порядке.

— Тогда уговор есть уговор. Играем до двадцати одного, как договорились. Сейчас по восемнадцати, верно?

— Верно. — Ни тот, ни другой ни разу не потребовали штрафного.

— Давай! Твой мяч, Тигр.

Боль в спине у Гарри раздвигается от центра в стороны, как два неловких крыла. Темнокожий парень делает быстрый рывок, огибает Гарри и, выпрыгнув из-под кольца, забивает мяч сверху. Гарри отбегает с мячом подальше, почти к центральной линии и отсюда, где никто не пытается ему помешать, он выполняет старомодный бросок двумя руками из положения стоя. В момент, когда мяч вылетает из его рук, он уже знает, что попадет точно в цель; в заготовке этого дня предусмотрен особый желобок и, оказавшись в нем, мяч обречен завершить свой полет в кольце.

— Ну даешь, дядя! — восхищенно говорит Тигр. — Вот это выдал! — И он пытается изобразить нечто похожее, одной рукой, издали, но дуга слишком низкая, и мяч, с силой ударившись в дужку, мгновенно возвращается назад. Кролик успевает первым его поймать, но сделать быстро ничего не может, тело его сейчас весит, наверное, тонну, ступни ног потеряли всякую связь с головой. В ту же секунду Тигр оказывается между ним и кольцом, фиолетовый оскал нависает над лицом Кролика, но потом он вдруг немного отступает, и Кролик чувствует просвет, секундное послабление, когда можно пройти зазевавшегося защитника, и он рвется к щиту, волоча за собой противника, будто тяжелый, ударяющий в бок при каждом движении куль с углем, и прыгает. В глазах у него кольцо, только кольцо, оно наклоняется чмокнуть его прямо в губы — промаха быть не может.

Он взмывает вверх, высоко навстречу клочковатым облакам. Его туловище рвется на части от боли, словно его распороли от локтя до локтя. Словно он взрывается изнутри; он чувствует, как что-то огромное неотвратимо хватается за него, — и замертво валится на пыльную землю. Тигр ловит упавший четко в кольцо мяч и в ту же минуту получает увесистый удар, будто противник, сознательно идя на штрафной, навалился на него всем телом. Но тут он видит, как грузный белый дядя, с лицом каким-то полузадушенным и сонным, беззвучно шмякается наземь, — как тряпичная кукла, которую бросили с высоты. Тигр стоит, потрясенный, над простертым телом: клетчатые штаны-бермуды, новые кроссовки «Найки», голубая рубашка-поло с эмблемой из двух перевитых «В». Одна щека покрыта тонким слоем клейкой глинистой пыли, будто тень легла на безжизненное пунцовое лицо, будто его наполовину замазали клоунскими белилами. Мальчишка, потрясенный, повторяет:

— Вот так выдал!

Бежать! — велит ему инстинкт, выталкивая из головы любые соображения практического толка. Его дело сторона, без него разберутся. Он подхватывает со скамейки свой рюкзачок — с таким впору отправляться в однодневный поход с ночевкой бойскаутской мелюзге — и, прижав его вместе с мячом к груди, не оглядываясь идет прочь. Где-то в середине квартала он переходит на бег и бежит под высоким встревоженным небом. Над головой пролетает самолет, как бы соскальзывая вниз по длинной диагонали.

С высоты фигура Гарри с разметанными, неловко подогнутыми руками и ногами кажется такой одинокой на спортивной площадке, как солнце в небе, в центре облачного стадиона. Время идет. Затем в тенетах общества происходит слабое шевеление: кто-то из жителей близлежащих домов, кто из-за занавески наблюдал за всем, что происходило на поле, звонит по телефону 911. Еще через несколько минут неимущие старики, ютящиеся в перегороженных, наглухо заколоченных на случай урагана каморках, где единственное близкое существо у них телевизор, заслышав приближающиеся сирены, принимают их за сигнал тревоги — знать, буря от Южной Каролины все-таки перекинулась к ним.

###### \* \* \*

— Инфаркт на сей раз препоганый, трансмуральный, — говорит доктор Олмен и поясняет: — Стенку разорвало к чертовой матери. — И с помощью кожи и плоти своего внушительного кулака он пытается продемонстрировать ей отличие этого типа инфаркта от субэндокардиального, более легкого, с которым можно жить. — Левый желудочек пробит насквозь, мэм, — внушает он Дженис. — Почти с уверенностью могу предположить, что после процедуры, которую ему сделали в апреле у вас на севере, стенозные явления возобновились и на момент инфаркта достигли первоначального объема. — Его крупное лицо с опаленным солнцем крючковатым носом и мощным, выдвинутым вперед австралийским подбородком само кажется Дженис, воспринимающей все сквозь дурман бессонницы и горя, пугающе похожим на сердце. Зачем он вертит перед ней своими лапищами, будто силится вывернуть Гарри наизнанку, чтоб ей было понятнее, зачем? Поздно. — Поздно теперь делать шунтирование, — с каким-то даже раздражением фыркает доктор Олмен, после чего с видимым усилием укрощает свой голос, вправляя его в колею благоприобретенной задушевности, свойственной коренным жителям американского Юга. — Если даже каким-то чудом нам удалось бы вытащить его из нынешнего критического состояния, мэм, то вместо здоровой эластичной мышцы, такой, как у меня или у вас, ему пришлось бы довольствоваться комком рубцовой ткани. Можно заменить артерии, клапаны, но для живой сердечной мышцы замены пока не придумали. — Видно, что он, хоть и сдерживается, но зол на весь белый свет, как какой-нибудь незадачливый гольфист, который запорол три подряд коротеньких патта. Молодой он еще, думает Дженис, будто во хмелю, он винит людей за то, что они умирают. Считает, это они нарочно осложняют ему жизнь.

После того как вчера вечером к ней в дом пришли пенн-парковские полицейские (какими тоже молоденькими они показались ей, какими перепуганными своей незавидной ролью; им позвонили из делеонской больницы, когда все попытки связаться с кем-либо из родственников по телефону в кондо или по номеру, который сообщило справочное, установив, какой адрес указан в его водительских правах, оказались безуспешными: ее действительно не было дома — показывала одной молодой паре, приехавшей из другого штата, сначала разноуровневый дом в районе Бруэр-Хайтс, где раньше жили Мэркетты, потом старый каменный фермерский дом ближе к Ориолу; едва она вошла к себе домой, как на подъездную дорожку, облизывая плиты известняка синим светом мигалки, въехала полицейская машина) и она попыталась дозвониться до Мим, у которой никто не снял трубку, а потом раздобыть для себя и Нельсона билеты, чтобы тем же вечером улететь во Флориду — как назло, авиакомпания «Истерн эрлайнс» из-за забастовки работала вполсилы, а все рейсы через Атланту из-за урагана были отменены или отложены, и потом в машине добралась до аэропорта в Южной Филадельфии, преодолевая изнурительные мили по Скулкиллской скоростной, которую все никак не могут отремонтировать, и по лабиринту объездов, где Нельсон по ошибке свернул не туда, и они в мгновение ока оказались в центре города, возле Индепенденс-холла[[197]](#footnote-197), и потом провела несколько часов томительного ожидания, не имея другого занятия, кроме как утешать Нельсона да читать газеты, оставленные кем-то на пластиковых стульях, и вспоминать Гарри, во всех его обличьях, начиная с той поры, когда она увидела его впервые в школьных коридорах и на баскетбольных матчах, на площадке, такого красивого, светловолосого, мраморного мальчика, а потом, уже во Флориде, вошла в пустую квартиру в кондо, где все так идеально прибрано, если не считать стопок старых газет, которые он вечно зачем-то хранит, и крошек на плетеном кресле от его кусочничанья (однако никаких следов постороннего женского присутствия в спальне, только книга, которую она подарила ему на прошлое Рождество, с парусником на суперобложке), и все время рядом был Нельсон, реагирующий на все так, что уж лучше бы он отпустил ее одну, ей-богу, — настает день, когда материнское начало в тебе умирает, вот так же, как сердечная мышца, такое приходит ей на ум объяснение, — и потом урвала для отдыха несколько часов беспокойного сна, слишком рано прерванного визгом косилок на гринах и криками первых игроков в гольф, и с трудом вытерпела завтрак, вызвавший капризное недовольство Нельсона, которому, видишь ты, подавай сладкие хлопья, а отрубей он есть не желает, он не лошадь, чтоб овес жевать, — да, после всего этого Дженис почувствовала себя точно так же, как чувствовал себя ее муж, завершив свой долгий автопробег, когда он прибыл сюда в уик-энд накануне Дня труда: ей казалось, будто ее всю, сверху донизу, долго и нудно дубасили мешками с песком. Наутро в коридоре, как и в любое другое утро, под дверью лежала газета:

Гуго добрался до Южной Каролины

Доктор Моррис, Моррис-старший, Гаррин здешний врач, должно быть, прослышал, что она в больнице; он явился в холл для посетителей в кардиореанимационном отделении, сам, судя по виду, не в лучшей форме, весь в каких-то пятнах, пучки волос в носу, костюм коричневый не отутюжен. Он берет ее за руку и, глядя ей прямо в глаза через стекла своих неоправленных очков, произносит:

— Что делать, каждому свой срок. — Легко говорить, когда тебе под восемьдесят, ну уж семьдесят пять самое меньшее. — Он был у меня недавно, я его послушал, и мне его сердце очень не понравилось. Но с аналогичными недугами люди живут и две недели и двадцать лет, тут заранее ничего сказать нельзя. Отчасти это зависит от собственной установки. Мне показалось, что он слишком мрачно стал смотреть на жизнь. Мы с ним совместно пришли к выводу, что ему необходимо найти себе занятие, для пенсионного покоя он был еще слишком молод.

Слезы постоянно стоят в глазах у Дженис с той минуты, как у нее под окнами возникла синяя полицейская мигалка, и последняя реплика доктора и его по-стариковски мудрое, ласковое обхождение вызывают новый поток. В последние отпущенные ему дни Гарри видел больше участия от доктора Морриса, чем от нее. В каком-то смысле за время, прошедшее с тех давних, но застрявших в памяти стоп-кадров, когда он блистал на баскетбольной площадке, она постепенно все меньше и меньше его замечала, пока он не превратился почти в невидимку.

— А обо мне он говорил? — спрашивает она, беспокоясь, не обмолвился ли он, что они в ссоре.

Колючие шотландские глаза старого доктора секунду-другую буравят ее насквозь.

— Да, с большим чувством, — отвечает он ей.

В этот утренний час, в начале десятого, когда по больничным коридорам еще катят тележки с грязной посудой после завтрака, в холле для посетителей отделения кардиореанимации никого, кроме них с Нельсоном, нет, к тому же Нельсон весь как на иголках, без конца куда-то срывается, то ему надо срочно позвонить Пру, то сходить в уборную, то глотнуть кофейку со сладкими хлопьями в кафетерии, который был обнаружен им где-то в другом крыле. Холл для посетителей — крохотный закуток с окном на парковочную площадку, забрызганным поливальной установкой и со вчерашнего вечера по краям еще не просохшим, с журналами в основном религиозного толка на низеньком столике, с жесткой черной скамьей и стульями и торшерами из гнутых трубок с пластмассовыми абажурами: казенная обстановка словно предупреждает, что долго рассиживаться вам тут ни к чему, в больнице и без вас знают, как обращаться с пациентом, вы главное не мешайте. Одна в этом чистилище, Дженис думает, что надо бы помолиться за Гаррино исцеление, испросить у Господа чуда, но когда она закрывает глаза, надеясь собраться с мыслями, перед ней вырастает глухая черная стена. Из всего, что наговорил доктор Олмен, она поняла, что прежним ему уже никогда не стать и что тут поделаешь, как сказал доктор Моррис, каждому свой срок. Его пик пришелся на юность, и когда она познакомилась с ним у Кролла, он уже начал тихо сползать вниз, хотя потом дела на время поправились, благодаря доходам от магазина, которые стали поступать в их собственное распоряжение. Без него она сможет спокойно продать дом в Пенн-Парке. *Милый Боженька*, наконец обретает она слова молитвы, *полагаюсь на волю Твою.*Молодая темнокожая сестра появляется в открытом дверном проеме и говорит ей тихо-тихо, сверкнув прелестной белозубой улыбкой: «Он пришел в себя», — и с этими словами ведет ее в реанимационное отделение, памятное Дженис еще по прошлому декабрю: в центре круглый сестринский пост, наподобие службы управления полетами в аэропорту, весь заставленный мониторами с прыгающими оранжевыми линиями (каждый больной, со своим сбивчивым сердцебиением, у них тут как на ладони) и с трех сторон окруженный рядами одноместных узких боксов с застекленной передней стеной. И когда она видит в одном из этих отсеков его, ее Гарри, белого, как полотно больничных простыней, опутанного проводами и трубочками, неподвижно лежащего за стеклянной стеной, ее вдруг сзади будто что-то толкает и в какое-то мгновение ей кажется — вот сейчас ее вывернет наизнанку, такая сокрушительная обрушивается на нее волна горя и ужаса от осознания неотвратимой утраты, какой ни разу еще не было в ее жизни, кроме того страшного дня, когда она случайно утопила в ванне свою ненаглядную доченьку. Она, конечно, не помышляла всерьез воплотить в жизнь свою угрозу ни за что его не прощать, все это время она собиралась «на днях» позвонить, но дни летели один за другим, а она не звонила; потом игра в молчанку так затянулась, что она сама незаметно привыкла к ней, можно даже сказать, пристрастилась. Как могла она настолько ожесточить свое сердце, что в него уже было не достучаться, и против кого? — человека, который перед алтарем соединил с ней свою жизнь и дал обет быть с ней всегда, и в горе и в радости? Да и вообще в случившемся виноват не Гарри, а Пру, какой мужчина откажется; она, Пру и Нельсон втроем анализировали все это, до последней косточки обсосали. Она вполне успокоилась, поверила, что впредь это не повторится и что у нее впереди своя полная надежд жизнь, и ей столько надо еще успеть. И вот теперь это. Не раньше, не позже. Он называл ее дурехой, она и правда соображала медленнее, чем он, и медленнее нащупывала свою дорогу, на которой смогла бы наконец показать все, на что способна, однако в последнее время он начал относится к ней с уважением, для него это непросто — испытывать уважение к женщине, любой женщине, спасибо его мамаше, ее воспитание, повезло со свекровкой, нечего сказать! Тогда, в период их жениховства у Кролла, все четверо их родителей были еще живы, а все равно они с Гарри были как сироты неприкаянные, и к нему это относится даже больше, чем к ней. Он разглядел в ней что-то такое, что могло дать ему надежную точку опоры, пусть на время. И сейчас она хочет, чтобы он к ней вернулся, вернулся назад из той неведомой стихии, в которую он все глубже погружается. Ей так тошно, ее вот-вот вывернет, и все его уходы, и Пру, и Тельма, и не важно что еще — все смыто без следа огромностью этой минуты, когда она видит его на больничной койке, такого беспомощного и невозвратного.

Сестра открывает раздвижную дверь. Над всунутыми ему в нос нежно-голубыми кислородными трубочками синеют его открытые глаза, но на ее голос он никак не реагирует. Он видит ее, видит перед собой свою жену, миниатюрную, смуглую, с упрямством, въевшимся в ее лоб и рот, откуда журчащим водопадом изливаются потоки слов, и все о каком-то прощении. «Я прощаю, прощаю тебя», — без конца твердит она, а он и не помнит за что. Он лежит, покачиваясь на волнах какой-то чудной стихии, на ложе блаженного бесчувствия, почти глухой к пронзающим его острым толчкам боли. Он слушает журчание Дженис и дивится, до чего она стала крошечная, особенно в этом инвалидном кресле, которое тут предлагают вместо стула посетителям, как будто ее поместили внутрь хрустально-прозрачного рождественского шара — встряхнешь, и на фигурки и домики падает снег, — только совсем бесплотная, как из тонкой паутинки, каждая складочка на лице и на измятом сером форменном костюме продавщицы проступает тонюсенькой четкой линией. Она его прощает, и он благодарит ее — во всяком случае, думает, что благодарит. Кажется, она берет его за руку. Сознание его то включается, то выключается, и дивно ему, что в мгновения провалов кто-то неусыпно продолжает свои заботы о мире, как и задолго до его рождения. У него страшная сухость в глотке, но он знает, что это свербящее ощущение пройдет, врачи это так не оставят, что-нибудь предпримут. Дженис кажется одной из участниц приснившегося ему недавно яркого праздника. У него мелькает мысль рассказать ей про Тигра и про главное — *я выиграл*, но, едва вспыхнув, этот порыв угасает. Он чувствует приятную усталость. И закрывает глаза. В красной пещере, где, как он думал, всего одна дверь для входа и выхода, есть, оказывается, и другая, прямо напротив, в дальнем конце.

Незаметно знакомые контуры жены сменяются очертаниями Нельсона, тоже, как и она, очень чем-то расстроенного.

— Ты не сказал ей ни слова, папа, — пеняет ему сын. — Она говорит, ты только смотрел на нее, но ни слова не сказал!

*Ну-ну*, думает он, *что еще я делаю не так?* Ему жаль, что он причинял сыну горе, но зато теперь он как раз оказывает ему большую услугу, только Нельсон, похоже, этого не понимает.

— Ты что, совсем не можешь говорить? Скажи мне что-нибудь, папа! — Мальчишка вопит, вернее, изо всех сил старается не вопить, лицо у него от усилия белее мела, и от какого-то невысказанного вопроса несколько волосков в одной брови загнулись в другую сторону. Он хотел бы избавить мальчишку от того, что так гнетет его. *Нельсон*, хочется ему сказать, *у тебя есть сестра.*Но говорит ли он это вслух? Никакой перемены в выражении напряженного, взволнованного лица сына. Хотя из его следующей реплики, возможно, следует, что он уловил все-таки слово «сестра».

— Мы позвонили Мим, папа, она будет здесь, как только сможет добраться. Ей нужно лететь с пересадкой, через Канзас-Сити!

У него такое лицо и голос так звенит, словно он пытается докричаться сквозь яростный встречный ветер, бьющий ему в лицо с той стороны, где лежит его отец.

— Папа, папа, не умирай! — кричит он, потом снова садится, все с тем же немым вопросом на лице, его темные мокрые глаза блестят, как звездочки. Негоже Гарри вот так оставлять ребенка одного с его повисшим в воздухе вопросом, он в ответе за мальчика.

— Ну что мне сказать тебе, Нельсон, — говорит он, — только одно: не так уж это страшно. — Кролик думает про себя, что надо бы еще что-то добавить, сын так явно, так неистово ждет чего-то, но нет, хватит. Надо бы. Хватит.

1. Имеется в виду фантастический фильм режиссера С. Кубрика «2001: Космическая одиссея». [↑](#footnote-ref-1)
2. По‑видимому, герой вспоминает имена известных американских киноактрис и певиц Барбры Стрейзанд и Бет Миллер. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Кондо — сокр. от* кондоминиум (совладение): особый тип кооперативного многоквартирного дома с системой услуг (столовая, автостоянка, прачечная и т. п.), которыми могут пользоваться все жильцы — владельцы квартир. [↑](#footnote-ref-3)
4. Т. е. близко к 30 °C. Здесь и далее указана температура по Фаренгейту. [↑](#footnote-ref-4)
5. Живописное местечко в Ирландии, известное благодаря популярной песенке. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Тед Банди* — американский студент‑юрист, приговоренный к смерти в 1979 г. по обвинению в убийстве около 40 женщин (в числе его жертв была и 12‑летняя девочка); приговор приведен в исполнение в 1989 г. после многократных просьб осужденного о помиловании. [↑](#footnote-ref-6)
7. Японский император Хирохито умер в 1989 г. [↑](#footnote-ref-7)
8. *БАСП* — белый, англосакс, протестант. Иными словами, стопроцентный американец. [↑](#footnote-ref-8)
9. Федеральная программа льготного медицинского страхования для лиц старше 65 лет и инвалидов. [↑](#footnote-ref-9)
10. Разговорное название «олдсмобилей». [↑](#footnote-ref-10)
11. Комедийный актер, звезда разговорного жанра. [↑](#footnote-ref-11)
12. Популярное полуторачасовое шоу в прямом эфире. [↑](#footnote-ref-12)
13. Имеется в виду Хуан Понсе де Леон, который первым из европейцев ступил на землю Флориды в 1513 г. и дал ей ее теперешнее название. [↑](#footnote-ref-13)
14. Лужайка вокруг лунки с очень гладкой, коротко подстриженной травой, обычно круглой или грушевидной формы. [↑](#footnote-ref-14)
15. Участки с короткой травой, называемые также «фарватеры». [↑](#footnote-ref-15)
16. Герой вспоминает популярный кинофильм «Игры в пижамах», снятый по мотивам одноименного бродвейского мюзикла 1950‑х гг. [↑](#footnote-ref-16)
17. Игра с передвижением деревянных кружков по размеченной доске. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Вуд* — клюшка для гольфа с деревянной головкой; *ведж* , или *сэндведж* , — клюшка для гольфа, предназначенная для выбивания мяча из бункера (песчаной ловушки). [↑](#footnote-ref-18)
19. Рок Хадсон (1925—1985) — американский киноактер. [↑](#footnote-ref-19)
20. Разновидность лото; победитель получает денежный выигрыш или иной приз. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Уиллард Скотт, Джейн Поли и Брайант Гамбл* — ведущие ежедневной утренней программы «Сегодня». [↑](#footnote-ref-21)
22. Американский бизнесмен, миллионер, ему принадлежит известный небоскреб в Нью‑Йорке — Башня Трампа. [↑](#footnote-ref-22)
23. Площадка, с которой производится первый удар; так же называется специальная подставочка для мяча. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Драйвер* — клюшка для ударов с ти (на дальнее расстояние). [↑](#footnote-ref-24)
25. Клюшка для гольфа с металлической головкой. [↑](#footnote-ref-25)
26. Удар с ти на дальнее расстояние по довольно низкой траектории. [↑](#footnote-ref-26)
27. Удар на короткое расстояние, после которого мяч резко подлетает вверх и опускается на грине. [↑](#footnote-ref-27)
28. Удар, при котором мяч в полете отклоняется от прямой траектории влево. [↑](#footnote-ref-28)
29. Шотландец по происхождению, эмигрировал в США в 1925 г., победитель крупнейших соревнований по гольфу, впоследствии профессиональный тренер. [↑](#footnote-ref-29)
30. Участок с высокой травой. [↑](#footnote-ref-30)
31. Заранее определенное число ударов по мячу, которое считается нормативным для той или иной лунки или же для всех лунок на поле. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Буги* — число ударов по мячу, которое на один превышает пар. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Майкл Дукакис* (род. 1933) — американский политик, демократ, неоднократно избирался губернатором штата Массачусетс, кандидат в президенты на выборах 1988 г., уступил первенство Дж. Бушу. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Оливер Норт* (род. 1943) — полковник морской пехоты, одна из главных фигур политического скандала 1986—1987 гг., вошедшего в историю под названием дело «Иран — контрас», или «Ирангейт». [↑](#footnote-ref-34)
35. Рекламный лозунг пивной компании «Курс» из Колорадо — «Штата Скалистых гор». [↑](#footnote-ref-35)
36. Специальная трапеза в канун еврейской пасхи (песах). [↑](#footnote-ref-36)
37. *Песчаная ловушка* — специально предусмотренная преграда на поле для гольфа. [↑](#footnote-ref-37)
38. Завершающий удар, в результате которого мяч должен закатиться в лунку; специальная клюшка, с помощью которой он производится, называется паттер. [↑](#footnote-ref-38)
39. В еврейской среде — женщины не иудейского вероисповедания (*пренебр.*). [↑](#footnote-ref-39)
40. В названии клуба обыгрывается традиционное число лунок на гольф‑поле — 18. [↑](#footnote-ref-40)
41. Название популярной марки американского пива. [↑](#footnote-ref-41)
42. Цифровое выражение разницы, назначенной каждому игроку между его счетом и паром. Игрок с меньшим гандикапом дает игроку с большим гандикапом фору — определенное количество ударов. [↑](#footnote-ref-42)
43. Имеются в виду удары с ти и удары айроном на дальние расстояния. [↑](#footnote-ref-43)
44. Несчастье, беда (*идиш*). [↑](#footnote-ref-44)
45. Название популярных телевизионных сериалов [↑](#footnote-ref-45)
46. *Каджуны* — потомки выходцев из Акадии (Новой Шотландии) во французской Канаде; живут в южной части штата Луизиана; славятся своей своеобразной музыкой и кухней. [↑](#footnote-ref-46)
47. Блюдо, приготовляемое из мяса и кукурузной муки. [↑](#footnote-ref-47)
48. Имеется в виду известный фильм «Возвращение Мартена Teppa» (1982). [↑](#footnote-ref-48)
49. Повод к войне (*лат.*). [↑](#footnote-ref-49)
50. Город во Флориде на берегу Мексиканского залива. [↑](#footnote-ref-50)
51. Обширный заболоченный район в южной Флориде к югу от оз. Окичоби; в южной части района расположен Национальный парк «Эверглейдс». [↑](#footnote-ref-51)
52. *Золотарник* , или золотая розга, — род многолетних трав; некоторые американские виды этого растения содержат каучук. [↑](#footnote-ref-52)
53. Мультфильм Уолта Диснея (1941), главный герой которого — смешной и трогательный слоненок Дамбо (*досл.* глупыш). [↑](#footnote-ref-53)
54. Имеется в виду Великая депрессия, экономический кризис 1929—1932 гг. [↑](#footnote-ref-54)
55. Вид баньянового дерева, так называемый фикус священный (Ficus religiosa). [↑](#footnote-ref-55)
56. Имеется в виду хищная водяная ящерица, пожирающая яйца и детенышей крокодилов (согласно народным поверьям, предупреждает о приближении крокодила). [↑](#footnote-ref-56)
57. Раковины двух разных видов брюхоногих моллюсков. [↑](#footnote-ref-57)
58. Раздел геронтологии, изучающий особенности болезней старческого возраста, методы их лечения и предупреждения. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Сигурни Уивер* (р. 1949) — американская киноактриса, исполнительница роли «начальницы» в фильме «Деловая женщина» (1988) и главной роли в фильме «Гориллы в тумане», вышедшем на экраны в середине 1980‑х. [↑](#footnote-ref-59)
60. Иначе: канадский, или индейский, рис — зерна растения цицании водянистой: выращивается на специальных фермах. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Снук* — морская рыба, встречающаяся в тропических районах Атлантического моря и Тихого океана. В английском игра слов: выражение «snooks» значит примерно «шиш тебе!» [↑](#footnote-ref-61)
62. Четверть галлона, то есть 0,946 л. [↑](#footnote-ref-62)
63. По названию Чесапикского залива Атлантического океана на территории штатов Виргиния и Мэриленд, где развит промысел креветок и устриц. [↑](#footnote-ref-63)
64. Обычно четыре ритуальных вопроса задает на седере (в канун еврейской пасхи) младший из присутствующих на празднике детей. [↑](#footnote-ref-64)
65. Популярный телесериал (1984—1992) о жизни негритянской семьи; роль главы семьи исполнял известный актер Билл Косби. [↑](#footnote-ref-65)
66. Комедийный телесериал (1982—1993) об одном бостонском баре и его завсегдатаях. [↑](#footnote-ref-66)
67. В первое десятилетие после Второй мировой войны в США наблюдалось резкое повышение («бум») рождаемости. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Капок* — волоски из плодов сейбы (хлопчатого дерева), высушенные и спрессованные в кипы, не смачиваются водой и не тонут. [↑](#footnote-ref-68)
69. Популярнейший персонаж одноименного мультфильма и комиксов, придуманный художником Джимом Дэвисом. [↑](#footnote-ref-69)
70. Роман Эрика Сигала, легший в основу одноименного фильма. [↑](#footnote-ref-70)
71. Песни из диснеевских фильмов «Волшебник страны Оз» и «Белоснежка и семь гномов». [↑](#footnote-ref-71)
72. Американская киноактриса, танцовщица; в 1930‑е гг. снималась в мюзиклах с Фредом Астером. [↑](#footnote-ref-72)
73. Термостабильная субстанция кокаина в виде отдельных гранул; в отличие от кокаина крэк курят, а не нюхают. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Спидбол* — смесь кокаина с героином. [↑](#footnote-ref-74)
75. Богатый железом лекарственный препарат, который принимают обычно люди пожилого возраста. [↑](#footnote-ref-75)
76. Имеется в виду американский футбол. [↑](#footnote-ref-76)
77. Американский киноактер, снимавшийся, в частности, в полицейском телесериале «Улицы Сан‑Франциско». [↑](#footnote-ref-77)
78. *Макадамия* , или квинслендский (гавайский) орех — вечнозеленое австралийское дерево со съедобными орехами; широко культивируется на Гавайях. [↑](#footnote-ref-78)
79. Искусство складывать из бумаги разнообразные фигурки или сами эти бумажные фигурки (*япон.*). [↑](#footnote-ref-79)
80. Упоминаются эпизоды из известных фильмов 40—50‑х годов («Касабланка», «Литл‑Биг‑Хорн», «Самсон и Далила») и исполнители главных ролей в них. [↑](#footnote-ref-80)
81. Популярный в Америке автор и исполнитель песен, главным образом о любви. [↑](#footnote-ref-81)
82. В самолете, потерпевшем катастрофу над Локерби, летели американские студенты из г. Сиракьюс, штат Нью‑Йорк, и солдаты из американских воинских частей в Германии, возвращавшиеся домой. [↑](#footnote-ref-82)
83. Удар, после которого мяч, пролетев все поле (100—120 м), покидает его пределы, что позволяет «бьющему» (бэттеру) совершить пробежку по всем трем базам с возвратом в «дом» и внести в копилку команды от одного до четырех очков. [↑](#footnote-ref-83)
84. Пенсильвания была последним штатом, который проголосовал за Декларацию независимости и тем положил последний, замковый, камень в символическую конструкцию, образованную на карте первыми 13 колониями. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Содружество Пенсильвания* — официальное название штата Пенсильвания, подчеркивающее принцип объединения административных единиц, пользующихся бóльшим самоуправлением, чем в других штатах. Содружествами также именуются штаты Массачусетс, Виргиния и Кентукки. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ширли Темпл* в 30‑е гг. ребенком снялась более чем в двадцати фильмах; осталась в памяти зрителей обворожительной златокудрой девчушкой, которая заразительно пела и плясала. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Дина Дурбин* — популярная киноактриса 30—40‑х гг., снимавшаяся в музыкальных фильмах. [↑](#footnote-ref-87)
88. Так называемый таймшер (time‑share), когда каждый из соарендаторов платит свою часть годовой аренды и в соответствии с величиной пая пользуется арендуемой площадью в течение определенного времени. [↑](#footnote-ref-88)
89. *«Деревня»* или *«поселок»* (village) — часто встречающееся в курортных местах название жилых комплексов со своим административным центром. Так, Гарри и Дженис живут в Вальгалла‑Вилидж, т. е. в поселке (деревне) Вальгалла. [↑](#footnote-ref-89)
90. 30 марта 1981 г. в Вашингтоне Джон Хинкли стрелял в президента Рейгана. [↑](#footnote-ref-90)
91. Героиня комиксов, мультипликационных и игровых фильмов — неуязвимая амазонка. Вместе с Суперменом и Бэтменом входит в «Американскую лигу справедливости» — союз непобедимых супергероев. [↑](#footnote-ref-91)
92. Генерал Альфредо Стреснер, родился в 1912 г. в семье немецких колонистов, к власти пришел в 1954 г. в результате военного переворота. [↑](#footnote-ref-92)
93. Фильм режиссера Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982). [↑](#footnote-ref-93)
94. *Саркома Капоши* — онкологическое заболевание, для которого характерны кожные высыпания на руках, ногах, лице; нередко возникает у больных СПИДом и становится причиной смерти. [↑](#footnote-ref-94)
95. Игровой период в бейсболе. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Yuppie* (*сокр. от* Young, Upwardly‑mobile Professional, *или* Young, Urban Professional) — «молодой, проживающий в городе, преуспевающий профессионал» (*англ.*). Категория 30—40‑летних высокооплачиваемых государственных служащих и бизнесменов; духовному поиску хиппи 60‑х гг. поколение яппи противопоставляет заботу о здоровье, стремление к карьере и материальному благополучию. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Оливер Норт* (род. 1943) — полковник морской пехоты, одна из главных фигур политического скандала 1986—1987 гг., вошедшего в историю под названием дело «Иран — контрас», или «Ирангейт». [↑](#footnote-ref-97)
98. Комедийный актер эстрады и кино (род. 1940). [↑](#footnote-ref-98)
99. Знаменитый бейсболист из команды «Нью‑йоркские янки». [↑](#footnote-ref-99)
100. *Yuppie* (*сокр. от* Young, Upwardly‑mobile Professional, *или* Young, Urban Professional) — «молодой, проживающий в городе, преуспевающий профессионал» (*англ.*). Категория 30—40‑летних высокооплачиваемых государственных служащих и бизнесменов; духовному поиску хиппи 60‑х гг. поколение яппи противопоставляет заботу о здоровье, стремление к карьере и материальному благополучию. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Голди Хоун* (р. 1945) и *Джейн Фонда* (р. 1937) — известные американские киноактрисы. [↑](#footnote-ref-101)
102. В бейсболе удар, при котором мяч перелетает через две базы. [↑](#footnote-ref-102)
103. *Питчер* — подающий обороняющейся команды в бейсболе. [↑](#footnote-ref-103)
104. Речь идет о трагедии на стадионе «Хилсборо» в Шеффилде 15 апреля 1989 г. и о взрыве орудия главного калибра на американском линкоре «Айова» 19 апреля 1989 г. [↑](#footnote-ref-104)
105. Американская киноактриса (р. 1957), славящаяся своей красотой. [↑](#footnote-ref-105)
106. Такое прозвище получила модель «кадиллак‑флитвуд» выпуска 1959—1960 гг. на волне увлечения супергероем Бэтменом. [↑](#footnote-ref-106)
107. Организация для оказания помощи родственникам наркоманов, созданная при Обществе анонимных наркоманов. [↑](#footnote-ref-107)
108. Популярный музыкальный еженедельник. [↑](#footnote-ref-108)
109. Персонажи детских комиксов художника Чарльза Шульца: дети Чарли Браун, Лайнус, Пигпен и песик Снупи. [↑](#footnote-ref-109)
110. Первый немецкий город, захваченный союзниками (1‑я армия США) после восьмидневного уличного сражения 13—20 октября 1944 года. [↑](#footnote-ref-110)
111. *Опра Уинфри* — популярная темнокожая ведущая ежедневного телевизионного ток‑шоу. [↑](#footnote-ref-111)
112. Американская киноактриса (р. 1959). [↑](#footnote-ref-112)
113. Главную роль в комедийном многосерийном телешоу «Розанна» о жизни рабочей семьи исполняет актриса Розанна Арнольд. [↑](#footnote-ref-113)
114. Известный в 1950‑х гг. эстрадный певец; как и Фрэнк Синатра, звезда лас‑вегасских шоу. [↑](#footnote-ref-114)
115. Еженедельный журнал, который специализируется на публикации сенсационных новостей и сведений о необычных, сверхъестественных явлениях. [↑](#footnote-ref-115)
116. *Амиши* — консервативная секта меннонитов. Живут в сельских общинах, отрицают достижения технического прогресса (электричество, автомобиль и т. п.), в земледелии пользуются плугом. [↑](#footnote-ref-116)
117. Американская актриса, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Свидетель». [↑](#footnote-ref-117)
118. Спортивная игра, цель которой — попасть пущенной по льду каменной битой в вычерченную на нем мишень. [↑](#footnote-ref-118)
119. Популярные американские телеобозреватели, ведущие программ с обзором новостей в стране на каналах Си‑би‑эс и Эй‑би‑си. [↑](#footnote-ref-119)
120. Горный хребет, южная часть Аппалачей, популярное место отдыха жителей Нью‑Йорка. [↑](#footnote-ref-120)
121. Закон местонахождения предмета сделки (*лат.*). [↑](#footnote-ref-121)
122. 4 июля 1776 г. была подписана Декларация независимости, и с тех пор этот день отмечается в США как День независимости. [↑](#footnote-ref-122)
123. Имеются в виду профессиональные баскетбольные команды — «Нью‑йоркские никербокеры» («никербокеры» — прозвище ньюйоркцев) и «Чикагские быки». [↑](#footnote-ref-123)
124. *Майкл Джордан* — знаменитый игрок команды «Чикагские быки». [↑](#footnote-ref-124)
125. Американская актриса театра и кино (р. 1925), исполнительница главной роли в детективном телесериале «Она написала убийство». [↑](#footnote-ref-125)
126. Амнион — зародышевая оболочка у млекопитающих; образует полость, заполненную амниотической жидкостью, предохраняющей зародыш. [↑](#footnote-ref-126)
127. Общее количество ударов, которое необходимо хорошему игроку, для того чтобы пройти все лунки конкретного поля. *Зд.* : некая заданная величина. [↑](#footnote-ref-127)
128. Пицца с острыми на вкус колбасками. [↑](#footnote-ref-128)
129. День отца отмечается в третье воскресенье июня. [↑](#footnote-ref-129)
130. Бейсбольная команда из Сан‑Франциско. [↑](#footnote-ref-130)
131. Средняя величина, характеризующая результативность бьющего (бэттера) в бейсболе; высчитывается путем деления количества точных ударов на количество попыток. [↑](#footnote-ref-131)
132. Городской район, населенный представителями определенной этнической или расовой группы (как правило, неграми и выходцами из Латинской Америки), располагается обычно в центральной части крупного промышленного города; в гетто проживают наиболее социально неблагополучные слои населения. [↑](#footnote-ref-132)
133. Национальная баскетбольная ассоциация США. [↑](#footnote-ref-133)
134. Молодежное общественное движение. Название (четыре английские буквы Н — «Эйч») объясняется тем, что с буквы Н начинаются четыре ключевых слова, упомянутых в торжественной клятве участников движения: голова, сердце, руки, здоровье (Head, Heart, Hands, Health). [↑](#footnote-ref-134)
135. Автомобиль массового производства, выпускался в 1928—1931 гг. [↑](#footnote-ref-135)
136. Общество взаимопомощи масонского типа; в США с 1818 г., штаб‑квартира в Балтиморе. [↑](#footnote-ref-136)
137. Первая и последняя строки известнейшей патриотической песни на музыку Ирвинга Берлина (1939). Звезда американской эстрады Кейт Смит (1907—1986), благодаря которой песня приобрела особую популярность, обладала исключительными правами на ее исполнение. [↑](#footnote-ref-137)
138. *Вудстокский фестиваль рок‑музыки* — кульминация эпохи контркультуры (август 1969), проходил неподалеку от местечка Вудсток (штат Нью‑Йорк). [↑](#footnote-ref-138)
139. Чарльз Мэнсон со своими сообщниками совершил зверское убийство в Лос‑Анджелесе актрисы Ш.Тейт и шестерых ее друзей (август 1969). [↑](#footnote-ref-139)
140. *Чаппакуиддик* — курортный остров в штате Массачусетс, где в 1969 г. с моста в воду упал автомобиль, в котором находились сенатор Э. Кеннеди и его секретарша (погибла). [↑](#footnote-ref-140)
141. 20 июля 1969 г. командир корабля «Аполлон‑11» астронавт Н.Армстронг впервые в истории человечества ступил на поверхность Луны. [↑](#footnote-ref-141)
142. Дезинтоксикационная клиника для медикаментозного лечения абстинентного синдрома. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Сосукэ Уно* — премьер‑министр Японии, продержавшийся на этом посту всего два месяца и вынужденный в августе 1989 г. подать в отставку, в частности из‑за скандала вокруг его любовных похождений. [↑](#footnote-ref-143)
144. Номер один (*ит.*). [↑](#footnote-ref-144)
145. Колокол в Филадельфии, который своим звоном возвестил о первом публичном прочтении Декларации независимости. [↑](#footnote-ref-145)
146. Группа наркотических веществ — синтетических психостимуляторов. [↑](#footnote-ref-146)
147. *Оливер Норт* (род. 1943) — полковник морской пехоты, одна из главных фигур политического скандала 1986—1987 гг., вошедшего в историю под названием дело «Иран — контрас», или «Ирангейт». [↑](#footnote-ref-147)
148. Пуф, набитый пластиковыми шариками («бобами»). [↑](#footnote-ref-148)
149. Стилизованные знаки, традиционно украшающие сельские постройки в Пенсильвании; согласно поверью, ограждают скот от злых духов. [↑](#footnote-ref-149)
150. С полуостровом Батаан на Филиппинах связан драматический эпизод Второй мировой войны на Тихоокеанском театре: в апреле 1942 г. полуостров был захвачен японскими войсками и большая колонна военнопленных была отправлена в лагерь; «марш смерти» продолжался шесть дней, тысячи американцев и филиппинцев умерли от жары, жажды и голода, многие были добиты японской охраной. [↑](#footnote-ref-150)
151. Уничижительное прозвище американского негра, особенно молодого мужчины (имело хождение в конце XIX — начале XX в.). [↑](#footnote-ref-151)
152. *Дуглас Макартур* (1880—1964) — Верховный главнокомандующий союзными войсками на Тихом океане; принимал капитуляцию Японии в 1945 г. и командовал оккупационными войсками в Японии (1945—1951). [↑](#footnote-ref-152)
153. Еврейский веселый зимний праздник в память обновления храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над сирийским царем Лисием в 165 г. до н. э. [↑](#footnote-ref-153)
154. После нападения на Перл‑Харбор около 110 тысяч проживающих в США японцев подверглись насильственному выселению или содержались в концентрационных лагерях на территории США. [↑](#footnote-ref-154)
155. Соотв. *долг* и *чувство* (*япон.*). [↑](#footnote-ref-155)
156. Крупнейший центр автомобильной промышленности в штате Мичиган. [↑](#footnote-ref-156)
157. *«Анонимные алкоголики» (АА) и «Анонимные наркоманы» (АН)* — общественные организации, призванные содействовать возвращению к нормальной жизни людей, страдающих тем или иным видом химической зависимости. [↑](#footnote-ref-157)
158. Термины, относящиеся к игре в гольф, см. в примечаниях к части первой. [↑](#footnote-ref-158)
159. Отмечается в первый понедельник сентября. [↑](#footnote-ref-159)
160. *Герберт Кларк Гувер* (1874—1964) — 31‑й президент США (1929—1933), член Республиканской партии. При нем в 1929 году разразился жестокий кризис — Великая депрессия. [↑](#footnote-ref-160)
161. *«Галерея славы великих американцев»* создана в Нью‑Йорке в 1900 году для увековечения памяти выдающихся граждан страны. [↑](#footnote-ref-161)
162. Очень популярная в Америке помощница ведущего программы «Колесо фортуны» *Ванна Уайт* . [↑](#footnote-ref-162)
163. Иди с Богом (*исп.*). [↑](#footnote-ref-163)
164. *Фрэнки Лейн* (р. 1913) — один из популярнейших в Америке эстрадных певцов в конце 1940‑х — начале 1950‑х гг. [↑](#footnote-ref-164)
165. *Дорис Дей* (р. 1922) — американская певица и актриса, звезда 1950‑х гг. [↑](#footnote-ref-165)
166. *Сокр. От* «Те, кто чтят и восхваляют Господа» (People That Love and Praise the Lord — PTL). [↑](#footnote-ref-166)
167. Город на севере штата Виргиния на р. Потомак, юго‑западный пригород Вашингтона. [↑](#footnote-ref-167)
168. Один из сети одноименных ресторанов при автомагистралях. [↑](#footnote-ref-168)
169. Исполнитель и автор песен в стиле кантри, суперзвезда 1980‑х гг. [↑](#footnote-ref-169)
170. Баптистский священник, евангелистский радио— и телепроповедник. В 1990‑х гг. посетил с проповедями Россию. [↑](#footnote-ref-170)
171. Имеется в виду скандал в упомянутом министерстве, во время которого выявились злоупотребления и мошенничество в администрации Рейгана. [↑](#footnote-ref-171)
172. Обыгрывается название известной песни в исполнении «поющего ковбоя» Джина Отри, а позже Фрэнка Синатры. [↑](#footnote-ref-172)
173. Знаменитая башня из ажурных стальных конструкций, поддерживающая смотровую площадку и ресторан (Спейс‑нидл); символ г. Сиэтла. [↑](#footnote-ref-173)
174. Мексиканский пирожок из кукурузной лепешки (тортильи) с начинкой из фарша, томатов, листьев салата и сыра с острым соусом. [↑](#footnote-ref-174)
175. В 1860 г. Южная Каролина первая из 11 южных штатов проголосовала за выход из состава союза. [↑](#footnote-ref-175)
176. Негритянские песни религиозного содержания, сочетающие элементы спиричуэла, блюза и джаза (от Gospel — Евангелие). [↑](#footnote-ref-176)
177. *Дороти Ламур* и *Боб Хоуп* в 1930—1940‑е гг. вместе с *Бингом Кросби* принимали участие в комедийных радиошоу и мюзиклах; автор обыгрывает фамилии этих эстрадных исполнителей: Lamour — «любовь» (*фр.*) и Норе — «надежда» (*англ.*). [↑](#footnote-ref-177)
178. Известные артисты эстрады, входившие в ближайшее окружение, «клан» Фрэнка Синатры. [↑](#footnote-ref-178)
179. Настоящее имя *Малколм Литл* (1925—1965) — активист движения «Черные мусульмане», идеолог «черного национализма», оратор; был смертельно ранен в Гарлеме во время публичного выступления. [↑](#footnote-ref-179)
180. Герой Гражданской войны (1861—1865). Погиб в 1876 г. в сражении с индейцами на р. Литл‑Бигхорн, вошедшем в историю под названием «Последний рубеж Кастера». [↑](#footnote-ref-180)
181. Баптистский священник, видный лидер движения за гражданские права негров, лауреат Нобелевской премии мира (1964). Убит в 1968 г. в г. Мемфисе, шт. Теннесси, Джеймсом Эрлом Рэем. [↑](#footnote-ref-181)
182. Американский космический корабль многоразового использования «Челленджер» взорвался 28 января 1986 г. через 14 сек. после запуска с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Все члены экипажа погибли. [↑](#footnote-ref-182)
183. Любовь (*ит.*). [↑](#footnote-ref-183)
184. В 1989 г. в прокат был выпущен полнометражный художественный фильм «Бэтмен». [↑](#footnote-ref-184)
185. Герой, по‑видимому, вспоминает несчастный случай на о‑ве Чаппакуиддик (см. примеч. *Чаппакуиддик* — курортный остров в штате Массачусетс, где в 1969 г. с моста в воду упал автомобиль, в котором находились сенатор Э. Кеннеди и его секретарша (погибла).

     ). [↑](#footnote-ref-185)
186. Чарльз Мэнсон со своими сообщниками совершил зверское убийство в Лос‑Анджелесе актрисы Ш.Тейт и шестерых ее друзей (август 1969). [↑](#footnote-ref-186)
187. *Эдвард Коч* (р. 1924) — мэр Нью‑Йорка в 1977—1989 гг. [↑](#footnote-ref-187)
188. Первая семинольская война: 1817—1818 гг. (в Джорджии и Флориде); вторая: 1835—1842 гг. (в центральной Флориде); третья: 1855—1858 гг. (в южной Флориде). [↑](#footnote-ref-188)
189. Ниже описаны события, в результате которых 19 октября 1781 г. английская армия под командованием генерала Корнуоллиса попала в окружение и вынуждена была капитулировать. Тем самым фактически был положен конец Войне за независимость (1775—1783). По Версальскому мирному договору 1783 г. Великобритания официально признала независимость США. [↑](#footnote-ref-189)
190. Обитавшая в большом количестве в Северной Америке птица, ныне полностью истребленная. [↑](#footnote-ref-190)
191. Популярный прежде журнал, прекративший свое существование к началу 1960‑х гг. [↑](#footnote-ref-191)
192. Суша (*лат.*). [↑](#footnote-ref-192)
193. Члены воинствующей шовинистической религиозной организации афроамериканцев *«Черные мусульмане»* , основанной в 1930 г. и наиболее активно действующей в 60‑е — 70‑е гг. Позже ей на смену пришла «Американская мусульманская миссия», выступавшая за отказ от расизма и экстремизма. [↑](#footnote-ref-193)
194. Высокорослый игрок баскетбольной команды «Лос‑Анджелес лейкерс» *Карим Абдул‑Джаббар* (р. 1947; наст, имя Лью Алсиндор). [↑](#footnote-ref-194)
195. Популярное итальянское блюдо в виде своеобразного слоеного торта: слои теста чередуются с прослойками из мяса или овощей с сыром. [↑](#footnote-ref-195)
196. *Бад Эббот* и *Лу Костелло* — знаменитый комедийный дуэт 1940—1950‑х гг. Их программа «Эббот и Костелло» считается одной из самых популярных и долговечных. [↑](#footnote-ref-196)
197. Здание в Филадельфии, где в 1776 г. была подписана Декларация независимости. На центральной ротонде раньше находился Колокол свободы. В настоящее время здесь располагается музей, посвященный Войне за независимость. [↑](#footnote-ref-197)